

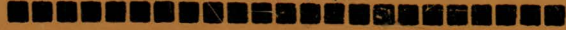
1

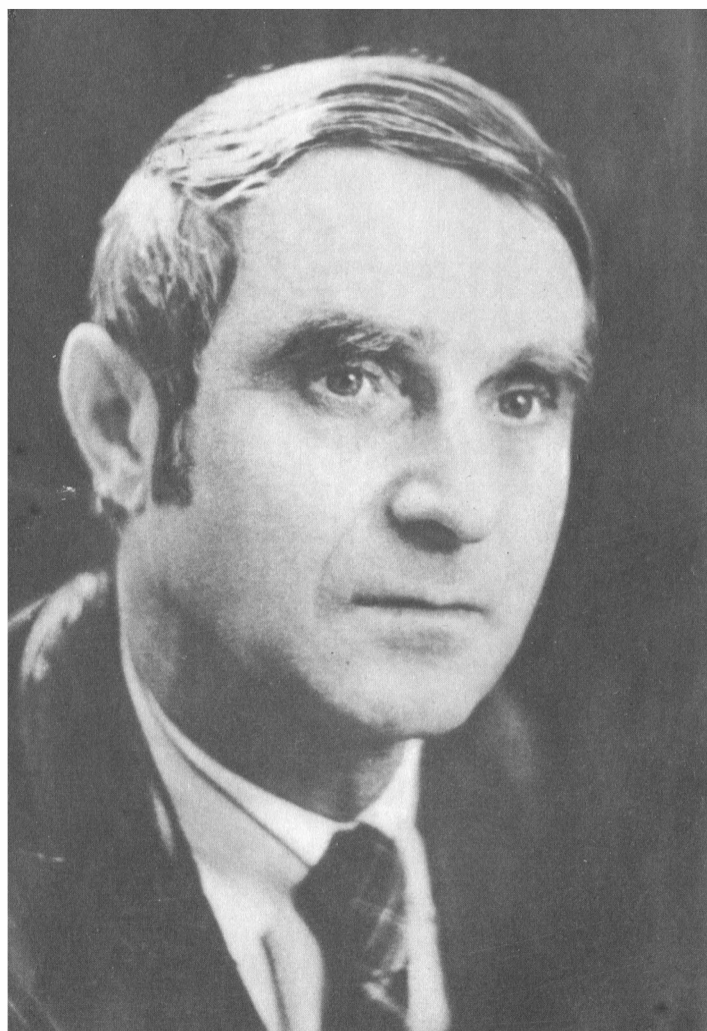
ДМИТРИЙ ХОЛЕНДРО

ДМИТРИЙ  
ХОЛЕНДРО



ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ







P2  
X71

Иллюстрации *А. Платонова*

Оформление *К. Остольского*

Рецензент *В. Субботин*

X  $\frac{470201200-024}{M106(03)-87}$  134-87

© Вступительная статья, состав и оформление,  
издательство «Современник», 1987

## ПИСАТЕЛЬ И ЕГО КНИГИ

(по страницам творчества Дмитрия Холендро)

Своими литературными «пенатами» Дмитрий Холендро считает Замоскворецкий Дом пионеров в Москве. В неугомонном, жизнерадостном этом Доме, в одной из его комнат в определенные дни проводились занятия кружка поэзии, участником которого в 30-е годы был и пионер Митя Холендро. Как и другие кружковцы, он читал здесь свои стихи, слушал замечания и отзывы товарищей, а иногда — известных поэтов.

Да, самые первые свои шаги в литературе Дмитрий Холендро делал как поэт. Печатался в «Пионерской правде», «Вечерней Москве», после войны его детские стихи публиковались в книге для чтения в начальной школе «Родная речь».

С поэзией он никогда не порывал, однако все больше переходил на прозу, и поныне он — автор многих книг этого жанра, хорошо известных советскому и зарубежному читателю. Его перу принадлежит, кроме того, несколько пьес, шедших во многих театрах страны, и киносценариев, по которым в разное время поставлены кинофильмы («Улица тринадцати топей», «Яблоки сорок первого года», «Где-то есть сын» и др.).

В двухтомник «Избранное» вошла примерно третья часть из созданного писателем, только проза. И, знакомясь с тем, как Дмитрий Холендро начинал писать, писал, а затем составлял двухтомник, мы поймем, почему он руководствовался не хроникой написания своих повестей и рассказов, а хроникой их событий. И, мне кажется, оправдаем этот принцип.

Дмитрий Михайлович Холендро родился 2 декабря 1921 года в Ташкенте. Со временем семья переехала в Москву. Митя в 1939 году закончил десятилетку и поступил в Московский институт философии, истории и литературы — ИФЛИ. В институте прозанимался лишь два месяца, так как был призван в армию. Направили в артиллерийский полк в город Артемовск Донецкой области, но через год часть передислоцировалась на западную границу. А вскоре началась война, которая во многом и определила его дальнейшую судьбу — человеческую и профессиональную.

Войну Холендро начал наводчиком орудия, в составе батареи про-

делал тяжелый и горький путь отступления от границы до Днепра, по полям Донбасса, Северного Кавказа, будучи уже не артиллеристом, а военным корреспондентом дивизионной, армейской, а затем и фронтовой газет. В качестве военного журналиста участвовал и в наступлении советских войск, шел на запад, испытывая вместе со всеми радость освобождения родной земли. Участвовал в освободительном десанте в Крыму и в освобождении Севастополя. После взятия Севастополя — 9 мая 1944 года — Отдельная Приморская Армия, где служил Холендро, осталась для защиты полуострова, а когда после войны образовался Таврический военный округ, он получил назначение в окружную газету «Боевая слава».

На войне Холендро был контужен и ранен, за участие в боях награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями, а сейчас, в честь сорокалетия Победы, орденом Отечественной войны I степени. В газете прослужил до осени 1947 года, демобилизовался в звании майора.

Картины виденного — трагические и героические, фронтовые встречи, впечатления пережитого оставили в памяти неизгладимый след, стали источником многих произведений будущего писателя о войне. Будущего? А может быть, уже и тогда, в те дни и ночи боев, тревог, переживаний, высоких порывов души, может быть, писателя уже и тогда? Природная художественная одаренность молодого бойца на войне набирала силы изо дня в день, от потрясения к потрясению.

Словом, военные произведения Холендро основываются во многом на личном опыте, художественная фантазия автора черпает из того, чем в разное время одарила его действительность.

Впрочем, личный опыт писателя лежит в основе не только повестей и рассказов о войне, печатью автобиографичности отмечены и произведения, посвященные мирной жизни, нашей современности, о чем подробнее еще будет сказано. Нетрудно понять, почему Холендро всегда стремился как можно больше увидеть, встретить как можно больше интересных людей, интересных прежде всего отношением к главному долгу человека на земле — труду — стремился и стремится как можно лучше узнать и почувствовать наше время.

Демобилизовавшись, Холендро остается в Крыму. Еще будучи военным, он близко сходится с местной писательской организацией, активно участвует в ее деятельности, а сняв погоны, целиком отдается литературной работе — пишет и публикует очерки, рассказы, рецензии, редактирует литературно-художественный альманах «Крым». В 1950 году вступает в Союз писателей, и вскоре его избирают ответственным секретарем крымской организации.

Холендро посчастливилось — на жизненном пути он встретил Петра Андреевича Павленко. Встреча произошла еще на войне, в газете «Вперед за Родину», дружба продолжалась и в последующие годы, когда Павленко, поселился в Ялте. Естественно, что многие крымские писатели, особенно

начинающие, тянулись к этому маститому прозаику. Павленко организовал альманах «Крым», читал рукописи, помогал молодым.

Холендро вспоминает:

«Ни одной вещи, за исключением рукописей людей бывалых — непрофессионалов, он не правил... Павленко подсказывал начинающему лучшие пути, растил писателя, а не «спасал» одну рукопись. Привычку «дотягивать» рукопись за автора он называл болезнью, приносящей непоправимый вред и литературе, и самому автору, судьба которого после такой первой — и единственной — книги зачастую складывалась трагично»

Чтобы лучше оценить достоинство павленковской помощи, следует сказать, что речь шла о романе Дмитрия Холендро «Горы в цвету», первом крупном произведении молодого автора, за который он и был принят в Союз писателей.

Другим наставником Холендро в годы его литературной молодости был Константин Георгиевич Паустовский. В 1951 году в Ростове-на-Дону проходила творческая конференция писателей Юга. Холендро попал в семинар, которым руководил Паустовский. После того как Холендро прочитал на занятии один из своих рассказов, началось обсуждение. Выступления были весьма критические. Однако, подводя итоги, Паустовский сказал, что верит в автора. Верит, потому что писатель вынес на суд товарищей не тот — в чистом виде — текст рассказа, что уже был напечатан, а основательно поправленный. Ход мысли Паустовского был таков: если человек не довольствуется написанным, а стремится сделать лучше, значит, есть у него искра божия. И эту «искру» Константин Георгиевич старался разжигать.

С душевной теплотой вспоминает Холендро об Эффенди Капиеве, прозаике и поэте, переводчике Сулеймана Стальского, авторе блистательной книги «Поэт». Знакомство с ним, перешедшее в дружбу, произошло в той же фронтовой газете «Вперед за Родину». Капиев рассказывал много интересного о писательском труде, о своем творческом опыте, настойчиво советовал вести записные книжки, даже учил этому. Позднее, отдавая дань уважения Капиеву, Холендро напишет:

«Записная книжка... Капиеву она всегда была необходима, как раздумье, как разговор с самим собой, как тихий собеседник, хранящий следы пережитого. Он полусутоливо говорил, что самую меткую фразу можно придумать, пейзаж увидеть снова, а вот мысли... мысли надо записывать, они уходят навсегда. Многие это знают, но не умеют вести записи, ежедневные, постоянные. Он и знал и умел. Это кропотливый труд, великая дисциплина и великая преданность своему делу, избранному пути. Черта и таланта и характера. Он и всех сотрудников газеты приучал к записной книжке. По вечерам устраивались соревнования: кто что записал за день».

К моменту демобилизации Холендро обладал завидным жизненным опытом: семь лет службы в армии, из коих половина на войне, значили

очень много. Пережитого за это время хватало на годы и годы творческой работы. И он принялся за работу с жадностью человека, долго рвавшегося к любимому делу, но в силу разных обстоятельств не имевшего возможности отдаться ему целиком.

Однако писать он стал не о войне, а о послевоенной жизни, о мирном труде соотечественников. Почему? Думается, причина этого — чисто психологического порядка. Я вспоминаю разговор с одним из своих товарищей во второй половине войны. «Если останусь жив,— говорил он,— пойду работать лесником. Хочу отойти от грохота артиллерийской канонады, от рева самолетов, от визга мин. Хочу тишины...»

Вот такой тишины, возможно, даже чисто интуитивно, подсознательно хотела и писательская душа Холендро. Он понимал, что если возьмется за военную тему, прошлое засветится на экране памяти с большой силой, война продолжится в его комнате, на рабочем столе. Он словно бы страшился обжигающего огня памяти, минувшему, прежде чем воплощать его в образы, надо было дать отстояться... Подобное психологическое состояние, по моим наблюдениям, испытывали и некоторые другие писатели, вернувшись с войны — первые их книги рассказывали не о людях ратного подвига...

Начинаются поездки — краткие и долговременные — в колхозы, на заводы, встречи с интересными людьми, чаще всего с рыбаками. Привлекало их незнакомое, опасное под морскими ветрами дело, а может быть, и то, что сейнеры уходили от берегов, на которые недавно высаживался десант. А теперь в том же море Дм. Холендро знакомился с рыбаками и писал о них.

Ну, а тема Великой Отечественной войны? Нет, он не отказался от нее, да и вряд ли смог бы это сделать, появившись у него такое странное намерение. Но оно, к счастью, и не появилось. Просто мирная жизнь дня сегодняшнего заслонила на какое-то время жизнь военную. Причем не целиком, не напрочь, а своеобразно, когда в облике героев произведений, посвященных послевоенному созиданию, заявляло себя время войны, прошлое вторгалось в настоящее, утверждая и этим неразрывность времени, поступательный ход истории. В последующем же произведения о мирной жизни создавались писателем вперемежку с произведениями о войне: «цивильный» роман «Горы в цвету» появился в 1950 году, а военный рассказ «Первый день весны» — в 1953, повесть о мирном труде и быте рыбаков «Свадьба» — в 1967, а следующей была повесть на военную тему «Фантазер» («Яблоки сорок первого года»).

Первое крупное произведение Дмитрия Холендро о людях мирного труда — роман «Горы в цвету», единственный пока в его творчестве роман, так как все остальное (речь идет о прозе) — повести и рассказы. Не стану со всей определенностью утверждать, почему на протяжении тридцати с лишним лет после выхода «Гор...» писатель не обращался затем к форме романа. Не думаю, однако, что не обращался вследствие трудности, не-



преодолимости романного строения — «Горы в цвету» свидетельствуют, что жанр этот ему вполне по плечу.

Роман рисует картину жизни колхозников-переселенцев в Крыму с осени 44-го по осень 45-го, времени и военного и послевоенного, и в силу этой особенности в «Горах...» больше, чем в каком-либо другом его произведении о мирной жизни, война слышится и ощущается весьма отчетливо. В судьбах героев, в их переживаниях, мыслях, наконец в пейзаже, где сгоревшие танки или исковерканные орудия лежат обочь дороги, а на месте былых селений — руины да пепел...

«Горы в цвету» вышли в свет в 1950 году и заняли подобающее место в ряду произведений об одном из тяжелейших периодов в жизни народа — восстановлении порушенных врагом городов и сел, заводов и колхозов. Не так еще много было тогда произведений о человеке труда, поднимающем страну из руин. Критика отмечала — и не без оснований — реалистичность, жизнеутверждающий пафос «Гор...». Да, таков был этот роман, несмотря на то, что трудности той поры, сложность их преодоления не были раскрыты в нем с полной правдой, которая была ой как горька.

На это указал молодому автору в дружеском письме старожил Крыма С. Н. Сергеев-Ценский. (Письмо хранится в архиве Дм. Холендро.) Положительно оценив роман: «Книга ваша то, что теперь именно и требуется. Она входит в ряд таких книг, как «Жатва» Г. Николаевой, «Водители» Рыбакова, «Ясный берег» Пановой и пр.; подчеркнув, что роман «вполне современный», Сергеев-Ценский, отталкиваясь от названия, которое весьма точно выражало целенаправленность автора, замечал: «Смотрю я кругом на свои горы и думаю, что название это несколько забегающее вперед».

Еще не были закончены «Горы в цвету», а Холендро думает о новом произведении, присматривается к прототипам будущих литературных героев, снова изучает жизнь в колхозах, правда, на этот раз — в рыболовецких. Жизнь и труд рыбаков увлекли. Чем? Морской романтикой, рыбацким характером, открытостью души человека в тельняшке, готовностью прийти на помощь товарищу, когда тот оказывается в беде. О рыбаках и о море Дм. Холендро написал повести «Опасный мыс», «За перевалом», «Город — одна улица», «Свадьба», рассказы «Друг рыбака», «Пассажир Лешки-анархиста» («Суровый пассажир») и др.

Лучшая из названных повестей — «Свадьба». Она о совести и чести трудового человека, этих моральных ориентирах, безошибочно указующих каждому верный курс в жизни.

Время действия в повести невелико — одни сутки, но напряженность сюжета, острота конфликта заставляют читателя переживать вместе с героями.

Сашка Таранец — главное действующее лицо повести — поставлен перед выбором: прогrometer на весь край, да что край — на всю страну! — в качестве героя киноочерка, не заслужив такой чести, или же пре-

зреть соблазн и остаться таким, каков ты есть. В первом — соблазнительном — случае Таранец теряет совесть и честь рыбака, во втором сохраняет их, но лишается возможности стать кинозвездой в рыбацкой робе. Сложными путями ведет героя автор к принятию решения. Ситуация усложняется не только душевными муками Сашки, но и не всегда последовательным поведением председателя колхоза Горбова, рядовых колхозников, наконец работников съёмочной киногруппы...

Повесть написана в иронической тональности, что несколько не умаляет серьезности поставленной проблемы, не мешает глубокому художественному исследованию ее. Юмор, слегка ироническое отношение к жизни, проявляющиеся чаще в форме насмешки над самим собой, отчетливее высвечивают характеры Сашки Таранца и других героев, людей жизнерадостных и жизнестойких, верящих в силу своих трудовых рук, в самих себя.

«Сейчас осень, и мы в большом азарте. Мы — добытчики. Мы — охотники. Кормильцы. Но ведь есть много способов добывать хлеб, а мы уходим до рассвета в студеную зыбкую даль. Потому что и на море плохо бывает, а хуже всего без моря. Сердца наши брошены в море, как поплавки, и, бывает, ругаешь свою жизнь страшными словами, а встанет зима, и не дождаться весны, а потянется лето, и не дождаться осени, когда снова ни поспать, ни поесть по-человечески, а только забыться в кубрике, да хлебать на палубе из миски горячие щи пополам с солеными брызгами, и бросать на полувздохе все — и сон и еду — и прыгать с шаткого борта по истошной команде бригадира:

— На баркас!»

Дм. Холендро в воспоминаниях о Павленко, на которые я уже ссылался, рассказывает о занятии молодых литераторов на ялтинской даче писателя, где обсуждался один рассказ. Разобрав сочинение, как говорится, по косточкам, Павленко заметил: «Море стоило показать по-своему. Оно всегда разное». И посоветовал: «Что хоть раз уже было, оставьте в покое, не раздевайте стариков». Вне сомнений, автор «Свадьбы» хорошо помнил тот совет: море у него всегда свое и каждый раз другое, разное, как бывает в природе. Ни в одном другом его произведении морские пейзажи не подходят на живописуемые в «Свадьбе».

Исследование души человека, поставленного перед необходимостью нравственного выбора,— главная задача, которую постоянно решает в своих произведениях писатель. Стремлением отобразить моральное совершенствование личности современника рождены повести «Слобода», «Нефедов», многие рассказы. Герои этих произведений — люди, живущие по законам совести. Жить по этим строгим законам не легко, но легкая жизнь не их идеал, о ней они даже не помышляют.

Трудно приходится, например, заводскому инженеру Юрию Евгеньевичу Нефедову («Нефедов»). Отстаивая интересы государства (а не узкоместнические, как то делает директор завода), он вступает в кон-

фликт с начальством, что чревато всевозможными неприятностями. Но, думается, предложи Нефедову перейти на другой завод, на другую работу, где не будет такой нервотрепки, не согласится ни за что. Да и на этом заводе он может жить куда спокойнее, стоит лишь поступиться совестью. Поступиться? Но в том-то и вся соль — не поступится никогда!

По таким законам живет и Алеша Сучков, герой повести «Слобода». По возрасту и жизненному опыту Алеша ближе Сашке Таранцу, а не Нефедову, но если Сашка на первых же страницах предстал во многом сформировавшейся личностью и автор по ходу событий испытывал на прочность его совесть, то с Алешкой дело обстоит несколько иначе. Герою «Слободы» приходится во многом переламывать себя, воспитывать в себе качества, которые дадут ему право судить и себя и других, словом — расти и расти. Решение этой художественной задачи — роста героя — определило и структуру произведения, и развитие конфликта.

Условия, формировавшие характер Алеши, неблагоприятнее тех, в которых находится Сашка Таранец. Сашку окружают люди в большинстве хорошие — колхозники, пекущиеся об общем благе. Алешка живет в иной социальной среде — подгородной слободки. «Странное это место — не город и не деревня... Слобожане сами с удовольствием и даже чуть горделиво повторяли про себя: из деревни ушли, а в город не пришли, так вот и застряли на полдороге». Это положение «на полдороге», между городом и деревней, надо полагать, существенно сказалось на социальном составе слободского населения, психологии слобожан, их интересах: тут немало «особей» с весьма развитым хватательным инстинктом, мещан, и они, эти особи, определенным образом влияют на нравственный климат всего коллектива. Слобода жила так: «ездила в городские универмаги, ходила в театры, в цирк, в кино и в бани, но часы сверяла по рынку... Далекий рынок был ее сердцем... Денежки — кровью».

Но изображение мещанской среды не главная задача автора, главное для него — моральное становление Алеши Сучкова. Этому юноше предстояло пройти сложным лабиринтом человеческих поступков, отношений, чувств, намерений.

Раскрывая характер Алеши, автор показывает, как любовь заметно воздействует на мир мыслей и чувств юного героя, меняя весь его нравственный облик. Подлинно: она — сила, создающая характер.

Тема любви — одна из основных в творчестве Дмитрия Холендро, и воплощается она с позиций высокой нравственности. Любовь как высокое чувство воспета в повести «Улица тринадцати тополей», в рассказах «Раннее утро», «Ночные разговоры», «Финские санки», «Теперь навсегда», «Вечер любви».

Правда, повесть «Улица тринадцати тополей» не только, а точнее даже — не столько о любви. Главная ее тема — трагические события в Ташкенте в 1966 году (землетрясение, причинившее городу большие разрушения), а главный идейный смысл произведения — братская помощь

Ташкенту со стороны всех наших республик, интернационализм и гуманизм социалистического общества.

Небезынтересны, думается, некоторые детали творческой истории повести «Улица тринадцати тополей», которые я излагаю со слов Дмитрия Холендро.

Летом шестьдесят шестого года Холендро находился в Ялте, одновременно с ним там, в Доме творчества, жил К. Г. Паустовский. Когда стало известно о землетрясении в Ташкенте, Паустовский сказал Холендро: будь я таким молодым, как вы, без промедления поехал бы в Ташкент, писателю надо такое видеть... Холендро усмотрел в этом нечто большее, чем мечту беспокойной души выдающегося мастера, купил билет на ближайший самолет и вылетел в столицу Узбекистана. Вернувшись дней через десять, пошел прямо к Паустовскому. «Что-то вас не было видно, где вы пропадали?» — спросил тот. Холендро объяснил и стал показывать фотографии разрушенного города. «А ведь я тогда почти пошутил, не имея цели настраивать вас на поездку... Но уж коль вы слетали и увидели так много необычного, теперь я настоятельно рекомендую поехать туда. Поживите там подольше и напишите».

Холендро так и поступил.

Тема любви возникает в повести как бы исподволь, подобно ручейку, выбившемуся из-под земли. Отмечу при этом, что у автора хватает такта не затмевать изображением личных чувств героев — дальневосточника Кеши и ташкентской девушки Мастуры — событий большого социально-политического звучания. Они остаются главными в повести, более того, именно эти события помогают высветить характеры героев, сформироваться и окрепнуть их чувству.

Тезис, что Холендро — художник, пишущий о молодежи и для молодежи, основывается не только на тех произведениях, в которых тема любви проходит крупным планом, но и на тех, где характер молодого героя раскрывается в других коллизиях, в его связях с людьми, обществом, миром. Это, помимо названных ранее повестей «Свадьба» и «Слобода», рассказы «Дорога в степь», «Пассажир Лешки-анархиста», «Городской дождь», «Ждать — не дожидаться» и др.

Заметное место в творчестве писателя занимают рассказы, и разные подняты в них проблемы — воспитание любви к труду, участливого отношения к людям, уважения к старшим, преодоление душевной черствости, себялюбия, эгоизма. Как жить, каким быть? Вот о чем постоянно думают герои Холендро.

Проблема проблем. Автор обстоятельно и принципиально исследует ее, например, в рассказе «День рождения». Кто он, герой рассказа Костя? Шалопай? Бездельник? Трус? Поведение подростка дает достаточно оснований для любой из этих «квалификаций». Да, в сущности, не столь уж они и различны между собой — как говорится, хрен редьки не слаще. Устанавливая меру ответственности героя за свои поступки, автор не

ставит на этом точку. Он исследует другие причины формирования уродливой личности — систему воспитания Костиных родителей. Устами деда, человека, прожившего безупречную трудовую жизнь, говорится: «Родители у тебя, действительно, трудяги, а растили вас с Ленкой (сестра Кости.— И.К.) как мещане: переласкали, перехвалили и... и совсем не приучили к главному — к работе!» И далее в ответ на оправдание Кости, что «батюшка с матушкой не научили» его труду, старик замечает: «Ты вот сказал — не научили! Учат специальности, а к работе приучают, сызмала, едва руки возьмут что-то, похожее на инструмент... Это разные вещи, молодой человек, совсем разные! Образование и воспитание».

В толковании проблемы — «как жить, кем быть» писатель нередко обращается к нравственным ценностям, сформировавшимся на войне, как к мерилу достоинств человеческих. Это воистину великие и непреходящие ценности. Подтвержу это лишь одним примером. Бывший фронтовик, Виктор Степанович («На закате»), оказавшись в состоянии «немыслимой покинутости, и не просто печали, а боли», вспоминает фронтовое братство, «как ты лежал на дне оврага, может быть, последним взглядом прощаясь с голубым небом и белым облаком, откупающимся от ветра потерянными курчавинами, а по склону с разных сторон к тебе бежали знакомые и незнакомые, чтобы спасти. Как водитель полуторки в считанные минуты, оставшиеся в твоём владении, спешил домчаться до госпиталя, но внезапно притормаживал и каждым колесом по очереди переползал через ухабы... Как хирург без промедления надевал халат с пятнами вчерашней или позавчерашней крови, которую ни выкипятить, ни выстирать, и еще находил миг для полушутки: «Гляди-ка! Овраг спас! А то отшибло бы все нутро, начиная с сердца!»

Нет, не овраг, а друзья спасли. Не было вокруг чужих...»

Тут я подхожу к другой большой теме в прозе Дмитрия Холендро: Великая Отечественная война, подвиг народа, защищавшего свою Родину.

Война, входившая в сознание и сердце будущего писателя во всем трагизме и героизме, не могла оставаться в его памяти как нечто неприкосновенное и тогда, когда он писал о людях послевоенной поры, она так или иначе выказывала себя в их судьбах. Со временем она заявляла себя все настойчивее и решительнее. У Холендро появились рассказы, уже полностью обращенные в огневые фронтовые: «Первый день весны», «Третий Коля», «За подвигом», «Комендант причала», «Мальчишки» и др. В основе каждого из них какой-либо фронтовой случай, это как бы рассказы-воспоминания. Не все из них выдержали проверку временем (видимо, Холендро поэтому и не счел возможным включить их в «Избранное»). Но лучшие выдержали, представляют интерес и сегодня. Таким, например, является «Первый день весны», привлекающий внимание прежде всего своей фактурой, «материалом», однако не только им. В событиях, связанных с судьбой дома знаменитого русского писателя (имя его не называется, но не

трудно догадаться, что это А. П. Чехов) в первый день освобождения Ялты, в событиях, по меркам войны не столь и масштабных, проявляются противостоящие друг другу гуманизм социализма и антигуманизм фашизма, мораль созидания и «мораль» разрушения.

Но рассказы о поре военной при всех своих достоинствах лишь фрагменты того огромного, что хранила память. Вызревало нечто большее. В 1965 году Холендро печатает рассказ «Яблоки», на основе которого чуть позже пишет повесть «Яблоки сорок первого года». Повесть о войне, но не о боевых действиях, не о переднем крае, а о тыле. Построив самобытный сюжет, а самобытность его в простоте (эшелон с яблоками — подарок трудящихся Узбекистана защитникам Родины — идет в Москву, на фронт), автор создал и своеобразный национальный характер. Имя главного героя повести не называется, просто — Старик, и эта нарочитая безымянность еще отчетливее символизирует типичность героя.

Старик прекрасный рассказчик, фантазер, подлинное и вымышленное сливается в его рассказе воедино, но цель его фантазирования совсем не в том, чтобы приукрасить время и людей, а опозитизировать таким способом истинную правду о героическом времени и советском народе, сплотившемся в борьбе с фашистскими ордами.

Автор повести, как упоминалось, родился и какое-то время жил в Ташкенте, и созданный им образ старика-узбека в известном смысле — выражение авторской признательности народу и республике, где он рос.

Высказана в повести одна существенная для писателя мысль, своего рода его эстетическая декларация: «искусство нуждается в честности. Как зеркало, в которое мы смотримся всю жизнь... Приукрашенное — не настоящее. И нет ничего прекраснее самой жизни, а ложь, даже ничтожная, страшна как раз отказом от живого».

Свое эстетическое кредо Холендро высказал, вернее напомнил его, незадолго до выхода другой повести на военную тему — «Пушка», и можно полагать, что в процессе работы над ней проблема верности правде жизни основательно занимала писателя. И он показал правду первых, невероятно тяжелых для армии и народа месяцев войны. Показал разрушение и уничтожение врагом всего, что было создано руками советских людей, человеческое горе, страдания. Вместе с тем писатель рассказал о беззаветном мужестве и стойкости наших воинов, о крепости их духа, о непоколебимой вере в то, что желанный день непременно настанет — враг будет остановлен, повернут вспять, разбит... Это и есть самая высокая правда об Отечественной войне. Ведь и в отступлениях 41-го года, в крови, в неисчислимых жертвах были заложены ростки нашей грядущей победы.

Повесть «Пушка» вышла в свет более четверти века спустя после разгрома гитлеровской Германии. К этому времени уже существовала большая, мирового звучания литература о Великой Отечественной, и не просто было сказать о войне свое слово, не повторив написанного до тебя.

Автор «Пушки» сказал. И благодаря тому, что его художественную фантазию питал личный опыт, пережитое, выстраданное, передуманное им самим в те грозные для Родины дни и ночи, сказал он правду «В повести на 95% есть то, что мы пережили. Я прочитал ее несколько раз, и восставилась в памяти вся наша служба!.. Все совпадает — и то, как нас учили летом и зимой, и то, как мы приезжали с учений и замерзшими руками чистили свои пушки и коней», — говорил о «Пушке» сослуживец Холендро по батарее К. Лысенко.

Повесть автобиографична, о чем можно судить по совпадению фронтового пути и военной судьбы героев с путями и судьбами артиллеристов батареи, в которой Холендро служил. В 1974 году редакция журнала «Юность», где была напечатана «Пушка», организовала встречу оставшихся в живых пушкарей той батареи, и вот что говорил на встрече Дмитрий Холендро:

«Не было в жизни точно такого оружейного расчета — по именам, по характерам — который описан в «Пушке».

Но было утро, когда по внезапному звонку из штаба дивизии взрели пакет с красной полосой, когда боевая тревога собрала наш артиллерийский полк под знамя, когда появились в небе фашистские самолеты. Мы стояли у самой границы, у демаркационной линии, пересекавшей Карпаты и разделявшей нас с фашистскими войсками. Первые бомбы, первые могилы...

Нельзя сказать с категорической определенностью, кто из пушкарей, собравшихся сегодня, кем «выведен» в повести... Но я могу теперь признаться, что бесспорно оглядывался на Толю Кедика, когда писал командира орудия сержанта Белку, на Кирилла Лысенко, когда выстраивал образ ездового Сапрыкина...»

В военных судьбах героев «Пушки» предстает судьба поколения, из последних классов школы, из студенческих аудиторий шагнувшего в огонь войны. Поколения, к которому принадлежит автор.

Разговор о военной теме в творчестве Холендро будет неполным без упоминания повести «Плавни». Во-первых, из относительно крупных произведений автора о войне — она самая поздняя по времени написания и, значит, позволяет судить о его росте. Во-вторых, повесть была замечена критикой и широко обсуждалась в печати.

Слог повести эмоционален и лиричен. События, изображаемые в ней, глубоко трагичны. Неожиданное сочетание лирического и трагичного помогло автору острее и ярче высветить человеческие чувства и характеры. Острее выразилась и сама жестокость войны... Богатый арсенал изобразительных средств, который использовал автор, позволил ему создать яркое, чрезвычайно выразительное художественное полотно.

В своих размышлениях о творческом пути Дмитрия Холендро я обращался к небольшим цитатам из разных произведений автора, и они, думается, подтверждают мою оценку добротности слога писателя, его

требовательную и увлеченную работу над языком. Не обойтись без подобных иллюстраций и в суждениях о повести «Плавни».

Плавни... «Не охватишь глазом заросли камыша, поднявшие к солнцу лезвия длинных листьев. Протоки разной ширины во всех направлениях рубили эти заросли солнечными саблями, а где-то камыш внезапно исчезал, и тогда нараспашку открывались разливы чистой воды, иногда изрыбленной ветром, как море. Вода прикидывалась если не морем, то морским лиманом, плескалась длинной волной, но это все еще была Кубань. До настоящего моря рукой подать, в разгаре рассветов и закатов, нетерпеливо крича, над плавнями носились чайки, залетавшие сюда за рыбой, но самого моря видно не было. За одним, другим, третьим разливом опять темнел камыш, начиная новые дебри, полные вечного шороха».

Но это плавни мирные, с развитием действия повести им предстоит стать военными. Каждый шаг по ним — в разведке ли, при перегруппировке подразделений, в наступлении — шаг не по земле, а по воде, по зыбучим кочкам, по топям — по колено, по пояс, по грудь. И могила погибшего в плавнях воина не будет отмечена деревянной пирамидкой с самодельной звездой... Все погрывает вода.

Пейзаж плавней зрим, предметен. По этим топям пролегла немецкая так называемая «Голубая линия», на которой наши войска вели бои в течение полугода. Пейзаж не только зрим, но и активен по отношению к событиям, человеку. Так же зримы в произведении — и в этом наибольшее проявление его художественности — герои. Рельефнее других предстают двое, композиционно выдвинутые на передний план — санинструктор Ася Панкова и лейтенант Павел Зотов. Оба они молоды, Асе, например, когда уходила на фронт, «не хватило двух месяцев, чтобы окончить десятый», не намного старше ее и Павел, оба ровесники героев «Пушки», что приняли на себя в июне сорок первого удар фашистов на границе и с боями отходили на восток. Больше чем возраст сближает, роднит Зотова и Панкову с теми пушкарями понимание своего гражданского, патристического долга. В выборе героя, как видим, вновь существенно сказывается фактор биографии. Впрочем, этот фактор сказался и при выборе плацдарма действия повести. Константин Симонов говорил, что он пишет о том, что лучше знает. «Плавни» — часть фронтовой судьбы Дмитрия Холендро.

«Плавни» — повесть о жестокости войны и нежности человеческого сердца, и два эти начала так прочно связаны между собой, проявляются в таком органическом единстве, что установить, какое из них является доминирующим, а какое подчиненным, просто невозможно.

Жестокость войны наиболее впечатляюща в гибели Павла Зотова и неизбежном горе Аси (может быть, на всю жизнь), нежность человеческого сердца — в истории их короткой, но сильной любви. В описании любви этих героев кроме, так сказать, открытого текста есть подтекст, на мой взгляд, весьма глубокий, но прочитывается он отнюдь не сразу.



В чем же суть «подтекстовой» мысли? Война ожесточает людей, огрубляет человеческое сердце. Но и в трагических обстоятельствах сердце способно откликаться на зовы любви, добра, людских страданий. Именно так и случилось на фронте с Асей Панковой, когда ее сердца коснулась настоящая любовь. Она высветила, разожгла в ней то давнее, чистое и светлое чувство, которое в жестоких условиях войны, казалось, замерло, отдалилось, пригасло.

Работая над очерком о творческом пути Холендро, я познакомился с письмами, которые присылают ему читатели. Пишем таких у него, как, полагаю, и у других писателей, много. Ведь переписка читателей с писателями — один из факторов, помогающих развитию нашей литературы.

Письма самые разные: впечатления о прочитанном произведении, размышления о литературном герое нередко с проекцией на свою собственную жизнь, обращение за советом — как поступить в возникшей сложной ситуации, несогласие с писателем в трактовке поднятой им проблемы и т. д. Из множества писем приведу лишь малую толику (преимущественно в выдержках).

«То, что вы описали в повести «Плавни», по-моему, ни с чем не сравнимо, только с самой действительностью. Повесть меня потрясла. Настолько она реалистична и натуральна. Я заново все пережил, побывал в плавнях, на дамбах, кочках, на лодках в этом далеком прошлом. Я уверен, что многие ветераны боев в кубанских плавнях ждали такой книги, в которой в деталях описано, как досталась советским людям победа на Кавказе...»

А. Н. Цецхладзе, участник боев на «Голубой линии» (г. Новосибирск).

«Я залпом прочитал «Свадьбу», и, честное слово, воздух Урала (я сейчас в командировке по Уралу) приобрел для меня запах моря и рыбы.

Я геолог, следовательно, много ездил, много видел. Мне кажется, у вас в журнале (письмо в редакцию журнала «Юность». — *И.К.*) не было ничего подобного «Свадьбе». Людей таких чистых я много раз встречал. Именно на таких примерах мы должны воспитывать наших детей».

Борис Розов (г. Москва).

«Прочитала «Финские санки». Из рассказов, которые я знаю у вас, это самое шемяще чистое, доброе и грустное, настоящее...»

Конечно, «Пушка» на одном полюсе, «Санки» на другом, но меридиан у них общий — человечность, несогласие ваше со всем, что против нее. У меня такая борьба сейчас по всем направлениям (а самая грозная — с собой), и вы словно протянули мне в ней руку».

Лидия Сапожникова (г. Киев).

«Рассказ («Без единого слова». — *И.К.*) небольшой, но столько в нем сказано. О любви. Любви настоящей, самоотверженной, до боли шемящей своей бескорыстностью.

Три случайные встречи автора на бесчисленных фронтовых дорогах.

Встречи с людьми, которым хочется просто поклониться. За любовь. За то, что ни кровь, ни смерть, ни страдания не смогли своей жестокостью вытравить из сердца светлое, трепетное чувство. Любовь...

Какой она должна быть у хрупкой голубоглазой девушки, отправившейся в безрассудное путешествие к линии фронта, к передовой с одной лишь мыслью — увидеть своего любимого. Не красавца, не героя, просто рядового воина. Этот поступок сродни подвигу. Подвигу во имя любви...»

М. Лемешева (адрес не указан).

Подобные письма — лучшее свидетельство того, что у Дмитрия Холендро широкий, заинтересованный в его творчестве читатель. Заинтересованный прежде всего в героях автора, человека активной жизненной позиции, добрых дел и открытого сердца.

*И. Козлов*

# ПОВЕСТИ



*ПУШКА  
ПЛАВНИ  
ЯБЛОКИ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА  
СЛОБОДА*



# ПУШКА



1

**Я** был артиллеристом. Когда? Вчера. Вовсе я и не собирался быть им, уже два месяца ходил на литфак знаменитого института, о котором мечтали многие молодые москвичи с душой гуманитарного склада. Кирпичный корпус нашего института краснел в лесу, среди старых, взмывающих под самое небо сосен. Метро обрывалось далеко отсюда, к заветному переулку тащился трамвай, и опоздавшие студенты прогуливали первые лекции. Опаздывали не только мальчишки, но и девушки, живущие в разных концах столицы, и под соснами по загородным дорожкам, поросшим травой и усыпанным толстой хвоей, прогуливались обычно парочками.

Вот это было давно. В той юности, когда мы, не успев как следует передохнуть после недавней школы, сразу пришли в институт.

А скоро мальчишек призвали в армию. Ехали на лекцию, а попали на собрание. Святой долг... Все, как один... Не сразу вошла в сознание неотвратимость больших перемен, раньше обрадовало освобождение от близкой сессии. Странная легкость игры была во всем, даже в эффекте самой этой новости.

— Мама! Я ухожу в армию.

— Когда, Костя?

— Этими днями.

Наши кудри покрыли полы парикмахерских, их вымели стертými венниками, и помнится, как совсем незнакомый старик на улице посмотрел на мою остриженную голову и спросил:

— На службу?

— Ага...

— Веселей! — сказал он. — Служить надо легко. А то спичка бревном покажется.

Добрый прохожий, он был прав, но почему-то именно от его заботливого предостережения впервые кольнуло в сердце.

Но это тоже было давно.

А в казарме я просыпался вчера, совал ноги в сапоги, прыгал по лестнице, спешил наперегонки с друзьями в сумрак утра. Я равнялся на грудь четвертого, пряча зевоту и ерзяя подошвами по земле, а стриженный затылок замирал от ледящего ветерка и напряжения. Моим четвертым был долговязый Эдька Музырь, и я сам был чым-то четвертым...

Мы стояли в нижних рубахах летом и зимой, мы закалялись, выбегая с рассветами на зарядку.

— Вдох! Выдох! — кричал старшина Примак, и мы дышали по команде.

Вчера я писал маме: «Пришли мне, пожалуйста, халвы...»

Московской халвы с орехами. Ее продавали недалеко от дома, по дороге в библиотеку-читальню имени Толстого, где просижено столько долгих и незаметных вечеров. Синие галки за окнами сливались с небом, зажигались уличные фонари... А подальше была почта, откуда мама отправляла посылки, неумело забивая гвоздики в ящик, всегда вкось, так что острые кончики их обязательно вылезали из боковых стенок, и я боялся, не оцарапала ли она себе руки. Пальцы не слушались ее из-за старого ревматизма: пока обстирает шестерых детей — часами руки в воде. Теперь нас стало меньше вокруг нее. Дети растут долго, а уходят быстро...

Из разных мест на адрес, спрятанный под номером почты, присылали мармелад, колбасу, клюквенное варенье в банках, пряники на меду — блестящие лакомств, украшающих могучую каждодневность гороховых супов и пшенных каш. Посылки прибывали раз в пять дней, по строгому расписанию, составленному нами с учетом расстояний от Москвы, от среднерусской речки Цны, от деревни Манухино в ржаных полях...

Вчера мы выворачивали ящики на голый стол, всем расчетом первого орудия третьей батареи садились вокруг и съедали очередные гостинцы в один присест.

Правда, никогда не садился с нами Федор Лушин, хотя изредка брал увольнительную за посылкой и приносил

с почты фанерный ящик, перевязанный шпагатом с сургучными печатями. Федор аккуратно поддевал крышку лезвием грубого карманного ножа и прятал содержимое в головах под матрас. Он молчал, его никто не трогал, кроме Эдьки Музыря, который пересчитывал нас за столом, охватывая глазами посылочные дары и тыча в грудь каждого длинным и острым пальцем. Вдруг он останавливался и вопил:

— Опять нет этого жмота Лушина?

Эдька срывался и бежал искать Федора, а если находил, то орал на всю казарму:

— Жмот! Иди живо за стол! Держи свое дерьмо под подушкой, а с нами садись, пируй! Не омрачай души беспечной!

Мы вразумляли Эдьку, чтобы он оставил Лушина в покое, но Эдька не вразумлялся, и хозяин перочинного ножа Сапрыкин заключал коротко и бесповоротно:

— Псих.

Эдька, конечно, был известным психом, но, если бы не индивидуализм Лушина, мы могли бы лакомиться чаще. Нас было в орудийном расчете восемь душ. Замковый Эдька Музырь, заряжающий Толя Калинин, подносчик снарядов Саша Ганичев, правильный Федор Лушин, три ездовых — коренник Григорий Сапрыкин, средний вынос — Веня Якубович, передний вынос — Семен Агейко. Ну, и я — наводчик Константин Прохоров.

Наводчик гаубицы — это неожиданно стало моим первым обязательным делом в жизни, моей первой профессией.

— Прицел... Уровень...

Я крутил маховички прицельного механизма, поднимая и поворачивая тяжелый ствол и прильнув глазом к окуляру панорамы, опоясанному круглой резинкой.

До сих пор я знал, что панорама — это вид на местность, лежащую перед глазами. Или грандиозное живописное полотно на стенах круглого здания с театральными фигурами и пристройками вроде декораций, воскрешающее чаще всего картины памятных сражений. Панорама Севастопольской обороны, например, о которой я читал мальчишкой...

Но теперь-то я знаю, что панорама — это оптический прибор, вроде маленького перископа, который вставляется в специальную корзинку на прицельном механизме орудия и служит для наводки. В окуляре видны перекрестья и цифры, помогающие мне выполнить команду и

прицелиться, пока Саша Ганичев поднесет снаряд, Толя Калинин подхватит его своими руками и пошлет в ствол, Эдька Музырь захлопнет замок, я наведу орудие, доложу: «Готово!» — и тогда прозвучит короткое:

— Огонь!

Все это мы повторяли без конца, только вместо огня Эдька весело и глупо вопил в полуденной тишине:

— Выстрел!

Наша батарея выезжала в поле, расчеты занимались отдельно, бойцы знакомились с материальной частью и учились выполнять команды.

Каждый день, под солнцем и в слякоть, в метель и морозяку, когда снег скрипел под сапогами так, что до горизонта было слышно, мы выезжали в мирные поля, зеленые от травы, черные от грязи, белые от снега. Ехали, собственно, ездовые, они правили тремя парами лошадей, а пять номеров огневого расчета шагали за щитом. Иногда едва уж поднимали ноги, как вдруг раздавалось:

— К орудию!

Мы отцепляли лафет от передка. Ездовые, пришпорив лошадей, гнали их в укрытие...

— Орудие к бою!

Я помню свою гаубицу, как живую. Она была зеленого цвета, с большим щитом, коротким стволом и длинным лафетом, тяжесть которого мы не один раз проверили своими руками. Самого сильного в расчете, жмота Федора Лушина, не зря назначили правильным. Его дело было «править» лафетом, поворачивать из стороны в сторону для грубой наводки и поглубже вгонять лафетный сошник в землю для упора.

Еще я вижу крупные колеса, которыми, занимая позицию, мы старались не задеть распаханного, уже засеянного поля.

— Мы защитники, а не губители,— говорил старшина Примак, воспитывая нас.

Про эти, такие обыкновенные на вид, простые, как у телеги, колеса, достающие нам до плеч и окованные железным ободом в две ладони, мы услышали на первом же занятии, что они не совсем обыкновенные. Разбуди меня среди ночи, я отвечу: они системы Грум-Гржимайло! Так сказал нам старшина. Почему системы? Не знаю...

На кованом ободу и толстых спицах зимой нарастал лед. «Отстрелявшись», мы цепляли к передку с шестеркой скучающих лошадей свою гаубицу и тянули домой. Наш



ревностный сержант с разрешения командира батареи часто задерживал нас на занятиях, и мы возвращались поздно. В артиллерийском парке до блеска начищали зеленое, облезшее по краям тело гаубицы сухой ветошью и смазывали пушечным салом с крупичами, светлыми и прозрачными, как воск.

Смазки не жалели. А завтра — снова в воду, в грязь, в снег.

И так не просто было очистить нашу гаубицу до контрольной свежести, а в морозы сержант Белка еще останавливал нас у моста через ручей, за которым виднелись теплые казармы, и залихватским голосом командовал:

— Вводная: мост взорван неприятелем! Приказ — занять позицию на том берегу.

Он щеголевато, как влитой, сидел на сером в яблоках Ястребе и первым въезжал в ручей, а мы сворачивали за ним перед целехоньким, чуть заснеженным от степного ветра мостом, вгоняли лошадей в воду и сами лезли в нее, ломая сапогами кромку грязноватого, приставшего к берегу льда. Если гаубица всей своей тяжестью оседала в донную яму, мы, чтобы помочь упряжке вытянуть ее, впрягались в лямки.

Есть в гаубичном хозяйстве такие бурлацкие лямки. Были... Сейчас нет уж ни конной тяги, ни лямок...

Мы вставляли головы в петли лямок, кожаная полоса ложилась на плечо, на грудь, тяги цеплялись за лафет — и вперед по холодной воде, из воды. Лямки врезались в тело.

Вчера под навесом орудийной стоянки мы по два часа сколачивали куски льда с колес системы Грум-Гржимайло, и Веня Якубович, срывая замерзающие слезы с ресниц, шептал:

— Я больше не могу.

Полы шинелей били по ногам, как ледяные доспехи, наши пальцы становились красней, чем от кипятка, кожа на них трескалась, но командир орудия, мерно ступая, никуда не торопясь, ходил рядом, пока мы приводили в порядок свою гаубицу, свою пушку-старушку, эту неповоротливую пушчонку.

Гаубица не пушка. Грозное орудие для навесного огня. Пушке не достать — гаубица достанет. Из далекого укрытия она за добрый десяток километров может обрушить свои круто падающие снаряды на чужое убежище. Пушке не пробить — гаубица разворотит. Гаубица.

Но между собой мы называли ее ласково — пушка. Это было уменьшительное имя, необходимое ей, как ребенку. Ведь не скажешь гаубичка, а требовалось. Она была наша, мы взяли ее в свою семью, в самом деле, как живую.

Восемь душ и гаубица.

И семь лошадей.

Шесть в упряжке, а седьмым был Ястреб, жеребец со взбалмошным характером. Ястреба кормил я, поил я, чистил я, а гарцевал на нем сержант. Но уж такая судьба — все наводчики ухаживают за командирскими лошадьми, а командиром нашего орудия был сержант Белка. Андрей Андреевич. Недавний выпускник сержантской школы. Хромовые сапоги по праздникам, красивое лицо с монгольскими глазами, звонкий от молодости голос и отдельная от нас жизнь. Не в другой комнате, а в другом мире. Он командовал нами, но ни с кем из нас не старался сблизиться.

И хорошо, что не лез с расспросами, не заедал объяснениями. Это отличало его от нудных наставников и неуправляемых распекателей, громогласных и негрозных, как бабы. Были и такие командиры орудий. А Белке вполне хватало для общения с нами коротких командных фраз. Он нас словно не замечал.

Мы его тоже скорее не любили, и не о нем сейчас речь, а о наших мучителях и помощниках, наших лошадях.

— Отставить!

— В чем дело, товарищ старшина?

— Это в колхозе лошади, а у нас кони!

Вчера мы нещадно скребли своих коней железными скребницами с мелкими, как у пилки, зубчиками и жесткими овальными щетками на ремешках. Мы не только поили и кормили своих лошадей три раза в день...

— Отставить!

— Есть, товарищ старшина.

— Сколько можно воспитывать? Высшее образование вроде бы!

— Незаконченное, товарищ старшина.

— Шуточки!

Мы не только кормили и поили своих коней, чистили стойла в длинных конюшнях, мы еще трижды в день выметали пыль из шерсти, длинной и короткой, черной и пегой, белой и серой. Кони у нас были разномастные...

Сапрыкину, Лушину или Семену Агейко почистить коня, убрать конюшню — занятие, привычное с детства, они

и тут были, как дома, а большинству из нас, горожан, это пришлось делать впервые и сначала показалось даже интересным. Через три месяца Веня Якубович проводил рукой против шерсти своего Идеала и плакал натуральными слезами. Пыль взвивалась из-под его пальцев, как из-под тележного колеса, а назавтра предстояла полковая выводка конского состава.

Выводка лошадей проводилась торжественно, как праздник. Высокий, широкогрудый, светловолосый богатырь из былины, настоящий Буслай, командир полка Влох запышал в конскую шерсть ладонь, обернутую белоснежным платком. И потом укоризненно смотрел на платок. Было отчего заплакать Вене.

Он бил коня по заду, и пыль взлетала над конским крупом.

— Идол, а не Идеал.

— А ну! — усмехался Сапрыкин и подлазил под коновязь, брал в свою деревенскую руку щетку Вени, потому что свою берег, и, легко замахиваясь, начинал гулять по косматой спине коня взад-вперед. Ему бы спрятаться, пригнуться пониже, а он привставал на цыпочки и замахивался все шире. Вместо него гнулся, приседал и сжимался Веня, прячась от всевидящих глаз старшины.

— Якубович!

Голос старшины гремел, как будто он обращался не к одному, а ко всем артиллеристам Красной Армии. Горбясь и цепляясь громоздким туловищем за столбы коновязи, Сапрыкин лез на свою сторону, оставляя Якубовича наедине со старшиной.

— Будем действовать сами!

Деловито подавалась команда:

— Почистить мошонки!

В первый раз услышав ее, мы растерялись.

— Что это?

— Это? — в свою очередь спросил старшина Примак без всякого удивления — у него никогда не менялось выражение лица, возмущался ли он, смущался или даже шутил, всегда оно было озабоченно-строгим, а голос всегда громкий, чтобы все слышали. — Что такое мошонка? Объясняю. Это орган. Проще говоря, мужское достоинство. Знать надо, люди с высшим образованием. Не маленькие.

Ни у кого из нас не было высшего, даже незаконченного, но старшина Примак часто подчеркивал этим нашу ответственность перед службой и самими собой.

Для чистки мошонок полагались белые тряпки, намоченные под краном. Веня Якубович вытирал этой тряпкой свое круглое губастое лицо.

— Я больше не могу.

Он клал тряпку на коновязь, дул на озябшие пальцы, скрюченные в горсть, прятал руки в карманы шинели и матерился. В детстве Веня играл на скрипочке. Он сам так говорил, потому что скрипочка была маленькая.

У нас был музыкальный расчет.

Вчера мы сидели на пустой клубной сцене во флигеле старых казарм или на эстраде дачи Розлуч, когда полк переместился в Западную Украину и занял под летние лагеря эту дачу, служившую местом отдыха для польской знати. Подтянув длинную скамейку к роялю, мы слушали, как Эдька Музырь щемяще играет «Песню без слов» Мендельсона. Эдька приготовил ее для поступления в консерваторию, где его ждали новые ноты и программы, но вместо этого сделался замковым гаубицы. Он не стал гордостью консерватории, но все еще был гордостью семьи, и мама и сестра писали ему, чтобы он по возможности берег руки.

Каждый раз, когда ему удавалось поиграть, а нам послушать, мы твердили, что он играет не хуже, чем полгода назад. Звуки Мендельсона по-прежнему уносили нас далеко от дачи Розлуч, над которой, тихо шумя, покачивались карпатские сосны, от соседней речки, называемой чаще не рекой, а демаркационной линией, от того, что за этой линией, в каких-то двадцати километрах от нас, стоят фашисты и что каждый день, нарушая границу, самолеты с крестами, еле заметными в голубой весенней высоте, гудят над нами... По ним не разрешалось стрелять во избежании провокаций...

Мы хвалили Эдьку, а он мучительно стеснялся, что не играет новых вещей.

— Когда же разучивать, ребята?

Эдька смотрел на пальцы, отвыкающие от клавиш, и цокал языком. И вдруг, смеясь, загибал пальцы и показывал, сколько осталось служить. Три месяца, два... На дни пальцев было маловато, а на месяцы уже хватало.

— А сейчас,— волнуясь, сказал Эдька на даче Розлуч,— Чайковский... «Баркарола».

Еще прошлой зимой мы уговорили Эдьку не валять дурака и участвовать побольше в художественной самодеятельности. Аккомпанировать хору он все же отказался.

Он боялся, что совсем «заколотит» руки, но вдруг Эдька с увлечением запел. У него обнаружился срывающийся опереточный тенорок, над которым он смеялся и который поэтому не мешал серьезной музыке, как шутка не мешает серьезным мыслям. Так или иначе Эдьку освободили от нарядов по кухне и конюшне, он бегал на репетиции, а там, где пели, был рояль.

Болтая длинными, тощими ногами в раструбах кирзовых голенищ, покачиваясь и переступая взад-вперед по сцене, Эдька осторожно поддерживал за талию крупнотелую жену командира полка, стрелял глазами по сторонам и пел вместе с ней:

Под дугой звенят,  
Звенят бубенчики,  
А мы сидим с тобой  
Вдвоем, как птенчики,  
Тепло в санях,  
Не страшен нам мороз!..

Мерина-коренника теперь драил один Саша Ганичев, а раньше за этого мерина они отвечали вдвоем с Эдькой, как городские неумехи. Это им позволили, поскольку нас было восемь душ на семь коней. Эдька чаще и чаще извиняющимся голосом гнусавил:

— Саша, репетиция...

Зато вот полилась «Баркарола»... Хорошо это было!

В ту ночь Веня Якубович дежурил по конюшне. Размягченные музыкой, мы пошли проведать его перед отбоем. Кони стояли под открытым небом длинным строем, в пятнах света от лампочек, в тенях веток, как тигры. Под соснами лежали полосатые поляны от теней, кони всхрапывали, топали во сне, стегались хвостами. Пахло навозом и мочой.

— Якубович! — крикнул Саша поддельным голосом старшины.

Саша мог, у него получалось, и мы заранее улыбались, зная, как испугается Веня и как он потом обрадуется, увидев, что это мы. Мы попрятались. Дневальный должен был выскочить, одернуть гимнастерку, доложить по форме. Но Веня не появлялся, не отвечал. Мы вышли из-за конских крупов, из-за деревьев, переглянулись и позвали своими голосами:

— Веня!

В тишине послышалось: плюх, плюх, плюх. Где-то боевой друг накидал у своих ног навоза. Пора было бежать

туда с совком и метелкой. Замедлишь, а уже в другом месте: плюх! Неутомимые кони даже во сне не давали дневальным передышки. Коней было много...

— Веня!

Мы рассыпались искать его.

На тылах коновязи дымилась свежая остроконечная навозная куча. Эверест, сложенный лопатой. Зимой хорошо было спать на этих кучах — тепло. Шепчешь себе: «Нельзя, нельзя...», прислушиваешься к шлепкам, доносящимся из глубины конюшни, думаешь, что надо и песок прихватить, потому что уже слышится и журчанье, и засыпаешь... Летом падай на траву, но под прикрытием той же кучи, чтобы тебя не обнаружил старшина Примак, возникающий бесшумно, как Мефистофель. Он мог наказать дневального, и это было бы справедливо, потому что дневальному запрещается спать. Но за хорошей кучей можно было забыться на две минуты... Что-то вспоминалось, о чем-то мечталось, или никого и ничего не было вокруг и внутри. Лежишь, а звезды над тобой тоже из нереального мира, как во сне.

Обхватив голову руками, зарывшись лицом в навоз, Веня распластался на куче. Плечи его тряслись.

— Веня!

Он повернулся, сел, испуганно вскинул голову.

— У тебя что-то случилось?

Веня помотал головой, провел рукой под носом, по щекам. Глаза его в опушке густых ресниц смотрели на нас с досадой. От нашего радостного, даже праздничного настроения ничего не осталось. Мы забыли о нем. Негритянские губы Вени пошевелились и сложились в привычные слова:

— Я больше не могу. Хоть стреляйся!

Это уже было непривычным, а голос Вени, тихий, далекий, звучал решительно от отчаяния. Эдька рухнул перед ним на колени. Два длинных, растопыренных пальца застыли у самых глаз Вени.

— Идиот! Видишь, сколько осталось? Всего два месяца! И мы будем дома! Страстная площадь... Москва-река... Большой театр... Колонный зал... Историческая библиотека... Третьяковка... Консерватория... Парк культуры... Воробьевы горы... Девушки! Веня! Голубушка! Потерпи!

Пока он фонтанировал, я отряхивал крошки навоза с рукава Вени, а Саша сказал ему неожиданно и, как нам показалось, беспощадно:

— Белоручка! Противно смотреть и слушать. От меня этого никакой Примак не дожидается. Дудки! Я люблю жить! Он прилег на траву и жевал соломинку. Веня потупился.

— Да я так... сморозил...

А Эдька вздохнул:

— Ах, Веня, Веня! Зачем ты взял себе этого косматого коня?

— Я боюсь пушки,— тихо признался Веня.

— А где твой напарник? — спросил я.

— Побежал за табаком.

— Кури и ты.

— Когда я дежурил по конюшне,— вспомнил Эдька,— я ни минуты не сидел на месте. Сядешь, и сразу рождаются грустные мысли. А я рыскал, подставлял лопатку под хвосты, стараясь угадать момент. Иногда ждешь — зря. А иногда — бац! — сразу в лопату. Ура! Я невольно начинал петь. Так я впервые заметил, что у меня есть голос.

— Ладно,— выплюнув соломинку, оборвал Эдьку Саша.— Никто ничего не видел. Ничего не было. Успокоились.

Но Эдька не мог успокоиться.

— А убить нас и на войне успеют.

Мы посидели молча, обняв подтянутые колени и припав к ним подбородками — удобная поза, когда сидишь на земле и хочешь побыть с самим собой. В соснах над нами беспокойно перекрикнулись ночные птицы. Я подумал вслух:

— Если война — тогда какие два месяца? А?

— Откуда война?

— Может начаться... Каждый день...

— А у нас пушка учебная.

— Верный признак, что ничего не начнется...

Нам все время твердили, что это гаубица учебная. На боевых стрельбах мы делали не больше трех выстрелов. То ли снаряды экономили, то ли гаубицу берегли. Где-то на артиллерийском складе было новое боевое орудие, которое держалось в секрете, в неизвестном месте.

Эдька тоненько запел:

Без цели и ловко и метко  
Все время стреляет Отметка,  
А рядом подлец Идеал  
Подарочек образовал.

— А-а, а-а, подарочек образовал,— подхватили мы.

У нас было много самодельных песен на уже известные мотивы. Они не сочинялись, эти песни, а складывались неожиданно и сообща всеми нами. В этот раз Эдьке пришел на память мотив популярной в то время песни о злодейке-акуле, которая захотела напасть на соседа-кита. Распевая эту песню, мы и не гадали, что ее героями в шутку станут наши безобидные кони.

Тигрицей грызется Панама,  
Дневальных замучила прямо.  
А рядом подлец Идеал  
Вдруг сделал Панамский канал!

Эдька мстил Идеалу за товарища. Веня проглотил комок в горле и улыбнулся.

— А-а, а-а, вдруг сделал Панамский канал! — разухабисто прокричали мы хором.

Никто и не заметил, когда появился старшина Примак. Но он стоял перед нами. Я подпихнул Вене его карабин, Веня вытянулся перед старшиной, и все мы встали и услышали вблизи и вдали смачные — плюх, плюх...

— Товарищ старшина! — сказал Веня довольно громко, словно пытался перекрыть своим голосом все другие звуки.— Никаких происшествий не случилось!

Когда старшина Примак был особенно озабочен, у него не только брови сдвигались, но даже и губы сдавливались до побеления. Он засунул большие пальцы обеих рук под ремень, рывком разгладил гимнастерку впереди и на боках и зашагал вдоль батарейной коновязи. Якубович вприпрыжку пустился за ним, мы поплелись чуть сзади, предательски отставая.

— Ребята,— прошептал я,— Вене амбец... Надо помочь.

— Как?

— Утром сказать врачу...

— Что?

— Бродит по ночам. Лунатик.

— Слезы,— прибавил Эдька.

— Веню надо отправить...

— Куда?

— Домой.

— В санаторий,— ухмыльнулся Саша.

Высокий и весь не подтянутый, а какой-то втянутый в себя, старшина шагал, заглядывая под ноги коней.

— Так, так,— замечал он на ходу дымящиеся комки,



будто считая, и, остановившись, повернулся к Якубовичу: — Четырнадцать происшествий! А это что? Панамский канал? Два наряда вне очереди! А вам — по наряду! Каждому!

— Есть! — облегченно вздохнул наш квартет.

Но мы не успели отстоять эти наряды. На рассвете лагерь бомбили.

## 2

Заместителя командира полка по хозяйственной части бегом пронесли на санитарных носилках, и его седая голова была красной — мы не сразу поняли отчего. Или не сразу поверили. Рядом с носилками семенил молодой начфин, не отрывая глаз от окровавленного майора, а тот хрипел:

— Я убит! Гридасова нет... Ты за меня!

У начфина падали очки с носа. Страдальчески морщась, он поддерживал их одной рукой, а другой ловил руку майора. Рука опять срывалась с носилок, доставая до травы, и за ней стелился темный след.

— Фуры под снаряды, — сипел майор, — мобилизовать!

К ночи полк выступил, оставив на месте лагеря разбросанные доски от упаковки разного снаряжения, рванные, свернутые, а кое-где и натянутые, но уже пустые палатки — их уберет кто-то, кому поручено, — распахнутые склады с продовольствием, у которых суетились голосистые люди, и домик-читальню с закрытыми ставнями и забитой крест-накрест дверью. В этом домике, куда из-за порхающей марли на окнах долетали хлопки по волейбольному мячу и отголоски непрерывных споров с судьей, в этом домике, где все же держалась ограниченная его стенами тишина, я часто встречался с майором Влохом. Мы говорили о Гаршине и Роллане. Дней шесть тому назад командир полка спросил меня:

— Поедете в Москву?

Я растерялся.

— В Москву?

— За книгами.

Наверное, я так долго хлопал глазами и улыбался такой бесконечной улыбкой, что майор рассмеялся.

— Вернемся в зимние казармы, к тому времени нам отстроят новый клуб. Вы москвич, знаете магазины и книги как будто знаете. Пока начальник библиотеки распо-

ложится, вы скатаете. Дадим деньги. Дадим командировку.

Мы занимали казармы в Карналовичах, большом селе, и клуб во флигеле возле штаба. Значит, уже строили. Ну, хорошо...

Съезжу в Москву, покажусь в военной форме маме, старшим сестрам и младшим братьям, смогу пофорсить и перед знакомыми, если успею, вот как! И оставлю полку память о себе книгами. Уж я постараюсь, поношусь по магазинам, из-под земли достану.

— Спасибо за доверие, товарищ майор. Может быть, отца увижу.

— То есть?

— Он сейчас далеко, на востоке.

Майор Влох повернул ко мне голову, сузил свои ясные глаза.

— Это почему?

— У нас семья большая. И отец поехал на работу за Читу.

— Золото мыть? — ухмыльнулся майор, снова заблуждав глазами по книжной странице.

— В геологическую экспедицию. Он там начальник техснаба. Вспомнил молодость. Ну, и зарплата, конечно, выше, чем была в Москве.

— Давно уехал?

— Три года почти... В институт без него... В армию без него... Возможно, он тоже будет в Москве.

Я подумал: а что, если в самом деле так получится, — и у меня пересохло в горле. Я представил себе, как отец для вида не узнает меня, спросит: «А это кто? Костя! — и покрепче стиснет, уколов усами. — Ну, Костя, пойдёмка в баню, обсудим жизнь. Проблемы, конечно, есть? Вырос. Мать, собери нас...»

Не пришлось.

А демобилизация?

С началом лета мы перестали стричься наголо. Ведь это было последнее лето нашей службы! Не так, чтобы мы со всех сторон обрастали, но норовили оставить надо лбом чубчик. Даже непримиримое сердце старшины Примака прощало нам эту маленькую человеческую вольность. Чубчик имел свою традицию и назывался — второгодок. Ох, чубчик! Не сразу и заметишь, но как мы лелеяли его и расческу заранее носили в кармане. Было в этом что-то уже не от мальчишества, а от возмужалости,

от послужившего мужчины. Придешь в московскую квартиру, снимешь кепку, вынешь расческу и причешешь комочек волос набок.

— Откуда, Костя?

— Из армии.

Не пришлось.

Мы не сомневались, что вернемся в Москву, увидим знакомые улицы, полные прохожих, и постучимся в памятные двери, и позвоним по заветным телефонам. Но когда теперь? Сколько будет длиться война?

Полк двигался к демаркационной линии. Было светло от луны, виднелись придорожные кусты и сосны в горах. Луна висела на небе прожектором, освещая конские морды, которые качались и качались в такт шагам. Впереди на смазанных колесах бесшумно катились гаубицы за шестерками сильных коней, парами шагавших в упряжках, а сзади скрипели фуры, крестьянские повозки с косыми, как у корыт, бортами, только не из досок, а из жердей. Везли снаряды.

Забрали с собой все снаряды из лагеря, и когда встали на позиции в предрассветной мгле, штабеля плоских ящиков выросли у какого-то ручья, обросшего лопухами.

Мы отрыли площадку для орудия на косом берегу, а рядом — щели для себя, упрятали коней в кустарнике, в овраге неподалеку. Все походило на учения. И тревоги в лагерной жизни не были редкостью. Но утренние взрывы... Но голова майора в крови... Но рука, волокущаяся по траве... И штабеля снарядных ящиков. Война!

Первый день ее прошел в поразительной тишине. Где-то впереди нас медлила пехота, с нею были наши стреляющие командиры и корректировщики-вычислители, от них не поступало никаких сигналов. К ночи наломали побольше веток, прикрыли их плащ-палаткой и сверху растянулись на этом общем ложе. Прибежал Эдька Музырь, крича:

— Финляндия вступила в войну на нашей стороне!

Мы приподнялись.

— Откуда ты взял?

— Слышал от повара. А ему привезли мяса — сказали.

Толя Калинин заметил с неожиданным для него суровым достоинством:

— Не зря мы их учили!

У него старший брат погиб на финской. Было странно и незнакомо видеть его суровым, такого забавного, курносого ангела с голубыми глазами, всегда розового, зара-

нее румяного от застенчивости. Он скучал по молоку. Во время полевых занятий или учебных походов, когда разваливались передохнуть, он нюхал траву и мечтал:

— Сейчас бы стаканчик молока!

— От бешеной коровы, — замечал Семен Агейко.

Что это, еще вставало в памяти прошлое? Не хотелось прощаться?

Был случай, когда лихой Семен вместе со своей посылкой пронес через проходную бутылочку водки, заскочив за ней в магазин и там же записав ее под фанерную крышку. В комнате, извлекая из ящика луковицы и закуску, он хвалился:

— С собственной грядки! Горше меду, но слаще сахару!

А Толя выбрался из-за стола, подняв с колен пилотку и надев ее поглубже:

— Вы пейте, а я у двери постою. Вдруг Примак!

Он тогда особенно покраснел, потому что не пил ни глотка, словно баптист, и даже смотреть не мог, как пьют.

— Кому твою порцию, Малинкин?

— Всем.

Мы звали его Малинкиным за цвет лица. Однажды командир батареи лейтенант Синельников перед строем спросил:

— Как ваша фамилия, товарищ боец, Калинин или Малинкин?

Толя запунцовел, а в строю засмеялись, не выдержали.

Торопливо хватив водки, мы грызли лук, такой же злой, как и сочный, он отшибал запах и вышибал слезы на глаза, у Толи тоже, хотя он лука не трогал, а дожидался медовых пряников.

— Ой, и прянички печет моя бабуля! — кричал Семен.

— Почему ты мать называешь бабушкой? — спрашивал Толя.

— Так она у меня старая! — отвечал, смеясь, Семен. — Я в семье пятый и девятый!

— Как так? — вскинув на него сверлящие глазки, недоумевал Сапрыкин.

— Пятый солдат, остальные девки. Мои старички сложились через одного...

Сапрыкин крутил головой, а Семен хохотал и высыпал на стол крупные желтые пряники из белого мешочка.

— Для тебя, Малинкин. Спецзаказ! Держи!

А сам подбрасывал пряник и ловил на лету зубами.

Ловкий он был, Семен Агейко, все получалось у него, загорелого парня с блестящими глазами. Распахнет их при первом крике старшины: «Подъем! Кончай ночевать!» — и они уже блестят.

— Ой, чую, сегодня меня пошлют в город за продуктами. Сердце соловьем поет, ей-ей! Не слышите?

Мы отмахивались от Сенькиной болтовни, но еще на зарядке старшина Примак объявлял:

— Агейко! После завтрака сразу запрягайте. С обозом в город.

— Как ты угадал? — лепетал Калинин, замирая от страха, что осмелился заговорить в строю.

— Я везучий смолоду.

— Разговорчики, Калинин! — громыхал старшина Примак, а мы пускали пузыри от смеха, потому что все слышали слова Семена и никто — голоса Калинкина.

За разговорчики в строю ночью он мыл полы в нашей комнате, когда все мы уже смотрели сны о разных городах и селах. Калинин расстилал на полу большую, во весь размах рук, мокрую тряпку и тянул за собой по шершавому цементу, а тряпка то сворачивалась, то цеплялась за ножки стола и кроватей. А то, заканчивая свой тягостный труд, Толя наискось проходил по вымытому полу за веником или ведром, забытым в углу, и, как он ни старался, пересекая комнату на носках и покачиваясь, все равно где-то терял равновесие, и по вымытому полу петляли следы его сапог, опрокидывалось ведро, которое он пытался зацепить и подтянуть веником — короче, случалось что-нибудь такое, после чего приходилось все начинать сначала.

— Не получается, Калинин? — трубным шепотом спросил его однажды старшина Примак, появившись среди ночи именно в такую минуту.

Толя обмер, а старшина, засучив рукава, сказал:

— Дайте-ка тряпку.

Толя протянул ему тряпку. Длинный старшина низко нагнулся к ведру, опустив в него тряпку одним концом, там, в ведре, повернул и вынул, выкручивая на ходу и давая стекать воде, не уронив на пол ни капли, взмахнул тряпкой, как фокусник, и она неслышно легла на пол без складочки, потому что он поддернул ее за углы, пока она ложилась, а он за эти же углы потянул ее за собой, пятясь без рывков, ровным шагом. Толя носил воду из туалета, а старшина ласково обливал пол и вытирал его полосою за полосой, под стол и кровати забрасывал тряпку

с одной стороны, а вытягивал с другой, вымыл всю комнату за каких-нибудь полчаса, и пол стал не мокрым, а чуть влажным и свежим.

— И всего делов!

— Я стараюсь,— с упавшим сердцем обронил Толя.

— Правильно! Вы старательный боец, Калинин,— поддержал его старшина, откатывая рукава гимнастерки.— У вас получится. А теперь...

Толя выкатил свои голубые глаза и запылал до ушей, уверенный, что теперь Примак заставит его самостоятельно повторить всю операцию, но старшина договорил тем же шепотом:

— ...пойдемте чай пить.

В коридоре, за тумбочкой, они пили чай с сахаром, который старшина вынул из кармана.

Мы просили Толю:

— Ну, расскажи, как вы мыли пол и пили чай со старшиной. Тихо, ребята!

Толя восхищенно повторял историю, в который раз маково расцветая от внимания старшины, захлебывался и, беспомощно помахав руками, разводил их: нет слов — а мы хихикали. В отсутствие Толи Эдька тоже часто демонстрировал, как старшина мыл пол и что было дальше. Мы не могли поверить в сердечность старшины, убежденные в его природной дубовости, и смеялись от души, когда Эдька передразнивал Толю. Это уже был маленький концерт, для которого Эдька напяливал самую большую пилотку на себя. Голова Калинкина к юности облысела пятнами от стригущего лишая, и он стеснялся этого и всегда носил большую пилотку на оттопыренных ушах.

— Ты прости, Толя, что мы потешались над тобой. Это было без зла.

— Да ну! Пустяки.

— Нет, как-то, вспыхнув, ты назвал нас дурачем. Помнишь?

— Я тогда еще был живой.

— Ты три дня не разговаривал ни с кем из нас.

— Я обиделся за старшину.

— Прости нас, Толя.

— Я хочу спросить о двух вещах. Мы победили?

— Да.

— А Галя где?

- Она села в машину за Днепром.
- Я сам посадил ее в машину.
- Верно, мы еще удивлялись, где ты отыскал машину, уходившую в тыл.

Но это было так далеко от той ночи, когда прибежал Эдька Музырь и растрезвонил, будто Финляндия вступила в войну на нашей стороне. Сапрыкин с непонятной иронией осадил его:

— Ну, раз Финляндия за нас, можно спать.

Мы тут же все уснули, крепко и молчаливо, собираясь наутро дойти до этой самой демаркационной линии и перейти ее, чтобы бить врага на его территории, как учили нас на каждом политзанятии. Утром политрук батареи сообщил, что финны действительно начали войну, только против нас, заодно со своим Маннергеймом и гитлеровцами, и румыны Антонеску против нас, и венгры Хорти, и, возможно, мы пойдем не за демаркационную линию, разделявшую нас с немецкими фашистами на территории павшей Польши, а за близкую речку Санок, на венгерскую землю.

В тот же день мы получили потрясшую нас весть: за нашей спиной оставлен Перемышль, немцы прорвались. Полетели неожиданные команды об отходе. Мы прицепили гаубицы к передкам с упряжками и потянули их в глубь Карпатских отрогов, не сделав ни одного выстрела, отпустив крестьян с мобилизованными фурами.

### 3

Но не все фуры оторвались от нас. Часть с молодыми возчиками потянулась за нами дальше, смешавшись с военными повозками. На возчиках зазеленели новые гимнастерки, затопорщились брюки-галифе, ноги влезли в сапоги с кирзовыми голенищами. Все, что вывезли каптенармусы из лагерного склада, пригодилось теперь для новобранцев, называвших нас панами.

— Так, пан.

— Добже, пан.

Это были испуганные и поэтому послушные, даже угодливые пареньки из западных украинцев, исподтишка молившиеся на деревянных мадонн у перекрестков. Мадонны со скорбными коричневыми лицами, растрескавшимися от солнца и дождей, прятались на столбах под

углами из двух досок, как под скосами крыш. Их много понаставили вдоль дорог страждущие католики — от зла, от горя, от бед...

По дороге *западники*, как мы их стали называть, обменивались брюками и гимнастерками, потому что некогда было сразу подбирать форму по росту, а человек — особенно молодой — всегда человек, и даже в неразберихе спешного переодевания ему хочется хотя бы грубого порядка на себе. Навинчивали звезды на пилотки, брали моду носить их с гонором, чуть набекрень.

Наши повозки были перегружены до предела, и мы, уставая топтать за орудийными щитами, рассаживались по фурам. Свешивали со снаряжных ящиков ноги, просунув их в широкие щели между жердями. Сосны лезли по диким кручам к летним облакам. Петлями обвязывала лесистые склоны дорога, прижималась к ним, забиралась выше... Мы спрыгивали с фуры и шагали рядом, часто хватаясь за жерди, помогая лошаденкам (в фурах терлись об оглобли мизерные какие-то крестьянские лошаденки) одолевать перевалы и дожидаясь спуска, чтобы усесться снова и дать ногам отдохнуть. Но не очень-то удавалось. Опять скользили копытами лошаденки, царапаясь на склон и срывая подковы...

За день не остановились ни разу.

Мы отступали, не зная, что делается вокруг. Сейчас-то я могу сказать вот так просто и прямо, а тогда нам и в голову не приходило это слово. Мы не могли отступить... Я вижу эту карпатскую дорогу, и камни на ней, измолотые в щебень орудийными колесами, и колеи, пробитые в твердом грунте и становящиеся все глубже от многих других колес... Щебенка хрустит под моими сапогами. Тут и там на дорогу осыпаются от незримой земной дрожи камни, слетают ручьи по желобам, проточенным водой в кручах. В них кипит быстрая и светлая вода... Я опять иду по этой дороге, первой дороге отступления, и сердце мое болит старой болью.

Я бегу и кричу:

— Семен! Что ты делаешь?!

У края обрыва, под которым шумела река, Агейко тряс нерослого, но крупноголового западника, уцепившись руками за грудки.

Мы только что, под первыми звездами, встали на привал. Западник упирался изогнутыми, будто подломленными ногами и не отталкивал Семена, а пытался повиснуть



на нем. Семен срывал с себя, отбрасывал его руки, до обрыва оставалось меньше шага, а парень даже не кричал, онемев от страха, и это меня особенно подстегнуло.

— Стой!

Семен не слышал. Я ударил его, с трудом разгреб обоих.

— Дай мне пистолет! — потребовал Семен.— Пристрелю собаку!

— За что?

— Провокатор немецкий!

Провокатор не убежал, застегивая разорванный ворот и машинально приглаживая рукой растрепанные и взмохшие прядки волос. Семен малость остыл и покосился на западника одним глазом из-под вскинутой брови.

— Повтори, что мне сказал. Ну!

Я смотрел на парня. У него были ошарашенные ребячливые глаза.

— Как тебя зовут?

— Станислав, пан,— ответил он, сделав ударение на «и», как здесь было принято.

— Не пан, а товарищ.

— Так, пан.

— Ты нарочно?

— Ниц, пан.

— Ну, вы беседуйте, товарищи,— напомнил о себе Семен,— а я пошел до политрука.

— Не спеши. Он же никуда не удирает.

Мы отошли от обрыва и сели на корягу у очередного ручейка, перебежавшего дорогу и слетающего в реку. Станислав стянул с себя гимнастерку, вытащил иголку с ниткой из пилотки, которую держал в кармане, и стал зашивать разрыв у воротника.

Привал был прямо на дороге в горах, свернуть было некуда, отдыхали, где встали. Разлетелась команда напоить коней, и Семен ушел за брезентовым ведром, а я спросил Станислава:

— Почему ты пилотку не носишь? Звезды боишься?

— Нет, пан. Она мне мала.

Он говорил на своем языке, полном галлицизмов, порой трудных для понимания, хотя мы привыкли к украинской речи. И сейчас, вспоминая, я записываю его слова уже в переводе.

— Что ты ему сказал, Станислав? — спросил я.

— Ничего, пан! Ничего!

— Не ври! Он чуть не убил тебя. За что?

Станислав умолк и вдруг с усмешкой, как мне почудилось, кивнул на мою кобуру.

— А вы меня не застрелите из пистолета, если правду скажу?

— Не застрелю.

Он не усмехнулся. Это его рот скривило судорогой, и он едва связывал свои слова.

— Я сказал, немец нас побьет.

Станислав задохнулся и посмотрел на меня.

— Почему побьет?

— Он механизированный. А у нас кони. Конь-то устает! Коню овес нужен. Коню спать нужно. А у немца мотор!

— Где ты видел немцев?

— Как где? Они ж были у нас!

Это правда. Два года назад фашисты, напавшие на Польшу, были в этих местах, в этих горах, вот здесь, где мы сидели, и, может, тоже курили на этой коряге. Были, значит, и в селе Станислава. Но Красная Армия помешала им овладеть Западной Украиной, поспешила на помощь братьям. Да, фашисты были здесь и отошли за линию, которую им показали.

— Я их видел, немцев, своими глазами. Так, как вас. Совсем нет ни конных, ни пеших!

Тогда этот Станислав был подростком. Мало ли чего могло со страху померещиться ему, мальчишке, увидевшему мотопехоту под своими окнами?

— Побьет, говоришь?

— Но я того не хочу! Я того не хочу! Потому что смерть ваша — это смерть наша!

Поразиться можно было тому неистовству, с которым он кричал:

— Але я ж не хочу того! Не хочу! Матка боска Ченстоховска!

И я сказал в ответ на отчаянное откровение его:

— Не бойся! Мы побьем фашистов!

Зараженный волнением Станислава, я сам выкрикнул это с ораторской страстью, хотя не было ни трибуны, ни толпы. Были только я и Станислав на коряге у карпатского ручья.

— Увидишь!

Как будто это можно было доказать завтра...

...Завтра застало нас на дороге, которая вилась и вилась среди гор. Показалось большое село с плакучими

ивами у воды, в ветре и солнце. Прикрывая реку и пруд, трепеща и помахивая своими метелками, ивы кипели — до самой колокольни. Белая прямоугольная башня костела с остроконечным колпаком из черепицы и большим проемом для колокола высоко вставала из кудрявой зелени в конце села. С этой колокольни нашу колонну, едва мы начали втягиваться в село, обстреляли из пулемета... Видно, пулеметчики пропустили нашу разведку и походное охранение, дождалась нас.

— Ложись! — долетели командные голоса, забиваемые дробью неожиданной стрельбы.

Головные расчеты залегли. Бойцы, увлекаемые своими сержантами и просто смельчаками, окружали колокольню, перебегая от хаты к хате, перепрыгивая через крепкие плетни. А с нее все колотил не колокол, а пулемет.

Не все могли залечь и отстреливаться. Ездовые заворачивали коней, растаскивали по сельским закоулкам орудия.

Село лежало под горою, на самом выходе в долину, впереди вразмах открывались поля и небо. Наш дивизион спускался последним, и майор Влох развернул его и нацелил на колокольню. Нам виделись все улицы села. На дороге сзади нас, за густой волной мелкоколосья, сгрудились фуры западников. Майор посмотрел в их сторону и крикнул, спрашивая:

— Кто пойдет и скажет им, что я одним залпом развалю костел? Пусть сейчас же прекратят огонь и сдаются! Пусть поймут, что, если я ударю по костелу, половина села взлетит на воздух!

— Я пиду.

Это наш Станислав выступил вперед, надев пилотку со звездой, и я увидел, что пилотка у него действительно совсем маленькая. Перетянутая на лоб, она открывала затылок.

— Старшина Примак!

Старшина бросил руки по швам и замер перед командиром полка.

— Поидете с ним, чтобы его не пристрелили наши.

— Есть!

С колокольни нас было лучше видно, пожалуй, чем нам колокольню, и тем более тех, кто засел на ней. Двенадцать гаубиц в нескольких шагах друг от друга встали на склоне в ряд, стволами к селу. Прячась под заборами, Станислав и Примак приближались к колокольне, на ко-

торой надрывался пулемет, захлебываясь и сейчас же прочищая свое горло снова.

— Жахнуть бы раз, и все,— сказал Саша Ганичев у раскрытого лотка со снарядами.

— Идиот! — ответил Эдька.— Дома вокруг. Там же дети, в домах.

— А их отцы стреляют.

— То они, а то мы.

Вот бы нам сказали: «Огонь!» По костелу и, значит, по хатам, где попрятались их жители, и женщины, должно быть, сидели, прилепив к себе своих малолеток, еще вчера безбедно гонявших по улицам, встречавших с хворостинами стадо, чтобы развести коров по дворам... «Огонь!» По матерям, по детям?

Пулемет вдруг затих. Станислав и Примак, на миг исчезнув из поля зрения, появились в центре лужайки, где, наверно, после молитвы обычно сплетничали прихожане. Станислав сложил рупором ладони у рта и прокричал вверх все, что велел майор Влох. Ответом ему был одинокий выстрел. Мы вздрогнули, опасаясь и за своего старшину и за Станислава, но они постояли и скрылись в костеле. А потом старшина Примак выглянул из проема колокольни и замахал оттуда пилоткой, закрутил рукою.

— Коня! — приказал майор Влох.

Он поскакал к колокольне, возвращая по пути стройность колонне, потому что начали вытягиваться орудия из закоулков, выезжать подводы и фуры со снарядами из-за плетней.

Безусый бандит у пулемета на колокольне застрелился.

— Чей он сын? — спросил майор Влох.— Пусть возьмут.

Никто не спешил прийти за ним.

— Он был один? — спросил я Станислава, когда мы тронулись.

— Я думаю, их было трое. Но двое убежали.

— А почему трое?

— Около того леса, где мы прошли, трех коней хлопчик пас. Я думаю, это были их кони.

— Зачем же было пастись у того леса. Чудак!

— Нет, пан. Не чудак. Убегать лучше туда, где армии уже нет, откуда она ушла, а не туда, куда она идет. Это раз.

— Он же на наших глазах пас! — перебил я.

— Так на глазах прятаться легче! Это же бандитская

натура. Пасет хлопчик коней, и все. А потом сели и — гей! Это второе.

Станислав раскатывал в пальцах папироску, которую ссудил ему Семен Агейко. Он разглядывал ее с обоих концов: папирос в Польше не делали, курили только сигареты.

— Что же они бросили... этого? — допытывался я.

— Может быть, он раньше, чем надо, открыл огонь. Может, поругались. Может, перепугались, как увидели пушки, убежали. Кто знает! Бандиты и между собой не люди, а бандиты. Бросили!

В тот день на стене костела мы увидели листовку, которую старшина Примак содрал клочками, но и в других селах нам стали попадаться такие же листовки, напечатанные на толстой серой бумаге типографским способом — вот что нас поражало! — с жирными строчками, обещавшими свободу и богатство. Ради них приказывалось населению ломать мосты, прятать и сжигать продовольствие, бить в спину Красной Армии. Было напечатано — «бегущей». И подпись всюду была одна: «Степан Бандера».

Впервые мы встретились с этим именем на стене костела.

— А ксендз? Он тоже бандит? Знал он про пулемет или нет?

— Может, и знал. А может, и не знал. Они ксендза не спрашивали, пустит ли он их на колокольню. Для них Бандера — ксендз.

— Кто такой этот Бандера?

— Разве ж я знаю? Завтра придет сюда, станет главным.

«И Бандере будет конец», — подумал я, но ничего не сказал Станиславу, чтобы не показаться ему пустым самохвалом, потому что конец Бандере, как было видно, наступит не завтра...

...Назавтра мы вступили в Борислав. Внезапно там и тут начали возникать пожары, и скоро город горел, с треском пылал, расстилая по небу черные дымы от факелов нефтяных вышек. Дымы свивались, отрывались от пламени, но не отлетали далеко, а пухли, наворачивались, смешивались в сплошную завесу сажи. И треск надвигался со всех окраин города. Он горел весь.

Борислав — нефтяной город. Вышек в нем было много. Сначала они вспыхивали поодиночке там и тут, но пламя разгоралось вмиг, становясь единым огненным вихрем. В густеющем дыму лопались, подсакивая лягушками,

цистерны на железной дороге. Как живые. Делалось нечем дышать. Вместо воздуха — кипяток... По цистернам с нефтью зажигательными пулями стреляли бойцы спецкоманд, выполняя приказ — ничего не оставлять врагу, тем более способного усилить его армию. Но нефтяные вышки во дворах... Кто подбросил первую спичку к просмоленному веками дереву? Рука безглазого случая? Бандеровцы? Война?

Бориславские вышки пылали у самых домов, одноэтажных, мелких, похожих друг на друга, как близнецы.

Жители выбегали, захватив, что успели. По улицам густо и спешно, напором проходили войска, и матери давливались в уличные стены, и прижимали к себе детей, и поднимали их на руки. Те, что были ближе к огню, уронив узелки к ногам, распластавшись по стенам и заборам, молились и сами напоминали распятия. А огонь, ненасытный пожиратель всего живого, уже слизывал соседние крыши.

За войсками, подгоняемыми пожаром, открывался холмистый край города. Короткие переулки выводили на пустую землю. И там было спасение... Но сплошной погон войск...

На рыжем своем Драконе, который дрожал каждым мускулом и сам был похож на закопченный кусок огня, майор Влох встал поперек дороги, по которой двигался его полк. Лицо у Влоха было незнакомое, багровое. Он поднял руку, и упряжки стали наткаться на бойцов, а бойцы на теплые оружейные щиты, повозка налетать на повозку, один майор стоял неподвижно на дрожащем коне, зажав его коленями больших сильных ног.

Перед ним образовался и стал растягиваться промежуток, открывая глазу блеск булыжника, натертого военными подметками, подковами коней, железом гремящих оружейных колес. На булыжник густо садилась копоть. Майор махнул людям у домов вскинутой рукой:

— Перебегай!

Быстро и тихо побежали люди. Как во сне. Быстро, но без слов. Только оглянувшись, взблеснув глазами, иные успевали поблагодарить майора.

Жеребец заржал. Дракон не понимал, почему его держали среди надвигающегося огня. Он первым запротестовал.

А на той стороне дороги люди, перебегавшие ее перед топчущим и ржущим жеребцом, падали. Люди падали, то

ли спотыкались, то ли от радости, то ли без сил. Падали и ползли по земле, целуя ее.

Заржали и другие кони, дальше и дальше, откуда напирала военная река. Она не могла разорваться хотя бы на узенькие коридоры.

— Руками передавай! — скомандовал майор во весь свой голос.

Все равно все не могли услышать его. Но ближние начали передавать из рук в руки женщин, и детей, плачущих в крик, и терпеливых, каких-то невесомых старичков с длинными седенькими пейсами, а кто и сам карабкался по пушкам, протискивался ползком сквозь замершую в пекле плотную массу гимнастеров и сапог. А дальние видели, что делают передние, и начали делать то же. Стены оголялись, улица пустела, крыши рушились на голые камни.

Из свертка молодой женщины с ребенком на руках выронилось на булыжник что-то зазвеневшее и покатилося, подпрыгивая. В свертке ничего не осталось, это мы поняли, передавая женщину своими руками в другие руки. А что-то звонкое подхватил из-под сапог Федор Лушин, и сразу несколько искривленных ртов закричало вдогонку женщине:

— Пани! Пани!

Она не оглянулась даже, потому что ее уже поставили на ноги, и она побежала к другим людям. Тогда Федор пустил в ход свои плечи, пропихиваясь на ту сторону, за ней. Если он пускал в ход свои плечи, это все чувствовали.

— Пани!

— Надень лучше на голову вместо каски! — крикнул ему Сапрыкин с коренника Нерона, и тогда все увидели, что здоровенный Лушин, высоко вскинув над собой, держал в руке детский горшок.

— Я вот сейчас тебе самому надену!

Мы засмеялись. Это было невероятно, но это, правда, было неожиданно и смешно, несмотря на ужас окружавшего нас пожара.

Федор протолкался, ему помогли, разжались, и огромными журавлиными прыжками он, такой тяжелый, догнал пани и вернул ей потерю. Мы увидели, что она ему страдальчески улыбнулась.

— Федор! Ты герой! — пошутил Эдька Музырь, когда они снова зашагали рядом, и мы вытряхнули из себя остатки неуместного смеха.

Федор, наш правильный, облизал губы и серьезно сказал:

— Растущему человеку — необходимая вещь.

— Трон! — сказал Эдька, оглянувшись на качающееся зарево.

Не знаю, вырос ли тот человек. Но снова я знал, я твердил себе, что назло смерти, назло огню, отсветы которого мы видели всю ночь, встанет другой Борислав, вернутся люди в дома... Когда? Не завтра...

...Назавтра наши гаубицы давили на городских мостовых стекло, вылетевшее наземь из окон при бомбежках. Все мостовые были в осколках. Под тяжелыми орудийными колесами стекло лопалось всю ночь, скрипело на весь город. Это был Стрый или Тернополь? А может быть, и Тернополь и Стрый...

Сейчас я знаю, как дралась Брестская крепость. Каждой бойницей, каждым штыком, каждым камнем. Нам не пришлось в самые первые дни встречать врага в лицо, наши гаубицы на конной тяге не могли так быстро передвигаться, как требовалось для такой войны, их спешили вывезти, спасти... Но мы слышали, что и защитники Перемышля не упали на колени, а рассеяли атакующих и пошли вперед, как пели мы каждый день, «гремя огнем, сверкая блеском стали». Говорили, что, опрокинув врага, наши под Перемышлем продвинулись на чужую территорию, откуда на нас напали.

Окружив эту группу первого прорыва, стиснув кольцо, фашисты потекли, опережая нас, по многим дорогам. Началась война, не похожая на прежние. Быстрая, маневренная, не очень знакомая на практике опытным людям и совсем незнакомая молодым, не воевавшим нигде и никогда. Война, для которой у нас и техники тогда достаточно не было.

Через год или раньше остановившая и отбросившая фашистскую орду Москва, блокированный Ленинград, и Урал, и Сибирь, и все большие и маленькие города и городишки, где трудились без отдыха, да что там без отдыха — без сна, недоедая, наши деды, наши матери, сестры, младшие братья, дали нам эту технику. Через год или раньше после тех памятных июньских дней вывезенные из-под обломков своих стен украинские заводы задымили за Волгой, в Сибири, в Средней Азии. И мы стали, как из сказочного мешка, получать все больше автоматов, орудий,



танков. Штурмовые самолеты заполнили небо, крылья выросли у пехоты за плечами.

А тогда мы отступали... Слухи о десантах, о танках, о прорывах рождались на всем пути до старой границы... Она встретила нас березовой рощей, сквозь листву которой засочились дымки полковых кухонь.

Эта роща стояла на пригорке, как посланец России.

Небо над ней замутилось, небо было чугунное. Всей тяжестью и всей бескрайностью своей оно давило на людей, одетых в военное. Гимнастерки липли к спинам, словно вымазанные клеем. Сапоги на прелых ногах стали железными. Пыль сворачивалась по всему телу мокрыми капышками, изнывавшие от жары, от рези глаза хотелось держать закрытыми.

Закинув голову, сержант Белка смотрел на рощу. Он стоял долго. Пока не донеслась команда, что всем западникам надо собраться в одно место.

Мы сидели со Станиславом и Семеном Агейко неподалеку от сержанта Белки, под березовым пригорком, и толковали: что ж, так и останется Станислав ездовым на фуре или овладеет какой-нибудь специальностью, чтобы при нужде заменить кого-нибудь из нас?

— А що ж, я не протыв,— отвечал Станислав.

К нам с пригорка спустился и бухнулся на траву Саша Ганичев. Он ходил в рощу к кухням, за огоньком, прикурить.

— Станислав, беги. Ваших собирают.

— Я ще напою коней. И почишу.

Саша повалился на спину, сдерживая стон от ломоты, и стал выпускать над собой дым. Колечками. Он умел.

— Каких там коней?

— Ось, Семена.

То ли Станислав замаливал свой грех перед Семеном, то ли Семен пользовался его готовностью, но всякий раз Станислав помогал ему ухаживать за передней парой упряжки, легкой Отметкой— с единственным пятном на светлом боку, и Ласточкой, кобылой еще прятче.

— Беги, беги,— поторопил его Саша.— Отпускают.

— Кого?

— Западников, ну вас, западных украинцев.

Случалось и раньше, мы недосчитывались кого-то из них дорогой. На рассвете находили под кустами аккуратно сложенное обмундирование, ремень, сапоги с развалившимися в стороны голенищами. А человека не было. Случа-

лось, беглец уносил с собой карабин и подсумки с патронами, небрежно положенные кем-то на повозку или под колесо во время ночлега. Из этого карабина, возможно, стреляли в нас потом бандеровцы...

— Куды ж нас? — спросил Станислав.

— Домой.

Станислав приподнялся, постоял секунду и побежал со своей маленькой пилоткой под ремнем.

— Как отпускают? — спросил я Сашу.

— Не обучены. Не проверены. Не успели присягнуть. Кому они нужны? Балласт.

— Он-то как раз проверен, — вмешался Семен. — Колокольню помнишь?

— Ганичев забыл, — сказал сержант Белка и пошел за Станиславом, а Саша непонятно усмехнулся.

Западники сгрудились толпой у берез, у кухонь. Их велено было накормить. Пока же они переодевались на глазах у всех, доставая с фур старые рубахи и штаны в пузырях и глядя, как их лошаденки с запутанными гривами били себя хвостами до ушей, отгоняли слепней. Видно, очень беспокоило хозяев, отдадут ли им лошадемок. Западники торопились.

Мы с Семеном тоже подошли к ним, и я спросил у Белки:

— Как же так, товарищ сержант?

— Приказ.

Станислав стоял с пилоткой в руке среди прыгающих в грязных кальсонах людей, от страха или от радости не попадавших ногами в штанины домашних брюк.

— У него своего нет, — сказал Семен. — Он надел форму, а свое все выбросил. Судьба ему с нами.

— Станислав!

Он робко подошел, и Белка спросил его:

— Куда хотите, Станислав? С нами или домой? Я говорю...

— Язык проглотил? — вскрикнул Семен.

— Не знаю.

— Станислав!

Это его звали земляки. И так же робко, как подошел к нам, он стал пятиться.

— До видзення, пан командир. До видзення, товарищи.

Из-за наших спин к нему подбежал Толя Калинкин.

— Давай поменяемся на память. А то! — обнажив ро-

зовые от загара голые пятна на голове, он протягивал Станиславу свою пилотку и тыкал пальцем в немилосердное солнце.

Станислав отдал ему свою пилотку. Толя надел.

— В самый раз.

— Дякую вам,— благодарил Станислав.

Ели они тоже торопливо. Даже миски вытирали хлебом начисто. В тишине составили их в две высокие стопки... Звяк, звяк...

Тем временем ездовые перегрузили поклажу на свои подводы, опустевшие в дороге от провианта, от овса и других хозяйственных запасов. И полк пошел, а западники стояли, провожая нас взглядами. Мы не первыми двинулись и успели пожать им руки. Некоторые из них прятались за чужие спины, а кто, наоборот, подался вперед, ловя наши руки, протягивая свои навстречу.

Вот пошли и мы.

Все меньше становилась березовая роща, все мельче зеленеющий пригорок, на котором они стояли возле своих фур и лошадей уже не толпой, а горсткой. Маршевая колонна повесила за собою пыль, а они все стояли там, за пылью.

#### 4

Это не могло больше продолжаться. Почему сержант Белка не отвечал на вопросы, стоявшие у нас в глазах?

А что он мог сказать?

Хотя бы какие-то утешительные слова... Откуда-то долетело, что мы движемся к укрепленному району. Конечно же! Старая граница. Свежие силы встретят нас через полчаса... Гаубицы прочно встанут на свои места... Мы сразу же зашагали бодрее. Фур теперь не было с нами, и мы все шагали за гаубичным щитом. Шагал Эдька, долговязый, согнутый, глазами в землю. Какой-то он стал совсем сутулый. Тонкие ноги его бултыхались в пропыленных насквозь голенищах. Шагал Толя в своей новой маленькой пилотке, с розовыми печатями за ушами, над грязью, быстро залепившей потную шею. Шагал Саша Ганичев, как всегда сосредоточенный. Мы его в мирное время прозвали: «Вещь в себе». Сейчас он стал еще задумчивей. Среди всех за щитом шагал Федор Лушин — голова выше крыши. Саша спрашивал его иногда:

— Федор! Что на горизонте?

— Небосклон.

— Право слово?

Это очнулся Эдька.

Вписываясь в небосклон, перед орудием ехал на сером Ястребе, которого я до сих пор кормил и чистил, сержант Белка. Между прочим, раньше это был конь командира батареи лейтенанта Синельникова. Когда Белка прибыл к нам, лейтенант Синельников привел его на конюшню во время утренней уборки.

— Выбирай себе коня,— сказал лейтенант, поигрывая глазами.

У него были веселые цыганские глаза.

Белка не спешил. Двигаясь вдоль батарейной коновязи, в полушаге от лейтенанта, он приглядывался к нашим коням, иногда незаметно косил глазом назад, как бы возвращаясь, чтобы не пропустить. Наверное, он уже успел понять к тому дню нашего батарейного. Лейтенант Синельников не торопил, мирился даже с ответом: еще не знаю, подумаю,— но не терпел сомнений вслух, паники, как он говорил. Это был его самый яростный вопрос: «Что за паника?» Не нравилось нашему батарейному командиру, когда расходовали чересчур много слов. «Говори раз — не барышня». Иными словами, думай сколько хочешь, а говори лишь то, что надо для дела.

Вот почему и Белка был таким немногословным! Он подражал командиру батареи. Но лейтенант Синельников мог на вечере самодеятельности прочитать стихи:

Не домой,  
                                  на суп,  
а к любимой  
                                  в гости  
две морковинки  
                                  несу  
за зеленый хвостик,—

да еще с такой удалой искрой в глазах, что женщины в зале улыбались. Командир батареи мог прийти в казарму и часа два и больше разговаривать с нами обо всем на свете, а Белка не мог.

Ну, значит, шли они вдоль коновязи молча, все быстрее. Лейтенант Синельников был скорый, был легкий на ногу, хоть и чуть косолапый, и всегда незаметно ускорял шаги. На обратном пути пустил Белку вперед, и тот сразу направился к Ястребу и остановился. Я только расчесал жеребцу гриву и подумал насмешливо: «Есть глаз у тебя,

сержант, но...» Батарейный должен был сейчас отрезать: «Это конь мой». Не без злорадства ожидал я этого ответа. Но лейтенант Синельников сказал:

— Заметил,— и потрепал Ястреба по крутой шее, а Ястреб повернул к нему заостренную морду и тепло фыркнул ноздрями.— Это мой конь, но я давно хочу сменить его. Капризный. Такой конь требует времени, как любимая женщина. А времени нет. Седлайте.— И все гладил Ястреба по шее.

Я был обижен за Ястреба, хотя знал его норов. Нельзя было заранее сказать, какой фокус, где и когда он выкинет. Я его разминал, проезжал на нем по селу, когда старшина Примак давал команду:

— Разогрейте Ястреба, Прохоров. Не шибко, а так — слегка пробежитесь. Поняли?

— Так точно, товарищ старшина.

— Ну вот. Грамотный боец.

Чаще всего это случалось вечерком, и я всегда старался проехать длинной улицей, обсаженной тополями, к сельскому магазину в Карналовичах. В этот час туда сходились приодетые девушки. Хоть посмотришь на них...

Первый раз все вышло славно. Я молодецкато объехал девушек и ускакал с жарким лицом. Во второй раз Ястреб притер меня к тополям. Ни узда, ни каблук, ни коленки не помогали. Чем резче я рвал узду, отворачивая его от тополей, чем больней бил коленкой и каблуком по боку, тем ближе прижимался он к тополям, не сбавляя при этом летящей рыси. Тополя росли густо, и домой я вернулся с ушибленным до синяков голым локтем и ободранной щекой. Рукав на локте пришлось зашить углом. Если бы еще видели мою коленку под брюками!

Когда высохла и отвалилась корка со ссадин на щеке, старшина Примак значительно сказал мне:

— Прохоров! Пробежитесь на Ястребе. Другим маршрутом.

Он подал мне отличную мысль. Я объехал голые весенние поля, крестьянские клочки, которых вовсе не знал наш глаз на своей земле, прогнал Ястреба бешеным галопом, чтобы пустить по ветру всю его дурь, и приблизился к магазину совсем с другой стороны. А у магазина как раз столпился разряженный люд. Парни в разноцветных жилетках и девушки в расшитых платьях с надутыми рукавами. Затянутые в праздничные тройки, застегнутые на все пуговицы старички доказывали что-то друг другу,

размахивая руками. За ними стоял оркестр — скрипка, флейта и барабан. Над шляпами музыкантов горели раскрашенные перья. Похоже, в Карналовичах справляли свадьбу.

И только я подъехал, оркестр очнулся, будто меня и ждали. Скрипка запела, флейта запищала, барабанщик взмахнул колотушкой. Грохнул барабан. Ястреб взвился прямой свечой. Когда я поднялся на ноги с земли, он уже уходил от меня галопом. Нельзя зевать на Ястребе. А я отпустил поводья, зазевался на пеструю толпу. И был за это беспощадно осмеян. И девушками, и стариками, не говоря уже о парнях. Хохот хорошо слышался, потому что оркестр перестал играть, словно для того и трахнул один раз в барабан, чтобы испугать Ястреба. Музыкантам тоже хотелось посмеяться...

Ястреб вернулся в конюшню, а я за ним пробежался самостоятельно. Вот какой он был, Ястреб...

Белка принес седло и ловко вскинул на спину Ястреба, я помог ему затянуть подпруги. Через минуту Ястреб вертел сержанта на площадке для выводки, как в вальсе. Он сразу почувствовал на себе нового человека и закружился. Белка сидел плотно, стиснув зубы и еще больше сузив свои монгольские глаза. Он давал Ястребу волю, надеясь, что тот выдохнется, а я крикнул:

— Он так будет кружиться неделю, товарищ сержант!

Белка пришпорил Ястреба, послал вперед, тот пошел сначала послушно, но — раз! — перемахнул через коновязь и занес сержанта в открытые ворота конюшни. Белка не выходил, пока лейтенант Синельников не позвал, сжался:

— Сержант!

Белка вышел, насильно улыбаясь.

— Веселый жеребец.

— Отказываетесь? — спросил лейтенант.

Белка покачал головой не по-военному, замер и вытянулся.

— Нет.

Я слышал, как батарейный одобрительно шепнул старшине:

— Тоже с характером.

Себе он взял спокойную кобылу Красавицу. Шоколадную, тонкошерстную, шелковистую, на высоких ногах, зато со всегда опущенной головой. Если она и была красавицей, то спящей. А Ястреб! Шея у него была взлетающая, шаг летящий, оттянутый хвост летуче серебрился на

бегу. Правда, в нем было много птичьего. Даже имя. А может быть, и нрав ястребиный?

Была весна, и полк готовился к первомайскому параду на сельском стадионе. Надо было показать западным украинцам нашу выправку. Каждый день к стадиону съезжались мальчишки, вечные поклонники военных маршей, кучей складывали велосипеды с красными шинами, глядели, как мы тренировались, а уж на парад поглазеть соберется все село.

Я ждал оркестра, помня свою злополучную историю. Военный оркестр — это вам не свадебная троица.

Вот поднял колотушку рослый боец с мощным барабаном. И ударил. Как удержался Белка на коне, я не знаю. Ястреб внес его в оружейную упряжку, запутался в постромках, Идеал из среднего выноса под Якубовичем оказался впереди Отметки, на которой танцевал Агейко. Вышла каша.

Марш остановили. Майор Влох гаркнул:

— Синельников! Ко мне!

Потом, у конюшни, лейтенант Синельников спросил Белку:

— Может быть, не брать Ястреба на парад, сержант?

Он смотрел исподлобья. Он всегда так смотрел, потому что носил свою чернявую голову чуть прижатой к груди, будто все время шел на таран.

— Все будет в порядке, товарищ лейтенант.

Белка сплел себе хлесткую плеточку из тонких ремешков и стал отдельно выезжать на репетиции военного оркестра. Даже просил, чтобы барабанщик бил посильнее. Я-то думал, что Ястреб обидится, а он стал ржать, завидев Белку. И парад прошел хорошо, майор Влох похвалил Белку через день перед строем. И сейчас Белка ехал на Ястребе.

Я уже давно заметил, что, когда валит с ног усталость и не знаешь, как быстрее прожить это время, надо вспоминать. И когда неясно, что будет, и не хочется думать об этом, надо вспоминать. И, вспоминая, я шагал за оружейным щитом. И сказал о своем счастливом открытии Эдьке. Он ответил:

— А я мечтаю.

— О чем?

— О губной гармошке. Не рояль, но все же... Можно таскать в кармане.

Саша перебил нас, обращаясь к Лушину:

— Федор! Что там на горизонте?

— Одинокая ракета.

— А укрепрайон? — поинтересовался Эдька.

Перед этой ракетой оказался первый дот.

Сержант Белка ускакал к лейтенанту Синельникову в овраг, где прятали сейчас коней. Там съехались все батерейные командиры, лейтенант объяснял им задачу.

А мы пока обследовали дот — долговременную огневую точку, если развернуть привычное для военных сокращение в три слова. Я спустился в него по ходу сообщения — узкой щели, уводящей глубоко вниз, как в подземелье. Следом за мной сразу же залез Толя Калинин. Над нами была бетонная шапка солидной толщины. А под ногами зачавкала хлюпкая жижа. Откуда?

Ни больших гроз не было, ни мелких дождей, и натець в дот этой воде, пахнувшей старыми запахами, было неоткуда. Мы топтались в ней по щиколотку, было тихо и мрачно, лишь в амбразуре, тонкой прорези, солнечной полосой, словно вырезанной из жизни, светился день с куском пустой дороги.

Толя посмотрел на эту дорогу, потом снова себе под ноги, переступил и сказал:

— А вода грунтовая.

Надо было на ком-то сорвать зло за то, что нас не ждали, не встретили, за эту безнадежную тишину и тухлую жижу под сапогами, и я сказал с насмешкой:

— Специалист!

— У меня брат был мелиоратором, — моргая, объяснил Толя.

— Тот, который на финской...

— Да... Грунтовые воды быстро поднимаются после дождей, а уходят медленно. Особенно отсюда. Куда ей деться? И солнце сюда не заглядывает, не сушит...

— Значит, все же был дождь недавно?

— Может, до войны.

Я смотрел на его мигающие глаза. Он стоял перед амбразурой, в нее падал короткий луч солнца, и глаза его вспыхивали в полутьме дота.

— Толя, а кем ты хотел стать?

— Педагогом.

— Ты не очень-то для этого... — посочувствовал я, дивясь его мужеству и безрассудству.

Я еще хорошо помнил наши варварские проделки с учителями, хотя чаще всего мы наказывали не учителей, а са-



мих себя. Но это стало понятно гораздо позже, когда школа уже осталась за спиной...

Протестуя против ревностного желанья учительницы по литературе сделать из нас стандартных отличников, мы договорились почти наизусть выучить страницы из учебника, касающиеся романа «Анна Каренина», а самого романа не читать. Кого ни вызывала наша Люба — так мы называли свою седеющую наставницу, — каждый шпарил строку за строкой из маленьких главок, набранных петитом: образ Анны, образ Вронского, образ Каренина... Учительница цвела счастливым горделивым румянцем. Подряд мы получили пятерки.

А потом с задней парты поднялся Вовик Гершанов, этакая флегматичная дылда, басом продекламировал из учебника «Образ Левина» и, когда учительница чуточку удивленно и ему пообещала «пять», сказал:

— Спасибо, не стоит.

Она подняла от журнала сморщенное, растерянное лицо.

— Нам всем надо двойки ставить, — глядя на нее, пробасил Вовик по заранее разработанному сценарию, — ведь никто из нас не читал романа.

По щекам Любы симметрично пополз румянец, до самых висков. Она уже успела к той минуте выставить пятерок десять, не меньше...

— Этого не может быть! — сказала Люба и заплакала.

Новая учительница спросила у класса в первую же минуту:

— Кто читал роман Льва Толстого «Анна Каренина»? Встал один Коля Зуев, оригинальный юноша.

— Я читал, но правда давно, еще в детстве. Забыл.

Мы встретили эту молоденькую вострушку без особого восторга, может быть, из-за возраста, может быть, потому, что ее тоже звали Любювью. И в ответе Коли был вызов. Она постаралась его не услышать, вздохнула огорченно:

— Никто не читал! Вы же обокрали самих себя...

Вот о чем я рассказал Толе Калининскому в доте, на старой границе, а Толя даже не улыбнулся.

— Мне кажется, после войны все будет иначе.

Жизнь не бывает безупречной. Но это правда, нам казалось, все будет умней, честней, справедливей. За это погибли тоже...

— Почему так тихо? — спросил я Толю. — Запустение...

— Мы здесь, уже не пусто...

Мы выбрались из дота. Спустив ноги в ход сообщения, на крае щели сидели Эдька Музырь и Саша Ганичев. Мы выбрались в тот самый миг, когда Эдька положил руки с удивительно длинными пальцами на худые колени и съязвил:

— Укрепрайон!

Даже в трагическую минуту Эдька не мог не усмехаться.

— Где пехота? — спросил я Сашу.

Саша промолчал.

— Бьет врага на его территории, — сказал Эдька, а Саша вспыхнул:

— Не паясничай!

— Немцы разорвали наш фронт и рвутся дальше! — крикнул Эдька.

Мы с Толей стояли в узкой щели и слушали, задрав головы.

— Немецкую листовку читал? — спросил Саша, напоминая, что их было запрещено читать.

Самолеты с черными крестами на боках и крыльях бросали не только бомбы. Они расшвыривали с небесной высоты листовки, белевшие потом на пшеничных колосьях, в пухлой дорожной пыли. В этих листовках, на клочках бумаги, писалось о молниеносной войне, блицкриге, об окружениях, о разгромах, печатались фотографии пленных бойцов и предлагалось сдаваться в плен всем, кто хотел остаться живым. Пленные на фотографиях улыбались. Листовка служила и пропуском к фашистам. И была она чуть больше папиросной коробки, чтобы удобней прятать.

— Читал! — вызывающе ответил Эдька. — Я грамотный, что мне делать?

— Неграмотным запрещать не надо, — сказал Саша холодно, — они и так не прочтут.

Эдька вздернул голову.

— Неграмотных у нас нет!

— Значит, это касается всех.

Мы же дружили. И мы знали друг друга, как себя. Зачем они так сцепились?

И вот... Толя Калинин осторожно предположил:

— Может, это отступление — кутузовский маневр? Заманиваем их, чтобы растянуть, ослабить и...

«Верно», — подумал я, радуясь, что Толя переменял тему.

— Куда заманиваем? — спросил Эдька настырно. — Сколько жизней вы готовы заплатить за этот маневр,

фельдмаршал Калинин-Малинкин? На войне за все платят жизнями! Нет! У всех вас ни за что не болит душа! А у меня болит! Я свой!

— Ты паникер, Музырь,— сказал Саша.

— Самый нормальный псих.

— Ты зловредный паникер, Музырь,— повторил Саша, не повышая голоса, что было совсем худо: мы-то знали его осмысленную категоричность.

— Расчет, к орудию! — долетел голос сержанта Белки.

Мы с Толей ухватились за край щели, Саша с Эдькой помогли нам выбраться. Не знаю, скоро ли они кончили бы свою ссору, но теперь все мы стояли у лафета гаубицы. Батарея развернула орудия в сторону дороги, по которой мы пришли сюда. Не очень далеко мы оторвались от пехоты. Но, видно, пехота не успела занять доты укрепления. Одинокая ракета стала точкой наводки.

Глаз панорамы обычно смотрит с гаубицы не вперед, а в тыл или в сторону. Получаешь команду, ставишь барабанчики прицельного механизма на нужные деления, выгоняешь уровень, ловишь перекрестьем, скажем, эту одинокую ракету, к которой как бы привязано орудие, и вот уже ствол гаубицы нашаривает своим зевом далекую невидимую цель, за которой следил сейчас наш лейтенант Синельников. Какой она была? Скомандовали — бронебойными. Значит, по танкам.

Где-то впереди, там, вжимаясь в землю, прятались артиллерийские корректировщики. Они сейчас видели эти танки. И нацеливали нас, сообщая радистам все координаты и поправки после взрыва каждого снаряда.

Радисты передавали и принимали слова команд. Белка перекидывал их мне, как другие командиры орудий своим наводчикам, и отрывисто прибавлял:

— Первое!

Я дергал за спусковой шнур, а все отскакивали хоть на шаг от гаубицы, открыв рот. Она бухала громоподобно. Все чаще Белка заменял номер орудия коротким словом «Огонь!» и делал его еще короче:

— Гонь!

Гаубица вздрагивала и откатывалась, сошник лафета зарывался в землю. Улетали, переполаскивая знойный воздух, полуметровые снаряды, жарко пахло горелым маслом и порохом. Мы стреляли. Мы вели беглый огонь. Это были, наверно, счастливые минуты. Дни, месяцы, годы, начавшиеся с того июньского воскресенья и несущ-

щие столько непоправимых бед, чем они могли осчастливить? Как и Белка, я смотрел утром на березовую рощу, оставляемую нами, и что-то происходило со мной такое, чего никогда не бывало раньше. Неужели я только тогда понял, как люблю эту землю? Каждое ее дерево. Каждый пригорок. Любовался ими раньше, знал, что люблю, но только теперь почувствовал как. И само собой рождалось щемящее чувство ответственности хотя бы за один клочок родной земли. Про это чувство мы тоже знали, но испытать — это совсем другое. От нас зависело, быть или не быть у этой ракиты фашистским танкам.

Наше орудие стреляло. Мы работали, забыв обо всем другом. Страх перед танками отступал перед другим страхом: вдруг мы не устоим, подведем товарищей и родных, которые надеялись на нас.

— Гонь!

А ствол после корректировочных команд опускался все ниже, и я не сразу отдал себе отчет в том, что, значит, ближе летели наши снаряды, ближе к нам подбирались невидимые танки — где-то они были там, может быть, уже в боевых порядках пехоты.

— Гонь! — вонзился в ухо голос Белки, стоявшего в нескольких шагах от меня.

Грохнуло. И, прильнув к окуляру панорамы, уже успевшему набить вокруг глаза кольцо боли, я быстрее заработал маховичками, чтобы опять раздалась команда. Но вместо нее я услышал отчаянный крик Калининна:

— Товарищ сержант!

Толя замер у гаубицы со снарядом в руках, тараща глаза. Эдька держался за рукоять откинутого замка, точно переломился, и тоже не зная, что делать, что сказать. Саша поднес новый снаряд и остановился. А Белка...

Белка скачками спешил к орудью. Брови его сдвинулись над раскосыми глазами донельзя, он бледнел:

— Что случилось?

Никто так и не сказал ни слова. Белка сам онемел.

Вы видели, как стреляет орудие? Хотя бы в кино. Не обижайтесь. Дай вам бог, как говорится, всю жизнь прожить без войны и не видеть этого в натуре. После выстрела ствол отходит назад и возвращается на место благодаря нехитрому, в общем-то, устройству — противооткатному механизму. Он находится под стволом в люльке. В ней — поршень с пружиной и жидкость. Отжимаясь, поршень сдавливает пружину и жидкость, а они толкают его назад,

и он вытягивает за собой ствол, возвращает его к верхней точке. Литой, тяжелый, раскаленный ствол катается в пазах противооткатной люльки, как на салазках, взад и вперед.

Ствол нашей гаубицы в момент последнего выстрела откатился больше, чем допускалось, и, медленно всползая, так и не возвратился на свое место.

— Заело? — спросил первым молчаливый Федор Лушин, ухватившись за лафетное правило, похожее на палку.

Он спросил почти шепотом, но мы услышали, шепот слышен в оружейной пальбе лучше крика. Федор оглядел всех нас. Он верил, что сейчас все будет исправлено. Все мы верили. Не могла же отказать наша гаубица, когда на нас шли танки... Не могла предать нас наша пушка...

Белка обежал высокое колесо, схватившись за него рукой, чтобы не упасть. Все мы выпрыгнули из-за щита. Мы склонились, притираясь головами, под оголенной противооткатной люлькой, чтобы рассмотреть, в чем дело, и в щеку кольнула жгучая капля. А под ногами была маслянистая трава. Жидкость, которая поднимала ствол, вытекала на траву.

Сколько мы вели беглый огонь? Не знаю. Но этим временем был отмерен век нашей гаубицы.

— Дохлое дело, — снова первым сказал Лушин и вздохнул.

— Черт возьми! — вырвалось у Эдьки.

Я повернулся туда, куда только что летели наши снаряды.

Что-то темное высунулось из-за степной черты и, покачивая длинным хоботом, поползло, вырастая. За первой выползла вторая, еще далекая тень... И еще...

Чужие танки шли по нашей земле.

— По танкам! Прямой наводкой!

Не дело гаубицам стрелять прямой наводкой по движущимся целям, не для этого приспособлены громоздкие машины, но война шла не по инструкции...

— Огонь!

Сверкая вспышками, три соседних орудия батареи посылали снаряды навстречу танкам, закрывали им путь стеной разрывов, видимых глазом. А мы... А к нам бежал человек с квадратным телом, на коротких ногах, с голой головой. Видно, он скинул фуражку на огневых другого орудия да и забыл. По этой голове — не седой, не черной,

а серой от седины, по широким плечам мы еще издали узнали комиссара полка.

Он был, как тогда, особенно нам, юным, казалось, совсем немолод, батальонный комиссар Жук, и подбежал, сильно задохнувшись.

— Почему...

Белка не дал договорить, не стал ждать, пока комиссар отдышится, и, повернув к нему голову, ответил:

— Течет противооткатная жидкость, товарищ батальонный комиссар.

— Почему? — повторил комиссар полка.

Кто же мог сказать, почему жидкость потекла из люльки? Ржавое пятнышко выело где-то в металле игольчатый свищ? Коррозия?

А танки шли сквозь редющую рошу разрывов. Видно, прошли уже по пехоте. Танки шли и стреляли. И снаряды, шелестя издали, с нарастающим свистом доставали наши позиции. Все чаще. Забегали санитары, опрокинулась фланговая гаубица справа от нас, завертев в воздухе колесом системы Грум-Гржимайло.

— А ну,— сказал комиссар,— а ну, ребята!

И навалился плечом на еще раскаленный ствол. Мы обступили лафет и, перебирая ногами по маслянистой траве и скользя, стали толчками двигать обжигающий ствол.

— Раз! — повторял Белка, собирая наши толчки в одну силу.— Раз!

Белка не кричал, но мы слышали его сквозь выстрелы, сквозь команды, сквозь мат, которым обменивались оттого, что ствол шел так тяжело, и в надежде, что он пойдет легче.

— Опустите ниже, Прохоров!

Я уж и так выровнял ствол, чтобы толкать его вперед, а не вверх, и сейчас снова схватился за рукоятки.

Ствол нехотя накатывался на люльку, и наши красные, потные, измученные рожи поплыли от куцых улыбок, когда он наконец добрался до своего места. Белка уже стоял с банкой жидкости в руках, которую он выхватил из ЗИПа — набора запасных частей для срочного ремонта, хранящихся в передке. Сержант долил масла и крикнул:

— Заряжай!

Толя вложил снаряд, Эдька стукнул замком, закрыв снаряд в стволе. Можно было стрелять. Я дернул шнур,

и мы выстрелили, прибавив еще один разрыв к другим снарядам.

Меня оттеснил Белка, сказав:

— Я!

Мы накатывали ствол и каждый раз доливали масла. Мы видели чужие танки и свои разрывы. Едва вылетала гильза из-под оружейного замка, мы припадали к стволу и давили на него, а потом Белка наводил орудие в ближайший танк. Выстрел! И снова мы накатывали ствол. На плечах вздулись волдыри от ожогов. Пришлось комом положить на них содранные с себя гимнастерки. У комиссара была спина пошире лушинской. Полуголые, облепив гаубицу, все мы сжимались не то что в одну силу — в одну душу.

Мы стреляли, когда к нам запоздало донеслось:

— Третья батарея! Выполнять команды лейтенанта Штанько!

Лейтенант Штанько командовал второй. Мы с тревогой посмотрели друг на друга, а комиссар сказал:

— Не пугайтесь, ребята! Ваш цыганенок жив. Убили командира стрелковой роты, с которой вы взаимодействуете, и он принял командование на себя. Он докладывал командиру дивизиона по радио, я слышал. Поможем ему, ребята! Раз!

Все это комиссар успел рассказать нам, пока мы накатывали ствол. И поверили, что он жив, наш лейтенант, совсем молодой для комбата, оттого и комиссар назвал его цыганенком, а не цыганом... Откуда он знал это прозвище? Может, слышал, как мы его называли между собой? Может, сам сказал случайно?

Как медленно накатывался ствол... Все медленнее... Нам-то казалось, что мы уже давно стреляли после этого происшествия с нашей пушкой, а на самом деле комиссар только что прибежал к нам, раз он слышал разговор Синельникова по радио...

Едва Белка отклонялся от ствола, а Толя досылал снаряд, Эдька захлопывал замок. Мы с Федором стояли по краям лафета, как раз там, куда откатывался ствол, минуты наводки и выстрела были короткой, но все же передышкой. Выше припадали к стволу остальные, а мы хватались за него первыми. И снова толкали, дыша друг другу в голые спины. Воздух вырывался из легких, как из печки. Но такими горячими были наши спины, что прикосновение этого воздуха казалось прохладным.

Мы стреляли реже других и не попадал со всеми.

— Снаряды!

Это крикнул Саша. Когда в момент выстрела мы отскакивали от своей пушки, разинув рты, чтобы не полопались наши барабанные перепонки, Саша прыжками бросался к лоткам за новым снарядом, а передав его Толе, прижимался к стволу. Он делал двойную работу: подносил тяжелые снаряды и помогал накатывать ствол. Он успевал. И Толя, положив снаряд к ногам, на траву, прижимался к стволу.

Сейчас Саша распрямился над пустыми лотками. Больше не было бронбойных. Повозки со снарядами подъезжали к живым орудиям. Нас списали со счета. Стало слышнее, как рвутся вражеские снаряды то дальше, то ближе, как они свистят в воздухе. Сухими столбами вставала земля, комки ее разлетались, и небо темнело от дыма и черной пыли. Едва она оседала в одном месте, как вскидывалась в другом.

Среди этих взрывов мы заметили фигурку. Сначала маленькая, она как-то неповоротливо, неуклюже приближалась к нам, падая, возникая снова и постепенно выростая. Еще немного, и мы узнали ее.

— Веня! — первым сказал удивленный Эдька.

— Якубович, — подтвердил Белка, и мы поняли, почему Веня так низко наклонился и бежал точно на спутанных ногах.

Его руки, оттянутые назад, волокли за собой что-то тяжелое. Это были два лотка со снарядами. Он тащил их, качаясь.

— Ганичев! Калинин! — крикнул сержант.

Они побежали навстречу Вене. Мы успели вытереть пот на лицах комками своих гимнастеров. Мы дышали ровнее, но сердца колотились в самых ушах. Саша подбежал к Вене и подхватил один лоток. Толя уцепился за ручку второго и помог волочь его быстрее. Вот они упали... Поднялись снова... Разрыв... Разрыв...

— Заряжай!

Мы опять накатывали ствол и стреляли. И комиссар накатывал проклятый ствол вместе с нами. Силы оставляли нас. Но какой же была наша радость, когда именно после нашего одинокого выстрела самый близкий танк закрылся сначала вихрями дымной пыли, а затем закрутившейся гарью. Это мы его подожгли. Это была наша победа.

Как-то сразу яснее и шире увидели мы поле боя. Иско-



дя черным дымом, горело еще два танка, в стороне от нашего и дальше.

Сколько раз мы выстрелили вот так? Всего-навсего восемь? Десять? Мы понимали, что стрелять с неисправным противооткатным приспособлением опасно, но разве менее опасны фашисты? Мы надрывались, но после каждого глотка воздуха какие-то силы находились в нас еще. И теперь нас стало на одного человека больше. Ездовой Веня не вернулся в укрытие, а остался с нами.

После боя, когда пехота и гаубицы остановили танки, когда повисла над землей нежданная вечерняя тишина, я спросил Веню:

— Как же ты сообразил... про снаряды?

Он неловко улыбнулся.

— Не знаю.

Он не хотел, чтобы его считали героем, и так улыбался. Или вспомнил ночь на конюшне, недавнюю и далекую, как последний час детства, и смутился больше, чем прежде. А сообразил он просто... Ездовой с повозки, подвозившей снаряды, сказал про наше орудие, что оно вышло из строя, но что мы как-то пытаемся стрелять, и Веня схватил два лотка, отрывающих руки, и поволок под разрывы...

Я хотел сказать, что всем нам стало легче, когда мы увидели его, но не успел: подвезли еду... Очень хотелось есть...

Смеркалось, и отчетливей стали чадающие огни на небосклоне, присыпанном пеплом. К нам подъехал майор Влох.

— Сидите.

Мы ели. Латунные котелки с кашей посвечивали в траве, и гимнастерки валялись рядом, и ложки были в руках, но все же мы встали. Теперь майор спешил и сразу сел на траву.

— Найдется котелок?

Котелок нашелся, потому что старшина Примак был тут, это он и привез нам кашу-концентрат, распаренную из пшеничных плиток и заправленную кусками мяса.

— Ну, голая команда, свое дело сделали... Спасибо,— сказал майор Влох и покосился на гаубицу.— Нам бы сейчас маленькие пушки, чтобы передвигать их быстро и драться в каждом селе за каждый дом. А, комиссар?

Он даже показал, какую пушку ему хотелось бы для этой войны и как перемещалась бы она и разворачивалась, чтобы встречать врага, а потом прошелся руками по

своим русым волосам, по глазам и крупному лицу, словно вытер о них ладони перед едой. И неожиданно руки его застыли.

— Что слышно о Синельникове?

К командиру полка, тяжело дыша, подошел Миша Ремизов, парень с вислым носом и тонкими губами. Мало того, что лицо его было скучным от природы, он еще сам из себя делал стоическую натуру. А был он корректировщиком при лейтенанте Синельникове, значит, был рядом с ним, пришел оттуда.

— Наш комбат погиб,— сказал Миша.

— Это точно? — спросил майор Влох, подождав.

— Я сам видел.

Майор переждал опять какую-то минуту.

— Как погиб лейтенант Синельников?

Миша ответил с точностью стойка:

— Его задавил танк...

У него трясся подбородок и дрожали пальцы, которыми он пытался ухватиться за брюки, чтобы унять дрожь. Вот как ему давалась эта стойкость.

Мы молчали. Не произнес надгробной речи и комиссар Жук. Да и похорон не было. Где-то там, где звучала чужая речь над нашей землей, вмятый в нее остался лейтенант Синельников. А нам осталось от него название батареи — Синельниковская. Пока дадут другого командира. А Белке еще и Ястреб.

— Может быть, не брать Ястреба на парад, сержант? Откажитесь, пока не поздно.

— Все будет, как надо.

Ястреб — надолго ли? Он ведь тоже живой... Всем — память. Пока жив хоть один...

Крикнет дневальный в казарме:

— Смирно! — И уже по голосу догадываются: Синельников. Бывало, кричат это самое «смирно!» бездушно, а то и с тоской, бывало, кричат и вот так радостно-звучно.

— Товарищ лейтенант! В батарею...

Мы его не боялись, лейтенанта Синельникова, хоть он требовал дисциплины неумолимо. Зато разумно. Ничего лишнего. Мы его уважали за это.

— У него сын? — спросил комиссар.

Сына ему привезла молодая жена в мае, уже в летние лагеря, из города, где жила ее мать и где, кажется, он окончил артиллерийское училище. Это на Оке, далеко отсюда...

Другие командиры у нас, оставившие жен дома, нет-нет да крутили с украинскими или польскими девушками, мы это видели на клубных вечерах, когда нам давали концерт или показывали фильм под тарактеные уличного движка. А лейтенант Синельников или сидел с бойцами, или читал со сцены стихи о том, как он к любимой в гости две морковинки несет за зеленый хвостик.

— Где они сейчас, его жена и сын, товарищ батальонный комиссар? — спросил Белка.

— Там же, где и все наши жены и дети. Эшелон отравили из Самбора в первый день войны. Львов он успел пройти, это мы знаем. Тернополь прошел... как будто...

В этом эшелоне через опасные просторы ехала с двумя дочками и жена майора Влоха, полногрудая и голосистая, с которой Эдька, элегантно поддерживая ее за талию, еще недавно пел про бубенчики, дугу и сани... Жизнь разломилась на две жизни — ту и эту, мир — на два мира, и тот, привычный и близкий, отдалялся, а этот, свирепый, дикий, несправедливый, окружал теснее.

## 5

Едва стемнело, мы начали отъезжать от пограничных дотов, от одинокой ракиты, от разбитых орудий.

Наша упряжка отдохнула. Мы брели за своей пушкой и чувствовали себя с ней надежней. Хоть и не живая, а все же и не мертвая.

Всю ночь шли, и кони опять устали, а мы все шли.

Были тихие и в тишине даже ласковые дороги с косогора на косогор, в ромашках и васильках, набегавших к обочинам из неубранных хлебов, были речушки и сохнувшие ручьи с мостами и мосточками, ходившими ходуном под нашими гаубицами. Но неожиданней всего были срубленные топорами телеграфные столбы. Они валялись у дорог, чаще всего в пшенице, опутанные клубками проводов и длинно протянув их блестящие нити никуда...

Еще недавно пролетали по ним живые строки телеграмм, родные кому-то голоса. А теперь все оборвалось. Столбы рухнули, как казенные.

Понятно, врага лишали связи, эта земля оставлялась.

Дороги наполнились разрозненными частями. И беженцами. Людей тянуло друг к другу, люди выбирались с захолустных и более безопасных троп на общие дороги...

У одной реки скопилась толпища. Были тут сотни обес-

покоенных людей, может, тысяча, а может, и больше... Узкий и слабый мост не мог пропустить всех сразу, а рвались пройти сразу все. Чем ближе к мосту, срывающему к себе с крутого берега дорогу и людей, тем громче разрастался бестолковый ор.

По жидким доскам моста стучали башмаки и копыта. Гремели на горбылях и визжали, западая колесами в расползающиеся щели, телеги. Ворча, переминались грузовики. Мост гнулся, дребезжал и грюкал. Что-то на нем все время застревало, как чересчур обильная пища в узком горле.

— Стойте! — крикнул майор Влох напиравшим людям.

Его никто не слушал, кроме нас. На него никто не оглянулся. Он отдал нам команду, и мы перегородили доступ к мосту полукольцом подвод и машин, кое-как соорудили эту баррикаду, врезавшись в людской поток, разодрав его, и майор Влох вскинул обе руки над головой, ожидая, что к нему прислушаются. Где там! В страшный ор вмешался бабий визг и детский плач, истощный от безнадежности, и от этой бури голосов Дракон под майором Влохом попятился. Тогда майор выхватил пистолет и бахнул в небо.

— Дорогие! — крикнул, как кричат виноватые. —

Армия пойдет...

— А мы? — опять заголосили в толпе. — Нет?

— А народ?

— Защитники!

Влох затряс над собой пистолетом.

— Слушайте меня! Армия пойдет после вас. Не торопитесь! — смог он перекричать всех, сбывчив голову. — Не давить, не лезть! Я буду отмерять, кому идти. В нарушителей стреляем. Всем — по кустам, под берег. Не стоять на открытом месте, не сбиваться в кучу. Налетит фриц, погубите себя и детей. Кто с детьми — вперед!

Влох отмахнул рукой часть беженцев, и они потрусили, потекли к мосту, у которого тем временем малость рассосалась пробка. Почти все были с детьми.

Да, детей было много... Одних вели, других несли. Шла моложавая женщина в косынке, опущенной до самых глаз, облепленная целым выводком, оглядывалась непрерывно, все ли здесь, а они сами жались к ней. Везли младенцев в тачке поверх узлов. Меж ручками тачки гремело ведро, но залихватый, неистощимый младенец вопил громче. Шел старик инвалид, выбрасывая вперед отстаю-

щую деревянную ногу, а на шее, вцепившись в бороду старика, сидел мальчишка. Босой, со сбитыми в кровь пальцами. Кровь запеклась на них пыльной коркой.

Девушки с остановившимися от испуга глазами молили бойцов пропустить их, а те по-разному отзывались, кто строго, кто даже отталкивал, а кто и заигрывал:

— Поцелуешь? Эй, вон ты, чернявая!

— Поцелую, дядя. Пусти, поцелую.

— Ах, бойкая! Чего мне твой поцелуй? Одно расстройство.

То отхлынет от сердца, то прихлынет непоправимая боль. Бородатый старик на деревянной ноге приостановился как раз возле меня, чтобы передохнуть, а грязный мальчишка на его плечах спросил:

— Диду, вже Днипро?

— Ни,— ответил старик, вытирая пальцем струйку пота со щеки.— Днипро велький. Ось поїдемо, а ты роздвляйся. Тоби виднише з моих плечей. Як побачишь, ну, считай, остались мы с тобою житы,— добавил он в свою речь русских слов, заметив, что и мы прислушались.

За Днепром искали спасения? Но это же... полстраны!

— А скоро, диду?

— Дывись — прыдвляйся!

Санитарные подводы везли раненых. Когда последняя из них съехала к реке, охрипший майор Влох подозвал к себе Белку:

— Переправляйтесь первыми, сержант. Вы здесь не нужны. На том берегу встретимся. Ждите нас. Если что — на Умань. Там должны быть артиллерийские мастерские. Берегите орудие.

— Есть!

Комиссар с высокого крапчато-белого коня прибавил:

— Держитесь друг за друга. И за гаубицу. Пока вы с ней, вы армия.— Он снял фуражку, ершистый, с запяленным лицом, серый, оттого с виду совсем старый, сказал жестче: — Надеемся на себя. Бога нет.

И мы пошли среди беженцев за своей пушкой, под колесами которой закричали расшатанные доски моста. Мы пошли над прозрачной водой. У берега в ней темнели коряги, похожие на осьминогов, а дальше река обмывала и слизывала песчаные островки, слабые, как людская надежда. А может быть, она самая сильная, потому что она бессмертна?

Мы знали, что дело плохо, но мы надеялись... У нас

была испорченная гаубица. И еще — ежечасно растущая любовь к этой земле, на которой мы родились. Ко всему, что было на ней. К ее разливным просторам, неподвластным глазу. К ивам у деревень. К непроходимым лесам. К рекам, которые искали по ней свои пути в моря и океаны через нашу душу. К огням ее городов, где думали о нас. К небу над ней. Оно было вчера и будет завтра.

А сегодня оно было особенное. Облака вспенивались ввысь, в зенит. Голубые окна между ними роняли на землю сиянье лета. И земля и река были в солнечных пятнах.

Я оглянулся, чтобы посмотреть на тот берег, на майора Влоха, зная, что сразу увижу рыжего Дракона, но поднял голову выше и увидел небо в облаках. И война почудилась выдуманной, несуществующей. Такие же облака взвивались в Подмоскovie, над Сходней, утонувшей в соснах и березах, куда мама возила меня и младших братьев за грибами, и мы с визгом находили сказочные мухоморы. Это было, а все остальное...

Раздался вой.

Бомбы посыпались из белого, в солнечных курчавинах облака, как дождь. Белка повел гаубицу от реки галопом. Мы были уже на другой стороне реки, но еще не на другом берегу, а на острове с вековыми ивами в дуплах и полянах, хранящими память о весенних разливах. По этим полянам, топким, как болото, свежие колеи от разных колес петляли всюду, ища себе места понадежней. Гнилой был остров...

Где-то на его середине мы завязли. Беженцы окружали нашу гаубицу, пытались вытолкнуть ее из трясины и разбегались. Бомбардировщики делали второй заход и третий, и опять был режущий свист бомб в высоте, чуть сзади нас. Он заглушался разрывами, которых мы не видели. Мы видели из-за кустов верхушки сыпучих столбов речной воды, а в уши били горячие волны воздуха, и в промежутках между ними слышался плеск высоко взлетающих брызг, которые падали охапками.

Я снова поднял глаза к облакам, из которых выскальзывали черные точки, разрастаясь. Я смотрел на них, оцепенев от — признаться невозможно — какого-то безымянного чувства, похожего на любопытство. Одни самолеты скрывались в облаках, другие выныривали из них, а может, это были все те же... Я никогда не видел этого... Откуда они взялись?

Теперь-то я могу объяснить кому угодно, что они под-

кralись на большой высоте за облаками, бесшумно опустились в облака, теперь я знаю, что это были одинаковые «юнкерсы», а тогда стоял неподвижно и смотрел, пока голос Белки не заставил очнуться:

— Прохоров, за меня!

Сам он повернул Ястреба к реке, ударил по его бокам каблуками, и Ястреб усталым, но преданным галопом, вышвыривая грязь из-под копыт, понес его обратно, а все смотрели на меня. «В укрытие?» Какое укрытие? Я и этого не успел крикнуть, с новыми разрывами весь расчет сам попадал на сырую землю, а от реки уже скакал наш сержант. Он скакал рядом с повозкой, наклонясь к ней и бросая какие-то слова. Видно, на повозке был знакомый.

Наши кони сбились в кучу, выступили из постронок. А сверху ухнул в уши ревуший гул... Прямо над нами низко прошел фашистский самолет, накрыв нас своей тенью. Мы поняли, если с него заметили нас, он вернется... Наберет высоту, опишет при этом полукруг...

— Ездовые, по коням! — крикнул я, задохнувшись.

— Постромки! — отозвался Семен Агейко и начал топтаться у коней, заталкивая их в постронки. Повозка с парой вороних прочавкала мимо, и мы усталились на нее, но так и не разглядели знакомого среди раненых, которых она везла, а подъехавший Белка скомандовал:

— Расчет, на лямки!

— Кто там? — успел спросить я Белку, цепляя свою лямку за лафет. — Кто ранен?

— Старшина Примак.

Хотелось узнать, тяжело ли, но уже все прицепили лямки, запряглись. Ездовые были в седлах — Сапрыкин на Нероне, Якубович на Идеале, Агейко на Отметке. Дернули разом. Мы и кони. И мы остались у гаубицы, и коренники Сапрыкина с могучими, в полнеба, полушариями крупов, закрывающих от взгляда дорогу, остались, а четверка коней уходила от засеваемой гаубицы к зелени на далеком краю поляны, видно, уже на краю острова... Кони наращивали галоп... Их еще в упряжке настегали безжалостно, и сейчас они облегченно уносились, оторвавшись от непосильной тяжести, украв свободу. Украв, украв! Как-то сразу всем нам стало ясно невероятное: Агейко отцепил постронки от гаубицы. Мы видели, как он нахлестывал свою пару коней...

— Стой! — прозвенел над поляной голос Белки.

— Стой! — донеслось, как эхо, оттуда, где молотили глухую землю копыта наших коней.

Это кричал Веня Якубович. Откинувшись, он изо всех сил пытался удержать коней, но Семен не опускал плетки, жег ею бока Отметки и Ласточки, и Вене не сладить было с ним и с конями.

Белка уже вспрыгнул на Ястреба и пустил его вдогонку, но не успел догнать. И хорошо. Свист сверху, из-под самого солнца, перекрыл наши крики и конский топот. Уходящих коней закрыло поднятой из-под их ног тучей, а когда развеялись и дым и темная завеса земли, их не было видно... Вот только что стояли здесь и обмахивались хвостами от болотных мух, а вот...

Мы все рванулись туда, и в мозгу мешались слова. «Бегство? Нечаянность? Семен? Не может быть!» Мы спешили, падая, забыв о небе, о самолетах, ничего не слыша...

Белка, спрыгнув с Ястреба, уже стоял у ямы, у следа свежего взрыва, у воронки, закиданной кусками конских тел. Со дна ее, выкатив желтый глаз и скаля зубы, на нас смотрела морда Идеала. Мохнатилась среди комьев земли... За воронкой валялась Отметка, приподнимала светлую голову, косилась на нас угасающими глазами и с тонким ржаньем сбрасывала с губ кровавую пену. А мы вынимали из-под нее Агейко и Веню. Как так получилось, что они оказались рядом, под одним конем? Может, Веню выбросило из седла взрывной волной вперед, чтобы он сказал Агейко то, что хотел?

Теперь они молча лежали рядом, под кустами. Все свои пакеты мы пустили в дело, перевязав их, как могли. Небо очистилось от гула и опять сверкало ясностью, белело облаками. Из кустов медленно начали выползать люди. Старик инвалид выдернул из кармана кисет, посмотрел на нас, обронил поучающе:

— Якщо бежать, то прямо на литак. Вид литака бежать не можна, бомбы догонят. Бомбы вперед летать.

Женщина какая-то пропела, как проплакала:

— А их-то не научили? У-у!

— Научатся. Он куды пустылы! Тепер помы остановишь та выженешь! — вздохнул старик, пряча кисет, походивший по рукам бойцов нашего расчета. — Война долгая буде.

Белка приподнял голову, спросил старика:

— Ближайшая переправа далеко?



— В Ступкине — якщо вверх. Километров сорок... Там мост, якщо не разбомбыли.

— А пониже?

— Там моста немає. Брод вроде есть... Якщо правду казали... Я людей разпытував на ходу...

— Якщо! — повторил за ним Белка. — Если, что ли? Если, если...

— Теперь усе на нем висеть, на «если»...

Белка спрашивал о переправе, потому что от реки больше не появлялись ни конные, ни пешие... Моста за нами уже не было. А за рекой остался полк. Где ждать его? Где мы встретимся?

Ни Веня, ни Агейко не открывали глаза, а беженцы потянулись, и я кивнул на мальчика и спросил у старика с деревянной ногой:

— Внук?

Надо было о чем-то спрашивать, чтобы почувствовать себя живым и то, что жизнь продолжалась, и надо жить дальше.

— Ни, — сказал старик, почиркав спичкой.

— А кто?

— На дороге подобрал... Його матир бомбою... Теперь я йду, а хлопчик смотрит. Сверху... Пивторы людыны... — Он отдал кисет Сапрыкину. — Держить мий кисет. Я соби найду.

— Счастливо вам до Днепра добраться, — сказал ему Сапрыкин.

— И вам!

И нам? До Днепра? Мы не можем отойти туда, не имеем права. Что он бредит Днепром, старик?

Я присел на траву недалеко от Вени и Агейко, и вспомнилось, как в детстве мы ездили по Днепру с моим школьным другом и его родителями.

Все курили, даже Эдька Музырь, одну самокрутку за другой, кому теперь нужен был его голос? Дымок, туманящий голову, туманил и тревогу. А я не курил. Мне этот туманящий дымок опять заменяли воспоминания.

...За Днепром стелились бесконечные степи, и это было захватывающее приволье, гикни что есть мочи — не услышат. Началась река Десна с дубовыми рощами на берегах... Пароходик плыл в незнакомый город Остер.

Толстый пассажир, стоя рядом с нами у борта и обмахиваясь полами парусиновой блузы, мечтательно посвящал нас, мальчишек, в тайные радости будущей жизни:

— В Остреле сомы. Усы — вот такие! — Он показывал. — А сами... Голову на плечо положишь, а хвост по земле волочится. Хорошо-о... Ночью охотно на живца берут. А луница! Фан-та-сти-ческая! — вскрикивал он, отдуваясь от жары немыслимой, как сейчас, такой же одуряющей, но все же благодатной, довоенной. — Тепло!

Утро за утром мы стояли с удочками на берегу Десны... Жадно клевали мелкие колючие ерши. Обратный парходик резво шлепал плицами вниз по течению, к Днепру, и берега обеих рек желтели подсолнухами. Туда отступить?

Близкий выстрел заставил меня вздрогнуть. Белка застрелил Отметку. Пузыри пены на ее губах высыхали. Федор снял с нее шорку и надел на Ястреба. Толстый ремень непривычно обхватил грудь жеребца. Ястреб никогда не ходил в упряжке, и Федор усомнился на этот счет, а Сапрыкин, который, подпрыгивая, помогал ему, вполголоса сказал:

— С устатка сам черт пойдет!

Белка все поворачивал голову к реке. Похоже, ему хотелось вернуться, посмотреть, что за ней, может, как-то связаться с командирами. Хоть перекрикнуться, если услышат... Если, если... А о чем кричать? Все уже было сказано. «Не барышни», — учил лейтенант Синельников. Орудие на открытом месте... До реки больше километра... Чем ему могли помочь из-за реки? Никто и не знал, что так скоро придется подтверждать слова комиссара: «Надейтесь на себя. Бога нет».

— К орудью!

Мы оставили раненых и снова впряглись в гаубицу. Сапрыкин сел на Ястреба, сказав про коренников:

— Их не хлобыстать, они сами... Сами потянут...

Мы помогли коням, а нам помогли кони.

Силы человека не мерены. Мы сделали то, что раньше не могли сделать. Мы выдернули гаубицу из засасывающей мятины, которая все углублялась, и потянули за собой дальше. Спрыгнув с Ястреба и гикая на коней, Сапрыкин тоже влез в лямку и приналег всей грудью, выпуклой, как дно перевернутого котла. Капли пота густо обсыпали его лоб, спрыгивая с бровей на щеки, потому что маленькие глаза Сапрыкина были глубоко запряваны в тесные глазницы и темнели там шляпками гвоздиков, вбитых сильной рукой. Сапрыкин тянул, оглядываясь на застревающие колеса.

По твердой дороге, когда она началась, кони пошли

резвее. И Ястреб, от которого не ждали такой прыти, тянул без всяких фокусов. Сапрыкин сказал:

— С устатка и у жеребца душа тупеет.

— А у него есть душа? — спросил Музырь.

— А то как же?

— А ты его кнутом?

— А чем же?

— Я бы взбунтовался.

— Потому что ты псих, Музырь. Душа! Ей-то и дают кнута.

Мы поотцепляли лямки и приотстали от гаубицы, а Сапрыкин пошел с конями, и нам слышались звуки его сиплого голоса — он ласково понукал коней, помахивая кнутом, хвалил за старание и обещал скорый отдых, о чем-то разговаривал. Он любил и жалел коней больше себя.

— Им хуже людей. Живые, а бессловесные.

— Сапрыка, Сапрыка, — говорил Эдька, — запрягайся вместо Мирона, а он отдохнет. Правда, он и так на тебе ездит.

Своего Нерона Сапрыкин называл Мироном, понятней для себя. А Эдька смеялся, Эдька любил позлить Сапрыкина. Все это было еще недавно и в прошлом... А сейчас Сапрыкин остановил поредевшую упряжку у кустов, где лежали Веня и Агейко.

Они открыли глаза, когда мы подошли. А может быть, чуть раньше. Когда мы подошли, Веня сказал Семену, шевеля разбитыми губами, темными, в земле:

— Ты отцепил постромки... Мерзавец!

И Семен ответил шепотом:

— Сейчас чего врать...

Сержант Белка подступил к ним. Семен опять глотнул воздуха и сказал, глядя на сержанта:

— Я хотел...

Он всех нас обвел глазами, глотая воздух. Не хватало дыхания. Воздух вырывался из его груди. Он хрипел.

— Молчи, — велел ему Белка.

И Семен перестал стараться сказать нам что-то и откинул голову к плечу, а Веня посмотрел на упряжку и увидел в ней только двух коренников, опускавших и вздымавших бока, посмотрел на Сапрыкина, растиравшего коренникам ноги пучками травы. Веня всегда плакал по-детски, не жалея слез, а сейчас в его глазах накопилось по одной слезе. Он смотрел в небо, и слезы из его глаз не вытекали.

— Струсил!

Он опять обращался к Семену.

— Первый раз...— задышал Семен.— И последний...

— Сейчас вас положат на лафет. Догоним госпиталь,— сказал Белка.

А мы молчали. Мы впервые постигли правду молчания, бесцельность слов. Тому, что сделал Семен, не было ни оправдания, ни прощения, он и сам понимал это. Мы смотрели на его курносое лицо, на его распахнутые глаза, которые и сейчас еще блестели. Он казался самым молодым из нас, но мы всегда называли его Семеном, за самостоятельность. И он испугался! Самый лихой из нас, Семен Агейко!

Толя Калинин и Федор стелили на лафет все наши плащ-палатки поверх наломанных веток. Их ломал Саша Ганичев. Кусты потрескивали все время. Эдька вытирал краем гимнастерки свою костлявую рожу. Она была не красной, а бледной. Как же мы без четырех коней дальше поволочем свою пушку по дорогам и бездорожью? Майор Влох сказал: «Берегите оружие».

Семен задышал чаще. Понимал, как наказал нас.

— Я себя наказал.

— Это тоже было в твоих глазах.

— Вы мне нравились, но порой я вас ненавижу.

— За что?

— Я вам завидовал... То бухнешься и спишь как убитый. А то вдруг думать стал... Сколько уже успели! Книжки начитались... Заговорите по-русски другой раз, а непонятно. Имена называете, каких я не слышал. Я не слышал, а для вас они вроде родственников. Чем я хуже? И вот бомбежки. Вся кровь — в голову...

— Ты ж сам рассказывал, как из школы убежал?

— Сам.

— Смеялся, как отец устраивал тебе лупцовку, да без толку.

— Что ж, по-твоему, нет людей, виноватых перед собой? Раз отец положил ремень и сказал: «Ведь ты все можешь, Сенька. А я не могу. Устал». Он устал, а я улыбался... Я бы, правда, смог... Увидели бы! Я везучий.

— Страшно сделалось тебе?

— Еще страшней сделалось, когда лежал возле Вени, невиноватого... И страшно сделалось, что я виноват. И что не будет меня. Как же так? Я и девушкам нравился. Я пи-

сем больше всех вас получал. И в каждом: «Жду ответа, как соловей лета».

— Ты показывал.

— Были и такие, что не показывал. Была одна среди всех...

Подошел Сапрыкин, спросил:

— Как тебя брат? Где больнее?

А Семен не ответил. Открытые глаза его смотрели в небо и ничего не видели. Сапрыкин перемялся и, присев, закрыл их.

За кустами была протока, короткий мост, берег большой земли, Веню мы отвезли в прибрежный хутор, в хату, где старая хозяйка положила для него на кровать свою перину, все спрашивая, «чего вин хоче», называла сынком. А сами вернулись на остров с досками, гвоздями и лопатами, сколотили гроб Семену после того, как Лушин обмерил его локтями, и зарыли.

Только тогда я хватился, что надо же матери, присылавшей нам пряники в белых мешочках, и отцу, когда-то бившему сына ремнем, сообщить, где теперь их Семен. Сумщина... А село-то его называется как? Никто не помнил точного адреса. Черный пластмассовый футляр, как трубочка из двух свинчивающихся половинок, с бумажкой внутри, смертный медальон, остался в кармане гимнастерки Семена. Мы еще не привыкли хоронить... Там, на этой бумажке — имя, фамилия, адрес... Разрывать? Ну, ладно, адрес мы узнаем у полкового писаря. Встретимся же! А вот как обозначить этот остров? Вернувшись в хутор, я стал спрашивать хозяйку:

— Как ваше место зовут?

— Хутир. А бильше нияк, сынок. Протока, и ось — хутир.

— Письма вы получаете?

— А як же! До нас почтальон ездит. На велосипеди. Колы раз в неделю, колы частише, якщо письма пышуть. Як же, господи, получаем!

— А откуда он к вам ездит, почтальон?

— Из Яблунивкы.

— Ну, значит, есть адрес, мама?

— Який?

— На конверте. Как там написано, чтоб письмо к вам попало?

— Ну, як. Просто. Село Яблунивка. И хутир на протоке. Хутор тонул в садах, в душистой траве, в покое, если не считать оглушительного крика птиц на закате. Уже не казалось, что не было войны, но казалось, что мы остались совсем одни на белом свете.

Белка решил ночевать в хуторе, и Эдька тут же посчитал это глупостью. Уходить надо. Это он сказал, конечно, не Белке.

— Кони устали,— возразил Сапрыкин.— Еще день, и пойдут у коней потертости. Тогда заплачешь.

— Ты из-за своих коней, Сапрыка, угодишь к фрицам.

— Заткнись.

— Сержант ждет, может, наши переправятся,— подумал вслух Лушин.

— Здесь моста больше нет. Где-то переправятся. А как они нас найдут?

Эдька был прав. Никто не повернул к хутору, переправившись выше или ниже нас. Шли сразу на восток. И у нас был приказ двигаться на Умань...

— Скажи Белке,— посоветовал Саша Ганичев.

— И скажу.

Но Белки не было. Он уехал на Ястребе назад, к реке, через весь этот гнилой остров, километров за пять. Ну, может, за три. Этот путь запомнился таким длинным потому, что трудно дался. Лушин ушел добывать харч. Толя молча лежал в траве и глядел, как угасали облака, весь день горевшие солнцем. А теперь огонь остался только в венцах... По гаубице лазали хуторские ребяташки. Деды курили поодаль, замечая:

— Большая...

Хуторяне снабдили нашего Федора парным молоком и хлебом.

— Налетай! — позвал он всех и посветлел, когда мы его окружили, стал ломать каравай так, что корка потрескивала и крошилась в его руках. Он даже улыбнулся, право слово!

Федор, который прятал свои посылки под матрас в головах, Федор, который даже слов не ронял даром, слова приходили к нему трудно, и каждое он долго держал в уме, прежде чем пустить в ход, этот Федор сходил за харчем для всех и всех позвал: «Налетай!»

Молоко в двух глечиках было еще теплое. Мы сели на траву и стали медленно есть.

И вдруг прекратили жевать с застрявшими во рту кус-

ками, один за другим повернув головы к дороге. По ней двигалась знакомая фигура. Высокий человек отчаянно хромал, опираясь на палку. Это был военный, еще издали разобрали мы в сумерках по галифе. Раз он перевел дух, а потом, увидев гаубицу, заторопился, сильнее припадая на палку.

— А я уж думал, где вы? Неужели завязли на этом клятом острове? Где сержант? Жив? А я слез с санитарной повозки, жду вас. Должны догнать, а не видно. Нет! Пойду.

Но раньше, чем мы услышали его рассказ, раньше, чем увидели его ногу в разрезанном сапоге и намокших кровью бинтах, Сапрыкин сипло закричал:

— Старшина!

Старшина Примак подковылял еще на два шага, отталкиваясь от земли длинной палкой, видно, сломанной с придорожного дерева, и сказал:

— А я с вами.

## 6

Мы сидели под мазанкой, привалясь плечами и головами к белой стене и друг к другу. Расстегнув сопревшие гимнастерки, мы еще спали, хотя птицы уже как ни в чем не бывало отзвенели свое в рассветной тишине и где-то там, из-за края земли, в небо всползало солнце, невидимое нам покуда. Свет его пробивался сквозь пыль, поднятую с окрестных дорог. Небо было серо-розовое...

Под другими мазанками провели ночь другие бойцы, так же, как и мы, устроив головы на плечах соседей, на собственных кулаках. Мы добрались до этого большого села поздней ночью. Село гнездилось за полукольцом реки, пробиравшейся по оврагу, на перекрестье дорог, и бойцов, изнуренных маршами, сошло в нем много. Остатки каких-то частей, ищущих фронт. Не было ясного представления, сколько нас пылит по дорогам, и не было ответа, где мы остановимся. На первый случай фронт могла бы срastить большая река или большой город мог бы собрать в кулак рассыпанные на этом злополучном участке войска, но до Днепра, и тревожа и успокаивая нас, оставался еще долгий путь, а больших городов нам не попадалось.

В селах бабы, застывшие у хат, по первой просьбе бежали за молоком, за хлебом. Сколько мы съели этих горьких хлебов, сколько выпили, не для красного слова

будь то сказано, слезных чаш. С женских щек в крынки, и правда, срывались слезы. А мы все шли... И уже последних оделяли хоть водой, которую выносили к дороге в ведрах. У колодцев оставляли на ночь бадейки и кружки. И во тьме деревянные журавли над колодцами пели свои скрипучие песни... Неразумные дети крутились вокруг бойцов, оставлявших их без защиты, старухи тянули на встречу и вдогонку яблоки-скороспелки на коричневых лафетных, звали:

— Сынки!

Лица от пыли, взбитой нами, у старух были темные, и слезы прокладывали по морщинам заметные следы.

Попадались живые городишки со страниц школьных учебников. Неожиданно маленькие, с пустынными улицами, а может, пустые. Может быть, из них все уже ушли, унесли детей, увезли самые необходимые вещи в тачках, на вихляющем колесе. В одном таком городке, совсем безлюдном, среди дня не у кого было попросить воды, чтобы умыться. А пыль, смешавшись с потом, въелась в кожу, от нее щипало глаза, и мы высматривали колодец, пока Федор не закричал, размахивая ручищами:

— Сюда!

Он стоял на пороге аптеки, безнадзорной, с дверями нараспашку. В ней мы стали рвать на клочки вату, обливать одеколоном, вытряхивая его из плоских флаконов, и вытираться... Сапрыкин под завязку набил бесплатными флаконами свой вещмешок.

Мы оставили на полу аптеки черные куски ваты и как следует притворили за собой двери, но это не исправило ощущения — привычная прочность жизни рушилась на наших глазах.

На углу возле аптеки я увидел почтовый ящик и обрадовался, вырвал лист из мягкого блокнота, который свернул в трубочку и сунул в карман в первое утро войны, нацарапал огрызком карандаша: «Мама! Я жив...» И опомнился. Бросишь в этот ящик письмо — кому?

Зря сломал грифель. До войны я присматривал себе красивый перочинный ножик, не купил никакого и теперь вместо заточки каждый раз откусывал от карандаша дерево зубами, мазал губы фиолетовым цветом. Карандаш был химический...

Сейчас я сжался под мазанкой... Только сомкнешь глаза, и видится разное... Луна светила с чистого и тихого неба над карпатскими соснами... Стоял Станислав в пилотке То-



ли Калинкина... Падали черные капли бомб из белого облака... С задранных конских ног, путаясь, свисали кровавые кишки, конские бока, обсиженные роями мух, дулись над васильками, трупы коней валялись вдоль нашего пути... Их смрадный запах, насыщая жару, стал приметой первых военных дорог.

В нашем передке остался, кажется, один лоток со снарядами, и будь гаубица живой, скоро ей все равно уж нечем было бы ответить на команду «Огонь!». Почему? С первых минут войны накапливались эти «почему», как у ребенка в неподвластном его разумению мире. Сапрыкин, когда начинались разговоры, объяснял просто, хоть и хмуро:

— Мы маленькие, а война большая. Знают, что и зачем.

— Кто?

— Кому надо, те и знают.

— А тебе не надо?

— А зачем ему? Он, как конь, идет себе!

— Эдька!

Они уже готовы были сцепиться. Я помогал им сдерживаться, корил Эдьку. Но я тоже хотел знать, кто ответит на все эти «почему».

Сейчас Сапрыкин спал под мазанкой, похрапывая. Голова моя покачивалась на его плече... Затевался душный и длинный день. Опять полетят, вспарывая свистом воздух, вонзаясь в небосклон, тощие «мессершмитты» и где-то рассыплются пулеметными очередями. Натужно гудя и нахально показывая свои кресты на боках, крупными стаями потянутся «юнкерсы», над кем-то, может быть, над нами, сомкнут свой круг и завоюют, по очереди падая в пике... А если со звериным рыком пройдут транспортные брюхачи, окруженные беспокойным крылатым сопровождением, жди впереди десанта. Где?

Таяли последние мгновения рассветной тишины и свежести, и в них вторгся гул негромкого земного мотора, разом и вконец отогнав зыбкий сон.

В улицу, где мы сидели, вкатился броневик, пропылил мимо и остановился неподалеку. Раза два он фыркнул, откашливаясь от им самим поднятой пыли. Она повисла вокруг него бурым облаком, не отлетая.

В безветрии пыль еще устало садилась на уличную траву, переставшую быть зеленой, на плетни, на окна соседних мазанок, когда из-за растворившейся дверцы броневика

вылез кто-то. Малиновый околыш фуражки ударил по глазам. Мы давно уже не видели такого свежего околыша. Вокруг нас все выгорело, пропылилось.

— Сапрыка,— крикнул я, толкая Сапрыкина,— гляди!  
— Кого?

Сапрыкин пытался разлепить непослушные веки, но так и не сладил с ними. Панически всхрапнув, он опять заснул своим немедленным крестьянским сном, едва каравай его щеки прижался к шершавой стене мазанки, как к подушке.

Я невольно саданул его кулаком меж лопаток, и он повернулся и раскрыл свои глубокие глаза так широко, как смог.

— Генерал?

— Нет, майор.

Майор был с золотыми шевронами — они взблеснули на рукавах парадными, неуместными в это утро, в этом селе уголками, а когда майор снял с головы свою фуражку и выбил о ладонь, околыш ее стал еще свежее.

— Штабной,— прошептал Сапрыкин, поперхнувшись.— Наверно...

Под мазанками, поднимая головы, зашевелились неживые до сих пор фигуры. Никто не ждал, что враз переменится все, не ждал чуда, но появилась надежда хоть услышать, что же дальше.

Отпрыгнув от броневика, майор уже шагал вдоль мазанок. Быстро, почти вприпрыжку. Был он какого-то мелкого роста, совсем неказистый с виду, если бы не эти шевроны. Остановился, посмотрел по сторонам.

— Кто тут старший?

Он посмотрел на меня с Сапрыкиным, мы уже стояли.

— Фуражка-то новая,— шепнул мне Сапрыкин, окончательно проснувшись.

От одной мазанки к майору выбежал коренастый капитан с багово-синим родимым пятном во всю щеку, на бегу застегивая воротник гимнастерки и поправляя пилотку. С разных сторон спешили, приближаясь, командиры званиями поменьше. Среди них выделялся тонкий лейтенант в плащ-палатке, выше всех, с маленькой головой на длинной шее, отягощенной биноклем. Из-за нашей мазанки выскочил сержант Белка в наспех отертых сапогах.

А я тем временем нырнул в мазанку.

— Товарищ старшина! — сказал я, сияя.— Майор приехал. Штабной. На броневике. Веня!

Веня Якубович вытянулся на постели, прикрыв глаза, а старшина стоял перед ним на коленях и растирал ему грудь водкой, наливая ее из фляжки в согнутую чашечкой ладонь. Одна нога у старшины была босой, а другая, отведенная в сторону, в бинтах, коричневых от крови и гноя.

Руки старшины застыли. Он повернул голову, глянул на меня через плечо и, вспомнив о водке в ладони, опустил ее на грудь Якубовича, задвигал ею.

— Слышишь, Якубович? Ну, вот! — Он тер грудь бойца, повторяя «ну, вот», и спрашивал меня с возрастающей молодцеватостью в голосе: — Какой майор, Прохоров?

— Пехотный.

— Знакомый? Незнакомый? Раньше не приезжал к нам в полк?

— Нет вроде...

— Значит, из штаба армии. Или фронта. Якубович!

Веня не слышал. Я смотрел на него, на какой-то миг даже забыв о майоре. А потом пожалел, что Веня не слышит. Может быть, ему стало бы легче? От потери крови Веня был нечеловечески бел.

— Может быть, ему выпить водки? — спросил я.

Старшина Примак и в мирные дни честно считал водку лучшим средством от простуды, от поясницы, от желудка, от зубной боли... от чего еще, товарищ старшина?

— От всего. Но только не просто так пить, сколько влезет. А как лекарство. С умом... А глупость до добра не доведет. Вон Агейко...

Я потряс головой, чтобы отогнать от себя видение травянистого края гнилого острова, где простились мы с Семеном. Или сам он протился с нами...

— Прохоров! Он всю ночь так... Забудется и очнется. Три его. Три крепче. А я выйду, гляну...

Старшина подпрыгнул на одной ноге к сапогам. Они стояли у порога, пыль на них слежалась меж морщинами, а один, с голенищем, рассеченным сверху донизу, еще и развалился, и вывернутая подкладка была в рыжих пятнах. Сапоги Примака. Те самые, в которые до войны можно было смотреться, как в зеркало... Старшина сел на пол и всадил в сапог здоровую ногу, ловко обхватив ее портянкой.

— Да не обувайтесь! — сказал я, боясь, что майор уедет на своем броневике, потому что, судя по всему, он спешил.

А старшина уже встал, сунул в развалень вторую ногу,

пухлую от бинтов, и упал, будто подкосили, не успев ухватиться за дверной косяк и замычав от боли. Поднятый и подтянутый мной, он с трудом присел на постель, к Вене, и сказал, часто дыша:

— Ладно!.. Белка там? Иди, Прохоров. Все расскажешь.— Я выбежал, услышав за собой подобревший голос Примака: — Якубович! Ну, вот... Молодец! Теперь мы своими глазами посмотрим...

Штабной майор собрал вокруг себя командиров в садочке напротив. Они окружили стол, врытый в землю под грушами. К столу жались две куцы скамейки, но майор стоял, и все стояли, и в этом тоже был тревожный признак поспешности. Видно, майор уже познакомился с командирами, узнал, остатки каких частей ночевали в селе... Теперь докладывал капитан с малиновой щекой. Он говорил громко и укоризненно. Люди измучены... Хуже всего с боезапасом... Чем воевать? Нет бензина для грузовиков, приходится бросать... Только что отправили медсанбат, чуть ли не изо всех машин слили горючее для четырех санитарных... Раненых много... Они взяли самых тяжелых...

Я невольно посмотрел на Белку. Мы могли бы отправить хотя бы Веню, а может быть, и старшину. Но мы не знали, что здесь, вероятно, на другом краю села, был медсанбат, ушедший только что...

Майор обронил слово, и капитан торопливо развернул свой планшет и расстелил на столе карту, а майор присел и повел по ней линию карандашом, иногда останавливаясь, присматриваясь и говоря что-то неслышное. Все сгрудились вокруг стола и закрыли майора. Что он чертил? Для организации обороны надо знать людей, но можно перезнакомиться и в бою. В бою? Сколько у нас хотя бы патронов?

Майор встал, и все расступились, дали ему пройти. Сейчас он уедет?

— Немедленно,— сказал майор, отвечая на чей-то вопрос, и повернулся к капитану.— Порядок и заслон обязательны. Вы отвечаете.

— Есть! — сказал капитан.

Заслон? Мы отходим. И выступать немедленно... Майор показал дорогу... Сейчас я вернусь в хату и расскажу старшине... Майор вскинул глаза, поглядел выше капитана, выше других, словно хотел увидеть, сколько можно...

— Там есть еще наши? — спросил он, махнув рукой за овраг, куда убегала тихая дорога.

— Так точно, — ответил капитан. — Должны...

И еще что-то прибавил, а майор улыбнулся — так совсем неожиданно улыбнулся, как будто в ответ на добрую шутку, но лицо капитана осталось тяжелым и угрюмым.

Майор повернулся...

Белка шагнул вперед, и я снова глянул на него и удивился, какой он стал худой за эти дни. Тонкая кожа облегла два комка под глазами. Он приоткрыл рот, хотел спросить... Что? Где артиллерийские мастерские?

Но майор уже пошел так быстро, что капитан откозырнул ему в спину, а Белка слова не вымолвил. Опоздал... Майор прошел мимо нас и захлопнул за собой дверцу броневика, в котором, похоже, больше никого не было. Броневик взревел мотором и круто развернулся, а потом рванул с места и опять весь закрыл себя пылью. Солнце слепило окна мазанок из-за спин людей, а люди стояли неподвижно и все смотрели, как пылил, удаляясь, броневик.

Повернув, он прибавил ходу и ринулся к оврагу, туда, откуда пришли мы вчера, но где еще оставались наши. Старая пыль поплыла дальше, прямо, а новая закружилась над дорогой к мосту. Сейчас он висел над водой, которая задерживалась у коряжек, у веток, свисавших в нее с берегов, а веснами, наверно, в овраге стоял шум, вода пенилась, рвалась вперед, не замечая ничего, и сельчане построили через нее капитальный мост. Дальше, за мостом, дорога зигзагами одолевала высокий склон, заросший в самом конце мелким лесочком, и, юркнув в него, там, в лесочке, исчезала.

— Танки!

Это крикнул неожиданным басом, будто из пушки грохнул, длинный лейтенант, он следил за броневиком в свой бинокль и первым заметил: из лесочка на увале выдвинулись два танка. Может, наши? Но почему у них такие непривычные очертания?

— На них кресты! — заорал лейтенант, будто майор в броневике мог его услышать, но броневик катил.

— Расчет, к орудию! — голосом, прорезавшимся на крайней ноте, командовал Белка.

Мы побежали на свои места, и я думал, что сержант, наверно, забыл, какое у нас орудие. Но, как и Белка, я понимал, что мы обязаны выстрелить хоть раз. Снизу, из броневика, танков могло быть не видно из-за пыли.

Мы развернули орудие. Лушин вскинул конец лафета и

всадил сошник поглубже в землю, Белка отдал команду приготовить бронебойный снаряд и целиться прямой наводкой. Эдька уже рванул рукоять гаубичного замка — он, как пробка, вылетел из ствола и откинулся на своей оси в сторону. Накручивая поворотные и подъемные рукоятки, я торопился. И услышал за плечом хриплый вопрос Сапрыкина:

— Да куда ж он?

Броневик выскочил на мост, и пыль, лениво сворачиваясь, отставала от него, и он покатил теперь весь на виду. Как голенький. И вдруг остановился. Какой-то миг он стоял на месте, попятился немного. Подумалось: сейчас попробует развернуться. Мост, казавшийся таким солидным, теперь показался досадно тесным. Танки могли расстрелять разворачивающийся на мосту броневик в два счета... А дальше? Мы вспомнили о себе. Танки двинутся на незащищенный мост, прогрохочут по нему через овраг, и в селе начнется мышьяная паника. Суета, подхлестываемая лязгом гусениц и страхом от неведения: откуда они, эти фашистские танки, сколько их? Их никто не ждал.

Броневик тихонько начал сдавать назад. Танки не стреляли. Они остановились на склоне, и оттуда, конечно, немецкие танкисты оглядывали наше село и видели эти мазанки, и садочки, и, возможно, нашу гаубицу, и броневик. Он уже дополз до середины моста, сдавая назад, и вдруг стал подставлять под удар свой бок.

— Что он делает? — спросил Эдька.

А немцы не стреляли.

— Боятся мост повредить, — сказал Сапрыкин. — Берегут для себя.

Танки двинулись к мосту, все быстрее, покачивая на склоне своими молчаливыми орудиями. Броневик замер, почти загородив проезд...

Я снова вспомнил, что выстрелить мы сумеем только раз, что вряд ли хватит времени накатить ствол для второго выстрела, если никто не остановит танки. И если нас не разнесет с гаубицей собственным снарядом, который Толя уже приготовился заложить в ствол. Может быть, целить в мост? Но там броневик... Все это продолжалось секунды, и не знаю, откуда взялась ясность ума, но я наводил старательно. Я целил в ближний виток дороги за оврагом, в последний виток между танками и броневиком, в тот виток, где серая пыль лежала еще нетронутой... Толя Калинин вложил в гаубицу снаряд.

— Артиллеристы! — крикнул капитан. — Бейте, черт побери!

Он выругался покрепче, но мы не услышали этого, голос его заглушил неожиданный взрыв на мосту. Сначала все увидели, как из броневика выпрыгнул майор, совсем маленький отсюда, все же до него было довольно далеко, в своей новой фуражке, и побежал к нам... Что случилось? Мотор у броневика испортился, заглох, отказал? Майор не успел отбежать и пяти шагов, как рвануло, хотя мы еще не успели выстрелить и танки приближались к мосту, не открывая огня.

Броневик запрокинулся и, охватываясь пламенем, рухнул в дыру, развороченную взрывом, под мост, в сонную воду с зеленой цвелью и желтыми кувшинками среди острой осоки... Майора тоже не было на мосту. Он не добежал до своего берега... А на противоположном склоне танки как раз спустились до того витка дороги, в который я наводил орудие... Эдька уже закрыл замок...

— Огонь! — пронзительно крикнул Белка.

Горячий воздух с его губ скользнул по моей щеке. Я дернул шнур. Ухнуло. Земля вскинулась возле остановившихся танков, но даже не задела их. Пламя лизнуло жерла танковых стволов — теперь немцы ответили нам.

— Стреляйте! — надрывался капитан, и Белка повернулся и огляделся.

Улица почти опустела. Некоторые командиры раньше ушли к бойцам, как только получили от майора приказ о выходе из села и нанесли на свои карты маршрут движения. Иные еще были здесь. Их вывела из оцепенения команда капитана:

— Всех из села! — Он отмахнул от плеча сжатым кулаком.

Бойцов тоже не осталось. Последние, пригнувшись, ползли от огня вражеских танков вдоль плетней, скрываясь за мазанками. Но кто-то двигался и навстречу, перебегая в промежутках между разрывами. Это были бойцы заслона, присланные своими командирами к капитану. Они и откликнулись на зов Белки:

— Сюда!

Несколько бойцов окружили нашу гаубицу, ствол которой осел и не двигался... Белка первым навалился на него, показывая, что делать. И все, кому хватило места, налегли плечами, руками уперлись. Один, совсем молоденький белобрысый мальчишка, спросил:

— Это правда?

— Что?

— Про майора.

Он ничего не видел и хотел знать. А мы видели, но еще не успели опомниться. И никто не ответил ему, но себе сказал... Да, правда... Майор подорвал свой броневик на мосту, чтобы повредить его и хотя бы на время закрыть фашистским танкам доступ в село. Он подумал о нас, а сам не успел спастись... Все это мы видели...

— Огонь! — снова крикнул Белка, потому что ствол уже вкатили, и Толя вложил новый снаряд, а Эдька закрыл за ним замок.

Теперь я попал между двумя танками, но они, невредимые, стали отползать, скидываясь на неровностях степного взгорья. У нас не было бронебойных, мы выстрелили фугасным, больше годящимся, чтобы разворотить окоп... Ствол опять остался внизу, а Саша поднес еще один снаряд, коротко сказав:

— Все.

Капитан повернулся к нам, посмотрел на Белку, как на виноватого, и казалось, сейчас учинит расправу, но вдруг он сник и выдохнул изможденно:

— Хорошая у вас пушка.

А Белка машинально поправил:

— Гаубица.

Пушкой могли называть ее только мы. Любя и кляня. Родную нашу...

Как-то пренебрежительно, наспех пальнув еще раза два по селу, танки оттянулись к лесу на степном увале, скрылись в нем. Может быть, разведчики где-то уже искали для них брод. По мосту они не могли пройти, мост был искалечен, спасительная дыра почти во всю его ширину виднелась нам отсюда... Может быть, немцы не рисковали штурмовать реку, наткнувшись на разрывы хотя бы двух тяжелых снарядов? Что здесь? Рубеж? Они смотрели на нас из леса.

Мы тоже смотрели на лес.

— Лейтенант! — взорвался капитан, и щека его задергалась. — Бинобль!

Все как-то забыли о долговязом лейтенанте с маленькой головкой и не сразу нашли его глазами. Подумалось в первый миг, что он был таков. Смотрели вверх и вокруг, а он лежал в пыли, и худые плечи его тряслись, как у припадочного.



— Дерьмо! — крикнул капитан, протянув руку.

Лейтенанта перевернули, сдернули с его шеи бинокль, а он опять уткнулся в пыль лицом и задрожал еще неудержимее, и кто-то из бойцов, может быть, подчиненных лейтенанту, присел на корточки и стал пугливо гладить его по затылку. Кого оплакивал этот лейтенант? Незнакомого майора? Себя?

Бинокль передали капитану, он начал всматриваться в лес, но там ничего не разглядеть было, и он резко опустил бинокль и увидел, оглянувшись, как наш Сапрыкин запрягал в передок коней. Это разозлило его:

— Да на кой черт вам эта дура? Бросьте!

Ему никто не ответил. Только Эдька, посмотрев на нас, осторожно начал:

— Может, правда? Тащим... курам на смех...— Но все молча занимались сборами.

— Сержант! Одного человека оставишь со мной в за-слопе!— Капитан потряс в воздухе сжатым кулаком.— Сами пойдете... У тебя ведь карты нет?

— На Умань? — спросил Белка.

— Умань надо обходить,— сказал капитан.

— Почему?

— Потому что в Умани фрицы будут раньше. А там черт его знает!

В эти дни гитлеровцев уже все чаще начали называть фрицами. Капитан нервно злился и говорил о них тем брезгливей, чем мрачней делался. И когда к нему подошел, очнувшись от своего припадка, длинный лейтенант с униженным видом, не знающий, как спрятать лицо, он спиной встретил его.

— Я сапер,— сказал лейтенант ему в спину.— У меня есть толовые шашки. Может быть, мост взорвать? Я могу.

Вот чего его колотило! Это он должен был подумать про мост, заминировать его ночью, раз тут, в селе, собрались войска, и взорвать, когда показались танки, а он не мог... Команды не было, и он спал, изнуренный, как все. Но война нарастала без устали... И мост взорвал майор, не посчитавшись с собой.

Капитан прикрыл губы широкой ладонью и терзал свое лицо пальцами. Казалось, прикрыл рот, чтобы не вырвались самые безжалостные слова.

— Оставьте мне двух бойцов с вашими шашками,— наконец велел капитан,— а сами... К черту!

— У него был тол в броневику? — спросил Белка долгового лейтенанта.

— Да... конечно... — пробормотал тот. — Такое задание... Каждый миг он мог попасть в ситуацию...

— Да...

— Потому он и был один, — сказал Сапрыкин.

— А может, водителя убило, — предположил Саша Ганичев. — При бомбежке... Где-то на стоянке... залег ж. не встал... А он сам водил броневику... Майор...

— Да, — повторил Белка, — тол у него был. На всякий случай...

— И пригодился, — сказал Толя Калинин высоким голосом.

— А бикфордов шнур был короткий, — сказал лейтенант.

— Я на его месте тоже кинул бы ящик тола в броневику, — сказал капитан.

Все мы еще думали о майоре. Капитан поднял на нас глаза.

Кони уже были запряжены, гаубица прикреплена к передку, и Белка спросил нас, не отходящих от орудия:

— Кто останется в заслоне? Добровольно.

Он спросил, точно бы прощаясь, скороговоркой, как всегда, и надо было быстро отвечать, потому что никто не знал, сколько у нас есть в запасе таких минут, десять или одна, или уже ни одной. Саша Ганичев молча вышел вперед, и Белка не стал смотреть на него, даже, кажется, спрятал свои монгольские глаза, только напомнил:

— Возьмите карабин.

Мог бы обратиться один раз на «ты». Не мог. Подчеркнутое «вы» любого держало на месте, предусмотренном субординацией, а субординация была нужна для жизни без рассуждений и без проявлений сердечности, на которую Белка был совсем неспособен. Старшина давно называл нас всех на «ты», а он...

Белка сказал:

— Отдайте Ганичеву по обойме патронов. Сколько у нас гранат?

— Шесть, — ответил Лушин, который берег запалы.

— Две — Ганичеву.

Расстегнув кожаные подсумки на ремнях, ребята быстро вытаскивали по обойме и отдавали Саше, а он засовывал их в карманы. Я уж говорил, что у меня, наводчика, был пистолет «ТТ», а у остальных в расчете карабины без

штыков, личное оружие артиллеристов. Те же винтовки, только покорооче пехотных.

Я не хотел видеть, как остается Саша, и побежал к мазанке, где были старшина и Веня. Ведь они еще ничего не знали. А старшина велел мне все рассказать ему. Я бежал и не понимал, как сейчас скажу о майоре, о том, что Саша остается, что за оврагом немцы, что надо немедленно класть Веню на лафет и ехать дальше, неизвестно куда. Мы теперь знали дорогу, но никто не знал, далеко ли она для нас тянется...

— Что за выстрелы? — спросил старшина. — Немцы?

Он облегчил мне задачу, но все же я не сказал ему «да». Только покивал головой и похлопал глазами. Эдька Музырь влетел в хату и выпалил:

— Майор взорвал свой броневик... И мост... Там танки! Скорей!

— А сам? — спросил старшина.

— И сам.

Старшина встал с края постели, на которой вытянулся Веня, постоял и посмотрел на него.

— Вот елки-палки! — сказал он просто, как будто ничего не творилось вокруг. — Опять глаза закрыл! Якубович!

— А если бы майор... Если бы его вдруг взяли в плен... — прошептал Эдька, обращаясь ко мне и вешая на себя карабин. — Они уже были бы здесь!..

Старшина услышал и спросил голосом, полным гнева:

— У кого жар, Музырь? У Якубовича или у вас?

— Товарищ старшина! — умоляюще прогнусавил Эдька и захотел рассказать, как это было, слова посыпались из него, как горох...

И тут вошел в мазанку Саша, который, может, заждался меня или не понадеялся, что я различу его карабин, хотя по ремням, по царапинам, по разной, если приглядеться, черноте стволов мы не путали карабинов.

— Саша! — взмолился Эдька. — Это правда? Скажи!

— Правда, — сказал Саша. — За оврагом — танки.

И мы услышали шепот Вени, совсем слабый:

— Товарищ старшина! Меня нельзя оставлять... Я еврей... Я хочу воевать!.. С вами хочу!..

Старшина и его одернул:

— Разговорчики, Якубович! Кто кого собирается оставлять? Как будто мы другого оставили бы! Нам все одинаковы!

Веня тарачил мохнатые глаза и повторял без голоса:

— Я хочу воевать! С вами хочу!

— А кто не хочет? — отвечал старшина, обуваясь. — Ганичев! Вы хотите тут остаться?

Он сам бодрился и бодрил нас, но говорил сердито.

— Я как раз остаюсь в заслоне, — сказал Саша и подошел к постели. — Прощай, Веня.

Якубович опять закрыл глаза. Похоже, у него не было сил на слова, и он так прощался с Сашей. Глазами... Саша наклонился к нему, направился к выходу, сказал с порога:

— А вам есть смысл торопиться.

В дверях мазанки возникла крупная женщина.

— Хозяйка! — тихо попросил ее старшина. — Вы можете подарить нам одеяло?

— Та боже ж мий! Берить, що треба!

Зашел Сапрыкин, мы вынесли Веню на одеяле, и, когда уложили на лафет, голова его странно прильнула к самому плечу. Я поправил ее, и она послушалась моей руки, но так же безвольно прильнула к плечу опять, а я только запомнил, какой колючей стала щека у Вени. Все мы заросли за эти дни...

Толя опустил на колени и прижался ухом к груди Якубовича, и мы ждали долго, пока он не сказал:

— Он умер, понимаете?

А Сапрыкин уже стоял у Нерона, старшина сидел на Ястребе, запряженном впереди, и Белка скомандовал как-то не по-военному:

— Трогай.

— Лушина нет! — объявил Эдька.

Мы осмотрелись. Федора правда не было. Когда последний раз его видели? Белка вернулся в мазанку — карабина Лушина не было у стены. Мы на все голоса стали звать Федора и смотрели во все глаза — такого верзилу невозможно было не увидеть, если он близко. Ушли еще какие-то минуты...

— Трогай! — повторил Белка.

— Стой! — скомандовал старшина, отменяя его приказ. — Нельзя!

— Нельзя вдвоем командовать одной пушкой, — сказал Белка и поиграл желваками. — Сапрыкин!

Село уже опустело от военных. Ни повозок, ни пеших не было возле мазанок. Дорога курилась далеко впереди, а в селе и пыль улеглась. Лес за оврагом был все так же тих. Или их там совсем мало пряталось, фрицев, или они искали другую дорогу.

Мы топали молча.

Солнце припекало, мокрые пятна затемнели на наших спинах под вещмешками, хотя вещмешки давно уже отошдали от запасов. На матерчатых их донышках, кроме грязных вафельных полотенец, хранились у кого обмылок, у кого щепотка чайной заварки, у кого кусок сахара, бурый от пыли, и у всех, наверно, фотографии близких, обернутые грязным носовым платком. Близких, до которых было так далеко. Я нес еще справку, удостоверяющую мое право после службы вернуться в институт.

— Стой!

Вдоль дороги вытянулись тополя, закиданные шапками вороньих гнезд. В зеленой листве старые гнезда темнели ржаво. За густой шеренгой тополиных стволов мелькнули камни кладбища. Мы остановились по команде Белки, и я понял, что здесь окончилась дорога Вени. Леса на склоне за оврагом уже не было видно, но и стрельбы до сих пор не слышалось. Белка молча снял с передка лопатку, мы тоже. У самого края, за остатками кладбищенской стены, мы выкопали неглубокую яму. Быстро, пятью лопатками. Вспотели. Жара разбухала. К нам подхромал старшина Примак с черными половинками медальона на ладони. Видно, он только что вынул этот медальон из гимнастерки Вени. Меж пальцами торчала узкая полоска смертного свитка.

— Лунев,— спросил старшина, ткнувшись палкой в кучу свежей земли у ямы,— чье фамилие?

— Лучева,— поправил я, вспомнив, как Веня показывал мне фотографию совсем юной женщины в балетной пачке, она застыла в прыжке, раскинув свои длинные ноги и оттянув носки: «Это моя мама. Елена Лучева. Ты слышал? Ну, как же так? Она была балерина, а сейчас руководит балетным кружком в Доме пионеров. Неужели не слышал? Ты просто невежда!»

Я не увлекался балетом.

— Кто такая Лучева? — спросил старшина.

— Его мать.

— Якубовича?

Старшина протянул свивающуюся полоску вошеной бумаги ближайшему соседу — Толе Калинкину, мы передали ее друг другу. Вверху, после слова «фамилия», на полоске стояло — Лучев. Потом зачеркнуто и сверху написано Якубович.

— Он боялся быть евреем,— сказал Толя.— Фашисты их истребляют.

— Все равно,— сказал Сапрыкин, держа узкий листок.— Лучев, Вениамин Львович. У отца имя еврейское. Лев.

— Правильно, Сапрыка,— сказал Эдька.— Например, Лев Толстой.

Сапрыкин, по обычаю, тут же огрызнулся:

— А мне что? Я о нем беспокоюсь.

— Не беспокойся...

— Прохоров! — сказал Белка.— Найдите дощечку.

Я отломал дощечку от старой ограды на соседней могиле, подумав, что сельчане простят меня, и начал выводить своим огрызком... Вениамин... Без отчества. Нас еще нигде не называли по имени-отчеству, разве в официальных документах... В конце я поставил число, а в начале написал звание: красноармеец. Не очень аккуратно получилось, но все можно было разобрать. Я слюнявил пальцы, мазал дощечку, корябал огрызком карандаша, а старшина говорил мне, стоя рядом на одной ноге и обеими руками опираясь о свою палку, как о живую ветвь, торчащую из земли:

— Человека наказывают, чтобы он понял, исправился, постарался. Человек не виноват, кем на свет родился, поляком или тунгусом, а уж переделаться и вовсе не может, как ни старайся. Значит, наказывать за национальность — это есть варварство, а не воспитание.

Вышло это надгробной речью, потому что Веню уже поднесли. Одна его рука, державшая в детстве смычок от скрипочки, съехала с одеяла и коснулась на прощанье травы. Впрочем, Веня уже не чувствовал, что это трава...

А Белка сказал старшине:

— Догоним медчасть, сдам вас...

— Отделаться от старшего торопишься, сержант?

— Не хочу закапывать вас вот так...

— И не торопись.

Когда стряхнули землю с лопат и повернулись к дороге, увидели на ней Федора. Он возвышался над гаубичным щитом, и нам хорошо было видно его взопревшую, в щедрых веснушках физиономию. Догадываясь, что его ждет заслуженная взбучка, Федор не пошел на кладбище, где кричать было неудобно, а дождался у орудия. Мы окружили его еще молча, хотя в глазах наших было достаточно ярости, и он спросил первым:

— Якубович?

— Считали вас дезертиром! — не сдержавшись, крикнул Белка.

— Жратвы набрал.

Федор скинул с плеча на лафет раздутый вещмешок и принялся развязывать. Он не отдышался, а только притаил дыхание и сейчас опять принялся дышать неровно и часто, будто все еще бежал за нами. А руки его выкладывали на освобожденный лафет каравай, сало, яблоки.

— Грабиловка? — спросил Эдька.

Федор выпрямился. Эдька был не короткий, но Федор смотрел на него, опустив глаза.

— Эх, музыка!

— У кого же раздобыл угощение? — кривясь, спросил Эдька.

Лушин переступил с ноги на ногу, еще помолчал.

— У знакомых. Право слово!

— Кому смерть, а кому жратва!

— Не хочешь, не жри, — без зла ответил Лушин. — Только ведь и перед смертью жрать попросишь...

— Удрал, не спросясь! За это расстреливают!

— Стреляйте, — сказал Федор. — Вот он я.

— Марш! — коротко скомандовал Белка.

И мы двинулись дальше, про себя радуясь тому, что Федор с нами, а он на ходу снимал с лафета и прятал в вещмешок яблоки, каравай, сало. И захотелось сейчас же съесть по яблоку, но спросить никто не решался, потому что радовались мы не яблокам, даже не хлебу, а Федору.

Село отплывало зеленой каплей среди хлебов. Уже где-то там был этот лес, и мост через овраг, и наш заслон. Возвращение Федора вселило надежду, что вот так вернется и Саша.

Это случилось под вечер, когда мы расправились с половиной каравая и тени перед нами вытянулись далеко вперед. Высокие свечи пыли издали показали, что нас догоняли не танки, не телеги, а машины. Бежали они быстро, их было две.

Вот уже они зафырчали сзади.

Мы собрались за орудийным щитом и выставили карабины.

Но это были свои. Два грузовика с бойцами обогнали нас и остановились. С заднего спрыгнул Саша Ганичев, ему протянули карабин из кузова, а он кивнул всем, как мог только наш Саша, дружески и величаво, и пошел к нам, одергивая сзади гимнастерку.

Из кабины передней трехтонки выскочил капитан с багровой щекой и заспешил к нам трусцой, так что подошли они вместе.

— Артиллеристы задрипанные! Ползете сзади всех?

— Три коня — не шесть, — сказал Сапрыкин.

— И эти устали, — добавил Белка.

Капитан разлепил губы, но только махнул рукой. Саша оглядел нас и пустой лафет и ни о чем не спросил.

— Храбрый парень, — сказал капитан, положив руку на плечо Саши. — И по-немецки шпрехает...

Капитан посмотрел на нас, на Белку, на гаубицу.

— Слушай, а может, все же ее к... Вот именно. На что она? Посажу всех на машину!

Капитан кивнул через плечо и вытер крупной ладонью пот со лба.

— Возьмите раненого старшину, — сказал Белка.

— Это не медчасть, — неприступно обронил с Ястреба старшина, и было видно, как задвигались под гимнастеркой его лопатки оттого, что он прочней забрал в руки уздечку. — А ехать я и так еду.

Капитан еще раз вздохнул, выругался крепче, видимо получая от этого облегчение, и подтянулся.

— Капитан Сизоненко, из триста сорок первого полка, командир второго батальона. Я приказываю: если нужно, бросайте гаубицу. Выполняйте последний приказ, сержант.

Белка не ответил.

— Ну, смотри. — Капитан передернул тонкий ремешок планшета на плече, расстегнул его, и перед нами открылась карта с толстой, как рисуют большие реки, линией от синего карандаша. У майора был синий карандаш. — Запишешь? Или запомнишь? Первомайка...

Он стал называть пункты, а я записывать в свой мятый блокнот, потому что Белка посмотрел на меня.

— Хватит, — сказал капитан и развел руками. — Что будет через пару дней... Доброго пути, артиллеристы... Эх!

Он снова выругался, пошел, застыл на мгновение, сплюнул трижды под ноги. И побежал к машине. Едва хлопнула дверца, машины рванулись. Скоро и урчанье стихло, и пыль растаяла без следа.

Солнце сзади нас прижалось к земле, последними лучами еще высвечивая в пшенице дорогу, по которой мы



шли. Саша рассказывал на ходу как-то стиснуто, вроде ему хотелось бы лучше помолчать.

— Немцев там было пока немного... Но, конечно, хватило бы, чтобы заварить кашу... Особенно когда не ждешь... И нечем встречать... Два танка и двенадцать мотоциклистов...

— Ты откуда знаешь?

— Я пленного допрашивал.

— Какого?

— Три мотоциклиста въехали на мост. Могли проскочить... Для них еще оставалось место. Сбоку от дыры... Ехали и стреляли. У них пулеметы в колясках... Мост мы взорвали... Два мотоциклиста сразу... А третий проскочил... Я бросил гранаты. Другие бросили...— Саша замолчал.

— Ну, Ганичев?

— Водителя... насмерть... А пулеметчика ранили... Его я и допрашивал, пока он дышал... Он трясся, выл и молился: «Майн гот!»

— Это что такое? — спросил старшина, который ехал, повернувшись в седле лицом к нам.

— Мой бог,— сказал я.

— Все знают немецкий,— удивился старшина.

— Кое-как,— сказал я.— Нас же в школе учили.

— Дальше, Ганичев,— потребовал Белка.

— Он... жить хотел...

— Сволочь! — вставил Сапрыкин.

— А кто взорвал мост?

— Длинный, с биноклем, помните?

— Ну?

Эдька протянул с передышками:

— Этому лейтенанту... ему же... не велели оставаться!

— Остался. Совсем...

— Погиб?

— При взрыве?

— В перестрелке,— ответил Саша.— Немцы стреляли из пулеметов с опушки леса... Мы отстреливались...

— Ну?

— Ну и все.

Уже стемнело, и какое-то время слышалось, как наши кони топчут дорогу, мягкую от многих ног, прошедших по ней. Остывающий воздух прибавил коням силы. Они шли шибче, зная, что с темнотой быстрее наступит отдых, хотя бы короткий. Из брезентового ведра запахнет водой.

Зато мы после рассказа Саши сразу устали. У меня

сбились портянки, и голыми местами стали чувствоваться сапоги. Задник тер пятку, задубевшая складка на подъеме не давала и шагу ступить без боли. Уже пекло, как от ожогов. Надо было сесть и переобуться, но я боялся, что не встану, не догоню своих и тогда останусь один в безлюдном поле, как на пустой земле.

Я давно перестал бояться темноты. Даже любил ночь на высоком стогу сена. Из-за малых денег и множества детей мать не снимала дачи, а вывозила нас подальше от Москвы, в деревню. Мы выбирали место из окна поезда. Мне нравились многие места, особенно если рядом текла река, и я часто кричал «Здесь!», но старшие сестры высказывались критически, младшие братья еще ничего не смыслили, не могли поддержать меня, схватываясь из-за своего, и помню, как однажды от обиды на сестер у меня навернулись немые слезы, а мать сказала: «Давайте здесь». После этих слов мы схватили чемодан, узлы, плетеную корзинку с посудой, керосинку в старых газетах и, что-то роняя, чем-то гремя, поспешно вывалились из поезда, который стоял не больше минуты...

На краю деревни, до которой мы еще добрый час тряслись на телеге, чтобы пить парное молоко по утрам, оказался высокий стог сена. Вечером к нему подходила пузатая лошаденка неопределенной масти, грязно-белая, но казавшаяся голубой от луны, и выедала дыру. Выест поглубже, спрячет голову и поспит, пока ее не прогонит наша хозяйка, орущая на всех от доброй души. «Эй, Клава! — бывало, звала она мою мать. — Скорей! Твой меньшей гвоздей в рот насовал! Играют с моим иродом в сапожников. Бросай свои пышки, дура безмозглая, беги сюда! Не отдают! Ох, я сейчас тебя нагвоздаю, горе мое лупоглазое! Плюй гвозди! Все плюй! Еще! Больше нет? Отвори зубы. Дай, пальцем проверю... Не кусай! Правда, нет... За что же я тебя била? Почеломкаю. Ух ты! Его жалеешь, а он лучше ревет! Не реви — тресну!»

Вечером хозяйка хватала длинную хворостину и валила к стогу: «Опять пришла, грешная? Вот бедолага! Сейчас я тебя уважу!» Не знаю, почему лошади нравилось сено больше травы. Может быть, потому, что в нем был клевер. Может быть, спрятав голову от людей, лошадь смотрела свои сны.

Сначала я забирался в дыру и ждал, не вернется ли она, чтобы подружиться с ней и поласкать. А однажды я полез из дыры вверх, вскарабкался на макушку стога и с него

впервые увидел целый мир; открытый темнотой. Звезды приблизились. Большие и яркие, как угли, которые выгребала хозяйка из печи перед выпечкой хлеба. И мелкие, как пылинки, бледнее.

Я смотрел на них и ощущал сразу и величие и скоротечность жизни. «Почему люди умирают? — думал я. — Это несправедливо — не слышать запаха сена, например, не видеть звезд...» Я винил себя за обиды, нанесенные маме, молча клялся завтра же написать отцу, прощал друзьям зачитанные книжки, безвинные обманы, прощал всем и все и ничего не прощал себе. Я один был на стогу, а думал о многих...

Заржала лошадь. Это голубая вислопузка вернулась к своей дыре? Я обрадовался и свесил голову. Лошади не было. Просто стояла такая тишина, что далекое ржание показалось мне близким. И тут же я услышал надрывный зов: «Ко-остя!» — понял, что мама искала меня, скатился со стога и побежал, крича навстречу ее голосу: «Мама!»

Я не вспоминал бы сейчас ничего, если бы не майор... Как его зовут?

А мог бы я, когда уже больше ничего нельзя сделать, погибнуть, как незнакомый майор, чтобы спасти кого-то?

Я забыл о трущих сапогах, однако идти было тяжело. Мы отстали от коней, и Белка, шагавший у передка, ближе нас к упряжке, все чаще оглядывался и командовал:

— Подтянись!

Его крепкие, коротковатые ноги не сбивались с ритма.

Эдька пошел на хитрость. Он тихонько запел. Не запел, а затянул одну мелодию, без слов, замычал, но все же она давала совсем иной ритм нашему движению, потому что это была «Каховка», замедленная к тому же. Может, на коней это и подействовало бы, только не на сержанта.

— Отставить, Музырь, — оборвал он. — Спать захотелось?

— Хочется, — сказал Эдька.

— Ночлега не будет.

Мы охнули и простонали, но его поддержал Сапрыкин:

— Раз оторвались, надо уходить.

— Все равно на танках они догонят, если погонятся.

— Танкам надо горючее.

— Два танка не пойдут вперед. У них задача — прощупать обстановку, навести панику и ждать главные силы.

— Право слово, Саша.

— А где их главные силы?

— Кто знает!  
— Подойдут — узнаешь.  
— Когда?  
— Неизвестно.  
— Никто ничего не знает.  
— Потому и нельзя останавливаться, — снова сказал Сапрыкин. — Только напоить и накормить коней, конечно.  
— Будет привал на час, — сказал Белка.  
— Где?  
— У первой воды.  
— Хорошо-о! — одним словом размечтался за всех нас Толя.

— А вода известно где? — спросил Федор. — Тоже никому не известно. Сотрем ноги, коней загоним, тогда что будет?

— Вечный покой.

Это сказал Эдька.

— Отставить разговоры! — распорядился Белка так требовательно, что, кажется, сам испугался сразу наступившей тишины. — Разрешаю курить. По одному. В рукав.

Но курить было удобнее не в рукав, а накрывая пилоткой разгорающийся при затяжке огонек, а потом пряча самокрутку в кулаке, как дорогую монетку, за которой охотились чужие глаза. Одна искра могла подтянуть к дороге фашистский бомбардировщик и заставить его вывалить на нескольких человек и трех коней с поврежденной гаубицей все бомбы. Мы ждали своей очереди и курили до головокружения. Это отвлекало от мыслей, от усталости. И не так хотелось есть.

Старшина остановил своего Ястреба и всю упряжку. Белка шагнул к нему:

— В чем дело, товарищ старшина?

— Пересеяду на лафет. Нога.

— И Ястреб отдохнет, — сказал Сапрыкин, подходя к старшине.

— Правильно, Гриша.

Старшина первый раз назвал бойца по имени, хотя давно называл нас на «ты». Он назвал Сапрыкина, но будто до всех дошла волна забытого тепла. Сердце, оно ведь может подмерзнуть и в душную ночь... У сердца своя погода. Сейчас оно согрелось, как от глотка водки.

Я тоже приблизился к старшине, помог Сапрыкину снять его с Ястреба. Опираясь на наши плечи, старшина подпрыгнул к лафету и сказал:

— Сейчас.

Рассевшись у дороги, мы торопливо переобувались. Затрещали портянки. Они протерлись не у одного меня. Теперь мы выбирали целые куски, перематывали ступни, стараясь прикрыть больные места. В первые месяцы службы старшина учил нас по десять раз в день обматывать ноги портянками. Зачем? Для издевательства, зачем же! Так думали мы. Непыльная работа — заставлять других перестилать постели, пока одеяло не вытянется без морщинки, вертеть без конца портянки и, конечно, чистить сапоги, выставляя напоказ свои, будто языком вылизанные до блеска. Платят хорошо. Все готовое — от еды до одежды. А что надо еще такому человеку? Если ничего не надо, старайся — и тебя оставят на сверхсрочную. Наш старшина старался. Он был сверхсрочником.

— Ух! Легче жить стало.

Он присел на лафет. Мы посмеялись, а он прибавил беззлобно:

— Ржите, ржите!.. Вы идете. Где кому схочется, тот там и помочится. А я еду.

— И раньше остановились бы,— буркнул Белка.

— И потерпеть можно,— ответил старшина.— Вот беда! — Он с трудом поднял негнущуюся ногу и положил на лафет.— Подлез под бомбу! «Ах, Примак, ах, Примак, удивительный дурак!»

Это был припев из нашей песни о старшине, мы закашляли в замешательстве.

— Как же вышло с ногой? — спросил Калинин, выручая всех.

— Просто выходит. Загонял других в укрытие, а сам опоздал. Упал, где был, а встать не могу. Думаю сам себе: что такое, братцы? Неужели? Осколки мне достались мелкие, я их и не заметил, а ноги нет. У них специальная бомба для гражданских, что ли, с дробью? Как на уток. Поуродуют — сиди и горби на них. Калека. Уж лучше бы в руку! — сокрушался старшина.— Привязал бы... Нога нужней.

— Нужней всего голова.

— Без головы ничего не нужно, товарищ Ганичев,— ответил старшина не строго, к чему мы привыкли еще в мирные дни, а весело.— Это я понимаю, так как голова у меня целая. А раз она целая, могу я выбирать для себя, что лучше, что хуже? Если б в руку!.. Стой сам, иди сам.

Не теряя формы. А так я стал бесформенный... Всем в тягость.

— А стрелять? — не согласился Федор, будто бы и правда можно было поправить ошибку фашистской бомбы.

— Так лучше бы в левую, — сказал старшина.

— Лучше уехали бы с медсанбатом, — не сдержался Белка.

Старшина промолчал, позвал:

— Сапрыкин! Нарезь мне пшеницы под ногу. Нож!

— У меня свой есть, — отозвался Сапрыкин, уходя с дороги.

У него был нож удивительной остроты, с грубой деревянной ручкой и одним лезвием. Лезвие тонкое, но прочное. Сапрыкин клялся, что это сабельная сталь и нож достался ему по наследству от прадеда. Мы открывали концом его ножа консервы, присылаемые в посылках. Саше Ганичеву мама всегда клала тонкую банку шпрот. Доставалось понемногу всем, кроме Лушина, который уходил. Хорошие консервы — шпроты...

Под ножом Сапрыкина смачно хрустели стебли. Мы стояли посреди пшеничного поля... Шла война, но пшеница вызрела, и некому было убрать ее. Грустно было при взгляде на поля, как будто мы видели, как созревало и пропадало время.

— Хватит, Сапрыкин! — сказал старшина. — Всю не срежешь.

Сапрыкин поднес охапку пшеничных стеблей, видно, щекочущих его лицо, он дергал носом и отдувался — нам было слышно это. Он приподнял беспомощную ногу старшины и подsunул под нее шуршащие стебли.

— Ноет?

— Хоть руби ее, стерву! — ответил старшина.

Сапрыкин принес еще конскую попону и застелил пшеничные стебли. Все же ради старшины отнял у коней единственную попону, сберегаемую донине.

— Марш! — скомандовал Белка.

Тронулись, и старшина сказал нам, потряхиваясь на лафете:

— Моя бабка у помещицы коров доила. Уж не знаю, сколько было тех коров, но она была на всех одна. И рассказывала нам, маленьким: главное — не останавливаться. Остановишься — и руки отвисают. Конец дойке. И на марше так...

Мы шли и думали, что все же старшина обхитрил Бел-

ку, дал нам отдохнуть минут пять-шесть и переобуться заодно, а теперь спасал свою репутацию. И, радуясь тому, что все это прошло у него без сучка без задоринки, и считая, что уныние — самое последнее дело на свете, что, как волка, его нельзя подпускать к себе, что если у тебя осталось два патрона, одним надо стрелять в волка, старшина Примак попросил:

— А ну, Музырь, запевай песню про меня!

Глупо было бы на Эдькином месте спрашивать, что за песня, после того, как старшина сам исполнил ее припев: «Ах, Примак, ах, Примак...» Мы пели это в веселые минуты раскрепощения от старшинского надзора, когда казалось, никто не услышит ни слова. Мы были уверены в этом так же, как сейчас в том, что он давно знает песню. Может быть, слышал ее из-за угла конюшни. Шел к нам и остановился, споткнувшись о свою фамилию. Может быть, в другом месте... Мог бы наказать виновных или хотя бы невзлюбить, а вот зачем-то он слез с санитарной повозки, был с нами этой ночью...

Эдька втянул в себя воздух.

— Разлетайся, тишина,— запел он негромко, насколько позволяла эта ночь,— появился старшина...

Что он, спятил? Дойдет до припева... Сам Примак мог спеть о себе такое, это даже вышло кстати, когда он рассказывал про бомбу. А мы?

— Голосок у старшины — майский гром среди тишины!

Надо было начинать припев. Мы прикусили губы и безнадежно завертели головами: кто выручит? Может, сам старшина? Нет, старшина качался на лафете и ждал. Короткую заминку заполнил перебор конских копыт.

— Ах, Примак, ах, Примак,— выдавил Эдька,— удивительный Примак!

— Хо,— сказал старшина, помотав головой,— хо-хо!

И все мы облегченно подхватили в четверть голоса:

— Ах, Примак, ах, Примак, удивительный Примак!

Мы не пели бы, если бы не майор...

— От такого голоска,— продолжал Эдька даже с некоторой военной лихостью,— каждый гложет на века! Но глухой наверняка тоже слышит Примака!

Теперь мы выплеснули припев без задержки. А когда допели наконец длинную песню и удивились Примаку в последний раз, старшина спросил:

— Слышишь, сержант? Люди! Без стыда, но с совестью. Это я уважаю.

Белка не отозвался. Может, забыл о старой строке припева, не заметил ее в рассказе старшины, а может быть, одобрил новую. Песня его не заботила. Его заботила вода для коней, а вода все не появлялась. Луна разливала по небесным далям свой седоватый свет. Дорога заветвилась навстречу нам — тут и тут, похоже, разъезжались по полю. Значит, мы приближались к населенному пункту, как с первых дней войны стали безлично называться города, села, поселки, деревни, деревеньки и хутора. Что там, впереди? Белка отрядил в разведку Сапрыкина и Эдьку. Вот уж не подберешь лучшей пары! Они и при нас не уставали схватываться, и в отличие от Лушина, который, не найдя слов или не желая отвечать, позволял посмеяться над собой, Сапрыкин не был кротким, никому не давал спуска, отвечал на все по-своему и даже чувствовал себя победителем. Почти всегда.

Но, может быть, Белка считал, что такие спорщики лучше подстрахуют друг друга в разведке, не успокоятся на первом впечатлении? Или посылал их вдвоем в надежде, что стерпятся-сдружатся? Не знаю. Он нам не докладывал, что и почему.

Они ушли, и мы ждали их с полчаса. Кто сидел, склонив голову, кто лежал на спине. Один раз Саша Ганичев сказал мне:

— Длинный день.

— И ночь,— ответил я.

Самыми длинными были эти полчаса. Белка все чаще всматривался вперед, на слабо различимую дорогу. Наконец там затемнели две тени, и одна из них постепенно стала иссохшим Эдькой, а другая обрела сапрыкинские очертания.

— Ставок,— доложил Сапрыкин, когда они подошли и остановились рядом, как Дон-Кихот и Санчо Панса.

— Пруд,— перевел Эдька.

— Говорят, ставок,— настаивал Сапрыкин.

— Ну, озеро,— попытался помирить их Калинин, но вызвал целый рой возражений: какое озеро, ставок не озеро!

Мы так устали, что не заметили бесполезной растраты времени, пустых пререканий.

— Вода,— остановил нас старшина.

— Фрицев еще не было в селе? — спросил Белка, даже не сделав замечания, видно пощадив за усталость.

— Нет.



— Село большое?

— Не так чтобы...

— Среднее.

— Ставок на том конце,— доложил Сапрыкин.

— Хорошо,— сказал Белка.— Пройдем село без задержки.

Эдька шагал рядом со мной и дышал, раздувая ноздри.

— Ты все дуешься на Сапрыку? — спросил я.

— Если бы ты знал, каково это — ходить в разведку назад и оставлять своих ближе к врагу. Наверно, вперед лучше. Тогда хоть свои за спиной... А Сапрыка! Псс!

У ставка были глинистые берега, на которых мы минутно оскользались. Скинув сапоги, мы постояли в воде. Лягушки, разбуженные нашим вторжением, недовольно заурчали.

Кони остывали. Потом мы разнуздали их, Сапрыкин с Лушиным напоили коренников, а я напоил Ястреба. Потом пустили их в траву, которой многоросло у ставка, а сами доели лушинский каравай и сало.

Когда покидали окраину ночного села, нас проводил одинокий крик петуха. Его не поддержали другие. Видать, сони здесь жили, а не петухи. Я спросил Федора:

— Заря, должно быть, скоро?

— Нет,— отвечал он.— Звезды еще яркие.

— А петух?

— Полуночник. Нехорошо кричал.

— Почему нехорошо?

— Дурная примета.

— Ты, Федор,— вмешался в наш разговор Саша Ганичев,— все свои приметы забудь. Помнишь, что сказал комиссар? Надеемся на себя, бога нет.

Какой-то он стал странный — Саша... Всегда молчал. Весь в себе. А сейчас, похоже, искал собеседника, хотел поделиться чем-то... хотел говорить...

Эдька ушел вперед, а Саша шагал возле меня. С той памятной баталии на старой границе из-за немецкой листовки они не разговаривали. И на привале, объявленном Белкой перед рассветом, мы с Сашей оторвались от всех. Толя Калинин встал в дозор у дороги, а остальные забрели в пшеницу и рухнули вповалку, голова — на животе соседа. Мы с Сашей прилегли в сторонке вдвоем. Что его донимает? Я не приставал, захочет — скажет, нет — его дело.

Звезды начали таять. Маленькие таяли быстро, и не-

бо посветлело, и звезд над нами поуменьшилось. Я уже проваливался в сон, но просыпался снова и завидовал, что Саша уснул, когда послышалось:

— Ты не боишься умереть?

Я вздрогнул.

— Я не думаю об этом.

— Странная невзрослость,— сказал Саша.

— Мне не верится... Не хочется верить...

— Веня Якубович кричал: «Не хочу, не хочу!» На самом-то деле шептал. Слышал один я, когда наклонился к нему проститься.— Саша дернул стебелек пшеницы и раскусил.— Интересно, как будут писать о войне. Распишут!

— Смотря что.

— Воюют люди, а человек всегда должен выглядеть красиво, даже прекрасно! — продолжал Саша насмешливо.— Грязь, кровь, жестокость, до которой и животные не опускаются, а человек красив. Война может пригодиться какому-нибудь писателю. Высокая поэзия!

— Зачем ты сам остался в заслоне? Для поэзии?

Мы смотрели фильмы, где подвиги совершались легко, и многие вторили этому: я мог бы так! Сегодня утром Саша молча вышел из нашей кучки, чтобы остаться там, у моста. Это были уже не слова... Мне показалось, что теперь он клеветает на себя или не понимает себя, как не понимал Веня, когда плакал на навозной куче в конюшне... Мы еще не знали себя. Война проверяла нас... Саша выкрошил на ладонь зерна из колоса, кинул в рот, пожевал и тогда ответил:

— Зачем остался? Я выдавливал из себя труса... Запомни, Костя, война — самая жуткая штука в человеческой жизни. Она приблизила смерть. Вот единственный фон для человека на войне. Смерть ходит за ним по пятам. И догоняет...

Сбоку зашуршала пшеница, старшина спросил:

— Кого, Ганичев?

Он лежал между нами и остальными бойцами, а мы и не знали. Видно, у него затекла ноющая нога, и он повернулся и услышал последние слова Саши. Или все время слышал нас?

— Кого? — снова переспросил Саша.— Меня!

— А ты хочешь, чтобы твою сестренку?

— У меня нет сестренки.

— А кто есть?

— Мама.

— Ну, маму.

Саша долго молчал.

— Хватит меня. Мать узнает, часа не проживет.

— Тогда попроси Гитлера, пусть в тебя не стреляют.

— Почему люди убивают друг друга?

— Это фашисты начали, Саша,— вставил я.

— Они не люди,— прибавил старшина.

— А кто? — спросил Саша.— Тоже из людей. И тоже не хотят отдавать богу душу. Фриц вопил: «Jch will nicht!» Совсем как Веня: «Я не хочу!»

Саша почти выкрикнул это.

— Так,— сказал старшина,— в настоящий момент можно заключить, что рядовой Ганичев против войны. А, Ганичев?

— В настоящий момент — нет! — сказал Саша.— Но вообще-то...

— Отставить, Ганичев! — приказным шепотом отрезал старшина.— Сейчас война. И сейчас ты боец. Защищаешь свое отечество.

— Этот фриц... — прошептал Саша и помолчал.— Я держал его голову... Он умер у меня на руках... Я не пожалел его, но я испытал...

— Что?

— Страх... Тот, от которого звереют... Самый страшный страх перед смертью... Звереют от этого страха...

— Отставить!

Мы отставили, чтобы успокоить старшину.

— Но, Саша... — прошептал я через какой-то срок.

— Спи.

Ему расхотелось говорить, и он молчал, ощущая, наверно, как и я, подсохшие комки хлебного поля лопатками. Примятая пшеница была тонкой подстилкой. Но жесткие комки земли были приятны именно тем, что чувствовались... Последние непотухшие звезды еще сыпались в наши глаза. Я вспомнил близких, вспомнил слова старшины, вспомнил свои детские ночи на высоком стогу сена и совсем затаенно прошептал:

— Нет, даже перед смертью хочешь стать лучше, а не хуже...

— Рисовка! — не выдержал Саша.

— Нет, искренне.

— Может быть,— вдруг согласился Саша.— Пока смерть далеко... А когда она рядом...

Саша умолк, я ждал. В конце концов мы оба жили на равных, нас обоих могло убить до рассвета.

— ...тогда можешь сам убивать... можешь простить себе... все! — договорил он.

Я невольно содрогнулся и не знал, спорить или смеяться.

— Все?

— Все!

— Заткнись! Ты клеветешь на себя.

Саша нехорошо улыбнулся, он даже хмыкнул.

— Просто я говорю то, что думаю.

Саша захотел словно бы подальше уйти от конкретных обвинений, выплюнул изо рта зернышки пшеницы и приподнялся на локте:

— Толстой сказал: жизнь станет лучше, если люди станут лучше. Для жизни это имеет смысл. А если меня убьют? Зачем мне становиться лучше?

Нас обоих могли убить до рассвета, но все же я сердился, что никак не объясню ему чего-то очень простого.

Простые слова, которые в такие минуты сильнее других слов, не давались мне, в усталой голове напряжением всех сил складывались в какие-то изречения:

— Важно не только, как живешь, но и как умираешь... На войне... А может быть, и всегда.

— Да-да, вероятно...

Саша стал совсем не похож на себя — определенного. Ведь мы учились у него решимости. Не хотелось видеть его другим.

— Например... — начал я.

— Например, майор? — спросил он, перебив. — Сегодняшний случай на мосту?

«Да, — хотел сказать я, — мы не рассуждали бы сейчас, если бы не майор...» Но сказал другое:

— Это не случай...

Старшина постанывал во сне. Вздыхали кони. Федор, сменивший Толю, ступил по дороге несколько шагов и опустил на землю приклад карабина. Саша молчал.

— Он знал, что погибнет... И выбрал, как... За оврагом были мы... Только что ушел медсанбат... Танки могли столкнуть броневик с моста и ворваться в село... Он сам решил и выбрал. Или, думаешь, ему не хотелось жить? Он вылез из броневика в последние секунды и побежал к нам, но бикфордов шнур, который он сам поджег, Саша, был короткий... Лейтенант сказал, сапер... И тот лейтенант... мог бы уйти, когда ему велели...

— Им обоим было все равно.

— Как?

Долго слышался шелест пшеницы в предутреннем ветре.

Поднимался ветер. Саша заворочался, укладываясь поудобней.

— Ладно, спи...

Но я прошептал:

— Как ты можешь? Они спасли нас...

— Они хотели тишины,— сказал Саша.— Мудрые люди.

— Не понимаю.

— Шекспир был мудрее всех. Он сказал: дальше тишина.

— Ее можно было получить проще. Вынуть пистолет, к виску — и все. Хотел бы я узнать, кто он, этот майор, Саша.

Я вспомнил его улыбку, которую вижу до сих пор среди будней.

Капитан с багровой щекой сказал ему, что впереди, за оврагом, еще есть наши, но ехать туда опасно, а майор, наверное, хотел ответить: «Что же делать?» Но вместо этого только улыбнулся...

— А между тем! — вздохнул Саша.

— Что?

— Уже светло!

Он грыз колос.

— Саша,— спросил я,— что с тобой?

Он выдернул стебель изо рта, отшвырнул. И еще помолчал. И сказал тихо, еле слышно:

— Я жить хочу. Я люблю жить.

Как-то странно это сейчас прозвучало. А другие не любят? Никогда он не говорил: «Я люблю жизнь». Впервые мне послышалась разница между этими словами.

— Костя! — сказал Саша.— Вернешься в Москву, разыщи мою маму и попроси у нее прощения за меня. Я всегда был страшным эгоистом. Ее зовут...

Он дважды повторил имя матери.

— Иди ты к черту! Это ты там понял, в заслоне, про эгоизм?

— Еще я понял, что их можно бить.

— Фрицев?

Он повернулся на бок и опять приподнялся на локте.

— Хочешь, расскажу тебе, какой у них пулемет на мо-

тоцикле? Магазин открывается у приклада... Зашелка...

Он долго рассказывал мне, какой там пулемет, а потом опять позвал:

— Костя! Вдруг тебе повезет. Запомни: Верхняя Масловка...

Я словно увидел среди светлеющей пшеницы улицу из дачек, обросших сиренью, за новым стадионом «Динамо», на тогдашней окраине Москвы. Дачки были деревянные, но рядом с ними стояли и старые каменные дома лабазного типа. Где-то там, в одном из таких домов, жил Саша Ганичев с мамой. В маленькой комнате, разгороженной платяным шкафом. За ним Саша занимался и спал. Они даже готовили в комнате на керосинке. Квартира была общая, и в кухне их смело стесняли после того, как Саша остался без отца. Саша скрылся в себе. Может, он был совсем не гордый, а нелюдимый, убегал от лишних вопросов, ограждая свое мальчишеское достоинство? Тяжело было его маме. Вся тяжесть его стараний доставалась ей.

— Верхняя Масловка!

Он хотел стать инженером, был приверженцем точных наук. Но Толстой и Шекспир... Наверно, это мама внушала ему любовь к прекрасной словесности. И эта любовь была нужна ему, потому что он любил жизнь и радовался ей, как чуду.

Жизнь он любил, наш Саша, или только себя в жизни?

Новенькая литераторша, молоденькая вострушка, которую мы в отличие от Любы звали Любочкой, разнообразила преподавание и обогащала свои уроки тематическими выступлениями учеников. Мне досталось: Чехов и Художественный театр. Это почему-то многих заинтересовало, вечером в классе набилось столько народу, что сидели и на партах и на стульях, принесенных из учительской. Часа два я рассказывал обо всем прочитанном в разных книгах.

Не знаю, что уж я такого рассказал, но в раздевалке ко мне подошел историк.

— Я напишу о сегодняшнем вечере в своем дневнике.

Ребята вокруг меня обалдели, я и сам обалдел. Наш хмурый историк ходил на эти вечера, разоблачив себя как патриот класса. Меня шарахнули по башке:

— Влип в историю!

— В дневник,— огрызнулся я, поправляя шапку.

Смеясь, мы вышли из школы. Была зима. Историк уходил от нас походкой, жадно хватающей расстояние.

Меня стали толкать, пока не затолкали в сугроб. Кто-то посмотрел вслед историку, уже на пустой угол:

— Нет, он мировой мужик!

Что нас так объединило в тот вечер, было непонятно, но мы все захохотали еще громче, радуясь, что историк ушел и оставил нас одних и вроде бы не одних. Мы хохотали, не замечая, что в такие минуты складывались наши характеры. У нас были еще маленькие жизни, мы остро учились всему у других, заодно и деликатности взрослого человека.

Потом мы узнали, что и он не вернулся с войны... Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве, сказал Станиславский в книжке, которую я прочел, готовясь к выступлению.

Я вспоминал, стараясь отвлечься, и возвращался...

— Саша! Я запомнил адрес... Верхняя Масловка...

Этот адрес навсегда впечатался в пустое небо — подниму глаза и вижу.

Звезды потухли. Сапрыкин кормил коней, загнав их в овсяное поле за дорогой. Это он и подсказал Белке место для отдыха, заметив овес с кустистыми сережками в предутренней полумгле. Кони вовсю работали челюстями.

— Мы должны были спать, — сказал Саша. — Да здравствует разумная простота! Не бойся, Костя. Я сумею стать лучше.

Эдька вырос из овса, застегивая штаны и промаргивая заспанные глаза.

— Для начала помирись с Эдькой, — сказал я Саше. — На войне только и ссориться!

— Ох, Эдька! — вспомнил Саша и хлопнул себя по брючным карманам. — Отдай ему это...

Он вытащил из кармана что-то, завернутое в грязный платок, и это что-то оказалось губной гармошкой, такой большой, каких я не видел. Она была и длинная и многоэтажная, как карманный орган.

— Откуда она у тебя?

— У того фрица была. Тоже музыкант!

— Отдай сам.

Саша посмотрел на гармошку, сводя свои пшеничные брови.

— Выйдет жалкий жест... в сентиментальном соусе...

И протянул мне музыкальную штукювину, не по размеру легкую.

В воздухе тонко засвистело. Казалось, свист донесся

издалека, но, подняв головы, мы увидели, что не очень. Свист переходил в звенящий точильный звук, а этот звук — в моторное урчание. «Мессер» стремительно пронесся над нами, и все повторилось. «Мессер» заметил нас и возвращался.

— Рассредоточиться! — крикнул Белка, и его голос тут же перехлестнуло дробным стуком и совсем другим по-свистыванием, будто кто-то задыхался, сложив губы тесной трубочкой.

Немец обстреливал нас из пулемета.

— Гаубица! — услышал я голос Толи Калинкина.

Это я должен был крикнуть, я наводчик, гаубица — прежде всего мое орудие. Она все время катилась с маскировкой, пучки пшеницы желтели на ее щите, на стволе, Но они попадали и обтрепались... Мы не положили свежих, не замаскировали ее вчера как следует. Думали, уйдем до рассвета...

Я приподнял голову, и пшеница привстала следом перед глазами. В ее штрихах я увидел Сапрыкина возле коней, он прижимал к плечу беспокойно ощеренную морду Ястреба. Старшину я увидел. Возвышаясь над пшеницей по пояс, он кричал:

— Пусть видит, что у нас орудие! Он без бомб! Маскируйтесь сами.

— Помочь? — спросил я старшину, который, может быть, не мог сам лечь.

— Ложись! — крикнул Белка старшине и мне, и снова простучало совсем близко, и засвистело, и качнулся воздух над пшеницей, привалив ее на миг, и видно стало, как по дороге, за уходящим самолетом, растянулась, вгрызаясь в землю, цепочка крошечных взрывов, становясь косой стеной пыли...

В третий заход фриц застегал пшеницу возле нас, и, повернув голову и вдавливаясь в смятые стебли другим ухом, я снова увидел сначала стоящего среди пшеницы старшину, потом открытые глаза Саши Ганичева на лице, располосованном розовыми следами от стеблей, услышал его ликующий голос:

— Ты жив? И я!

Я не знал, что жизнь не отпустила ему больше ни слова.

— Карабины к бою! — скомандовал Белка. — По самолету залпом, огонь!

Четыре карабина пальнуло в небо, когда «мессер», оглу-



шительно ревя, снова приблизился и прострекотал длинно. Саша не стрелял, уронив свой карабин в пшеницу. Мы стали подниматься, и я увидел кровь на его спине. И на голове. Я подобрал его съехавшую пилотку, и рука моя замазалась кровью.

— Саша!

Сержант Белка, подойдя к Примаку, ругал его, что он вытянулся живой мишенью, когда все лежали. Была команда: «Ложись!» Она касалась всех.

— Знаю.

— Сапрыкин!

— Я!

— Команда для всех.

— Так ведь кони...

— Саша,— позвал я снова.

Я поднимал его за прямые плечи, силился перевернуть, но он был тяжелый.

— Эй! — неласково повторял я, не оставляя своих попыток.— Эй!

— Все, Прохоров.— Это был негромкий голос Белки.

Наверно, прошло какое-то время, которого я не заметил. Они стояли вокруг меня. Весь расчет. И старшина, которого подвели.

— Ганичев,— сказал я.

— Сам не ранен, Прохоров? — спросил меня старшина.— Кровь на руке.

— А это что? — донесся голос Белки.

— Это тебе,— сказал я Эдьке.— От Саши.

У развилки двух дорог мы опять копали могилу. Мы копали своими лопатками могилы, а не позиции. Сашу поднесли на плащ-палатке... За овсяное поле уходила дорога в какие-то Новые Козы, а наша тянулась прямо — на Первомайку... Так было написано на прибитых к низкому столбику дощечках с заточенными углами. Новые Козы... Наверно, были и Старые... Люди нарощали детей, построили для них еще дома...

Я оторвал от указателя дощечку с Новыми Козами, старшина протянул мне свою палку. Я кивнул — с первого дерева ломаем ему другую, ехать же на Ястребе или на лафете можно и без палки... Пока я постукивал, выколачивая гвозди из дощечки и прибывая ее к палке, Белка велел вынуть все из карманов Саши. Вынули медальон.

— Адрес,— сказал мне Белка.

— Знаю,— ответил я.— Верхняя Масловка...

Подумалось, что я становлюсь сборщиком адресов. Это потому, что у меня есть блокнот и карандаш. Я поплевал на грифель карандаша и провел рукой по дощечке...

— Что там? — услышал я нервный вопрос Белки.

Мы устали на Толю Калинкина, присевшего около Саши на корточки, а он пялился на нас снизу вверх своими круглыми, младенчески-ясными глазами. Он держал листовку, вынутую из гимнастерки мертвого Саши. Толя передал ее сержанту.

Это была фашистская листовка-пропуск. Зачем Саша спрятал ее в карман?

Подковылял старшина, взял листовку в свою руку.

Я глядел на Сашу. Его лицо было теперь совсем отрешенным, без всякого напряжения, без усилий к тому, губы тонкие, а глаза закрыты. Ничего не прочтешь в них... Старшина слышал часть моего ночного разговора с Сашей. Сейчас скажет, подумал я:

«Так... Зачем же он в заслоне у моста остался?»

Старшина шумно высморкался на землю и вытащил кисет, не сказав ни слова.

Листовку вернул себе Белка, подвигал желваками. Сейчас Белка скажет, подумал я: «Прохоров! Не писать ничего. Бросьте карандаш!»

Я уже приготовился крикнуть: «Нет!» — и даже потряс головой. Но сержант держал в исцарапанных ветках и пшеницей пальцах слишком серьезное доказательство, а я не смог бы доказать ему ничем, кроме слов, что путь человека к самому себе очень сложен. Что человек не сразу распознает себя. Может быть, для этого требовалась Саше минувшая ночь. Может быть, потребовалась бы и завтрашняя, которая теперь не нужна совсем. Может быть, Саша носил в кармане листовку, чтобы преодолеть себя. Может быть, и вовсе, чтобы сбечь, как память об этих днях, этой дороге и однажды показать дома своей матери.

— Правда, Саша?

Мы закапывали друзей, но еще долго разговаривали с ними, как с живыми. Среди дня и ночи. Вдруг спросишь и услышишь голос...

Белка оторвал от листовки четвертушку, насыпал в нее табак, смешанного с махоркой из кисета старшины, и закурил. Мы разодрали остаток листовки на клочки и задымили тоже. С бумагой плохо было — и в селах и у нас тем более... А Саша смолил чаще всех и не любил одолжаться...

— Наверно, для курева берег бумажку... Ну, чего при-

молкли? — спросил нас сержант. — Что мы, Ганичева не знаем? Первый день он с нами? Кто там... в заслоне?.. Да он!

Мы дымили, передавая самокрутки друг другу, а сержант говорил о нем, как о живом, и вспомнил, посмотрев в лицо Саши, что нам пора уходить, а ему оставаться.

— Пишите, Прохоров.

Я опять обслюнявил высохшую дощечку и стал выводить на ней буквы. А в виски стучалось: кто завтра? Закончив, я посмотрел на огрызок карандаша в руке и отшвырнул подальше от себя, в пыль. Ребята уже завернули Сашу в плащ-палатку...

Если кому-нибудь из нас придется возвращаться этими дорогами, он встретит много знакомых могил. Они оставались, как зарубки на пути, чтобы не заблудиться. Кто-то будет возвращаться. Вот дойдем до Днепра, починим оружие... Это я знал.

Я не знал тогда, что пойду по Верхней Масловке...

Сашина мама умерла в первый год войны, и я даже не знаю, получила ли она какое-нибудь известие о сыне, подкосившее ее, или нет. Соседей, которые рассказали бы мне о ней, тоже не осталось. Не в живых, а на этой улице. Все разъехались по новым домам...

А Саша... Может быть, какое-то сердце еще помнит о нем? Ему было восемнадцать, когда он уходил на службу, в эти годы молодые сердца не очень памятьливы. Но, может быть, еще чье-то сердце хочет знать: Саша лежит в одинокой могиле, среди пшеницы, у развилки полевых дорог, одна — в Новые Козы, другая — на Первомайку...

## 8

Новые дома окружили нас со всех сторон, может, и не совсем новые, но стены побеленные, а ставни раскрашены голубым, синим, вишневым.

— Вы часто красите свои дома? — спросил я долгоносую девушку, закутанную в белый платок.

— К Первому мая,— ответила она, подняв глаза от земли.

Девчонка была длиннорукая и длинноногая.

В почтовых и сельсоветских бумагах наверняка село называлось Первомайским, но чья-то душа подмигнула названию, и оно навсегда переименовалось в юную Первомайку, а это понравилось коренным и окрестным жителям. Не так солидно стало, зато и красились каждую весну с

несолидной лихостью, расцветали, соперничая, кто заметней. И пыль не одолевала этой раскраски.

Но прежде всего запомнилась нам Первомайка не ярмарочным обликом своих домов со ставнями, прикрытыми зеленью садов, а совсем уж неожиданным сюрпризом после дня молчания, отделившего нас от одинокой могилы. При въезде в Первомайку на дороге стояла полуторка, а в кузове ее возвышался тяжеловатый боец в гимнастерке с малиновыми петлицами на воротничке. Губы его подрагивали, готовые подчиниться просившейся улыбке.

— Здорово, артиллерия! — крикнул он.

— Здорово, пехота, — сумрачно ответил Белка и рукой дал нам знак остановиться.

Перед входом в Первомайку мы обтерли лица и шеи остатками сапрыкинского одеколona, теми же клочками ветоши обмахнули гаубицу и выглядели, казалось, совсем пристойно, но гимнастерка с белым подворотничком на бойце в полуторке перечеркнула все наши усилия. Даже пятна старого защитного цвета в складках наших гимнастерок, оставшиеся, как вода в лужицах, были грязными.

— Кто и откуда? — спросил наш сержант.

— Вас жду, — ответил боец, безудержно расплываясь всей своей добродушной рожей. — Рядовой Степан Набивач.

— Зачем мы вам?

— Так у меня для вас белье! — сказал он и приподнял из-за борта стопку, обернутую желтой, с блеском, бумагой, чтобы всем было видно. — Вас сколько? Раз, два... Всем достанется, и еще возьмете в запас.

Через полчаса мы ели пшеничную кашу из плиток концентрата, тоже бывшего в кузове полуторки, и слушали рассказ ее водителя, благодарного нам за наше появление, словно мы его освободили.

— Я должен был все отдать. Люблю порядок.

— А откуда у тебя белье?

— Так меня за бельем посылали. Из полка. Знаете такой полк? — Он назвал номер, но мы не знали. — Начальника АХО знайты... Де найдешь? Бумагу дали. А кому она, та бумага? Гоняю по дорогам, як та белка в колесе. Запутался... И тут... Еду вдоль железки... На малесенькой станции — эшелон. Паровоз разбитый — бомба... Последние вагоны сгорели... А к остальным не пробьешься! Облепил разный люд. Ну, это кто, може, и нет, а я пробився... Чего там только не було! Мать моя! Мотоциклы! До войны я все о мотоцикле мечтал, а зараз — ось

воны! — бери, не надо. Две полуторки на платформах, як моя... Распатронены... Снимають, кому ще треба... Я это не люблю, но и я тормозные колодки сдрючил, уси четыре диска обновил. И для смеха взял новую пробку от радиатора... Но раньше, конечно, белье... Все було в этом эшелоне. И пшениный концентрат був. Вкусная штука? У вас кашевар классный, сальца подкинул... Ну вот... Войску посылали эшелон. А перепадает, бачу, кому попало. Ладно, хоть не фрицам...— Набивач помотал щекастой физиономией.— Нарушилась координация... Я еще в дороге подобрал бойца, поставил его к машине, а сам давай бегать... Часа два бегал. Нагрузывся... Я таскал белье до седьмого пота, а цей боец стерег, думал, подвезу его в тыл. «Поихалы!» Он спрашивает: «Куды?» Я ему: «На фронт!» А он опять: «Куды?» Я его матом. Хиба ж можно перед дорогой: «Куды, куды?» Мне б ему спасибо, что помог, а я матом. Нарушилась координация и вообще, и в каждом человеке. Он остался, я поехал. Три дня искал своих, а сегодня встал и роздаю всем чистое белье...

Набивач рассказывал, смешивая украинские и русские слова, а мы пытались представить себе эшелон, присланный войскам из дальней мобилизующейся страны. Даже в таком рассказе он обнадеживал, а к тому же в подтверждение мы получили белье. Конечно, было бы куда отрадней получить его на орудийных позициях, но ведь мы не были виноваты в том, что наша пушка не стреляла. Остаться вот здесь, у Первомайки, с карабинами и пистолетами? Может, это имело смысл, и неважно, что никто не узнает, как мы дрались и погибли?

Но нами командовали не только наши чувства. Нами командовал сержант Белка, которому мы беспрекословно подчинялись, хотя он весь день до неожиданной встречи с этим Набивачем шел, не открывая рта. Что там — впереди? Выдержат ли наши кони? Белке было о чем подумать. И мы шли за ним, взбивая пыль сапогами, среди жары, от которой звенело в ушах. А может, это звенело от безлюдья хлебных полей, окружавших нас, от пустоты вокруг, если не считать птиц?

— Гимнастерка у тебя тоже с эшелона? — спросил Сапрыкин шофера и потрогал ее.

— Нет, це свий запас. Возить не носить.

Сержант пошептался со старшиной, но старшина Примак плохо умел шептаться, и до нас донесся его беспокойный вопрос:

— Ночевать?

Когда Белка выслал на край села, в дозор на дорогу Калинкина, а меня назначил первым дежурным у гаубицы и сказал, кто и кого сменяет, не исключив и себя из очереди, выросла вера, что будет не только отдых, будет сон, если его не сорвут... День за днем висел на этом «если», как сказал старик с деревянной ногой, несший мальчишку на плечах... Где-то они?

Отдых требовался прежде всего коням. Мы шли, а они тянули гаубицу, сколько могли и не могли. Мягкие обхваты шорок закровенели. Еще дня два, и беда...

Правда, Белка и о нас подумал. Он велел соорудить баню. Лушин и Сапрыкин отправились в какой-то двор греть воду.

Летний вечер переходил в темноту. И тут Набивач сказал:

— Я, пожалуй, погазую.

Возможно, с темнотой пришла тревога. И он не чувствовал такой зависимости от сержанта Белки, как мы. Белка тоже не чувствовал над ним своей власти.

— Возьмите с собой раненого старшину,— сказал он.

— Нет,— ответил Набивач так, что мы повернули к нему головы.

— Почему?

— У меня горючки километров на двадцать. Заправлюсь за это время где, нет? За себя я сам ответчик. Слез и пошел. А старшину куда? Потом спросят...

— Не врете про бензин?

Белка вспрыгнул на подножку полуторки, уверенно, одним движением снял пробку с бака перед смотровым стеклом и сунул туда веточку.

Он сломал ее на пути к машине и все листья успел оборвать, оскорбляя нас недоверием к симпатичному парню. Видимо, бензин оставил след на самом кончике ветки.

— Спасибо за белье,— сказал Белка, разрешая тем самым отъезд Набивачу, и тот сразу стал далеко от нас.

Он пожал нам руки, помахал нам из кабины, крикнул неловко, потому что не верил в это:

— Еще свидимся!

— Обязательно!

Никто в это не верил.

— А бензину не найдешь, машину бросишь? — спросил Эдька.

— Тогда скажете, что бензин у меня кончился. И где. Я вас назову. Вы свидетели.

— Предусмотрительный! — удивился Эдька, усмехаясь и крутя головой.

— Так ведь спросят! — Он завел мотор. — Баяли, немец Москву бомбит.

— Не шути такое! — оборвал старшина.

— Наше радио передавало. Люди чулы! Ей-бо!

И полуторка запыхала, застучала деревянными бортами...

Но в руках у нас осталось белье, а во рту вкус пшенной каши. Такую кашу я ел у деда, на уральской речке Сакмаре, куда мама возила меня однажды через Оренбург. И там я ездил на настоящей косилке. Повозив меня досыта по пшеничному полю, дед отпускал лошадь в ночное, сам раздувал костер и цеплял на черный от копоти прут в сучковатых рогульках такой же черный котелок. В глазах моих усыпляюще сверкали стальные зубья, весь день срезавшие пшеницу под моими ногами, у меня тяжелеела голова, ее клонило, но помахивал крылом в ночи трескучий огонь, и пахло выжарками в бурлящем пшене.

Ах, кто не пробовал этой простой еды, может быть, никакого счастья не знает!

Затихло. Уехал Степан Набивач. Лушин принес всем мыла невесть откуда. Сержант сказал:

— Срочный сбор по первому выстрелу.

И все ушли мыться, а я остался у орудия. Тогда я заметил девушку, присевшую на жердину дворовой ограды неподалеку от меня и вытянувшую свои длинные ноги в траву. Вернее, сначала было две девушки. Вторая, пониже и покруглее, постояла рядом, повертела плечами от нечего делать или от напряженной скованности, а я приблизился к ним, сел на ту жердину и спросил, часто ли они красят свои дома.

Гаубица стояла на поляне, вклинившейся между дворами. Плотная тьма обступила нас, в домах не зажигали света, окна ослепли, но я помню девушку, будто видел ее днем.

Может быть, луна всползла над деревьями и осветила ее лицо, показавшееся мне захватывающе красивым?

Может быть, глаза пригляделись, привыкли? Они очень старались.

Кругленькая подружка ее еще поежилась.

— Ну, я пишла?

Девушка на жердине ничего не ответила ей, и мы остались вдвоем. Нерон, привязанный к дальнему колу ограды, тяжело вздохнул во сне, ему и ночью мерещилась бесконечная дорога. Ястреб топнул ногой, чтобы не мешали спать, и эти нечаянные звуки только подчеркнули тишину вокруг. Я немного подвинулся по жердине к девушке, ища веселых или забавных слов, но ничего ни веселого, ни забавного не находилось.

Эти муки страшной немоты были уже известны мне.

Перед тем как познакомиться с девчонками в парке культуры и отдыха имени Горького у Москвы-реки, мы покупали с лотка ириски «Ледокол». Это были, наверно, самые крепкие ириски в мире. Камень. Они не грызлись и так долго не таяли во рту, что можно было сообразить, о чем заговорить, вспомнить какие-то слова. Так что, если удавалось познакомиться с ровесницами, мы тотчас же угощали их ирисками «Ледокол». А потом в молчании брели к Нескучному саду, к его волнующей полутьме, и губы наши слипались от сладости ирисок и сохли от таинственных ожиданий, осуществиться которым было, увы, не дано.

Ну что ж!.. Обычно пройти и полпути по аллеям, обставленным ландышами фонарей, считалось уже подвигом для нас. На полпути «Ледокол» внезапно рассыпался в горькие крупинки, щипавшие язык, мы чаще всего останавливались у холодного гранита набережной, облакачивались о парапет или рассаживались по нему рядом и принимались оживленно обсуждать увиденный кинофильм или происшествия минувшей зимы на катке, под который заливались вот эти самые аллеи и набережная.

Разговор был тем шумней, чем ненужней. Детские эти разговоры мы уже переговорили, а взрослым еще не научились и теряли вечер за вечером, когда удавалось вырваться в парк из мертвой хватки школьных занятий и домашних уроков. Мы уходили от девочек, охваченные нахлынувшей храбростью: ну, завтра! Ну, не завтра, так в другой раз...

А теперь? Семен... Веня... Саша... Все существо наполнила простая ясность, что никакого завтра может и не быть. Может никогда больше не быть такой вечерней тьмы, такой удачи на час, когда все ушли мыться, влезать, нагалдевшись, в чистое белье, а нас оставили здесь вдвоем. Рядом — только кони. Но при них даже не так тревожно, не так жутко переступить запретную черту между двумя.



Они и не свидетели и живые. А все живое словно бы помогает в этот миг, такой...

Почему на ум приходит слово «опасный»? Вот придут сюда не сегодня-завтра чужие, грубыми руками сорвут с головы этой дивчины ее белую хустку, как называют здесь платки, растопчут все казавшееся святым и еще посмеются...

Я молчал, но мне хотелось попросить ее. О чем? Если это называется лаской, то о ласке. Она поймет. Я, казалось мне, все сказал, а она все понимала, потому и сидела.

— Пойдем,— сказал я ей.

В пяти шагах от нас лежала трава. Ее приволок Сапрыкин, чтобы покормить коней на заре. Траву накопил хозяин дома в конце улицы, а Сапрыкин ее заметил. Старик косил в своем саду, и трава лежала между деревьями. Подсыхая, она возвращала природе все свои запахи, не истощаясь, словно эти запахи и были ее соком, ее мякотью. И вокруг не пахло ни мальвой, вымахавшей в два человеческих роста у хозяйского крыльца, ни яблоками, мягко падающими на землю, а пахло этим стойким духом лета, запахами еще не сена, но уже и не травы. В ней увядали ромашки и одуванчики, подмешивая к солнечному настою горечь...

Хозяин помог Сапрыкину принести траву, угостил нас табаком, а Сапрыкин сказал, что на этой духовитой траве мы и переспим после баньки...

— Пойдем,— повторил я и протянул руку к белой хустке.

Теперь мы сидели рядом. Я догадался об этом по тому, как провисла под нами жердь. И еще я догадался, приблизившись, отчего ее голова была под хусткой такой круглой. Это волосы. У нее были большие волосы, и она обвила их вокруг головы, забрала под плотную хустку, а лицо ее от этого еще больше вытянулось, заточилось. Оно было остро вырезано из тьмы, как силуэт.

Я дотронулся наконец до хустки, до ее плеча, потянул ее, и тогда она оторвала свои руки от жерди, провела обеими ладонями по затылку, пригладила платок и встала.

— Як звать-вельчать?

— Константин,— отвечал я.

— Константин,— повторила она, словно прислушиваясь, как звучит мое имя.

— Михалыч,— добавил я, потому что она же спросила — величать.

— Хоть бы поговорил о чем сперва! Розпытал об чем ни на есть. «Пойдем!» — передразнила она.

У нее был непрощающий шепот. Я увидел ее голые голенастые ноги. Да, конечно, была луна, я помню, как удивился ее мелькающим девчоночьим ногам, прозрачным от лунного света. Я хотел позвать ее, но воздух застрял в моих губах — имени ее я не знал.

Свалившись в траву, я крепко зажмурился, будто било солнце прямо в лоб, резало глаза, и мне некуда было спрятаться от самого себя, от обиды. Вот она сидела здесь и вот убежала. Как же это вышло?

Мне вспомнилось, как она отпустила подругу, как молчала вместе со мной, как ждала. Я оказался недостойн ее и дал себе клятву никогда не подходить ни к одной женщине. Я был недостойн их всех.

Баньку соорудили во дворе, развесив простыни на деревьях, отгородившись ими от хозяйских глаз. Воду согрели в железном бочонке, который, наверно, терпеливо ждал дождя под водосточной трубой, а сейчас стоял на кирпичах. Под ним тлели угли, краснея, когда их обмахивало слышное ночное дуновение. Для мытья добрая хозяйка дала ваганы, такие цинковые корыта, и два таза. Ну, Сапрыкин, ну, Лушин! Уж не знаю, кто из них все это наладил.

Натирая мне спину мочалкой, Толя Калинин спросил меня:

— Как ты думаешь, разрешит сержант взять с нами девушку?

— Какую?

— Галю.

— Мыло! — крикнул я и выругался.

Перепутав, я плеснул в лицо из таза, в котором Толя взбил для нас мыло. Он подставил мне таз с чистой водой, подул на угли под бочкой, чтобы мне было виднее. На редкость толково он умел хлопотать. Если ему не давалось что-то, вроде мытья цементных полов в казарме в преддверии довоенное время, он и тогда без суеты начинал все сначала.

Толя сел на табуретку, голый, нежный, весь правильно рассчитанный своими создателями, как Адам: круглая голова, круглые глаза, круглые коленки и даже кончик носа округленный. Он сидел такой мягкий, уютный, теплый...

— Я, конечно, не оставляю ее фашистам.

— Она такая длинная, в белом платке? — спросил я.

→ Нет. Маленькая. Красивая. Не веришь?

Это он почти шепотом.

— Сколько ты ее видел?

— Правда, правда,— повторил Толя.— Для этого хватит одного раза. Я обещал взять ее с собой за Днепр.

— И возьмешь? — спросил я насмешливо, хотя и не очень, потому что Толя был поразительно серьезен.— Откуда она к тебе явилась?

— Подошла за селом, на дороге. Еще было не так темно. Я издали увидел, какая она, и отвернулся. Я всегда отворачиваюсь от таких девушек.

— Что еще за привычка?

— Ну их!

Я толкнул его локтем.

— Ну, подошла...

— И просит за спиной: «Дяденька! Заберите меня с собою. Не оставляйте». Тогда я посмотрел на нее. Она засмеялась: «Ой, вы же не дяденька!» Так засмеялась! Завтра ты сам ее увидишь.

— Где?

— Она пойдет с нами.

— Ты отроду недоделанный? — спросил я.— Или сегодня чокнулся?

— Почему?

— Белка возьмет ее! — сказал я так грозно, как только мог, чтобы привести его в норму.

— Не возьмет?

Сидел Адам, держал на коленях розовые руки, и в круглых глазах его, ловящих отражения от углей из-под бочки, светилось первобытное сердце.

— Ты правда рехнулся, Калинин,— сказал я.

— Я в своем уме,— ответил он.

— Ты уж лучше молчи,— посоветовал я дружески,— а то попадет от Белки, что разговаривал на посту с посторонней.

— Я сказал ей, что нам нельзя беседовать. А она, знаешь, умненькая. Она ответила, что это ж не секретный пост. «Вы ж немца сторожите. Я буду вам помогать».

— Ну, и как время провели? Не скучали? Про что беседовали?

Калинкин не заметил моего ехидства.

— Про учебу. Здесь, в Первомайке, была десятилетка, которую она окончила. Больше всего химию любила.

— Химик, значит?

— Кроме того, участвовала в самодеятельности.

— Это по Эдькиной части.

— Нет, она посещала драмкружок.

Мне никак не удавалось сбить его с серьезности.

— Интересную она мне вещь сказала.

— Какую?

— Вот сыграла многих наших девчат. Других учила, как жить. А самой скучно становилось оттого, что все верно и складно... Сказали б: «Так и живи»,— умерла бы сразу. Ведь неправда все это!

— Зачем же она ходила в драмкружок?

— А если талант?

— А ты ей про что говорил?

— Про Цну,— оживился Толя.— Река небольшая, самым натуральным образом застревает в березах, а березы — в реке. Их сплавляют по Цне, и в узких местах иногда стволы скапливаются навалом. Вырастают березовые горы с трехэтажный дом!.. Я тоже в самодеятельности участвовал. Один раз. Стихи читал.

— Вот за самодеятельность Белка тебе и даст.

— Она не посторонняя,— сказал Толя.

— Кто?

— Галя.

Я еще раз оглядел Калинкина. Стоя на тонких ногах, он облился водой, с его ушей и носа капало, лицо блаженно лыбилось, как ласково говорили о младенцах на Руси, а я вспомнил это по словарю Даля, потрепанные и пухлые книги которого хранились у мамы, и я иногда лазил в них. В молодости мама была сельской учительницей... Толя улыбался от блаженной первозданности мыслей, рождающихся в его голове. Стригущий лишай неуместно прошелся по ней каленой лапой, обезобразил. Он перестал улыбаться, снова вылил на себя воду из таза и сказал, весь в струйках:

— Я за нее умереть смогу.

— Ты не знаешь Белку? — спросил я.

В той хате, при которой устроили баню, нас с Толей ждал ужин. Хозяйка зажарила кролика. В детстве я воротил нос от белого мяса, не мог вонзить в него зубы, а сейчас пошло. Птичьи косточки кролика аккуратно ложились на край тарелки.

Мы сидели за большим столом в непонятной комнате, не в горнице и не в кухне, сразу за дверью, которая открывалась с веранды. Может быть, ее пристроили к хате

для дачников, которые приезжали на лето в Первомайку? С начала войны в этой хате близ дороги перебивало много военных, и потому-то весь ее вид так изменился, все в ней приспособилось для постояльцев. Две узкие кровати, и размашистый стол, и много посуды на подоконнике, и несколько полотенец на гвоздях у двери. Там же, у двери, стояла хозяйка, приправившая крольчатину луком, подавшая к ней глиняную миску картофельного пюре и свежие огурцы. Каждый раз, когда мы взглядывали на нее, она быстро говорила нам, словно только и ждала этого мига: — Вечеряйте.

Была она не очень красивой молодой женщиной. Сильное, мускулистое тело угадывалось под ее блузкой. Рукава она засучила до локтей, показав свои мужские загорелые руки. Загар был золотистый...

Когда она принесла и поставила крынку молока, Толя так охнул от радости, что она улыбнулась и скорее ушла. В дверях сказала:

— Лампу погасить.

Мы вышли — она лежала на тюфяке в углу веранды, прямо на полу, отвернув лицо к невысокой деревянной стенке.

Дыхание ее не было слышно, и мы приподнялись на цыпочки, осторожным шагом пересекли скрипучее расстояние, спустились по ступенькам, и тогда я горячо шепнул Толе:

— Ты иди!

Он кашлянул на весь двор, подал знак хозяйке, что ли? Я стиснул зубы, чтобы ничего не сказать, и остался, забыв все свои клятвы. Воровской походкой поднялся я на веранду и присел около хозяйки. Она не прогнала.

Тогда я прилег.

— Как тебя зовут? — спросил я шепотом.

Она долго не отвечала, и я уже подумал, что она спит — потому и не прогнала меня, но тут послышалось тоже тихое:

— Ольгою.

— Ты на меня, Ольга, не сердись, что я тебя на «ты» называю. Не сердись?

— Не сержусь.

— А меня звать...

— Костей,— опередила она.— Я чула, як вас дружок называл.

Пока она говорила, я совсем примостился к ней, при-

жался всем телом, повернувшись на бок, чтобы быть еще ближе, и зашарил рукой по ее груди. Меня сразу ожгло. От дневного солнца ли, от жаркой ли крови грудь ее была словно бы раскаленной. Но, может быть, так померещилось мне, потому что я впервые прикасался своей рукой к женской груди. И пусть она была исхудалой, не упругой, она показалась мне божественной.

— Ольга, ты знаешь, чего я хочу.

— Еще б!

Сначала, когда она сказала «вас дружок называл», я тут же подумал, что тоже перейду на «вы», но теперь уже, не отдавая себе отчета и не испытывая укоров совести, продолжал по-прежнему, как начал:

— Знаешь!

Я почувствовал, как ее рука легла между нами и напряглась. Я попробовал отвести ее, но она была сильней моей. Она не поддавалась.

— Пусти! — сказал я настойчиво и нежно, как мог. — Ольга!

Приподнявшись, я взял ее за угловатые плечи и поцеловал, запомнив все морщинки на губах. Ей, наверно, еще не исполнилось тридцати, и морщинки были от солнца, от ветра, от воды...

— Ольга!

— Уйди, — выдохнула она.

Она оттолкнула меня и поправила на себе байковое одеяло, подтянула к голове, а я сошвырнул его подальше и снова впился в ее губы. И услышал, как пальцы ее разгребли мои волосы, утонули в них, как она сама прижала мою голову к себе. Сердце забилось с гулким эхом в ушах.

— Ну, отстань! — сказала она сейчас же. — Костя!.. Третьего дня у меня був шофер. Нечистый такой... Не тот, який сегодня з вами кашу ив. Цей тоже був. Вночи.

Ну, конечно! Набивач и показал нам эту хату.

— А перед ним був кавказец, молодой лейтенант. Сурен. Всих убитых звав по ночам, во сне. А проснется, и опять мене мучить. Сам ледве живой, а мучае. Бачишь, мисяц, як чоловека дома немає, може, де на вийни, може, убитый да непохороненный де, а я вся в грехе. Всих жалию... Баба на дорози...

— Пожалей и меня, — неуклюже попросил я.

— Я тебя бильше всех жалею... Ты молоденький такий...

— У меня еще никого не было.

Она усмехнулась, но иначе, чем я, горько.

— Ну вот... А як вони та оставили мени щось нехороше? Ну, мени по заслугам. А тобі навищо? Хто їх знає... Не пушу!

Она умолкла, видимо сама поразившись, что сказала об этом так просто, и покачала головой из стороны в сторону. Я еще пытался уговорить ее торопливым шепотом:

— Всех убьют одинаково.

— Ни, тебя не убьют,— возразила она.

Я и сам не верил, что меня убьют. Зачем же я шел, зачем мы тянули гаубицу? Но сейчас мне хотелось с ней спорить, хотелось сердиться, смеяться над ее глупой уверенностью.

— Что я, лучше всех?

— Лучше.

— Ольга! — взмолился я в голос.

— Иды геть! — прошептала она, и это был конец.

Она меня больше не отталкивала, как парализованная, и этим остановила. Я отодвинулся. Мы помолчали, будто лежали поодиночке. Но ее рука вдруг нашла меня в темноте, толкнула, и Ольга проронила сквозь ласковый смехок:

— Ступай до сусид у погриб. Там дивчата...

— В погребі?

— От бомбежки.

И хотя она только что призналась мне в сплошном грехе, эта баба на дороге, она показалась мне святой мадонной. Я знал, что должен был поблагодарить ее, наверно, за любовь ко мне, но не сказал ни слова и не испытывал ничего, кроме злой досады, запавшей глубоко, глубоко, и какой-то безымянной тоски. Все желания во мне умерли, а тоска осталась. Я искал слова. Сил хватило на совсем сухой шепот:

— Слышишь, самолет? Вот сейчас... Я не заговоренный.

— Заговоренный.

Кажется, она плакала.

Из отдушины погреба, как дым из трубы, вылетала музыка. Да какая! Самый модный фокстрот моей школьной поры — «Рио-Рита», будто не второй месяц войны шел по земле и я стоял не в ночном дворе Первомайки,

а под открытой форточкой того московского окна, за которым резвилась в фанты школьная вечеринка.

Я нащупал ногой каменные ступени в погреб.

Играл патефон. Над ним лучилась висячая лампа. Вокруг сидели девушки, накинув на плечи кофты — погреб и летом — погреб, а среди девиц, озорно и хищно сжав свои глазки, не обращая внимания на хрип полуразбитой мембраны, хороводил Сапрыкин. С краю, на притычке, кособочился Эдька.

— Едут, значит, в разные стороны, а сидят в одном вагоне, ну! — с криком рассказывал анекдот Сапрыкин. — Во техника!

Девушки согласно хохотали, покачиваясь, но в глазах их были страх и тревога.

— Я сейчас взорвусь, Сапрыка. Держи меня! — кисло выдавил Эдька и встряхнулся. — Костя! За мной? Извините!

Он схватил меня в охапку и развернул, не дав приглядеться к лицам. Мы выбрались из погреба, отошли и присели на жердину какой-то ограды. Иногда слышался с одной стороны слабый хрип «Рио-Риты», а с другой — как отдувался во сне Нейрон.

— Ты чего удрал? — спросил я.

— Надоело. Полчаса он рассказывал девчонкам о своем Мироне. Как он на каждое слово по-разному «реагирует». То машет хвостом, то лупит.

— Это любовь, Эдька.

— Я и говорю, — не понял Эдька. — Мы купаемся, а он давай стирать грязные рубахи. Для подкладок на потертости. Мирону.

— Забота, Эдька.

— О коне.

— Не только о коне, Эдька.

— Да я понимаю! Но и ты понимаешь, что все равно это убожество... Мирон и Сапрыка!

— А ты всюду с ним... Ну, в разведку. А в погреб чего поперся?

— А куда ж мне? Я ловлю себя на том, что и переживаю за него, а не за себя.

— А я смотрю на него, на Федора, и завидую. Мы умеем больше чувствовать и болтать, чем делать.

— Я еще умею играть, — ответил Эдька. — Такие дорогие минуты тратить на «Рио-Риту», когда у меня...

Он извлек из кармана губную гармошку, и в уши толк-



нулся тихий, густой звук, такой густой, что воздух казался уплотнившимся. Эдька дунул еще раза два просто так, прошелся от низких до высоких нот, перебрав клавиатуру. И заиграл. Это было что-то тревожное, даже грозное. Длинные звуки сменялись частыми напряженными перебивками, все ускоряясь, забираясь до высоты, на которой перехватывало дыхание. И снова отступали. Это было как воспоминание обо всех потерях, о гордости, которую тоже хотелось вернуть.

— Бах... Токката и fuga ре минор,— опустив руку с губной гармошкой, сказал Эдька и помолчал.— В память об Александре.

Сразу, как ветром, пронесло перед глазами всю сегодняшнюю дорогу до поворота в Новые Козы, где остался невысокий холм из пыли, где валялся в пыли огрызок моего карандаша...

— Понимаешь, не верится... Вот уже и место это далеко, а не верится! Кажется, сейчас придем, а он возле пушки... Сидит и пускает дым колечками... Так мы и не сказали друг другу доброго слова после той схватки...

— Отцепись! — попросил я, потому что Эдька, засунув гармошку в карман, больно вкогтился в мое плечо обеими руками.— Эдька, отцепись!

— Помнишь, как Саша распекал меня на старой границе? За листовку. Я ее действительно прочел. Знаешь где? В пшенице. Посидел на корточках, смотрю: белеет, подобрал и обрадовался. Спасибо фюреру. Сейчас не очень-то напасешься бумаги, а у меня — живот. Слушай, не может быть брюшняк? На войне всегда бывает тиф. Как глупо вдруг заболеть и просто так умереть на войне. Как дома.

— Брюшняк — температура, мокрый лоб!

Эдька потрогал свой лоб.

— Нет, элементарный понос! Слушай, ты заметил, как на войне,— он посидел молча и по-обезьяньи почесал ногу, сунув ладонь в сапог, до самой пятки,— ты заметил, как на войне все обнажилось? Будто сбросило одежды. И все смешалось... Храбрецы и трусы, Бах и понос, листовки и «Рио-Рита»... Жизнь стала голая. Все открыто! Ничего не спрячешь надолго. Ни плохого, ни хорошего. Я вот стал лучше думать о Белке... Он молодец, сам не обидел Сашу и никому не дал обидеть... Другой бы...

— Капитан из заслона назвал Сашу храбрым парнем.

— Давай больше не думать о Белке худо.

— Я и не думаю.

Мы встали. И Эдька непоследовательно, как всегда, спросил меня:

— У тебя были бабы? Вообще... Когда-нибудь...

— Конечно,— соврал я.— А у тебя?

— Нет. Все, что я рассказывал,— вранье. Врал.

— И я, Эдька!

Мы побрели к поляне, робея, что нам сейчас нагорит, если мы последние, хотя мы были совсем рядом. Над поляной мерцала одинокая искра. Белка сидел, привалясь спиной к колесу гаубицы, и курил. Настил травы сбоку пустовал.

— Вы один, товарищ сержант?

— Старшину Калинин уложил в какой-то хате. Лушин на посту, на дороге.

— А остальные?

— Остальные? — улыбнулся Белка.— В увольнительной.

А в общем-то голос у него был не очень добрый, будто мы ему помешали. И руки — я заметил при вспышке окурка — были в масле. После бани... Значит, в который раз осматривал пушку, на ощупь искал, что же нас подвело, нельзя ли вернуть ее к жизни... Иногда они вместе со старшиной копались под ней...

— Мы сменим вас,— предложил я.

Белка докурил и ответил с небывалой откровенностью:

— Я боюсь их.

— Кого?

— Женщин. Как Якубович боялся пушки.

Это было разрешением, а то и приглашением к разговору. Помявшись, мы с Эдькой опустили на траву. Когда человек долго замкнут и молчалив, а потом вдруг заговорит, ему нельзя отвечать безразлично-пустячной фразой. И я сказал:

— Это странно... Удивительно!

— Что именно? — спросил Белка.

— Удивительно, как на военной службе все узнают? Старшина знает песню о себе. Ну, слышал... А вы — про Якубовича... Он ведь правда боялся пушки. Откуда вы знаете?

— Якубович и коня боялся, но, конечно, меньше, чем пушки... Все это на глазах, а не в некотором царстве... Ничего удивительного,— устало сказал Белка и обнял свои колени.— Командир думает о бойцах. С кем ему придется быть на войне? Выбирать не приходится. Остается

каждому найти место... Странно это, может быть. В ваших юных головах кто мы, каждый день орущие: «Смирно! Левое плечо вперед!» Чурбаки. И вдруг чурбаки думают. Это странно.

— Мы юные, а вы? — воскликнул Эдька.— Сержант!

Он был года на два старше нас, а то и меньше. Но, может быть, способность думать и создает возраст? Неспособные порхают до старости... Белка не ответил, попросил:

— Вы лучше сыграйте, Музырь. Я слышал, как вы играли.

— Сейчас?

— И раньше. Играли, пели.

— Ну, еще и пел!

— Мне тоже было совестно за вас, когда вы козлом скакали вокруг жены майора Влоха... А музыкант вы, как у нас в деревне говорят, с богом в сердце...

— Правда?

— Вы сидели с друзьями на сцене, за занавесом, а я слушал из зала.

— Поднялись бы на сцену!

— Зачем? Мне слышно было.

Эдька вынул гармошку, сдул с нее табачинки, которые всегда водятся в карманах, и, отдышавшись, будто ему сдавило горло, заиграл. И пока гудели голосами крохотного органа трубочки нехитрого музыкального инструмента, спрятанного под пальцами Эдьки, и все застыло вокруг — и деревья, и звезды над нами, в неподвижной тишине, чтобы, казалось, мы могли лучше слушать эти живые звуки, — я думал о сержанте.

Почему это Белка боится женщин? Мне впервые открылось в нем такое. «Где остальные?» А он ответил с веселой серьезностью: «В увольнительной». И в том, что он пошутил, тоже было не от того Белки, к которому мы привыкли, и он слушал Эдькину игру сейчас, и все знал про нас. А мы о нем ничего не знали. Боязнь женщин — это была, может быть, совсем не боязнь, не слабость, а сила, далекая от легкомыслия?

Белка был натурой единственного выбора. У него все — однажды и навсегда — дело, друзья. И любовь. Он боялся, что его обманут. А тогда как? Белка посмотрел на меня, словно помог ответить: «Убью». Но сказал он совсем другое слово, едва стихло что-то величаво-властное, сыгранное Эдькой:

— Хорошо...

— Опять был Бах,— доложил Эдька.

— Этого я не понимаю,— сказал сержант,— но музыка сильная.

— Я могу принести патефон! — раздался за моей спиной голос Сапрыкина, полный ликующего напора.

— И балалайку, Сапрыка! Право слово! — добавил Эдька по-лушински.

— Отбой,— скомандовал Белка.

С жердины встали Сапрыкин и Калинин. Они явились во время концерта и присели на эту жердину, светло белеющую под луной, ту самую, где вечером я разговаривал с белой хусткой. «Розпытал бы об чем сперва!» Пришли они, видно, порознь и присели порознь, тихо и незаметно, потому что Белка слушал Баха на губной гармошке... Толя лег на траву, настеленную для сна, повернулся на бок и подтянул ноги. Он замер. Уснул сразу? Я лег рядом и подумал: еще и полночи нет, а прожиты безвозвратно какие-то часы, похожие на сон, необыкновенные, неожиданные, и от этого так обидно, что ли, что они промелькнули бесследно.

Впрочем, не так уж и бесследно. Я проснулся ночью. Луна вызрела, и круглые тени от мохнатых деревьев лежали на поляне пятнами, как стога. Мне показалось, что я услышал голоса. Сначала я ничего не понял, потом понял, что проснулся и что за дальней тенью действительно говорят. Долетел девичий шепот:

— А що браты з собою?

Бывает так, что в двух словах, помимо их смысла, услышишь какую-то окрылившую человека радость, и я услышал ее в этом шепоте, в этом вопросе. Потом я узнал Калинин, такого решительного у бочки над углями и такого растерянного сейчас.

— А?

— Что брать? — повторила девушка.

— Ничего,— ответил Толя.

— Як?

— Нельзя тебе со мной. Мы забыли, что война...

Голос у него был виноватый, но полный бесповоротной решимости. Она долго не отвечала. Или я не слышал каких-то слов. Нет, вот донеслись...

— Когда б не война, я б тебе сказала: оставайся тут. Я не забыла... А ты забыл! Военный!

Она убито усмехнулась.

— Я рядовой.

— А мени не треба генерала!

— Нельзя! — повторил Толя с тем же бесповоротным отчаянием.

Теперь она молчала недолго:

— Сумасшедшая! Божевильна — как у нас говорят. Я ж полюбила тебя. Ось вин мий! И добрый! И хоробрый! Ничего не боялся! Меня берет. Такого все життя ждала... Всю жизнь!

Она говорила и улыбалась, похоже, смеялась даже сквозь слезы.

— Галя!

— Думаешь, я прибежала спросить, что брать с собою? Та я за тобою босоногою пиду. Без ничего!

— Галя!

Она помолчала и обронила:

— Эх, ты!..

— Галя!

— Я и очей не закрывала. Думала, может, ты мени приснывся биз сна? Дай сбегая, проверю, посмотрю.

— Я некрасивый.

Теперь она разозлилась:

— Что мне красота? Я всегда смеялась над хлопцами, которые думали, что красивый — это все. Тьфу! Я думала, ты умный... Некрасивый! Жизнь не выставка.

— Ты ошиблась во мне.

— Полюбила раньше.

— Ну, знай, что ошиблась.

— Руки на себе накласты? — спросила она тихо.

— Подожди.

— Першого нимця?

— Галя!

Он ее успокаивал, чтобы она смирилась с тем, что было сильнее их, и для этого только повторял ее имя. А может быть, боялся, что она крикнет, перебудит всех? Но она убежала, похоже. Все затихло, совсем. Я вернулся на травяное ложе, и мне показалось, что ничего этого не было. На этой мысли я открыл глаза и до отказа втянул в себя воздух, захлебнувшись утренней свежестью. Сапрыкин запрягал коней, бормоча:

— Сам знаю, Мирон... Больно, а ты терпи...

Эдька, вернувшись из караула на дороге, где теперь никого не осталось, сутулился на жердине взьерошенной цаплей.

— Нельзя ли побыстрей, Сапрыка?!

— Побыстрей можно на пианине играть. А кони не игрушки.

Эдька, как всегда, хотел ухмыльнуться — не вышло, но все же он выдавил судорожную усмешку.

— Ты прав. Только пианина — среднего рода. Она — оно.

Сапрыкин сказал про свое:

— Бессловесные твари, а живые.

И Эдька про свое:

— А быстро, Сапрыка, это, между прочим, «престо». Слышал?

— Нет.

— А помедленней, это уже называется «ленто», — выставлялся Эдька.

— Музырь! — оборвал его сержант. — Помогите Сапрыкину!

— А где Лушин?

— Запасает продукты...

— ...все переживания оставив на совести интеллигентов, — договорил Эдька. — А с него как с гуся вода!

— Есть хлеб, который он приносит, и упрекать его за черствую душу? Это интеллигентно, Музырь? В этом вашем цинизме, что ли, интеллигентность? Или в том, что Сапрыкин запрягает коней, а вы торопите?

Эка! Белка-то! Только бы Эдька не стал оправдываться, что он из караула и тоже должен отдохнуть, а Лушин пусть помогает Сапрыкину! Но Эдька сидел, пораженный словами сержанта.

— Встать!

Голос Белки не оставлял места для ответа, как ночь не оставила ни минуты покою. Эдька встал и подошел к Сапрыкину.

— Чем помочь?

— Отойди, — сказал Сапрыкин.

— Я помочь хочу!

— Посмотри на Мирона. Видишь его грудь? Помочь!

— Не ори. Скажи, что надо, я сделаю.

— Я сказал: отойди.

Я все еще лежал с закрытыми глазами.

— Прохоров! Протрите панораму!

Только что Белка казался мне справедливым. Но что это? Нарочно? Чтобы показать свою власть? Вчера он нам сказал полтора людских слова и теперь боится панибратства, напоминает, что он командир? Кому нужна панора-

ма? Она лежала в специальном деревянном ящичке внутри лафета, обернутая в байковый лоскут, но пыль все равно проникала под него. Можно протереть панораму... Но из нее не выстрелишь, а пушка не стреляет. Она уже погубила из нашего расчета половину ребят, которые могли есть, курить, улыбаться... Извела коней...

Я тер байковым лоскутом стеклышки маленького оптического прибора, скрипел зубами и думал, что давно пора бросить эту пушку, этот гроб на колесах... С тем же бесповоротным отчаянием, которое звучало в ночном разговоре Калинкина, я вдруг понял, что мы все погибнем.

Но ведь я дал себе клятву не думать об этом.

Лучше вспоминать. О чем? За секунды пролетают куски жизни, а позади ее было так мало, и когда заставляешь себя специально выбрать и снова пережить что-то, выясняется, что в голове одна пустота. И нечего вспоминать, чтобы незаметней прожить этот рассвет, вдруг ставший долгим и тяжелым. А впереди неизвестность.

Ночью я не слышал мерного сопения Толи Калинкина, сон выбил меня из всех ощущений жизни. Сейчас я увидел Толю. Он все так же лежал на боку, подтянув ноги и сдавив между коленями сомкнутые ладони. Подмаргивающие глаза его были открыты, но все проходило мимо них. Почему-то меня зло порадовала эта голубая слепота. «Я ее не оставлю немцам...» Что еще он говорил мне, голенький? «Я за нее умереть смогу».

Вот сейчас Белка только крикнет: «Калинкин!» — и ты подпрыгнешь, как на пружине, и забудешь про Галю. Все твои мечты улетучатся. А казалось, ты и не умеешь мечтать, такой разумный. Наобещал девушке? Вставай, трус!

Он лежал неподвижно, и мне стало его жалко, как никого. Я давно приучил себя, а может, и не приучил, так само собой получилось, занимать место того человека, о котором приходилось судить. Война, а к тебе пришло то, что приходит раз в жизни. Бывает же оно...

А у тебя было?

Не было еще у меня такой девушки, чтобы я мог умереть за нее. Вот сейчас я могу умереть за всех, но не за одну.

Была девушка, перед окнами которой, прибежав из школы, я часами крутился на велосипеде вместо того, чтобы делать уроки. Мама спрашивала разъяренно: когда кончится это бестолковое увлечение велосипедом? Как

мне не надоест? Чему я учу бедных младших братьев? Я же должен подавать им пример, а я заставляю их каждый день начищать велосипед до блеска, обещая покатать за это на раме и обманывая! Нахватал троек, и даже двойки появились в только что заведенной школьной новинке — дневнике. Мама не догадывалась о том, о чем знали все мальчишки со двора этой девушки, учившейся в другой школе и в другом классе. Как же ее звали?

Еще была маленькая девочка, которая подарила мне на память большой портрет Пушкина под стеклом, когда мы поменяли квартиру и я совсем уходил из той школы, где учился в младших классах. Я оставил портрет в подъезде, боясь принести его домой. Но на портрете была надпись, моя фамилия, в дверь позвонили и вернули его, а надо мной долго смеялись сестры...

Это уже далекое... А запомнилось. Все далекое я нес в себе, все это и был я.

А девушки не было. Не было у меня отчаянной спешки на свидания, чистки ботинок и заглядывания в зеркало, не было ожидания под безжалостными уличными часами с букетиком глупых незабудок, вянущих в руке. Накануне всего этого нас призвали в армию. И если мы вернемся с войны, все уже будет по-другому, без суматошных восторгов.

Самой большой потерей на войне уже стала потеря юности. Если можно было потерять то, чего не было...

Жизнь уже успела отнять у нас что-то. У кого мечту об интересной профессии. У кого девушку, обманувшую и ушедшую с другим,— это всегда беспощадно. У кого родителей. У нас уже была где-то ободрана кора, а где-то сломана ветка. Но как рассказать о том, что происходило сейчас? Не одну ветку хотели сломать, не ссадину отпора оставить, нас хотели вывернуть из почвы вместе с миром наших реальностей и сказок, со всем, чем дышалось. Из-под этого неба.

И вся ненависть, которой способна охватиться человеческая душа, прозрела и смотрела прозревшими глазами туда, откуда надвигалась на нас смертельная угроза. Фашисты! Кто они такие? Почему они гонят нас по родной земле?

— Калинин!

Толя вскочил, будто и не лежал на траве, а Белка поискал глазами меня. Я уже завернул в байку и прятал в ящик вытертую панораму.



— И Прохоров! За старшиной!

Толя побежал трусцой, не оглядываясь, я пустился за ним, но в начале проулка, за три-четыре дома от нашей поляны, он остановился как вкопанный.

— Дальше я не пойду.

— Почему?

— Там Галя. Там, где старшина.— Он показал мне на дом со старой черепичной крышей, высоко вставшей над зеленью.— Я подожду вас.

Старшина сидел за столом, перед зеркалом, с крахмальным рушником на коленях, которым он не рисковал промокать порезы на только что выбритом лице, чтобы не оставить о себе плохой памяти, и промокал их кончиком своего по-старшински свежего носового платка, выполосканного вчера в самодельной бане. Порезы были бедой Примака. Он всегда ходил с засохшими царапинами на щеках и выпрашивал у младших командиров, нет ли где кровоостанавливающих квасцов. Они были дефицитом в аптеках.

— Доброе утро,— сказал я.

— Готово,— ответил он и положил рушник на край стола, аккуратно свернув его.

— Кровь,— сказал я, показывая пальцем, чтобы протянуть время хоть немного и увидеть Галю, потому что в комнате никого не было, кроме старшины.

— Подсохнет.

За распахнутым окном послышалось:

— Галю! Там вже прыйшли? Неси глечик, доченька. Дай хлопчыкам кружки. Хлибця дай, Галю!.. Стий, зараза! Ось я тобі!

Это уже относилось к корове. Слезы задавили женский голос, стало только слышнее, как струи молока бьют в молочную пену и в стенки ведра. Я выглянул в окно. Журчание это доносилось из хлева, и пахло на весь двор молоком, как обычно пахнет в деревне по утру. Жаль, Калинин не слышал, молочное дитя...

Галя сняла глечик с кола и побежала к хлеву. Она показалась мне четырнадцатилетней девочкой, если бы я не знал, сколько ей. Я увидел ее спину. Ниже пояса вытянулись по спине две тяжелые косы. На белой блузке они чернели в утреннем свете.

А лицо? В окно долетали материнские причитания:

— Ой, Галечка!.. Та я ж все розумію. Али батьки нема!

— Батько на вийни, мамо.

— То ж й воно, що на вийни! И ты йдеш. А я? Одна? Ось чоґо я плачу.

— Не плачьте, мамо!

— Ой, Галю, Галю! Не одна йдеш. Це ж грих!

— Вин мене любить, а я йґо. Який грих, колы я щастлива, мамо!

— Йды!

Мы со старшиной вышли во двор. Старшина налег на мое плечо, спускаясь с крыльца, и я едва устоял и поругал Толю. И рассердился, что был один. Галя наливала молоко в кружки, поднося их к самому горлу глечика и ставя на скамейку, с краю которой белел узел ее вещей, связанный в дорогу. Мать держалась за него обеими руками, стоя перед ним, низкорослая, немолодая — оттого, наверно, что вдвое постарела за ночь, а Галя занималась молоком, чтобы не смотреть на нее и не заголосить. Глечик брякал по кружке, молоко проливалось. Мать все причитала, что, может быть, они не увидятся больше, и так могло случиться, и, может быть, случилось. Но до чего же обыкновенно выглядели эти кружки с молоком и то, что мы взяли и выпили его, когда мать стихла и протянула нам молоко, кружку старшине и кружку мне, и пока мы пили и вытирали губы, тенькали воробьи на ветках, и пятнистая кошка горбилась на крыльце.

— Це вин? — спросила мать, глядя на меня.

Галя тоже посмотрела на меня, впервые подняв голову. Блеснули на редкость большие черные глаза... Полукружия бровей над ними дрожали. Под глазами синели пятна — от той же ночи, которая состарила мать. Бледное лицо у Гали было таким, что я не мог найти недостатка, как ни старался, сам не знаю почему. Калинкин был прав. Оно было красиво той отточенной красотой, которая кажется невозможной.

— Бережы Галю,— сказала мне мать.

Я покивал ей головой, забыв о старшине.

— Не кидай Галю.

Я покосился на старшину молящими глазами.

Он стоял, держась за мое плечо, и возбужденно кашлянул.

— Вона не балувана,— сказала мать.

— Нас ждет командир,— сказал я.

Старшина не мог быстро повернуться, и мы увидели напоследок, как они обнялись. И послышалось за нашими спинами, потому что мы и уйти быстро не могли:

— Не пушу!

— Я не могу, мамо! Не хочу нимцев!

— Йды!

— Какой влюбчивый! — язвительно сказал мне старшина.

Приближалась буря, но тут Галя догнала нас у калитки, схватила меня за руку, и мы остановились. Пальцы у нее были совсем холодные.

— Это все для мамы. Я сама пойду. Простите, что так вышло.

Проулком я шел, а старшина подскакивал.

— Кто ее позвал?

— Не знаю, — соврал я, и старшина сразу сказал:

— Врешь. Ты?

— Зачем бы я мать обманывал? Она спросила, я промолчал.

Бедный Калинин ждал нас на том же месте, не сделав и шагу. Старшина подозрительно посмотрел на него, но, наверно, не взял Калинин в расчет.

Добрый час за селом я оглядывался. На дороге за нами не было видно никого. Вслед за мной стали поглядывать и другие, не понимая, чего я кручу головой. Позже всех стал оглядываться и Калинин, монотонно шагавший у гаубичного щита. Он первый увидел Галю и взялся за щит рукой, а она опять исчезла. Но мы все успели заметить мелькнувшую вдаль белую косынку. Когда спустилась и выровнялась дорога под нами, а сзади поднялась, мы опять увидели фигурку с узлом. И Белка увидел, встревоженный смятением в расчете. Белка спросил:

— Чья?

— Ничья, — ответил Эдька чистосердечно. — Беженка.

— Пусть положит свой узел на лафет. Пусть идет с нами. А то одна... Кто ей скажет? — спросил Белка.

— За Днепром она сразу уедет, — ответил Толя, моргая чаще, чем всегда, не отводя глаз от Белки.

— Куда?

— В Вышний Волочек. К моим родителям.

Все смотрели на Калинин ошеломленно. Пушка уезжала, а мы стояли. Я думал про Толю: «Эх, дурак! Надо было выдавать себя! Шла бы твоя Галя, и никто бы ничего не знал, а теперь...» Но Белка не успел ничего сказать. Толя повернулся и побежал к Гале во весь дух, а мы молчали. Мы боялись, что Белка изменит свое решение. То была эта белая фигурка ничья, и ее можно бы-

ло приютить, то она стала вдруг чья-то и потеряла право на это... Мы переглянулись с Эдькой, и Эдька сказал:

— Товарищ сержант! Пусть девушка положит узел на лафет.— Ему бы спокойней говорить, потому что Белка молчал, но он вскрикнул: — Калинкина нельзя обманывать!

— Странно слышать вас, Музырь,— мрачно удивился старшина.— Кто кого собирается обманывать? Здесь армия, а не цирк.

Но Эдьку это не успокоило.

— Он ребенок!

Я подумал: чего Эдька ерепенится, еще приведет ли ее Калинкин, пойдет ли она? А старшина Примак странно подытожил:

— Эти ребенки взрослей всех.

10

Дорога, дорога... Всей ее не видно, вся она бесконечна...

Видна дорога кусками. От поворота до поворота. От гребня до гребня или от увала до увала, как говорят степняки. Дорога осторожно запетляла, пошла вверх и вниз. Кусок в пшенице, кусок вдоль речки, летом скорее похожей на ручей среди редких пятнышек деревьев, напоминающих, что где-то есть леса, а здесь и сам ручей редкость. За целый день раз попался. Из него мы напоили коней, смочили себе лица. Вода бежала среди кочек, обросших мокрыми бородами из травы...

Спуски и подъемы зачередовались чаще, мы вошли в другую местность, где земля прятала свои богатства за складками, водила хороводы холмов, весело скатывалась откуда-то и куда-то... А дорога и по ней одолевала даль в оба конца.

Калинкин шел у самого щита, а Галя держалась подалее. А еще дальше садилось солнце, и тень Гали бесшумно скользила по дороге и дотягивалась до нас. Мы отодвигались, чтобы дать ей место рядом с собой. Вот тогда-то и подумалось о том, что дорога не только остается за спиной, она лежит впереди, и та, не пройденная, дорога всегда обещает что-то, ни в чем так не видна настойчивость человека, как в дороге. Любая дорога — след его пути.

Я не сразу услышал команду:

— Расчет, на ляжки!

Упряжка наша остановилась. Позже я видел, как по груди Нерона и его послушного напарника, доброго и неприязательного коня-трудяги, кличку которого я уже забыл, как по засохшей, слипшейся шерсти обоих коней до колен стекали крупные капли крови. Свежая кровь алела. С колен она свисала пыльными комками, выше подсыхала глянцевито. И по всем буграм конских мышц продолговатые бляхи блестели кровавыми медалями.

Нас давно подстерегала эта беда. Три коня не шесть. К тому же Ястреб хоть и смирился с упряжкой, но тянул обиженно, а может быть, и нечестно. Уж наверняка неумело. А Нерон и другой коренник надрывались изо всех сил, без стопа. Бессловесные действительно твари... Сапрыкин берег в кармане последний флакон одеколona, по утрам хлюпал из него на кусок тряпки и прижигал коням потертые места, или, как попросту говорили в военных конюшнях нашей поры, потертости. Они лысели, багрово воспаляясь, запекались коркой. Их Сапрыкин закрывал мягкими подкладками, но те скручивались под обхватами шорок, срывались в пыль. Дотянуть бы до Днепра! Вот о чем думали Белка и Сапрыкин, когда первый давал коням постоять ночь, а второй выбирал из грязных рубах товарищей куски поцелее и стирал их — на подкладки под шорки нашим коням.

Не дотянули.

Мы встали, а в вечернем небе гудели, подлетая к нам, три тени. Они вырывались из-за малинового полукруга солнца... День еще не умер. Небо посинело до чистого цвета сухой синьки, и гром катился по нему, как по тверди. А мы, впрягшись в ляжки, помогали окровавленным коням уволочь гаубицу с голого бугра в пшеницу, которая казалась нам спасением. И Галя толкала пушку, упираясь руками в щит. Но кони были изранены, и с каждым шагом мы чувствовали, как слабы они, слабы и мы...

Когда они догнали нас, эти крылатые тени, Сапрыкин не выдержал, закричал в небо:

— Ну, давайте, гадовы ублюдки!

Но три бомбардировщика не обратили на нас внимания; тяжелобрюхие, с запасом бомб, они тянули к Днепру.

Нас атаковал другой самолет, который в одиночку возвращался оттуда. Он держался сначала в стороне, потом наклонился в вираже и пошел на нас, будто ему показали. А возможно, и показали с тех трех, что пророкотали над

нашей головой, возможно, у них там, в небе, был свой разговор по радио.

— Ложись! — крикнул Белка.

Мы уже закатали гаубицу в пшеницу, побросали лямки...

— Ты чего? Ложись! Убьют!

— А ты?

Еще до взрывов я услышал голоса Сапрыкина и Эдьки и поднял голову. Сапрыкин держал коней под уздцы, как уже случалось не раз, но теперь рядом с ним стоял Эдька, ухватив за уздечку Ястреба.

— Пошел ты!..

На эту ругань обрушился свист и грохот, первый взрыв, второй... Я вскочил. Мне показалось, что все убиты. В ушах плыла тишина, или я сам плыл в тишине. Я силился услышать хоть что-то и не мог; мне хотелось, чтобы снова были голоса, и злой от немощной доброты мат Сапрыкина, и даже рев в небе. Ничего не было. Я открыл глаза. Оказывается, я стоял, зажмурившись от такого явственного звона в голове, будто я жил в эти минуты не под синим небом, а внутри гулко колокола, дышал его звоном, и в медный колпак били моей головой. Но синь неба, разворачиваясь, темнела надо мной; я увидел Эдьку и Сапрыкина с открытыми ртами; они что-то еще кричали друг другу, маша руками в хвост самолету, который уменьшался.

— Выкусил?

— У него было всего две бомбы!

— Туда стаями, а назад по одному!

— Ему не дали отбомбиться над Днепроном!

— Пушат их там!

Чей-то чужой голос донесся с дороги.

— Эгей!

Сержант пошел навстречу, вынув пистолет.

— Хлопцы!

Голос стал знакомей. Да это же Набивач, шофер, который дал нам белье!

— А где машина? — спросил Белка.

— Там!..

— Пустой бак?

— Порожний.

— Опять нас ждали?

— Теперь уж точно — вас. Ударил, сволочь! Ну, думаю, прибыли хлопцы. А меня пропустил.

— Мы пушка,— вымолвил Лушин, подразумевая, что фрицы не слепые, знают, на что бомбы расходовать.

Эдька закричал у пушки:

— Идиот!

Голос у Эдьки задрезжал.

Сапрыкин говорил глухо, все прислушались к ним.

— Я не баба, и не лезь обниматься. Стукну!

— Ну, ударь! Легче станет?

— Скажи, что теперь делать без коней? Скажи своим умом!

За Эдьку отозвался с лафета старшина Примак:

— Закурить. Доставай кисет, Гриша.

Мы курили не спеша. Эдька заплевал окурки в длинных пальцах и вытащил губную гармошку.

— Товарищи,— спросил он, вытирая ее о штаны,— приедете в Москву, на мой концерт? Большой зал консерватории, яркие огни над сценой. Тишина. И я играю.

— На губной гармошке? — с неожиданной улыбкой спросил Лушин.

— Я у черного «Беккера».

— А как мы узнаем, когда твой концерт? — любопытно спросил старшина, окутываясь дымом.

— После войны, конечно. Вопрос!

— После войны я не пропущу ни одного концерта в гарнизонном клубе,— сказал старшина, выгребаясь из дыма обеими ладонями.— После войны их будет много.

— Я всем напишу заранее, чтобы вы успели приехать.

— Лучше не обещай. Забудешь, Музырь, право слово!

— А ты приедешь, Федор?

— А чего? Сел на поезд, и в Москве.

— А ты, Сапрыка?

— Ступай ты со своей музыкой подальше! — огрызнулся Сапрыкин, горбясь и ожесточенным глазом косясь на Эдьку через плечо, потому что сидел спиной к нему.

— Все же ты зверь, Сапрыка.

Сапрыкин вытащил толстую самокрутку изо рта, сдул с нее пепел в ладонь, искры, вероятно, попали на нее, обожгли, и он потер ладонью о грудь.

— Бехер!

— Это рояль, Сапрыка. «Беккер».

Тот задымил и медленно повернулся к Эдьке, перебирая ногами по земле.

— Пианина?

— ...но! — поправил Эдька.

Они ругались, но это больше походило на примирение. Сапрыкин растерянно кривил губы, в маленьких глазах его мелькала улыбка, а Эдька вещал с гармошкой в руке:

— Музыка, ах, музыка! Я всем скажу... Без нее жизнь может быть и сытой, и длинной, но не может быть доброй. Ты не знаешь музыки, Сапрыка.

— И знать не хочу!

— Вот, Сапрыка! — Эдька тоже заулыбался, но уже с горечью на всем своем длиннощемом лице. — Нельзя любить то, чего не знаешь. Это я виноват.

— В чем? — спросил Сапрыкин, ожидая подвоха.

— Я опять скажу всем... Привыкли думать, что наследуется только богатство. Чушь! Есть наследство вины, о которой нельзя забывать сто, двести лет!.. Потому что ведь любовь к настоящей музыке — она так быстро не растет, чтобы раз, два! Это не модное платье, не шляпа — надел, и дело в шляпе. Она медленно растет. Я много думал...

— Оно и видно, — просипел Сапрыкин. — Зарапортовался. Музырь-пузырь! Музыку по радио передают. Без тебя. Люди слушают.

— А ты?

— Я-то больше с вилами на ферме. Навоз гребу.

Сапрыкина измотала, конечно, как и нас всех, дорога, и все же меня поразила стариковская нота в его голосе. Больше всех он был разбит тем, что случилось с нашими конями за какие-нибудь сутки-другие от Днепра. Кони ступят шагов двадцать и станут. Как их ни бей. От кнута им не будет больней, чем от ран на груди. В лямках двое суток не протянешь такую тяжесть. За спуском начинался видимый еще и сейчас, в потемках, подъем с гребнем, перечеркнувшим небосклон длинным полукружием. Мы молчали про это, слушая Эдькину стрекотню:

— Я приеду к тебе в деревню, Сапрыка, и тогда уж ты непременно слушаешь Моцарта и Чайковского, Шопена и Мендельсона. Боже, как я буду играть!

— Приезжай, — сказал Сапрыкин. — Сейчас у нас и клуба нет, а тогда, наверно, построят...

— И Грига, — сказал Эдька, — и Рахманинова.

— Деревенька плохонькая, — сказал Сапрыкин, — и называется Глухово. До леса далеко, но по грибы сходить можно.

— И Бетховена.

— И речка тощая. Запруду сделают. Наш большой овраг озером обернется. Можно будет карасей половить.



Эдька вытер губы, сняв с них табачинки, облизал их. И мы слушали, как лавиной, набирая силу, звучала суровая и мрачноватая баховская токката, на этот раз показавшаяся еще и торжественной. Я оттеснился ото всех, поддвинулся к Гале, нас связывало утро в ее дворе, я мог шепнуть ей два слова.

— Галя,— позвал я, и она оглянулась.— Ему труднее, чем вам. Отказаться — может, это самое большое геройство...

— А вы б отказались?

— Я бы и позвать не решился.

— Сознательный!

Галя положила голову щекой на подтянутые колени, но встретила взглядом с Калинкиным и тут же отвернулась, прижавшись к коленям другой щекой. Эдька перестал играть.

— Ловко,— сказал Сапрыкин.— А можешь «Светит месяц»?

Эдька счастливо засмеялся.

— Смогу! «Николай, давай закурим». Цыганочку смогу. С вариациями. И даже «Во саду ли, в огороде» в лирическом ключе... Хочешь, я тебя научу?

Но старшина не дал Сапрыкину ответить и перебил наше общее настроение, в которое мы спрятались от главного, неизвестного. Известным для нас осталось только одно — какая у нас была хорошая жизнь, а мы этого не замечали...

— С гаубицей прощаемся,— сказал старшина, и у него хрипнуло в груди.— Я первый говорю, по званию. На коней сядут девушка, то есть Галя, я сяду, потому что моя нога совсем подохла, будь она проклята, и тот у кого больше всех стерты ноги. Сержант, хочешь водки? Глоток есть.

Белка долго держал фляжку над закинутой головой, плечи его передернулись, и он еще молчал, а мы ждали, что он скажет, старшина был старшиной, а он — командиром. Хорошо, что эта минута оказалась очень длинной, потому что за ней было пусто. Эдька вынет замок из пушки, мы его оттащим в пшеницу и зароем. Похороним, как похоронили уже трех бойцов из расчета. Гаубица станет немым металлом в форме орудия, а нам сделается легче. Но почему же сразу стало тревожней? Весь путь дальше стал страшней. Пусто стало без нашей пушки не в руках, а внутри. Будто она была, как лодка в открытом море, опорой. Была защитой. Была надеждой. Мы могли вернуть

ей жаркую жизнь. Может быть, там пустяк какой-нибудь! Заклепать, заварить трещинку в люльке, налить противоткатной жидкости... Ради этого мы шагали по далеким полям, ради этого рыли могилы... И вот... Прощай, наша тяжёлая мучительница.

Белка наконец сказал, не глядя на нас:

— Дисциплина не отменяется. И без пушки мы армия. Предупреждаю, кому неясно.— Он встал.— Может, мы со старшиной упустили что?

Он еще надеялся на чудо вопреки своей военной выучке, а откуда оно могло взяться, чудо, какое?

— Километрив висим звыдсы — садыба МТС,— сказал Набивач.— Ну, усадьба... Рискнете привезти бочку горючего? Тогда заправимся и дальше поедем машиною.

— А на чем привезти бочку? — спросил старшина.

Набивач показал на пушку и виновато улыбнулся.

— На ней. Брички нема. Не стреляет, хай хочь так послужит.

— Кони,— одно слово обронил Сапрыкин.

— А что кони? Коней с собою не возьмешь. Про себя подумай. Привезем горючку и махнем машиною.

— Не дотянут,— договорил Сапрыкин.— Шестнадцать километров.

— Восемь,— поправил Эдька.

— Туда и назад.

— Ах, да!

— А там есть горючка? — спросил старшина.— Какая гарантия?

— Никакой. А какой другой выход есть? — спросил Набивач.

— Коней тебе не жалко! — упрекнул Сапрыкин сурово.

— Жалко. Оттого я и говорю — машиною! Только горючку привезти. Ну?

Набивач по-прежнему улыбался, наверно, это было нервное.

— Знаете дорогу? — Белка исподлобья посмотрел на него.

— За мою машиною еще с километр прямо. И — влево. Люди шли мимо. Днем. Сказали.

— На усадьбе МТС может быть трактор. Пусть полованный... Я понимаю в тракторах. Лушин был трактористом.

Лушин встал.

— Кто еще в технике смыслит?

— Я присматривался,— сказал Сапрыкин, вставая,— просился на трактор, да все никак...

И Эдька тоже встал:

— Я смогу помочь, чем смогу.

— В карауле будете стоять,— сказал Белка и повернулся к Набивачу.— Вы тоже с нами. Если там есть горячее, донесете до машины ведро, а за остальным вернетесь своим ходом. Но сначала можете пустить трактор.

— От дурень так дурень! Давно мог бы пешки сбегать с ведром. Памороки забило!

— Бывает,— утешил старшина.

— Сейчас снимите с грузовика бобину,— приказал Белка,— чтобы фрицы на нем не покатили. А мы уберем пушку с дороги.

Мы доволокли пушку до поворота. Возле машины свободную лямку подхватил Набивач, а Галя, как прежде, толкала пушку в щит. Так мы протянули еще километра полтора в сторону от главной дороги. Со взмокшими лицами мы едва дышали, а Белка, еще в лямке, командовал:

— Калинин и Галя,— он впервые назвал ее по имени,— вернетесь к перекрестку и будете там дежурить. Не спать. Вас двое для этого. О фрицах сразу сообщить старшине. Прохоров! Останетесь со старшиной у орудия. Ястреба держать под седлом. Тревога, на коня и — к нам.

Сапрыкин выпрягал коней. Обессиленного Нерона он едва оттолкнул назад, чтобы освободить построшки. Калинин ждал, пока Галя вытрясет землю из ботинок, переобуется.

— Вы комсомолка, Галя? — спросил Белка.

— Да.

— Ну вот.

Мы остались со старшиной на боковой дороге. Повернут ли сюда немцы? Боковых дорог много, рассыпаться по всем — не хватит немцев... Гаубица остыла от дневного зноя, и было приятно приложить к ее холодному телу распаленную щеку, сидя на лафете. Ястреб спал, положив голову на ребро щита, как собака, я держал поводья уздечки в руке, сказав старшине:

— И вы спите.

— Не получится.

— Никогда не думал, что героическое на войне — это не спать ночь за ночью. Наверно, легче подкрасться к врагу и бросить гранату.

— Один раз подкрасться легче,— ответил старшина.— А придется много. Эта война... Это такая война...

Он замолчал, ища слов.

— Какая? — спросил я, уже боясь, что он забыл про меня.

— Ответственная... Героическое — это... Как тебе сказать, Прохоров... Уж очень вы умные, просто скажешь — не поймете... Это — чтобы не завоевали тебя... Год, два, больше... Никогда... Не за город сражение... Отечество, Прохоров!

— Понятно.

— И героев должно быть много.

— У нас хороший командир.

— И бойцы хорошие. Еще не герои, конечно, но...

— Мы мало воевали.

— Вот чего жалко...

— Жалко, что мы мало знали друг друга. Казалось, все знали, а не все... Лушин! Прятал под подушку посылки, а теперь всех кормит.

— Ему мать в посылках присылала сухари, — сказал старшина. — Покажи вам — посмеетесь над ней. Мать обидишь. Он просил: не надо, мать. Я писал ей, спасибо, Анастасия Ивановна, в нашей армии хорошо кормят, полное меню сообщал, а она — опять сухари!

— Неграмотная?

— Ей читали! Может, просто от любви посылала, Прохоров? Пошлет — и легче. Первый-то месяц он ее закидывал письмами — и то, и то пришли, чтобы, значит, с вами пировать. А где она возьмет то и то? И давай она сушить Федору сухари. А он их прятал и скармливал по ночам.

— Кому?

— Коням.

Как давно это было, когда мы весело отрывали от посылочных ящичков фанерки, старательно исписанные руками матерей, и шумели, высыпая лакомства на батарейный стол, и смеялись над Лушиным, который всегда уходил на это время.

— Хочешь сухарика? — спросил меня старшина.

Мы грызли сухари, а ночь спала над степью вместо нас. Мерцая звездами, ночь тянулась длинно и тихо, пока не впечатались в нее торопливые шаги. Кто-то бежал к нам.

— Калинин?

— Товарищ старшина!

Стало слышно его дыхание, вот и сам он выделился из придорожной тьмы.

— Что там, Калинин?

— Немцы.

— Где?

— Впереди нас.

— Как узнал?

— Возвращаются беженцы. Человек восемь уже прошло или больше. В селе Топляки немцы их повернули: «Вег!»

— Врут!

— Там две девушки из Первомайки были. Галя их знает.

— Сколько до тех Топляков?

— Они вышли оттуда перед закатом. Полночи шли.

— Так.

— Еще они сказали, будто немцы захватили Умань и Белую Церковь. Но это слухи.

— Прохоров, скачи.

Я уже сидел на Ястребе. Толя подошел ко мне, взял Ястреба за уздечку.

— Что? — спросил я.

Он смотрел на меня и молчал.

— Галя?

Ястреб помотал головой. Толя все не отпускал уздечки.

— Ушла домой с беженцами?

— Наоборот, — сказал мне Толя тихо и непонятно. — Ну, ладно, скачи...

Он чего-то не досказал, а мне надо было пускать коня.

— Говори!

— Костя!

— Ну?

Он не спешил.

— Галя...

— Что?

— Теперь Галя... моя жена...

Я не знал, что ответить, поморгал и ответил ему погромче:

— Хм!

Позже нестерпимо совестно сделалось за это «хм», но казалось, я ответил на оскорбление, которое так по-земному нанес нам этот ангел.

Сначала я не понял, зачем он все это мне сказал, и, удаляясь, рассердился еще больше.

Полночи прошло для него не так, как для нас со старшиной на пушке, и уж совсем не так, как для ребят где-то в усадьбе МТС. Хорош теленок! Все облизнулись в этой Первомайке, а он устроился, значит! Ну, Калинкин! Цело-

ваться, прижимать к себе сельскую красавицу, когда где-то убивают, и немцы впереди нас! Его с Галей послали дежурить... Конечно, степь не караульный пост у склада... Это так, но... Конечно, тихо в степи, и они слышали каждый шаг, каждый шорох издали, но... И ночь длинна, а жизнь измерена минутами, но... Подлюга!

Так подумал я и спросил себя: почему? В конце концов он сказал нам о немцах, а Галя... Пока он рассказывал ей о Цне, застрявшей в березах, и твердил свой адрес в несусветно далеком Вышнем Волочке, она поверила ему. А может быть, с доверия к человеку, вчера еще чужому, и начинается любовь? Лучшее, что выстрадали люди в жизни. Я могу к этому прибавить теперь, что воевали не пушки, воевали люди, и они могли любить на войне. Может быть, так самоотверженно, так чисто и преданно, как в мирной жизни не любили.

Я понял, зачем мне сказал Толя, что случилось. Он боялся за Галю. Сейчас ему было и радостней и горше всех. Он нашел Галю и думает о ней. Наверно, никто не брал и не гладил такими руками, как у Гали, его голову, испохабленную стригущим лишаем. Никогда и никакими, кроме материнских.

А впереди — немцы.

Меня тоже не обнимали, не гладили...

Я слышал, как он клялся ей в любви у степной дороги, и завидовал ему. И вдруг я подумал: он наврал. Он боялся, что кто-нибудь отобьет у него Галю, и сказал мне — для всех. А я никому не скажу. Тронул бы он ее? Калинин?

Я стал вспоминать своих знакомых девушек и оставаться с ними в степи. Но я не видел степи. Не потому, что была ночь, а потому, что видел я московский переулок, по которому гонял после школы на велосипеде. Девушку в окне. Мне сейчас без сомнений казалось, что мы любили друг друга, только оба не догадывались об этом, и становилось грустно, потому что все было непоправимо. Знала бы она, что я вспоминаю о ней этой ночью...

А впереди немцы.

Где же МТС?

Я шурился, вертя головой, чтобы не промахнуть ее впотьмах. Тьма была еще литой. Но летняя ночь коротка, через какой-нибудь час зазеленеет небо, становясь все выше...

Долго ли я скачу?

Ястреб давно перешел на заурядную рысь, напрасно я

бил его пятками по бокам, хоть плачь. Он не каверзничал, у него не было сил. Ну, Ястреб, ну!

— Костя!

Эдька свистнул, чтобы я скорей сориентировался. Я слез и повел коня на поводу. Под ногами была малоросая трава.

— Эдька? Где ты?

11

Эдька отодвинул половинку ворот, пропустил нас и зачертыхался: что-то не совпадало в запоре. За это время я понял, что усадьба окружена стеной, раз есть ворота, и притом стена была высокая, жидкие полосы света из оконных щелей раньше не виделись, а теперь можно было по ним догадаться, что там тянулось длинное здание гаражного типа.

— Где Белка?

— Он был до армии механиком МТС под Оренбургом.

— Где он? — повторил я.

— Айда.

— А как делишки?

— Тракторы выведены из строя, что-то там с них снято. Из четырех пытаются наладить один. Посмотри, как работает Белка. Даже Лушин сказал мне: фокусник!

— Получится фокус?

— Сапрыкин сбегал в село, по дороге. Разыскал здешнего сторожа. Старик обещал сейчас принести магнето, трактористы забрали их себе, позарывали, пока война... А что случилось?

— Айда.

Такую новость лучше было сообщать один раз. У меня возникло непонятное самому балагурное настроение, оттого и выскочили эти «делишки» и «фокус» и еще что-то. Я бодрился. Ястреба бросил в темноте без привязи — двор глухой, а Ястреб и на воле шага не сделает без плетки, и мы оказались с Эдькой внутри здания, в полусвете «летучих мышей», чадавших на стекла копотью, под которой трепетали жалкие огоньки.

— Фонарики!

— Это потому, что фитили самодельные, из портянок. Ни одного фитиля не было.

Возле одного трактора коптели три подвешенных фонаря, и там возились Белка, Лушин и Сапрыкин. Он светил, держа еще один фонарь поближе к мотору. Набивач постукивал железом у верстака, клепал. Все они были в замас-

ленных комбинезонах, их гимнастерки валялись на верстаке, мимо которого я прошел. Белка с ключами в руках, с поддержнутыми до локтей рукавами ждал меня, оглянувшись, а я на мгновение словно забыл, с чем прибыл, до того они все были непохожие на себя, мирные...

— Товарищ сержант!

Набивач перестал стучать, тоже подошел к нам.

Я рассказал все и про Умань и про Белую Церковь. Белка присел на тракторную гусеницу и вытер пот с лица, со лба, с шеи.

— Где же старик с магнето?

— А що вам тепер магнето дасть? — спросил Набивач.

— Куда эта дорога ведет? Старик сказал бы...

— Потянете пушку?

— Если с большака свернуть...

— Звисно! — поддержал Набивач и сам себе перевел: —

Конечно! Только через Днипро переберетесь, вас там спросят: где пушка?

— Но если окружение? — пробормотал Эдька.

— Не смогут немцы сразу без прорех сомкнуть большое кольцо, — подумал вслух Белка, а Набивач подхватил скороговоркой:

— Треба тягнуть, треба!

Все посмотрели на него, и он обвел нас глазами, такими сочувствующими...

— Вот в Ступкине... Я там переправлялся, когда меня за бельем послали. На мосту давятся, кто первый. Только один майор на рыжем коне навел дисциплину. Кто первый, кто второй. Посты расставил... Прорваться — мертвое дело. Пошла переправа...

— Пушки такие, как у нас?

— Три часа стою! Я пустой был, дорогою гражданских в машину не брал, ударит бомба — сам себе ответчик, а то!.. Идут повозки с ранеными, с боеприпасами, с шанцевым инструментом. Не всунешься. Думаю, правильно. Порядок. Я люблю. Вот уж и мне тронуться, а тут грузовик с военными в новенькой форме. И полковник с ними. Спрашивает: «Кто главный?» Майор: «Я! Командир артиллерийского полка...» Голова кудрявая, волос светлый, сам большой.

— Влох! — подсказал Эдька, засияв. — Это наш командир!

— Не знаю...

— Конь — Дракон, — вмешался и Сапрыкин.

— Дракон, — подтвердил Набивач и снова обвел нас



глазами, вдруг ставшими какими-то жалкими.— Я слышал, как он сказал бойцу: «Подержи моего Дракона»,— когда его позвали.

— А пушки? Гаубицы, сто двадцать два миллиметра,— приставал я,— видел?

— Пушек не было. Их уже переправили. Его спросили как раз: «Где ваш полк?»— «За речкою, на марше».— «А вы тут?»— «Руководжу переправой».— «А полк?»— «С полком пока комиссар. Я решил не бросать переправу».— «А полк бросили?» Он молчит. И фамилия у него...

— Влох!— выкрикнул кто-то из нас снова.

— Верно,— подтвердил Набивач.— Полковник еще спросил: «Блок? Немец?» И все.

— Что все?— выпрямился Белка.

— Расстреляли. Бросил полк.

— Врешь!— Лушин схватил его за ворот, и Набивач присел, а Белка встал.

— Вы сами видели?

— А потом они поехали вдоль реки...— договорил Набивач.

Вспомнилось, старик с деревянной ногой говорил: «Мост в Ступкине...» И еще вспомнилось, как майор Влох горевал: «Нам бы маленькую пушку сейчас, чтобы драться за каждый дом».

— Как могли?— спросил я.

— Нарушился порядок,— сказал Набивач.

После войны я нашел в Москве жену майора и двух выросших девочек в доме на Большой Полянке. Они получали пенсию. Нашего майора расстреляли немцы. Переодетые в нашу форму. Ехавшие на нашей машине.

А тогда мы ничего не знали.

Тогда был сорок первый год.

— Музырь, на место,— сказал Белка еле слышно.

Эдька повернулся и побежал.

— А мне?— спросил я, возвращаемый его шагами к жизни.— К пушке?

— Еще подождем... Не будет старика, Сапрыкин съездит в село на Ястребе... Понадобится, старшина пришлет Калинкина с новостями. На Нероне. Отдыхайте.

Отдыхайте! Но уж таков военный язык, в нем точность, проникающая даже в помутненное сознание своим главным смыслом сквозь опасения, сквозь разброд воспоминаний, похожих на фантазии. Я сел у верстака. Не думать, ни о чем не думать! Снова застучал Набивач. Постучал, затих.

— Я не зная, шо це ваш командир.  
— Что ты исправляешь? — спросил я.  
— Карбюратор.

— Скоро там? — крикнул ему Белка.  
— Зараз! — Набивач заторопился и, повернувшись, по-  
искал глазами Сапрыкина. — Де твой нож, Гриш?

— На гимнастерке! — ответил Сапрыкин. — Нет?

— Есть! — Набивач поковырялся в карбюраторе ножом,  
а потом бросил карбюратор на верстак так, что загремело,  
и быстрым шагом направился к дверям.

— Куда? — спросил Белка, покосившись на верстачный  
стук.

— До ветру.

Возле меня тяжело опустился Федор. Я уж, кажется,  
спал, прижавшись к верстаку затылком, но тут сразу  
очнулся.

— Сейчас бы сухарей, — сказал я.

Мне хотелось сказать Лушину, что я знаю про его суха-  
ри, хотелось сродниться с ним для человеческого тепла,  
для одного слова, может быть, нужного обоим, хотя я и не  
знал, какого, а он только вздохнул скупо:

— У борща от них совершенно особый дух...

— Хлебный, — сказал я.

— Домашний.

Лушин посидел молча, раскинув натруженные ноги и  
руки.

— Это все ерунда, что спросят, где орудие... Из чего  
немца бить, если такие пушки бросать? Разбросаешься, а  
потом...

— Да.

— Бросать никак нельзя.

— Заведется трактор?

— Магнето, — опять вздохнул он и закричал, вставая,  
как здоровенный мужик, хотя от прежнего Федора остался  
один костяк, и стало видней, что сама кость у него неширо-  
кая. А на щеках — пятна бороды, а печальные глаза — в  
темницах. Совсем другой Лушин.

Он принялся рассматривать карбюратор, который ладил  
Набивач, и остановился. Со двора донесся выстрел. Мы  
вскочили и прислушались. Выстрел прозвучал не у ворот,  
где нес свой караул Эдька, а с другой стороны. Белка  
крикнул:

— К оружию!

И первым вышел из мастерских. Утро еще не началось,

но ночь была на исходе, чуть заметно серел каменный, беленый забор усадьбы. Двор был совсем пуст, машины какие-то, косилки, что ли, темнели в одном углу, пятнами приподняв свои большие железные сиденья. Ночь таяла, и они начали выделяться. Я осмотрел двор, меня словно ударили, и я догнал Белку у ворот.

— Товарищ сержант! Ястреб!

Ястреба не было во дворе, но все же я крикнул не громко:

— Ястреб!

Он знал мой голос и если не подошел бы, то откликнулся бы ржанием, фыркнул хотя бы сквозь пляшущие губы.

Белка велел Сапрыкину и Лушину остаться во дворе, а мне махнул рукой, чтобы я не отставал.

— Музырь!

Эдка не откликался.

За воротами мы побежали вдоль забора в ту сторону, откуда донесся выстрел, и невольно прибавляли шагу, пока не остановились как вкопанные, даже дышать перестали, потому что воздух застрял в горле, как кляп. У меня опять выключился слух, все жутко онемело в без того тихом мире, я скорее по губам Белки догадался, что он опять позвал, наклоняясь:

— Музырь!

Эдка растянулся на животе, спрятав руки под грудь и подогнув в колене худую ногу, торчащую из раструба голеннища.

— Эдка!

Я упал перед ним, надеясь уловить на ощупь живое биение, прилег к его спине щекой и вскрикнул:

— Нож!

— Сапрыкинский,— сказал Белка.

Он держал нож с длинным лезвием в своем кулаке, а рану прикрыл платком. Шофер Набивач убил Эдку. За что?

— Это Музырь выстрелил,— сказал Белка, потянув карабин из-под длинного тела, но пальцы Эдки не отдали его.

Белка встал, огляделся и зашагал назад. Я не знал, что мне делать. Тоже поплелся к воротам, уже видневшимся невдалеке. Мне навстречу вышли все трое, я подождал их, чтобы вернуться к Эдке.

— Прозевали,— сказал Белка, не прощая себе, хотя что же он мог предугадать.

Набивач был свой, добросердечие светилось на его лице, когда он раздавал нам белье.

— Там ящик для отбросов,— сказал Белка,— в углу двора. С него он и махнул через забор, а Музырь услышал и прибежал или ходил от ворот до угла, стерег. И этот подождал. И...

— Зачем? — Я все еще не мог поверить.

— Ему надо было увести Ястреба...

А еще вчера Набивач помогал нам тянуть пушку...

— Изменилась обстановка,— сказал Белка.— Такой человек!

— Человек? — перебил Сапрыкин.— Да это же... слова не найти!

— Предатель,— сказал Белка.— Там, на верстаке, его гимнастерка... Прохоров! Бегом!

Гимнастерку было легко найти. Малиновые петлицы. Я принес. Белка вынул из кармана смертный медальон. Мы стеснились.

— Пустой,— заранее предположил Сапрыкин.

— Есть! — Белка вытащил из черной трубочки бумажную скрутку, пальцы размотали полоску бумаги, и он поднес ее к самым глазам.— Белая Церковь...

А там уже немцы. Я привез эту новость...

— Музырь очнулся и выстрелил, как лежал... Для нас.

— Позвал на помощь?

— И предупредил. Если этот шкурник наткнется на немцев, выдаст нас. Начнет выслуживаться...

— Я бы сам ему голову открутил! — сказал Сапрыкин.— Своими руками.

— Право слово! — прибавил Лушин.

— Догнать бы!

— Пеши? — спросил Белка.

Мы нашли в усадьбе лопату у пожарного ящика с песком и этой лопатой приготовились по очереди рыть могилу. Сначала Лушин прошел вдоль Эдьки, отсчитав шаги, потом поднялся на бугор и опять прошелся, сделал две зарубки в мягкой земле и спросил меня:

— Тут хорошо?

Не будет твоего концерта, Эдька, в Большом зале консерватории, где публики всегда полно и такая священная тишина, что боязно заскрипеть стулом. Повернешься неловко, а тебе скажут: «Тсс...» Мама водила меня туда слушать орган. Я вспомнил таинственную замороженность зала, затопленного музыкой, но способного вмещать ее еще и еще...

Кто-то придет, сядет на тот стул, Эдька, где мог бы сесть ты. Не будет тебя на сцене, не будет и в зале.

А тебе будут на рассветах вздохнуть высвистывать свое степные птахи.

— Где они прячутся? — однажды спросил ты.

— В траве, — сказал Лушин.

— Кажется, сам воздух скрипит, будто его натерли канифолью, а ветер гуляет по нему вместо смычка. Бог мой!

— Картоху жри.

— На рассвете птицы сходят с ума.

— Отчего это?

— Ночь у них была, как смерть. А сейчас опять солнце.

Они рады, Федя! И каждое утро так. От сотворения мира.

— Проснулись птахи голодные и орут.

— Ну да?

— Ты, правда, маленько псих, Музырь.

Трудно, конечно, было Лушину смотреть, как другой нормальный человек размахивает своими длинными руками, дирижируя увертюрой нарождающегося дня.

— Право слово, псих.

— Крещендо!

— Картоха остынет.

— Где моя картоха?

— Не подавись.

Они сидели на траве, там, где мы провели ночь, и Лушин испек картошку в серых от пепла углях маленького костра, разведенного на заре из соломы и обломков сухих веток. И было вокруг птичье верещанье, была степь, и прозрачные тени деревьев встряхивались от ветра. Где это было?

— Ох, мировая картоха! И ты мировой мужик, Лушин! Маэстро!

— Не обзывайся.

— После войны мы с тобой обязательно напечем много-много картошки...

— Не загадывай.

— Еще скажи — не дыши. Жмот!

— А ты знаешь, Эдька, почему Лушин не ставил на стол своих посылок?

— Не знаю.

— В них были одни сухари. Поэтому он не садился с нами. Стеснялся.

— Не знаю.

— Прятал их и скармливал коням.

Лушин и Сапрыкин поднесли Эдьку к яме, в которой я стоял по пояс. Карабин с трудом выдрали из его пальцев с неостриженными синеющими ногтями, под которые набилась грязь. Из рта Эдьки торчали травинки, закушенные от боли, когда он прижался лицом к земле.

Подошел Белка и сказал, что поставил на место карбюратор. Тот, который ладил Набивач. Зачем?

Если бы всем сразу броситься за ним в погоню... Окрест расстилалась степь... Такое я читал на желтых страницах старых книг. А может быть, их делала желтыми слабая электрическая лампочка, которую я приладил возле своей кровати и прикрывал газетами, чтобы мама не сердилась за ночное чтение? Теперь я своими глазами видел, как степь размахивалась все шире... Когда мы с сержантом наткнулись на Эдьку, еще не было так видно вокруг... Сержант сразу понял, что случилось непоправимое...

У Набивача был конь, а у нас сбитые ноги. Он здорово обманул нас. Кажется, впервые в жизни я понял по-настоящему, что значит обмануть. А Ястреб? Хоть бы он заржал! Видно, ему стало все равно, но он был бессловесным и не мог в своем тяжелом одиночестве сказать, что его больше ничего не радует. Ни вода. Ни овес. Ни людская ласка. Будто дорога состарила бесноватого жеребца.

Усталость, как пыль, забивает поры живого. Уже ничего не хочется. Хорошо Семену. Хорошо Вене. Хорошо Саше. Хорошо Эдьке. Я даже обиделся на них за то, что они успокоились, оставив нам эту дорогу. Вот пистолет. Он оттягивает ремень на боку, только встанешь, и ремень перекашивается, упирается жестким краем в ребро и трет опавший живот. Вынуть бы, сделать еще одно движение... И не шагать дальше, зная, что впереди немцы. И даже не вставать.

Я вспомнил нашу прошлую жизнь...

Жива ли мама, если правда, что немец бомбит Москву? И сестры, и два младших брата — живы? Пусть со мной случится что угодно, только бы жила моя мама. И они все. Приехал ли к ним отец? Могли распустить геологов, могли призвать. Я ничего не знаю. Какой-то сейчас отец? У него седели усы.

В последний раз я видел его на станции Присковой за Байкалом, куда мать привезла нас, трех мальчишек, через всю страну, чтобы показать отцу, как мы растем. Мы и правда росли, не уставая. Ботинки, которые отец купил к приезду мне, подошли среднему брату, Лешке. Но у отца

был подарок и для всех. Тряский грузовичок от станции подвез нас к реке. Шилка — называется этот поток воды, спешащей куда-то. Властное течение стягивало паром, державшийся на толстом тросе, и трос напрягался до звона над летящими сизыми волнами. На этом пароме мы пересекли реку, и в лесной избе, занятой геологами, расселись перед ящиком живых апельсинов. Они были оранжевые, щедро обсыпанные красными точками, как крупой, и сочные дольки — в красную жилку и крапинку. Вся изба непривычно пахла ими.

— Папа, откуда это?

— Из Испании.

Наверно, пароходы, возившие испанцам оружие, швартовались и в дальневосточных портах.

В Москве начали носить испанские пилотки, такие, как на испанских детях, прибывающих в Москву. Та девушка, под окном которой я вертелся на велосипеде, сшила себе голубую пилотку. Я видел один раз.

Неужели майора Влоха расстреляли?

Немцы, наверно, уже в Первомайке.

Глупая мадонна!

— Идиот! — сказал бы мне Эдька.

А вчера, когда закатывалось солнце, он еще играл на губной гармошке.

Я слышу в тишине Баха. И Сапрыкина.

— Написал, Костя?

— Нечем.

Огрызок моего карандаша остался в добрых пятидесяти километрах отсюда, а может, и дальше. Надо было написать — Э. Музырь. На чем? Для могильного знака можно разломать одну из дверей в усадьбе. Все двери в ней тускло-голубые. Какая разница?

В кармане гимнастерки у меня хранится справка о том, что я имею право вернуться в институт. Без экзаменов.

Если бы я пришел пешком, не пришлось бы Набивачу убивать Эдьку, чтобы увести коня со двора усадьбы. И добрался бы я до нее на восходе солнца, когда степь открыта, не убежишь...

Но что же мне было делать? Я выполнял приказ и спешил.

На войне главное — делать свое дело, а все остальное некогда брать в расчет. Попробуй помирись с этим...

Я теперь всю жизнь стану считать себя виноватым... Если бы я не сказал про Белую Церковь...

К черту все предположения. И воспоминания к черту. Ничего не осталось, кроме войны. Тверди себе это и делай свое дело. Но какие невесомо-легкие слова!.. А ты тверди...

Я встал и пошел в усадьбу искать кол и дощечку для могильного знака. Сначала я спросил у всех карандаш. Не было...

Я вернулся и постоял на холме, у могилы, откуда виднелась в оба конца дорога. На ней зачернела фигурка.

— Товарищ сержант! Магнето!

Старик, кроме магнето, принес вареных яиц, соль в тряпице и полкаравая хлеба. Мы съели это на холме, возле свежей могилы, и я спросил, нет ли у старика карандаша. Старик ответил, что нет, и кивнул на могилу:

— Це ваш? Як же?

Белка тоже спросил его:

— Вам никто не попадался по дороге? В комбинезоне. На жеребце. Сером, в яблоках.

— Не було,— сказал старик, помотав голвой, и покашлял в ладонь.

В круглых очках с блестящей оправой он был больше похож на конторского служащего, чем на сторожа. Весь такой морщинистый, что сами морщины сморщились по второму разу. Постоял перед могилой, сняв с головы соломенный бриль, и больше не надевал. Лысый, с кожей ледяного цвета, сбереженной от солнца. Да и какое солнце над ночным сторожем? Едва подойдя к нам, он стал извиняться, что старуха не пускала.

— Причепилась, язва!

Он ругал старуху, пока не увидел могилы.

— У меня трое пишло.

Лушин и Белка унесли магнето. Старик опять кивнул на могилу.

— Скажить, як зовуть? Стовбець поставлю и напишу... Петька? — Он взглянул осуждающе, когда я сказал ему.— Петро?

— Эдуард.

— Нашкрябайте, чым попало. А я вже зробию, як треба.

— Спасибо. Может быть, у старшины есть карандаш...

Вдруг во дворе усадьбы затарахтело. Не верилось, но потом из ворот выехал трактор. Он мощно ворочал гусеницами. Мы побежали встречать его. Белка высунулся из кабины:

— Сапрыкин! Хотите ехать?



— Зачем?

— Попрошиться с Нероном.

— Нет,— сразу сказал Сапрыкин.— Сами уж.

Белка еще поговорил со сторожем насчет дороги, куда она, и трактор затарахтел, уходя. Старик сказал:

— Ну... Старуха розгневается... Вы не сомневайтесь. Зроблю.

Мы вытянулись с Сапрыкиным на траве и никуда не смотрели, зная, что услышим трактор. Я считал, что Сапрыкин спит, и старался ни о чем не думать.

— Бах,— спросил Сапрыкин,— это чей же?

— Немец.

— Так-растак-перетак,— сказал он.

— Великий немец.

Сапрыкин усмехнулся недобро.

— Все великие люди или книжки пишут, или на музыках играют. Нет — народом руководить.

— Он давным-давно умер. Заговорили о нем лет через сто после смерти, а прожил незаметно, в бедности.

Что там, у дороги? Живы ли наши? Затарахтел трактор. Наконец-то! Сначала мы спорили, прислушиваясь, трактор ли это, или только кажется. Они подъехали... У старшины не оказалось карандаша. Карандаш откопал в своем кармане Толя Калинин, но простой.

— Простым нельзя,— сказал я.— Смоет. Не смоет, так сразу выгорит.

И, сказав «выгорит», я понял, что надо делать. Вынул оружейную панораму, снял с нее окуляр и выжег на дощечке первую букву. Утреннее солнце жарило, дощечка задымилась под сильным увеличительным стеклом. Пока наливали керосин в запас, я справился с делом. Получилось надежно. Неровная коричневая строка: Э. Музырь.

И тронулись. Двое на тягаче и пятеро на оружейном лафете.

Тягач тянул могуче. Только гроыхал нещадно и пылил больше коней. Защитная окраска кабины на глазах переменялась в сивую с желтым. И мы все стали такие же. Глаза посверкивали словно бы не с лиц, а из земли. У старшины они были какие-то незрячие. Он больше держал их закрытыми и вдобавок заслонял рукой, но именно он сказал нам перед вечером:

— От-ряхнутья и у-мыться!

Мы остановились у ручья. Стянули с себя гимнастерки, вытряхнули их и заплескались. С нас текла не вода, а

грязь. Галя подносила воду в котелке старшине, и он тоже напился, намылся, нафыркался.

— Ох! — только и сказал он, так ему было хорошо.

Дорога по длинному степному кряжу выбиралась вверх, и там, в последних сегодняшних лучах, зарыжели макушки черепичных крыш, приваленные малиновой от заката зеленью яворов.

К нам подпрыгал по ручью губошлепый мальчишка с двумя гусями.

— Что за хутор? — спросил его Белка.

— Жукивка.

— А дальше куда дорога идет?

— На Тарасовку. До Днипра.

— Немцев у вас не было?

Мальчишка испуганно покрутил головой, весь перекошился.

— Ни.

— Какие немцы, когда гуси гуляют? — сообразил Лушин.

Старшина тем временем даже причесался и пошутил:

— Армия готова к встрече с населением.

И горько потянул вбок уголком большого, длинногубого рта.

— Ты давно из дома? — спросил Белка у мальчика.

— Пивгодыны.

— Полчаса, — перевел старшина.

Сели и двинулись без разведки, экономя время.

Это был настоящий хутор, он стоял спиной и боком к дороге, смотрел глазенками окон в безлюдное поле, сквозь рябую листву садовочков, окружавших хаты.

На перекрестке ненаезженной, ненахоженной хуторской улицы и забытой степной дороги, по которой мы двигались, сбились люди. Женские платочки белели.

— Встречают! — удивился Толя.

А люди зашевелились. Замелькали на белых блузках вышивки. Это разбегались по дворам женщины. Хвосты их темных юбок колыхались напоследок в калитках.

Белка развернул пушку, и мы подъехали к встречающим. На травянистом пятачке у перекрестка остались три сухонькие старушки, одетые чисто, с темными, как на иконах, лицами и горбатая девушка с головой совсем без шеи, вжатой в плечи. Она была очень глазастая, будто это заменяло ей способность вертеть головой. И глаза ее смеялись безумно, как смеются от смертельного страха. И тугие щеки

ее со здоровым румянцем развело от немой растерянной улыбки.

Перед мелкими старушками и горбуньей, вышитая блузка которой дыбилась на спине, стоял старик с обнаженной головой. Черный картуз был заткнут за пояс. Седые волосы запутались за ушами, открывая впереди сверкающую лысину. Губы прятались под седыми усами. А на вытянутых к нам руках он держал гладкий хлеб с солонкой, утопленной в специальную ямку. Расшитые концы рушника чуть ли не до травы свисали со стариковских рук.

— Встречают,— сказал Сапрыкин,— да не нас.

Он вымыл сапоги в ручье и, мокрые, держал их в обеих руках на палках, как праздничные литавры.

Белка заглушил мотор, стало тихо.

— Немца вышли встречать? — спросил он, цедя слова.

Руки старика тряслись, а тут заплясали так, что крупная соль пошла выпрыгивать из солонки и скатываться по караваяю. Старик разглядывал нас. Мы были в трепаных и рваных гимнастерках. У кого они треснули на лопатках, у кого полезли на локтях, махрясь. Но на выгоревших пилотках краснели звездочки. У нас была пушка.

— Нимця,— выдавил наконец старик.

— С хлебом-солью? — прошипел Белка, потому что у него перехватило голос.

— Хлибом-силлю.

Белка спрыгнул с трактора, сделал шаг к старику, схватил его за рубаху. Соль разлетелась вдрызг, и солонка выскочила из гнездышка в караваяе и упала к ногам старика.

— Рас-стре-лять! — по складам крикнул Белка, было слышно, как воздух засвистел у него в зубах.

Старухи закрестились, а горбунья завывала. Старик оглянулся на нее и молча протянул Белке каравай.

— Немецким хлебом угощаете? — взорвался тот.

— Це хлиб свий,— ответил старик с улыбкой, как будто не ему была наречена казнь.

— Прохоров!

Мы давно уже соскочили с лафета и стеснились полукольцом, я вышел.

— Хлеб надо взять,— послышался за моей спиной бас Лушина, и Сапрыкин взял и передал ему каравай, сказав:

— Хлеб, верно, свой.

А Белка посмотрел на меня долгим взглядом.

— И догоняйте!

Он вскочил на гусеницу и скрылся в кабине. Может, он

не хотел, чтобы все увидели, как у старика подкосятся ноги, как он на землю сползет в слезах, которые заскачут по морщинам, как замолит о милости, а прощать было нельзя. Трактор заревел, задрожал, рванулся. Старухи все крестились.

— Иди,— велел я старику.

Это все пистолет... Он висел у меня на ремне, из-за него мне такая честь. Я шел и думал о майоре Влохе. О предателе Набиваче из Белой Церкви, который убил Эдьку. Злость накапливалась во мне, я сам чуть не заплакал. Хотелось быстрее выстрелить...

Старик неслышно шел передо мной.

Хутор отползал от нас дальше, к небу, а дорога постепенно спускалась, и пшеница теснее сдавливала нас с обеих сторон.

Трактор погромыхивал и повизгивал уже перед пшеницей. Пора...

И тут я расслышал сокрушенное бормотанье старика:

— И житы бы не треба, а живешь! Э, молодой пишов бы за Днипро. Не ховався... Стань вийско! Не стають, а мени як оборонитися? Чим? Пушкы немає. Одын я. Та ще бабы. А у них диты... Вынис хлиб. Хай вин подавиться, а може, и не зачепить? Не пидпалить хаты, може? У нас и взяты ничего... Поля не скошени... О господи!

Билась между ногами мотня стариковских порток, сутулилась спина, выпирали детские лопатки. Целить надо под левую лопатку... Я вынул пистолет.

— Сам вынис... Як лучше... А воно...

Он вошел в пшеницу, шагнул в одну сторону, в другую, выбирая себе место, и остановился. Я выстрелил. Старик покорно стоял, не зная, что я выстрелил в небо, и ожидая, что сейчас я повторю, раз промахнулся. Я ткнул пистолет в кобуру и побежал за трактором, оставив старика стоять в пшенице.

Догнав своих, я вспрыгнул на лафет. Воздух становился серым, без проблеска. Все, недавно способное блеснуть, потухло. Даль помутнела. И тогда до нас донеслось:

— Сыночки! Застрельте мене!

Никто не повернул головы. Еще долго старик бежал за нами, и, когда ему, надрывая сердце, удавалось приблизиться, мы слышали слабеющий в громыханье трактора голос:

— Сыночки! Застрельте мене!

Два подростка встретили нас перед Тарасовкой. Они показались на дороге, всюю колеся руками:

— В Тарасовки немцы!

Пока Лушин, который вел трактор, заглушил мотор, а сержант выбрался из кабины на дорожную пыль, хлопцы кое-как отдышались. Видно, давно бежали, слышав трактор, а теперь тараторили наперебой... У одного верхние зубы вылезли вперед, он был от души рыж, с космой пожара на лбу, в пятнах перезревших веснушек — каждая с пятак. У второго зуб был черный, второй выглядел строже и серьезней. Исподлобья, коротким взглядом он скользнул по лицу рыжего:

— Василь!

И тот умолк.

— У Тарасовку пробрались бийцы из Дворыкы, — до-сказал его друг вполголоса. — До схицсолнца. И тут немцы их...

— Взяли в плен?

— Вбылы...

— Тоди мы и побиглы з Саньком сюды, — вставил Василь.

Если живы тарасовские Василь и Санько, то, наверно, уже мужики с прокуреными усами, под которые они суют злые папироски, а может быть, люльки с домашним табачком, а может, уже и не курят из-за какой-нибудь сердечной скверны. Тогда они рассказывали, помогая и мешая друг другу... Немцев было пока всего двенадцать. У них два мотоцикла с пулеметами и автомашина — не большая, не маленькая, «не поймешь, чи грузовик, чи шо». Называется ганомак.

— По-немецки знаешь? — спросил старшина рыжего.

— Прочитав. Написано.

— В ний привезлы таку трубу... Приткнулы за амбаром бия дороги на Дворыкы. Наложилы рядом снарядив з хвостыками.

— Миномет и мины, — сказал старшина.

— А какой дорогой они прибыли? — спросил Белка.

— Ций.

— Как же вы и нас сюда побежали встречать?

— Так на Дворыкы вони никого не выпускають.

— За Дворыкамы дужче слидкують.

— А наши и так и так йдуть.

Было ясно: немцы выехали на эту дорогу где-то сбоку и раньше нас. Спешили на Тарасовку, чтобы закупорить нашим выход из Двориков. Отсюда немцы, пожалуй, ждали нас меньше всего.

— Далеко от вас переправа?

— Ни!

— Километрив висим,— уточнил Санько, он был деловитый.— На плотях переправляють.

— Кто?

— Военни. Богато бочок зализных, а зверху дошки.

— Подручные средства,— сказал старшина.

— Давно видели?

— Три дни назад.

— Можно обойти Тарасовку?

Санько покачал головой — нет.

— Тильки на большак из Дворыкив можна выйти. Ось так.

— А тут балка, бачыте. Нызына,— опять прибавил Василь.

Уже давно дорога бежала вдоль этой узкой и длинной лощины, по которой весной сносило в Днепр талые воды. Вся она густо заросла кустами.

— Калинкин! — позвал Белка.— Карандаш! Рисуи, Санько!

— Шо?

— Дорогу. Место, где переправа...

Санько протянул карандаш рыжему Василю.

— Ты лучше малюешь.

Пока Белка осторожно вынимал из планшетки пересохший до ломкости, в желтых пятнах, как в ожогах, лист бумаги, Василь заточил карандаш своим крохотным перочинным ножом, которым не убьешь человека. Ползущей гусеницей обозначил Тарасовку, вывел из нее дорогу на Дворики, поставив там печатное «Д», а в другую сторону протянул нить на чистую половину листа и вернулся вниз.

— Ось туточки мы.

Он набросал трактор и пушку — лафет, колесо и ствол из-под щита. Это был живой знак, и старшина, рядом с которым, наклонив голову, гнулся Василь, похлопал его по макушке:

— Художник?

Оттого что спросил, вышло уважительно.

Василь засопел, заканчивая рисунок: вот внутри села поворачивает наша дорога, соединяясь с большаком из

Двориков. Две линии с тополиными треугольничками, вытянутыми вверх,— это Днепр. Василь быстро заштриховал воду, поставил крестик. Здесь переправа. Дорога на второй половине листа дотянулась до крестика.

— Там, на этой дороге, тоже могут стоять немцы,— сказал старшина.

Белка взял листок с рисунком Василя, на котором появился Днепр — рукой можно потрогать,— положил на колено, придавив локтем. Пальцами он свернул самокрутку. Все карманы пошли навыворот, мы докуривали последнее. Запахло дымом в обманчивом предвечернем покое. Сержант поднял голову:

— Первое. Стоим здесь до темноты.

— Почему? — спросил Толя Калинин, поглядев на Галю и став смелее.— Их может прибавиться... Каждая минута против нас.

— Сейчас Тарасовку не пройти. Ночью одного трактора хватит задать загадку. Танк! У страха глаза велики. Испугаются. Рассредоточились. Двенадцать человек село берут. Охамели.

— Почему они к переправе не идут?

— Раз плоты военные, переправа охраняется. Не с чем немцам к переправе подходить.

— Сегодня не с чем, а завтра...

— Мы пойдем этой ночью,— повторил Белка.

Он ответил на наш главный, невысказанный вопрос. Пушку мы не бросим. Как-то наш сержант предупредил, что и без пушки мы армия. С пушкой не надо было предупреждать об этом. Я посмотрел на Толю. Он сидел на лафете грудью вперед, со сжатыми кулаками, щеки розовели над неряшливым пухом. Сапрыкин выбил пилотку о колено и опять надел на свою крутолобую голову, даже поддержал три пальца над бровями, отмеряя расстояние «для лучшего вида». Лушин развернул потемневшую тряпочку с запалами от гранат, пересчитал их. У Лушина ничего не пропадало.

Мы не бросим пушку.

И не в том дело, что пушка видела своим одиноким оком, как горел Борислав, что под ее тяжелыми колесами на торце мостовых крошились осколки стекла из тернопольских и стрыйских окон, что ее снарядом был подожжен фашистский танк, и не взяли ее бомбы, и не оставили мы ее в болоте на гнилом острове, и с ее лафета играл нам на губной гармошке Эдька,— не в том, что часть нас самих

давно переселилась в это безмолвное существо. Бросив пушку, мы ушли бы, прячась, и вся прежняя дорога стала бы бесцельной. С пушкой мы будем драться, и если провремся сегодня, будем драться и завтра, потому что есть же за Днепром артиллерийские мастерские! А когда нас не станет — это ведь война, не забава, — кто-то другой будет стрелять из нее по немцам, она еще повоюет, сделает свое дело, потому что она одна из всех нас родилась для войны...

— Второе, — сказал Белка, — надо узнать, что в Тарасовке. Сколько там сейчас фрицев? Где они будут ночевать? Как?

Санько сказал:

— Мы пидглянемо.

Белка покачал головой, отвергая эту готовность.

— Вы сказали матерям, куда уходите на целый день?

— Ни.

Белка еще раз покачал головой.

— А если матери вас искать побежали? У немцев есть переводчик?

— Один балакае...

— Немцы вас запомнили по рассказам матерей. Они не дураки. А матери могли всполошиться? Может, вас убили?

Василь потупился:

— Моя могла...

— Тебе нельзя идти...

— Ты прымитный, — сказал Санько.

— А тебя увидят в селе, и мать не пустит назад. Как же мы что узнаем?

— Так я поясню, куда йду!

Белка тронул присевшего Санько за костлявое плечо.

— Про нас говорить нельзя... Галя!

Галя словно ждала, положив сплетенные руки на шею и откинув на них голову, так что мы видели из-под косынки крепкую скрутку ее кос. Она вскинулась, как от испуга.

— Сумеете пойти с Санько в Тарасовку?

Плечи ее стали подниматься, голова мелко затряслась, и так, с еще трясущейся головой, она сказала:

— Пиду.

И перевязала косынку.

— Вы беженка, — говорил ей сержант. — Из Первомайки. Возвращаетесь домой...

— Но лучше... — не выдержал Толя.

— Что лучше? — спросил Белка.



— Лучше не попадаться.

— Правда, — поддержал Сапрыкин.

Толя запунцовел, замолчал.

— А спросют: где мои вещи?

— Бросили. Во время бомбежки. От усталости. Домой — не из дома. Возьмите только мои часы. Заметите, сколько ходу до того места, где Санько и Василь услышали наш трактор. Найдешь то место, Санько? Не спутаешь?

— Ни.

— И сколько ходу до Тарасовки. В село незаметно войти. Калинкин прав — лучше не попадаться.

— Мы балкою пройдем.

— Балка до самого села тянется?

— И дале.

Вот была бы укромная дорога до Днепра... Без пушки. И переправляйся хоть на бревне. Без пушки.

— Часы спрячьте в балке, Галя. Могут встретить немцы, а у вас мужские часы. Место приметьте. На обратном пути возьмете.

Да, часы у Белки были большие, во всю кисть.

— Они польские. Не отброситесь. Будет опасность, выбросьте их. Это приказ.

— Есть, — сказал Калинкин за Галю. Он держал ее руку, будто не собирался отпустить.

А Белка объяснял, на что обратить внимание в Тарасовке.

— Помогай Гале, Санько, а назад с ней не иди. Отправляйтесь.

— Сейчас?

— Сейчас. Ночью фрицы выставят дозор.

Галя осторожно вынула ладонь из сжимающих пальцев Толи и встала.

— Бойшься? — шепнул Толя.

— А кому ж идти?

Рыжий Василь отвел глаза и молчал.

— Санько, скажи его матери, что он у Днепра, — велел Белка.

— Дыблюсь на переправу! — подхватил Василь, ожив на миг.

— Была бы то правда! — вздохнул старшина.

Все думали, ходят ли еще плоты, но помалкивали об этом: какой смысл в словах?

Трактор мы оставили на дороге. Спрятать его все равно было некуда. А пушку руками прокатили вперед и затолка-

ли в кусты и еще прикрыли ветками. Ветками же размели в пыли гладкий след от колес, за спицы которых хватались столько раз в эти дни. Сами спустились в ложину. Она была на редкость прохладной.

На дне балки старшина стащил с себя гимнастерку, снял с пояса флягу и уселся побриться.

— Пока светло.

Брился он широкой, сухо звеневшей опасной бритвой, которую мы еще ни разу не держали в руках. Василь двигал перед старшиной ладошку с зажатым в ней круглым зеркальцем.

— Сантиметр вправо. Три сантиметра вверх!

Старшина командовал, будто корректировал огонь. Сапрыкин с Лушиным принялись чистить карабины. Теперь у нас их стало больше, чем людей. Я тоже почистил себе Эдькин. Калинкина Белка отправил следить за дорогой.

— Страдать лучше в одиночку,— сказал сержант, улынувшись всем и никому.

— По-моему, у них не было ничего,— сказал я и снова подумал, что Толя обманул меня.

Белка тпрукнул губами.

— Расскажите вы ей...— Но, видно, ему и самому не понравился тон, и он серьезно обиделся.— Что же вы нашего Калинкина за человека не считаете? А Музырь подошел ко мне в усадьбе МТС и сказал: «Молодец вы, сержант. Это любовь, а ей надо уступать хоть иногда».

Посмеивался он? Нет? Я не понял по голосу.

Я прилег возле Белки на спину, как и он, но он решил больше не замечать меня и, прищуривая раскосые глаза, растирал мякотью кулака свой острый подбородок и всматривался в листок, изрисованный Василем.

— У вас много родственников? — спросил я.

Белка повернул ко мне голову:

— Сейчас одна мать.

— Вы о ней думали, когда смотрели на березы у старой границы?

— И о ней.

— На войне не надо ни о чем думать, кроме дела.

— Не понял.

— На войне надо делать свое дело,— повторил я.

— Как же? — спросил Белка.

— Вот мы тянули пушку...

— Ну?

— Через гнилой остров... После этого села, где майор...

подорвал себя... После того, как у нас остался один снаряд... И после того, как не осталось лошадей...

— Ну?

— А ведь все до единого мы были бы живы, если бы...

— Бросили пушку?

— Еще на гнилом острове...

Сержант молчал.

— Тянули, а вот сегодня...

— Возможно,— согласился он, но так зло, что я поспешил:

— Все правильно!.. Надо было тянуть гаубицу, пока оставалась хоть капелька надежды спасти ее, чтобы хоть немного понять войну... Война оставляет место только для главного, остальное — от счастья... Надо делать главное. Иначе все рассыплется.

Белка помолчал, потом сказал:

— Да, война — огонь. Когда тушишь, некогда на искры зевать. Но думать надо, потому что...

Я впервые видел Белку вдруг огорченно растерявшимся и помог ему:

— Потому что искры — вовсе и не искры? А люди?

— Не знаю... Я не бог... Наше дело, конечно, делать свое дело. Видите, я даже сказать хорошо не могу. Вы уж, Прохоров, будете писать статью или книгу, скажете по-лучше.

— Писать? Не буду!

— Еще не окончили института, знаю. Призвали в армию. Видите, в самый раз. А окончите институт, напишете... На войне думаешь, сколько и за всю жизнь не думалось, обо всем, обо всех, кроме...

— Кроме,— подсказал я, потому что он опять запнулся.

— Кроме себя.

Если бы он думал о себе, мы сто раз могли бы бросить пушку и уехать на конях или на машине капитана с родным пятном во всю щеку, или этого гада Набивача — еще из Первомайки...

Я хотел узнать, почему он не спросил меня о старике, но раз не спрашивает, и не надо, и о чем можно было спрашивать после того, как старик бежал за нами и просил: «Сыночки, застрельте мене!» До войны мы спорили, с кого берет пример наш сержант. А может быть, раскрыть себя — тоже главное на войне?

— Сержант!

Белка не отозвался. Опять уставился на рисунок Василя,

обдумывая бой или прячась от ненужной откровенности.

— Я вам не мешаю, товарищ сержант?

— Мешаете, Прохоров.

Я отполз к старшине, который прикладывал мокрые ладони к порезанным щекам под такие горловые звуки, как будто боролся с мучившей его одышкой. Василь выцеживал ему на руки последние капли из фляжки, рыжел макушкой в путанице полос и пятен. Это была тень от веток, листьев, птичьих гнезд, свитых в кустах.

— Вы говорили: важно, чтобы никого из нас не завоевали... А предатели?

— Так предателей и завоевывать не надо,— удивленно ответил мне Примак, отняв руки от помолодевшего лица.— Они сами сдаются. Но сколько их? Хотя от них и горе и смерть, как от вошей, все равно они не в счет. Успокойтесь, Прохоров.

В самом деле, чего это мне все не молчалось? Успокойтесь, Прохоров... Еще подумают, что ты боишься...

Белка позвал:

— Василь! Можно за село выйти не по дороге, а дворами?

Василь бросил пустую флягу на землю и, нагибаясь, чтобы не зацепить за ветки, подскочил к сержанту. Тот ближе поднес листок к глазам, потому что внизу темнело. Лушин резал остаток каравая, который достался нам из рук старика, и загибал пальцы. С Василем нас было семь. Без Гали.

Уже почти в полной темноте, осторожно шурша, сверху съехал Калинин и доложил:

— Солнце село.

Сапрыкин засмеялся.

— Ай, Малинкин! Молодец, не прозевал! А мы и не заметили.

Благодать этой степной темноты, наступающей сразу! Закаты держались, обдавая огнищем полнеба, подпаливая и облака и каждый отлетевший от них комочек, словно это были уже клочки не облаков, а пламени, и оно отражалось во всем пшеничном море и в каждом колосе отдельно, но потом все небесное и земное вдруг исчезало, напоминая, что было одно солнце на весь простор, и оно закатилось.

Сапрыкин выбрался взамен Толи следить за дорогой.

Кто-то из нас переставлял ноги, и, если скатывались крошки земли по сухому слою стародавних листьев, вся лощина наполнялась шорохами... Закурить бы! Это пытка,

когда нечего свернуть пальцами, заклей язык, когда нельзя блаженно затаиться и, пряча окурки в кулаке, выпустить дым, дерущий ноздри, щекочущий верхнюю губу, на которой, нелепо раскурчавливаясь, намечались первые усы.

Сначала съехал Сапрыкин. За ним зашуршало. Галя?

Это была Галя. Живая. Толя даже коснулся ее, проверяя. Белка и все мы выслушали ее торопливый рассказ. Немцев не прибавилось. Миномета она не видела, но туда бегал Санько. Миномет на прежнем месте, у дороги на Дворики. И машина там. От места, где наша дорога соединялась с большаком, до машины хода минут пятнадцать. На глазок. Часы Галя, как подошла к селу, спрятала, раз было велено. Вот они. До места, где ребята нас услышали, семь минут. Да, самое главное! Другие фрицы — в центре Тарасовки, у перекрестка. В хате Нестеренко. Там их пять.

— Сами видели?

— Одного. Возле двора. С мотоциклом.

— А как узнали, что немцев там пять?

— От хозяина. Його симью з хаты выгналы. Воны сховалыся у родычив. Под вечер хозяин пишов за коровою, його знову погналы. Корову фрицы сами доють. А хозяина... чуть не застрелили. Санько виделся с ним.

От волнения Галя заговаривала то по-украински, то по-русски.

— Санько ему ничего не сказал про нас?

— Нет.

— Может догадаться, что парнишка не просто так спрашивал, сколько немцев в хате, — сказал Сапрыкин.

— Кто такой Нестеренко, Василь? — спросил Белка у хлопчика, который сидел, ожидая, когда понадобится.

— Кто? Рыбак помишанный. Рано вранци хопав пацанив з Днипра и давай канючыты пескарей на живця. Мы йому пескарей, а вин нас пустыть за яблукамы в сад, усю ораву. У них яблуку хороши. Титка Вера лається, а вин на неи крычыть, що вона йому одних дивчат надарыла, нікому живця ловыть...

— Що же ищце? — повторяла Галя, боясь забыть что-то.

— Где второй мотоцикл?

— Вот! Гоняе от Нестеренкива до миномета. Хоть раз на годыну... в час... туды-сюды...

— Ну, так, — сказал Белка. — Это их командир. Калинин, поцелуйте Галю.

Он сказал так серьезно, что мы не удивились бы, если

бы Калинин сделал это, но Толя сидел в темноте, не шевелясь, а Галя глубоко вздохнула.

— Пора,— сказал Белка.

Мы поползли по склону лощины вверх. В поле ночью веселей дышалось, чем в лощине, хотя и над полем воздух загустел от дневной жары... Высоко-высоко, это не мешало ему стать прозрачным, а внизу мы не видели друг друга.

Пушку раздели, опять подкатили из-под веток к трактору. Лушин проверил крепежку. Старшину хотели посадить в кабину, но он остановил всех. Потом сядет, а нас проводит на ногах. Им с Лушиным была дана задача: через полчаса заводиться и ровно десять минут двигаться на Тарасовку, а потом бесшумно стоять до первых наших гранат. Тогда не медлить, тогда жать... На всю железку. Так сказал Белка. За это время к хате Нестеренко беспрерывно успеют немцы с другого края Тарасовки. А мы встретим и задержим их ганомак. Это тоже было наше дело — держать подъехавших фрицев, пока трактор не пройдет Тарасовку...

— А якщо из пушки? — робко спросил Василь.

И Белка ответил ему, как себе:

— Только обнаружимся. Наша пушка сейчас — внезапность.

Белка с Василем зашагали к Тарасовке первыми. Мы уходили, а старшина стоял... Глаза привыкли, и мы видели его темный силуэт в ночи. Он не двигался и все стоял, как дерево.

Через полчаса Сапрыкин сказал:

— Не слышно...

— Подойдут ближе, станет слышно. Фрицы не прозевают.

— Ночью слышней, чем днем,— прошептал Толя.

— Бывает, ночью спят,— сказал Белка.

— Немцы?

— И они живые.

— Небось устали так наступать,— мрачно пошутил Сапрыкин.

Мы прислушались еще раз к тишине и заскользили по крутому склону балки перед селом, спрятались в нее. Василь вывел нас за хатой Нестеренко. Здесь, по уговору, он нас покидал, чтобы проводить Галю на дорогу к переправе.

— И беги домой, как пуля. Про нас, про пушку, Василь, расскажешь завтра...

— Я вернусь.

— Не спорь, некогда.

— Я вам покажу, як итты дворама...

— Я понял как.

— Толя! — прошептала Галя. — Руку!

Толя протянул руку.

— С ума сойти, — сказал он, когда Галя и Василь ушли и шагов их не стало слышно.

— Что?

— Махорка.

— Эх!

— Спрячь в кiset, Сапрыка. Рассыплю.

У Сапрыкина еще был кiset, подаренный стариком, который нес босого мальчика к Днепру. Сапрыкин сунул в кiset махорку, а Толя сказал:

— Принесла и забыла...

Но зато они коснулись друг друга, когда Галя передавала ему забытую махорку, подумал я. Может, это пустяк, а может, все пустяк рядом с этим, среди смертей и страданий.

Нам не пришлось искать хаты. Ее окошки желтели. Мы еще не знали тогда немецких свечей-лепешек в круглых картонных коробочках, где, потрескивая, плавали тесемочные фитили. Это они светили так желто.

Мы подкрались к хате. Через огород было видно, что двор пуст, потому что пятна желтого света из окон озаряли его. Охамели фрицы! На улице стал вспыхивать белый луч, далеко процеживаясь сквозь ночь. Белка оставил нас под плетнем, а сам пополз к улице. Мы узнали позже: там стоял немец у мотоцикла, зажигал и тушил фару, поворачивая ее то в одну, то в другую сторону. Наблюдал? Сигналил?

— Подождем, — шепнул Белка.

Подмывало спросить «чего?», но не хотелось лишних движений даже губами.

— Подъедет второй, — шепнул он сам.

На улице ненадолго темнело намертво и опять начинались вспышки. Нам казалось, мы уже лежим целую вечность.

— Когда подъедет? — еле слышно спросил Сапрыкин.

Белка не ответил, и это было как приказ молчать всем, и мы молчали. Я заметил, что дышу медленно, как никогда, что хочется открытым ртом хватить побольше воздуха, но вдруг получится громкий выдох? А я не один...

Где-то на дороге стоят Примак и Лушин, еще двое наших, о ком тоже нельзя забывать. Они не могут без нас войти в Тарасовку. Стоят и ждут... Сейчас скажу:

— Товарищ сержант, не надо больше ждать...

Нет, не сейчас, позже... Нет, не сейчас, позже... Нет, не сейчас...

Мягкий ропот мотоциклетного мотора коснулся наших ушей, поселился во тьме, стал нарастать. Я все время думал, как мы заметим второй мотоцикл. Ну, Прохоров, совсем оступел. Как? Вот он тарыхтит...

У нас было четыре гранаты. Две на рукоятках и две лимонки, железные яички в «крокодиловой» коже, из клеток, готовых брызнуть осколками. Сержант толкнул меня, я Толю, а он Сапрыкина, мы вложили запалы в гранаты и поползли за Белкой. Мы ползли по траве, она скрадывала наши неловкости и трение коленок о землю, это была хорошая трава, самая родная... Вот она кончилась. Дальше угол возле дома. Фриц коротко посветил навстречу своему командиру и выключил фару, а тот тоже ответил вспышкой света. Близко как! Белка встал. За ним встали я и Сапрыкин. Остался лежать Толя Калинин, изготовив карабин. Всего один угол отделял нас от немцев. Выбегут сейчас остальные из хаты или нет? Спят? Звучно булькнув, замолк мотор подъехавшего мотоцикла.

— Alles in Ordnung?

— Jawohl.— Конечно, мол, все в порядке.

Белка шагнул и бросил гранату. За ним бросил я, выскочив из-за угла, и тут с ужасом понял, что я не слышу разрыва. Дьявольская моя контузия — то я забывал о ней, то она сама напоминала о себе при первом взрыве, у которого отнимался звук. Я увидел в желтом окне хаты голову немца и выстрелил в нее из пистолета, держа Эдькин карабин в другой руке, и немец отшатнулся от окна, а я хотел выстрелить еще, но тень немца упала на подоконник, и я догадался, что это Калинин выстрелил из карабина.

— Калинин! — крикнул Белка.— Окна со двора!

Слава богу, я опять слышал. Калинин затопал от нас, мы разделились, но ненадолго. Сапрыкин бросил свою гранату в открытое окно, никто из немцев во двор не выпрыгнул, а мы вошли в дверь. Тех, на улице, мы перепрыгнули, оба они валялись у своих мотоциклов, один из которых загорелся.

В хате мы увидели плошки, чадившие, как плохие копилки, потому что на них попадало много пыли со стен. Куски штукатурки захрупали под ногами. Сапрыкин задел ногой железную банку и отпрыгнул к дверям, прикрывая лицо руками и тесня нас своей качающейся спиной,— он ожидал взрыва. Толя поднял банку и разглядел. Это была



колбаса в жестяной обертке. Сапрыкин выругался, но банку взял, когда Толя поставил ее на ножку опрокинутого стола.

— Федору.

Немцы валялись на полу, по которому разлетелись игральные карты. Три на полу и один на подоконнике. Четыре мертвых немца.

— Калинин, — приказал Белка, — соберите все немецкие бумаги. Из карманов! — крикнул он, выходя.

На улице все сильнее пахло бензином. Один мотоцикл горел, а второй цедил горючку из пробитого бака.

— Пулемет! — крикнул я.

Ведь в колясках мотоциклов были пулеметы, и они могли нам пригодиться! Но мы не успели откатить второй мотоцикл. Раньше нас огоньки роем переметнулись к нему по земле, и он занялся весь сразу. Это было нам наказанием за то, что все мы захотели увидеть убитых немцев, попрятались в хату от беспорядочно рвущихся пулеметных патронов. Теперь мы принялись сбивать слабеющий огонь с первого мотоцикла. Я бил по нему сдернутой с себя гимнастеркой, повторяя, что знаю этот пулемет, но сметка Сапрыкина пригодилась больше. В сенцах хаты стояли ведра с водой. Мы все, выходя, сунули в них головы и глотнули оттуда. Толя вертел вороток, доставая воду из колодца во дворе, а Сапрыкин носил ее и опрокидывал на мотоцикл. Красные трубы мотоцикла потемнели. При свете второго костра я нашел спусковой крючок и нажал. Ни звука. Лента была пуста, и я крикнул:

— Обоймы!

У немцев были не обоймы, а железные ленты, но я крикнул «обоймы!» сам не знаю почему, наверно, потому, что никогда не стрелял из пулемета.

В коляске нашли две тяжелые металлические коробки с лентами. Еще одну коробку Белка выхватил из коляски второго мотоцикла, кинувшись к огню. С трудом открыли коробки. Почему мы не изучали немецкое оружие до войны?

А крышку магазина я открыл легко, надавив защелку с боков, и прицельную планку откинул, и вставил новую ленту, выдернув и отшвырнув пустую. Белка спросил:

— Откуда знаете, Прохоров?

— От Ганичева.

Я нажал на крючок, пулемет прострочил коротко. Из глубины улицы, распарывая темень, залепили две быстрые автомобильные фары. На одних ободах мы откатали мотоцикл к углу хаты, за второй, еще горящий. Огонь костра

мешал свету фар и помогал мне. За угол хаты можно было укрыться. Нам стал виден въезд в Тарасовку, откуда ждали мы свой трактор. Я уселся в коляске на пружинистую проволоку обгоревшего сиденья.

— Не подпускайте близко! — скомандовал Белка.

Их там было все еще больше, чем нас. Я тряхнул головой в знак того, что понял и услышал:

— Огонь!

Я нажал на крючок, затаив дыхание, будто стрелял из карабина. Огонь освещал мне и прорезь в планке и мушку, я целил в фары.

— Калинин! — крикнул Белка. — Сейчас они уберут свет и остановятся. Сразу — вперед, и машину — гранатой!

Обуглившийся приклад пулемета бил в мое плечо. Фары в самом деле потухли, немцы не хотели быть целью, но я стрелял в темноту, помня, что иначе Калинин не пробраться. Нам уже отвечали из автоматов. Чуть левее и правее, чем мы ждали. Похоже, немцы рассыпались и пошли дворами. Значит, автомобиль стоял? Мотора не было слышно, когда я менял ленту.

— Сейчас бы нам маленькую пушку, — сказал Белка, ну точно как майор Влох. — Мы бы подняли их ганомак на воздух, отняли колеса. Им бы не на чем стало нас догонять!

Они оба были артиллеристами, Влох и Белка.

— Трактор!

Громыхание трактора я услышал чуть позже всех, когда вставлял последнюю, третью, ленту. Немецкие пули посвистывали над ухом, тренькали по стеклам открытых окон, разбивая их. У немцев ориентир был лучше, догорающий мотоцикл еще хорошо виднелся. Я стрелял коротко, берег патроны, автоматчики рассеивались все дальше.

— Обходят! — сказал Белка, и, снова разорвав темень этой ночи, впереди нас полыхнул взрыв.

— Калинин!

Ганомак загорелся, это все видели, но Сапрыкин крикнул:

— Горит!

Она горела не так уж далеко, совсем небольшая машина, вроде пикапа.

— Калинин! — повторил Белка.

— Я сегодня первый сказал, что он молодец, — напомнил Сапрыкин.

Странно, как шутили в бою. Без улыбки. Совсем серь-

езно. Как будто забыли, как же смеются-то. Выстрелы по сторонам стали удаляться, а потом прекратились вовсе. Калинин возвращался с радостными словами:

— Они бегут!

И эти ликующие слова звучали серьезно.

То ли, потеряв колеса, немцы потеряли и самоуверенность, то ли наш трактор напугал их. Они могли принять его за танк. Трактор грохотал, приближаясь.

А мы понимали, что сделали дело. Это был наш бой. Мы его навязали и выиграли. Мы выиграли его еще в лошине, в голове Белки. Но ведь никто из нас не существовал отдельно в эти минуты, а может быть, и за всю дорогу. Только мы не понимали этого всеми печенками, как сейчас.

Трактор с пушкой подвалил к нам, лязгая гусеницами и урча.

— Поворачивайте, и — прямо! — крикнул Белка Лушину, махнув рукой в сторону дороги к Днепру. — Мы выйдем на дорогу раньше вас, если что, прикроем.

— Есть! — ответил Лушин, блуждая глазами по огням.

Мы выбрались на дорогу за тарасовскими дворами, когда в воздухе заныло, и первая мина лопнула, едва коснувшись земли. Ныло противно, зубы сдавливало от этого нытья до боли. Рвалось еще противней, с рывканьем, и осколки, разлетаясь, стонали. Миномет! Если бы мы подошли к нему... У нас не осталось ни одной гранаты. Только потеряли бы время...

Когда трактор поравнялся с нами и Белка махнул рукой и крикнул: «Стой», — и мы повспрыгивали на лафет, Лушин охнул из недр моторного рокота сквозь нитье мины:

— Старшина!

— Вперед! — скомандовал Белка и на ходу стал перебираться по лафету на трактор.

В робких сумерках, когда ночь переходила в утро, мы подобрали наконец Галю. Она далеко ушла. Сначала ждала, а услышав бой, побежала, а потом опять ждала, едва донесся до нее шум трактора, и опять побежала, из последних сил, боялась, что покажут ей убитого Толю.

Но не Толю мы вынули из кабины и положили на траве на виду Днепра, едва первые блики света коснулись его молочной от тумана воды. Осколок попал старшине под левую лопатку и вытолкнул наружу, на грудь, сердце. Совершенно целое, лиловое, бескровное сердце старшины Примака лежало на темном пятне его гимнастерки, маленькое сердце, вмещавшее всех нас.

...Не от голода, а скорее от сытости, не от злого озорства, а из шалости мы наладились воровать котлеты в полковой столовой. Воровать? Нам и в голову не приходило... Разживаться! Мы садились по краям длинного стола, в дальнем конце его, а с другого конца, вертясь на клеенке и скользя по ней, летела к нам миска с котлетами, пущенная рукой дневального-разносчика. Мы тотчас же расхватывали горячие котлеты, а миску отправляли под стол, затискивали подальше ногами и, чинно положив руки на край стола, бросали в спину пробежавшего мимо разносчика:

— Дневальный! Котлеты!

— Какие? — спрашивал он бранчливо.

Мы пожимали плечами, и кто-нибудь приподнимал и наклонял свою пустую тарелку с гарниром. Пустые руки мы тоже держали на виду, миски не было, дневальный и сам пожимал плечами сильнее нас и снова приносил котлеты, которые мы тут же деликатно разбирали по тарелкам.

Донес ли кто старшине, сам ли он заглянул под стол и заметил миску раньше, чем мы подняли ее и поставили в аккуратную стопку грязной посуды, но однажды, едва мы расхватали первые котлеты, старшина подошел к столу и выдавил:

— Первое орудие, встать!

Это «встать» уже вылетело, конечно, как снаряд из ствола.

— На выход, шагом арш!

На дворе Примак крикнул:

— Бегом!

Мы затряслись мимо казармы, мимо бойцов, отзавтракавших в первую смену, веселых в эту короткую передышку, когда можно побалагурить, потолкаться, покурить, и безразличных к нашему пугливому ожиданию грозы и расплаты. Мы бежали и слышали сквозь чужой смех:

— Куда они?

Старшина остановил нас за конюшней, повернул к себе и стал прохаживаться перед строем. Мы дышали, как загнанные кони, стояли руки по швам, а он прохаживался и скользил глазами по нашим хлопчатобумажным галифе возле карманов. Он ждал, когда же появятся неудержимые потеки масла, темные пятна от котлет, следы преступления. Скулы старшины взбугрились от желваков. Следы не появлялись. Но не таков был наш старшина Примак, чтобы поддаться первому впечатлению. Зычный голос его вырвался из тисков:

Опростать карманы от позора!

И тогда с замершими сердцами мы вынули из карманов белые пластмассовые мыльницы, где уютно разместились горячие котлеты. Мыльницы перестали успокоительно греть нам ноги...

— Хм! — сказал старшина, когда мы по его команде раскрыли мыльницы. — Орлы! Высшее образование, конечно. Но незаконченное...

Он походил вдоль нашего короткого строя и покашлял в руку. Похоже, он готовился к речи, чтобы прокалить нас.

— Как же вас назвать? — начал он, не рассчитывая на ответ, но Саша Ганичев сказал из строя:

— Балбесы.

Мы не были балбесами в таком уж буквальном смысле слова, но, наверно, еще не вышли из глупого возраста, и душа жаждала развлечений. Старшина покрутил длинной головой, сдвинул губы до морщинок, стал делать суровое лицо, и чем старательней делал, тем оно становилось все меньше сердитым. Мы чувствовали это.

— Товарищ старшина! — осмелился Калинин. — Разрешите обратиться?

— Обращайтесь.

— Что делать с котлетами?

— Съесть! — недобро сказал старшина и ушел от нас, чтобы не смотреть на это жалкое зрелище.

... — Старшина прикрыл меня собой, — виновато сказал Лушин.

И у Новых Коз старшина стоял в рост, отвлекая на себя огонь с самолета и нескладно крича нам:

— Маскируйся сами!

Мы положили старшину на лафет и подвезли к переправе. Галин узел еще был у него под головой, а на теле — попона, оставшаяся нам от коней. Лафет дрожал, и попона съезжала.

Переправа открылась за поворотом реки, мы увидели плот на бочках у причальных сходен того берега и бойцов, которые разбирали плот.

— Стойте! — закричал Белка, выпрыгнул из кабины, передав рычаг Лушину, и побежал, вскинув руки над головой и крича через реку людям, которые ковырялись там и спешили.

Мы подъехали. На этом берегу тоже были люди, разрушавшие причальные сходни. Их ждала лодка.

Долговязый лейтенант в плащ-палатке, очень напоми-

навший того, который навсегда остался в заслоне, подбежал, посмотрел на нас, сказал сердито:

— Трактор выводите из строя. Оставим. Орудие попробуем. А это что? — Он сдернул попону и увидел старшину, а мы молчали, и лейтенант шагнул ближе, стянул пилотку и сказал: — Извините.

За громкий голос, что ли?

Лодка заспешила на тот берег. Там еще две лодки прицепили к плоту и поволокли его против течения... На веслах сидели крепкие, молодые ребята. Это мы увидели, когда они пристали. Нам помогли вкатить орудие на плот. А потом саперы опять загребли веслами против течения, перетягивая нас на левый берег.

Он приближался медленно, как во сне. В глазах плыло и качалось, захотелось спать. Я встряхивался изо всех сил.

Где-то за серединой реки я услышал одинокие звуки, будто дули в детскую дудку. Они то гудели басовито, то пищали за моей спиной. Я оглянулся... Под конец лафета нашей гаубицы мы положили бревно, чтобы она не скатилась в Днепр. Из всяких деревяшек, плавающих у берега, выбрали подходящие и забили клинья под колеса. Мы держались за спицы и не дали бы пушке ухнуть в воду. Один Сапрыкин притулился сзади на бревне и дудел в губную гармошку Эдьки. Он передвигал ее по сухим губам и даже не старался сложить мелодию, а вокруг была тишина, какая бывает только в первый миг рассвета...

Мы переплывали Днепр.

Нас осталось немного, и мы были все разные люди, и разное будущее ожидало нас, и никто не мог заменить близким тех, кого мы зарыли второпях, оставляя позади, но опять мне думалось, что из этих коротких жизней вырастает одна наша жизнь, уходящая корнями в разные места. Нет, это не думалось, это было во мне, со мной.

На все жизни, собранные вокруг нашей пушки, у войны не хватило времени. Она разделила его на обидные кусочки, как в голод делят хлеб... И все же мы были счастливы самым высоким счастьем. Мы испытали его от людской близости — единственного, что могло противостоять жестокости, окружавшей нас. Мы не все и в то же время все переплывали Днепр на плоту с пушкой, и левый берег на двигался кручей с дубами, прикрывшими землю блестящей резной листвой. Я зажал руками лицо и ругался, я хотел крикнуть Сапрыкину: «Перестань ты, к чертовой матери, Сапрыкин!» — но я не крикнул, потому что какое же право

я имел кричать, когда на лафете лежал мертвый старшина?

Пушку нам на кручу опять помогли втянуть... На этом берегу армейского народа было больше, столько мы давно уже не видели, и руки ухватились за щит, за лафет, за спицы, а мы набросили на себя лямки, но не успели напрячься, как услышали чей-то молодой, хохочущий голос:

— Ба! Какую рухлядь выволокли! Гляди!

Мы похоронили старшину на левом берегу и выстрелили из своих карабинов, а лейтенант, который сказал сначала: «А это что?», а потом: «Извините»,— выстрелил с нами, а кто-то вытесал белый столбик, к которому прибили гладкую дощечку с надписью: «Старшина С. Примак». Его звали Сергеем...

Нас накормили. В дубовых порослях, как в дебрях, прятались огневые позиции. Скоро мы увидели новые пушки — семьдесят шесть миллиметров, с длинными журавлиными шеями, с раздвижными, как ножки циркуля, лафетами. Они были красивы. Над ними висели маскировочные сетки с лоскутами материи, изображавшими листья.

А наша пушка и правда была рухлядью рядом с ними. Старше любого из нас. На учениях мы смеялись, что она стреляла еще в первую мировую...

Белка раньше всех заметил генерала и вскочил. Мы тоже отставили котелки с мясным супом и вскочили, небритые, запыленные, одернули свои рваные гимнастерки. Генерал был моложавый, но с сединой вокруг фуражки.

— Товарищ генерал! — шагнув к нему и приложив руку к пилотке, доложил Белка. — Первое орудие третьей батареи гаубичного артполка прибыло. Командир орудия...

Генерал спросил, как мы вышли. Белка в двух словах рассказал о прошлой ночи, отдал генералу немецкие бумаги и прибавил, что на том берегу еще есть наши, а генерал распорядился направить нас в резерв артиллерийской части и поинтересовался напоследок:

— Есть вопросы?

— Есть, товарищ генерал, — ответил Белка. — Где артиллерийские мастерские?

— Неисправна?

Генерал кивнул на гаубицу. Белка доложил, а генерал оглядел всех нас.

— Есть наводчик?

— Есть!

— Замковый?

— Погиб.

А Сапрыкин сказал:

— Я могу.

— Заряжающий?

— Есть!

— Подносчик снарядов?

— Погиб.

— Правильный?

— Есть!

Мы отвечали каждый за себя, а сержант за тех, кто был далеко.

— Обстрелянный расчет,— негромко сказал генерал.—  
Получите новое орудие.

Может быть, нам давно надо было дать другую пушку. Но мы начали войну со своей. Кого корить — мы не знали. Мать не корят, когда ей трудно.

Когда-нибудь родная земля простит нас за то, что мы так много отдали врагу. И разберется, кто виноват. А сейчас некогда, сейчас...

— Спасибо, товарищ генерал! — сказал Белка.

Потом были бои, госпитали, переброски...

Я встретил Белку через два года, под лютыми ветрами Керченского полуострова, каменистого и полынного языка земли между двумя морями, на которой высадился освободительный десант. Белка командовал противотанковой батареей и был уже старшим лейтенантом, все такой же звонкоголосый, со шрамом от осколка на лбу, много улыбался, радовался встрече, только, как и прежде, не называл на «ты», а я ждал, я хотел услышать... В блиндаже, за водкой, познакомил меня со своими офицерами.

— Капитан Прохоров. Из газеты.

— Корреспондент?

— Мой боец,— сказал Белка, и что-то толкнулось в моей груди, погорячело.

Мы допивали водку с ним вдвоем.

— Знаете про кого-нибудь из наших? — спросил Белка.

— Сапрыкин с Лушиным в одной части. Даже ранения их не раскидали... Они сейчас на «катюшах». Федор... когда его назначали, сказал, что ненавидит минометы. Но пошел.

— Кому сказал?

— Сапрыкину.

— А я получил письмо от лейтенанта Калининна,— сказал мне Белка и, расстегнув карман гимнастерки, достал листок, сложенный треугольником, уверенно ткнул коротким пальцем в строки.



— «У меня родился сын», — прочел я.

— А вы говорили!.. Эх!

Белка заразительно смеялся.

— ...«И я воюю, как Герой Советского Союза».

— Ясное солнышко! Сын — ясно. А тут — неясно. Что значит — как? Присвоили?

Звание Героя Толе присвоили потом, на озере Балатон. Когда освобождали Венгрию. Я прочел об этом в газете, а взамен Толиного ответа на свое письмо получил фотографию невысокого обелиска.

Но это было позже, перед концом войны, а тогда, у Днепра, я смотрел на Белку и видел, как он сдавливался под генеральскими руками, чтобы не позволить вздрогнуть своим мальчишеским плечам... Я и сейчас вижу это... И сам стою рядом, еще моложе его. Не состариться. Не забыть. Даже страшно. Когда это было? Вчера.

# ПЛАВНИ



1

**Л**ейтенант Зотов сидел на плоском ящике, вмятом в сырую кочку, и ждал Асю. Она, конечно, не придет, как уже много раз не приходила, но он будет терпеливо ждать. Если бы благоразумные отголоски его мыслей удалось перевести в слова, то получилось бы примерно вот что: «Ты с ума сошел, Павел! Да какое свидание может быть тут, в зоне переднего края? Чушь!»

Но он сидел и ждал, и зудение комара ласково въедалось внутрь существа, как одно из самых забытых воспоминаний.

Впрочем, чего-чего, а комаров в этом месте — до черноты в глазах. К вечеру они непроходимой гущей свисали с неба, прикрывая безвредное пламя заката над камышами. По-здешнему это место называется словом, к которому сразу привыкли, как к самому подходящему. Кто и когда назвал так эту землю, почти напроць залитую водой? Там, где воды не хватило, чтобы затопить ее сплошь, сухие клочки изрезало множество проток и прожилок, ослепительных днями, а ночами исчерна-черных, если, правда, с неба не глазело огромное и низкое от любопытства око луны, окрашивая все рыжим сиянием. В тумане столетий лейтенанту представился мохнатый дедок из давних казачьих рыбаков, обронивший с утлой лодки точное словцо и даже не заметивший, как мудро получилось. И сам остался безымянным, а целому краю дал название — плавни.

Любая уважающая себя река, перед тем как навек исчезнуть в море, разливается в устье и стремится напоследок обнять побольше земли. Для этого она, как руки, и разбрасывает по сторонам свои протоки. Но что вытворяла Кубань, вообразить невозможно. Действительно, вольная река!

Не охватишь глазом заросли камыша, поднявшие к солнцу лезвия длинных листьев. Протоки разной ширины во всех направлениях рубили эти заросли солнечными саблями, а где-то камыш внезапно вовсе исчезал, и тогда нараспашку открывались разливы чистой воды, иногда изрыбленной ветром, как море. Вода прикидывалась если не морем, то морскими лиманами, плескалась длинной волной, но это все еще была Кубань. До настоящего моря — рукой подать, в разгаре рассветов и закатов, нетерпеливо крича, над плавнями носились чайки, залетавшие сюда за рыбой, но самого моря видно не было. За одним, другим, третьим разливом опять темнел камыш, начиная новые дебри, полные вечного шороха.

На такую прорву проток не доставало названий, и одну вполне серьезную реку, уходящую от Кубани на север, не только на военных, но и на обычных географических картах окрестили Протокой, превратив привычное обозначение в имя с большой буквы. Эта памятная Протока!

Лейтенант Зотов снова увидел берега, с обеих сторон огороженные будто крепостными валами выше головы. Из-за них, не дающих Протоке расползаться вширь, пока она огибала тихую станицу, в которой сады разрослись, как лес, к реке было не подобраться. Она текла в земном коридоре, все промоины, заманчиво зиявшие в этих валах, где поросших сивой травкой, а где лысых и осклизлых, немцы заранее пристреляли. Когда там и тут наши бросались к этим дырам, как к калиткам в станицу, то натыкались на зрячие пули. Пулеметы садили без промаха. И мины, послушней дрессированных, обкладывали каждый шаг.

Еще до атаки комбат Романенко сказал, что дело куда сложнее, чем кажется. Станица большая, немца в ней много. Он тоже не захочет сползать в плавни, где не на чем держаться, значит, будет остервенело драться. Чем его выбивать? Хочешь курить, носи и табачок и спички в своем кармане. Думаете, перекрестки, дома, дворы ждут в станице? Шиш! Огневые точки, доты. Голыми руками их не взять.

Короче, на тот берег хорошо бы сразу прихватить с собой хоть минометы. А уж потом и пушки переправятся, если отгрызем для них хоть крошечный плацдарм...

Обрывая речь, капитан Романенко часто говорил: короче! Тогда Зотов еще не знал об этой привычке... Только что прибыл сюда из далекого госпиталя, залечив свою первую

рану. На новом месте заменил убитого командира минометной роты, приданной батальону. Ну ясно, комбат сравнивал, приглядываясь. А сам с первых же слов пришелся Зотову по душе: лихой, толковый. Может ли быть сочетание завидней — лихой умница? Романенко же, обогревая новичка, перешел на «ты»:

— Ну ты понял, надеюсь? Возьмешь свои «самовары» и пойдешь с атакующими.

— Лодки мне дадут?

— Какие лодки? — усмехнулся капитан. — Немец угнал их в плавни. Может быть, для надежности потопил. В лодках любой дурак переправится. Короче, никто ничего не даст.

— На чем же тогда через Протоку?

— Подумай! — ответил комбат отчужденней — ему хватало, о чем заботиться. — Не придумаешь — поплывешь на животе.

— С минометами?

— Честно скажу, меня миномет интересует куда больше, чем ты сам. Вывихни мозги, а минометы доставь.

Нетрудно было догадаться, что его отпускали для полководческих размышлений, но Зотов никуда не ушел, а задумался, трясая головой, как, бывало, в такие минуты тряс дома отец, а мама говорила: нервное. Понимала — врач. И приносила глоток какой-нибудь успокаивающей микстуры. Отец не глядя выплескивал на пол через плечо, а она опять приносила, пока он, сморщившись, не проглатывал с маху, чтобы отделаться.

— Не узенькая Протока... — шептал Зотов. — А глубина — с головкой...

Романенко не отвечал, будто ждал от лейтенанта сногшибательного предложения, а не услышав, потерял к нему интерес. На войне ни у кого нет времени для пустого интереса.

— Плоты навязать? — спросил Зотов.

— Из чего?

— Из бревен.

— А где они? В нашем районе один-единственный мост через ерик.

— Трухлявый.

— А разобрать и тот нельзя! По нему войска тянутся. Сколько еще будут рисковать, пока саперов дождутся? Дороги!

С начала марта на кубанские равнины хлынула ранняя

распутица, затопила их грязью, как лавой из невидимого вулкана. Даже местные старики дивились распутице, не понимая, что никогда по их просторам не прокатывалось столько колес, не топало столько ног. Войска сами превращали землю в месиво. И сухих мест поблизости не было...

Волоча пудовые комья на каждом сапоге, не останавливалась только пехота и перла с собою все, что могла. Древняя нога демонстрировала превосходство перед еще молодым, на вековой счет, колесом. Артиллерию к Протоке притолкали. Правда, больше половины орудий сиротливо утопало в грязевом потоке, а у тех, что заняли позиции, запаса снарядов — на один бой. Машин со снарядами не могли сдернуть с места и тракторы.

Саперов ждали с бревнами, которыегодились бы для ремонта мостов. Но и бревна где-то заплывали черноземной жижей.

Тем злее становились войска, и капитан сказал, когда Зотов спросил, а много ли у них времени:

— Ни капли. Станицу будем брать с ходу, уверен! Не дадим немцу опомниться!

— Столкнем в эти гнилые плавни,— забиячливо подхватил Зотов,— а там и в море!

— Не дай бог,— возразил комбат.— Окружить его надо, уничтожить. До плавней, до моря.

И Зотов еще раз удивился собственной несметливости. Конечно же, уничтожить здесь, чтобы не драться в камышах, на воде. С обидой и болью он спросил себя, отчего так тяжела его мысль. И самое обидное, что внешне он был тонок, и скор на ногу, и быстроглаз, а мысль его осматривалась и обживалась неспешно...

Солдаты, самый приметливый народ, за эти месяцы в плавнях не без иронии дали своему лейтенанту кличку Задумчивый. Тощий и смущенный, носил он эту кличку вроде какого-нибудь эсминца, хотя и воевали они здесь, на воде, без флота...

И никто не знал, почему он ходит такой задумчивый.

Ася не появлялась... Напрасно он примостил на кочке пустой ящик от мин, подготовил для нее место посуше, как на скамейке где-нибудь в парке культуры. У него была минута-другая, а то и третья вспомнить, как он додумался перешагнуть Протоку с минометами, которые пехтура давно и охотно называла «самоварными трубами», а то и еще проще — «самоварами», и с их нелегкими опорными плитами, «пятками» для этих труб. Вот так же одиноко он

сидел тогда в кустах на ящике из-под мин, тоже имевших у солдат свое прозвище — «огурцы», а по вязкой тропе, безостановочно перемешивая ее, солдаты несли в охапках, на плечах, на головах, на спинах камышовые снопы...

До настоящих плавней от Протоки было недалеко. Еще одна станица, забитая гитлеровцами, как муравьями, лежала на самом пороге плавней последним земным пристанищем, ошетинившимся в нашу сторону дулами пулеметов и орудий. Но камыш и у Протоки обступал озерца, потихоньку превращавшиеся в болота, топорщился вокруг луж, будто плавни выслали его на степные просторы в разведку: нельзя ли тут укрепиться?

Было где солдатам нарубить камыша, орудуя своими махонькими саперными лопатками вместо топоров. А рубили его, чтобы ладить плотики: слой так, слой поперек, садись и кочуй через Протоку. Солдаты молча несли снопы, только камыш шуршал, когда его перекладывали с плеча на плечо. В воде он намокнет, потяжелеет, но, в общем, каждый плотик дотерпит до того берега, донесет одного или даже двух...

А вот миномет с собой не возьмешь, потопишь. А еще — мины. Без мин к чему эта труба? Не самовар же, в самом деле, ставить... А если подпереть камыш бочками? По две на плотик! Хотя бы четыре бочки, можно ведь и не раз сплывать туда-обратно, чтобы перевезти все минометы. Бочки! Да где они?

С этим вопросом он не вернулся к комбату, чтобы тот не погнался. Бочки здесь были в цене не меньшей, чем лодки, и педантичные немцы небось не дали маху, все бочки порубили и пожгли. Но оказалось, дали... Минометчики Колпаков и Лаврухин, покашляв в ладони, сказали, что немного, но четыре бочки найдут. Недалеко, в виноградниках, оплывших грязью, в ветхом сарае валялись корзины-плетенки, и ржавые весы, и бочки, как раз четыре. Откуда они там?

— А черт ё знает! — пожал плечами круглый Лаврухин.

Колпаков же, худенький и жилистый, выплюнув изо рта кончик самокрутки, докуренной до самых губ, улыбнулся:

— А чего ж ты в бочку из карабина пулял?

В бочках бродило вино. Прошлым летом их не успели увезти из виноградарского сарая и положить в колхозном подвале на законное место, а на вопрос, как же это фрицы не коснулись бочек, Лаврухин воздел растопыренные руки к небу:

— Так сарай плетенками завален до потолка! И грязюка!

Колпаков же, шмыгнув носом, добавил с сожалением:

— А вино смердит. Ужась! Не поверишь!

— Свежее, потому и протухло,— объяснил Лаврухин.— Не укрепилось на жаре.

Скисшее вино выпустили в грязь, понапрасну пробуя из каждой бочки: оно не становилось лучше. Колпаков, оказавшийся сельским плотником, починил бочку, продырявленную пулей друга, а вечером Зотов доложил комбату, что готов к переправе, а ночью, когда наша артиллерия, ненадолго озарив полнеба взблесками, придавила станичные огневые точки, минрота, волоча свои минометы, плотики и бочки, прорвалась к Протоке.

Уже отчаливали, когда из темноты вдруг вылепилась девушка. И осветительная ракета вспыхнула будто бы в ее честь и, замерцав, повисла над головой. Все застыли, а девушку, похожую на школьницу, переодетую в гимнастерку и сапоги, это не смутило, она, не останавливаясь, сиганула на плот, отплывший от берега.

— Куда? — вырвалось у опешившего лейтенанта Зотова.

— С вами,— неласково ответила девушка, и голос у нее оказался донельзя сиплый.

— Чей приказ?

— Мой,— ответила она.

Лаврухин торопливо растолковал, теснясь на плотике:

— Это санинструктор, пригодится. Не бойтесь!

И замолк, а Колпаков начал отталкиваться шестом. Пока еще шест из жерди, отодранной в том же сарае, доставал до дна. На случай глубины вырезали веслица из горбылей, добытых там же,— сарай догола раздели. Колпаков все живее двигал шестом, уходя из-под мерцания ракеты. Чудная санитарка, вдруг прибежала и без предупреждения — прыг! Все же полагалось бы спросить, есть тут у кого. Зотов довольно мирно пробурчал об этом, а она отозвалась так, будто голос ее поморщился:

— Заткнись! — И обратилась к Колпакову: — Кто та-кой?

Тут только лейтенант сообразил, что он в плащ-палатке и знаков отличия не видно, а лицо у него мальчишеское.

— Командир роты лейтенант Зотов,— представился он наспех в темноте, куда Колпаков все же задвинул плотик, а она ответила коротко, будто ей не хотелось говорить:

— Ася.

Лаврухин защитно добавил по форме:

— Санинструктор Панкова.

Посреди Протоки и состоялось их знакомство.

Но в ту минуту Зотов думал уже не о ней, а о том, как быстрее открыть минометный огонь, потому что артиллерия смолкла, как видно, исчерпав снарядный запас, и в станице снова стали оживать огневые точки. Высадились, стреляли, и комбат кричал, что возьмут станицу — и он его, Зотова, представит к ордену, но станицу не взяли, пришлось возвращаться, спасать минометы. Комбат еще перед боем повторил указание полкового начальства: «Короче, за каждый «самовар» отвечаешь головой!» После весенних боев «самоваров» в роте осталось шесть, а голова у него была одна, арифметика складывалась не в ее пользу. Батальон за одну ночь потерял едва ли не половину состава, толстые и черные пиявки комбатовских бровей осели на глаза.

Ко всему прибавилась еще беда: Ася пропала. Девочка, козьявка, много ли ей надо? Она сразу же исчезла с глаз в темноте, едва пристали к берегу, занялась своим делом. Уже покидали берег, на котором не пробыли и часа, а санинструктора не было. По земле, изрываемой минами и снарядами, будто фашисты жадно расширяли Протоку, Зотов дополз до комбата, ушедшего с берега последним, как капитан с тонущего корабля, и крикнул, что нет Панковой. Но капитан обругал его матом.

— Переправляйся, сопля!

Днем Ася спала в палатке комбата, свернувшись калачиком. Зотов, позванный доложить о потерях, устался на нее. Спала Ася до зависти сладко, и лицо у нее было отрешенным от страшной ночи. Верхняя губа приподнималась, помогая дышать, и казалось, девочка улыбается. Зотов поразился. Все ему думалось, что девочка, переодетая в гимнастерку, — это случайный подарок ночи. Ан нет! Он засмотрелся, и Романенко, взрычав, напомнил:

— Я дождусь? Как у тебя?

— Потерь никаких.

— А минометы?

— В целости.

— Ах ты, Зотов, да ты ж счастливчик! — воскликнул комбат, который радовался так же легко, как и гневался.

Лишь в конце месяца, когда по распутице все же подтащили артиллерию, накопили снарядов и саперы накрыли реку сотнями плотов на привезенных бочках, немец не выдержал нового удара по станице, и Протока осталась позади.



Правда, в грязи по грудь обходных маневров не вышло. Захватили последнюю станицу перед плавнями, затолкали врага в плавни и... сами завязли в их душной глубине. До рыбацкого города Темрюка, маячившего где-то впереди, на твердом перешейке, как на мосту между плавнями и морем, пока добирались лишь птицы да самолеты...

Привыкали к небывалой войне. Пушек тут ставить было негде, да и не нужно. Пушки потеряли свою грозную силу, будто вдруг стали евнухами. Их снаряды тонули в жиже и взрывались где-то там, в вонючей прорве. Бугор пузырящейся мути вспучивался над взрывом, да изредка, чтобы тут же упасть и утонуть, вылетали грязные кусочки железа, слабые, хоть рукой лови. Поселившаяся в плавнях пехота прозвала эти снаряды «утопленниками».

Вот мины — те рвались от первого соприкосновения с водой, у них взрыватель чуткий, как спичка. Минометы стали в плавнях куда страшнее пушек, и Зотов радовался, что его «самовары» заволокли в болота. Выбрали для них более или менее твердые пятаки земли, застелили, чем удалось, короче, сотворили подкладку и стреляли. Но если без достаточной поддержки пушек сразу не одолели Протоку, то как же было перемахнуть через плавни? Их ведь не десять шагов, а десятки километров!

Иногда проводили малые вылазки, но порой и они надолго затихали, будто в войне наступал антракт. Конечно, это было дико, какой антракт может быть в войне?

Но и этим вечером не стреляли, и он слушал, как зудит комар в самом ухе, и ждал Асю. Когда он первый раз позвал ее на свидание, она, вытаращив глаза, посмотрела на него как на недоумка. А он, конечно, улыбался. Он всегда улыбался от смущения, но тут уж ничего не поделаешь.

Жизнь здесь, в плавнях, лепилась к кочкам. Люди лепились к кочкам, как комары, и тогда, на первое свидание, он тоже приволок на кочку пустой ящик от мин. Ждал, может, Ася улыбнется, но она глянула без улыбки. И села, сжавшись, то ли чтобы прочней удержаться на нетвердой подставке, то ли чтобы и ему дать место, то ли чтобы не так проникала в тело зябкая сырость сумрака. Да, лето промакнуло в этих плавнях, до последних дней...

Они сидели тогда, может быть, пять минут, может, полчаса, пока под ящиком, продавившим кочку, не чавкнуло взасос и в оранжевом луче лунного света юркий лягушонок не унес с собой что-то таинственное и простое, из детских дней. Над плавнями ночным солнцем катился оранжевый

диск луны, и за каждой стеной камыша она снова отражалась в каждой луже, будто в плавнях жили тысячи лун. Ася вдруг рывком поднялась и сказала:

— Я пошла.

И лишь тут он сообразил, что до сих пор молчал, что не сказал за это время ни слова, ни главных, ни полглавных, и, когда медленно выпрямился, она прибавила:

— Сиди.

Ну да, не успеешь оглянуться, как из-за камышей, рассыпающих кипящий шелест, вынырнет фигура, замотанная в плащ-палатку, и приоткроет любопытный глаз, обложенный припухлостями от вчерашних укусов. Комары тут кусают насмерть, но любопытство — бессмертная вещь. Поэтому Ася и велела ему сидеть. Как же она благородна, маленькая!

А он даже не успел спросить ее, придет ли она еще. Хоть самому себе не верь, но первое свидание в его жизни прошло бессловесно. А может быть, до жути скучными почувдились Асе эти молчаливые минуты? Но что же делать, если он и на твердой земле еще не намолчался от счастья?

С тех пор как он увидел Асю спящей в палатке комбата, он не сомневался, что это вот и есть оно самое. Он же не виноват, что их встреча произошла на войне, посередине Протоки... Он так бы и смотрел на Асю издалека, радовался ей, и только. Но случилась невероятная остановка в плавнях, и он не выдержал. А может быть, она просто посчитала его безруким, трусливым? Да, трусливым юношей с пистолетом на боку. Нет, Ася не такая... Он снова звал ее посидеть в камышах на ящике. Она не отвечала и не приходила. И, видно, сегодня он напрасно ждет.

Все они научились тихо ходить по кочкам, по «сушкам», как называли здесь пяточки относительно стойкой земли. Эти ее клочочки в самом деле «сушки», а не суша. Но как тихо ни приближайся, привычное ухо уловит шаг. Тем более его ухо Асин шаг...

Кто-то ступил на кочку, плеснув водой. Развел камыш, послышалось сухое верещание. Зотов встал, унимая сердце, но, может быть, это и не Ася? А глупое сердце рвалось навстречу легкому шагу...

Луна сегодня еще не выкатилась, и сумрак был зловеще темен, но все же он слухом угадал, кто подходит, и окликнул:

— Ася!

Сначала комбату мерещилось, что его с солдатами, которых было не так уж много, заманили на остров, еле слепленный из болотных кочек, и взяли в круг, как в плен. Из-за размашистого кольца воды красными точками летели трасирующие пули. Со всех сторон. Только-только начало смеркаться, и немцы спешили показать, что они всюду.

Он метался по камышам, скалил свои белые зубы и повторял про себя: «Пришьют!» Странно, но сейчас, лежа в палатке, он как бы со стороны видел свое лицо, опаленное жарким дуновением плавней, и, блестя до какой-то исступленной, искусственной, неживой яркости, в смуглой оправе всюю белели зубы.

Нашли этот тухлый остров разведчики. Горсти гильз свежему золотились в слякоти, не успев почернеть. Значит, враг ушел совсем недавно. Но почему ушел? Комбат не сразу, но догадался. Сначала слабым, а потом и вовсе притихшим огнем их обманули, вытащили из камышей, чтобы перестрелять. По острову, как по цирковой арене, где, однако же, убивали всерьез, уже открыли огонь далекие минометы...

Сжавшись на топчане под двумя байковыми одеялами и шинелью и все равно не в силах согреться, он дрожал, и угадывал приближение мин, и слышал, как они грохали, натываясь на гранит воды. Визг осколков заставлял его ворочаться с боку на бок, и это было противно до омерзения.

Он, комбат, нередко сам водил своих солдат в вылазки. Его замполит каждый раз бранился, забывая, что это не с неба свалилось, а было у Романенко в крови, в характере, невыдержанном, говорили еще до войны в полку, или бойцовском, как хотите, так и считайте. Отряд атаковал остров на камышовых плотиках азартно и, конечно, успешно. Еще бы! Этого и хотели немцы. Теперь задача переменялась — вырваться из ловушки.

Впервые тогда с тоской и досадой подумалось, что замполит прав: ради болотных кочек, которых на карте не найдешь, батальон мог остаться без командира. Да не ради этого, а ради того, чтобы доказать немцам и себе, что даже в болоте он не будет сидеть покорненько, как червь! А все равно эту вылазку назовут легкомысленной...

Хорошо, что было не на самом деле, а мерещилось...

Мины рвались гуще, и он поплыл... В глубине камышей

он оставил ручной пулемет, у которого дежурил лучший из всех пулеметчиков, каких довелось ему встречать на войне, грузин Гогоберидзе. Гога первоклассно стрелял. К этому главному в солдате умению он, Романенко, добавлял еще один простой признак: как долго солдат живет в батальоне. Впервые Гогоберидзе прижал к плечу приклад «дегтяря» с железной, набитой патронами тарелкой под Малгобеком. Было это почти год назад, долгий год с зимой и дождями, когда немец, как псих, рвался вдоль Терека к Каспию, потому что там была нефть. Рвались гитлеровцы и к городу Орджоникидзе, давнему Владикавказу: кто его хозяин, дескать, тот и Кавказом владеет. Это горные ворота Военно-Грузинской дороги, в конце концов сбегавшей к той же нефти. А через год оказались в плавнях далекомыко и от Терека и от нефти...

Во время боя за остров Гогоберидзе со своим помощником из новичков ждал зеленой ракеты на случай, если придется прикрывать огнем вынужденный отход отряда. Но батальонного ординарца убили, и он исчез под водой вместе с ракетами и ракетницей. Тогда еще не додумались, что здесь надо в каждую вылазку брать с собой две-три ракетницы и запасные давать самым живучим, а то... Короче, второй ракетницы не было, не из чего было дать сигнал, и Романенко вплавь ринулся к пулемету, о котором еще не подозревали немцы. На Днепре вырос и плавал как рыба. Плавать-то плавал, да уже больше в памяти, и едва дотянул. Сердце лупило в уши бешеными толчками. Точь-в-точь как сейчас... В камышах он доплелся до пулемета и увидел Гогоберидзе. Тот был привязан к плоту ремнем под горло. Длинные черные усы едва высывались из воды, прикрывавшей рот. А глаза были открыты.

С другой стороны плота таращились еще одни застывшие в страхе глаза. Живые ли? Романенко схватил солдата за шиворот, хотел встряхнуть покрепче для проверки, одна-ко глаза мигнули. Он удержал себя и спросил:

— Как зовут?

— Пышкин.

В обе стороны на воду выкатывались синие булки щек. Да, природа, она даже фамилий не дает случайных. Пышкин так Пышкин. Он снова глянул на мертвого Гогоберидзе.

— Мина,— сказал Пышкин.— Сразу, как вы в атаку.

— А тебя задело?

Пышкин отрицательно поводит головой.

— Значит, он один все осколки взял, свои и твои.

Пышкин кивнул, чуть не подцепив воду курносым носом.

— Встать!

Пышкин опять мигнул, выдавливая страх из глазенок.

— Страшно.

— Выполняй приказ!

— Страшно, что плот утонет,— поправился солдат.—

А младший сержант же... Я плот плечом подпер.

— Вот как надо!

Они уже приспособились в плавнях пригибать камыш по кругу и связывать узлом, получалось «кресло» — можно и присесть и даже прилечь. Можно и Гогу положить. Романенко перенес пулеметчика на ловко скрученную им связку, откинув из-под горла Гоги ремень, а Пышкин прибавил:

— Я одной рукой пулемет держал, а другой его привязывал,— и покосился на безмолвного Гогу.— Страшно было отойти хоть на шаг. За сержанта страшно и за пулемет...

Конвульсивная улыбка шевельнула губы комбата:

— А за себя?

Перетянули плотик на другую сторону камышовых зарослей, к другой воде, из-за которой вырастал павлиний хвост трассирующих нитей, и Пышкин сообразил:

— Самому-то страшной всех. Что ж я, святой?

— Не ври! — оборвал комбат.— Удрал бы!

— Так я еще могу. Держите крепче.

— Сейчас в такое место суну! Перестань дрожать!

— Это ж я от холода. Сыро тут...

Оттого-то и щеки у Пышкина были синие, черт возьми!

Он ткнул Пышкина под разодранный плотик и стрелял, можно сказать, с плеч солдата, на себе державшего камышовую площадку с пулеметом. Над его головой стрелял, пока из ушей у того, изламываясь и виляя, не поползли струйки крови. Комбат не сразу заметил их, потому что Пышкин терпел. А заметив, сменил его, стал держать остатки плотика на себе, а стрелял этот диковинный Пышкин.

Презабавный он! Уговор никому не рассказывать, как палил из пулемета со спины капитана, до сих пор не нарушил. А то ведь и солдаты есть глупые, потешились бы над своим комбатом, и начальство есть разное, могло бы, прослышав, и наказать...

Десантники тогда ушли с острова, двенадцать человек. Троиш взяла вода, а Гогу, как звали его в солдатской семье, увезли на плоту в батальонный стан и еще дальше, на твердую землю, и зарыли на станичной площади...

Как тебе там, Гога? Степь не родные места, конечно, не

горы, которые аж под тучами, но все же и не топь, где весь век лежи один и никого не дождешься. Никто к тебе не придет. Никогда. Чего молчишь? Гога! Гога!

До отказа приподнявшись на руках, Романенко кричал. Сердце его все еще колотилось, пробиваясь на волю, но тише и тише. Стало ровней и дыхание... Он открыл глаза.

Ничего ему не мерещилось. Все так и было. Давний бой. Один из тех, что учили их болотной войне. После этого боя до его батальона добрался корреспондент, при трескучей площадке полночи писал карандашом, ломающимся в худой и юркой руке. Хватило на статью за подписью Романенко. По всем строчкам, как семена в грядки, разбросали дельные советы: «В плавнях за версту слышно, поэтому все делай тихо», «Не бойся окружения, круговая оборона тут — норма», «Врага не видно, но ведь и тебя не видно!», «Вроде один воюешь, а вышел на «сушку» — рота!», «Поднимай камыш за собой, не оставляй хвоста, попадешься», «Разведка до дна, прошупал дно — пошел»...

Хоть книгу издавай на будущее, да авось не доведется воевать здесь больше, не нужна она, твоя книга, где все слова облиты кровью. А командира разведки Рябинина не убили, не ранили, а вчера увезли в госпиталь — малярия. От комара.

Мама Поля, дала бы ты мне кружку молока с печи. Согрела бы меня. Слышишь, мать?

Романенко вновь закапывался в одеяла, а мать была уже рядом, клонилась к топчану: «Слышу, слышу...» И, горюя, спрашивала, что же он выбрал себе такое место для войны, а он бормотал горящими губами, что война нигде не бывает доброй, другим не легче. И молил, и ждал глотка молока, и явственно ощущал прикосновение самой дорогой на свете, материнской руки. И по-мальчишески ежился от щекотки, потому что от ее пальцев щекотало под мышкой, но потом перестало. И, боясь, что мама Поля не услышит его объяснений, почему он оказался здесь, и уйдет, он заторопился все растолковать...

Распутица все крепче хватала за ноги. И враг, как бес, выскальзывал из обхватов раньше, чем они замыкались. И откатился до рубежа, куда заранее сгонял тысячи людей рыть и строить. От Кавказского хребта до размытых азовских берегов, от гор до болот протянулась линия, которую фашисты называли «Голубой». Не удивляйся, мать, их бьют, а они в красотах изощряются. И не в том дело, что речушки и реки вьются по этой линии, а вода в них голубая. У немца

как горная дивизия, так какой-нибудь «Эдельвейс». Побили их на Тереке, вот и «Долина смерти». Прячут свои прорехи за разукрашенной вывеской или гримируются слезой. Дешевки! Одним словом, мещане.

А «Голубая линия» скорее похожа на дерево покрепче дуба. Корни каменные, в горах, ствол железный, а крона пышная, в ней наши плавни. И малярия. У меня ее нет, мама, слышишь? «Слышу, слышу...» Я знаю, как с приступами бороться. Голова пылает, самого выкручивает наизнанку, а я перебираю что-нибудь самое знакомое, чтобы не сбиться. Скриплю зубами вдобавок...

Летом пушки грохотали до хрипоты в небе, и мы в плавнях слушали неблизкий гул с надеждой: вот прорвут эту самую «Голубую», фронт потечет в прорыв. И мы наконец выползем из своих болот, обросших камышом и мхами. Хотелось на твердую землю, как на волю. Душа просилась воевать, она-то мхом не обросла. Кто это сказал, а мне запомнилось? А-а, это замполит мой... а имя вылетело из головы! Я же люблю его. Мы ругаемся часто, но мне другого не надо. Он кубанку носит и о бурке мечтает для форса. Мальчишка! Я-то уж старый, у меня сын растет, пишут из дома, начал брюки надевать, из моих перешитые, за спиной — деревянная винтовка на шпагатине.

Ты так и не видела своего внука Федьку. И жили недалеко, от Днестра до Днепра ночь пути в поезде, да служба, в сорок первом, летом, собрались наконец к тебе, подарков припасли, а тут... И наши семьи увезли на восток, далеко, а ты осталась в приднепровском селе, где стояла на улице цыганка в зеленой юбке.

Мы три года не виделись. Я уж старый, скоро все тридцать, а замполиту меньше. Но о душе толково сказал. Вот вылазки. Для чего они? Мох сдирают с души.

Ох, мать! Не знаю, как у других, но до чего же стосковалась по обычной земле душа! А здесь? И обычную землю немец перековал. Отрокочут орудия, танки и пехота двинутся в бой, ведут его день, два, три, слышишь, как гремит? «Слышу, слышу...» А потом, мама?! Какая-нибудь извилина в передовой углубилась на километр-два... Эта их «Голубая линия» до сорока километров толщиной, да! И на каждом вершке — бородавки огневых точек. Вся земля в бородавках. Не брежу. И господа бога не зови, не поможет. Чем быстрее бежал от нас немец, тем больше становилось у него танков, орудий, пулеметов.

Мы гнали его вдоль всего хребта и в конце концов за-

гнали на узкий треугольник земли, как в сачок между горами и морем. Хваленые армии, еще недавно растянутые длиннее чем на тысячу километров, теперь стиснулись, фронт стал впятеро короче, но и толще. А значит, и мощнее, хоть потрепали мы врага изрядно. Не вообще мощнее, конечно, а как я, военный, могу сказать — на единицу простора. Понятно?

Мать кивала: поняла. И кивая и отлетая, стала расплываться в сиреневых кругах, вертящихся перед глазами. Мама Поля! Куда же ты? Куда она? Сейчас ее рука была... Романенко обхватил колени, чтобы унять трясучку, но когда удалось и он приоткрыл глаза, ожидая увидеть мать, перед ним как-то косо сидел слепой старик, высушенный до прозрачности, одетый в нижнее белье, на рубахе вместо пуговиц завязки из тесемок и шнурков. А мама Поля? Для чего мне слепой старик... зачем он, откуда? Белье на нем серое. Седые курчавины лезут на воздух из-под рубахи. Уставив желтые бельма, спрашивает бледными губами:

— Ты кто? Тут нерусских много. У меня в дружках узбек и азербайджан. Подходят, покурить дают.

— Сейчас закурим, дед.

Свернули табачка из пластмассовой мыльницы, и комбат сквозь кашель ответил старику:

— Говорят, цыган я!

— Эка! Кто ж говорит?

— Мама Поля. Мама Поля! Это правда, что цыганка оставила тебе меня, больного? Дня через три сама отстала от табора, прибежала, да меня уж в город, в больницу увезли. Лет через пять топаю я по нашему селу из школы... стоит цыганка в зеленой юбке, раскинутой до земли шатром, и так смотрит, что я свернул за ближний дом, задал деру в поле и стал там жить. Как суслик. Грыз зерна из колосьев. Цыганка перепугала. А я тебя люблю, мама Поля. Не знаю, дед, кто я.

— А имя у тебя какое?

— Марат.

— Ну, цыганское! — сказал старик, хотя в селе уверяли, что записали Полиного приемыша Маратом в честь французского революционера. — Цыган!

— А вы-то, отец, зачем ко мне?

— Когда Гастагаевскую освободят? Скажи по знакомству.

И Марат уронил руку к насквозь сырým доскам пола, так что окурок в пальцах тут же затух, и припомнилось...



На кривой табуретке, подпертой с одной стороны суковатой веткой, сидел этот старик посреди своего двора в той самой станице, что раскинулась у самых плавней. Полтора месяца назад батальон выводили в эту станицу отдохнуть, очиститься от гнилой грязи. Народу было там, как на ярмарке. Медсанбаты, почтари, хозяйственники всех родов и еще какие-то части на отдыхе, соседи по плавням. Шептались: совсем или не совсем их вывели из этой бездны? Пусть хоть куда угодно перебрасывают, в любой ад, только не обратно.

Он-то молчал на этот счет, знал: вернут. Будь он командиром постарше, сам вернул бы всех. Новым — осваивать здешнюю войну, а эти уже знали, почем фунт лиха, привыкли. К полутеплой каше, будто ничего другого и не ели. А про комаров говорили: зуммерят, как о телефонном сигнале...

Сейчас в плавнях и позиции совсем другие, с первыми не сравнить. Как бобры, солдаты сгребли по крохам землю и на «сушках», сросшихся в «связки», воздвигли настоящие крепости из брусков липкой земли. Камыш залег между ними арматурой. Повырастали дамбы с бойницами. Кое-где по дамбе тянулась и колючая проволока. Были и разрывы, в которые иногда, как рыбы, проникали разведчики, чаще наши — туда, в залитые водой, заросшие камышом чужие тылы; немец, тоже построивший себе дамбы, сидел тише, не рыпался.

Напротив его батальона немец повыжег перед своей дамбой камыш от паники. Ждал и боялся нашего наступления. Наступать не терпелось, но как?

Еще шептались: может, совсем уведут людей из плавней, сколько можно воевать по горло в воде? Короче, к чертям эту войну! Недотепы. И мы и противник держим друг друга подальше от берега, потому что берег — это возможность прорыва. Не уведут! Однако так же ясно было Марату Романенко, что солдаты живут в плавнях, чтобы драться, а не комаров кормить.

Там, за плавнями, лежали Таманский полуостров и еще несколько кубанских станиц, в том числе и Гастагаевская, откуда слепой старик ждал невестку с внуками. Сына он проводил на войну, бабу схоронил во время оккупации и теперь сидел на старой табуретке посреди двора и ждал своих. Если кто в живых остался... Ближе всех была невестка, так уж вышло, что накануне освобождения его станицы она с детьми ушла в Гастагаевскую проведать родных да

там и застряла поневоле. Старик сидел перед калиткой, сделанной из спинки от железной кровати. Подгнивший забор весь рухнул, как сдуло, а калитка чудом еще держалась на двух ржавых трубах, вбитых в землю вместо столбов, и ждала, когда ее откроют. Может, сам сын придет?

На старика не действовали угрозы, что надо перебраться туда, где люди, которые не оставят в беде.

— А как же меня сын найдет? — отвечал он. — Нет уж, тут я...

Кормили старика солдаты. Иногда он откидывал голову, отрываясь от калитки и смотрел на солнце, как зрячий смотреть не может. И шептал, что и солнце стало другим, едва свои пришли.

— Я-то знаю!

Ну вот и ты испарился, дед, не дождавшись моего ответа. Отпустила меня ваша малярия, ведьма болотная. Не успел я тебе сказать, что скоро и Гастагаевская нашей будет. Не зимовать же здесь. А уже сентябрь на носу. Вот-вот где-то решительно начнется, где — не знаю, но вот-вот...

Крючило его часа три, и в палатке уже стемнело, значит, наступил промежуток между солнцем и луной. Какая тишина завалила бы плавни, если б не комары и лягушки! Комары облепили палатку и точат. Пусть себе. В палатку не заберутся.

Хорошую палатку поставили солдаты своему капитану. Нашли в станице толстых досок на пол, а к входу прилепили длинный коридор из плащ-палаток с марлевыми завесами по ходу. Лужи сквозь щели в полу еще просачиваются, а комары в палатку — нет. Какой-то малярик цапнул его на воле...

Иногда казалось, что палатка плывет, так и не выплывая никуда, будто плыла она не среди камышей, а вместе с ними, и не было ей выхода ни в море, ни к берегу.

Сейчас без зова явится ординарец Марасул и включит лампочку, алюю... как звезда в небе. О если бы! Красней помидора. Она наливалась этим помидорным соком от аккумулятора, когда капитан собирал командиров на совещание, ужинал или вставал после приступа и брился. Марасул ухитрялся, не нарушая маскировки, где-то подогреть для этого чуть-чуть воды в чайнике. Хороший парень, длинный как верста. Романенко любил солдат рослых. После приступов все казались ему хорошими...

Кто-то легонько тормошил его за плечо. Разлепив глаза,

он долго ничего не понимал, кроме одного: задремалось.

— Товарищ капитан!

В красном сумраке разглядел наконец своего ординарца.

— Где ж ты был?

— Так вы ж не велели заходить. Сапоги хотите снять?

Помогу.

— Не надо, высохнут — не наденешь.

До приступа он успел сорвать с себя гимнастерку, но, забираясь под одеяло, остался в галифе и сапогах, правда, швырнул под них плащ-палатку.

— Бриться.

— Вот.— Марасул приподнял к лампочке чайник и глотнул из горлышка, отфыркиваясь.— Кипяток! Ух!

— Что же ты кипяток глотаешь? За едой перестанешь чувствовать всякий вкус!

— Э! Где вкус, товарищ капитан, какой вкус? Что ни кушаешь, как газета! После войны я вам сварю плов — эт-то вкус!

— Сам сваришь? Бабье дело.

— Нет. У нас так, товарищ капитан: умеешь готовить — мужчина, не умеешь — баба. Если не нужен, еще на часик уйду?

— Куда?

— Стихи послушать.

— Спятил? Какие тут стихи?

— Не знаю.

— Зачем они тебе?

— Интерес.

— Полный разврат,— поморщился капитан.— Пришли мне Асю!

— Есть прислать Асю!

И Марасул вырвался из палатки, пока в настроении комбата не наступило перемен. Под отлетевший полог плавни закинули охапку лягушачьих голосов: вечер уже бурлил ими.

### 3

— Я боюсь тебя,— признался Зотов, потому что нельзя же было снова сидеть молча.

— Смеешься? — спросила Ася.— Фрицев не боится, а меня боится.

Объяснять, что это непохожие, совсем разные страхи, было бессмысленно, настолько они разные и непохожие.

— Прямо как до войны,— сказала Ася с той же привычной для нее хмурью в голосе, хотя подошло бы и улыбнуться.

Война, конечно, невеселое дело, но и в самые сложные минуты люди находили хоть миг для шутки. Однако не Ася. Он уже слышал, что, натыкаясь на весельчака, забавлявшего кучку солдат, Ася тут же отходила. А некуда было отойти — отключалась на месте, и солдаты, бывало, на всю катушку запускали при ней что угодно. «Какие разные мы с ней!» — понуро думал Зотов, все время улыбаясь, будто бы за себя и за нее. Спросил неловко: почему это ей показалось, что ведет он себя прямо как до войны?

— Хорошие ребята всегда боялись девушек,— ответила она, зевая нарочито.

— А плохие? — спросил Зотов, не зная, как это у него вырвалось. — Они как?

— Я от подруг слышала,— сказала Ася. — А сама про это ничего не знаю.

— Я тоже.

Ася глянула на него, как до сих пор ни разу не смотрела.

— Сколько ж тебе лет, лейтенант?

— Какая разница?

— Не глухой же, спросила, сколько тебе по метрике. Если не военная тайна, ответь.

— Сколько всем, столько и мне.

— Девятнадцать? Уже исполнилось?

— Еще бы!

— Ого! — Ася покачала головой. — А сколько ты на войне?

— Больше года.

— Ого! — повторила Ася, и, пугаясь ее вопросов, затаивших в себе что-то недоброе, он сам спросил:

— А тебе сколько лет?

— Любопытство не порок, а большое свинство,— скучно ответила она, он же продолжал улыбаться:

— Я со страхом спрашиваю: вдруг скажешь — пятнадцать! С виду ты как девочка.

Похоже, она ничего не слышала, уж очень долго молчала, и даже страх внушало, сколько же ощутимо тяжелой каменности вместились в такое маленькое лицо.

— Я старше тебя,— наконец ответила она.

— На сколько?

— На сто лет.

— А моложе? — улыбнулся он. — На два года?

— Разведаль?

— Сам знаю.

— Кто же открывает тебе чужие секреты? — вдруг начала злиться Ася так, что злость уже выплескивалась наружу.

— Смотрю на тебя и догадываюсь, — признался он, ища в себе хоть чуточку лихости, но так и сидя с тоскливой смешинкой в глазах, ставших оранжевыми под луной, которая и сегодня уже загадочно всплывала воздушным шаром.

— Нет, кто тебе подсказывает?!

— Наверно, любовь, Ася...

— Ты дурак? — еще больше разозлилась она. — Толкну сейчас в воду — и помалкивай, чем такое молоть.

— Выплыву.

— Слушай, не хочешь, чтоб толкнула, так опять в молчанку поиграй, лейтенант.

— Есть! Я все стану делать, что ты захочешь.

— Ты что, правда дурак?

— Может быть.

— О, гляди! И не спорит! — будто кому-то постороннему сказала Ася. — Значит, чуть-чуть умишка еще имеется. Береги то, что осталось.

— Есть! — повторил он по-военному, козырнув и чуть не свалившись с ящика.

— Не старайся, лейтенант. Я стреляная. Ничего у тебя не выйдет, не получишь.

— Да что ты городишь? — обиделся он. — Мне ничего от тебя не надо.

— Ты контужен был?

— Только ранен.

— Значит, от рожденья чокнутый. Любовь! Сто раз убить могут! Какая тут любовь?

— Убивают раз, но с нами ничего не случится.

— Тебе так хочется, чудик? Война не выбирает, кого...

— Я ничего не боюсь.

— То меня боится, а то ничего!

— Потому-то я тебя...

Сам дивясь своей неслыханной смелости, Зотов снова улыбался, а она опустила голову, и долго молчала, и опять вперилась в него оранжевыми глазами, как двумя лунами, и в одной луне, коротко блеснув, вдруг затлела слеза, напугавшая Зотова, но еще больше напугал совсем сдавленный голос Аси, который попросил еле слышно:

— Ну тогда хоть поцелуй меня, лейтенант!

А лицо ее, маленькое, скорбное, с большими, даже большими глазами, отчего они так часто казались вытаращенными, приподнялось к нему. До сих пор оно ютилось где-то ниже его костлявого плеча. Теперь огладило его щекой и поднялось, насколько смогло. Он стремглав наклонился, их зубы нелепо стукнулись. Он еще долго не дышал, думая, что все это: тишина над передним краем, расплывшимся по гнилой воде среди камышей, их встреча — все это и в самом деле как до войны, но Ася вырвалась из-под его руки, отшатнулась, и он едва удержался, сунув руки в зачавкавшую грязь и ловя ящик, чтобы она не упала.

— Ты забыл, что война? — тихонько спросила Ася.

— Как можно забыть такое?! — соврал он.

— А я забыла...

— Ты простужена. Дай я накину на тебя свою куртку, — сказал он, соскребая об углы ящика грязь со своих ладоней.

— Ничуточки не простужена.

— А голос?

— Курю... А знаешь, до войны я пела! Самодетельность. И песни веселые. Услышал бы!

— Споешь мне?

Ася покачала головой, монотонно кивая:

— Я тебе сейчас такую песню спою, Зотов!

Внезапная улыбка искривилась и вкось задергала Асины губы, рассеченные мелкими трещинками. Они были почти незаметны, эти трещинки, в сухой корочке, но запомнились от короткого прикосновения к ее губам. А когда наконец они растянулись в непривычной улыбке, в самом уголке, на нижней губе, появилась капелька крови, которую она слизнула, торжествуя объявив:

— Застрелишь меня на месте, если не врал!

— За что? Я не понимаю, как жил, пока не встретил тебя.

Ася незвонко засмеялась. Сквозь ломкие хрипы ее смеющегося голоса донеслись несдержанные всплески чьих-то шагов.

— Уже идут.

— Кто?

— Они! Я аж двух позвала посмотреть на чучело, которое задумало отнять меня у комбата!

— Это я — чучело? — наконец спросил он, помолчав.

Шаги, чавкая и плеща, раздавались все ближе, и камыш тоже, кажется, приближался, шорох его подкатывал.

— Беги! — моляще просипела Ася, дернув его за руку.

— Хоть услышал, как ты смеешься,— сказал Зотов и отвернулся, а шум как отсекло, и Ася, подождав, обронила:

— Не они вrede.

И тут же гулкий бас послышался:

— А я ишу, кто это шепчется, а вон кто! Хотите стихи послушать? Хожу, объявляю. Колпаков будет концерт давать.

— Колпаков? — удивился, как ужаснулся, Зотов, будто бы при этом враз осип хуже Аси.

Подняв глаза на рослую фигуру в кубанке, Ася спросила:

— Чего это, товарищ политрук, вы сами ходите-объявляете?

Еще весной политрабработников переаттестовали, замполит Агеев получил старшего лейтенанта, но давняя привычка жила себе, и многих до сих пор называли политруками. К Агееву это и подходило больше. Ася гадала, скажет он комбату или нет, кого и где увидел. Они поругивались из-за нее, Ася не раз догадывалась по вздохам Агеева об их стычках, но с Романенко не больно-то нругаешься, во-первых, а во-вторых, что за птица — санинструктор, когда в этих болотах горячий борщ для солдат каждый день — проблема.

Между тем Агеев договаривал почти с восторгом:

— Скажите, когда последний раз вы слушали стихи? И не вспомните небось! Вот и хожу.

— Про любовь? — спросила Ася.

— Нет, военный стих, но лирический,— пробасил Агеев.

Конечно, думала Ася, он расскажет комбату. Несмотря ни на что, они ведь друзья и мужики. Ну и пусть говорит.

— Чей же стих Колпак читает? — поинтересовалась она.

— Ничей. Свой.

Даже Ася поразилась и стала подниматься с ящика:

— Ох ты! Пойду послушаю поэта на болоте!

— А вы, Зотов? Или вы к стихам равнодушны?

— Как лягушка.

— Это зря.— Политрук переступил на месте, помня, что при долгих стоянках плавни засасывают исподтишка, и вода тяжело вскипела у его ног.— А может, я вас не видел, а? Я пошел.

— Стойте! — И Ася шагнула с кочки в слякоть, а из нее в воду, и все стало ей вдруг понятно: это он, политрук,

задержал двоих приглашенных ею полюбоваться на лейтенанта Зотова, и захотелось уйти с ним, как под защитой.

Политрук еще раз окликнул Зотова:

— Айда! Ну?

— Нет, нет, нет! — зачастил лейтенант, тряся головой, и, немножко посидев в одиночестве, оглянулся.

Темнота забирала уходящих. Один — великан, спина, как стена, туго обхваченная ремнями, словно для того, чтобы не разрастаться больше, другая — с мизинчик. И эта малость Аси в просторе бесконечного камыша, над которым во все концы разлеглось небо, запыленное звездами, эта саднящая душу малость Аси снова преврала дыханием.

Ночами ему часто снилась мама. Она стояла на улице, ждала его одна, да она и жила одна, отец тоже был на войне, по номеру полевой почты не догадаешься где, по намекам — на севере: «А у нас уже снег», «А у нас еще снег». Улица с мамой была совсем непохожа во сне на их городскую, темнела от травы, такой густой, словно все травы, по которым он успел пройти на войне, переселились туда и закрыли городской камень. Теперь он будет думать только о маме, которая никогда и никого не позовет посмеяться над ним...

— Ах, да это чепуха! Подумаешь — посмеяться! Не в этом дело. Как она сказала? «Чучело!» Так не скажешь человеку, к которому хоть капельку...

Шаги уже утонули в темноте.

Хлопнув себя по щеке, Зотов сгреб комаров, и ладонь стала липкой. К утру много крови засохнет на руках, оденет их в коричневые перчатки. Хлопнув по второй щеке, он вытянул из тины сапоги и прыжками двинулся туда, где уже сошлись люди.

Среди лужайки, несущей, как плот, большую палатку, солдаты сидели на досках, раскиданных по влажной траве, на смятых в комья шинелях, а кто и стоя слушал, как, опустив голову, бубнил Колпаков:

Хорить над плавнями луна,  
Ночные птыцы ищут хнезды...

Город Белгород (Колпаков родился и жил рядом) недалеко от Украины, и, конечно, украинизмы живут в тех местах как дома. С нежностью Колпаков выговаривал «г», а мягкие знаки ставил где надо и не надо, по собственной душевной щедрости.

На вид он был щупленький, как Ася. Но на самом-то



деле крепкий. И кулаки, увесистые, как кувалды, не попад с обличьем, сразу вызвали уважение к себе. Руки его редко отдыхали, все шевелились, словно обдумывали работу.

Колпаков работал и на войне. Надо копать, носить, прибывать — нет лучше Колпакова, загляденье, как он носит, копает, прибывает. Надо резать вражью колючую проволоку — от минометчиков за полночь идет Колпаков, помогает другим. Потом, бывало, спросят дружки по расчету:

— Как, Герасим, проволока?

— Репьев на ней многовато. Зато на звезды полюбовался.

— Когда?

— Так на спине ж лежал-то. До утра. Мать моя, сколько ж это в небе звезд! И откуда? Не поверить!

— Загадка вселенной.

— Да уж.

Даже если вся работа сделана, и тогда Колпаков не ложился на боковую, а ладил курцам табакерки из снарядных гильз, для чего одну-две всегда таскал в своем вещмешке. Его хвалили, каясь, сколько времени у него отняли, а он радовался:

— Люблю художественную поделку.

Когда Зотов услышал от своего солдата эти слова, он проговорил с ним о том о сем больше часа, сказал наконец, что все же спать пора, и Колпаков согласился:

— Пора-то пора, да сна нету.

Давно уж Герасим не получал из дома писем, не знал, жива ли его семья. Под Белгородом, недавно вырванным у оккупантов, была такая танковая бойня, что в малых и больших окрестных речках оглушило, пожалуй, всех сомов, а в рощах — птиц. Куда уж людям... Теперь он писал домой все чаще и требовал у почтальона ответа, которого все не было.

Хлазеють на тебя со дна  
Упавшие в озера звезды...

Он тихонько читал, но все сидели еще тише. А смолкнет — что скажут? Стихи — это с тех самых звездных высот, но выносятся на суд людей. Хоть и высоки звезды, а люди выше. Им подавай... Да какие это стихи? «Самодетельность», как сказала Ася... Если отшелушить их от своеобразного колпаковского говора, звучали стихи так:

Горит над плавнями луна,  
Ночные птицы ищут гнезда,

Глазеют на тебя со дна  
Упавшие в озера звезды.  
Повис камыш над головой,  
И, неизвестно где кончаясь,  
То замирая, то качаясь,  
Стоит он вдоль передовой...

Тишина окружила Колпакова, будто и не было никого вокруг. Слушали? Еще бы! Это же все про них...

Тебе не спрятаться в окопе,  
Окопа нет, бредешь по топи,  
И ни могил, и ни следа,  
Одна вода, одна вода...

А теперь слышались голоса, полные удивления: «Эх ты!», «Точно!»

Сейчас согреться у костра бы,  
С сапог тяжелых счистив грязь,  
Чтоб под ладонями, как крабы,  
Краснели угли, шевелясь.  
Но тут бы закурить хотя бы...

То ли стихи оборвались неожиданно и все терпеливо ждали продолжения, то ли по другой какой причине долго тянулась тишина, казавшаяся безразличной, пока несколько голосов на болотной лужайке не осмелилось заговорить:

— Хочешь свернуть, Герасим? Сухой табачок, понравится.

— Да что у Герасима Кириллыча кисета нет, что ли?

— У него кисет железный.

— Хоть порох береги.

— А чего жалуется? Тут бы закурить бы!

— Чтоб тебе до кишок дошло, тюха.

— А-а-а...

— Так, — растерянно подвел итог Агеев, выходя на лужайку к Колпакову, и возле него тот и вовсе измельчал, как у башни. Однако не Колпаков, а великорослый Агеев смущенно откашлялся и только потом продолжал: — Это интересное стихотворение. Как из книги стихи, а ни в какой книге нет. Да... Написал наш Колпаков, прямо не верится! Не было у нас батальонного поэта, мы не знали, а теперь узнали. А?!

Ася вдруг крикнула:

— Спасибо, Колпаков!

Все оглянулись, ошарив от ее внезапного оживления не меньше, чем от колпаковских стихов.

— Похлопаем ему! — не унималась она.

Но захлопала она одна, а остальные засмеялись. И едва стихло веселье оттого, что отвыкли от такой простой вещи, как хлопать в ладоши, молодой голос потребовал у Колпакова:

— Еще, хоть штуку!

— А больше нету,— чуть слышно отозвался Колпаков.

— Ну тогда повторяй,— донеслось несговорчиво,— по второму кругу: «Тут бы закурить бы!»

— Хватить.

— Бери его в окружение, ребята, не выпускай!

— Но, но, но! — прозвучал бас Агеева.— Он перед вами душу выложил, а вы его за это — в окружение!

Свеженький солдат, совсем юноша, вскочил и крикнул:

— Чем вы были до того, как сочинять стихи?

— Спроси лучше, чем не был. Пастухом... кузнецом... печником... даже сапожником... Остановка на плотнике.

— После войны не думаешь сменить профессию, Колпак?

— Зачем?

— За стихи больше дают! Огребешь!

— Не для того их пишут,— отозвался Колпаков и, сутулясь, затопал с лужайки куда-то совсем прочь, где стояла другая палатка, спрятавшись за камышом. Тощая спина его скоро растворилась во тьме.

Агеев подошел к Асе:

— Чего размахалась? Не все сказала?

— У поэта имя должно быть... как колокол! А в батальоне его зовут Колпак!

— Так это пустяки. Псевдоним возьмет. Как колокол!

— Панкова! — деликатно позвал из тьмы Марасул.

— Ау!

— Не аукайся, а беги! Живо, пожалуйста. Капитан зовет!

#### 4

Она выпуталась из марли и в палатке остановилась у самого входа, на полшага сбоку. Эти полшага в сторону автоматически сделала, стараясь, как всегда, не мешать никому. Но даже Марасул не возвращался. А комбат сидел на раскладном, вроде бы из негнувшегося брезента трофейном стуле, спиной к ней. Он только что вытер и спрятал в ящик бриту, к которой относился с нежностью, и оглянулся.

Был он бледен, несмотря на лампочку, алая густота которой лежала как бы отдельно от его щек. Может быть, ее отпугивал бронебойный запах тройного одеколона?

— Ехать надо,— сказала Ася,— пока не поздно. В госпиталь.

— Придумала! Короче, я не слышал!

— А я и температуру мерила.

— Не ври,— устало отмахнулся он.— До рассвета я по дамбе лазил, а после дрых весь день. Она мерила! Когда?

— Вы меня еще мамой Полей называли. Вон и термометр.

Он схватил градусник с табуретки и рывком стряхнул.

— Два года не был в госпитале. Не морочь мне голову!

— Кричите, точно я виновата.

— А кто виноват? Дохлый комар?

— Живой.

— Докажу тебе, что здоров! — весело сказал он.

Она подумала: «Сейчас вцепится в плечи, крутанет и, как всегда, вопьется в губы, растегнет пуговку на гимнастерке». И уперлась ладонью в его неохватную грудь.

— Что такое? — неожиданно мирно спросил он.

— Хотите умереть со мной на топчане?

— Нет, что такое? Вы, вы! Кроме нас, никого не вижу. Что такое? — потешался он, и горячие толчки его дыхания обдавали ее лицо.

— Укушу! — пригрозила она.— У меня, между прочим, пистолет!

— Ух ты!

— Закричу сейчас,— догадалась она о том, что действительно ему было совсем ни к чему.

И он толкнул ее на брезентовый стул, а сам, не устояв на ногах, с размаху плюхнулся на край топчана.

— Ладно,— в безнадежной слабости сказал он.

— Я сама вас отвезу, хотите? — с неожиданной лаской предложила она.— Недели через две вернетесь.

— А плавни уже будут пустые!

— Правда?

— Пока только чувствую.

— А-а-а... Но вы до этого свалитесь и не встанете. Знаете, что у нас творится.

Плавни доканывали батальон. Ноги у солдат покрывались нарывами, сапога не натянешь. А натянешь — не закроешь этих гнойных бугров. Они выскакивали на боках,

под мышками, на шее... Больных отсюда отправляли не реже, чем раненых.

— Ты меня со всеми не равняй, Асенька... Я быстрый, даже болею быстро. Завтра уже буду на ногах.

— Хоть плачь, хоть смейся! У нас одна соседка во дворе так говорила.

— Где у вас?

— В Таганроге. У меня и мама там.

— Кто же увез тебя от мамы? Храбрый воин?

— Нет.

— А как было?

— Из нашей школы ансамбль на уборку хлеба отправили. Ездили мы с охотой, пели, танцевали.

— Понятно.

— Тем летом, как раз в уборку, немцы повалили на Сталинград. В Таганрог мы уже не возвратились.

— Короче, бабочки, без дыма спаленные.

— Хоть плачь, хоть смейся!

— Но мы с тобой еще спляшем! Только... тут... плясать негде. Твердой земли нет! Как выйдем на твердую землю, так и сразу... Это я тебе обещаю, Ася. Пыль встанет. Я давно уж не видел пыли.

— А Колпак сейчас об этом стихи читал,— задумчиво сказала Ася.— «И ни могил, и ни следа, одна вода, одна вода...»

— Откуда это он такие стихи выкопал?

— Сам сочинил. А политрук Агеев собрал солдат послушать.

— Разыгрываешь? Все с ума посходили! На час заболеть нельзя, а ты — уехать. Нет тут места для стихов!

— А какое им место нужно, Марат? Кроме сердца? Никакого.

— Хм!

— Странно видеть цыгана, не любящего стихи. Не поверить, как говорит Колпак. Цыгане поют. А где песни, там стихи.

— Я нынче по национальности комбат. Понятно? На войне одно годится — стрелять. Понятно? Вот и все стихи. А поэтишков надо давить. Как комаров.

— А мне понравилось.

— Тогда и тебя давить! — Романенко развел руками.— Потому что стихи, любовь, все, что мешает войне,— это разврат, Ася. Уж поверь мне! Понятно?

Легко ему жить! Все понятно. И сразу.

— А у меня — урожай, — назло ему сказала Ася. — Стихи — по душе. И перед этим один человек в любви признался.

Она похвалилась тихонько и обомлела. Романенко выпустил длинную струйку воздуха сквозь стиснутые толстые губы, точно засвистел. Пиявки его бровей сползли к переносью.

— Расстрелять Агеева! Куда он смотрит?

А сам вглядывался в ее лицо — другое, неузнаваемое, изменившееся. Ее глаза смотрели на него с превосходством, и, без того большие, они стали еще больше от переполненности светом, от какого-то неограниченного простора в них. Их затопляло помидорное свечение лампы, под которой Ася сидела, но неистребимая голубизна трогательно оживших глаз проступала даже сквозь него: оно было подделкой, свечением от аккумулятора, а из глаз ее свет вырывался, как дух. И этот свет обрисовал вдруг все, на что раньше не хватало внимания: тонкие ноздри маленького носа, выточенные ушки, еще не знавшие сережек, поэтому казавшиеся беззащитно детскими в своей оголенности — двух-трех заколок хватило на мальчишески короткие волосы. На ее бесцветных, будто бы вылинявших щеках впервые улеглись пятнышки румянца. Ну это уж от лампочки, конечно...

— А если и я тебя люблю?

Он опять встал и протянул к ней руки.

— Не прикидывайся.

— Я всегда молчал, Ася, потому что... лучше молчать. Отвоюемся, тогда и будем любить, рожать детей...

— У тебя есть сын.

— Так поэтому...

— Поэтому я тебе, может, завидую! — перебила Ася. Он медленно и осторожно вздохнул, садясь.

— Кошмар, какие у тебя глазищи! Цыганские, я думаю, по величине. Я уж не помню, правда...

— А что ты помнишь из цыганской жизни? — спросила она.

— Разве как колеса скрипят. У каждой телеги — свой голос. В общем, цыганский хор на дороге.

— Мне одна цыганка гадала: «Дай руку, красавица».

— Не ошиблась.

— Напророчила, что счастливая буду.

— Тоже не соврала. Жива, любима! Чего тебе еще?

— Ты даже не спрашиваешь, что я услышала... И от кого. Почему ты не спрашиваешь?

— У меня с солдатами и командирами чистые отношения.

— Только пусть ведут себя как положено?

— Ха-ха!

Волосы его раскинулись как крылья коршуна. Красные глаза выкатывались из-под толстых бровей.

— Оскорбить цыгана — смертельное дело, — благодушно сказал он, и тут на щелястом столе зазуммерил телефон.

Раньше чем комбат поднялся с топчана, из коридора вынырнул и, оценивающе поворачивая головой, втиснулся в палатку еще один великорослый солдат, дежурный связист. Как его только выдерживали зыбкие здешние «сушки», никому не ведомо. Меж тем связист уже гаркал в трубку:

— Я — «Фиалка»! Слушаю, «Сирень». «Фиалка» слушает!

Над бессмертной, никогда за всю историю земли не просыхавшей грязью порхали самые цветущие позывные. Комбат стоял на ногах и уже тянул руку за трубкой. «Сирень» — это полк.

— Слушаю. Здравствуйте... Одобряете? Есть! На сто процентов, командир у них дельный... Я его еще на Протоке хотел к ордену... Как чувствую себя? Я всегда себя прекрасно чувствую. Есть! — еще раз отозвался он, и Ася поняла, что он говорил с «первым», с командиром полка, и, судя по его подчеркнутой подобранности, по чеканности кратких ответов, о чем-то важном, потом вернул трубку связисту, постоял невидяще, глазами был уже где-то в другом месте.

А когда связист, спросив разрешения, ушел, Романенко погрозил Асе:

— Ни бойцам, ни офицерам, ни генералам, ни маршалам... короче — никому...

— Что?

— Ни слова об этом комаре. Ступай! — И прибавил, когда она была уже у выхода: — Лейтенанта Зотова ко мне!

— Зачем? — спросила она.

Он достал из ящика стола планшет, раскинул, открыв схему района, проглядывающую цветными линиями, зубцами, кружочками сквозь желтую слюду, и выпрямился.

— Рядовой Панкова! Меня не спрашивают зачем. Лей-

тенанта... Пстой! Это Зотов? Он давно на тебя посматривает. Еще с Протоки. Влюбился, значит?

— Ну и что?

— А может, и ты его любишь?

— Ну и что?

— А я вот сейчас скажу Зотову про тебя!

— Ну и что?

— Сюда его!

— Есть!

Ему бы склониться к планшету, а глаза все еще сурово следили за Асей, и ей вдруг стало жалко комбата по самому простому и безошибочному поводу: он болен. Но это была бесполезная жалость, когда помочь совершенно нечем, потому что самую понятную помощь он воспримет как предательство, а она не могла никого предать. Оставалось надеяться, что комбат сам отобьется от малярии и зловредный комар как бы отлетит от него хоть на время. Другие воли вступали в дело.

— Марасулов! — крикнул комбат, но не дождался ответа.— Увидишь — сюда. Или нет. Агеева ко мне, сейчас же.

— Агеев уже здесь,— послышался из глубины коридора знакомый голос.— Что за срочность?

— Садись, скажу,— предложил Романенко, когда Ася оставила их, и новая охалка лягушачьих голосов ворвалась в палатку.— Идея наша — моя и Зотова, вернее, Зотова и моя — создать плавающую минометную батарею — поддержана. Что это значит?

— Будем делать минометную батарею на плотях.

— Не понял, Саня,— с досадой сказал комбат.— Не для того мы будем делать батарею, чтобы прятаться. Нет! Сделаем — и сразу в серьезный бой! Короче, сегодня сделали, а завтра...

— Наконец-то!

— Дошло! И чтоб никто не пронюхал про нашу батарею заранее, чтоб, как это говорится, и комар носа не подточил! Собирай солдат, Саня, и пусть распевают песни, как от нечего делать, а Колпак им стихи читает. Пусть!

— Зря смеешься. Он, по-моему, сильный поэт.

— Верю. Короче, со стихами ясно. А вот сейчас придет Зотов... Я обещал ему, что в бою у него будет лодка для подвозки мин к плотам. А лодки нет!

— Слышал в политотделе разговор: лодки привезут чуть ли не из Краснодара! Попроси!



— Не дадут нам!

— Почему?

— Потому что и плавни, Саня, разные. Есть большие «сушки», почти земля. С тропами, почти дорогами. А есть одно болото. А есть и вода, это у нас. Камыши немец выжег, потопит на воде, как мальчишек. Я просил, а мне говорят: вы уже три плоскодонки потеряли! Бесперспективные мы. Из плавней нас вытаскивать будут после всех. Сиди и жди, короче. Я еще попрошу, конечно, но...

— На бога надейся, а сам не плошай?

— Точно. Рябинин был моим богом, Саня! Имел задание — взять у немца лодку. Разыскал лодочную стоянку в большом лимане за их дамбой, там есть заводь, и там... А где Рябинин? В госпитале! Малярия!

— Лодка будет.

— Кто поведет разведчиков? Командиров в обрез, и у каждого свое дело.

— Есть один бездельник. Я.

— Саня!

— На политрабату я пришел из разведки...

— Санечка! Но...

— Что тебе сейчас нужней всего? Лодка. Это и есть политработа. Короче, сколько времени даешь?

— Зотов поедет в станицу за бревнами для плотов на три дня. Значит, вот и весь запас у разведчиков. Но, Саня!

— Не спорь.

Романенко помолчал и вдруг, шмыгнув носом, поднял голову со смеющимися глазами.

— Знаешь, как закончим эту кампанию, я тебе бурку подарю. Мне Гогоберидзе обещал, но... Есть же ведь еще у нас грузины в батальоне, будет и бурка. Выйдем на эту косу у Черного моря, ее почему-то Чушкой величают... Ты видел Черное море?

— Нет.

— Красивое. И я подарю тебе бурку!

— Да зачем она мне?

— Как зачем? Сфотографируешься! И пошлешь фото в бурке и кубанке... Есть кому послать?

— Лучше выполни одну мою просьбу.

— Хоть десять! Короче.

— Оставь Асю. У нее появился парень.

Романенко задергал верхней губой, с которой час назад сбрил наметку черных усов, Агеев же не спускал с него глаз, но так и не услышал в ответ ни слова. Лейтенант

Зотов, появившись в коридоре, спросил из-за его спины разрешения войти.

— Подождите на улице! Пожалуйста,— поспешно попросил Агеев.— Я позову.

Шаги Зотова, которые они прозевали за разговором, а теперь слушали, пропали в лягушачьем хоре, и комбат принялся за самокрутку, а замполит вполголоса сказал:

— Они молодые, Ася и тот парень. Не то что мы! Это настоящее... Может быть...

— Давай заниматься делом! — рассерженно перехватил комбат.— А это личное!

— Значит, не дело?

— Личное.

— И важное.

— Времени нет.

— Времени у нас хватит, ночь впереди. Вы же не думаете посылать нас без промедления.— В такие минуты он переходил на «вы», чтобы держать себя в руках.

— Зотова пошлю сейчас же,— сказал Романенко.— Ни секунды не теряя...

И так настойчиво вперился в Агеева, что тот добавил:

— Не спрашивайте меня, что за парень с Асей рядышком сидит и боится ее за руку взять. Хороший парень, а кто — не скажу. Да это и не имеет значения.

— Я и не спрашиваю,— проговорил комбат равнодушным голосом.— Это Зотов.

— Ну и знайте.— И Агеев тоже потянулся за табачком.

Комбат неподдельно расхохотался, пока Агеев, повысив голос, не остановил его:

— Совесть-то твоя где?

— Надоел ты мне,— горестно пожаловался Романенко.

— Оставь Асю. Потом будешь...

— Вспоминать тебя добром?

— Зачем меня? Себя самого. А у меня еще вопрос. Сколько разведчиков пошлешь со мной?

— Хоть весь разведвзвод!

— Дай мне двух, понадежнее.

— Не мало?

— Большой группой в таком тылу действовать тяжелее. Так кого брать?

— Пышкина. Он с Рябининым там был, дорогу помнит. И второй — Марасулов. Нечего ему здесь томиться. Кипяток из чайника глотает от тоски. Все немецкие мины знает,

как наши ходики. С любым сюрпризом справится, сделает проход. Пышкин и Марасулов. Эти не оставят.

— Разрешите идти, товарищ капитан?

— Слушай, нельзя ли попроще, Саня?

— Без задней мысли спросил, как спросил бы тебя Рябинин.

Романенко тоже встал, и вдруг они обнялись, до боли притиснувшись грудью, нечаянно сцепившись ремнями от портупей, и похлопали друг друга по плечам. Завтра разведгруппа уйдет, и при других командирах и солдатах не очень-то пообнимаешься...

Назавтра, к вечеру, провожая разведчиков, Романенко вдруг сдернул с Агеева косматую кубанку и надвинул на него свою пилотку, заметно великоватую. Ничего, закроет уши от комаров и для маскировки удобнее.

Сутки Марат не сходил с дамбы, каждую минуту готовый поддержать разведчиков огнем. Сам слушал и других, не стесняясь, спрашивал: ничего не слышно? Меняя дежурных, буквально ни на минуту не оставлял пулеметы без стреляющих. Но «стреляющие» не стреляли.

Среди новой ночи, после луны, когда она закатилась за камыши, где-то далеко, за вражеской дамбой, простучали очереди. Быстрые и короткие. На нашей дамбе все дежурные мигом приготовились. Но там, в далекой перестрелке, наступил нескончаемый перерыв. Нет, не очень-то нескончаемый... Вот очереди еще короче и поспешней. Потом заладил тяжелый пулемет, долго колотил в ночь.

До рассвета напряженно всматривались в даль, словно пытаюсь глазами пробуравить болотную тьмищу. Марат знал, что, захватив лодку (если удалось!), разведчики, чтобы обмануть немца, могли еще глубже уйти в его тыл, скрыться, там хватало для этого проток, заросших вроде нехоженых троп, и заводей с камышами. Агеев сказал: схоронимся на сутки, есть где.

И еще ночь. Какая тихая и бесконечная, с ума сойти! Лишь на зорьке, на мокрой, смердной, но все же зорьке, коснувшейся розовым светом тумана над водой, с противоположного берега ударили кинжалы пулеметов и автоматов, безнадежно пытаюсь вспороть туманное одеяло над разливом.

Ухо уловило растущий стрекот лодочного мотора. Агеев идет! Моторку взяли! И сердце заколотилось чаще. Обещал,

будет лодка, и еще не видно, а уж слышно: идет. К пулеметному огню немец добавил мины. И все туда же — по лодке.

Из центра и с флангов нашей дамбы, прикрывая невидимых разведчиков и отвлекая на себя вражеский огонь, вовсю заработали пулеметы. Минометчики тоже обстреливали своих противников и разделили их: вражеские мины полетели и в разлив, и над нашей дамбой, в глубь камышей, а наши мины вдруг тревожно оборвали свой трепещущий клекот. Нет, вот он, вот они! Меняли позицию, значит. Зотов понаделал множество позиций, чтобы путать немца. Да тут долго с одной и не постреляешь, осядет, заглохнет. Командир первого взвода, которого он оставил на эти дни за себя, стрелял уверенно и расторопно, а ведь был совсем мальчишкой с виду, щуплым и писклявым. Все они, эти молодые минометчики, постепенно заменившие «стариков», были похожи на мальчишек. А дело знали...

Когда наши минометы снова замолкли, «переползая» на другие «сушки», из тумана показалась лодка. Одна. Что за черт! В ней не было видно ни души. Лодка приближалась, выбираясь из белых облаков, засвеченных зарей.

Наши минометы вновь ожили, создавая огневую завесу, и Марат заклинал лодку прибавить скорости, но она шла все так же ровно, и так же ровно трещал ее мотор, как будто ничего ее не касалось. Она шла, как пустая, сама по себе.

Едва она, не сбавляя ходу, вонзилась в нашу дамбу и мотор забурлил, превратив только что тихую воду в пену, а пену смешав с туманом, Марат, не первый раз забыв об опасности, прыгнул в лодку. Слава богу, сказала бы мама Поля, побегал на моторках по Днепру, без труда справился с подвесным мотором на этой железной посудинке, аккуратно покрытой зеленой краской, и, сопровождаемый каруселью пуль, завел ее за дамбу.

В лодке на спине, ногами вперед, лежал Пышкин. Его круглая щека была глубоко рассечена осколком мины, который пробил один борт и упал у другого. В двух местах гимнастерка намочила от крови. Пышкин чуть дышал...

Военфельдшер, прибежавший со своей укладкой в деревянном чемоданчике, сделал Пышкину два укола, вырезал куски гимнастерки, вытер кровь, стал щедро мазать йодом и бинтовать. Комбат просил, а потом и кричал, чтобы разведчика вернули в сознание, хоть на миг, чтоб узнать: где Агеев?

Военфельдшер приминал свои нелепо топорщившиеся усы к щекам, будто вытирал о них кровавые пальцы.

— Его надо в медсанбат. Срочно.

Комбат заплакал. Потом ему сказали, что из его глаз катились слезы. А самому помнилось, что кричал:

— Но я должен узнать про Агеева! И Марасула! Где они? Этого никто не скажет, кроме Пышкина!

И вдруг оба увидели, что Пышкин открыл свои кукольные глаза, ясные, как у проснувшегося ребенка.

— Можешь говорить? — спросил комбат.

Пышкин долго набирал воздух, а выдохнул враз, будто сказал: да.

— Где Агеев? Убит? Ты сам видел?

Пышкин опять вздохнул и завозился. Военфельдшер помог раненому, и тогда оба увидели пилотку, заткнутую в штаны. Марат сразу узнал ее. Это была его пилотка. Она, значит, осталась на воде, и Пышкин подобрал ее. Он взял и помял ее в руках...

— Говорил что-нибудь Агеев? Ну, вспомни!

Пышкин опять медленно набрал в себя воздух и, превозмогая боль в щеке, пробормотал странные агеевские слова:

— Какая красотища... Жить нельзя, а любоваться есть чем...

Романенко ушел с пилоткой в руках. Где-то остановился и сдавил зубы так, что в ушах заныло. Вернулся чуть ли не бегом и спросил фельдшера:

— Кого пошлете сопровождать раненого?

— Санитара Малахова.

— Нет. Панкову.

— Дорога такая... Не справится.

— Она? Заготовьте требование, пусть получит перевязочные средства. На это прибавьте ей время. А вернется с минометчиками... Понятно?

Под его свирепым взглядом военфельдшер больше не решился возражать.

Шагая к штабу, комбат снова остановился по колено в грязи, разгреб камыш и невольно подумал: «Где тут красотища? Какая? Чем любоваться?» Ничего, кроме гнева, не вызывало это гиблое место в его сердце. Сквозь камыш мимо пробежала Ася. Остановить ее? Нет. Поздно. Вот и Аси нет... С кем же он остался?

И совсем нечаянно, из каких-то глубин, пришел облик маленького человечка. Его сына. «После войны привезу

мальчишку в плавни. Вдвоем подплывем на лодке к какой-нибудь «сушке», походим и отыщем старые гильзы... А что еще? Больше ничего не найдешь...»

5

Военфельдшер отпустил усы, чтобы занять хоть что-то от бравой военной стати. Выросли усы страшные, с двумя неполошными пучками на концах. Больше всего они походили на венники, сомкнутые ручками под вислым носом.

Объяснив Асе, в чем дело, Веник — такая уж была у фельдшера кличка — предупредил, что Пышкин очень плох, но ничего не поделаешь. Приказ комбата, чтобы Ася сопровождала раненого. Вернуться Асе с минометчиками.

— Где я их разыщу?

— Комбат сказал: двор слепого старика.

Выдирая ноги из грязи, как будто в ней был магнит для подметок, Ася на первом же километре догадалась, что послал ее в станицу, к Зотову, не комбат, а Агеев. Последний в его жизни приказ. Ему, наверное, померещилось что-то хорошее, чего и быть не может...

Она все скажет этому свихнувшемуся лейтенанту.

Когда она стала рассказывать Романенко, как попала в армию, тот, не дослушав, сказал: «Понятно». А не так-то все было просто, чтобы сразу понять. Она и сама не понимала, что и как случилось в то лето.

Пыль, висевшая тучами за отходившими войсками, не успевала осесть на землю, как ее снова взвихривали колеса, и она снова взлетала. Все, что когда-то было зеленым, как лист на дереве, бордовым, как черепица, голубым, как небо или тихий пруд, желтым и ярким, как солнце или пшеница, становилось от пыли одноцветным.

Ася видела, как из одной машины направо и налево сбрасывали ящики со снарядами, чтобы укатить быстрее. Боец, едва увернувшийся от ящика, посмотрев на длинные и тонкие снаряды, придавившие пыльную пшеницу, сказал:

— Зенитные.

Видела, как сидели на обочине боец и генерал с небритыми щеками. Боец безмолвно грыз соломинку, а генерал безмолвно предлагал ему недокуренную папиросу.

Разгоняя мрак ночи, где-то в полнеба полыхали железнодорожные станции, склады, забитые грузами, нужными для войны, элеваторы со свежим зерном, товарные вагоны

и цистерны на путях. Вот так и было: днем вокруг темноло от пыли, а ночью светлело от разлитого пламени.

Их ансамбль дышал той же горячей пылью, что и войска, и удалялся от родного города по той же дороге, и многие вокруг них при остановках у не выдержавших неожиданной ноши войны мостов удивлялись, что это за ватага девчат и парней шагает, плетется, тащится с аккордеоном, гитарами, мандолинами и небольшим барабаном. Куда? Никуда. Их кормили кашей из армейских концентратов, реже брали на грузовики — только девочек, сколько могли втиснуть. Но ребята поклялись не расставаться — в знак дружбы или от страха — и не сказать.

Иногда их просили спеть. И они пели, и играли на своих пыльных гитарах, и били в свой барабан, из которого при каждом ударе неистощимо вылетала пыль.

Их захватил поток, движущийся к Кавказу. Начинались просторы, будто бы выметенные ветрами, как небо, казавшиеся им не только далекими, но и пустыми, и тогда страх и усталость, точно ждавшие этой минуты, а может быть, убийственная разумность победили, и пришел день разлуки для школьных друзей. Сначала мальчики объявили, что уходят в армию. Где-то они сейчас? А девчат подобрал кто смог: авиаторы, штабники, журналист с полуторки какой-то редакции, от перегруза хромавшей на все четыре колеса, госпиталь.

Еще издали Кавказ забелел вершинами. Приближаясь, они теряли блеск, из этого блеска все резче выступали очертания хребта. Отстал Пятигорск, где гениального юношу Лермонтова убил ничтожный Мартынов, и не успела память перебрать строки из «Мцыри», как загремел Терек.

Начальник госпиталя, в котором очутилась Ася, был величавым, как кавказская вершина со снежной главой. Сначала подумалось, как же такого старого призвали на войну, а потом оказалось, что ему сорок, и это будто немного. В тот вечер, когда начальник вызвал Асю к себе, он расспрашивал о многом, а отвечал на ее робкие вопросы односложно: «Обучим», «Оденем», «Дадим». Уходя, он за чем-то поддел Асю под нос грубым пальцем, как делают, когда подбадривают маленьких. И велел ложиться спать. Часа полтора она просидела, как пойманная, в этой комнате бывшей осетинской больницы. Вспоминать об этом сейчас было страшнее, чем сидеть и ждать тогда. Ни о чем она не думала, только горько и грустно, как бы прощаясь, воскре-

шала в памяти свой Таганрог, песок на приморском берегу, осенние купания, за которые всегда влетало от мамы...

Сначала оторвало от дома, потом от школьных товарищей, она до смерти боялась потерять крышу, приютившую ее. Сейчас, вспоминая, понимала, что смалодушничала тогда, но тогда не думала, что наступит это сейчас. И знать не знала, что где-то на земле живет лейтенант Зотов...

Вернувшись, начальник госпиталя спросил:

— Все сидишь? — и погладил ее по голове.

Она стянула и повесила на стул юбочку...

Среди ночи он много курил, а у нее мокрели глаза, и он отмахивал от нее дым. Потом повернулся к стене и уснул, а она еще долго промокала глаза углом простыни и дышала как можно тише, чтобы не разбудить его.

После нескольких месяцев переставшей быть страшной, а только трудной жизни, когда им без остановок возили из долин раненых, в новогоднюю ночь вслед за войсками, перешедшими в наступление, госпиталь двинулся вперед. В ее палату попал один штабист, ну, бывают же такие, добрые глаза, доброе лицо, она не выдержала, заговорила, и он понял все-все, хотя она, кажется, и не намекала на свои горести. Хочу, дескать, в действующую часть, чтоб война — так война... Он пообещал устроить перевод. Где это было?

Ее встряхнул Георгиевск, приземистый городок, показавшийся ей больше деревянным, чем каменным. Гитлеровцы набили дровяные сараи городка бутылками, на этикетках которых по-русски красовалось: «Спирт». Жители пили сами и угощали воинов-освободителей, а через два-три дня сотни некрашенных гробов повезли к кладбищу Георгиевска. Спирт был метиловый, древесный, не спирт, а яд.

Под январским снегом, негустым в здешних краях, у госпиталя вытянулась очередь людей, терявших зрение. И все от того же зелья, выпитого на радостях.

Что она вдруг поняла, столкнувшись с ними? Что нельзя опускать руки в какой угодно беде? Что, если можешь помочь другим, и себе помоги? Что если погибать, так уж не зря? А может, ничего отчетливого и не было, а вот очнулась — и все, потому что удары людского горя непременно будят других? И штабист не забыл о ней.

Провожая Асю, начальник госпиталя пригласил свою седую шевелюру и негромко сказал:

— Ну, не поминай лихом... Хотя куда тебе от этого деться?



В весенних разливах грязи за Краснодаром Ася отыскала батальон и доложила о прибытии.

— Из госпитальной тишины на передний край? Ох, какая лихая! Это мне по душе! — приветствовал ее комбат. Так она и попала из огня да в полымя.

Она все скажет Зотову сама. С любовью надо быть чистой. И прости-прощай эта любовь, которой она не просила и не ждала.

До крупной «сушки», где разместился штаб полка, полоска дороги в камышах была месивом из воды и грязи. По этой полоске, чмокая сапогами, двое солдат тащили носилки с Пышкиным, и тот не открывал глаз, снова был без сознания, но дышал. Ася часто проверяла, догоняя носилки, вытирала Пышкину лоб и мячики побледневших щек, из которых одна была кроваво рассечена. Однажды она сделала Пышкину укол кофеина, как велел военфельдшер, когда показалось, что сердце у раненого остановилось, не вынеся этой дороги, по которой даже кухни сюда не добились.

Поначалу, еще весной, три грузовика, спутав плавни с распутицей, ринулись вперед напропалую, но превратились, и то ненадолго, лишь в площадки для передышки, где можно было посидеть подносчикам, взвалившим на свои горбы боезапас и термосы с едой. Какое-то время проторчали под солнцем три кузова с откинутыми бортами, так опустившись в топь, что и залезать не надо, просто присаживайся и кури, но после первого же майского ливня не стало видно ни кузовов, ни даже крыш кабин. И подносчики устраивали короткие перекуры на ходу.

Солдаты тащили Пышкина, не отдыхая.

В районе полкового медпункта Асю ждала подвода. Стало меньше не только гнилых испарений, в которых таяла земля, но даже и комаров, различных теперь поодиночке. А ведь там они отовсюду сыпались на тебя крупой. На ветру, не процеженном камышами, даже высохла гимнастерка. А там, в плавнях, одежда, напитавшаяся парами, сухой не бывала.

В станицу, казалось, въедут, едва отгорит закат, но прибыли далеко за полночь, на отвердевшей дороге ездовой удерживал коней от торопливого шага: берег Пышкина. Сдала его Ася в медсанбат живого, он стонал, когда снимали с подводы, но ни слова так и не сказал. Романенко через военфельдшера передал Асе, чтобы расспросила об Агееве и Марасуле. Кого? И как?

Асе скорее захотелось увидеть Зотова, и она сказала ездовому:

— Теперь можно и подогнуть!

Двор слепого старика она знала, там жил комбат в сарайчике, затиснутом в угол и полным запаха здешних луговых цветов, лезущего во все щели. Она отыскала двор по кровати спинке, заменявшей калитку. Ни дома, ни сарайчика не было — все сгорело, Ася поняла это, когда прошлась по золе. Слепого старика тоже не было. Но из темноты вдруг спросил голос, прозвучавший с соседнего крыльца:

— Кто там шастает?

И хотя голос звучал ворчливо, будто сонный хуторянин выбрался на ступени, Ася сразу узнала его и откликнулась:

— Это я, Лаврухин!

И голос тотчас стал ласковым:

— Панкова! Здорово! — И уже подходя, поинтересовался: — Что у нас там нового?

— Агеева убили.

— Ё-моё!

— И Марасула.

— Вместе? Где?

— В разведке.

— Хоть бы уж скорее твердая земля...

— Будто там убивать не будут!

— А все же! Проводить к нашим?

— Нет! — вдруг запротестовала Ася. — Помоги ездовому, чтобы в канаву не завернул. И заведи его с собой. А я тут переночую, во дворе, на подводе. Жарко.

— Тепло, конечно, — согласился Лаврухин.

— А где они?

— Лейтенант?

— Нет, все. В доме?

— Тут их нет. Наши дальше. А я бревна караулю, вон, на золе. Заготовили. Завтра шабашим.

Почему же она отказалась от немедленной встречи с Зотовым? Свернувшись калачиком под плащ-палаткой и уложив под голову ватник, который принес ей заботливый Лаврухин, она долго не могла объяснить чувства, похожего на испуг, хотя потом поняла: ближе встреча, ближе и разлука, встреча — на минуты, а разлука — навсегда, вот и не торопилась. Понять нетрудно, если упростить. Надо все безжалостно и бесстрашно упрощать.

Недавно укоряла про себя комбата за то, что он часто и

быстро говорит: «Понятно». А он и прав. Все проще, чем мы выдумываем. Какая еще любовь? Откуда он ее взял, этот мальчик? Ася и правда чувствовала себя старше Зотова и уже понимала, что на свете все проще. Думая так, Ася становилась сильнее, ближе к привычной отрешенности от немислимых и ненужных забот, от всего, что мешало делать свое дело, есть и спать. В госпитале, а потом и на земле, называемой полем боя, Асю учили за всем видеть жизнь, пахнущую теплом, хлебом и обязательно радостями. И за последними глотками воздуха, который втягивали в себя раненые, умирая на ее руках, и за обугленным камнем домов, от многих из которых остались лишь печные трубы, покрытые языками копоти, и за обгорелыми вишнями, которые когда-то цвели невинными белыми лепестками.

Эта жизнь была лишь в воображении, а воображение уставало, как устала сегодня она сама.

## 6

Разбудила Асю заря, которая на стыке воды со степью была голубей, чем всюду.

Ася сама взнуздала коней, чему весело научилась девчонкой во время поездок с песнями на уборочную, и пустила своих отдохнувших сивок чуть ли не галопом по станичным улицам. Через полчаса подвода была завалена лекарствами, пакетами и бинтами в мешках. Неожиданно ее охватила злость на самое себя. Она делала все, чтобы оттянуть встречу с Зотовым, а ничего не могла сделать. Деваться некуда. А если не встречаться, и все? Да, не встречаться! Поехала!

— Куда спешишь? — спросил Лаврухин, когда она попросила разбудить ездового.

— Домой.

— Одну не пустим. Не! Вдруг застрянешь и будешь маяться, пока помогут. С нами поедешь.

— У меня ездовой!

— Дай ему поспать. И коней не гоняй. Наши далеконько, но не так уж, чтоб ехать. Сейчас попросим посмотреть за твоим грузом и — шагом арш!

Если бы не Лаврухин, она и впрямь уехала бы. Ни за что не пришла бы сюда. Почерневшие стены дома, на котором, видно, когда-то густо селились птицы, едва держались, а крыши не было вовсе. Поэтому и гнезда, прилепившиеся к верхним бревнам стен, обнажились. На задворках коси-

лась сараюшка, точь-в-точь как у слепого старика. И возле сараюшки странное дерево, словно запакованное в сухую корку с трещинками, тем не менее развесило вокруг себя пучки мелких листьев.

— Там,— показал Лаврухин.

Всю дорогу она пыталась вызвать в себе ненависть к этому лейтенанту — за ложь, за неуместную правду, чтобы найти хоть какую-то опору, определить свое отношение к нему, но пришла еще больше растерянной. Тронула и рванула дверь сараюшки. Думалось, как все косые двери, и эта отойдет лишь чуточку, а она вся распахнулась и оставила Асю у порожка высвеченной утренним солнцем. Зотов, протиравший лохматой тряпкой сапоги, распрямылся и ахнул, вернее, глаза его ахнули.

Он считал себя человеком, принимающим решения один раз, и не вслушивался в разговоры, возникавшие иногда, но краем уха невольно улавливал что-то об Асе и комбате. Много о Романенко говорить не рисковали. Но и это казалось ему сплетнями, выдумкой. Почему? Наверно, потому, что так было легче.

Мама ему сказала как-то перед выпускным вечером в школе:

— Ну вот, Паша, ты выходишь в жизнь.

— Помолись за меня. Ты ведь, как все мамы, беспокоишься: как-то она встретит твоего сыночка, эта самая жизнь, которую взрослые слишком часто называют проклятой.

— Не смейся,— попросила мама.— Приготовься к тому, Паша, что далеко не все будет так, как представляется.

— А как?

— Труднее. Жизнь обманет не раз. И не раз будет доводить тебя до отчаяния. Но это вовсе не обман.

— А что?

— Жизнь.

Может быть, он не хотел верить в разные слова об Асе и Романенко потому, что ставил его себе в пример и даже восхищался им? А может быть, ты все еще мальчишка, Павел Зотов? Вдруг Ася сама сказала о комбате, и тогда созрело решение: «Прощай, Ася!» Это было самое страшное — живому человеку сказать: «Прощай!»

И вот распахивается дверь, и у порожка стоит Ася. И какое-то время он молчит остолбенело, а потом улыбается, как самый счастливый человек на этой земле, и шепчет:

— Ася!

Рука его потянулась к шее и застегнула пуговку на воротничке. «Ну,— неожиданно и насмешливо подумала Ася,— проблеял и — ни с места. Подошел бы да поцеловал. И не надо слов». Наконец сама ответила, у нее выходило в таких случаях браво:

— Я накоротко! Что это вы — отдельно и в таком «дворце»?!

— Да солдаты пожалели! Не переносу храпа!

— Демобилизовать! — прыснула Ася.

— Что там у нас?

Она рассказала про разведку.

— Добыли вам лодку, а сами...

Он вспоминал Агеева, его спину в ремнях, его слова: «Когда в последний раз вы слушали стихи?»

— Жаль.

— Всех не пережалеешь,— сказала Ася и повторила: — Не пережалеешь всех!

— Ася! — спросил он.— Что с тобой? Ася!

— Я сейчас уеду.

— Поедем вместе. Приказ будет такой...

— А чего это вы мне приказываете?

— Как старший по званию.

Он велел ей отдыхать.

— А я отправлюсь по делам.— И растолковал, что сегодня должны закончить заготовку и подготовку бревен. ровно к пятнадцати ноль-ноль.

— Какая точность! — съехидничала Ася.

— Так артисты же!

Оказывается, к пятнадцати ноль-ноль настоящие артисты прикатят в станицу, чтобы выступить перед ее гарнизоном. Выступление будет в бывшем колхозном саду, где деревья в оципанной зелени росли через пятое на десятое: половину их немцы порубили зимой на дрова. В саду уже сколотили помост, вчера весь день стучали молотки.

— Артисты-то откуда?

— Из Москвы!

— Не ври!

Он поклялся. И она ответила: ладно, раз московские артисты, она останется. И тут же вспомнила, что не для того приехала и пришла сюда.

Он уже снял с гвоздика свою пилотку, но она окликнула его:

— Паша! Я тебе только расскажу...

— Потом, а? — попросил он, то ли спеша, то ли догадавшись, о чем она, и враз испугавшись, как еще не пугался.— Что ты мне расскажешь?

— Такое, что песенка, спетая тогда, в камышах, цветочком тебе покажется. Слушай, лейтенант.

— Не хочу! — оборвал он так, что она даже вздрогнула.

— Что значит — не хочу? Хочешь!

— Времени нет, Асенька! — прикрылся он.

— Ах, времени нет! А когда будет?

— Никогда,— спокойно ответил он, и это было его последним решением, которому по армейским порядкам надо подчиниться как последнему приказу.

Но она вспомнила слово, брошенное на Протоке, и снова из последних сил крикнула:

— Заткнись! Благороденький! Уж очень у тебя все просто.

— Конечно, проще пареной репы,— согласился он и передвинул кобуру сбоку на живот.— Вот пистолет. И еще хоть слово об этом — застрелю. Я серьезно.

— Ха-ха!

— Я сказал, не шучу.

Было что-то такое в его голосе, что заставило ее настояжиться. И она спросила еле слышно:

— Почему так, Паша?

— Потому что я тебя люблю.

Выражение огорченной беспомощности появилось на ее лице. Она ведь хотела, чтобы было лучше, а он не соглашался, мешал ей. Как же быть-то, что делать?

— Тут война, а он, видите, влюбился!

— Не железки ж воюют.

— К черту твою любовь! — набрав голоса, прохрипела она, но на этом голос и кончился, и она прошептала: — Очень уж нежная это штука, Паша. Совсем не для войны.

— Дурочка,— сказал он, надевая пилотку,— это война совсем не для любви.

— Ишь ты! — снова зашла она так, что даже закашлялась.— Перевернул!

— А как же! Эта штука посильней войны.

— Почему? — неожиданно засмеявшись, спросила Ася.

— Да... хотя бы потому, что вечная. А война вечной не бывает... Оставить табачку?

Ася помотала головой.

— Спи,— сказал он и плотно придвинул за собой жидкую дверь.

— Паша! — позвала она, но он уже ушел.

Где-то в глубине еще хотелось посмеяться над ним, но почему-то вдруг самой себе улыбнулась от счастья, как полоумная. Ася вдруг перестала бояться слова «любовь». Это выше неба? Чепуха! Это здесь, на земле.

Зеленели вокруг деревья. Такие же кудлатые, как возле этого сарая, они во все стороны разбегались по станичным улицам. И трава. Она простегала тонкие полоски на месте павших заборов. Когда приезжаешь с передовой, да еще из камышей, окружавших тебя не один день, даже хуторок кажется неправдой, полной жизни. А станица и вовсе представляется большим городом. Но сейчас ей словно подарили целый мир...

Да, она существовала отдельно от всего, а теперь сама стала и деревом и травой. Пусть хоть одной веткой, одним цветком, который когда-то раскроется на этой ветке. Тьфу, тьфу, тьфу! Так же о мертвых говорят. А ей, дурочке, жизнь увиделась в этом... Да просто она воскресла! Нужно свернуться калачиком и попытаться заснуть...

Через несколько часов, открыв глаза, она испугалась, что и в помине не осталось ничего от острого чувства, которое овладело ею. И в которое другие не поверят, если им сказать. Да и сама Ася потребности в таком чувстве не подозревала. А может, подозревала когда-то, но забыла. Ася прислушалась к себе. Настороженно огляделась, боясь, что сейчас новое чувство разрушится отчего-то. Со всех сторон сарай изрезало щелями, и в них бил свет. Напротив постели стояли пустые полки из неоструганных досок, лишь на верхней лежала чистая ложка, которой, наверно, ел Паша. В углу к ведру с водой приткнулась табуретка, а на ней зубная щетка и порошок в железной коробке. Ася встала, почистила зубы пальцем, представляя себе будущее невысказанное богатство: две щетки рядышком и красивый умывальник. На стене висело зеркальце, в которое он гляделся, когда брился. Асе до зеркала не дотянуться — так высоко! Смешно.

Ася подскочила, попробовав увидеть себя, но не увидела. Залезла на табуретку, подставив ее поближе к стене, и рассмеялась. Давно не видела такой растрепы!

Когда Зотов вошел, она лежала под простыню — над ушами и на висках бантики из бинта. Закрутила волосы в кои веки!

— Все — на концерт, а я за тобой... Чего ж ты?

— У меня часов нет.

— Ну, я выйду, а ты одевайся.

Не шевелясь, она лежала, как прежде, и он услышал в тишине ее дыхание.

— Я выйду,— повторил он, но вместо этого сел к ней, а когда дотронулся до нее боязливыми руками, она высвободила из-под простыни свои тонкие руки и обняла его так крепко, что у него закружилась голова.

Все вокруг закружилось. Она целовала его в щеки, в нос, в глаза, но это так, попутно, а искала и находила губы. Или он находил ее губы, с которых почти пропала нежная корочка, и Ася его не отталкивала.

— Паша,— звала она,— Паша...

Потом, откинув голову и посмеиваясь, Ася затылком изо всех сил прижимала его руку к тощей подушке и просила:

— Ну помечтай о чем-нибудь. Хоть капельку!

— Вслух?

— А как же я иначе услышу?

— Зачем себя обкрадывать?

— Не понимаю.

— Все равно будет лучше.

— Что это? — спросила вдруг Ася.

Рев самолета начал оседать с высоты и скоро заполнил сараюшку. Ася не сразу поняла, что самолетов было много. И вот уже их рокот перешел в длинный свист, не затихающий, а вырастающий тоже. Все выросло. Не заставил себя ждать и грохот бомбовых разрывов. Земля, принимавшая удары, затряслась, во всяком случае, здесь...

Ася быстро оделась, сдергивая с себя и разбрасывая по земляному полу марлевые бантики.

— В той стороне, где сад,— лихорадочно проговорил Паша.

Она схватила санитарную сумку.

...И на Кавказе и на Кубани Ася нередко попадала под бомбежки, а такое и она видела впервые. Десять — пятнадцать «юнкеров» уходили серой облегченной стаей, сопровождаемой зенитными вспышками. Низкорослые вишни, окутанные дымом, горели, поддавшись огню без спора. Глаза выхватывали в дыме человеческую руку, обращенную к небу, кусок одежды с болтающимся погоном...

Убитых возили на тех же грузовиках, которые не так давно привезли сюда живых. Этих грузовиков не хватило для всех. Десятки недавних зрителей ложились в неподвижный строй у обочины дороги, пока не подкатывала цепочка



других грузовиков, а может быть, и прежних — кровь на откинутых бортах выдавала их.

Расшвыривая искры, пылал сколоченный вчера помост, недолгая сцена для артистов... Ася пробежала мимо, прикрывая глаза от искр.

— Туда! — крикнули ей, направив за длинный бугор, похожий на кусок железнодорожной насыпи.

Раненых опускали в некошеную траву, и трава прятала их искаженные лица. Луг за насыпью стонал разными голосами. Медперсонал из окрестных точек прибывал, но все равно рук было мало, и Ася оказалась тут не лишней. Над третьим, не то пятым раненым, разведя руками траву, чтобы проверить, жив ли этот солдат, Ася застыла и тронула его лоб:

— Герасим, миленький! Колпак!

Ася позвала Зотова, но лейтенант не откликнулся. А Колпаков как-то мучительно, не с первой попытки, чуть приподнял дрожащие от напряжения веки.

— Ася? — вопросительно прошипел он.

— Миленький, помолчи, — уговаривала она, располозовав на нем издырявленную осколками гимнастерку от воротника донизу и отхватывая от нее мешающие куски садовым ножом — да, его так и называли «садовым», острый и кривоватый нож санинструктора, очень похожий на мирный садовый нож.

Столько было ран на теле Колпакова, жилистом и таком небольшом, что и от половины можно погибнуть. Иные кровоточили, как старательные ключи. Жгуты, жгуты сначала, чтобы остановить кровь. И резиновый и матерчатый... И шины...

— Палки! — крикнула Ася.

По лужайке метались солдаты, помогая санитарам, раздавали срубленные с вишен ветки для шин. Чего только не подкладывала Ася под раздробленные солдатские кости! Иногда в дело шла и винтовка раненого с ее широким прикладом.

Понимая все, в том числе и бесполезность ее неразумного отчаяния, и желая ее утешить, Колпаков виновато выдохнул:

— Вот...

А она врала, проливая спирт и бинтуя раны, неуверенная, слышит ли ее Колпаков, просто так самой было легче:

— Письмо тебе пришло! Жена жива, и дети здоровы. Вся рота привет тебе передала.

Она знала по опыту: с тяжелыми ранеными, перевязывая их, говори и говори, не давая забыться. Случалось, говорила уже с мертвыми. Но Колпаков еще дышал, захлебываясь воздухом.

— Сказали, очень ждут новых стихов.

— А стих... его,— с облегчением ответил Колпаков,— Зотова...

Кончились бинты, и Ася выпрямилась на миг, стоя на коленях в траве, глянула в сторону дороги: нет ли на виду санитарной машины, и только тогда сообразила, что сказал Колпаков. Обычно почти и не вслушивалась в бессвязный бред раненых. Но сейчас до нее дошло. Она повернулась к Колпакову, он что-то еще пытался прошептать. Асю охватили сразу и гнев на жизнь, где все так перепуталось, и досада на свою беспомощность, и желание плакать от этого. Она наклонилась, чтобы вытереть Колпакову лицо с морщинками, в которых собрались капли холодного пота. Хилая грудь его вздрогнула недолгой, летучей дрожью, и он разметал по траве свои несуразные кулачищи.

— Ася! — слышалось с другой стороны.

За спиной возник Зотов, она подняла глаза, чтобы увидеть его, но сначала увидела Лаврухина — шагах в пяти позади.

— Наши в станице,— сказал Зотов,— Лаврухин нашел меня...

— Мы сзади были, как пришли,— прибавил Лаврухин, подходя.— Там щели старые, в них много народу укрылось... А Колпак сказал, я пойду поближе, мне, мол, там место заняли, шутки ладил... Белгородский Емеля! — И отвернулся, елозя тылом пухлой ладони по губам.

— Принесите бинты,— не поднимаясь с коленей, велела Ася.— А его можно взять...

Они принесли бинты и подняли Колпакова.

— Подождем у дороги,— обронил Зотов.

Уложили Колпакова на свою подводу и, дождавшись Асю, повезли потихоньку. Она еле перебирала ногами, хватаясь то за лейтенанта, то за Лаврухина. Где-то, втянувшись в шаг, вдруг вспомнила:

— Он сказал про стихи...

— Это неважно!

— Но все же... Для чего?

— Для меня. Он сам предложил. «Вот увидите»,— говорит. Я не решился бы прочитать. Ни за что! А он записал и выучил.

Ася глянула на лейтенанта, пугаясь, что это он мог лежать, накрытый плащ-палаткой, и радуясь, что это не он и не она, что они спасли друг друга.

— Не смей никому, Ася, про стихи.

Она кивнула.

— Я много напишу и буду читать одной тебе. А это... вспомнится, и вспомним его.

В середине станичной улицы встретили слепого старика, вот он, нашелся! Тогда, на отдыхе, Ася спросила его: «Отчего глаза-то, дедушка? Может, фрицы древесным спиртом угостили, а вы и отведали?» — «Я жизни отведал!» — сказал старик. Но, видно, не всего еще. Оглушило небывалой бомбежкой.

— Господи! Накажи их! — бормотал он.

Опираясь на винтовку, неподалеку торчал солдат, какой-то странно новенький, наверняка только что с призывного пункта или из каптерки, к старику вроде бы непричастный.

— Где живете, дедушка? — спросила Ася.

— Хату сжег «горбыль» одной зажигалкой, где-то забыл метнуть, донес до меня. Теперь я с солдатами. У дороги на Гастагаевскую. Выхожу, Валюху жду-встречаю... Везете кого?

— Колпакова. Может, помните?

— Памяти-то уж нет почти. Кого, сказали? Колпакова? — Старик шагнул к подводе и остановился, как споткнувшись. — Справный солдат...

— Был.

Вскинув руку, старик хотел что-то сдернуть с головы, но она была непокрытой, и он опустил пальцы на лысину с седым, как на одуванчике, пухом и повторил:

— Господи! — И перекрестился.

— Идем, что ли, старый черт, — вдруг позвал его солдат. — Затаскал меня! Вожу, вожу.

— А куда ты его? — удивился Зотов.

— В комендатуру.

— За что?

— Нас привезли в станицу, разослали по всем концам, задерживать таких. Думаете, немцы так просто налетели? Им сигнал был по радио о здешнем мероприятии!

— Да он же слепой! — воскликнула Ася.

— Мое дело — привести. Велели в комендатуру, а никто не покажет, где она. Спрошу, привожу — нет!

— Старика мучаешь.

— Говорю, он меня замотал.

— Ну и мало тебе, умнику. Этого слепого все знают. Солдат не обратил серьезного внимания на слова лейтенанта.

— Слепой! Как скажут, где комендатура, он бежит туда шибче зрячего. И без палки. Вот что подозрительно.

— Да он родился здесь и всю жизнь провел!

— Каждую канавочку знает,— добавила Ася.

— Привезу в город, где родилась и выросла, завяжу глаза, скажу — веди в комендатуру, посмотри, как победишь!

— Я не знаю, где комендатура.

— А я знаю,— сказал Зотов.— Двинулись. Там разберутся.

— Факт,— сказал солдат, прибодрившись.

Навстречу попались подводы с тяжелыми минометами. Бомбежка, конечно, разыгралась, потому что допустили беспечность, прозевали «юнкеры» и возможных наводчиков. Так мало этого! Теперь в открытую везли солидные стволы, заранее говорящие о многом, а солдат попусту таскал слепого старика...

Возле калитки из кроватной спинки старик остановился:

— Вот моя хата...

Подвода с Колпаковым свернула и поехала по мягкой золе. Требовались хоть старые доски, чтобы сколотить гроб.

— Я сделаю,— сказал Лаврухин.

— А тем временем мы вернемся. Идем, Ася? Или сил нет? Я бы хотел, чтобы ты глянула. Там бугор с тополями. На бугре и положить бы Колпакова.

— А комендатура где? — напомнил о себе конвойный.

— Рядом. Знаете, дедушка, бугор и на нем четыре тополя?

— А как же! Я их и сажал. Тогда глаза мои чуток понимали.

— И комендатура точно там, товарищ лейтенант? — опять спросил солдат для надежности.

— Там, там. Еще не дадут вырыть могилу по соседству.

Тополя уже открылись — стояли не в ряд, а кучкой, листьев было много, и зелень их трепетно шелестела. Зато комендатуры рядом опять не оказалось, и упрямый солдат увел старика, а Зотов удивился:

— Мне же сам Колпаков сказал! Я боялся, что бревен не наберем, и велел ему эти тополя свалить, еще с дороги приметил их. А он вернулся и доложил: «Там комендатура». — «Где?» — «Возле самых тополей. Рубить — ни-ни!» —

«Хорошо, свой же комендант, договоримся». — «Нет, плохо. Он молодой». — «Как молодой, так плохо? Молодые полвойны на своих плечах везут!» — «Кто спорит? Но, бывает, кричат. Вот и вы уж кричите». — «Для дела бревна нужны, а не тополя». — «Их дело — расти. А бревна будут». И нашел ведь. А тополя спас.

— От тебя? — удивленно спросила Ася.

— От меня. Без комендатуры.

— Он был сам себе комендант.

— ...Четырех тополей.

— Хотя бы.

— А может, и пора уж думать о тополях? — спросил лейтенант, и ей хотелось согласиться, и даже сказать «пора», но это было так ново и смело, что она не решилась, а лишь прошептала:

— Ты лучше знаешь...

## 7

Был день, когда малярия снова разгулялась. Неистощимой дрожью она колотила изнутри, и уже казалось, вытряхнет душу, но, видно, отложила это до другого раза. И утром Романенко опять выскоблил щеки до синевы и стал немилосердно шлепать по ним ладонями, чтобы порозоветь к приезду командира полка.

Впрочем, что касаясь его батальона, то вернее было сказать, к приходу командира: сюда не ездили, а добирались с трудом. И командир полка, довольно грузный, хоть и низенький майор, добравшись, долго и тяжело отдувался, не глядя ваясь в лицо Романенко. Прежде всего он спросил:

— Чаю дашь?

Едва не крикнув Марасула, Романенко приказал новому ординарцу принести чаю и понял, что особенно радоваться не придется. Обычно майор, поручая ему непростые задачи, предупреждал в расчете на ответную мобилизацию: «Радуйся!»

Сейчас, пока помощники сидели с начальником штаба за картой, готовились к разговору, он отхлебывал чай и жаловался:

— Дорожка к тебе!

— Лучше не бывает.

— Гиблое место!

«Не сам я себе его выбрал, — горя, думал Романенко. — Худший кусок подложили мне плавни...» В самом деле, сза-

ди была топь, а перед батальоном на добрый километр расстелилась глубокая и голая вода, над которой всю ночь друг за дружкой повисали и таяли осветительные ракеты. Всей жизни, если доведется ее прожить, не хватит на удивление: как Агеев, Марасулов и Пышкин одолели этот «океан», проникли в заводь за вражеской дамбой и вывели оттуда лодку? Конечно, дышали сквозь камышины, из-под воды, но сказать-то просто...

Майор напомнил, что комбата еще призовут в политотдел дивизии, пиши объяснение, как погиб его замполит, а оно самое незатейливое: цел тот, кто ничего не делает, а это ведь война, тут нельзя ничего не делать. Он не послал Агеева, но и не остановил его. Солдаты сейчас не только заклепали кусками меди от снарядных гильз дыры в бортах, но и углем нарисовали на лодке звезду и написали: «Агеев».

А место, конечно, гиблое...

Наступать начнут километрах в двух севернее, с позиций другого батальона, и еще несколькими километрами южнее, где плавни, истощаясь, подпускали к себе дородную станицу. Ее возьмут соседние части. А его дело — проявлять огневую активность, для чего ему и позволили соорудить плавающую батарею, хотя минометы станут не менее нужны и на суше, ждущей их впереди, потому что пушек туда сразу не подтянешь. Зотову наказать, пусть минометы бережет, пловец! А вообще...

— Активность такая, будто и ты перешел в атаку. Беспрестанно кочевать и стрелять. Беглый, беглый, беглый! Для этого Зотову рацию даем. Скажи, чуть ли не сам я приволок! Значит, стрелять так, чтоб без промаха!

— Понятно.

— Вопросы?

— Когда?

Командир полка чуть-чуть развел руками:

— Не мы начинаем. Мы будем поддерживать. Весь фронт будет поддерживать, чтобы противник не перебрисил туда ни дивизии, ни полка, ни роты, ни одного ствола.

Спрашивать — куда, было бесполезно, да майор, возможно, и сам не знал, но ведь думать себе не запретишь. В тишине болотных ночей, склоняясь над двухверстками с красными и синими зигзагами, Марат Романенко часто затевал молчаливые военные игры, становился то нашим генералом, а то и генералом противника, ломал голову беспощадно, сам с собой неумолимо спорил...

Однако, когда началось, он честно разжаловал себя,

признав если и генералом, то никуда не годным. Эта точка, где началось, даже и не обдумывалась им для удара, как самый укрепленный участок у врага и самый раскаленный — там огонь и штурмы не затихали. Левый фланг не только здешнего, а и всего невообразимо длинного фронта, протянувшегося на многие тысячи километров через равнины и возвышенности, города и деревни, от Белого до Черного морей.

Здесь, в южном конце фронта, стоял Новороссийск. Лучше сказать, лежали его развалины и пепел, каждый день нагревавшийся заново... За Цемесской бухтой, в предместье города, держали свою землю десантники, уже давно приковывая к себе внимание. Они высадились на укрепленный, перенасыщенный огнем, заминированный берег с дерзостью, казавшейся неправдоподобной и выдавшим виды людям. Многие корабли немцу удавалось поджигать минами, снарядами, и десантники черными зимними ночами штурмовали крутые откосы при свете горящих на волне своих же катеров и мотоботов.

Освобожденная земля была малой, ее так и называли — Малая. Немец грозился, что за сутки сбросит малоземельцев в море, а они держались уже почти две трети года. В свое оправдание — об этом еще Саня Агеев ему рассказывал — немец называл их то коммунистами-фанатиками, то трижды моряками, а это были, как писала фронтовая газета, обыкновенные герои, если, конечно, вдруг подумалось Романенко, герои могут быть обыкновенными.

Короче, Малая земля так и висела занесенным топором над корнями голубого «дерева» фашистской обороны. Отчаявшись столкнуть десантников в море и отделаться от топора над собой, немец принялся шпиговать дотами развалины у единственной приморской дороги. Всю весну и лето он старательно вращал в землю железом и бетоном, пока не стал дешнюю оборону неприступной.

А именно здесь и началось. Взяв в союзницы неожиданность, сюда и ударили «топором» Малой под гром артиллерийских стволов, оживших среди ночи. «Ну что ж, — сказал бы Колпак, — дерево и валят с корня... Храмотно». Непросто это было... но ведь на войне иначе и не бывает! Пулеметные зрочки пристально смотрели в узкие прорези из-под бетонных лбов дотов, так же недремлюще дежурили наготове пушки и танки. Заискрило, загрохотало... На израненные причалы Новороссийского порта тут же высадились новые десанты, чтобы поддержать атаку.

Так начался развал всего каменно-железного кавказского фронта врага, дальним флангом увязшего в плавнях, где ему, Романенко, довелось прожить и весну и лето...

Кровопролитные бои в Новороссийске не прекращались, и, нуждаясь в пополнении, противник подтянул туда солдат и огневую силу с других участков «Голубой линии», но этого момента ждали, и плавни заговорили...

Плавни широко нависали над дорогами отступления с «Голубой линии». И даже тем, кому не было понятно, зачем они «гниют» здесь, торчат в плавнях, вдруг все стало ясней ясного. Прорыв в плавнях, грозящий захлопнуть эти дороги, само собой панически пугал врага, было понятно, что в страхе перед окружением немец уцепится за свои дамбы не на жизнь, а на смерть. Значит, наступать и из плавней, драться!

Все дни и ночи до этого Зотов мастерил плоты. Бревна к ближней протоке подвезли по одному, связали по три-четыре штуки и, сделав дугу по воде, а где и перетаскивая их волоком, как предки на древних речных путях перетаскивали суденышки, дотолкались шестью до своих позиций. А уж здесь, заранее подогнанные и размеченные, собрали, усердно пряча в камышах, потому что над плавнями, лишенными зениток, с рассвета до темна или до прилета наших истребителей висели «рамы», фашистские разведчики-наблюдатели.

На всякий случай, если потопят сейчас или в бою, Зотов приказал длинными бечевками привязать к минометам поплавки от рыбацких сетей. Раскопали их в сарае на колхозном дворе. В случае беды поплавки, темные, пористые, здоровые, как буханки черного хлеба, покажут, откуда доставать минометы.

На «сушках», даже и на тех, что были чуть ли не впристык к своей дамбе, складывали мины. Про запас. Увидев это, Романенко взбушевался:

— Близко! Рассчитывать надо!

— Расчет на то, что вперед пойдем. Убрать?

Разгоняя конвульсии по лицу, Романенко сказал:

— Стреляй, Зотов, чтобы и дышать было некогда.

— Есть!

Среди ночи Лаврухин полушепотом спросил лейтенанта:

— Не спится?

— Откуда взяли?

— Так курили опять! И крутитесь...

— Ничего придумать не могу.



— Наговариваете!

— Не военная косточка...

— А поплавки? Это ж головой надо сообразить, а для этого голову иметь.

— А это как раз не я...

— А кто?

— Десантники с Малой. Один артиллерист все четыре пушки на берег доставил так.

— Как?

— Ночью, когда подходили к берегу, все его мотоботы с пушками фрицы потопили снарядами. Огонь сплошной, не прорваться. Но этот командир ко всем пушкам заранее велел привязать поплавки, и утром — на тебе, плавают, голубчики, и показывают, где пушки, — только вынимай! И достали всю батарею со дна морского. Целую!

— Е-моё! Вот это командир!

— А лежу и думаю, — вздохнул Зотов, — немец будет стараться сжечь нас, потопить, заставить заткнуться...

— Закон боя.

— А мы не имеем права погибать, Лаврухин. Позже — тоже не хочется, конечно, но ладно уж, черт возьми! А здесь, в плавнях, не имеем!

— Еще б! Главная мощь батальона.

— Не главная. Единственная... Не имеем права погибать, — с досадой повторил Зотов. — Такой пустяк!

— Е-моё! Если б кто изобрел, как уцелеть на войне, ему б за этот пустяк отлили памятник из чистого золота, я думаю...

Асю за эти дни Зотов видел один раз. Случайно или нет, но она вдруг появилась за спиной, и он почувствовал это.

— Вам чего, Панкова? — оглянувшись, спросил ее при солдатах, а потом подступил по мятым кочкам. — Ася! Тебе чего?

Она смотрела на него так, точно подошла лишь для того, чтобы услышать, как он назовет ее. И все.

— Ничего.

— Но ты тут зачем?

— Я? Мимо.

Ни слова не сказав больше, пошла, улыбаясь. Ася улыбнулась. Небывалое! Он вернулся к своим, а когда вновь поискал ее глазами, чтобы еще раз, хоть вскользь, увидеть узенькую талию, перехваченную чересчур широким для нее ремнем, увидел одни камыши.

Как всегда, рыжая луна всплыла над плавнями и пока- тилась бездомным шаром, разбрасывая отражения, когда батальон открыл огонь, проявляя свою активность. Судьба! Романенко матерился...

Уже гремело с севера и с юга. Барабанно стучали пуле- меты. Гул множился и разрастался, вода, как особое зер- кало, отражала звуки ярче земли. Там, верно, уже брались за шаткие камышовые плотки и за лодки, а ему только стрелять... Стреляли много — и мы, и немец отвечал, такой огонь вели, что даже комары исчезли от страха.

Зотов выбрал себе наблюдательный пункт неподалеку от Романенко и руководил стрельбой по радио. С треском рва- лась тьма, и выстрелы неизбежно вырисовывали на полот- нище ночи схемы обеих оборон. Пулеметы обнажили свои убежища, и, пользуясь этим, Зотов старался накрыть их. Хоть и не кричал, а охрип, без конца повторяя:

— Беглый огонь!

А может, и кричал невольно.

Понятно, обнаруживали себя и его минометчики, и все ближе к ним шлепали вражеские мины, визжа и роя воду со свинячьим упорством. Но плотов там уже не было. Опре- деляя быстроту реакции как бы интуитивно, а не по хроно- метру, Зотов опережал врага, успевал убирать свои захлес- танные водой плоты. Кочуя, его минометы оживали в новом месте и опять ускользали раньше, чем на них обрушивался ворох чужих мин. Приловчился. И еще капельку везло, должно быть.

И еще, как он ни храбрился в ночной беседе с Лавру- хиным, за жаждой победы смущенно пряталось самое прост- ое желание — жить после всех этих гиблых мест.

Лодка «Агеев» металась по плавням, подвозя мины к плотам, и треск ее мотора глох в неумолчной пальбе. Какой урожай с обеих сторон собирала смерть, не остывая на лету! Четыре огневые точки на той дамбе, по крайней мере половина из открывших себя за ночь, замолчали от наших мин, может, и навсегда, и рация Романенко доложила об ослаблении огня командиру полка, бывшему в соседнем батальоне, а он похвалил всех и передал, что лично Зотову объявляет благодарность. И весь сказ.

Не дождавшись ничего определенного и прибегая к пло- хо маскирующему словесному камуфляжу, Романенко спро- сил, может ли он выступить на собрании, потому что ему,

кажется, есть что сказать. Он просил разрешения на атаку, уверяя, что у него «все обдумано для речи», то есть имеются плотники, заготовленные для переправы, а майор ответил, что «аплодировать будет некому», что значило: для развития атаки нет резерва, уже приданного дру-гим.

Было это перед самым рассветом, когда стрельба вынужденно поутихла, остывало оружие и люди передыхали. А Романенко нервничал. Зотов поделился с комбатом новым решением: раздвоить свою роту — половину оставить в камышах, а другую подтянуть почти к открытой воде. Тогда разным взводам можно будет вести огонь из разных мест и в разное время, прикрывая друг друга, и получится — непрерывно. А немца свяжет эта, как сказал лейтенант, новая метода.

Романенко махнул рукой, даже забыв передать ему благодарность от командира полка. Если бы атака! Пригодилась бы и «метода».

— Отдохни.

Но с отдыхом ничего не вышло. На этот раз первым открыл огонь противник, еще раз доказав, что на его дамбе действует на три пулемета меньше. А четвертый либо заменили, либо починили, но он очнулся. Чуть раньше ожили наш север и юг, там продолжалась попытка продвинуться. И гиблое место тоже застрочило, забухало. Зотов поступил, как сказал комбату, и это придавило вражеские минометы, будто схватили крикунов за горло.

Так прожили еще день и еще вечер. Полночью на дамбе, за разливом, капитально замолкли еще два пулемета. То ли их достали зотовские мины, думал Романенко, то ли немцы сняли их для Новороссийска, такого далекого и близкого. Через бездорожные плавни, через воду надо было идти, идти, чтобы поддержать новоросийцев, пробивших первые бреши в фашистской обороне, и самим выбраться наконец из гнилых топей.

А слева и справа вторую ночь грохотало все на том же месте. Противник ухватился за свои дамбы цепко.

И прошли еще утро и день, и лишь к новому вечеру Романенко по радио принял от командира полка пароль атаки и открытый текст — жди! Понятно. Чей-то резерв, уже, наверно, тронувшийся сюда по воде, передавался ему. Только он выпрямился, чтобы позвать Зотова, как тот сам возник и выдохнул:

— «Агеев» погиб!

— Как-нибудь это уже не новость! — обозленно отозвался Романенко. — Ты в себе?

— Да лодка! — поправился лейтенант.

И Романенко чуть за голову не схватился. Лодка, доставлявшая мины к плавающим минометам, легко и быстро находившая их в камышах, так и летавшая на своем подвесном моторе... Нет ее! Он еще переживал удар, как будто в него самого попало, а мысленно уже искал замену. Каждый бой — это всегда еще и поиск замены: человеку, оружию, замыслу...

Ну лейтенант, как нарочно, выбрал подходящую минуту для своего «веселого» сообщения! («Сволочь какая!») Но в бою многое случается как нарочно, и, слушая Зотова, предлагавшего пока заменить лодку камышовыми плотиками, Романенко потребовал немедленной связи с командиром полка, чтобы известить его об этой потере. Операция в гиблом месте уже переросла масштабы батальона. Командир полка должен знать...

Между тем лейтенант говорил не только о плотиках, но просил и людей, у него имелись убитые и раненые. Хорошо еще, что минные склады куда были целы!

— Ты счастливчик, Зотов! — сказал капитан, как на Протоке. — Хоть с минами у тебя в порядке!

Однако и с минами порядок был неполный. Запасы истощались. От них скоро ничего не останется, если вот так и толкаться на одном месте, проявляя лишь огневую активность. И плоты угробят! Немец при любой возможности все усиленнее бил по воде, явно охотясь за плотами, о существовании которых догадался по быстрой и частой перемене огневых. Вдруг лейтенант сказал, что сам «сожжет» свою батарею. Так и сказал. Оказывается, он с утра распорядился вязать ложные плоты из полусгнивших бревен и досок-подстилок, еще державшихся на старых позициях, на брошенных «сушках», и теперь предупреждал комбата:

— Будем взрываться и гореть для немца, не пугайтесь.

К ложным плотам привязали толовые шашки, чтобы взорвать в нужный момент. Нет, этот лейтенант не только счастливчик, но и не пустая голова...

Что же так долго ползет резерв? Где он?

Уходя в темень и тишь укрытий, минометчики взорвали куда три ложных плота. Пламя осыпало искрами сухие поросли и по-заячьи зябко дрожало на воде. Четвертый плот бессмысленными чурками и щепками рассыпался над

камышами от чужой мины раньше, чем его взорвали свои, и унес еще две жизни, так и не дождавшиеся твердого берега.

Там, на вражьей дамбе, похоже, всерьез поверили, что разделались с нашими минометами. И больше не искали их. А минометы выводились почти к открытой воде, чтобы пересечь ее вслед за пехотой, готовившейся к своей необычной атаке,— по два человека на шатком плотике, и шест сначала у того, кто посильней.

Наконец командир полка сквозь камыш сам привел свежий батальон на баркасах, обложенных свернутыми камышовыми дорожками, которые саперы называли штурмовыми мостиками — их раскатывали по воде. Майор вызвал лейтенанта Зотова и отдал ему свою лодку для подвозки мин к плотам с минометами. Был он утомлен теми бессонными ночами, в которые пока не удалось выйти из плавней, и, хотя сказал, чтобы лейтенант провертел в своей гимнастёрке дырку для ордена за плавающую батарею, был при этом чересчур угрюм.

Зотов же подумал, что до рассвета пехота может овладеть злополучной дамбой, которая намозолила глаза за весну и лето, темнея под солнцем и тая в ночах и туманах, и минометчики тоже наконец ступят на эту дамбу, догнав свою пехоту, и тогда он увидит Асю... «Только бы она была жива после атаки, только бы...»

Немец притих. Похоже, уверенный в своей безопасности, решил отоспаться за предыдущие ночи и даже не пускал осветительных ракет. А плотики с пехотой уже пошли в тишине... Минометы пока помалкивали, будто их и правда не осталось. Плотики прошли больше половины своего пути, когда с дамбы, к которой они приближались, суматошно взметнулась первая ракета, и раньше, чем ее шипение стало светом, Зотов выпустил свою красную ракету — сигнал, что минометчикам, напряженно ждавшим этого, хватит держать мины на весу, а можно опускать их в трубы.

Все было настолько неурочно для врага, что он никак не мог опомниться. А плотики, возникая в блеске разрывов, уже касались далекой дамбы. Они как бы плясали на воде, и Зотов понял, что это вражеские разрывы разболтали ночную воду, и стрелял, стрелял по далеким зарницам, а голос Романенко сладостно ругался в радиотреске и требовал: «Огня! Еще огня! Та-та-та!..» И это относилось и к Зотову, и к тяжелым минометам, которые прибыли с резервом, заняли «сушки», отмеченные на карте как пригодные,

и уже стреляли, вздыхая гулко. Голос Романенко вовсе отлетел, замолчал и вдруг прорезался донельзя искаженным и доложил комполка, что почти весь батальон на дамбе. И он сам на дамбе.

Туда сейчас же ушла новая волна людей на баркасах, баркасы скоро вернулись и взяли еще солдат.

Все произошло, казалось, легче, чем ждали. Может, просто немец понес ноги со своей дамбы, потому что наши южные части уже ворвались в станицу? Но скоро стало известно, что отчаянным контрударом фашисты вытеснили их из станицы. А потом, когда минометчики, пересекая разлив, шестью расталкивали и отталкивали от себя пустые плотики, поняли, скольких солдат это гиблое место навек взяло себе. На этой короткой, в сущности, дороге. И раньше, чем подошли к дамбе, сами оставили под водой один свой расчет.

Пехота непрерывно просила по радио огня, и Зотов развернул два своих «боевых корабля», чтобы отозваться не словами. Стреляли долго. Голодные минометчики даже шутили, что скоро кишки к спине приклеятся. В шумном гуле боя долетел залп вражеского шестиствольного миномета, клопоча над водой взвизгивающим хохотом, и один из плотов исчез в разрыве, и... ни людей, ни поплавок. Зотов видел, как метрах в двадцати от него из воды вынырнул горящий обломок бревна, он еще плыл стоймя.

Друг на дружке лежали на дамбе мертвые в гимнастерках, поблекших от солнца и воды, и в мундирах, кое-где со вскинутыми или сцепившимися руками, будто схватка продолжалась.

Ротный старшина, догнавший с сухим пайком, кормил людей ветчиной, казавшейся на редкость вкусной. На карте, которую Зотов изучал за завтраком, белые пятна земли еще усатились голубой штриховкой. До Темрюка земля была в голубых сетях. И Зотов решил пока не расставаться с плотами как с транспортом, хотя бы чтобы не тащить минометы на своих спинах. Дожевывая, солдаты невольно растягивались на земле. Надо поднимать, а то заснут! Однако и сам положил под грудь свернутую плащ-палатку и уронил голову на согнутые руки — минуту, даже меньше!

...— И откуда у крохи силы?

— Волокет кого-то... Впряглась лошадкой.

— Е-моё! Это ж Ася! Встали, раз-два!

Лишь при слове «Ася» лейтенант тяжело поднял голову и рывком разодрал железный шов, сомнувший глаза.

Всунувшись в петлю и падая вперед всем телом, казавшимся отсюда игрушечным, Ася тянула свой груз, держась ближе к краю дамбы, где земля была мокрее и тяжесть поддавалась послушной. Лаврухин и еще два солдата бежали к Асе. Скорее! Наконец Лаврухин сменил ее в петле, а двое взялись за тяжести по сторонам.

В лодке-волокуше, сколоченной из досок и очень похожей, честно говоря, на гроб, лежал один раненый, а на плащ-палатке другой, покрупнее. Связав веревочный тяж с углом плащ-палатки, Ася и тянула. Ее с санитаром Малаховым военфельдшер оставил, оказывается, пройти по дамбе и проверить лежавших: у нее было особое чутье на живых. Вот одного нашла...

— А второй? — спросил Зотов.

На плащ-палатке лежал Малахов, он давно был ранен, но таскал других до тех пор, пока не свалился. Асю и раненых повезли на своем плоту через воду за дамбой, и, пока плыли, Зотов сообразил и скомандовал:

— Старшина! Накормить санинструктора!

Запомнилось, с какой охотой ела Ася, распуская ветчину на длинные нити...

За водой, на берегу, открылась палатка с красным крестом.

## 9

Плавни кончались неуступчиво и непутево. Только покажется крошечная равнинка вроде поля, как она уже в грязь истоптана пехтурой, торопившейся к станице. Романенко подошел к последнему хутору перед станицей и потребовал огня. А минометчики как раз вплывали в озеро. Ну что ж... Еще раз с воды.

Озеро густо облепила грязь, по одну руку стоял камыш, а по другую торопливо, как на водопой, сбегала дорога через прибрежную лужайку, похожую на сельский пляж. Наверное, когда на земле была мирная жизнь, сюда бегали из хутора купаться.

Едва открыли огонь, немец огрызнулся. Серия ответных мин никого не убила, но смахнула в воду весь расчет Лаврухина и оставила на мутной поверхности озера, близ камышей, неподвижный поплавок, туго натянувший бечевку. Это было так обидно, что Лаврухин, оглохший от взрыва, орал, утешая:

— Ё-моё! Достанем, лейтенант!

Станица прижималась к морскому лиману, вытянувшему горловину к шуму волн. Из плавней подошло немалое войско, но с небольшим огневым запасом, и бой из-за этого никак не мог набрать стремительной силы... На вторые сутки взяли наконец станицу. В ней пахло морем, а над крышами полуразбитых хат, легко пронзая воздух острыми крыльями, реяли чайки. Они голосисто кричали о каких-то своих птичьих заботах, а думалось, что приветствовали жителей, возвращавшихся к полусгоревшим ступеням, по которым когда-то носилась детвора.

Колыбели, превращенные в тележки с самодельными колесами, тачки, повозки, запряженные счастливыми женщинами с измученными глазами и беззубо улыбающимися стариками,— все это катилось из камышей к станице. Визг колес, постоянный и несмирямый от сырости, не обрывался...

Набившись в станичные хаты раньше хозяев, солдаты валились с ног и, как самые недолгие гости, засыпали на полу, забыв поесть. Во всех этих, некогда построенных для человеческого счастья домах, а теперь полудомах, не было никаких постелей, и солдаты по опыту первобытной доброты, заложенной в их военном быте, помогали товарищам устраиваться поудобнее, вместо подушек подставляя друг другу плечи, животы, локти и колени.

Очнувшись от прикосновения первой капли света, Зотов вскинулся, с оглядкой освободил свои руки и ноги из объятий других минометчиков, разыскал и принялся будить Лаврухина. Хоть стреляй над ухом! Сердиться начал, тут же остановив себя, однако, простой истиной. Люди привыкли, поначалу безрассудно, подчиняться команде. Ее не было, а на такие вот толчки и подергивания после целого лета в гиблом месте грех обращать внимание.

Наконец Лаврухин разлепил глаза, точно это было трудней всего на белом свете, и отполз к стене, у которой кучей лежали сапоги. Зотов шепотом, до смешного лишним в этой обители солдатского сна, спросил, будить ли еще кого или попробуют вытащить миномет вдвоем.

— Попробуем,— ответил Лаврухин, оканчивая возню с портянками и зевая.

Ответ понравился ему. Поднимать солдат не хотелось — за эти ночи в бою никому из них не удалось по-настоящему проспать и трех часов, а здесь был какой-никакой, а дом, казавшийся сказкой после длинной жизни в камышах, и был сон в доме. Лаврухин — старый солдат, он знает, что на



войне нет ничего дороже часа спокойного сна, одного из многих недоспанных. Может, и самого Лаврухина стоило бы пощадить?

Но уже вышли на улицу.

— Асю не видели случайно? — спросил Зотов.

— Как же! — весело удивился спутник. — Я вчера им в санчасти колпаковскую гильзу зажигал. Горит, что тебе электро! Показать, какой дом? Здесь!

И Лаврухин остановился возле дома, мимо которого едва не проскочили с разбега. Он был такой и не такой; как все, этот дом. В нем спала Ася.

— Тихо как в доме-то, — сказал Зотов.

— Которые нормальные, те спят, конечно, — ответил Лаврухин, зевая от всей души и до отказа распахнув свой рот.

Километра два пустой земли до озера, сплошь в печатях, чуть ли не вплотную поставленных в грязи каблуками, пересекли незаметно. Озеро натянулось, как разглаженный от морщинок лист станиоля, который мальчишки, слопав шоколадную конфету, обычно утюжили о край стола.

— Раздвигаться? — без надежды спросил Лаврухин, остановившись на берегу.

Зотов, улыбаясь, расстегнул на себе гимнастерку.

Поплавок был цел, сразу показал, где их «клад». Самоварную трубу миномета достали, всего два раза нырнув в прохладную воду, вовсе не такую уж страшную, какой она была на вид, неживая в эту безветренную минуту. А двухпудовая плита не давалась. Ее уже обволокло скользкой тиной и засосало так, что не оторвешь. А глубина! Пыхтели, задыхались, а все без толку. Миномет же мог потребоваться в бою сегодня... Так думал лейтенант Зотов. Несколько иной склад и ход обретали мысли у Лаврухина.

— Другой бы вместо вас, товарищ лейтенант, взял бы и плюнул на этот миномет...

— Как так плюнул?! — поразился Зотов, не поверив тому, что слышит.

— Я и говорю — другой! Но не вы!.. Потому как что может быть солдату дороже оружия? О!

— Вы же сами кричали вчера — достанем!

— И достанем! Неужели нет? Да пусть нам два новеньких миномета дадут, а старый все равно не бросим никогда!

— Не пойму, на что вы намекаете, Лаврухин, но — ныряем еще... Раз, два...

— Нет, товарищ лейтенант. Я чувствую без намеков.

Ныряй не ныряй, а вдвоем не справиться: Обсчитались!  
— Три! — скомандовал Зотов, и оба нырнули, но опять неудачно.

— Без коня не выудим! — заладил Лаврухин. — Ступайте за конем. Или пошлите — я сбегаю, товарищ лейтенант.

Сначала Зотов пропускал его хитрые советы мимо ушей, а потом, отфыркиваясь от капель на губах, велел:

— Ну, тогда просите подводу. На ней и миномет привезем.

За ночь в станицу подтянулся обоз. Когда они вышли из хаты, кухни уже дымили, повара закладывали завтрак для еще спавших солдат. Следовательно, подвода не проблема...

— Может, сами, товарищ лейтенант?

— Бегите, Лаврухин.

Тот камыш, из которого ночью выбрались войска, солнце уже наращивало острыми лучами, взброс летящими по всему небу. Станиоль озера заблестел. Зотов подтянул кальсоны, подвернул их выше коленей и, как в трусах, присел на траву, глядя туда, где было гиблое место. Было приятно просто так сидеть и ждать солнце.

Жизнь его складывалась необыкновенно. Сейчас достанут миномет и через несколько дней войдут в Темрюк, которого месяц назад достигало лишь воображение. На войне даже воображение обкрадывается чересчур жесткими границами, а теперь ему уже поддавался заболотный простор. Черное море, крымские курортные города, которые почему-то все были на одно цветущее лицо, а там и Севастополь.

Зотов не старался представить себе этот город, потому что на самом деле все равно все будет лучше. Пусть и разрушенный, Севастополь был невообразимый. Нарисовать себе это — это все равно что попытаться умозрительно представить, какие испытания выпадают во время войны солдату. Сколько ни усердствуй, а от правды будешь далеко. Он, солдат, выносил и невообразимое, да столько, что ни один святой вынести не смог бы, застонал бы давно: мол, сдаюсь! А твоя жизнь шла рядом с солдатской и была почти такой же. И поэтому можешь благодарить судьбу, Паша. Тебе не придется укорять себя.

Солнце показало из-за земли верхний край, и утро сразу распахнулось во всей своей полноте. И тут же подумалось, что это не утро, не земля, а жизнь распахивалась во всей своей полноте, и всему причиной была Ася. Она делала его сильнее, а значит, счастливей.

Когда кончится война, он что-нибудь необыкновенное придумает для нее. А что? Вишню будет рвать с верхних веток, он же длинный...

Он сидел, будто в детстве, у солнечной воды. Отражения облаков, тронувшихся с рассветом в свой далекий путь, завалили озеро, как в детстве заваливали реку. Зотов улыбнулся сам себе и в том конце озера, откуда никого не ждал, услышал людскую речь. Глянул туда, соображая, что речь-то немецкая. Три фигуры, выбравшись из камышей, стояли в воде по пояс и держали руки на автоматах, висевших на шеях. Солнце било им в затылки и проскальзывало сквозь небритую щетину на щеках, казавшуюся от этого света одинаково рыжей. Автоматы повернулись к нему. Зотов подумал: немцы, отставшие от своих, ищут, кому бы сдать.

Но сейчас же отшел это. Они могли вовсе и не искать, кому бы сдать, а всего-навсего пробирались через плавни, догоняли своих. Зотов упал на бок и потянул руку за автоматом, помня о быстроте, но раньше чем он дотянулся, автоматы на чужих шеях захлестали обжигающим огнем...

Станица пробуждалась меж тем.

Верно, на всю жизнь запомнят местные, как началось у них это утро. Солнечный восход встретили два гармониста. И пошли навстречу друг другу, совершая по пути стихийную побудку. Даже те, кто выскакивал на ступени обгорелых крылечек, чтобы поругаться, ахали и спешили обмундироваться, заодно будя остальных.

Разгневанного комбата тоже вынесло на крыльцо сказать два словца, но люди, вылезшие из хат, так и не узнали, что думает он о сне и музыке. Оба гармониста, шедшие по станице с разных сторон, встретились у его крыльца. Ординарец уже держал гимнастерку и сапоги комбата. Натянув их на себя и огладив черные волосы, Романенко невольно посмотрел под ноги и почти неверяще крикнул:

— Земля, ребята, земля!

И притопнул ногой, точно проверяя, не обман ли это.

А через минуту чуть ли не вся станица плясала. Среди пепелищ, развалин и нескольких уцелевших хат она была башмаками, сапогами и голыми подошвами в землю. Гармонисты шпарили в лад, потом — давая передохнуть друг другу, по очереди, а пляска все не кончалась. Плясали, не останавливаясь и не заботясь о гармонистах.

Солдаты, затеяв переплясы с девушками и женщинами, нашлепывали себя ладонями по коленям и груди. И конечно, безобидно оттесняли местных дядек и подростков, летав-

ших из края в край. Были, правда, тут и серьезные плясуны вроде Веника военфельдшера-усача, который и так и этак обхаживал дородную свою партнершу в клетчатой кофте, вот-вот обнимет, а та ему не поддавалась, увиливала, прошмыгивала, пока, умаявшись, не поцеловала в пушистые усы, закричав:

— А мягкие-то!

Дядьки, уступив в пляске солдатам, тем не менее выкругляли грудь колесом, выставлялись, изображая богатырскую сечу и рубя на скаку.

Музыканты, доказав, что руки слабее ног, опускали гармони, но толпа все одно плясала. Лучше всех было дедку, который вприсядку вертелся вокруг самого себя с балалайкой, треща на одной-единственной струне, прыгающей под его морщинистыми пальцами.

Взяв подводу, Лаврухин подъехал к площади, чтобы найти Асю и предложить езду на озеро, к лейтенанту. Слух шел, что войскам из плавней дают сутки на отдых в станице, пока подтянутся артиллерия и боезапас. Лаврухин спрыгнул с подводы, и его сразу закружило, вот и он уже взмахивал толстыми ручищами по бокам круглого тела, рассыпая мелкую дробь подметками. Только глаза помнили об Асе, высматривали и не находили ее.

Ася стояла на другом краю площади, за мелькающей толпой, и тоже искала глазами. Лейтенанта Зотова, Пашу. А перед ней, весь напряженный, с азартной статью и повадкой, встряхивая черными кудрями, вышагивал Романенко, притопывая ногою и приговаривая все громче:

— Я тебе обещал! Пляши!

Здесь ее и нашел Лаврухин, и не испугался посоперничать в пляске с самим капитаном, и на каком-то повороте, оказавшись с Асей лицом к лицу, сказал, что едет сейчас к лейтенанту. Она обрадовалась, хотя еще вчера знала, что он жив, его видели в станице, а больше ей ничего и не надо. Она и вчера и сейчас, на подводе, удивленно не понимала того чувства, в которое не верила, а оно было. Не в голове, не в сердце, а в каждой клеточке. Сейчас она увидит Пашу.

Когда подъехали, Зотов лежал на зеленой траве, едва начавшей выцветать с верхушек, спиной к минометной трубе, а неживым лицом к ним. И рука была протянута к ним. А под грудью насочилась темная кровь.

— Е-моё! — без голоса протянул Лаврухин.

— Паша! — закричала Ася, она всего раза три и успела

назвать его так, живого, а теперь повторяла: — Паша! Паша!

Она припала к нему, обхватив окровавленную спину, прижимаясь то к ней, то к груди ухом и не веря, что сердца его совсем не слышно.

— Па-а-аша-а!

Что же это? Лучше бы ее убили. Как же она будет жить-то? Сегодня, завтра? «Лучше бы меня! Лучше бы меня...»

Она долго не могла шевельнуться, прильнув к нему, а потом помогла Лаврухину уложить Пашу на подводу, заваленную камышом. Она ни о чем не спрашивала, хотя ничего и не понимала. Так и не сказала ни слова, и Лаврухин молчал, только одно колесо скрипело, а остальные виляли.

Вот гармони донеслись до слуха, и Лаврухин спросил:

— Накрывать плащ-палаткой?

Она не ответила, и он накрыл. Ася судорожно ухватилась за переваливающийся угол подводы, чтобы удержаться самой.

— Паша! — заплакала она наконец.

Долетело, как ноги пляшущих били по земле. Этого не слышал только он один, хотя станица становилась все ближе и земля, что называется, гудела. Еще бы! Она была твердой.

# ЯБЛОКИ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА



1

**Л**ет через пятнадцать после войны моего отца премировали фотоаппаратом.

Я принялся фотографировать всех подряд, словно только и ждал этой минуты, не подозревая, что она станет для меня роковой. Разве знаешь заранее, какая минута бесследно канет в Лету, а какая обретет продолжение в жизни?

Снял отца, который перед тем, как сняться, вдруг вlepил мне ласковый подзатыльник и надел галстук под горло. Припарадился. Смотрел напряженно. Маму снял. Она умылась и причесалась, положила на плечи тонкую косынку, не хотела отставать от отца. Маленькая сестренка Юлдуз, эта пичуга, выгладила ленты, в пучки связала за ушами свои тощенькие косицы (их было штук двадцать), открыв лицо и до отказа вытарашив черные, как пятнышки туши, глаза.

Я сердился, поджидая ее, а она вопила: «Мама, посмотри!» — и бегала через двор в летнюю кухню, к маме, сверкая рыжими от кирпичной дорожки пятками, а потом спросила меня, не надеть ли ей сандалии, но я нетерпеливо ответил, что карточка выйдет «без ног». Крупный план, как сказал бы я сейчас. Юлдузка вытянулась передо мной и предупредила, чиркнув ладонью поперек груди:

— Вот так, Анвар!

— Не учи ученого.

Назло ей, я «щелкнул» Юлдузку во весь рост. Смешная она получилась, с натопырщенными кренделями бантов и босая. Тогда она пищала, обливаясь слезами, а сейчас это ее любимый снимок, и мы вместе смеемся от радости, когда смотрим на него, смотрим в детство.

И почему это люди на фотографиях изо всех сил стараются выглядеть лучше, чем на самом деле? Да не только на фотографиях. Эффектно позировали цари живописцам,

когда фотографии еще и в помине не было. Живописцы приукрашивали натуру, льстили ей. Если художник отказывался от лести, его считали плохим художником, а то и бунтарем. И потихоньку лесть стала сопровождать искусство, быть может, самое святое из всего, что делает для себя человек.

А искусство нуждается в честности. Как зеркало, в которое мы смотримся всю жизнь.

Конечно, люди хотят получше выглядеть перед близкими и перед потомками чаще всего не ради обмана, а из заложенного в них с детства стремления к прекрасному. Но должны ведь они понимать, что приукрашенное — не настоящее. И нет ничего прекраснее самой жизни, а ложь, даже ничтожная, страшна как раз отказом от живого.

Цари? Да, цари бывали мещанами, это факт. И не удивительный. Но художники!.. Что ж, и художники, придававшие властный блеск сиятельным глазам и гордую осанку обряженному телу, бывали мещанами.

Время смело их упоительные шедевры с людской дороги, как сор, но вина их перед людьми не стерта. Это они виноваты в том, что и сегодня иные люди прячут свои самые неподдельные изображения со вздохом: «Не получилось». Не любят жизни. Не любят себя.

Так да здравствует правда, и помни это, Анвар, какие бы обольстительные перспективы ни открывал перед тобой сам дьявол — мещанин номер один. Искус дьявола не искусство. Затверди эту прописную истину. Их, истины, не совестно повторять про себя, как открытия, даже если они старые. Они не приходят в голову без нужды.

Так я думал, шагая по улочке, где вырос.

Тихая улочка наша почти не изменилась. Мой дом лишь постарел и стал казаться мне ниже, чем в детстве. Тот же дощатый мостик накрывал арык перед облупившимися воротами. Та же яблоня выбрасывала ветки со двора на улицу через глиняный забор.

Я шагал по улочке ранним вечером, когда высокое небо над зеленой листвой незаметно становилось сиреневым, смотрел на яблоню и вспоминал, как бабушка не согласилась сесть на приготовленный для нее в саду стул перед фотоаппаратом. Она была верующая, а Магомед запрещает людям копировать природу, усматривая в этом покушение на права первоиздателя.

Я не понимал тогда, почему бабушка отмахивалась от меня костлявой рукой и, ворча, уходила. Все же я ухитрил-

ся, снял ее тайком («скрытой камерой») и торжественно показал однажды после обеда всем, что вышло. Бабушка запричитала, что умрет от позора, руки ее мелко тряслись, пока мама не изорвала фотографию в мелкие клочки.

Но остался негатив. Кадр на пленке. И в этом кадре бабушка сидит на ветхом коврике и перебирает морщинистыми, как кора, руками маш — узбекский горох — в стоящей перед ней миске. Она сидит под яблоней у забора, и про эту яблоню после смерти бабушки я узнал, что дерево, которому сейчас тесно во дворе, выросло из прутика, принадлежавшего бабушке сразу же, едва она услышала о конце войны. О том, что мой отец едет с войны. Живой. Вырыла ямку, посадила прутик, прибила землю ладонями вокруг него и каждый день носила ему воду — тогда вода была в самом конце улицы, где все время шипела над лужей ржавая труба железной колонки.

Угощая яблоками друзей-студентов в Москве, я иногда говорю, откуда эти яблоки, и показываю фотографию бабушки. Все находят фотографию удачной, а бабушки уже нет, и я думаю... вот сейчас иду по своей улице и думаю, что искусство не имеет права на ложь, потому что переживает людей. Это же память. И страшно, если ложь окажется длиннее нескольких жизней, захлестнет поколения. Искусство обязано быть бесстрашным ради потомков.

Я учусь в институте кино. Буду кинорежиссером.

Аппарат, который родители считают всему причиной или виной, был, конечно, лишь каплей, вовремя упавшей на почву моего счастья, как изрек бы краснобай, воспитанный у мраморного фонтана восточной поэзии и не ведающий о ее земных родниках.

Счастья или несчастья?

Второй каплей была моя любовь к школьному драмкружку. Я взалхлеб играл героические роли, потому что, если верить нашему руководителю (он был режиссером, актером, суфлером, а иногда и драматургом — словом, активистом своего дела), у меня подходящее (простое) лицо, заметный (высокий) рост и выразительный (громкий) голос.

А я кричал на сцене от страха...

Мне кажется, я прокричал со школьной сцены героические (правильные) слова на всю жизнь вперед и теперь молчу. Теперь у меня и голос глухой, если приходится сказать два-три слова. Вот — думаю про себя. Есть о чем подумать. Впереди картина. Моя. Первая. Какая? О жизни, это я знаю. Не хочу славы, честное слово, хочу правды, потому



что люблю жизнь. Незнакомую, разную, радостную, загадочную, бессмертную. Я люблю тебя, жизнь!

В раздутом портфеле каждый день я таскал по институту пуды журналов, читал рассказ за рассказом в поисках сюжета, но пока мне ничто не нравилось. То я сам раньше, чем добирался до последней страницы, легко угадывал, чем кончится дело, и не ошибался. Скука. То кончался рассказ неожиданно, но неубедительно, как охотничья басня. Фальшь.

Больше всего я боялся восклицательных знаков, призывающих меня внутренне повышать голос, хотя я не чувствовал ни малейших причин для восторга или тревоги. Они торчали, эти восклицательные знаки, на голом месте, как рога дьявола, на которых живого листка не вырастет.

Я изобрел быструю и удобную систему оценки рассказов с первого взгляда, и при всей своей простоте она, честное слово, еще ни разу меня не подвела. Я скользил глазом по тексту, прикидывая, много ли восклицательных знаков. Чем больше, тем хуже. Их частокол словно бы прикрывал пустоту.

Итак, я не выбрал сюжета. А скоро диплом. Что же делать? Я не знаю.

— О чем ты будешь снимать картину, Анвар? — спросила меня мама, едва я приехал на свои последние каникулы.

Я услышал в ее словах интерес не только матери, но и зрителя, и мне стало неловко перед ней и перед собой.

— Еще не знаю.

— О басмачах,— подсказала Юлдузка, выгребая из вазочки абрикосовое варенье, за которым тянулись прозрачные нити медового цвета.— Об английских резидентах в штабе этого,— она облизала ложечку,— Ибрагимбека... О нашем отряде, который заблудился в песках... Вот-вот мы погибнем, потому что басмачи отравили колодец в пустыне, нам нечем напоить лошадей, но мы не погибаем...

— Почему?

— Согласно историческому развитию,— не задумываясь ответила Юлдузка и вытерла губы.— Мы победили. Ура!

Она большая уже. Десятиклассница. Взрослая совсем. И новая для меня. Я не умею издеваться над собеседниками, сохраняя на лице такое серьезное равнодушие. А она умеет. И при этом по-детски вылизывает ложечку: мы вели разговор за завтраком.

— Басмачи? — спросил я.

Многие художники моего края начинали с них. Жестокое страсти. Схватки. Пальба. Смерть.

А что, если, наперекор Юлдузке, снять небывалый фильм о басмачах, где лошади, наши лошади, напившись отравленной воды, падут, где английские резиденты, снабжавшие басмачей оружием, будут играть не на их низменных инстинктах, их примитивной жажде наживы, а на их обманутой любви к своей пустыне, своей земле,— ведь были и среди басмачей люди с душами, пусть заблудшими душами, а среди резидентов — не дураки... Я поделился с Юлдузкой неожиданным замыслом, но она, убирая со стола в саду, резонно заметила, что я думаю не о главном.

— А что главное?

— Это общеизвестно.

— Ну, если общеизвестно,— огрызнулся я,— то о нем и нечего фильм снимать.

— Когда ты сердишься,— сказала Юлдузка, оценивая меня совершенно женским взглядом, под которым я пожелел,— ты некрасивый... Тебе нельзя сердиться. Вот Саид никогда не сердится...

И это она знает. Все она знает.

Саид — мой друг, одноклассник, а ныне студент, без пяти минут инженер-строитель, как я без пяти минут режиссер. Он был толстым, неуклюжим мальчишкой и довольствовался в драмкружке ролями злодеев. Тогда я относился к нему свысока, а сейчас завидую, сам не знаю почему. Завидую его спортивной выправке и повадке, его всегдашней улыбке. Вокруг него не умолкает смех, он шутник, остряк, хотя и смех этот и его шутки кажутся мне поверхностными, дешевыми... И все равно я ему завидую.

Я завидую его глупой самоуверенности.

Как ни крути, он сделался героем, а я... Растем, меняемся... Почему — меняемся? Нет. Не во всем.

Со школьных лет мы оба любили Гулю, теперь можно сознаться, что любим. Саид уже сказал об этом Гуле, я — себе.

Вот сейчас иду и разговариваю с собой и с ней. Гуля все время присутствует в моих разговорах — бессловесно, улыбается, пожимает плечом.

— Анвар!

Из своего дома вышел и остановился у калитки сутулый старичок с белыми усами, в европейском пиджаке и тубетейке, расшитой шелком. Врач-пенсионер, исцелитель нашей махалли — нашего квартала, неперемный гость на всех

праздниках, где едят горы пахучего плова с гранатовыми зернами на желтом рисе, красными стручками злого перца, который надо заедать зеленой редькой, отдельно плавающей ломаными кусками в больших пиалах с водой. Где едят шашлыки под белым луком, едят манты — пельмени величиной с ладонь, разомлевшие в собственном жиру, и еще, много всего едят, отчего назавтра чуть не каждому необходим исцелитель.

— Как Москва, Анвар?

— На месте.

— Как учеба?

— Идет.

Сейчас последует вопрос о здоровье, и я уже приготовился сказать «спасибо», но услышал:

— Когда будем смотреть твою картину? Вся махалля ждет!

Неуверенная гримаса.

— О чем она будет? Скажи-ка мне, Анвар, если не секрет! Конечно, о любви!

Интеллигент-пенсионер поправил галстук под отвисшим воротником и посмотрел на меня с участием, как знаток всех мук человеческих, в том числе и любовных тайн.

— Трудное ты выбрал себе дело, Анвар. Надо снимать хорошие картины.

Он пустился в критику.

Я молчал, слушая его, и вспоминал...

Третьей каплей, решившей мою судьбу, был фильм «Под небом Сицилии», который я смотрел не раз. Я видел «У стен Малапаги» и «Похитителей велосипедов», но та, сицилианская, история ошарашила меня откровенностью в том, о чем даже думать считалось непозволительным. Девушка и юноша лежали на сене на чердаке, потому что иначе им никогда не разрешили бы жениться их родители, люди разного достатка, и она пришла к нему, и было все чисто, было высоко и свято своей горькой правдой... Может быть, снять фильм о любви?

— Зайди, потолкуем, посоветуемся,— предложил мне старичок, протягивая руку.

— Спасибо,— поблагодарил я, зная, что не зайду.

Мне хочется спрятаться ото всех и самому додумать. Разве я виноват? Я боюсь.

Но сейчас я и думать ни о чем не хочу. Каникулы!

В одной моей руке авоська с луком, в другой — пузырек с машинным маслом, чтобы смазать заброшенный велоси-

пед. Завтра мы всей бывшей школьной оравой едем за город, на реку, будем жарить шашлык, вспоминать разные радости про самих себя, рассказывать анекдоты.

И Саид едет. И Гуля.

2

Гуля вот такая:

у нее волосы стекают по обеим щекам, слегка, непослушно извиваясь;

у нее прямой взгляд, она не щурится, не косит, не кокетничает, а смотрит широко и прямо, не скрывая своей заинтересованности во всем, что ее окружает, ее живые, азартные глаза кажутся мне ее главным украшением;

а нос у нее слегка поддернут — редкость для восточной девушки, но ведь редкость — отличает; будь он поддернут повыше, она стала бы непоправимо курносой, а так — мило...

Мы крутили педали, то рассыпаясь по всей дороге, то сжимаясь в кучу, то растягиваясь цепочкой, чтобы пропустить встречный грузовик, обдававший нас порывом гула и ветра.

Грузовики вздыхали, словно жалея, что не могут присоединиться к нашей веселой компании. Они везли в город овощи и фрукты с окрестной земли, везли еще что-то в мешках и ящиках от одних людей к другим.

И рабочие, ремонтирующие шоссе, завидовали нам. В мятых комбинезонах, перестав махать лопатами, они стояли у жаркого котла со смолой, надвинули кепочки на глаза, чтобы солнце не мешало смотреть нам вслед. Мы промелькнули, не разобрав их возгласов и шуток.

Зато кто-то из нас ругнулся:

— Сколько ни едешь, вечно чинят дороги!

Я усмехнулся про себя: не надо ездить — и чинить будет нечего, будут целенькие дороги.

Потихоньку я отстал, и мне всех было видно.

Ребята гнулись под раздутыми рюкзаками, обещавшими пир у реки. На багажниках тряслись вязанки хвороста. Или, вытянув вбок крепкие ноги, сидели, как амазонки, незнакомые мне девушки, новые подруги старых приятелей.

Пестрые рубашки, легкие платица, джинсы, шорты... На одном плече транзистор с лучом антенны. И прямо-таки небесная музыка падала откуда-то на этот луч. Мы насвистывали под нее и пели.

День был ясным. Ни пылинки, ни дождевики. Вся земля видна, и вся она сияет, как новенькая. Даже в асфальте, как в стекле, отражались птичьи тени.

Я отстал, поджидая Гулю и Саида, которые отстали еще больше.

— Нажимайте! — кричал нам время от времени кто-нибудь из ватаги, катящей впереди.

Но Гуля с Саидом не нажимали. И я тоже... Может быть, вот так и начать картину? Мелькание спиц на солнце, лихая музыка, сосредоточенный я, а далеко за мной — Гуля и Саид, о которых я все время думаю. Это уже сюжет.

О чем они говорят? Саиду хочется все узнать, пока мы не укатили с Гулей в Москву...

Гуля учится в Московской консерватории, перед которой сам Чайковский встречает студентов — кого приглашающим, кого недоуменным жестом, — и уже через две недели мы с Гулей сядем в экспресс, а Саид останется на перроне. Вот тогда я и поговорю с ней. Через две недели...

А пока скользит мимо домов тонкая полоска асфальта, кишлачные мальчишки, будущие студенты, глазуют на нас, подтягивая штаны, а гладкий асфальт уже бежит по полям, где работают мужчины и женщины, и мужчины все с себя скинули, блестят спинами, а штаны подвернули до колен — так легче, а женщины, напротив, бережно закутали лица в белые платки от солнца. Рядом с нами, у самого асфальта, выросли горы зеленокожих, в белой сеточке, как в авоськах, дынь, ожидающих транспорта. Дыни большие, тяжелые, кажется, возьми за сеточку — авоська треснет. Одинокие охранники вырезают себе крупные ломти и едят, подставляя ладони под капли. Мы проносимся сквозь облака дынного аромата.

Наконец Гуля и Саид догнали меня, или я так отстал, что им некуда было деваться. Саид крикнул, опережая меня:

— Мосфильм! Гуля дыню хочет!

Я затормозил возле охранника и увидел, что Гуля дважды оглянулась, потому что я смотрю не на дыни, а на нее.

Ехать в обнимку с крупной дыней стало неловко; я вилял, дыня пахла головокружительно.

Наша компания стояла у закрытого шлагбаума возле переезда. Вернее, не стояла, а сидела на своих велосипедах, по-братски обнявшись, чтобы не слезать и не попадуть. Гуля протянула мне руку, и я уцепился за нее, выпустив

руль и чуть не бухнувшись на землю,— ведь в другой руке я держал дыню.

А Гуля повернулась к Саиду и, блестя огромными глазами, спросила:

— Почему это ты счастливый?

Я держался за ее плечо, перестав дышать. Почему это Саид счастливый? Интересно. Он выдернул сигарету из кармашка рубахи, чиркнул зажигалкой, задымил.

— Да потому, что мое дело ясное. Буду строить.

— Что?

— Домá.

— Где?

— Хотя бы вот здесь.

— А почему здесь?

— Мой профессор сказал, что с моими отметками я далеко не уеду! Ха-ха-ха!

Гуля улыбнулась, а я захохотал громче Саида, вышло бы совсем неприлично, если бы колеса проходящего товарняка не подмяли под себя мой хохот.

Саид посмотрел мне в открытый рот.

— Мосфильм! А чем ты порадуешь зрителей? Человечество ждет шедевра!

Сам не знаю, откуда на меня что нахлынуло. Может быть, оттого, что надо было перекричать гроыхающий товарняк, может быть, оттого, что Гуля была рядом, я крикнул:

— Будет шедевр! Готовьте аплодисменты!

И сейчас же мне стало мучительно стыдно, хоть сквозь землю проваливайся, где стоишь.

— А? — спросили хором Гуля и Саид.

Они все же не расслышали. Колеса стучали спасительно. Укатил последний вагон, и Саид повторил:

— А?

— Иди к черту.

Медленно всплыл шлагбаум и стал похож на деревянную зенитку, нацеленную в пустое небо. Мы рассыпались и поехали, подгоняемые сигналами скопившихся сзади машин.

Шоссе перед нами перебежали овцы. Барабаня копытами, отара валила густой, многоногой массой, и мы, смеясь, запутались в ней. Я увидел, как Гуля упала, потому что не спускал глаз с ее белой блузки и красных брючек, сам свалился, швырнул велосипед и дыню на обочине и бросился на вырубку, расталкивая жалобно блеющих овец.

Поджав ушибленную ногу, Гуля уже прыгала мне навстречу, Саид, гикая, распугал овец и раньше меня подал Гуле руку, зато я вытащил из-под овечьих копыт и подкатил Гулин велосипед.

— А педаль? — спросил Саид.

Гуля стояла рядом с ним, обняв его... нет, держась за его плечо. Глянула на свой велосипед и озабоченно и неумело свистнула. Я тоже глянул: педали не было.

— Вот она! — крикнул Саид и, доверив мне Гулю, прыгнул через кювет и снова врезался в отару, настигая барана, на крученном роге которого висела педаль.

Мы с Гулей ждали.

А ведь можно было спросить, крепко ли она ушибла ногу, но даже на это у меня не хватило ума. Верно, Гуля считает меня глупым. А тут и Саид вернулся с педалью в руке.

— Дети! Собирайте металлолом!

— Как же я поеду, ребята? — спросила Гуля.

Ребята — это относилось и ко мне.

Возле нас остановился мальчишка с длинной хворостинной в руке, погонщик отары, курчавый, словно на его голове были не собственные волосы, а баранья шапка. Стоял и тарасил на нас шустрые глаза с усмешкой.

— Начальник, — обратился к нему Саид, — а начальник! Твой баран виноват.

— Чего? — сразу обиделся мальчишка.

Но Саид продолжал:

— С барана какой спрос? Ноль целых ноль десятых. А тебе отвечать.

— Чего? — еще непримиримей повторил мальчишка.

— Отвечай! Есть у вас кузнец?

— Чего? — не сразу понял мальчишка, но тон понизил.

— Где ближайшая кузница? — спросил Саид проще.

— Там!

Мальчишка махнул рукой вслед отаре и быстро запрыгал за ней, подозрительно оглядываясь на Саида.

— Как нога у чемпиона? — спросил Саид Гулю. — Можешь ехать?

— Сейчас, — ответила Гуля и опустила ногу. Она больше испугалась, чем ушиблась. — Могу.

— Ситуация ясна, — сказал Саид. — Один из нас поджентльменски, то есть по-рыцарски, отдает Гуле своего коня, а ее велосипед доставляет к этому самому кузнецу, ремонтирует и догоняет нас. Кто куда, сейчас решим. Чест-

но.— Он порылся в кармане и выгреб монетку.— Орел или решка?

Я ответить не успел, как Гуля поймала подброшенную монету, взблеснувшую на солнце.

— Я так не хочу.

— Всем идти? — спросил Саид.— Глупо.

Мы с ним долго смотрели друг на друга. Я поднял и толкнул к Гуле свой велосипед, ее велосипед вскинул на плечо, вырвал у Саида педаль и махнул через кювет. Это вышло красиво. Там я опустил велосипед на траву и покати за пыльным облаком, висевшим над отарой. Овцы выбивали пыль даже из-под травы, и облако перемещалось не оседая.

— Может, я пойду? — крикнул Саид.

Я шел и думал, что главное — не оглядываться, а то пропадет все благородство моего поступка. Я же казался себе сейчас благородным. Просто взял велосипед и педаль и пошел, так и не сказав ни единого слова.

Но почему и Гуля не сказала ни слова? Сядет на мой велосипед и уедет с Саидом?

Еще через несколько шагов я стал казаться себе дураком, хоть и благородным. А дыню они взяли? Я оглянулся. Уже не было видно ни Гули, ни Саида, ни дыни. Я увидел пустое шоссе и показался себе дураком без всяких эпитетов.

Сломанный велосипед катился, изредка натываясь на кочки в траве, и звонок на руле вздрагивал и тренькал, как колокольчик на шее ягненка.

### 3

Никогда я не видел таких садов. Никогда тут не был,— а всего-то полтора часа езды от города на велосипеде. Уже давно дорога — две колени в траве — врезалась в сад, а он все не кончался.

Меня окружали невысокие деревья, сплошь засыпанные яблоками. Убери из-под веток рогатые подпорки — и ветки захрустят, обломятся, и яблоки рассыплются по земле. Крупные, крепкие, краснобокие. И покроют сплошь землю.

Их изобилие ошарашило меня так, что я не сразу подумал о людях, копавших эту землю, чистивших эти арыки, ставивших эти подпорки. Я остановился в саду. Я смотрел на сад, будто читал хрестоматию.

Вылетев из-под ветвей, около меня вдруг шлепнулось яблоко. Второе я поймал и наклонился посмотреть, кто его



бросил. В глаза, как взрыв, ударило солнце. Я прикрыл их ладонью, но лучи ломались о растопыренные пальцы и сквозь солнечную сетку все рябило, как сквозь дождь...

Все же я разобрал: в глубине сада стояли на лесенках-стремлянках девушки, рвали яблоки и складывали в высокие плетеные корзины. Я хотел подойти, сказать «спасибо» и посмотреть в их лица, закрытые ветками и солнечным дождем, но тут возле меня остановился тракторок на резиновых колесах со сцепом из трех платформ, заставленных переполненными корзинами. Тракторист моего возраста в майке-безрукавке и выгоревшей добела тубетейке, добродушно спросил:

— Авария?

Мы втиснули велосипед между корзинами на последнюю платформу и поехали. Я отдыхал, свесив ноги с платформы и со вкусом уплетая сочное яблоко. Тракторок, зеленый, как кузнечик, стрекотал тоже как кузнечик. Яблоки, одно в одно, подрагивали в корзинах, как ядра.

Ссаживая меня у большого арыка, похожего на реку, с ровными берегами в молоденьких талах, выстроившихся вдоль желтой воды, водитель посоветовал мне:

— Ты отдай кузнецу велосипед, пусть сделает, а уж тогда заплатишь ему. Станешь заранее торговаться — прогони. Он у нас жмот.

У меня в кармане лежало меньше рубля. Я ведь купил дыню...

— Спасибо, что предупредил.

Кузня — длинный сарай с насквозь прокопченными стенами — темнела на солнце у самого арыка. Над арыком висел мост, по которому укатил тракторок с яблоками. Тонкие талы — стройные, как стрелы, деревья — лесенкой накладывали свою тень на желтую воду, и вода бежала, а тени на ней дрожали, не двигаясь с места. За талами виднелся край невысокого настила колхозной чайханы, пустой в эти рабочие часы. Самовар-гигант дымил на земле паровой трубой, а дальше краснела черепица кишлачных крыш в пятнах пенящейся зелени.

Сутулый от работы кузнец с продольными, похожими на рубцы морщинами на темных щеках, повертел в ручищах педаль и коротко буркнул:

— Ну, трешка...

Я проямлил какие-то невразумительные слова, он нахмурился и уточнил:

— Денег нет?

— Я студент.

Его голос прозвучал погромнее:

— Ну вот, как образованный — так платить нечем...

Я испугался, что он и правда прогонит меня, и стал клясться:

— Привезу. Честное слово, привезу.

— Где учишься?

— В Москве, — сказал я, стукнув себя кулаком в грудь и считая, что это сразит его, но он бранчливо протянул:

— Э! Москва далеко!

— Привезу, — повторил я, опустив руки.

Он качнул головой, скорее покладисто, чем недоверчиво:

— Хе! Не забудь.

И толкнул велосипед в кузню, как в печь, где метались отсветы пламени. Я присел на порожек, возле которого ржавой кучей громоздился всякий железный хлам.

Желтая вода текла мимо меня жирной гущей, будто не земля растворилась в ней, а масло. А может, наша земля такая жирная? Резко и беззвучно чиркали по небу стрижи. Затенькал молот, и, желая сказать доброе слово мрачному человеку, я обрадованно крикнул:

— Хорошо у вас!

— А? — спросил он, не переставая звенеть молотом за моей спиной.

— Хорошо у вас!

— А?

— Хорошо! — крикнул я во все горло, и звон оборвался.

— Не мешай работать, — строго сказал кузнец. — Иди чай пить. Сиди там тихо и жди.

Я поднялся и пошел к большому самовару. Плавный бег воды отражался в нем, будто она мыла его бока. И они блестели. На всем широком настиле чайханы сидел один старичок, такой маленький, что самовар прятал его. Он сидел, отставив в вытянутых руках газету далеко от глаз, вооруженных очками. Очень старый старик, сжавшийся, сохшийся. Лицо, обожженное вечным загаром, казалось слепленным из одних складок, и совсем-совсем белые, до бесцветности белые усы висели на нем, как неживые, приклеенные рукой плохого гримера.

Он услышал мои шаги, поднял на меня глаза в крохотных щелках, посмотрел поверх очков, заранее встречая меня улыбкой. О, это был потомственный чайханщик! Уж наверно всю жизнь прокомандовал этим самоваром. Таковую улыбку вырабатывает профессия...

— Салям! — поздоровался я с ним.

Он ограничился кивком затрясшейся головы, глубоко вздохнул и сказал, прогнав улыбку с лица:

— Пишут — умер Герой Советского Союза Юнусов.

— Ваш знакомый?

— Нет, — сказал он, отложив зашуршавшую газету. — У нас столько героев! Всех никогда не узнаешь...

— Да, — из вежливости подтвердил я, — кого-кого, а героев у нас много.

— В одном нашем кишлаке двенадцать человек! — тут же воскликнул старик.

— Ого!

— Не веришь?

У каждого чайханщика свои истории, свои рассказы, только и ждут, чтобы клюнул слушатель, расставляют приманки. Но у меня было время, и, ничем не рискуя, я спросил:

— Двенадцать героев? Кто да кто?

Старик засмеялся, как мальчишка, трогательно и безудержно.

— Думаешь, вру? Пожарник Мукимов — раз... Ты садись, садись... Как тебя зовут?

— Анвар.

— Садись, Анвар... У, на войне наш Мукимов сто раз показывал, какой герой, и сейчас показал бы, да не может. Ничего не горит!

Старик опять рассмеялся. Э, да он был еще и веселым человеком, шутником. Впрочем, так же внезапно оборвав смех, чайханщик философски сказал:

— Время идет, люди умирают.

И забыл об остальных одиннадцати героях, неуклюже спрыгнул с настила, заковылял к самовару.

— Сейчас заварю тебе чай. Свежий. Знаешь, сколько способов заварки существует? Сто. Но я тебе открою сто первый. Самый лучший.

— Какой?

— Всегда заваривай свежий.

— Спасибо, ата.

Ошпаривая чайник кипятком, он сообщил мне еще одну удивительную новость, вспомнив о героях:

— Из нашего кишлака басмачей выгнал Чапаев.

— Хм! — не сдержался я, но старик не расслышал: самовар пел, струя журчала, клочотала в чайнике.

— В моем дворе стоял его конь. Черный жеребец. Из ноздрей огонь летел. После я на нем в поле работал.

И посмотрел на меня придирчиво.

— Опять не веришь?

— Наверно, нам в школе неправду говорили...

— А что вам говорили в вашей школе? — спросил он, поднося чайник с двумя пиалушками.

— Ну, говорили, что Чапаев воевал на Урале.

— Там был Чапаев. И здесь был Чапаев. Узбекский. Миршарапов Миркамиль. Не слыхал?

Я пожал плечами.

— Ай-вай! Чему вас в школе учат?

Как все старики, он был и ворчуном.

— Я уже в институте, ата.

— Чему вас в институте учат? — повторил он, не смущаясь, и заинтересовался, а что я стану делать, когда выучусь.

Я не любил этого вопроса, но никогда не врал.

— Кино снимать.

Беззубый рот старика помаячил передо мной темной ямкой под снежными усами. Потом чайханщик одним пальцем огладил усы, словно боялся, что они отвалятся, если тронуть неосторожней, и сказал:

— Я сам в кино снимался.

Невольно подавившись чаем, я обжегся, закашлялся.

— Когда, отец?

Он молчал, наверно не зная, что ответить, и тут уж я заприставал:

— Давно? А? Недавно?

— Недавно, — мирно ответил он. — В сорок первом году.

Меня тогда еще не было, но сейчас и я был уже не ребенком, чтобы слушать сказки то про жеребца с огнем в ноздрах, то про кино съемку.

— Где же вас снимали?

— В Москве.

Один глаз его был прищурен, а другой плутовато сверлил меня: что, мол, не веришь? А я считал: в сорок первом году ему было за пятьдесят, не меньше. Что он делал в Москве? Ах, фантазер! Милый фантазер-пенсионер!

— Вы защищали Москву, ата?

Старик одернул довольно ветхий халат на груди, будто к съемке готовился.

— Я возил туда яблоки.

Ну вот, думал-думал и придумал, выкрутился из поло-

жения. А может, это была его история, его легенда, хранимая за пазухой для удивления гостей, и герой Юнусов, и пожарник Мукимов, и Миркамиль-Чапаев, который был, конечно, похрабрее Мукимова,— все, как ступеньки, вели к этой легенде... Сорок первый год... Москва...

— Яблоки? На фронт?

— Тридцать семь вагонов.

— Один возили?

— С товарищами. Адыл-ака и Мансур-ака. Достойные люди.

Легенда началась... Я попался. Кому они были нужны там, яблоки? Там, в Москве, где не хватало снарядов. В сорок первом году... Ведро угля было дороже вагона яблок. Москву защищали лютой зимой. Я об этом читал. Но о чем же рассказывать чайханщику, который жил в яблочном саду? Я молчал себе, уважая его седину и все же улыбаясь. Наверно, поэтому он сказал:

— Мне и тогда не верили...

И поплелся к самовару долить чайник. На затылке его скручивались, выползая из-под тюбетейки, жидкие седые космочки.

Я бы постарался запомнить его слова, если бы знал, что сяду и начну об этом писать... Теперь пишу своими словами.

#### 4

Паровоз вышвырнул облака пара. Затолкались вагоны. Товарный состав не сразу остановился на станционном пути.

Их было много, этих путей, и ни один не пустовал.

Совсем рядом стояли платформы с пушками. Они угадывались под брезентом, измятым встречными ветрами. Пушки были громадные. И возле них, как полагается, прохаживались часовые.

Ждал отправки эшелон с бойцами. Они толпились в дверях теплушек, лепились друг к другу, выглядывали на свет, словно им показывали что-то самое интересное.

Сердце старика давило, когда он смотрел на них. Если бы он мог задержать эшелон, он задержал, остановил бы, но для этого надо было остановить войну, и он только смотрел на молодых ребят, а в некоторых вагонах пели.

Вытянулся пассажирский поезд, идущий неизвестно куда. У него не было ни конца, ни края, ни паровоза. А был

набит он битком — в каждом окне торчало несколько голов, и все больше старые люди, женщины и дети. Они назывались беженцы. Почему — беженцы? Ведь они ехали к незнакомым друзьям, готовым разделить с ними кров и горе, а не бежали куда глаза глядят.

Беженцев старик мог видеть на вокзале в Ташкенте, куда приезжал во время войны, наверно, хоть раз. Поезда с беженцами прибывали каждый день, каждую ночь. До сих пор в нашей махалле получают письма от давних постояльцев... Пушки под брезентом, эшелоны с бойцами, которым кричали: «По вагонам!», мелькали во всех военных фильмах. И все же я удивлялся, до чего похоже заселял старик станцию, правда, чересчур густо, но... Божий дар! Тут уж ничего не попишешь...

Вот, пожалуйста, еще подкатил и замер санитарный состав. В вагонных дверях показались девушки. Шинели нараспашку, а под шинелями — белые халаты.

Ну, это уж литературный штамп, просто из газеты. А газеты тогда старик читал, конечно, чаще, чем сейчас. Война, сводки...

— Как она называлась, эта станция, ата?

— Узловая.

Я хотел доказательств и снова улыбнулся:

— Простите, ата, но это не название.

— Название,— повторил он спокойно.— Узловая. Я помню. Большая станция. Не веришь — спроси. Очень большая.

Все кажется преувеличенным в выдуманном, сказочном мире. Это я понимал.

Из огромной двери огромного вокзального здания вышел под стать этой двери, этому зданию высоченный командир, а за ним высыпали табуном разные люди, военные и гражданские, которых придерживал боец с винтовкой в руках, но придерживать не смог, хотя и он, конечно, был великаном. Один, с зелеными петлицами, загородил дорогу командиру, кричал:

— Комендант! Вы ответите! По законам военного времени!

Комендант сурово согласился:

— Сейчас других законов нет.

— Уголь будет? — спросил его другой, в шинели внакидку.

— Будет.

— Когда?

— Не будет — его самого в топку кинуть! — крикнули из толпы.

Старик смотрел и думал, что комендант обидится, рас- свирепеет, но тот устало успокоил своим низким голосом:

— Успеете.

— Вы задерживаете отправку раненых!

— Знаю.

— У вас нет чувства ответственности!

— У меня нет толкача, — со вздохом объяснил комендант человеку с зелеными петлицами. — А вам в гору тянуть... Встанете на этом уголке... Хотите стоять в открытом поле? Если и хотите, не позволю. Свободный путь нужен.

Подбежал еще один богатырь, мужчина, весь крепко перетянутый ремнями крест-накрест. Старик подумал, что у него тяжелый вьюк за спиной, даже заглянул за спину и удивился, что на спине ничего нет, кроме ремней. Его комендант спросил:

— Отдадите паровоз раненым?

— Как? Везу оружие...

— Слыхали? — для всех сразу выпалил комендант.

Богатырь пожал ему руку. Попрошался и побежал вдоль залязгавшего состава с пушками под брезентом. Все понимающе посмотрели ему вслед и увидели старика.

Он стоял в своем узбекском халате и тюбетейке, виновато сутулился, смотрел на коменданта снизу вверх. Над комендантом поднималось беспредельное небо цвета шинели. С неба моросил дождь. Лакированный козырек комендантской фуражки блестел.

— Кто такой? Откуда?

Темной ладонью старик молча показал на свой товарняк.

— Что везете?

Старик помедлил, быстро поморгал дрожащими веками и сказал:

— Яблоки.

Он приятельски улыбался и ждал, что комендант взревет: «Что-о-о?»

Я слушал старика под летним небом, в котором носились стрижи, у воды, изрезанной тенями, и думал: да-а, хорошо врет старый чайханщик. Его не смущало, что о том, какой поезд подъезжает и с чем, комендант должен был знать до прибытия состава. Железнодорожные порядки, наверно особенно строгие во время войны, не заботили стари-

ка. Он придумывал себе препятствия и неумолимых людей. И все придуманное сразу казалось ему живым.

Вот так, как сейчас он мне улыбается, присобрав все свои морщины у добрых глаз, он улыбнулся коменданту и повторил:

— Яблоки везем.

И вокруг заусмехались, только лица почему-то были недобрыми. Ни одного дружелюбного лица. А лицо коменданта налилось кровью.

— Бросьте шуточки шутить. Война все же!

— Клянусь аллахом!

Комендант не оглядываясь позвал:

— Безбородов!

— Я! — гаркнул великан с винтовкой.

Комендант спрыгнул вниз и стремительно, вразмашку, зашагал по шпалам, вдоль перрона. По пути велел еще одному часовому, совсем юному:

— За мной!

Ну конечно, он мобилизовал против старика все свои силы. Старик спешил за ними, пытаясь обогнать, чтобы объяснить, какие яблоки, кому, спотыкался о шпалы и пританцовывал от неудобства, но обогнать не мог. Полы халата заплетались между коленями. А тяжелые сапоги военных все быстрее печатали шаг перед его глазами. Печатали властно.

И пока шли они и трусил за ними жалкий старик, над станцией из невидимого репродуктора гремел печальный и могучий голос:

— В течение ночи положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков и мотопехоты. Оказывая врагу героическое сопротивление, нанося ему тяжелые потери, наши войска вынуждены были отступить...

— Куда же, — спросил юный боец Безбородова, выкатившего глаз в сторону голоса, — отступили-то?

— К Москве, — тихо сказал Безбородов.

Замелькали бойцы в раздвинутых дверях теплушек. Двинулся и этот состав. Девушки в ватных куртках (не знал фантазер расхожего в военную пору, но не долетевшего сюда, до кишлака, до его ушей, а мне знакомого по книгам слова «телогрейка») перестали бросать лопатами хрустящий щебень в путевых промежутках и, подняв головы, смотрели вслед незнакомым и безымянным для них



женихам. Одна заплакала, прикусив платок. Возле нее топтался раненый из санитарного поезда, дымил самокруткой, сунутой под бинт на лице, крикнул ей с неуместным смехом:

— Догони, спроси полевую почту!

Но девушка не сдвинулась с места, и другой раненый, утопив в щебенку свой костыль, на который налегал всем телом, вдруг сказал:

— Чего догонять? Скоро назад поедет. Вроде нас.

Старик поравнялся с комендантом у вагона, из которого выглядывали друзья старика, те достойные люди, один в очках, съезжающих с носа, другой с грубой палкой в руке, бывшей когда-то узловатой и крепкой веткой карагача.

— Мансур-ака,— с одышкой сказал старик, представляя их коменданту,— и Адыл-ака.

Те закланялись, приложив руку к сердцу. Очки едва совсем не упали с длинного носа Мансура, и он беспокойно подтолкнул их к глазам, сверлившим коменданта в трепете, в испуге.

Комендант двинул кулаком в воздухе, будто открывая дверь вагона:

— А ну!

Безбородов стукнул прикладом по щеколде соседнего вагона и пихнул дверь плечом. Она отъехала, обнажив дощатые ящики, в щелях которых, на удивление часовым, покраснели яблоки. Какие-то ящики разбились в пути от тряски, и яблоки посыпались наземь.

— Товарищ лейтенант! — сказал изумленный Безбородов.

Гулкий голос его прозвучал почему-то радостно.

Мансур-ака и Адыл-ака торопливо спрыгнули вниз и принялись подбирать яблоки. Юный боец тоже наклонился, стал помогать и машинально передавать яблоки лейтенанту, а потом складывать в полу шинели, приговаривая:

— Было, было, а такого еще не было...

Лейтенант спросил, угрожающе потрясая яблоком перед лицом старика:

— Куда же это вы нацелились?

— На фронт,— ответил старик и порылся за пазухой.— Вот... бумага... Читай. В Москву едем.

Но лейтенант махнул рукой, не желая попусту тратить время.

— Безбородов!

Старик встал между комендантом и Безбородовым:

— Колхоз писал!

Лейтенант отодвинул от себя стариковскую руку, потом всего его отодвинул и крикнул:

— Яблоками фашистов думаете перебить?

— Ешь! — неожиданно сказал старик и подмигнул ему.

Он протягивал лейтенанту еще одно яблоко. Лейтенант крикнул, посмотрел на то яблоко, которое уже держал в руке, откусил и серьезно пожевал.

— Витамины, — объяснил старик, внимательно и выжидающе вглядываясь в его лицо.

А лейтенант неожиданно ухмыльнулся:

— А вкусное... Слаще нашего, украинского.

— Вспомнил? — просиял старик.

Тут я ждал быстрой и счастливой развязки в рассказе старика, но ошибся.

Лейтенант нахмурился, не прощая себе мальчишеской слабости:

— Отцепляй паровоз!

И Безбородов резво побежал к паровозу. А лейтенант, зло и спешно догрызая яблоко, повернулся к старику спиной и вместе с юным бойцом зашагал к перрону.

Тут Мансур выпрямился и слабым голосом, но возмущенно спросил лейтенанта:

— А где начальство? Будьте любезны...

— А! — взмахнул перед ним, как перед несмышленишем, своей тяжелой палкой Адыл, прихрамывая за лейтенантом.

Лейтенант даже не оглянулся, — наверно, не услышал. Адыл остановился и начал молиться. А старик беспомощно вертел головой, глядя то на убегающего Безбородова, то на уходящего лейтенанта. Нет, какая бесчувственность... Отцепляй паровоз! А яблоки? Он сорвался с места, настиг лейтенанта, схватил за локоть и повернул к себе:

— У тебя мама есть?

Лейтенант привык к гневным голосам и ответил мирно:

— Мама? За Днепром моя мама... Слыхали — Днепр?

От страшной усталости и воспоминаний он затих и ждал, а старик обрадовался:

— Днепрогэс!

Комендант отбросил огрызок яблока под немые колеса товарняка:

— Гитлер там. А тут — яблоки.

Старик снова догнал его, подскочил, схватил за плечо, затвердил свое, норвя заглянуть в глаза:

— Мама тебе в дорогу бомбу давала? Снаряд давала? Мама дала тебе... пирожок...

Он долго искал это слово, как разительный довод, но лейтенант не слушал, отмахивался, зря старик бежал и бежал за ним. А навстречу уже катил паровоз с Безбородовым на подножке. Старик остановился и кричал вдогонку лейтенанту:

— Снаряды надо, витамины не надо?

Он кричал еще что-то, уже неслышное за шумом паровоза, размахивал руками, а паровоз набегал, свистя пронзительно, как в два пальца, и хромой Адыл с очкастым Мансуром едва успели оттянуть старика с рельсов, по которым пронесся паровоз.

## 5

Я поймал себя на том, что на какой-то миг поверил было рассказу. Что за сила — фантазия! Вдруг возьмет и сотворит из откровенной выдумки почти правду, совсем правду, невозможную правду. Могучая силища! И я вовремя предостерег себя: «Не поддавайся, Анвар!» А старик разошелся, оснащая легенду новыми подробностями, подсекая меня, как умелый рыболов глупую рыбу, разинувшую рот на приманку.

...Ночью сидел он не в вагоне со своими спутниками, а в дежурке военного коменданта.

Босой Безбородов перематывал портянки, натягивал сапоги, стараясь не топтать, потому что на лавке, за голым столом с телефонами, спал лейтенант, закрыв лицо фуражкой.

Под безудержный гудок паровоза за стеной грохотал состав. Дрожмя дрожали стекла в дежурке, но лейтенант не просыпался, привык к гудкам и оконному ознобу. Безбородов крихтел:

— Едут, едут... Все в ваши края. Станки везут... Беженцев с детьми везут... Подальше от фронта.

Грохот пронесся и быстро растаял в ночи. Тишина стала жуткой, будто станцию отрезали от всего мира.

Старик достал яблоко из глубочайшего кармана халата и протянул Безбородову. Тот взял, сдавил яблоко пальцами.

— Чудной вы, отец... Правда... Такая война — и вдруг яблоки!

Он положил яблоко на подоконник, в ряд, где их скопилось уже не меньше десятка.

— Значит, это ваши женщины догадались такой подарок на фронт послать?

— Старухи тоже, — грустным шепотом ответил старик. — Барышни тоже.

— Одним словом, бабы, — заключил Безбородов, вставая. — Послали яблоки, а компот получается.

— Правильно ты сказал, сынок. Комфот!

Безбородов повертел ногами, поскрипел подошвами и посоветовал сердечно:

— Вертайтесь домой с попутным ветром. А яблочки свои раздайте.

— Кому?

— Раненым. Видали, сколько их?

Старик подумал, но не согласился и даже покрутил пальцем у лба, намекая, что советчик рассудил не очень-то умно.

— Раненых везут в Ташкент, в Самарканд, в Бухару. Там яблоки есть. Дыни есть. Виноград есть. А в Москве нету!

— Мало ли чего в Москве нет, — неожиданно сказал лейтенант, толкнув фуражку на затылок, и сел на лавке. — Хотите, я вас в санитарный посажу? До дома!

— Зачем — санитарный? Я здоровый.

— Бумагу дам, что отобрал паровоз.

— Лучше дай паровоз, а бумагу оставь себе, — огрызнулся старик.

— Да не сердись ты, дед. Ты пойми... Мне толкач был нужен. Вот так! — объяснил лейтенант, полоснув себя ладонью по горлу. — Для раненых. Понимаешь, дедуся?

— «Вот так» — понимаю, — сказал старик, повторяя жест лейтенанта. — «Толкач» — не понимаю.

— Вы-то к нам с горы скатились, — помог лейтенанту Безбородов, — а назад дорога поднимается в гору, в гору, в гору. Два паровоза надо — впереди и сзади. Ясно?

Старик печально покивал седой головой.

— Ну вот. А еще уголек какой? — охотно продолжал Безбородов. — Пыль! Паровозишки только кашляют. Ни тпру, ни ну...

Старик снова кивнул головой, прикрыв глаза.

— Гроб без толкача, — перебил помощника лейтенант. — Вот я ваш паровозик и тю-тю. Мобилизация. Ничего не поделаешь, война.

— Правильно говоришь, начальник, — одобрительно заключил старик. — Все правильно.

— Договорились? — обрадовался лейтенант.

Старик прищурился и сказал вызывающей скороговоркой:

— Черта с два!

Лейтенант даже не понял:

— Что-что?

— Черта с два! — повторил старик медленней и раздельней. — Не договорились. Ни хрена!

— Во дает старик! — удивился Безбородов. — А слова «толкач» не понимает!

И засмеялся на всю дежурку, поскольку не для кого уж было беречь тишину. Лейтенант придавил окурочек.

— Как знаешь, отец. Помощи от меня не жди.

— А кто поможет?

— Один аллах, — улыбнулся лейтенант.

Старик посмотрел на него неприязненно.

— Мне аллах всегда помогал... Был я молодой, как ты, — показал он большим пальцем на Безбородова, — коня хотел. Где коня взять? Просил аллаха. Каждый день просил. Аллах сказал: «Покажи в свой кишлак дорогу Чапаеву — получишь коня». Не обманул... Хороший конь мне достался... Я стал с конем как бай и женился. Такой, как ты, — показал он теперь на лейтенанта. — Стал дом просить у аллаха. Аллах научил: «Иди в сельсовет». Я пошел. Дали дом. Быстро. Через год... Через два года... Большой дом... И сейчас там живу. Видишь, аллах добрый!

Безбородов еще раз от души гоготнул, а старик рассердился:

— Зачем смеешься?

Тот осекся. Старик поглядел на лейтенанта:

— Аллах один на всех. И все его просят — то давай, это давай, это сделай, это не сделай... Совесть есть? Голова есть? — Он треснул себя по лбу. — Рука есть? Зачем «аллах поможет»? А ты — нет?

Лейтенант молчал. И Безбородов молчал. То ли смущенно они молчали, то ли терпеливо. За окном снова раскатился колесный грохот. Дверь распахнулась, юный часовой доложил с порога:

— Шестьдесят второй прошел.

Старик поднялся и слушал, как долго дрожали стекла.

— Ты плохой начальник, — прошептал он.

Лейтенант обиженно спросил:

— Это почему же я плохой?

— Человек, а ничего не даешь,— сказал старик и пошел к двери мелким старческим шагом.

Юный часовой уступил ему дорогу, а лейтенант крикнул:

— Куда?

— В Москву,— ответил старик, повернувшись в дверях.— Пешком пойду... Принесу и покажу своим детям...— Он вынул из бездонных карманов по яблоку и подержал на ладонях.— А больше нет... Все яблоки лейтенант Пинчук — тю-тю...

Услышав свою фамилию, лейтенант недобро покосился на Безбородова. Тот пружиной вытянулся:

— Разрешите идти?

И выбежал.

Старик засеменил за ним.

— Подожди, отец... У тебя что, сын на фронте?

Старик опять посмотрел на лейтенанта:

— Все... там, на фронте, в окопах... мои сыновья. Сидят, холодно, пули, бомбы — война... А я им яблоки везу. Что есть, то везу... А ты... — укоризненно покачал он головой, — тю-тю!

— Ну и вредный ты, дед!

Лейтенант посмотрел в окно и спросил у юного часового, переводившего глаза с одного на другого:

— Как там наши старички в депо, разогрели «кукушку»?

Старик насторожился. Боец ответил:

— Вроде шипит...

Старик сунул ему яблоко из своей руки. Лейтенант вздохнул и почему-то посоветовался с юношей, как будто тот был здесь самым главным начальником:

— Отдать им эту «кукушку»?

— Конечно, товарищ лейтенант! — вскрикнул боец.— Яблоки... не боеприпасы, но моральный фактор!

— Отдам я вам эту «кукушку»! — рассердился лейтенант.— А больше у меня ничего нету. Сдернет она вас с места — ваше счастье.

Старик онемел.

Он и сейчас был счастлив, вспоминая и заново переживая радость своей немислимой победы. Мелкие глаза стали большими, чуть не во все стекла очков, которых тогда у него еще не было. Даже крепкие, казалось — вечные, складки на лице разгладились, а лоб приморщился, словно это взлетевшие полоски сивых бровей подтолкнули кожу к тубетейке. Под белыми усами опять затемнела ямка рта.

Он был не только фантазером, конечно, он был актером. И себе не давал передышки, и мне не давал опомниться, что называется, держал в напряжении.

И пошла «сцена» на «кукушке», стареньком-престареньком паровозике, который долго силится и не мог сдернуть с места вагоны с яблоками. Ходуном ходили рычаги, пыхтела машина, утопая в клубах собственного пара, но колеса без толку крутились на месте. Они забыли о бесконечных рельсах давным-давно. Руки старых мастеров вернули «кукушке» дыхание и голос, но не могли вернуть молодой силы, которой требовала дорога. Живая дрожь пробегала по составу — и только.

Из одного вагона испуганно следили за пыхтящей «кукушкой» Адыл и Мансур и ждали, что же будет. Адыл изредка вздымал к небу глаза и руки.

Белобородый, как леший, машинист суетился на паровозе. Старик был около него и горько похлопывал своей рукой то по плечу машиниста, то по стенке паровоза:

— Ты старый, я старый, и он старый...

— Нам главное — разбежаться, — возражал машинист. — А там — не остановишь... Там он заиграет, как молодой!

И дергал за разные рукоятки.

— Да, да! — соглашался старик. — Как молодой!

Тут он выглянул в окно и переполошился. Сквозь пар, одевший полстанции, к ним рысью приближался Безбородов.

— Вай-вай! — панически забормотал старик, знаками сигналивая старому машинисту о беде, — от растерянности у него пропал дар речи.

Безбородов вспрыгнул на паровозную подножку:

— Приказ лейтенанта: с глаз долой! Живо! Санитарный идет. Без толкача.

Машинист сунул ему в руки песочницу. Соскочив, Безбородов начал сыпать горстями песок на рельсы, под колеса паровоза, будто приманивал его.

— Кнута бы ему!

Паровозик, видно, испугался кнута, напрягся — и чудо свершилось, эшелон тронулся. Медленно-медленно, быстрее-быстрее...

Мансур прижал очки к носу. Адыл взмахнул руками, чтобы восславить аллаха, и чуть не вывалился из вагона. Счастливый машинист стер с лица пот, оставив за ладонью грязный след.

— Ну вот...

А старик сдвинул плечо машиниста, показывая на встречный дым:

— Санитарный... Отцепляйся, что ли...

— А?

— Гроб без толкача...

Стоял санитарный недолго, пока отцепляли и перегоняли к нему «кукушку». За это время три узбека успели подтащить к нему три ящика с яблоками.

О чем мог еще придумывать и рассказывать старик? Только о своих яблоках...

Из-под вагонов они вытянули за собой эти ящики, перебрались на ту сторону, где стоял санитарный, стали бегать по шпалам вдоль санитарного поезда, совать яблоки в окна, раненым. К ним потянулись руки. Раненые — там лицо с запекшимися губами, там тоскливый глаз среди бинтов — весело закричали, подзывая, засмеялись, передавая яблоки друг другу. Один боец, с перебинтованной рукой, удивленно ел яблоко и еще более удивленно говорил из окна:

— И не стреляют...

— Кушайте яблоки! Узбекские... Вкусные...

— Спасибо,— летело в ответ из разных окон.

Неожиданно санитарный тронулся... Старик схватил ящик и затрусил, догоняя подножку. Он успел поставить ящик на ступеньку. Двое раненых открыли дверь и втащили яблоки в вагон.

Хромой Адыл, торопясь, доковылял с ящиком до другой ступеньки, плывущей мимо, брякнул на нее свою ношу. Дверь там все не открывалась,— может, в том вагоне не было ходячих раненых,— и ящик поехал на ступеньке, покачиваясь.

Мансур нагнулся за третьим ящиком. С его носа упали очки. Он неловко потоптался, наступил на них, раздавил, бессильно выпрямился и пошел к бегущему эшелону вслепую, вздрагивая от неясного мелькания вагонов, сближаясь с ними.

Ящик, поставленный на подножку Адылом, качнулся последний раз и упал. Яблоки запрыгали, покатались под колеса.

— Назад!

Это закричала девушка с подножки Мансуру, и тот остановился, держа ящик с яблоками у живота и беспомощно улыбаясь, а вагоны мелькали и постукивали.

Последним прошипел паровозишка-толкач — «кукушка».



Белобородый машинист с перепачканным лицом возник в окне, снял картуз и, дернув неугомонной рукой какой-то рычаг, голосисто гуднул на прощанье. Крикнул:

— Я поехал!

Ушел санитарный. Но три странных фигуры в халатах стояли и стояли на шпалах.

Мимо спешила молодящаяся женщина, за ней едва успевал унылый мужчина с массивным зонтом в руке. Они были с поезда, который еще никуда не ушел. Из беженцев.

— Яблоки! — сказала она. — Видишь, яблоки!

— Да, в самом деле, — сказал он. — Смотри-ка, яблоки!

— Продают, наверное.

— Кто это?

— Спекулянты. Кто же еще?

Старик оглянулся. Обидное было слово.

— Почему яблоки? — подходя, спрашивала женщина. — Почему? Ну, что молчите? Не понимаете?

Старик перестал молчать и бросил в ее сторону:

— Пятьсот рублей!

Только от волнения он кричал по-узбекски.

## 6

На желтую воду в арыке, у самой чайханы, слетали листья с талов и быстро уплывали. Иногда они ложились бесшумно на чайханные нары, и я щелчком сбивал их в воду.

Уже давно старик держал в руке пиалу с чаем и молчал. Попробовал холодный чай и выплеснул в арык. Покосился на меня. Ему был нужен вопрос.

— И вы... вернулись домой? — спросил я, желая укоротить историю. До Москвы, где он снимался в кино, не доберешься и к вечеру.

Старик налил себе в пиалу горячего чаю, насмешливо фыркнул и сказал:

— Черта с два! Не вернулись... Это было где? За Аралом... Нет, до Арала... — И совсем по-мальчишески прикусил кончик большого пальца. — Опять забыл...

Да, значит, не раз уже он тешил гостей своей легендой. Забыл? И хорошо... На мое счастье, из кузни вышел кузнец, я вскочил:

— Готово?

Кузнец только отмахнулся ручищей, зарычал издалека:

— Отдыхаешь, а торопишься. Все торопятся! Одну работу кончу, твою возьму... Не торопись. Пей чай.

Он выхватил какой-то крюк из железного хлама возле дверей и скрылся. Дон-дон...— пошел наколачивать его молот одно и то же. А я подумал, что не догоню сегодня ребят. Молот еще не прикоснулся к Гулиной педали. Я попал в руки заговорщиков: кузнец держал меня, как в плену, чтобы старик не остался без слушателя. Вечером они посмеются надо мной за чаем...

Но и у меня не было никого, кроме старика, и я обратился к нему за сочувствием:

— Слыхали? Кончит что-то, тогда возьмет велосипед.

Но старик не слышал кузнеца. Не слышал он и меня. Он бормотал под нос что-то свое, пока радостно не воскликнул:

— До Арала! За Аралом началась зима... Снег был вот такой!— Старик показал рукой до нар.— Вот такой!— И теперь приподнял руку повыше, как будто снег сыпался и рос на глазах.— Вот такой!..

Он вскинул руку над головой.

Ну что же... И такой может быть... Мне все равно... Я думал, до чего везет Саиду. И ведь он ничего не делал для этого. Просто счастливый человек. А ведь я схватил велосипед Гули, отдал ей свой. По логике справедливости мне должно везти больше. Лишнее доказательство, что справедливость — пустой звук. Логика справедливости — безнадежная логика.

Не я, а Саид купается сейчас с Гулей в реке, и дымок от костра плывет с берега и разносит над водой запах баранины. Шашлык мастырят. Не Саид, а я сижу на нарах чайханы и слушаю старого выдумщика. И ничего нельзя сделать.

Почему я думаю о Саиде?

Мне не нужен Саид. Никто из ребят не нужен. Мне нужна Гуля. Сиди она рядом, я хотел бы, чтобы чайханщик расказывал долго-долго. Что угодно. Но Гули нет. Она с Саидом ест дыню у реки. На здоровье...

Когда лежишь на спине, раскинув руки и прикрыв глаза, можешь думать про свое, а рассказчику будет казаться, что ты внимательно слушаешь. Не знаю, где кончились мои мысли, где я прислушался к старику.

...Снег летел с лопат. Даль была белой, и в эту белую даль уходила ровная цепочка женщин — в ватниках, шубейках, а то и просто закутанных в платки. Цепочка тянулась вдоль рельсов. Женщины расчищали путь от снега. Дули на руки, пряча их в варежки и тряпицы, но варежки

были рваные, а тряпицы разматывались, а снегу было много, и женщин было так много, что казалось — они стояли вдоль полотна до самой Москвы.

Женскую цепь разрывала одинокая мужская фигура на деревянной ноге. Инвалид тоже работал лопатой. И кружила снежная пыль вокруг людей. И выше их. И выше состава на соседнем пути.

Ну конечно, это был не просто какой-то состав. Это стоял яблочный эшелон.

Вдоль него в сторону женщин, в сторону снежных вихрей старик тянул санки, а на санках стояли ящики. Маленький старик проваливался по колени в снег, Адыл отставал, трудно припадая на ногу в рыхлом снегу, а сзади, отчаянно шурясь без очков, плелся Мансур. Он и так плохо видел, а тут еще снег лепил в глаза.

Они поравнялись с женщинами, остановились, отодрали от ящиков планки.

Снег стал падать на яблоки. И под этим снегом, этим небом яблоки выглядели, как тоже упавшие с неба. Так и смотрела на них девчурка в сером платке, завязанном на спине крест-накрест. Стояла с округлившимися глазами, прижав к груди лопату.

— Бери,— ласково предложил ей старик.— Бери себе. Давай всем. Бери-бери, давай-давай.

Что им оставалось делать? Яблоки замерзнуть могли, пропасть. Зима... А эти люди тоже старались для фронта...

Старик потянул санки, а девчурка уронила лопату. И пошла, спотыкаясь, рядом с его санками, брала из санок яблоки и радостно кричала:

— Валя! Держи!

— Тетя Катя!

— Сергеевна!

— Бабушка!

— Варвара Федоровна! Варвара Федоровна... Не слышите?

— Слышу,— прошептала удивленная женщина в шапочке с мехом, может быть, учительница. Очень похожа... Учительницы всегда похожи только на себя.

Не знаю, так ли это. Но старик хотел пустить в рассказ учительницу, наверно, как хотят иметь в гостях генерала.

— Вам же! Варвара Федоровна!

Женщина неверяще смотрела на старика в халате, на двух его спутников, улыбавшихся людям.

— Натe еще.— Девчурка прибавила ей три яблока и повернулась к старику: — У нее малыши...

Кто-то вздохнул:

— С малышами сейчас беда... Одни слезы.

Женщина сглотнула комок в горле, с трудом улыбнулась. Начала благодарить, но старик уже тянул санки дальше. Благодарность его смущала.

— Дядя Костя!

Остановились перед инвалидом. Девочка дала ему яблоко. Инвалид не стал его есть, спрятал в карман военного ватника, вытянул кисет. Теперь Мансур и Адыл потянули санки дальше, и девчурка пошла с ними и раздавала яблоки, удаляясь от инвалида и старика, потому что старик тут задержался. Слышалось все тише:

— Баба Маня!

— Ой, милые! Откуда вы?

Инвалид пригнулся, грудью защищая от ветра газетный клочок с табаком. Старик помог ему, прикрыв обрывок бумаги своими ладонями. Был инвалид совсем молодой лицом, и старик спросил:

— Где нога?

Инвалид раскурил свою самокрутку, ответил:

— У Гитлера.

— Ешь яблоко.

— А вы кто же? Верно киргизы, казахи?

— Свои.

Рядом с инвалидом, не спуская глаз со старика, стояла курносая и смешная девушка, в полупальто с поднятым воротником, перемотанным тонким кашне. Она смотрела, тоже забыв свое яблоко надкусить, держала в зябнувшей руке.

Уже без санок вернулись Мансур и Адыл, поддерживая друг друга. Тогда курносая девушка спросила:

— Дяденьки! А куда вы едете?

— В Москву,— сказал старик, махнув рукой вперед, поклонился всем и побрел с друзьями к своему товарняку. Вслед им донеслось:

— Добрый путь!

— Помогай вам бог!

Курносая девушка вонзила лопату в снег, подхватила почти пустой, нетугой вещмешок со снега и бросилась за дяденьками в халатах.

— Дяденьки! — спотыкаясь, молила она во весь голос.— Дяденьки! Возьмите меня с собой!

Как полагалось, сказочный сюжет нагружался новыми героями, вагон — новыми пассажирами, и, наверно, уж не просто так. Для чего? Этого надо было подождать.

Но больше всего, слушая, я ждал встречи со злодеем, без которых не бывает сказок. Комендант был своим, был другом, хотя и не сразу стал им. Сразу — неинтересно. Давай скорей злодея, старик. Скорей.

Я понимал, что опытный, хоть и самодетельный, талант готовил эту встречу, и хотел, чтобы она скорее состоялась, потому что это обещало как минимум уже какой-то центр, какой-то перевал, за которым действие раскрутилось бы с горы вниз, к концу. А там и кузнец авось починит велосипед. Молот в кузне стучал...

Ну? Где злодей? Предчувствие не обмануло меня.

Где-то ночью, в зловещей тишине, возился у печурки Адыл... Печурка стояла посреди вагона, наполовину забитого ящиками с яблоками. За стенами валил бесшумный снег, под полом по-собачьи поскуливала метель, отчего тишина вокруг казалась еще более зловещей, устойчивой, нескончаемой тишиной без края, без границ на всей земле.

Они застряли в каком-то дальнем тупике, куда другие поезда и не заглядывали. Стояли в голой степи. Среди пустоты и безлюдья. Темнота. Безысходность. На крыши вагонов все толще ложился снег. Да в щели лез студеный ветер. Отдирать от ящиков доски на топку было жалко, а сырые, мерзлые чурки, прихваченные по случаю где-то в пути, не разгорались. Адыл возился с ними и то чертыхался, то молился. Набожный человек.

Скорчившись, курносая девушка сидела у холодной печурки, с другого бока. Косилась на Адыла... Освещая наполовину ее лицо, на ящике коптила «летучая мышь». Такой фонарь, который вряд ли кто из нас видел в своей жизни. Со стеклом, оплетенным проволокой. Было похоже, что курносая грелась у фонаря, жалась к его слабому свету, как мотылек.

Из-за ящиков выглядывали ноги старика в сбитых сапогах. Он лежал там один уже давно, как обиженное дитя, калачиком. Лежал тихо, еле дыша. Может быть, спал...

А Мансура не было.

— Ехали, ехали и поругались, — сказала девушка, зябко ежась.

Адыл проворчал что-то по-узбекски. Не ей, себе. Она спросила:

— Зачем они поругались?

— Не поругались,— возразил Адыл.— Они не поругались. Только спорят. Всю жизнь спорят. Мансур-ака сказал: так нельзя. Яблоки отдает. Паровоз отдает. Очень добрый. Так не доедем до Москвы. Никогда. Надо что-то делать... Старик сказал ему: делай сам. «Будьте любезны!». Мансур пошел к начальнику за паровозом. Скажет: «Паровоз, пожалуйста...» Еще заблудится! Без очков остался. Слепой дурак совсем!

И Адыл помолился за Мансура, чтобы он не заблудился без очков среди снега, метели, ночи. Девушка сказала:

— Мóлитесь, а тоже ругаетесь.

Адыл посмотрел на нее виновато:

— Молюсь, ругаюсь, да... Не знаю, как лучше. О аллах!

— Аллах — это бог?

— Конечно.

— Бога нет,— сказала девушка.— Был бы бог, разве такая война была б? Чтобы фашисты убивали людей. Нет бога.

Адыл расщепил остроконечным узбекским ножом чурку, помолчал, осторожно пожал плечами:

— Наверно, так. Я сам не знаю.

— А кому молитесь?

Он еще помолчал, медленно повернул к ней голову, ответил:

— Наверно, себе. Я говорю: верь, Адыл, все будет хорошо. Бога нет, а я есть. Я себе молюсь. Йие!.. Плачешь? Зачем?

— А что со мной будет?

Адыл на корточках приблизился к ней, пододвинул свое широкое рябое лицо:

— Скоро домой приедешь.

И тогда девушка вытерла слезы и очень просто сказала:

— У меня дома нет.

— Как нет? — удивился Адыл.

— Бомба к нам в дом попала... Меня увезли, а маму даже не откопали... Не успели...

Он прикусил губу, покачал головой, вздохнул.

— А папа где?

— В госпитале. В Рязани. Я туда еду.

Адыл привстал, погладил ее по голове:

— О аллах!.. Приедешь в город Ризай... Найдешь госпиталь, найдешь папу... Все будет хорошо.

— Может, он умер уже,— ответила девушка с той уди-

вительной простотой, с которой о страшном говорят в страшное время.— То писал, а то...

Адыл прижал к себе ее голову.

— Папа живой.

— Правда? — подхватила она вдруг и даже взяла его за руку.— Живой, но писать ему некуда... Он же знает, что в нашем городе фашисты.

— Знает. Папа все знает.

— А я приеду к нему.

Адыл ничего не говорил. Острый кадык бегал по его жилистому горлу.

— Новый дом у тебя будет,— наконец выдавил он из себя.— Муж будет. Хороший.

Девушка отпустила его руку.

— Все правда, Маня.

— Майя,— поправила она равнодушно.— Я — Майя... Если правда, я тогда вам письмо напишу.

— Зачем письмо? В гости ко мне приедешь... Папа приедет, муж приедет, ты приедешь... О-о! Плов будем делать. Знаешь плов?

— Рисовая каша.

Адыл обхватил свою голову руками, застонал, заморщился, как от боли:

— Ай-ай! Совсем не знаешь... Каша! Ай-ай! Сначала возьмем барашка... Два кило... Кило,— уступил он по велению военного времени.— Потом лук, морковь и...— Он заметил нож в своей руке и застучал им часто-часто по краю ящика, как по разделочной доске, будто крошил лук и рубил морковку, горстью подгребая к себе крошенное. При этом Адыл закатывал глаза, натурально закрывал их, весь корежился, как от лука, а Майя смотрела на него веселеющими глазами.— Под казан, такой большой казан,— он округлыми движениями рук показал, какой большой казан,— дрова положим, огонь разведем... Сухие дрова...

Он взял воображаемый поднос и сделал вид, что ссыпал с него в казан лук, морковь, рис, торопился.

— Воды польем! — быстро сказал Адыл, поднял пустой чайник с пола и подержал над печкой. И словно сверкнула в воздухе струя воды, а Адыл таинственно замер.— Ждать будем. Тихонько ждать...

И как бы попробовал с ложки, посолил, помешал, опять попробовал и почмокал губами:

— Ах-вах-вах! Ляган берем... Блюдо берем. Ляган называется. Вот... Ну, ешь... Кушай... Вот так!

Плов едят рукой, аккуратно отгребая от горки рис на лягане четырьмя пальцами и прижимая большим, чтобы и рисинки не упало. Он показал.

— Вкусно?

— Вкусно, — сказала Майя и засмеялась.

— Ах ты!.. Каша! — усмехнулся и Адыл и опять глубоко вздохнул. — Спать ложись...

Помог ей улечься на подстилке из домашних одеял, за ящиками, где уже свернулся без движения старик, накрыл ее своим халатом.

— Спи... Жить холодно, спать тепло.

Они думали, что старик спит, а он смотрел на них из-под тюбетейки, на курносую девушку и своего Адыла, своего друга. И едва тот уложил Майю, старик не выдержал, заворчал, заворочался, поднялся, схватил «летучую мышь» и, с силой открыв дверь, под причитания Адыла, выпрыгнул в ночь.

— О аллах! — опять сказал Адыл.

Метель уже не скулила, а прямо-таки повизгивала на морозе. А старик шел по шпалам. В вытянутой руке нес перед собой пятнышко света и звал:

— Ма-ансур! Хо-о, Мансур-ака-а!

## 7

О, будь она проклята, эта ночь, эта встреча на шпалах!..

Высоко подняв фонарь, он светил на Мансура, продрогшего, но еще сердитого и поэтому трогательного и смешного. Смешно моргал Мансур своими почти невидящими глазами.

Его окружали незнакомые люди. Старик каждого освещал и разглядывал.

Один, в коротком и толстом кожухе, казался добряком, судя по улыбке на мягком, рыхловатом лице. Другой, в зипуне до пят, был кривоносый. И хмурый. Но зато прижимал к груди охапку дров. Третий — молодой — смотрел вовсе весело. Одежка странная, мехом наружу, навыворот будто бы. И на костылях. Война сначала молодым подламывала ноги. Раньше, чем стариков, на костыли ставила.

Вот каких людей вел Мансур к яблочному эшелону.

— Кто это? — спросил старик.

— Хороший народ, — сказал Мансур, не попадая зубом на зуб. — Они нам помогут. Пожалуйста...

Все вместе вернулись к вагону, никак не могли досту-



чаться в дверь,— уснули, видно, внутри и Адыл, и Майя  
Прыгая от стужи, кричали:

— Эй, Адыл!

— У-у, шайтан!

Да, те уснули от переживаний. Наконец дверь отъехала.

— Чайник дай! — крикнул старик.

Мансур пригласил гостей в вагон. Старик осветил им вход, и они полезли, пока Мансур, дрожа, набивал в чайник снег.

И вот они сидели и распивали чай. И в печке потрескивало. И все теплее становилось в вагоне и на душе.

Сидели на ящиках, расставленных друг против друга. Один ящик, посередине, накрыли белым поясным платком. Взамен стола. На «столе» лежали яблоки, сахар, хлеб. Узбеки где угодно, а уж примут гостей.

Толстяк с рыхлым лицом, громко прихлебывая, кивнул на яблоки и лукаво спросил:

— На фронт?

— Да.

— Ну и ну!

Кривоносый был по натуре человеком открыто-грубым, прямым и простодушно изумился:

— Дети? Очумели, что ли?

А молодой, у колен которого лежали костыли, захохотал — безобидно, но и безудержно, так, что лохматые, перепутанные брови его разлетелись в стороны над вытаращенными глазами.

— Чего там сейчас не хватает? Яблоч!

Старик все это не первый раз слышал и просто протянул молодому яблоко, не зная, что сказать. Тот повертел яблоко в руке, оглядывая его со всех сторон, невольно любуясь им, а старик тоже смотрел и, не веря, что оно никому не нужно, это яблоко, начал рассказывать... Сказку в сказке...

— Давно, очень давно через наш кишлак шел со своей армией... э-э-э...

— Кто шел? — спросил толстяк, который был среди гостей старшим и по возрасту и по положению.

Но старик никак не мог ответить, спросил Мансура по-узбекски. Разборчиво прозвучало в его вопросе имя: Искандер Зюлькарнайн, — гости такого не знали, и Мансур перевел:

— Александр Македонский.

— А-а! — сказал кривоносый.

— Куда шел? — спросил толстяк.

Старик посмотрел на Мансура.

— В Индию,— сказал Мансур.

— А-а!

И тогда старик продолжал:

— У него было много раненых, еще больше больных...

Все устали... В наших горах его люди нашли смолу, а в садах яблоки... Смола была черная, как кровь дракона, а яблоки вот такие... золотые и красные... Ешь, держи... Да-а... Стали мазать раны смолой и есть яблоки... Тогда вдруг — что такое? В два дня... в три дня... в пять дней встали на ноги! И раненые, и больные... и тот, кто устал... Не веришь?

Он взял второе яблоко и покрутил в пальцах, как только что крутил его молодой гость. А тот заспорил:

— Это смола целебная! Про смолу я слышал!

— Кто говорит — смола,— возразил старик,— кто — яблоки. Ешь. Ноги целые станут. Танцевать пойдешь.

Молодой разгрыз яблоко, а добрый толстяк вздохнул:

— Не довезете вы свои яблочки. Уж послали бы кого порезвее...

Адыл впервые вмешался:

— Молодые воюют.

— Мы поехали,— словно извиняясь, прибавил Мансур.

— Он хромой,— с улыбкой объяснил старик,— он слепой, а я старый.

— Хромой, слепой и старый,— повторил молодой, догрызая яблоко.— Компания!

Старик показал на Адыла уважительно и серьезно:

— Наш яблочный мастер. Сажать умеет, смотреть умеет, собирать умеет. Упаковку делать в дальнюю дорогу... А что хромой, это не мешает... Паровоз везет.

— Только паровоза нет,— вставил кривоносый, рубя ножом сахар на ладони.

А старик теперь сказал о Мансуре:

— Он слепой, но грамотный. По-русски пишет...

— Да никто не слышит,— усмехнулся кривоносый, справившись с сахаром и ссыпая его на «стол».

— Думали, легко будет,— сказал Мансур.

— До Москвы добраться? — непритворно удивился толстяк.

— Через всю страну на войну? — прибавил молодой, сдвигая брови, нависавшие над его глазами клочками черного меха, прямо как от дохи, в которую он зябко кутался.

Кривоносый подытожил резко:

— Стоят поезда. А то и назад бегут.

— Временные неприятности,— согласился старик.

Молодой вскрикнул, как ударил:

— Паника в Москве!

— Э! — перебил старик.— Как женщина говоришь.

Он хотел подлить чаю старшему, но тот перевернул пиалу и, поставив так, перевернутую, на «стол», повторил:

— Не довезете...

— Что в Москву довезем — не знаю,— пожаловался старик шепотом.— Одни слезы...

Молодой опять хохотнул:

— Москва слезам не верит.

А кривоносый бросил сахар в рот, твердо хрустнул им и сказал, глотнув чай, как водку, залпом:

— Надо им помочь, без нас погибнут.

— Обещали,— подхватил Мансур и закланялся всем гостям по очереди.— Спасибо! Очень приятно!

Но старик остановил его, бросил слово по-узбекски. Глаза у старшего сразу стали настороженными, застыли, напряглись.

— Что ты ему сказал?

— Сказал — еще не поехали. Поедем — тогда будет спасибо.

— Поедем вместе, папаша. Если сговоримся.

— Что вам надо? — спросил старик.

Гости нравились ему все меньше. А молодой обрадовался прямому вопросу, похвалил:

— Толковый дед.

— Вагон надо,— сказал кривоносый.— Один вагон.

Разговор пошел деловой.

— Что повезете?

— Какая вам разница? — рассердился кривоносый, не любивший, как видно, лишнего интереса.

— Хлеб-соль,— ответил без обиняков старший.

— Куда повезете?

— Туда, где их нет.

— Продавать? — еще не верил Мансур.

— А как же! Не дарить.

Мансур поднялся, осмотрел всех остолбенело.

— Извините! — сказал он грозно.

И Адыл поднялся и закричал на Мансура по-узбекски

— Ты кого привел? Спекулянтов!

Слово «спекулянт» по-узбекски звучит тоже «спеку-

лянт». Вполне понятно без перевода. И молодой помахал приподнятым костылем, пригрозил:

— Тихо, тихо!

— Уходи! — сказал ему Мансур. — Ты — уходи! Ты — уходи! Все — уходи! Пожалуйста!

От волнения он, такой грамотный, сбился с правильной речи.

Потянулась тишина, если не считать нарастающего взвизгивания метели. Молодой рывком поднялся, оперся на костыли, сказал с усмешкой:

— Своего счастья не понимаете. Мы вам — паровоз, а вы нам — вагон.

Но Адыл подступил к нему в ярости:

— А яблоки куда?

И опять тишина потянулась, пока кривоносый не сказал коротко:

— В степь.

— В степь, куда же, — развел руками старший, — если ехать хотите... Яблочки из одного вагона — в степь.

Старик тихо спросил:

— Паровоз где возьмете?

— Дядя в красной фуражке даст. Он тоже жрать хочет.

Кривоносый уже стоял около молодого. Один старший сидел, ожидая решения другого старшего. На лице его застоялось полусонное, ленивое ожидание, пока Адыл и Мансур осыпали старика жесткими узбекскими словами.

— Пусть помолчат, — еще жестче оборвал их старший, укоряюще чмокнув языком.

Мансур затрясся, схватил молодого спекулянта за плечи и толкнул к двери, которую открыл Адыл.

— Ай-яй-яй! — пристыдил его молодой. — Инвалида толкаете...

Он стоял на костылях, как тумба, неподвижно. В вагон врывалась метель.

— Айда, — сказал кривоносый и первым спрыгнул в ночь, в снег, и помог сойти молодому.

И старший, кряхтя, поднялся:

— Спасибо за угощение.

И нахлобучил шапку. И уже за спиной его старик оборнил:

— Я согласен.

Оба друга переглянулись и уставились на старика, как на спятившего с ума, и Мансур крикнул:

— Йок! — что значит по-узбекски: «нет».

- Йо-ок,— протянул Адыл.
- Что они говорят? — спросил старший.
- Они тоже согласны.

А Майя спала за ящиками. Возможно, ей снилась Рязань, где ждал ее папа, возможно, видела она родной дом во сне и маму, живую, и сон ее был крепким, как детское счастье. Никто из пришельцев не видел Майи, и она не видела, как из хвостового вагона вылетел и ударился о землю ящик и яблоки раскатились по снегу.

За первым ящиком вылетел второй и тоже разбился. Ящики были непрочные, из тонких досок, легко бились... Горела «летучая мышь», колыхались тени, и там, куда доставали концы жидких лучей, росла гора битых ящиков, а яблоки отпрыгивали от них вразброс, все дальше проваливаясь в снег.

— Что вы делаете? — вдруг раздался страшный девичий голос.

Старик выглянул из вагона, уже опустошенного наполовину.

Майя стояла в снегу, с ужасом смотрела вокруг. Стала бессмысленно подбирать яблоки, стала вытаскивать их из снега.

— Дяденьки!

Вслед за стариком высунул голову на улицу молодой спекулянт в дохе:

— Кто орет? Что за стерва?

Старик заволновался:

— Она с нами едет. Не бойтесь... Не стерва... Хорошая девочка.

— Куда едет?

— В Ризай... Мы взяли...

Майя смотрела, ничего не понимая.

— Приблудная? Вот еще! А ну, вон отсюда! Брысь!

— Нет, нет, не брысь,— уговаривал старик.— Она своя... Майя!

Он звал ее, переиначивая ударение, имя девушки звучало как «моя».

— Продаст еще.

— Не продаст! — Старик соскочил и приблизился к Майе.— Тише, дочка, тише... Ехать надо, стоять не надо Собирай доски. Дрова будут...

— Что вы делаете? — повторила ошеломленно Майя и огляделась.

Вокруг падали ящики, бились с треском.

— Дочка,— сказал старик просительно и виновато.

Она замахнулась на него обеими руками. Он смотрел ей в лицо. А она била его в грудь яблоками, которые держала в руках, и кричала, давясь от плача:

— Бандиты!

Он не отвечал. Тогда она побежала прочь по шпалам, растворяясь в темноте. Старик бежал за ней в эту темноту и звал:

— Дочка! Дочка!

Что-то подвернулось ему под ногу, он чуть не упал, наклонился, поднял яблоко, потер о халат и опустил за пазуху.

## 8

Постукивали рельсы на стыках. Покачивались ящики в вагоне. Молчаливо сидели вокруг печки их хозяева в распахнутых халатах. Раскаленная печка обдавала недобрым жаром, сухие доски потрескивали в ней, стреляли безостановочно, брызгая из-за приоткрытой дверцы гаснущими искрами. Досок лежало много. Навалом. Старик подсовывал их в огонь.

Теперь было много топлива, но огонь не мог отогреть сердец. Старик объяснил мне это так:

— Человеку холодно, когда сердцу холодно.

А я слушал и думал, что литература родилась задолго до чернил и бумаги. Был бы рассказчик и слушатель. И первой, конечно, родилась сказка.

Жизнь подсказывала сказки даже тогда, когда в ней ничего не случалось. А может быть, скорее всего — тогда?

Может быть, сказка рождалась от тоски по тому, чего не случалось. Чего не было на самом деле, но чего хотелось. Я не знаю, появляется ли человек на свет для счастья, как птица для полета, но уж, верно, для того появляется человек, чтобы что-то сделать. Для подвига даже. Это да. Это так. И если нет его, подвига, за долгой-долгой вереницей дней, то безгрешная сказка заменяет пустоту, как мечта, которая богаче жизни.

Мы все мечтаем. О многом. Я ведь тоже мечтаю. А что будет в ней, моей жизни? Что я расскажу, дожив до седин?

Не все умеют рассказывать. А старик умел. Быть может, в нем умирал писатель. Не по его вине. Детство его обошлось без школы (медресе), без азбуки (алифбе). Он лишь в зрелые годы, наверно, научился читать газеты — от жад-

ности к жизни, от любопытства, с которого и начинается живой человек. Природа не обидела его, а судьба обидела, как многих. Судьба несправедливей природы.

Мне казалось, что я слушаю сказку не одного, а многих стариков. И впрямь такой конца не будет. Никогда. В вознаграждение за все судьба подарила ему меня, но его радость оборачивалась моей бедой.

Кузнец не появлялся из своей темной двери. Что же мне оставалось делать? Я не спускал глаз с кузни и слушал.

Наяву стучали колеса. Это за садом катил поезд — мимо переезда, где недавно стояли мы с Гулей в обнимку, не стояли, а сидели на своих велосипедах. Возможно, это был поезд с полными нефтяными цистернами из Ферганской долины, возможно, с дынями, созревшими на бескрайних бахчах Голодной степи, возможно, с яблоками, как тот, что по милости старика катил сквозь его сладкие сны в Москву, к которой подступал враг.

...Стучали колеса. Молчал Адыл. Молчал Мансур. Старик снял с покрасневшей «буржуйки» чайник, налил в пиалу, протянул Адылу,— тот не взял, только посмотрел исподлобья. Старик протянул пиалу Мансуру, и тот отвернулся. Старик сидел грустно, одиноко, думал, держа пиалу в обеих руках.

Не попробовав чаю, не обменявшись словом, они легли спать, а когда проснулись, приоткрыли дверь и глянули на белый свет, увидели, что свет действительно был белым, заснеженным до горизонта, до края.

Эшелон стоял среди белого поля.

Старик взял ведро, прыгнул и, оскальзываясь, придерживая полы халата, побежал вдоль состава к паровозу. Он слегка курился впереди.

— Эй, уртак! — позвал старик машиниста.— Товарищ!

Из паровозного окошка, как черт из ада, выглянул замурзанный машинист.

— Чего? — спросил он.

— Зачем стоим?

— Ремонт пути.

— А город далеко?

— Пустят — так близко. Не пускают.

— А большая станция будет?

— Чего? — не расслышал машинист.

— Станция будет?

— Теперь одни разъезды... Да вот! — Машинист безнадежно махнул вперёд рукой.

Там, перед яблочным эшелонном, стоял другой состав — платформы с танками и орудиями под маскировочными чехлами. Такими, с зелеными пятнами. (Тут я улыбнулся про себя: старик не учитывал, что зимой чехлы должны быть белыми.) Дальше виднелся товарный. А дальше видно не было...

Старик протянул машинисту свое ведро, попросил угля. Тот взял и скрылся с ведром в паровозе, а старик заковылял вперед.

Окрик часового, одетого в дубленку, встретил его:

— Стой!

Часовой был высоко, на платформе, и старик невольно посмотрел на себя его глазами и показался себе совсем маленьким, меньше, чем всегда. Он сложил руки рупором и за-таенно крикнул:

— Важный вопрос!

Но часовой не хотел его слушать, грозно скомандовал:

— Кругом!

— Сынок! — позвал старик, оглянулся на свой эшелон, не видят ли его оттуда, и приложил руку к уху, чтобы лучше слышать часового, и услышал, как щелкнул затвор. И увидел, как часовой вскинул винтовку к плечу, повторив:

— Кру-гом!

Старик всплеснул руками и, ругаясь про себя, повернулся к часовому спиной. Шел и повторял про себя: «Важный вопрос... ай, важный вопрос...»

Перебежав путь перед паровозом, он стал приближаться к воинскому составу с другой стороны. Но и здесь его встретил тот же самый окрик:

— Стой!

Этот часовой был в белом маскхалате поверх дубленки, так закутался, что и лица не видно. Зато мальчишеский голос доносился хорошо:

— Кругом!

— Помощь нужна, сынок! — закричал старик. — Кругом, кругом! У меня уже голова закружилась!

— Кругом!

Тогда он не стерпел, рассердился и от этого даже погрозил часовому кулаком.

— Русским языком тебе говорю! Ты кто такой?

— Узбек!

Стариковский кулак замер в воздухе. И с быстрой и длинной узбекской фразой старик пошел к платформе... шаг, еще шаг... побежал, крича, но часовой перебил его:



— Разговаривать запрещается! На всех языках! Кругом!

И тоже щелкнул затвором. Ну хоть плачь. Кругом! Ладно, кругом... Затворами щелкают...

Когда старик вернулся к своему вагону, возле него стоял, опираясь на костыли, молодой спекулянт, спросил быстро:

— Куда мотался?

— Уголь брал,— мрачно ответил старик.— Видишь?

Приподнял тому под нос ведро угля и отдал Адылу.

Ловко оттолкнувшись от костылей, молодой сел в дверях вагона, только спина мелькнула, крепкая, круглая, как у зверя, и мех его дохи торчал на ней, как звериный. Сел и приказал:

— Марш в вагон. Без меня ни шагу. Смотри! Давай лезь и закрывай дверь. Тепло уходит.

— Э, молодой, тепло,— упрекнул старик.— Шуба есть.— Он дернул его за шубу: — Это как зовут?

— Доха.

Тут-то старик и узнал, как называется странная шуба мехом наружу.

— Доха есть. Уголь есть. Давай чай пить...

Двое спекулянтов остались со своим грузом в хвостовом вагоне, а этот, в дохе, поехал с ними, хозяевами яблок. Кипел чайник на печке. Шептал что-то Адыл,— наверно, молитву. Сидел Мансур как мумия, даже не шурился. Старик стянул с головы тюбетейку, вынул из-под халата платок, зубами развязал на нем узел, бросил оттуда в тюбетейку свои деньги — несколько сторублевок. И сказал друзьям по-узбекски, чтобы свои давали. И стал ждать. Вытащил и положил деньги Мансур все с тем же выражением на лице. Адыл перестал шептать, отвалился, смотрел в потолок.

— Адыл-ака!

Порывшись за пазухой, Адыл извлек сотенную, потом еще одну.

Старик подшагнул к нему, опустил рядом, приподнял полу его халата, поддел кончиком ножа, рванул подкладку и переложил из-под нее в тюбетейку еще две сотенных.

Молодой спекулянт, пришивавший пуговицу к дохе, откусил нитку, спросил:

— Что задумали? Играть?

— Гулять хотим,— неожиданно весело ответил старик.— У нас святой праздник. Машинист уголь дал, сказал — базар будет. Водку купим, тогда зови своих.

Ну почему бы не быть базару среди снега, если надо? По шучьему велению...

Странный базар растянулся у одинокой будки степного разъезда, к которому они подкатили. Был он странен тем, что объявился на безлюдном месте, и тем, что над ним дребезжал хриплый голос:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду...

Ба! Откуда старику знать эти старинные слова? Он и мне сейчас не рассказывал, он пел... Да уж не вправду ли все это было? Нет. Базар на степном разъезде? Для кого? Хризантемы в саду? Старик насыщал рассказ всем, что за долгую жизнь собрала и хранила память. Жизнь была долгой, но скудной, и ничего из нее не хотелось терять... Давний русский знакомец, может быть такой же старик, как он, может быть мелиоратор из дней его молодости, из первых русских инженеров, приезжавших помогать орошению бесплодных окрестных земель, пел тоскливыми душными вечерами о хризантемах, которые отцвели давным-давно...

Держа вареные яички, мисочки с солеными огурцами, картошины в мундирах, терпеливо и тихо топтались на снегу бабы. Погода отпустила почему-то, падал мокрый снег, под ногами хлюпала снежная каша.

Старик ходил среди баб в сопровождении молодого спекулянта в дохе, как под конвоем. Тот прыгал, поджав ногу, брызгал грязью, иногда просил:

- А ну, дед, не спеши.
- Хоп, хоп. Майли, начальник. Ладно.
- Звать меня Федя. Ясно?
- Якши, Федя, якши.

Выбрав наметанным глазом тощую бабу с бидоном у ног, Федя спросил:

- Самогонка?
- Бидончик есть.
- Сколько наших?
- Лучше бы на соль.

— Чего нет, того нет. Плати,— велел Федя старику и приподнял бидон.

Старик сунул женщине жменю денег, на которые она посмотрела бессмысленно, без интереса.

Так они совали в карманы бутылки, покупали соленые огурцы в газетных кульках и яйца.

— Самогонка есть? — спрашивал старик, отставая от Феди.

— Есть.

— А милиция?

Об этом он шептал тихо, с надеждой, но бабы принимали его надежду за испуг, успокаивали:

— Нетути ее у нас. Откуда? Все воюют.

И он вздыхал исподтишка, а старательный голос без передышки дребезжал:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду...

Вдруг старик забеспокоился. Он заметил среди женщин Адыла, из-за их спин заметил, потому что того окружили. Старик едва протолкался. Адыл стоял у ведерка с яблоками, бойко торговал. Не смог пропустить базара. Пожалел своих денег, вынутых из-под вспоротой подкладки. Захотел возместить. За счет яблок, которые они везли на фронт.

— Позор на твою голову! — закричал старик. — Пусть тебя аллах накажет, которому ты молишься! У, шайтан!

Адыл не отвечал, со страдальческой гримасой на лице держась за горло, будто у него в горле застряла кость.

Вспоминая, старик показывал мне Адыла, очень серьезно показывал, а я опять завидовал его дару, но про себя качал головой. С годами (я знал это не только по опыту других, а уже и по своему маленькому опыту) о самом горьком и страшном рассказывают смеясь. Да, проходит страх, становится смешным. Уже давно можно было остыть, посмеяться над Адылом, пустившимся в торговлю, но для старика не существовало никаких временных расстояний, никаких промежутков. Как сиюминутное переживал он свое возмущение.

Я понимал почему.

Можно смеяться над тем, как тебя обидели в жизни. Давно. Когда-то... Обида забывается, и ты смеешься. Нельзя рассказывать со смехом, как обидели героя сказки. Сочинение неподвижной жизни, мертвее. Старик рассказывал обо всем серьезно, и чем серьезнее он рассказывал, тем меньше я ему верил.

А он мне с неподдельной горечью жаловался:

— Мы договорились с Адылом, что он возьмет ведро яблок... полведра... а я увижу его, рассержусь и закричу: «Украл! Где милиция?» Но он продавал... И прятал деньги за пазуху... Я чуть не умер. Дарить можно. Раненым мож-

но. Голодным можно. Торговать нельзя. И милиции не было!

Милиция была нужна, чтобы задержать спекулянтов, но милиционеров не хватало на степные разъезды. Милиционеры, как сказали бабы, воевали. И старик схватил ведро, а в это время запыхтел паровоз, дернулись вагоны.

— Кончай базар! — хохоча, крикнул Федя. — Айда, отец!

И замахал на своих костылях через снежную слякоть. Втыкая в снег палку, перегибаясь, волоча ногу, Адыл поспешил за ними. А старик заметил сивого мужичка возле саней, в которых лежал патефон с крутящейся пластинкой. Она, эта пластинка, и пела про хризантемы.

Иногда игла попадала на рваную нитку заезженной пластинки, и романс сменялся монотонным: чик-чик-чик, — пока мужичок не сдвигал мембрану с места или не ставил ее сначала:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду...

Пел патефон в санях с вислопузой лошадкой в упряжке. Чик-чик-чик... Мужичок пританцовывал. С плеч его свисали мотки веревок.

— Продаешь, — спросил старик, — веревку?

— На вещи меняю.

— С кем?

— А с беженцами. У них — вещи, у меня — веревка. Поменяемся — и вязать нечего. У них — веревка, а вещи-то у меня!

Мужичок залился, захихикал сквозь редкие, с гнильцой, зубы. Самому понравилось, как ловко сказал.

Старик пихнул ему в руки ведро яблок, взял веревку, быстро сунул под халат.

Федя уже бросил в открытую дверь ползущего вагона костыли. А старик еще услышал слова баб в базарном ряду:

— Болтали, азиатский народ непьющий. Бог у них другой, строгий.

— Один черт.

Азиатский бог и правда запрещает пить. Но люди, видно, давно не слушаются его. Зачем бы иначе ему запрещать?

В вагоне гуляли. Федя лихо наливал в пиалы.

— Будьте здоровы, живите богато!

Крякал и заедал огурцом.

Все пили. Один Адыл брезгливо морщился, отодвигая пиалу.

— Пей! — смеялся старший.

— Пей! — требовал кривоносый.

— Коран не разрешает.

— А ты? Ты разрешаешь? — спрашивал старший спекулянт у старика.

— Я разрешаю.

— Слышал? Аллах далеко, а он близко. Кто ближе, тот главнее. Пей!

Адыл не дыша опрокинул самогонку в рот. Виноватый Адыл смирился, но самогонка была злая, и он так загримасничал, что все захохотали над ним, а старик еще налил ему и всем.

Федя жадно торопился выпить.

— За вашего святого. Как его фамилия?

— Сулейман.

— За святого Сулеймана.

Выпили за Сулеймана, захмелели.

Федя взял две ложки, приладил в пальцах и начал ударять ими по своим коленям, по плечам, даже по лбу, с редким уменьем выбивая невероятную трещотку. Старик смотрел на его самозабвенную игру зачарованно, забыв, что тот спекулянт. А едва он кончил, сразу затянул на узбекский лад, с длинными вариациями:

Хризантемы-ы-ы-и-и-и

В саду-у-у-у-у-у... Чик-чнк-чнк...

— Брось ты, — остановил его старший. — Свою, свою!

В горле першило от самогонки. Старик прокашливался долго, хорошенько. И запел. Адыл аккомпанировал ему, сложив ладони в гулкую коробочку и прищелкивая внутри нее пальцами. Мансур играл на поднятой тарелке, как на бубне. Старик напрягал голос, старался. И тогда Федя спросил его:

— А зачем ты веревочку купил, Сулейман?

Перебитая песня сразу стихла.

— Какую веревочку?

— А ну, встань!

Федя и сам встал и отшвырнул костыли. Он держался на своих ногах прочно, хоть и пьяный был. Вцепился в старика злыми руками, приподнял, встряхнул так, что распахнулся халат. За поясным платком торчала веревка. Федя

выдернул ее и бросил в руки своего старшего, мятое, рыхлое лицо которого плыло брезгливо.

— Видишь, что надумали? Напоить нас и перевязать. Хризантемы. Святые.

Старший привстал и наотмашь ударил старика веревкой по лицу. Старик стерпел, только сплюнул кровь с губы. Старший поцокал языком, вроде бы жалея, будто не хотелось ему бить старого человека, да пришлось. Старик усмехнулся и посмотрел на Федю, стоявшего вполне уверенно без костылей.

— Видишь, нога целая стала. Яблоки помогли. Не верил?

Федя саданул старика этой самой ногой в живот, и старик рухнул на колени. Вскочили Мансур и Адыл и тут же попадали от ударов своих гостей.

Злополучной веревкой начали вязать им руки. Связав, воткнули по куску тряпки в рот каждому.

А под вагонами вертелись колеса, стучали колеса по рельсам...

— Хотели по-честному,— вздохнул старший и развел короткими руками.— Сами виноваты.

Кривоносый прибавил, забирая самогонку и яблоки:

— Погуляли, отдохните. Нам скоро отцепляться.

Колеса стучали тише, тише... Скорость падала... И совсем заглох перестук колес. Поезд остановился. Открылась ночь. Федя прихватил фонарь, дунул в него и презрительно посмеялся, спрыгивая:

— Чучмеки!

## 9

Но, согласно пословице, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так должно быть в сказке. Однако до смеха было еще далеко. Связанные, они лежали на полу и даже сказать друг другу не могли ни слова, только от обиды, от нетерпения перебрасывались взглядами то сочувственно, то недобро.

Старик первым совсем затих, не ворочался, не сердился и вдруг, переведя взгляд на печурку, подгребая локтем и отталкиваясь от ящиков ногами, на боку стал подбираться к ней. Адыл и Мансур следили за ним. Что он придумал?

Старик полз, корчась. Медленно полз. Наконец оказался возле печки. Придвинулся еще ближе. Сел. Повернулся

к печке спиной и прижал к ее красному боку связанные руки.

Адыл и Мансур застонали, глядя на него, а старик сидел молча, только глаза его, крохотные и добрые, лезли из орбит. Он наклонился и потянул руки в стороны. Еще не подались... Старик снова прислонился к печке, плотнее. Товарищи его оба зажмурились, а он терпел. Ему только воздуха не хватало для дыхания, тряпка во рту взмокла. Крепко пахло в вагоне паленой ватой халата.

Старик поднатужился, надсадно простонал и рванул руки.

Теперь они разошлись. На них висели дымящиеся концы веревки. Дымились и рукава халата. Старик стал бить ими друг о друга. Побил, вытер о грудь, выдернул тряпку изо рта, точно забыл о ней, пока боролся с огнем, а теперь вздохнул облегченно и громко.

— Вах,— сказал он и улыбнулся спутникам, как молодой озорник.— Саям алейкум.

Они отчаянно замычали, требуя свободы. Но сначала он осторожно подул на обожженные кисти, кончиками пальцев примял тлеющую вату на рукаве, а уж потом принялся за дело: развязал и Адыла, и Мансура. Если бы он знал, какая сразу поднимется ссора...

— Я тебе говорил — не надо их брать,— заголосил Мансур,— Адыл говорил — не надо! Мы ведь говорили «не надо», Адыл-ака?

— А кто их привел? Ты сам их привел,— ответил Адыл.

— Но я не знал, кто они.

— Не разглядел без очков,— сердито фыркнул Адыл.

— Я не знал! — чуть не плача, крикнул Мансур.— Извините, пожалуйста. Но когда узнал, первый крикнул им: «Вон!» Я сказал: «Вон!» Уж будьте добры, у меня есть память. Адыл-ака сказал: «Вон!» А ты сказал — я согласен. Так было?

Мансур искал себе союзников, и Адыл сказал:

— Так было.

Потому что действительно так было.

— Ты их взял! — стал возмущаться Мансур еще сильнее.— Ты! Зачем? Чтобы они связали тебя веревкой, которую ты сам купил?

— Не купил, а поменял на яблоки, пока Адыл их все не продал. Стыд!

— Мне стыдно? — спросил Адыл.— Меня окружили:

«Яблоки, яблоки!» Я стал продавать... Почему ты не позвал милицию? Я для этого старался. Зря.

— Не было там милиции. Э! — буркнул старик и отвернулся.

— Начальник!

— Замолчи, Мансур, — попросил старик.

— Не замолчу. Дома скажу. Какой ты начальник? Без головы начальник, извините.

Старик тоже не выдержал, крикнул:

— Грамотный, а глупый!

— Зачем ты взял этих людей?

Старик в упор посмотрел на Мансура, в его беспомощное лицо.

— Разве это люди? Мог я выпустить их из своих рук? Они хуже фашистов.

— Перестаньте ругаться хоть на войне! — перебил их Адыл, и в вагоне стало тихо, и долго было тихо, до тех пор, пока Мансур не снял с себя рубашку и не стал рвать ее на лоскуты. С этими лоскутами подсел он к старику, принялся бинтовать обожженные его руки.

— Сам виноват.

Адыл встал на колени и воздел руки к потолку:

— О аллах!

Зубами Мансур затянул узелок на руке старика.

— Больше я людям не верю.

— Тогда умирай, — сказал старик мрачно.

Адыл пробовал открыть дверь вагона.

— Нас закрыли.

Он зашарил руками по полу возле печки. Искал проводочную кочергу, которой обычно ворошили угли, и вспоминал аллаха. Нашлась кочерга. Просунув ее в дверную щель, Адыл пытался подцепить и сбросить наружную щеколду, призывая на помощь аллаха.

Щеколда звякнула. И дверь нехотя отползла.

Когда эшелон опять остановился у ночной платформы какого-то разъезда, все трое выпрыгнули и побежали к хвостовому вагону. Последние метры кралась, как чужие. Добрались. Приложили уши к закрытой двери и прислушались. Из вагона доносился храп.

Просунув кочергу в кольца щеколды, Адыл согнул толстую проволоку и старательно стал обматывать, оплетать ею щеколду. А старик и Мансур затрусили к темному зданию железнодорожной службы.

В маленькой комнатке за столом, у телефона, сидела



шуплая девочка и читала книгу. Ежась в накинутой на плечи шубейке, она подняла голову на скрип двери, и глаза ее округлились от испуга. Перед ней стояли два нерусских человека в халатах, оба со следами побоев на лицах, а один еще прижимал к груди обмотанные тряпками руки, и рукава халата были обгорелые. Девочка крикнула:

— Ба... Бабушка!

С казенного дивана за спиной девочки поднялась крупная женщина, надела фуражку с красным околышем.

— В чем дело?

— Телеграмму! — торопливо бросил старик, словно приказывая.

— Что за телеграмму?

— Телеграмму!

Испуганная девочка достала из ящика и по голой крышке стола пододвинула к ним телеграфный бланк.

— Пиши, Мансур. Быстро пиши.

Из того же ящика девочка подала чернильницу-непроливашку и ручку. Действовала она как замороженная, а может, хотела быстрее отделаться от страшных людей, радуясь, что они не требуют ничего непонятного.

Мансур поковырялся пером в чернильнице, наклонился над бланком и вдруг выпрямился и сказал:

— Я не вижу.

Бабушка спросила хриплым голосом:

— С поезда, что ли?

— Да.

— Говорите текст. Пиши, Анютка.

Видно, поняла, что без срочной нужды люди в таком виде не прибегут будить других людей и давать телеграмму.

Анютка боязливо взяла ручку у Мансура, боязливо достала второй бланк, а старик извинился за друга:

— Он очки потерял... Слепой человек... Держи яблоко...

Потом кушай, сейчас пиши... Когда город будет?

— Утром.

...Серым утром яблочный эшелон подъехал к большому городу. Станционная платформа была довольно густо запужена народом. Люди толпились разные. Впереди — милиционеры и дружинники с повязками на рукавах. Им приходилось сдерживать любопытных. Из них, любопытных, мужчины держались поближе, а женщины — на всякий случай подальше.

Старик с Адылом и Мансуром подвели народ к хвостовому вагону. Один из милиционеров отмотал проволоку на

шеколде, бывшую когда-то кочергой, единственным оружием хозяев яблочного эшелона. Тут приблизился и военный комендант — узкоплечий и долговязый капитан, совершенно вымотанный по виду, с изможденным, бледным лицом, как чахоточный. Сузив въедливые глаза, следил за тем, как откатывают дверь.

Показались мешки — буграстые, раздутые, набитые мукой, проступившей сквозь мешочные поры пятнами. Но спекулянты не выходили. Может, там уже и не было никого? Никто не отзывался на голоса, на невежливое приглашение выйти. Тогда два милиционера вынули наганы — и в вагон.

На платформу вылетели костыли, стукнули по асфальту, подпрыгнули, разлетелись. Старик опять подумал: «Вот и все, что осталось... Убежали. Как?»

Но тут вывели Федю. Брови его совсем нависли на глаза. Ни на кого не глядя и пожевывая нижнюю губу, он прошел мимо людей. За ним спрыгнул на перрон кривоносый, огляделся, издал какой-то шершавый горловой звук, будто рашпилем рванули по железке, выразил досаду, сложил за спиной руки — очень привычно сложил — и пошел вслед за Федей, переступив через уже ненужные тому костыли. А вот и толстяк показался, жмурясь от света. Рыхлое его лицо еще больше расплзлось. Он не торопясь слез на платформу, как-то дряхло пригнулся, костыли осторожно отодвинул ногой, будто не было сил переступить через них, и засеменял зябко, по-жалкому. Возле старика остановился, медленно повернул к нему голову и сказал:

— Ну и сволочь ты!

Старик коротко фыркнул от удивления, по-ребячьи, а потом рассмеялся. И толпа вокруг захохотала, все громче. Людям стало легко от смеха.

Милиционер подтолкнул старшего спекулянта под локоть, и тот пустился неожиданно старческой своей походкой догонять Федю и кривоносого.

— Ну,— сказал военный комендант милиционеру,— давай в медпункт... в парикмахерскую... и ко мне...

И удалился резким шагом человека, которого ждали сотни нерешенных, неотложных дел. Было видно, как под его шинелью двигаются острые лопатки.

Старик еще улыбался, когда по сердцу ударил паровозный гудок. Он знал уже эти тревожные гудки трогających паровозов. Они предпочитали другую жизнь, а его, старика,

оставляли без своей помощи. Старик испуганно посмотрел вперед. Что же это? Паровоз отделяется от состава, уходит, убегал в ползучем облаке пара...

Радость, только что заставлявшая старика смеяться так, что и другие рядом с ним заражались и смеялись тоже, пропала без следа. Он обиженно закричал:

— Опять комфорт!

— Не волнуйтесь, папаша, — успокоил кряжистый милицкий командир, сам с седыми висками, наверно уже дедушка, и похлопал тяжелой пятерней по его спине. — Паровозик нужен... А мы в медпункт... Руки-то!.. К парикмахеру, конечно... Борода-то!..

Милицейский командир, полуобняв, потянул старика с места.

Они пошли. За их спинами, надсаживаясь, уже раздавался чей-то распорядительский голос:

— Столовая шестого завода! Соли — полмешка, муки — восемь мешков! ФЗО! Есть с ФЗО?

— Мы с ФЗО!

Милицейский командир потешно усмеялся и говорил старику:

— Написали ж вы, однако, папаша, телеграммку: «Везу вагон спекулянтов хлебом-солью. Встречайте народом милиции». Ха!

Неся у груди свои обвязанные руки, старик сердито поправил:

— Нарядом.

— Фу-ты ну-ты! — Командир преувеличенно поразился: — А я ведь сперва подумал — чепуха на постном масле. Я сперва даже не поверил вообще. А потом народ собрался... Народу тоже интересно, кто с чем едет, куда... Не чепуха.

Старик подтвердил, зло косясь на веселого милиционера:

— Не чепуха! Нет!

Они остановились у знака с красным крестом, висевшего над дверью, как железный флажок.

Потом совершенно лысый парикмахер азартно гонял бритву по ремню и дрожащей рукой подносил ее к заросшим стариковским щекам, приговаривая:

— Ах, война...

С белой салфеткой на груди старик сидел перед зеркалом. В зеркале он видел себя, такого непохожего на себя, старого и неопрятного. И еще он видел милицкого командира, читавшего газету на стуле у стены.

— Мы о вас в газете напишем, папаша.

— Не напишем,— возразил старик, переполошась и обращаясь прямо к отражению в зеркале.— Не напишем. Председатель голову потеряет: вагон яблок в снегу остался. Паровоза нет... Жена заплачет: «Где мой старик?» Не напишем. Давай паровоз!

Милицейский командир не отвечал, посерьезнев; только парикмахер еще раз вздохнул:

— Ах, война...

Старик стал тоскливо смотреть, как за большим окном вокзальной парикмахерской сеял снежок. Парикмахер взял старика за нос и повернул к себе, но старик снова отвернулся к окну, потому что увидел, что за окном шла толпа женщин в сопровождении двух конвойных.

Ему показалось, что среди женщин шла Майя.

Парикмахер протянул руку за стариковским носом, но старик уже привстал, сорвал с себя белую салфетку и еще через минуту был на платформе.

Милицейский командир выбежал за ним.

— Майя! — звал старик.— Майя!

Конвойные не подпускали его близко. Один даже пригрозил:

— Ну, кыш!

Женщины шли с мешками и мешочками. Мешочницы, как тогда говорили. Были среди них и поделкатнее какие — с маленькими сумками, с бумажными свертками.

— Не кыш! — воинственно отмахнулся от конвойного старик.— Дочка!

Майя не оглядывалась. А это была она. Знакомые шерстяные чулки, знакомые боты...

— Майя!

Старик и сейчас переначивал ударение. Конвойный засмеялся начальственно:

— Твоя. Кто она тебе?

— Дочка!

— А похожа,— засмеялся второй конвойный.— Особо носом!

Майя шла, будто не слышала, хотя другие женщины оглядывались на старика. Конвойный стал оттеснять его винтовкой. Милицейский командир окликнул:

— Чашкин! Откуда их?

— С воинского... Обсели, как мухи...

— Зачем арестовал? — сердито спросил старик.

— Торговка она,— ответил Чашкин так же начальственно.— Назад!

Чашкин шел вперед, важно ступая на своих ногах, хотя они были колесом.

— Э! — замахал на него перебинтованными руками старик.— Чефуха на фостном масле!

Бабы стали подталкивать Майю, но она не смотрела на него, не хотела.

Милицейский командир спросил у старика:

— Кто она вам, верно, папаша?

— Дочка! — упрямо повторил старик.

И все вместе ввалились, втиснулись в комендатуру.

На стенах комендантской комнаты висели плакаты:

«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!»

и

«БОЛТУН — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА».

Худой капитан недобро рассматривал из-за стола задержанных женщин, переводя воспаленные свои глаза с лица на лицо. Пробившись вперед, старик тоже повернулся к женщинам, чтобы видеть Майю. Женские лица не были похожи на лицо с плаката, красивое и суровое. Эти лица были грубые, беззастенчивые, нахальные, виноватые, и устало-безразличные, и насмерть испуганные. Чашкин что-то докладывал коменданту о том, что женщины ездили менять вещи на продукты и, конечно, все говорят, для детей, мол, все — матери.

Милицейский командир протолкался к коменданту, наклонился:

— Вам старик что-то хочет сказать.

Недобритая, в высохшей мыльной пене, стариковская щека попала под взгляд коменданта.

— В чем дело, отец? — спросил он, поднимаясь.

— Я ее знаю,— заторопился старик, показывая на девушку в ботах.— Она — Майя! К отцу едет... В Ризай...

Чашкин спешил свое доказать:

— А с этой вообще замучились. С воинского сняли — убежала... В паровозный тамбур забралась... Ловкая! Еле вытащили...

— Отец раненый,— твердил старик.— Там, в Ризае... Дочка!

— А ты его знаешь? — спросил комендант Майю.

Майя смотрела до сих пор вбок, но теперь перевела глаза на старика и сказала трудным, злым шепотом:

— Заступается!.. Бойтся, что я правду про него скажу.

А я все равно скажу... С бандюгами связался... Яблоки выбросил... Целый вагон!

— Правильно, дочка. Правильно говоришь,— не спорил старик.

И комендант заусмехался неожиданно. И милицейский командир — тот просто засмеялся. И даже Чашкин, еще ничего не понимая, подхохотнул подобострастно. Начальство знало, почему оно смеется. И его напарник тоже улыбнулся. Даже кое-кто из хмурых и перепуганных женщин улыбнулся с надеждой.

Только по лицу Майи тенью пробежала судорога, и она разрыдалась, закрывшись грязными ладошками.

— Арестовать его надо!

— Да он сам их арестовал,— сказал ей усталый комендант.— Хитрый.

Тогда все притихли, одна Майя всхлипывала, а старик крикнул:

— Молчать!

И грохнул по столу забинтованной рукой. Майя замолчала.

— Ну ладно,— сказал комендант.— Посажу ее на поезд до Рязани. Это дело простое...

— Правильно, начальник.

Старик схватил Майю за руку, а она смотрела на его перебинтованные руки, будто впервые увидела.

— А вот с вами что делать? — спросил командант старика.

— С нами? — удивился старик.— Ехать надо... Скорей ехать...

Комендант не успел ответить. Серая тарелка репродуктора на стене захрипела:

— После ожесточенных боев наши части на Волоколамском направлении отошли к Москве...

— Куда ехать? — спросил комендант.— Слышали? Понимаете? А вы что везете?

— Вот,— старик протянул ему яблоко, выхваченное из халата.

Комендант взял яблоко, подержал в ладони и поднес к самому лицу, понюхал. Отогревшись в кармане стариковского халата, оно пахло летом и травой. Оно пахло сразу и дождем, и солнцем, и липким медом, и луговыми цветами, чем-то простым и далеким, невозвратимым. Пахло яблоком детством. И руками матери в праздник. От этих неожиданных запахов, собранных под желтой кожей, захотелось

зажмуриться, как от солнца. И комендант сел и зажмурился.

— Витамины,— тихо сказал старик.— Моральный фактор...

Капитан положил яблоко на стол.

— Не давите на психику. Она у меня и так раздавлена.

Старик стоял, сгорбившийся, недобрый, жалкий, как никогда, и ждал, что еще скажет комендант.

— Проходил эшелон с подарками,— вспомнил тот,— так что? Было распоряжение. Речи говорили. Духовой оркестр играл. Паровоз стоял с красной лентой. А? — обратился он к милицейскому командиру.

— Было,— поддакнул тот.

— Точно,— сказал и Чашкин.

— Речи не надо... Музыку не надо...— попросил старик.— Паровоз давай.

Комендант посмотрел на старика:

— Откуда вы взялись?

Не было сил начинать сначала свой рассказ...

Старик и для меня прервал его на этом месте. Я не понял,— утомился он или так было задумано интереса ради...

Старик отошел к самовару, принялся колотить топориком чурку. Попросил меня взять ведро и поносить воду из колонки за рынком. Там была питьевая вода...

Самовар оказался прожорливым, как паровоз. Я принес два ведра воды, еще два, еще...

— Ну, и что? Помог вам комендант? — спросил я, опрокинув в блестящую прорву последнее ведро.

— Конечно,— ответил старик, поджидая вопроса.— Знаешь, сколько в мире добрых людей?

— Мало, по-моему,— сказал я, косясь на кузницу.

— Бедный ты человек,— пожалел меня старик.— Сто на одного плохого... Или сто пятьдесят... Или двести!

— А что-то не видно!

— Фу-ты ну-ты! Не знаешь, почему не видно? Хорошие люди на глаза не лезут... Живут на своих местах... А плохой человек... э-э-э... как гвоздь в ботинке. Один, а кусает, пока не выдернешь... Комендант был...— Старик вздернул голову и азартно показал большой палец, поставленный торчком: — Во! Он нас разорвал.

— Как?

— Туда-сюда... К разным составам прицепил... Военным... Сказал: «Другие сейчас в Москву не пойдут... Так поедете... Под Москвой соберетесь...»

Я почувствовал, что начинается новый этап небылицы, и нетерпеливо повернулся к кузне. Дверь ее по-прежнему была пуста, хотя в ней тенькал молот.

— Вот бы один добрый человек в вашей кузне работал, не пропал бы у меня день!

— Да-а...— тянул старик.— Так и поехали... Танки, пушки и... яблоки...

## 10

Дали за окном... Тишина на стоянках... И опять мельканье ночных теней... И безответные думы о войне, сорвавшей с места столько людей... И его, старого, тоже несет, закидывает в конец света...

Радио по-прежнему встречало плохими вестями. Фашисты бомбили Москву, все ближе подступали к ней.

А земля, родная и до необъятности большая, разная, продолжала открывать себя, пробуждая щемящую тревогу оттого, что города по ней раскиданы так далеко друг от друга, и обнадеживая тем, что такую большую землю не выбомбишь, не одолеешь, нет. На большой земле жила для добра большая семья разных людей...

Иногда старик немножко отодвигал дверь вагона и смотрел в узкую щель на эту землю. Днем и ночью. Он почти не спал. Думал об Адыле, о Мансуре, скучал без них, говорил с ними, как будто они были рядом.

Клонились, махали перед глазами косые стойки моста, пролет сменялся пролетом, а конца все не было. Никогда не видел старик такого длинного моста, такой широкой реки...

— Каттадарья! — говорил он сам себе, а вместе с тем как бы и своим изумленным не менее его друзьям.— Большая река!

На короткой остановке он выскочил спросить у бойцов в передних вагонах, как ее зовут,— ему было любопытно. Оказалось, Волга... Он долго повторял потом под стук колес:

— Амударья... Сырдарья... Волга!..

Весь день за окном мелькали заснеженные деревья, напоминая ему сады, где каждого ствола касались его пальцы, когда он сажал яблони или оплетал их ловчими кольцами из сухой травы против гусениц-плодожорок. Но этот сад, одетый снегом, был куда больше и назывался — лес.

За лесом города стали гуще, дома ближе друг к другу,



людям стало теснее и, наверно, не так скучно жить. Станции чаще подставляли платформы под вагонные двери, но паровоз не останавливался, потому что спешил на фронт, вез теплушки с бойцами и в самом хвосте состава вагоны с яблоками.

Однажды утром снаружи в вагон ударил марш. Не грозный, а радостный. Словно это было еще во сне, хотя марш перебил сон старика и тот высунул голову на улицу.

Дрожал раструб репродуктора на столбе, как раструб карная — большой трубы, которую узбеки выносят на праздники. Только это был всем карная карная. Все было большим в глазах старика, как прежде, даже еще больше. И холод стал больше, сильнее. Старик смотрел на раструб репродуктора, прикрывшись с головой халатом.

Он увидел белую платформу, увидел на ней человека в белой дубленке, в ушанке со звездой и крикнул:

— Какая станция?

В ответ донеслось в ползущий вагон:

— Москва!

— Елки-палки! — сказал старик, и у него перехватило дыхание.

Марш еще гремел, и эшелон еще двигался...

Я слушал старика и думал: теперь скоро конец. Хотя — как еще развернется его московская эпопея, куда заведет его фантазия по московским улицам? Он часто снимал тюбетейку, раза два вытирал ею лицо, прикусывал палец. Самовар он вовсе передоверил мне. Я бросал чурки в его пыхтящее нутро. Самовар выбрасывал искры к моим ногам, а старик спрашивал меня:

— Угадай, куда с вокзала я поехал? Не знаешь?

— Нет, ата.

— Эх ты...

— Куда?

— От Советского Информбюро...

— Куда? — переспросил я.

— Я видел главного человека на радио... самого главного. Как его зовут?

— Левитан, — подсказал я, хорошо помня имя, мелькавшее на страницах газет.

— Правильно, — первый раз поддержал меня старик. — Правильно ты сказал, сынок, Левитан-ака! Да, да... Но сначала был не он...

Сначала старик шел по длинному коридору с молодым человеком, торопливо внушавшим ему на ходу:

— Скажете о своих чувствах... Скажете, что вы всегда в победу верили. Напрасно Гитлер хвастался.

Мелькали световые надписи у дверей: «Тихо. Репетиция!», «Не входить. Идет передача!» Молодой человек помахивал бумажкой.

— И танки разбили, и пушки разбили... И Гитлера разобьем! — твердил он старику, а старик кивал головой. — Волноваться не надо. Просто скажете, от души...

— Он дал мне речь, — рассказывал старик, грустно вздыхая. — Хорошую речь.

— Большую? — спросил я, боясь этой речи.

— Маленькую, — возразил старик. — Но я все равно забыл...

Перед микрофоном он оробел.

Была беззвучная комната, усталая мягким ковром. Была тишина, как будто остановилось время. Был стул, который, казалось, мог разрушительно скрипнуть, и старик боялся сесть на него и стоял около стула как неживой.

Вот и эта комната вошла в неподвижный мир чайханщика...

Молодой человек делал рукой подбадривающие знаки, но старик стоял. Другой, — это и был Левитан, чей голос он слышал в своем кишлаке не раз, — приблизился бесшумными шагами, погладил по плечу, посадил на стул.

Но старик молчал.

В ушах его стучали колеса.

Левитан не снимал доброй руки с его плеча. Старик открыл рот, но так и сидел с открытым ртом. Сейчас его услышат в Москве, в родном кишлаке, на всей земле...

Он вынул дрожащие руки из карманов халата. В руках были яблоки...

И, пригнувшись к микрофону, едва дыша, он сказал не то, чему его только что учили.

— Мы привезли яблоки, — сказал он. — Вот такие... — И поднес яблоки к микрофону, будто их могли увидеть. — В Москву привезли и не знаем, как вас догнать, товарищи войска... Фашисты бегут... дороги разбиты... Просьба! — заторопился старик. — Кто едет на фронт, везет снаряды и хлеб, заворачивайте на Казанский вокзал... в багажный двор... Берите яблоки! Берите яблоки! Берите яблоки!

И только эти слова кричал теперь старик в микрофон.

На другой день военный грузовик вез ящики с яблоками по фронтовой дороге. В грузовике сидели старик, Мансур и Адыл. Друзья встретились в багажном дворе Казанского

вокзала. Ну как же могла обойтись длинная дорожная легенда без этой встречи? И как же могла обойтись она без поездки на фронт, на передовую, туда, где били врага? Со всем рядом...

Снег скрипел под колесами грузовика. Снег прикрыл разбитую фашистскую технику в кюветах — машины, орудия и танки с черными крестами на боках, — а дальше просто тянулась снежная земля. За всю свою жизнь старик не видел столько снега. Заиндевели деревья у дороги. И назывались они, по словам бойцов, незнакомо: сосны, ели, березы...

Старик и оба его друга сидели в полушубках, накинутых поверх халатов: бойцы дали. С ними ехал веселый артиллерист, грыз яблоко, болтал без умолку, густо пуская пар изо рта.

— Откуда же эти яблочки, отец?

— Узбекистан, — отвечал старик.

— Какой же это сорт, отец? Сладкие, черти.

— Узбекистан.

Боец хрустел яблоком на морозе, сверкал зубами.

— А вас-то, отец, как зовут? Имя-отчество?

— Узбекистан.

Счастливый старик смотрел на бойца и от волнения забыл все слова, повторяя название своей земли. Это было как во сне: военная дорога, призрачные деревья по бокам ее, словно они выкристаллизовались из солнечного зимнего воздуха. Навстречу вели пленных...

— Аллах меня услышал, — шептал Адыл.

И как раз в это время у самой машины рвануло землю, вскинуло черные комья из-под снега. Грузовик не остановился. Боец, пригнувшись, сказал:

— Уже близко...

И еще раз ударило, рвануло...

...Поджав колени и обняв их, я сидел на нарах чайханы, у пустых пиалушек, насвистывая под нос очень тихо, чтобы не смущать старика своим невниманием, жалел пропавший день последних каникул, последнюю поездку дружеской вагатагой на реку. А когда старик особенно страшно описал третий взрыв, спросил его как-то совсем глупо:

— Но вы живой остались?

Он посмотрел на меня презрительно, потому что понял, что я подвергал сомнению весь его рассказ.

— Не видишь, что ли? Сам видишь.

И замолчал, вытирая рукавом халата слезы с морщин.

Из-за арыка неожиданно дунул ветер, застрекотал листьями талов, нанес на нас дым от самовара, и от дыма, похоже, заслезались глаза старика. Он схватил меня за руку:

— Слушай, что было...

Но тут за арыком, за кузней, за воздушной зеленью деревьев рассыпались знакомые голоса. Меня звали:

— Ан-вар!

— Анва-ар!

— А-анва-ар!

Из-за кузни спасительно выкатилась вся гурьба велосипедистов. Легкие и быстрые колеса, сверкая спицами, перебрали досочки на мосту. Тени ребят и девушек пролетели по желтой воде. И вот уже друзья мои весело слезали, сваливались с велосипедов у самовара.

— Смотрите, он тут чай распивает!

— А мы, дураки, волнуемся!

— Кто волнуется? Это Гуля волнуется.

Я смутился, пробормотал, когда поутихли крики:

— Тут ата рассказывает про свое путешествие...

— Прекрасно,— перебил Саид.— Творческая встреча.

Кино и зритель... А шашлык подождет до завтра?

— Вы еще не жарили шашлык?

— Я заставила всех вернуться,— сказала Гуля.— Где мой велосипед?

— Он там... в кузне... сейчас...

Старик отпустил мою руку.

— Итак, ата,— обратился к нему Саид,— на чем вы остановились, дорогой? Мы послушаем...

Но старик показал на кипящий самовар:

— Лучше я напою вас чаем.

Едва он сказал свою ласковую фразу и начал расставлять пиалы для всех, как неуклюжий кузнец выкатил из своей темницы велосипед. Я бросился к нему по гулкому мосту.

— Готово?

Педаля была на месте, а кузнец сказал мне:

— Думаю, ты не скучал, а?

— А? — спросил и я.

Сейчас, когда меня переполнило радостное до дрожи чувство оттого, что Гуля волновалась, заставила всех вернуться, я, ошеломленный, не очень понимал, о чем меня спрашивали. Все, кроме ее голоса, ее слов, ее смеха за арыком, ее велосипеда в моих руках, не существовало.

— Там, с дедом, не скучал, а?

— С чайханщиком?

Я медленно приходил в себя, опускался с высоты на землю.

— Да уж, дед у вас такой... не соскучишься...

— Чайханщик,— усмехнулся кузнец.

Чайханщик в кишлаке командует не только самоваром и посудой, но еще и разными новостями, случаями, историями... Он их хранитель и разносчик. Он заваривает не только чай, но и беседу на долгие часы чаепития, и чем забавней его рассказы, тем вкуснее чай. Да, хороший чайханщик из самой маленькой чайханы — духовный наследник знаменитого Ходжи Насреддина, выдумщика и потешника, кумира восточного люда. Без этого дара нечего в чайхане место занимать. Чай, в конце концов, любой заварить сможет, особенно если всегда заваривать свежий, а вот сочинить небылицу, да еще похожую на правду...

— У нас чайханщик — золото,— сказал кузнец.

— Точно,— сказал я, как Чашкин.

## 11

Недели через две поезд Ташкент — Москва готовился отойти от вокзальной платформы, увезти меня и Гулю в Москву. На перроне стояли несколько женщин — матери студентов. Их свело как бы свое родство. Среди них была и моя мама, а к ней жалась Юлдузка, вероятно думая, как следующим летом этот поезд увезет ее из-под родных и добрых теней нашего двора в открытое море большого мира. Мама и отец уговаривали Юлдузку идти на арабский факультет нашего университета и тешили себя тем, что уговорили, но мне Юлдузка призналась, что ее увлекает биохимия, и просила провести разведку в Московском медицинском...

Я смотрел на них из окна вагона. Поезд уходил днем, и отцы были на работе, лишь двое-трое мужчин, оторвавшись от своих дел, курили в отдалении от женщин, чтобы не мешать их наивным слезам. Я же ушел в вагон, чтобы не мешать Гуле и Саиду, говорившим у подножки. Я догадывался, о чем, потому и ушел, не желая вертеться на глазах.

Когда поезд тронулся, Гуля встала у открытого окна вместе со мной. Саид долго шел по перрону рядом с окном, сначала даже держась рукой за его край. Он совсем забыл обо мне и спрашивал:

— Ты мне так и не ответила, цветочек... Почему?

Дело в том, что Гуля по-узбекски — цветок.

— Я буду писать! — крикнул Саид, остановившись у края платформы. — Я приеду, нет! — И тут вспомнил обо мне: — Пока, Мосфильм!

Семафоры открывали нам дорогу. А я опять страшился своего одиночества с Гулей, в непобедимой своей скованности чувствовал себя с ней счастливым и боялся разрушить это счастье.

Спотыкающимся голосом я сказал:

— А знаешь... тот чайханщик... забавный старик.

Оказывается, я думал о нем. Где-то он жил во мне подспудно. И просто выручил меня сейчас.

С растущей благодарностью к этому старику я стал рассказывать Гуле все, что слышал от него, всю его легенду про яблоки, про дорогу, про войну, отгремевшую на земле до нас. И, расписывая подробности, я и не заметил, как дотянул рассказ до темноты.

— А может, и он видел вон то старое дерево, — сказала Гуля, — где кто-то живет...

— Ничего он не видел, — возразил я твердо.

— Почему?

— Потому что он никуда не ездил.

Удивительно, каким неуступчивым становился я в такие минуты перед неправдой, даже когда можно было уступить хотя бы Гуле. В этой неуступчивости было мое «я», выстраданное в раздумьях и сомнениях.

— А я бы на твоём месте сняла картину о том, как старик возил яблоки в Москву, — беззаботно сказала Гуля.

— Картину можно снять, — согласился я, — и назвать ее «Фантазер».

— Почему?

— Он придумывал бескорыстно.

Не то чтобы мне хотелось теоретизировать, но эта мысль показалась мне интересной, почти открытием. А рядом стояла Гуля. И, храбрея от своего превосходства над ней, я сказал:

— Была война и никак его не коснулась... Это обидно. Даже старикам... Понимаешь? И родилась легенда. Добрая легенда. Героическое время обрастает легендами, как земля травой после дождя...

Мне казалось, что я говорю и насмешливо и задушевно, но Гуля спросила меня со взрослой прямоотой:

— Все равно, по-твоему, он просто враль?

— Ну нет,— возразил я, защищая старика.— Не враль. Сидит старик у самовара и сочиняет сказки.

Я вспомнил про себя, о чем думалось мне, пока старик рассказывал, а я слушал. О тоске по тому, чего не случилось в жизни, о мечте, которая всегда богаче жизни, о подвиге — смысле человеческого призвания, но редко — факте бытия. Это всех касалось. И меня тоже.

— Что же ты замолчал?

— Так.

Поезд стоял. Полутемную ночную платформу пересекал здоровяк в халате, волоча нелегкий мешок к подножке нашего вагона. Видно, поезд не собирался стоять долго, и он спешил. Плечистая проводница наклонилась прямо с подножки к мешку:

— А ну, покажи.

Здоровяк быстро открыл мешок, завернув его края, и мы услышали мурлыкающий голос:

— Хорошие яблоки.

Он помог проводнице вскинуть мешок на подножку, втолкнуть в дверь и отошел, пересчитывая деньги, а я сказал Гуле:

— Вот как, между прочим, возят яблоки в жизни.

— А я...

— Не уговоришь. Стоп.

— А я хочу верить старику,— не сдавалась Гуля.

— Дети любят сказки,— сказал я зло.

Сам не знаю, может быть, из-за старика я взял перед дипломом такую легкомысленную, на первый взгляд, тему для своей курсовой работы: «Артисты на фронте». Я хотел построить сюжет на факте и для этого искал факт, встречаясь с разными людьми и просматривая километры военной хроники.

Однокурсники, встречая меня в коридорах института, посмеивались:

— Воюешь?

— Воюю.

В тот день мне осталось прокрутить коробок десять разных лент, извлеченных из военного архива. Мы с механиком даже не ходили ужинать, запасшись, как на фронте, сухим пайком.

Я жевал булку, сидя в маленьком зале, давил окурки о дно круглой жестяной коробки для лент, по традиции заменявшей пепельницу в рабочем кинозале, и смотрел на экран.

Да, фронтовые операторы снимали без липы. Земля черными пятнами, черными брызгами разлеталась по белому, будто выгоревшему полотну. Падали бойцы, иные — чтобы никогда не встать. Это была настоящая атака, только немая, потому что снимали, не записывая звука.

Изображение косило, мелькали грубые склейки. В коробках хранились ленты, собранные из забытых всеми обрывков, обрезков, без монтажа, невпопад, но, согласно пометкам, имевшие отношение к выступлениям актерских бригад на передовых позициях. Короткие кадры фронтовых концертов под открытым небом, немые следы стихов и песен.

Я был терпелив и верен себе в поисках, я все думал: а вдруг самый последний кадр таит в себе клад... Наверно, я мог поспорить с терпением золотоискателя.

Я уже видел, как пели знаменитости разных калибров в толпе бойцов, прямо с грузовиков. Видел, например, как пела Любовь Орлова морякам у каких-то бесцветных сопок. Что она пела? Об этом можно было только догадываться — по губам, по жестам... Мне казалось, Орлова пела что-то из «Волги-Волги», и сама была молодая и задорная.

Сейчас я смотрел на Шульженко. Тихой рукой она снимала кисейный платок с плеча, и губы ее складывали слова, которые я шептал:

Синенький скромный платочек  
Падал с опущенных плеч...

Перед тем как смотреть хронику, я прослушал и выучил много старых песен и понимал, что слушали бойцы.

Ты говорила, что не забудешь  
Радости тех наших встреч...

Вдруг исчезла, сделав поклон, Шульженко, промелькнуло пятно с размытыми краями, и на выбеленном экране, как это было уже не раз, возникли обгорелые избы, какая-то застекленевшая береза возле них, белая и хрупкая. Под березой стоял грузовик, неподалеку от наполовину закопанного в землю орудия. Длинный борт грузовика был откинут, в нем виднелись ящики. Несколько ящиков стояло на снегу, и вокруг них, держась друг за друга, хохотали бойцы.

Все это происходило в неправдоподобном, беззвучном мире, но я словно слышал хохот и даже сам стал улыбаться. Так они смеялись... Один откинул голову, прижав ладони к груди... Другой согнулся, будто не хватало сил стоять.



У третьего от смеха слезы блестели на глазах. А в руке — яблоко.

Да, у ног артиллеристов, на снегу, стояли ящики с яблоками. Боец в дубленке бросал яблоки товарищам, а те ловили и, смеясь, стучали яблоками друг о друга и впивались в них зубами. Но не тут-то было.

А этот пытался отогреть яблоко дыханием. Дышал на него, зажав в ладонях. И кусал, от усилия прикрыв глаза... И опять дышал.

Зато я не дыша сидел с куском булки в зубах.

Бойцы уже не хохотали, хотя следы смеха еще не стерлись с их лиц, оставили выражение радости от недавнего веселья. Но что-то случилось.

Все смотрели в сторону.

Оператор не спеша перевел туда камеру. Стало и мне видно, куда смотрели все.

Под надломленной зимней березой стояли три фигуры в шапках с опущенными ушами, в полушубках, из-под которых торчали халаты. Стояли три узбека. И один из них безмолвно плакал. Он улыбался, стесняясь своих слез, но они ползли по жестким складкам кожи, по морщинам, скапливаясь в мелких глазах и выкатываясь из них. Оператор снял крупным планом лицо человека, и я узнал его. Это был мой знакомый чайханщик. Это был старик. А рядом с ним стояли Адыл и Мансур, в существование которых я вовсе не верил.

Крепкий боец подошел к старику. Что-то сказал ему. Что? Никогда не узнаешь, не услышишь. А боец спрятал яблоко под перетянутую ремнем дубленку и неуклюже обнял старика...

Лицо старика стало еще крупнее, и... пленка лопнула.

— Леша! — крикнул я в микрофон киномеханику. — Обрыв?

— Не-е, — спокойно ответил Леша. — Всё.

Я снова попытался крикнуть в микрофон:

— Ле... — но голос не сразу меня послушался. — Леша!

Повтори.

— Шульженко? — по-деловому спросил меня недовольный Леша. Ему уже надоело крутить.

— То, что за ней.

Снова промелькнули руки, плечи, платочек певицы.

Ты говорила, что не забудешь...

И опять захохотали артиллеристы. Неслышно. И впи-

лись в яблоки зубами... Не тут-то было. А я вслух сказал сам себе:

— Они замерзли...

Боец старался согреть яблоко дыханием. А старик плакал. Я знал, отчего он плакал. Не только оттого, что яблоки, которые он вез так трудно и так далеко и довез до этой батареи, замерзли. Он плакал оттого, что не мог доказать бойцам, как любит их.

— Стоп! — крикнул я в микрофон.

И кадр остановился.

Крупное лицо старика смотрело с выцветшего экрана.

Не помню, как я потом шагал по Москве, нырял в подземные переходы, стоял, покачиваясь, в поезде метро, шел по влажному асфальту тротуара, поднимая мокрый воротник пальто. Падал апрельский снежок... Он таял под ногами. Не переставая шуршали вокруг меня автомобили, и суетливо постукивали чьи-то каблуки, и звучали голоса, и смех вздрагивал, а в глазах моих, смотревших далеко вперед (да нет, конечно, в прошлые годы), маячило лицо старика.

Наконец я пробежал мимо каменного Чайковского, не заметив на этот раз его жеста или испугавшись, что он обернется для меня грозным укором, пробежал вдоль торжественно закрытых дверей зала и шмыгнул за сцену.

Поток симфонической музыки обнял меня сразу со всех сторон, утопил в себе. Из него вырвался и задрожал на исходе самой высокой ноты скрипичный голос, очень стойкий и нежный. Я прислонился спиной к стене.

Мне был виден край сцены с дирижерским пультом, под рукой дирижера стояла Гуля со скрипкой. Стекая по щеке, колыхалась чернота ее волос. Я не видел скрипки, только слышал и, обрадованный и подавленный чем-то, прикрыл глаза.

Оборвалась скрипка, в недолгую тишину ворвался гул аплодисментов, как людская толпа в распахнутые настежь двери.

— Здорово, Анвар!

Еще ничего не соображая, я открыл глаза и увидел Саида. Он стоял рядом, улыбался и хлопал, зажав под локтем букет роз.

— Саид?

Гуля раскланивалась на сцене. Сегодня был концерт выпускников. Хорошо, что я не опоздал на ее номер...

Саид выскочил на сцену, как дома, и отдал розы Гуле. Она на миг спрятала в них свое лицо. Это были ташкент-

ские розы. Саид привез их Гуле, а я ждал, никому не нужный со своим переполненным сердцем.

Близкий голос Гули прозвучал точно бы издалека:

— И ты пришел меня поздравить, Анвар?

— И сказать, что ты была права.

— О чем ты?

— Помнишь того старика?

— Какого старика?

— Ну, кишлак... педаль... Не помнишь?

— Посмотри на первый ряд,— сказал Саид.— Одни старики. Разве можно их всех запомнить?!

— Ну так что? — спросила Гуля.

— Чайханщик. Ведь он говорил, что снимался в кино. Я видел его сегодня на старой пленке. Он действительно привозил в Москву яблоки в сорок первом.

— Новости дня! — сказал Саид.

— Вот и хорошо,— быстро сказала Гуля.— Как его зовут?

— Даже не спросил тогда. Я поеду к нему.

— Вот и хорошо. Я бегу.

Конечно, концерт. Конечно, волнение. Я думал, что обрадую ее. Ну, расскажу потом... Кто-то звал:

— Гуля!

Она отдала розы Саиду, завсала волосы за шею и убежала на поклон.

— А ты помнишь старика? — спросил я Саида

— Брось ты! — сказал он.

— Этот старик...

— Псих! — сказал мне Саид.— Что он — Бах, Бетховен?

— Я не знаю, как его зовут.

— Ты правда поедешь к нему?

Я кивнул головой, ожидая, что Саид рассмеется и скажет, что он везучий человек: он — в Москву, я — из Москвы. Но он сказал:

— Жаль, Мосфильм. У нас с Гулей свадьба.

Я ушел, извинившись и пробормотав поздравления.

В темном асфальте плавали и блестели огни. Я старался думать только о яблоках. Все ли яблоки замерзли или только те, что привезли в грузовике на батарею. Наверно, немало яблок попало во фронтные санбаты и в окопы живыми.

Ну, а если и все замерзли, так что?

Сколько раз бессмысленность поступка и даже смертельного риска доказывала любовь серьезнее и сильнее

всего? И если образумить сердце, оставить его в груди только для того, чтобы толкать кровь, зачем эти толчки?

Сейчас я чувствовал себя крохотной капелькой, влекомой безрассудной силой слабого стариковского сердца.

«Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», — текла рядом с моими шагами строка русской песни, текла во мне, сквозь меня, безмолвная и живая.

В Москве рождалось новое утро. Светало неторопливо, как бывает самой ранней весной. Милиционер держал троллейбус перед красным светом. Первый троллейбус, еще пустой... Зачем его держать? Человек в форме вышел из стеклянного «стакана», запрыгал по лужам, обсыпанным снежком, к двери, которую открыла вожатая, и отдал ей что-то или взял, — возможно, ключ от дома. Сейчас он пойдет домой с работы, а она поедет дальше — на работу. Троллейбус уронил искры на мокрый асфальт.

Привезли хлеб в булочную. Носили сайки и батоны в деревянных лотках, оставляя на улице запах хлеба. Напротив, у молочной, вынимали из фургона ящики с кефиром, и бутылки буднично позвякивали, напоминая о чьей-то безымянной работе.

И странным образом она связывалась в моем сознании с рассказом старика, полным легендарной поэзии. С рассказом, где до вчерашнего дня все мне казалось нелепым и неправдоподобным. Я обрадую старика, но скажу, что был честен. Я искренне не верил ему. Из любви к правде. К жизни...

Только сейчас во мне просыпалась эта любовь. Я жил как амеба. Даже это слово не казалось мне достаточно уничтожающим. Мне хотелось обидеть себя больше.

## 12

Долго ехал до Москвы старик. Теперь самолеты в течение пяти часов бросают нас за эти тысячи километров.

Снова я увидел знакомое шоссе, по которому на этот раз катил в кургузом районном автобусе, и слагбаум у переезда, задранный в небо, как деревянная зенитка, и поворот на едва заметную дорогу в траве, к цветущим садам. Здесь трава была уже зеленая, а сады стояли белые не от снега.

Травинки у дороги еще не напитались темной зеленью, а только солнечным светом и поэтому были легкими, как лучики.

Жужжали пчелы, прячась в цветы, пока я шел по саду.

Вот и кузня, и арык с водой, которой от весны стало еще теснее в берегах, и мост к чайхане. Застучали досочки — я перебежал по мосту через арык.

У знакомого самовара возился подросток в белой рубашке и расшитой тюбетейке.

— А где старик? — спросил я, едва кивнув ему головой.

Отложив топорик для чурок, он поднял на меня черные, как дикая ягода, глаза:

— Какой старик?

— Чайханщик, — торопливо сказал я, — который тут работал.

— Я чайханщик. Я работаю.

— А старик?

— Его нет.

— Не работает?

— Нет, больше не работает.

— А где он?

Парень неловко подождал, вытер лицо ладонью.

— Он умер.

И снова взялся за чурки. Топорик тюкал, слизывая щепу.

— Как умер? — спросил я наконец.

Он тюкал топориком.

— Давно?

— Еще зимой.

Я сел на край тех нар, где чаевничал со стариком. Глинистая вода бежала мимо меня, гудя. Парень поставил передо мной пиалу и чайник.

— Сейчас закипит, — сказал он, показывая глазами на знакомый самовар.

Я достал из кожаной папки снимки, которые привез. Это были кадры кинохроники.

— Иди-ка сюда, — позвал я чайханщика. — Ты не знаешь вот этого? Его Мансуром зовут.

— Нет, — ответил чайханщик.

— Кого вспомнил! Его похоронили лет пять назад.

Подошел кузнец и заглядывал в снимки из-за моего плеча.

— Здравствуйте, — сказал я, вставая.

Он меня узнал и обрадовался:

— Здравствуй! Деньги привез?

— Деньги? Да-да...

Я быстро достал трешку и отдал кузнецу.

— Молодец, — похвалил он. — Не забыл.

Мы поблагодарили друг друга.

— А вот этот, — спросил я, показывая другой снимок, — Адыл-ака... он где?

Кузнец пригляделся:

— Хромой Адыл?

— Да-да! Хромой Адыл!

— Так ведь он не вернулся с фронта.

— Погиб?

— Не знаю. Я его живого не видел.

— Они возили яблоки в Москву, — сказал я. — Это правда.

— Может быть. Я сам тут недавно. Из другого кишлака приехал. Ничего не знаю.

— А кто знает?

— Не знаю.

К кузне, фыркнув, подкатила полуторка, кузнеца позвали, он еще раз удивленно сказал, что я молодец, и не торопясь пошел по мосту над арыком, в котором, ворочаясь, летела мутная вода.

Я снова присел... В ту ночь, когда я до утра бродил по Москве, я думал только о старике, боясь вспомнить о Гуле, а сейчас вдруг вспомнил о ней и почувствовал, что потерял ее. Почему люди так легко теряют друг друга в жизни?

Я вспомнил, как голопузым мальчишкой тряс для нее уличный тутовник, как лазил по его ломким веткам, дотягиваясь до самых крупных ягод, набивая ими рот, и перемазанными в синий цвет губами повторял для нее разные истории, услышанные от бабушки, без тени сомнения, что на свете существуют чудеса.

Гуля! Я не могу сказать, что без устали таскал из архивов пыльные коробки с забытой хроникой, чтобы разыскать старика. Но я таскал их, чтобы оправдаться перед тобой. Помнишь наш разговор, наш спор в вагоне, у окна, за которым исчезало дерево и чей-то дом?

Я таскал коробки, без устали крутил хронику, а в это время Саид... Глупости! Опять я хочу показаться себе хорошим...

Не выйдет.

Слишком много я потерял.

Древние говорили: чтобы найти, надо потерять. Когда хотят оправдаться или хотя бы утешиться, ссылаются даже на древних.

Я не хотел прощать себе ни одной потери.

Как я мог отмахнуться от «кукушки», и резиновых бот

Майи, и звериной дохи спекулянта, и раздавленных очков Мансура, и хризантем, о которых хрипел патефон в санях на снегу, как мог я передоверить все это фантазии старика?

Я так рвался к правде, что уже ничему не верил... У меня не хватило фантазии — представить себе, что это правда. Чтобы верить, тоже нужна фантазия. Чтобы жить...

Я сидел и насвистывал безмятежную мелодию, которая подгоняла нас на шоссе прошлым летом. Вкатился в тишину и рассыпался над землей стук колес проходящего за садом поезда. Я свистел тихонько и грустно, сидел и слушал колеса.

# СЛОБОДА



1

**С**нова пригрело... Который уж день подряд солнце лупило с синей высоты во все концы неба и земли, доставая до самых темных углов и изгоняя оттуда тени. И едва сползала тьма, тут же выглядывала острая трава, готовая хлынуть зеленой свежестью отовсюду — из-под каменных городских заборов, из разрывов асфальта, из серых щелей среди старого булыжника, которым были замощены окраинные улицы.

Здесь, на окраине, травой занимались дворы с еще не убраным от новостроек битым кирпичом и мусором. Занимались быстро, как вольным пламенем. Начинали зеленеть обочины нового шоссе, лентой раскатившегося до самой реки через пустые площади, покуда не заставленные домами и поэтому похожие на поля.

Да, снова пригрело... Значит, год прошел, как уехала Анка. Тогда вот так же скатились снега, словно наперегонки, боясь опоздать к назначенному сроку, зазеленели все свободные от камня клочки земли. Он это хорошо помнит, потому что тогда впервые начал замечать время. Ему и раньше приходилось поглядывать на часы, чтобы не опоздать, например, в кино, спрашивать у прохожих, сколько показывают неугомонные стрелки на циферблате (другими словами, конечно), но это были короткие заботы, а той весной вдруг закончились порывы мальчишеской поспешности, казавшиеся самыми серьезными, а оказавшиеся смешными.

Той весной ток времени неожиданно открыл свое постоянство, как ток крови. Но ведь и его тоже не замечаешь в себе, пока однажды не случится что-то необычное и не заставит услышать, как колотится под твоими ребрами сердце и кровь гудит в висках.

Мальчишество улетучилось не тогда, когда он купил



себе часы, стал готовиться в институт, а когда тетя Варя неожиданно и как-то виновато сказала ему:

— Алеша, знаешь, Анка уехала!

Он ждал от Анки чего угодно, только не этого. Как она могла уехать, не сказав ни слова ему? Но все было правдой. И не надо думать об этом, потому что, сколько ни думай, не поправишь!

Алеша кинул взгляд на шеренгу новых корпусов в некотором отдалении от шоссе, по которому шагал. Еще не застекленные коробки мерцали сумраком в прямоугольных вырезах будущих окон. Там скоро вспыхнет свет, залучатся в комнатах разноцветные рожки и тарелки...

Сам строитель, он все равно дивился тому, как быстро росли они, эти гладкие блочные коробки. И в летнюю синь неба и навстречу осенним облакам — ведь дома строили круглый год.

Вот этой самой шеренги пятиэтажек не было и в помине, когда Анка еще жила в слободке и они встречались каждый день. А скоро подвезут к подъездам мебель и в окнах повесят шторы — с подсолнухами, похожими на маленькие солнца, или с такими яркими пятнами, будто клочки цветной бумаги разбросали по оконным стеклам.

Анка увидит — ахнет. При ней, хоть и сокращаясь на глазах, между городом и слободкой еще сохранялось какое-то расстояние, а сейчас уже вовсе не осталось нейтральной полосы... Вон мужики — наверняка отцы из будущих жильцов — ставят качели на железных треугольниках, и не успеешь опомниться, как чистая, усыпанная желтым песком детская площадка разразится веселыми голосами и плачем малышей, пойдет повизгивать этими самыми качелями под шипенье асфальта, по которому безостановочно потекут машины, а на турнике — его уже вкапывают трое предусмотрительных молодцов-культуристов — хозяйки из пятиэтажек, свободные от спортивного азарта, станут палками выбивать пестрые ковры.

Но увидит ли все это Анка? Вернется ли?

Лучше думать о другом. О ком-нибудь другом. Ну, о тете Варе хотя бы, которую он не знал. В самом деле, сколько лет прожито под одним небом, на одной улочке, а что он знал о тете Варе? Считали ее маленько чокнутой, вроде бы у нее не все дома. И он так считал. Легко и бездумно, потому что нет ничего легче, чем думать, как все.

Впрочем, было отчего соглашаться с представлением слободки о тете Варе, с общим, так сказать, мнением.

Тетя Варя... Тетя Варя со своим баяном...

Вечерами, часам к шести, когда вытягивались тени, тетя Варя со своим баяном усаживалась на скамеечке — там, где дорога из города, украшенная колдобинами, становилась слободской улицей. С тети Вари начиналась Нижняя слободка...

За тетей Варей по всей улице вился хмель, смыкались тесные створки ворот с жестянками «Остерегайтесь собаки!», и хотя на них была художественно выбита острая морда овчарки, здесь не гнались за породой и предпочитали обыкновенных цепных дворняг. За тетей Варей темнели заборы с лишаями старой краски, глухие и слепые, досочка к досочке, выше любого человека, иногда с колючей проволокой поверху, будто во дворе берегли кашеевы сокровища, а всего-то пряталось там несколько помидорных грядок да две-три яблони, макушки которых еще недавно зеленели в небе. В последние два года небо над заборами опустело — старые яблони выкорчевали, а молодых не подсаживали, потому что от яблонь — тень, а в тени плохо зреют помидоры.

Алеша оглянулся...

Да, верно, город надвигался на слободку, еще какой-нибудь год, ну, может, два, и все — исчезнут из-под городской руки эти огороды, пасеки и голубятни. И исчезнет улица, где нет асфальта, а есть мокрые колеи с травой вокруг электрических столбов, будто они стоят на зеленых островках. И калитки, у которых топчутся куры и гуси, как в деревне. И крылечки под выюнками с розовыми и голубыми граммофончиками, и скамейки, под которыми при раскопках будут находить и находить подсолнечную шелуху... Конец всему этому!

Казалось бы, что плохого в огородах и пасеках возле города да и в этих голубых граммофончиках? Ничего вроде бы. Ан нет! Слободка... Странное это место — не город и не деревня... Слободжане сами с удовольствием и даже чуть горделиво повторяли про себя: из деревни ушли, а в город не пришли, так вот и застряли на полдороге. Чему ж тут радоваться? Спросите у Сучковой, она...

Алеша осекся на полуфразе, даже глазами заморгал, испугался, что так вот подумал о матери, как о посторонней женщине. Но куда денешься? С матери началась в слободке помидорная эпоха. Первой, не раздумывая, мать выселила со двора яблоню, потому что ранние помидоры шли на городском рынке по такой цене, до которой яблоки сроду не

поднимались. И в магазинах яблоки бывали почти всегда, во всяком случае чаще помидоров. Чего ж тут думать!

Так и жила слободка: ездила в городские универмаги, ходила в театры, в цирк, в кино и в бани, но часы сверяла по рынку... Далекий рынок был ее сердцем... Денежки — кровью... Ради них слободка поднималась в ту пору, про которую говорят — ни свет ни заря, — гнула спину, начинала ковыряться в земле... Вот мать, сколько он ее помнит... Да нет! Не надо о матери! Начал же про тетю Варю с баяном.

Если спрашивали у тети Вари, откуда у нее этот баян, она будто не слышала. Многие и так знали и рассказывали, что баян оставил ей муж, а сам сбежал. Об этом тетя Варя и не любила вспоминать.. Зато смеялась, как-то заговорив с ним, с Алешей, о том дне, когда впервые заиграла людям на потеху.

Был праздник, а может, просто суббота. В те годы у ворот тети Вари свежо синели две гостеприимные лавки — сама часто подкрашивала их. Днем под ними ковырялись куры, а вечерами, теснясь и мягко толкаясь, рассаживались молодые бабоньки, грызли семечки, просыпая курам корм на завтра, и ждали, когда выйдет из ворот Варин муж с баяном. Тогда начинались концерт и танцы.

В ту субботу заждались. А когда Коля показался, шатаясь на жидких ногах, бабоньки поняли, что нынче он не поиграет. Баянист заговорил неприличными словами, к которым слободские бабоньки, в общем-то, так привыкли, что и не замечали их, но в тот вечер это всех огорчило. Хотелось петь и плясать...

Усадили Колю между собой, зажали боками, заткнули рот папироской. Варю втиснули рядышком. Обычно Коля вот так сам усаживался возле нее, спрашивал:

— Какую?

И, не дожидаясь ответа, запевал:

Ох, милая, добрая мама,  
Как счастье мое далеко!

Женщины вздыхали, а то и утирали глаза платочками и пальцами, он же обнимал Варю и объявлял вслух:

— А мое счастье близко!

Варя сидела с каменным лицом, потому что на улице все было можно — и драться и ругаться, а обниматься при людях — нет, этого нельзя. Муж еще крепче обхватывал ее рукой.

— Я ее ни на кого не променяю!

Коричневое от загара лицо Вари по-прежнему оставалось неподвижным, только губы шевелились:

— И я его ни на кого не променяю.

В ту самую субботу бабоньки отобрали у, скромно говоря, хмельного Коли баян и, повесив на плечи Вари, закрычали:

— Играй сама!

Баян показался Варе чугунно тяжелым. Играть она не умела. Муж начал потешаться над ней. Хотелось заглушить его слова, и Варя наобум нащупала какую-то кнопку и потянула мехи. Жалко смеясь, она стала сжимать и растягивать их, не отпуская кнопки под пальцем. Баян задышал, загудел. Одна-единственная нота сипела, пилила. Бог знает, что получалось, но подружки повспрыгивали и пустились в пляс, хохоча и вопя визгливо.

— Сыпь, Варюха!

Жаркие пятна покрыли лицо Вари. Она водила мехами все резвее, «играла» плечами, притопывала ногой...

А наутро Коля пропал. И Варя стала жить словно немая, на вопросы не отвечала. Слободское общество, охочее до пересудов, так и не дозналось от нее, куда исчез Коля. Ждали, займется этим милиция. Однако нет... И стало ясно: баянист просто сбежал от Вари, которой клялся, что ни на кого ее не променяет. Не раз провожали ее от водопроводной колонки обидным словом:

— Брошенная!

Варя и на это молчала.

Стали шутить про баян, что Коля не взял его с собой, потому что в ту самую субботу у Вари обнаружили музыкальные способности. Оставил, дескать, в подарок. Но это опровергла Алешина мать, всезнающая Ольга Тимофеевна Сучкова, объяснив, что баян был самой Варькой куплен в городе, в комиссионном магазине, чтобы приманить жениха, который сразу после войны появился в слободке при своих усах и орденах. Приманить-то приманила, а не удержала... Не присох. Хорошо хоть, что баян не увез, мог бы и забрать, а вещь дорогая — цена называлась шепотом...

Варя долго не выходила на улицу, но голос баяна вечерами нет-нет и слышался за забором. Научившись в одиночестве соединять тихие звуки в мелодии, Варя сама слушала свои песни, чаще грустные и печальные. Днями она работала уборщицей в разных учреждениях — по совмести-

тельству, профессия у нее была дефицитная, вечерами играла. А отработав всю жизнь, стала усаживаться на пошатнувшейся лавке у ворот... Как-то Алеша остановился перед ней, спросил:

— Для кого вы тут играете, тетя Варя?

Она помолчала с улыбкой на морщинистом лице, ответила:

— Для тебя.

— Спасибо,— сказал он,— но у меня транзистор!

— Посиди...

— Спешу!

Тетя Варя поставила баян на колени, поправила сползающие с плеч ремни. Годы — груз невидимый, а плечи пригнули... Алеша ушел, подивившись про себя, как она постарела. А тетя Варя позже сказала ему, что тоже подивилась, какой он стал большой. Словно заново увидела его в тот раз. Он вырос, а она и не заметила...

А садилась она на эту скамейку встречать слобожан после работы. По утрам они тихо уходили в город — в цеха его фабрик, на стройки и автобазы, кто куда, торопились к последней для города и первой для слободки автобусной остановке, а возвращались не спеша и под музыку.

Молодых она встречала музыкой модной, могла и твист ударить, по радио слушала и перенимала. Она ведь все по слуху повторяла, иногда чуточку, самую малость, подвирая... Расставив ноги в фиолетовых чулках, придерживая щекой громоздкий баян и расплывшись, что называется, до ушей, тетя Варя наяривала... Тех, кто постарше, взбадривала маршами, частенько военными. А кому доставалась и популярная песня про камыш, который все шумел и шумел.

Прошлой весной, в тот вечер, помнится, Алеша поразился тому, что привычной музыки не было, даже улыбнулся, потом забеспокоился почему-то — не случилось ли чего с тетей Варей, но скоро увидел ее на скамейке, с баяном на коленях...

Баян молчал. Молчала и она, встречая Алешу испуганным взглядом маленьких глаз. Он хотел спросить, почему она не играет, но вместо этого, подойдя, воскликнул:

— Что случилось? Ну? Тетя Варя! — И вынул из пачки сигарету. — Ну?

Тогда она и сказала:

— Алеша, знаешь... Анка уехала!

— Бросьте вы...— отмахнулся он, садясь возле тети Вари и улыбаясь.— Как так уехала? Куда?

— Взяла чемодан... Большой чемодан!

Алеша успел прикурить и бросил спичку. Значит, тетя Варя видела со своей скамейки, как Анка пронесла мимо чемодан. Но она же никуда не собиралась! Алеша спросил:

— С кем шла?

— Одна.

Алеша вскочил и остановился. Можно было, конечно, броситься к дому Анки, расспросить ее родителей. Но отец Анки был неразговорчив, как ни тормози, ни расталкивай. А мать не жаловала Алешу вниманием с детства. Мать, любезнейшая женщина, Анна Матвеевна, была вечной соперницей Ольги Тимофеевны Сучковой по всем промысловым и прочим слободским заботам. Зачем они соперничали? А вот так, чтобы выделяться... И ходить перед соседями с гордой головой, точно слободка и не слободка, а олимпийский стадион какой-нибудь... Сейчас Алеша понимал лучше: от зависти это, а тогда просто знал, что он для Анны Матвеевны — представитель сучковской породы. Любезнейшая Анна Матвеевна его не терпела...

И он не пошел к родителям Анки, а бегом припустился на вокзал, соображая, что уехать удобнее всего по железной дороге. Но можно и улететь, если это серьезно. С Анки станет...

## 2

Анка Распопова родилась в семье Сергеича, ходившего на деревянной ноге. Ногу он потерял на войне, в боях под Курском, и, бывало, рассказывал слободским мальчишкам о страшном сражении. Ни в одной из человеческих войн, уверял он, не сталкивалось между собой столько танков лоб в лоб.

Рассказывая, он забывал о своей деревяшке и, сидя на крыльце, начинал двигать руками и ногами как на водителском сиденье в танке. Выполнял приказы своего командира Дмитрюка, «самого дорогого человека»,— не забывал прибавить он.

— Есть, товарищ Дмитрюк! — кричал Сергеич на крыльце, как будто дорогой человек был рядом с ним.

Тогда, в бою, командир Дмитрюк помог раненому водителю выбраться из запылавшего танка, вытянул и выбросил его из огня, и водитель до сих пор помнил крепко за-

жмуренные глаза командира в черном дыму, горящие рукава комбинезона... У водителя была раздроблена нога. Влоча ее, он полз назад, к танку, а потом катался по траве и выл от своего бессилия.

Башенный стрелок Тюркин был убит сразу, тем снарядом, осколки которого остались в ноге Сергеича, и сгорел вместе с Дмитриюком.

— Вот как они погибли, а я живу...— рассказывал Сергеич.

И в голосе его звучал упрек самому себе.

Алеша в эти минуты думал о брате, которого живым не видел. И не увидит. Брат лежал в далекой могиле, в чужой земле, называющейся неласково — Померания. «Проклятое место,— говорила мать,— По-ме-ра-ния... Специально, чтобы помирать... Сколько там их! Косточек не сосчитаешь...»

Какой бы рассказ о войне ни приходилось услышать маленькому Алеше, а позже прочитать, во всех историях у него был один герой — брат Петр. Его воображал он стреляющим в бомбардировщике, сидящим в танке.

Тогда, после рассказа Сергеича, Алеше приснилось: человек горел в танке, и это был брат. Он едва дождался утра, прибежал, спросил:

— Как же так вышло, дядя Сережа, что наш танк подожгли?

Ему хотелось, чтобы никогда не было ни смерти брата, ни смерти Дмитриюка.

— Так ведь у них тоже были «тигры», а не кутята,— ответил дядя Сережа.

И опять начал кричать, рассказывая о победах своего экипажа.

С огорода подошла Анна Матвеевна, поставила рыжие от навоза ведра.

— Убилась!— И закурила, стоя на коротких ногах, обутых в сапоги.— А ты, голуба моя, все бах, бах? Язык-то не болит? Мозоли уж небось на нем от этой самой войны! Лучше научил бы, любонька, мальчика грядки полоть... Он бы мне подсобил!

Дядя Сережа посидел, ухмыляясь, вздохнул и горько сказал:

— Сучкова сама научит.

— Нау-у-учит,— тут же пропела Анна Матвеевна, чадая папироской.— Она хозяйка! У нее клубника так клубника, огурец так огурец! А у нас, зайныка? А у нас? Эх, горе!

— Ну и пусть себе! — огрызнулся Сергеич.

И в этом его злом пренебрежении к огурцам вдруг слышался Алеше непонятный тогда вызов. Пусть себе! Анна Матвеевна засмеялась:

— Ах, голуба, ах ты, зайныка моя!

Дядя Сережа не хотел работать в огороде. Он мог починить керогаз и ходики, ручные часики и даже бормашину зубному врачу Богме, отцу кудрявой девочки Нади, которую мать последние годы прочила Алеше в невесты. Всегда была суровой, а о ней заговаривала — заискивала.

Богмы жили на краю слободки, у самой реки, в каменном особняке, похожем на дачу. Его так и называли — дача, и маленький Алеша запомнил: дача прочная, красивая, с большим участком, а в просторных, как небо, окнах всегда полыхает солнце — с одной стороны утром, с другой вечером... Сам Богма, Андрей Никифорович, не только ездил в городскую поликлинику, но и на даче держал кабинет. Еще стучала там швейная машина, которую чинил и смазывал дядя Сережа. Все слободские, старые и малые, лечили у Андрея Никифоровича зубы, все шили у его жены, Софьи Михайловны, рубашки, платья и фартуки. Старшая дочь, Вера, сидела возле матери в блузке, утыканной иглками с нитками, держала на коленях лоскутки...

У матери, Сучковой, чуть ли не все зубы были стальные. Улыбнется — заводской механизм, озноб берет. Но она редко улыбалась, хотя и гордилась своими зубами и была довольна тем, что они не влетели в копеечку — со слобожан Богма брал по-божески. А ходила мать на дачу чаще других, за тем, за другим, вела знакомство...

Дядю Сережу Алешина мать презирала, потому что он был сумасшедший, совсем ничего не брал с людей. Ни за керогазы, ни за часики. Отталкивал от себя руки с бумажками, протянутые к нему. Сначала слобожане обижались:

— Мы не нищие!

Дядя Сережа улыбался так, что наружу выкатывались влажные десны, и объяснял:

— У меня к вам симпатия!

А мать Анки при этом восхищалась, любезничая с ним:

— Ой, голуба! Сил моих нет, помру я! Ой, зайныка!

И Алешу радовала и манила эта ее ласковая манера разговаривать с дядей Сережей. Дома он такого не слышал. В то время он считал Анну Матвеевну лучшей женщиной в слободке, а может быть, и во всем мире.

Когда дядя Сережа впервые починил и отрегулировал



у Богмы закапризничавшую бормашину и заменил моторчик, тот предложил ему:

— Хотите, научу вас золотые коронки отливать? Дельце тонкое, но у вас — руки!

— Не хочу.

— Почему же? — поразился Богма, дыша, как бегемот, и придавливая живот руками, будто он мог от этого стать тоньше. — Зароботок я вам гарантирую, дорогой человек!

Дядя Сережа повернул к Богме голову и смотрел долго.

— Не хочу, — повторил он, — это не по моей части.

— Сколько ж я вам должен? — спросил удивленный Богма.

— А нисколько.

— Хм!

— Я для интереса.

На этот раз дядя Сережа не улыбнулся и не сказал: «У меня к вам просто симпатия».

В тот день Алеша вместе с Анкой купался в реке, там, где между дачей Богмы и слободкой до сих пор белеет на жарком солнце вытоптаный, выгоревший пляжик. Анка впервые оказалась не в трусиках, а в синем купальнике, обтянувшем ее тонкое тело.

— Ну как? — спросила она, поворачиваясь. — Смотри!

Алеша рассмеялся по-козлиному.

— Как сосиска!

— Сам ты сосиска!

Анка обиделась и, накупавшись, не побежала в кусты переодеваться, а натянула платишко прямо на мокрый купальник и торопливым шагом ринулась домой. Алеша едва поспевал за ней, на ходу управляясь с брюками. Во дворе Распоповых метался чей-то голос, резкий и зычный, свирепствовал, клочкотал.

— Коронка же! Золотое дело! Ирод!

Алеша не понял сразу, что это Анна Матвеевна орала, даже не подумал о ней. Анка рывком повернулась к нему, и он на какой-то миг перестал слышать надсадный голос из открытого окна, а смотрел на два таких неожиданных мокрых кружка на груди Анки.

— Уходи! — крикнула она.

Но он и этого не услышал, только повернулся и застыл.

— Уходи! — повторила Анка тише, почти шепотом.

Но он стоял.

— Дармоед! — кричала Анна Матвеевна, ругаясь по-

мужски.— Привезла хозяина! Симпатия у него ко всем! Ишачит на людей!

Это на дядю Сережу она так?

...Она привезла Сергеича в слободку на извозчике. Встретились в поезде, разговорились, вроде бы в шутку, но она ссадила его в городе. Сейчас извозчиков не увидишь, а в ту пору, сразу после войны, были в городе извозчики. Два или три... Вот Анна Матвеевна и посадила инвалида в фэзтон...

И выглядело все это до того дня, той минуты ласково и даже романтично. Алеша ходил любоваться на их жизнь. Зачем же она сейчас так ругалась? Алеше хотелось зажать уши...

А дядя Сережа смеялся...

— Чего смеешься-то? — раздалось из распахнутого окна.— Дураку все смешно!

Алеша оглянулся, ища защиты у Анки. Но Анки не было.

Анка закрылась в сарайчике, и, может быть, дядя Сережа услышал ее визгливый плач оттуда и оборвал жену:

— Цыц!

А она пригрозила:

— Я тебя бить буду!

Да она ли это? Вот тебе и зайныка... Вот тебе и голуба...

— Давай лучше вместе в земле копаться,— предложил, сдаваясь, дядя Сережа.

И Анна Матвеевна сразу затихла.

В огороде дяде Сереже мешала деревянная нога, она проваливалась в рыхлую землю. Вся земля теперь между грядами была истыкана его деревяшкой.

Анна Матвеевна ласково приказала ему как-то:

— Проси протез, зайныка. Тебе полагается. Требуй!

Он печально посмотрел на жену, долго сворачивая сигарку.

— Мне и так хорошо...

— А делу плохо. Гляди на землю, голуба!

— Я себе пятку приспособлю.

И правда, вырезал Сергеич для своей деревянной ноги «пятку» из доски — такой кружок размером с тарелку, про- сверлил в «ноге» дырку, чтобы крепить эту пятку стопором из гвоздя... Протеза он не пошел просить... От самого слова «просить» его коробило.

Но однажды вызвали в город — открытка пришла, и

домой дядя Сережа вернулся с грохотом, на автотележке.

— О! Стучит! — победно кричал он, прибавляя газу, и бил себя кулаком по сердцу. — Молоток! О!

— Дыхни! Дыхни, зайныка! — подступала к нему с разных сторон жена.

А дядя Сережа смеялся, отвечая:

— А как же, Аня... Я же не один воевал... Раздушили бутылочку!

— Не одну, похоже!

— Ну, две!

На этой тележке дядя Сережа катал и Анку и слободских мальчишек. «Садись, мошкара!» И они облепляли тележку, стучащую внутри, и тележка рвалась с места, как конек-горбунок.

Как-то дядя Сережа выкрасил свою тележку в небесный цвет, а красил из специальной штуки с бачком, и называлась эта штука пистолетом. Алеша смотрел, как пылит из дульца краска и ложится на железо небесным блеском. Он выбрал тогда себе первую профессию. Будет красить машины...

Для «пистолета», одолженного у какого-то знакомого с автобазы, дядя Сережа достал баллон газа, продавщица газированной воды расщедрилась, и Анна Матвеевна кричала, что проломит ей голову, едва найдет, а не найдет, так пойдет ломать всем продавщицам подряд, на всех углах... А дядя Сережа опять смеялся: ему нравились и цвет тележки и пронзительный запах краски, он был настроен весело и шутил:

— За чужие головы в тюрьму сядешь, Анна Матвеевна!

— Нет, зайныка! Я ее скорее посажу! Можно государственное имущество раздавать хахелям? Я ее...

Анна Матвеевна с возмущением ударила носком сапога по баллону. Он был уже почти пустой и неожиданно загудел, как колокол. Это зачаровало маленького Алешу. Захотелось, чтобы хозяйка еще раз ударила по баллону, и он попросил:

— Тетя Аня! Еще раз!

— Что тебе?

— Ударьте!

— А ты сюда чего повадился? — налетела на него Анна Матвеевна. — Пошел вон! Сучок от суки!

Алеша шел от Распоповых по измятой дождями слободской улице, глотая слезы — редкие, но трудные, плакал без

голоса. Чего он повадился? Слушать про танки на Курской дуге... Дядя Сережа помог самокат смастерить: железный руль, стальные оси, подшипники... На этом самокате и Анка каталась. Да мало ли чего!

А дядя Сережа ничего не сказал своей жене, промолчал... Ну и ладно! Алеша решил, что больше не придет к Распоповым. Никогда!

В сумерках дядя Сережа сам нашел его у реки, где Алеша скоротал остаток дня. Посидели молча. То и дело хлопали себя по шее и щекам, прибивая комаров.

— Хочешь, научу тебя сигарки сворачивать? — спросил наконец дядя Сережа.

И стал учить, как указательным пальцем прижимать махорку к бумажке, а большим заворачивать в трубочку. Умение это не пригодилось Алеше. Еще в школе он закурил сигареты, сигарочное время кончилось. Но в тот вечер сворачивал дяде Сереже сигарку за сигаркой, потому что тот курил много, наверно, чтобы отгонять комаров...

Оттопырив нижнюю губу, дядя Сережа выдыхал дым и спрашивал у Алеши, как у взрослого:

— Ну, что мне делать с Матвевной, что? Ничего не сделаешь! Анку я люблю...

И, наклонившись, шепотом, хотя никого не было с ними у реки, признался: напрасно она думает, что в честь нее назвал он дочь Анкой.

— Вот! — Дядя Сережа остервенело показал в сторону слободки кукиш.

Оказывается, в честь чапаевской пулеметчицы назвал он свою девочку, длинноножку и тонконожку, Анкой, обманул жену.

Дядя Сережа потакал всем желаниям Анки. Увидев в городских «Культтоварах» фигурные коньки, Анка так захотела их, что даже за грудь схватилась, и он подрядился на разные работы в соседних дворах, кому насос поставил для поливки огорода, а кому и шипы сделал для собачьих ошейников, повозился со швейной машиной у Богмы, со всех спросил больше, чем давали (по привычке ему давали мало), и купил Анке коньки на ботинках с высокими, чуть ли не до колен, голенищами, мягкими, шевровыми... Анна Матвеевна сердито закачала головой на цену.

— Ох, голуба! Я снесу их обратно!

А он сажал Анку в тележку и увозил на каток, где она училась фигурному катанию. Сам ждал ее в тележке, дул на руки, согривался бутылочкой, из тележки не уходил, не

мог, надо было часто заводить на морозе старенький мотор.

Анка выбегала из ворот катка, краснощекая, легко запрыгивала в тележку, командовала:

— Вперед!

Иногда Алеша прибежал к катку, успевал застать их, и тогда Анка радовалась. Дядя Сережа, промерзший до сердца, трогал с места.

...Куда же она ускользнула вдруг? В тот вечер не смог он этого выяснить.

Два поезда ушли из города в разные стороны... Побывал и на аэродроме. Самолета на Воронеж не было. На Воронеж, потому что там служил на действительной сын слободского сапожника Смычка по имени Стась, курносый и рыжий. В детстве он катался с Анкой на автотележке до последнего, пока дядя Сережа не остановится у его дома с голубыми ставнями и не скажет: «Ну, Стась, уморился? Слазы!»— а теперь стал музыкантом в военном оркестре, играл на барабане. Подписывал письма «Стасик» и просил Анку так же называть его, нравилось, воронежские девочки приучили. Недавно он приезжал на похороны своего отца и клялся, что найдет Анку и женится на ней, потому что где ни бывал, а такой, как она, не видел.

Значит, и Стасик не знал, где Анка... А тогда Алеша подумал, не к нему ли она вдруг подалась, потому что не знал, что думать, и голову потерял...

С аэродрома вернулся в слободку затемно. Тусклыми пятнами горели над улицей фонари, аккуратно разбитые мальчишками через один...

Не сомневался, что подойдет к распоповским воротам и увидит Анку. Она должна ждать его на скамейке, где в последние годы всегда сидел Сергеич, словно этой скамейки напоследок вполне хватало ему для жизни. На скамейке дежурил, пока жена вернется с городского рынка и даст ему рубль. На скамейке по бокам дяди Сережи терпеливо маячили его слободские дружки с забытыми именами: одного звали Бородавка, другого Вышка. Оба сосали потухшие сигареты и давно сжимали свои рубли в грязных кулаках наготове. Потом мчались к магазину, как в атаку. За полночь дядя Сережа приползал домой. Тележку свою он давно разбил — налетел на дуб, подъезжая к слободке, там, где сейчас уже стояли пятиэтажки. Приползал домой и садился на скамейку. Его не могла утянуть отсюда даже Анка.

— Мне здесь нравится! — повторял он, если мог говорить.

В доме Сергеич чувствовал себя неудобно. «Как в могиле». Уже давно звали его Сергеичем, даже родная жена так звала, тормоша:

— Эй, Сергеич! Налакался?! Лакаголик!

Не дозвавшись, случалось, запирала от него калитку до утра. Другие люди, жалея Сергеича, иногда стучали в нее: кто робко, кто громко — Анна Матвеевна не откликнулась.

В тот вечер мятый человек опять спал на скамейке у ворот, сидя под тусклым фонарем.

Алеша потряс его за плечо:

— Сергеич!

Тот приподнял голову, видимо узнал окрепший басок, спрашивающий:

— Где Анка?

Сергеич бессмысленно смотрел на него.

Алеша дернул калитку и загрохотал об нее кулаками так, что во всех дворах вскинулись и залаяли собаки.

### 3

Сейчас смешно и неловко вспоминать, но наутро после Анкиного исчезновения Алеша твердо решил, что ему нужно много денег, и он их достанет во что бы то ни стало, недаром же у него слободские корни, слободская хватка. Он же не кто-нибудь, а сын Сучковой! Он всем докажет это.

Ему нужны были деньги!

Никогда еще он не чувствовал, что без них как без рук. Да что там — без рук! Можно схватить зубами, если рук нет! А без денег как?

Деньги требовались, чтобы спасти Анку.

Ему казалось, что Анка где-то погибает.

Не откладывая, надо было мчаться за ней, ехать, лететь! Куда? Он пока не знал этого, как не знал никто. Но каждый день верилось, что она напишет. Ну, хоть Наде Богме, подруге...

Надо было съездить и привезти ее домой... Вернуть. Если даже она не так далеко — не уложишься в сотню, пожалуй. А если далеко? А если сразу не уговоришь вернуться — надо еще и жить где-то там... Там вовсе может так получиться, что и копейки не достанешь... Алеша считал, сколько ему потребуется денег, и все умножал на два, впервые ощущая, что такое — отвечать за кого-то...

Чтобы спасти Анку, он готов был броситься в огонь, с головой, отдать жизнь... Это не для красного слова, он не врал. Чего врать-то самому себе? Но еще подстегивало его чувство вины за то, что было непоправимо, и он понимал это тем больше, чем больше болело вот здесь, в груди, где и до сих пор нет-нет да заболит.

Виноват он был в том, что накануне ее бегства они поссорились. Может быть, впервые... И он, уверенный, что они никогда не смогут поссориться, тем более вот так, до разрыва, не выслушал ее, даже не прислушался к ней, ни о чем не спросил... Видно, плохо быть чересчур уверенным: кажется, что прав, а выходит несправедливо...

Из-за чего поссорились? Из-за ерунды, в общем... Вспомнишь — улыбнешься. Так громко звучит: из-за будущего. Но, может быть, простительно им было схватиться из-за этого, не старики же...

У него с годами вызрела тихая мечта — стать учителем, и не где-нибудь, а в далекой, маленькой деревне. Может, потому, что из деревни вышел батя и сейчас, под старость, все чаще вспоминал об этом, сидя на своем любимом месте, на крыльце во дворе, горько хмыкая, попыхивая в усы.

— Вышел и не возвернулся... Весь вышел! Пых-пых...

Это было у него вместо ха-ха-ха, вместо смеха.

Верно, от бати жил и в сыне деревенский дух, была тяга в деревню, кто знает! Может, в этом была своя романтика. Деревня, дети, школа, от крыльца которой он до зари отгребаёт снег... Еще темно. И тихо, лишь скрипят шаги, его шаги... Но вот-вот затопают маленькие валенки... А может, в нем к окончанию школы просыпалось и крепло неосознанное желание получить под свою ответственность кусочек жизни... Не всем же строить ВАЗы и КамАЗы... И вот он взял и рассказал Анке о деревенской зиме и детских валенках, и это было для нее неожиданным, потому что он ни с кем не делился своим стремлением, которое решением стало: утром надо было нести в институт документы. В их городе было еще два института — сельскохозяйственный и железнодорожного транспорта, а он выбрал педагогический. И не потому, что пединститут считался самым популярным, а сказать точнее — самым доступным. Он выбрал.

Анка пожалала плечами, в глазах забегали чертики — светлячки такие, чертиками их называл дядя Сережа, — щеки надулись, губы стиснулись, она еле сдерживала смех, поднимавшийся как на дрожжах и распивавший ее. Ресни-

цы взлетели, глаза от этих самых чертиков засинели ярче. Он закурил и терпеливо потупился. Пусть смеется! Еще бы, Алешка — и вдруг учитель! Ни разу не говорил об этом... А он в тот миг думал, что правильно делал. Не сразу люди понимают друг друга, даже такие близкие, как они. А они с Анкой были самыми близкими людьми и давно знали, что будут жить вместе... Они выросли вместе, любили друг друга, и любовь их была на всю жизнь.

— Ты серьезно... про деревню? — спросила Анка, перестав пыжиться. — Алеша!

— А чего? Я серьезный мужик.

Тогда Анкино лицо пошло красными пятнами — она быстро сердилась и краснела, не умея этого скрывать.

— Я не поеду в деревню, — сказала она зло.

— Поедешь, — ответил он. — Знаешь, в какую?

— Я сказала...

— Маленькую, вот такую, — он с улыбкой показал ей кончик пальца. — В самую глухую, где кино — раз в неделю и баню сами топят... Нравится?

Она вздохнула и замолчала. Он еще подтрунивал, но ее будто и не было. Ладно, сказал он сам себе, образуется, не беда... Побольше бы таких бед!..

С утра крутился в институте, не в первый раз рассматривая объявления, заполнившие все стены у лестницы со ступенями из мраморной крошки, ведущими от парадного входа наверх, в пока еще таинственные и немного страшноватые коридоры. Большие, с простыню, объявления были раскрашены, как реклама. С картинками, с фотографиями, с портретами деканов разных факультетов и заведующих разными кафедрами, в большинстве серьезных, даже мрачноватых дядей и тетей.

Но были и другие снимки...

Они запечатлели студентов не только в аудиториях и лабораториях, а и на далеких стройках, в заманчивых спецках стройотрядовцев или на стадионах у спортивных снарядов — на земле и в воздухе во время прыжков, и даже на лесной поляне молодые туристы весело сидели на траве за скатертью-самобранкой, а один, с гитарой, облюбовал пенек...

Сдав документы, Алеша услышал, как его назвали заковыристым словом «абитуриент», и, чтобы не очень смущаться и гордиться, снова подумал об Анке, о которой не забывал ни на минуту. Через час они встретятся. Анка что есть силы щелкнет его пальцем по лбу и скажет:



— Упрямый! Ну как я с тобой буду? Нет, не буду лучше! Слушай, я ведь боюсь тебя!

А может, просто поцелует. И это будет самым счастливым мгновением — до замирания сердца, почти до остановки: он всегда задыхался, когда они целовались.

Вот с матерью, Сучковой, труднее... Хуже... Учитель? Сто рублей в месяц, и так не год, а всю первую половину жизни и чуточку больше во вторую. Для чего учился? Если б стать зубным врачом, как Богма! Она постучит себе крючковатым пальцем по голове да еще выложит какую-нибудь свою мудрость, вроде этой:

— Иль жизнь грызи, иль лежи в грязи.

Ночью может прийти в его узенькую комнату и пожалеть. Мать всегда приходила жалеть его ночью, будто стеснялась сердобольности. Посидит на табуретке у кровати и спросит хмуро:

— Чего ж ты испугался, сынок?

Он не ответит, и она прибавит:

— Глупо рожено — не научишь!

С малых лет она учила его ничего не бояться, никогда не отступать. Если приходил с улицы в крови, она еще ему добавляла и велела:

— Бей сам, бей! Баптист окаянный! Безрукий!

Руки у него были крепкие, кулаки быстро наливались тяжестью, но он еще ни разу никого не бил ими, не двигал по лицу. Смысл этой брезгливой клички («Баптист!») долго оставался для него неразгаданным, а теперь он только ухмылялся: если бы война, пошел бы на передовую, как старший брат Петр, и показал бы, какой он баптист! Узнали бы! Но он никогда раньше не пускал в ход кулаков, потому что они у него были сильные, способные свалить с ног кого угодно. И верилось, что эти руки заработают, сколько надо, без помидорных грядок. Уедет подальше отсюда и будет писать письма старикам не в Нижнюю слободку, которой скоро не станет, дело месяцев, а по городскому адресу, и заполнять бланки денежных переводов на имя матери.

Так думалось, да не так вышло. Мать была права, что он дурак.

В тяжелых, крепких руках его не было ни рубля, когда потребовалось спасти Анку или просто гнаться за ней. Ну что ж! Если уж поворачивать, так на сто восемьдесят градусов. Дело он придумает такое, что все ахнут! Резвое, доходное...

Раззудись, плечо,  
Размахнись, рука!

Это осталось от тех пор, от первых дней после отъезда Анки, когда он воображал, как рыжий барабанщик с нежным именем Стасик водит ее по Воронежу и показывает... Что она там могла увидеть? Алеша вспоминал все, что знал о Воронеже от географички, и снова рылся в школьном учебнике.

В Воронеже Петр I начал строительство русского флота; поднимал под небо мачты с парусами... То место так называется и сейчас — Петровская слобода. Да когда-то всякая слобода была пристанищем мастеровых людей, которых чистая городская публика жить поблизости не пускала, вот они и гнездились на окраинах. Так и возникали слободки при богатых городах.

В их безвестной миру Нижней слободке прежде тоже обитал рабочий народ, ткачи... Времена менялись, менялись и люди. Население.

В одном сквере Воронежа есть памятник Петру-царю и строителям кораблей... В другом — памятник Кольцову, поэту крестьянской удали и печали... Раззудись, плечо! Размахнись...

Размахнемся! Но для начала надо было раздобыть хоть немного денег, обзавестись... Кто даст ему денег? Дуракам денег не дают.

Иногда, среди ночи, Алеша чувствовал себя в космической пустоте, из которой не выбраться. В слободке все бедные, кого ни спроси, денег ни у кого нет. И дома ветхие, нечиненные... Раньше еще следили, а теперь зачем? Разнесут в прах и даже метлой не подметут, блестящие скребки бульдозеров сгребут мусор в кучи, вывезут на свалку — и вся музыка!

Нет, домов в слободке уже не поддерживали, вот только заборы и латали накрепко, по привычке, чтобы посторонние не ломились во двор ни руками, ни ногами, ни глазами...

В то утро Алеша вскочил пораньше, прыгнул с крыльца и вбежал в батину сараюху, откуда доносился шелест рубанка...

Всю жизнь батя столярничал, вкладывая свои силы в чужую мебель. В автомобилях и на тачках привозили бате битые серванты из современных гарнитуров и древние столики, тронутые временем и шашелем. Батя смотрел, и думал, и ухитрялся скрывать от глаза непоправимые, казалось, изъяны. Один заказчик, помнится, все просил свою

жену выйти из «Жигулей», полюбоваться работой и торжественно называл батю не столяром, а художником.

— Такой художник — и одиночка! Обидно!

— А художники всегда одиночки... В одиночестве для людей стараются. Разве не так? Пых-пых...

Батя был мастак на неожиданные фразы, Алеша тогда запомнил его ответ.

В полсарая, внушительно и солидно, как президентский стол, стоял батин верстак. По стенкам на гвоздях висели пилы, а на полках лежал разный инструмент, который батя называл «коллекцией жизни». Тут были сверла, стамески, долота, напильники и напильнички, которым никто, кроме бати, точных названий не знал. Сейчас таких не делали. Самые ценные из них были прикрыты тряпками.

Недавно приезжал из города молодой директор новой школы и уговаривал батю уступить инструмент, пусть дети поучатся, у них будущее, а слободке конец, переедете в город, негде будет поставить верстак.

Батя не поддался, приподнимал ладони с растопыренными пальцами, точно хотел прикрыть ими свой инструмент.

— Я им зарабатываю еще!

Так и не уступил...

Батя выдувал рубанок, когда Алеша вбежал и наспех, волнуясь, рассказал все об Анке. Батя только поморщился.

— Уехала — плюнь вдогонку!

Сгрел стружку с верстака и замахал рубанком.

Мать ковырялась в огороде, копала грядки. Ну что ж, пойдет к матери... Мать же!

Он всегда жалел ее... В детстве, бывало, выносил из дома табуретку, чтобы она отдохнула, но не помнит, чтобы мать хоть раз присела. «Без труда не выдернешь и рыбки из пруда». Это едва ли не первые слова, которые он услышал от нее...

Тогда во дворе еще росла яблоня, корявая, как мать. Кидала краснобокие яблоки в траву, шелестела листьями, пока они не разлетались по всем углам пятнышками вчерашнего солнца. Едва научившись держать метлу и грабли, он помогал бате сгребать их, а мать сама поджигала. Сырые листья долго, как-то нехотя, дымили и тлели, им еще хотелось пожить. Но лишь под самым забором оставалось их несколько, которые он щадил, иногда нарочно прилепляя к доскам. Приземлившись, они уже не умели перелетать через такую высоту.

— Мам! — спрашивал он. — Зачем нам этот заборище?

- Чтобы люди не заглядывали.
- А заглянут, так что?
- Наврут про нас!
- Для чего?
- Для выгоды.
- Люди правду совсем не говорят?
- Говорят, когда есть зачем.
- Зачем?
- Для пользы.

У матери на все имелся в запасе готовый ответ, закон жизни. Оттого она и была решительной, что всегда все знала и считала себя правой.

А вот знала, что жить ее грядкам осталось совсем ничего, а все равно копала и перекапывала всю свою землю, до вершка. От весны к весне она еще перекраивала двор, лежавший в прямоугольнике высокого забора, как в ящике, перелицовывала и штопала его ревностней, чем фартук. Все на матери было в латках.

Даже косынка на седой голове. «Не латала б, не имела».

Алеша боялся ее истомленного лица, пока не привык к тому, что оно всегда такое... А руки! Руки матери — он не мог смотреть без страха и жалости на ее пальцы, согнутые в крючья, словно они были не живые, а железные. Чего только в них не перебивало! Лопаты, грабли, ведра, кирпичи, известка, топоры, доски, колья... И уж конечно чугунок, чайники, котелки и кастрюльки...

Когда вместе носили помидоры на городской рынок, он и туда прихватывал для нее скамеечку. Уходил с рынка быстро, стеснялся, что встретит матерей своих соучеников, но все же успевал услышать, как мать, едва присев, начинала нахваливать товар:

— Из одной помидорки тарелку салата сделаете. Попробуйте на вкус! Вот соль.

Мать вставала и двигала к покупательнице бумажный мешочек, завернутый на макушке, как конфета трюфель. Если в ответ тоже хвалили помидор, мать прибавляла степенно:

— Оттого и цена... Мы люди честные.

У нее есть деньги. И она должна понять его... Он помогал ей, едва начал ходить. Подметал землю у крыльца, у порога летней кухоньки, под которую приспособили времянку, державшуюся с тех дней, когда Сучковы купили эту землю и начали строить этот дом. Сгребал листья, в морозные вечера застилал парники соломенными матами, таскал

воду, рыл грядки, полон траву, рассыпал удобрения, мазал стены в теплице... Все перечислить — не вспомнишь, надо снова эту жизнь прожить... Сейчас скажет: «Мама!»

Батя вышел из сараюхи и присел на крыльце с самокруткой в коричневых зубах — ни разу не видел Алеша, чтобы батя закурил что-то готовое, сигарету или папиросу. Мать выпрямилась в огороде, увидела батю, дымившего самокруткой в ожидании завтрака, подошла, приткнула лопату к сухой стене летней кухоньки — стена вся была в пятнах и полосках от держака.

Батя мрачно смотрел себе под ноги... И вдруг сказал: — Все ж таки цветы были, Оля!

Оказывается, не просто под ноги, а на землю у крыльца смотрел батя. Он всегда сажал здесь георгины, львиный зев и ночную фиалку. Вечерами сутулая, с помятыми плечами, фигура бати темнела на крыльце, а из сумрака прямо тянуло душистыми запахами. Нынче мать подвела помидорные грядки к самым ступеням. Вот батя и загоревал...

— Помидоры тоже цветут, — ответила мать.

— Так не пахнут! — усмехнулся батя, приминая пальцами жесткие усы. — Пых-пых...

— Нашел работу — нюхать! — посмеялась и мать, скрываясь в кухоньке.

— И красиво было! — сказал батя.

— Я тебе бумажных цветов наделаю, еще лучше! — крикнула из кухоньки мать. — И красиво и не вянут! Это да!

Она была мастерица цветы делать... Узловатыми пальцами, про которые сама говорила, что кольца на них уже не наденешь, склеивала, сшивала из накрахмаленной марли даже мелкую сирень. На продажу.

— В гроб сделаешь, — проворчал батя так, чтоб она не слышала, и опять посмотрел под ноги и сплюнул.

Будут здесь цвести помидоры... Их цветок — неказистый и непахучий — имел для матери свою цену. Для нее все цвело и плодоносило деньгами, которые она молча складывала в уме. А где хранила? Может, на чердаке?

У нее все было на ключах...

Сейчас... Сколько он попросит? Двести, даже триста... Для дела.

Конечно, она изречет что-нибудь такое, против чего фраза «молоко на губах не обсохло» — пенье соловья. А он все вытерпит, оденется в броню. Он приостановился в напряжении.

Мать услышала его шаги и окликнула веселым голосом:  
— Алеша! Смотри, вот байстрюк!

Уцепившись коготками за край миски, в которой горбились куски хлеба, в летней кухне сидел воробей и клевал крошки. Он пугливо вертел головой и подскакивал от каждого шороха. Мать попыталась захлопнуть дверь, но воробей тут же зашумел крыльями и выпорхнул.

— Сейчас опять прилетит, воришка! Встань тут. Закроешь, мы его попугаем.

Алеша обрадовался возможности подыграть ей. Воробей слетел с ветки, попрыгал по земле у порога и опять юркнул в кухню. Алеша толкнул дверь. Попался!

Мать, застывшая у плиты, зашевелилась, и воробей понял опасность, подлетел, забился в окно, заскользил распущенными крыльями по стеклу. Вид у него был раздавленный...

— А-та-та! — сказала мать и цепкой рукой схватила воробья.

Алеша улыбался.

Она поискала вокруг глазами, взяла со скамейки скалку-качалку и одним ударом размозжила воробью голову, а потом швырнула его за порог, кошке, ласково позвав ее:

— Кыс-кыс-кыс...

— Зачем? — с оставшейся на лице улыбкой спросил Алеша.

— А чтоб не жрал чужого! — И мать осуждающе удивилась Мурке, подошедшей лениво, враскачку: — Разнухивает, стерва!

Не даст она ни копейки! С ума сошел, что ли, у Сучковой деньги просить? Ни шиша не даст, хоть умри!

#### 4

Надю Богму он ждал на лужайке перед дачей, окруженной железной оградой, тонкой, словно бы из балконных решеток. За дачей тоже поднимались пятиэтажки, город обступал слободку со всех сторон...

На лужайке, шурша молодыми листьями, зеленела берега, под которой они с Анкой провели не один вечер.

От соседней березы, когда-то росшей тут, им достался пенек, на котором Анка любила сидеть, запустив пальцы в волосы Алешин...

Здесь они укрывались в вечерней тени. До березы не дотягивался свет из окон Богмы, а слободские окна таились

во дворах, как в заключении, и свет оставался там же, упирался в заборы.

Отсюда было видно всю слободку, и дорогу в нее, и речку... Река изгибалась упавшим набок коромыслом.

В этой излучине и лежала слободка, спускаясь к самой воде. Не будь реки, она убежала бы от города, но домики с заборами не могли перепрыгнуть реку, а город не оставливался.

— Надя!

Он так задумался, что увидел ее уже в спину — белый плащик, обтягивающий маленькую фигурку, в руке портфель...

Алеша почувствовал себя неловко. Наверно, оттого, что собирался спросить о деньгах... Мать настойчиво и горячо, как сваха, твердила ему о Наде, а тут...

— Надя! У тебя есть деньги?

Надя и бровью не повела.

— Сколько тебе?

— А сколько ты можешь дать?

— Пять рублей,— сказала она.

Он шумно вздохнул.

— Десять,— сказала она,— если разбить копилку.

— Кошечку?

— У меня поросенок.

Его гипсовую кошечку разбили на куски, когда покупали ранец в школу. А у Нади, значит, еще жил поросенок. Богма и так принес младшей дочке портфель.

Вот у кого были деньги, у Богмы, но Андрей Никифорович тоже ни за что не даст, не поверит...

— Зачем тебе деньги? Анке хочешь послать? — вдруг спросила Надя.

— Письмо получила? — сразу спросил и он.— Знаешь адрес?

— Нет... Не получила. Зашел бы в библиотеку, Алеша. Интересные книги есть. Могу подобрать.

Надя выросла с книгами. До железной решетки дачу окружал штакетник, и люди видели, как за его деревянными полосками сидела в шезлонге некрасивая, но всегда нарядная девочка, рядом с розовыми кустами, и, положив ногу на ногу, читала, изредка откусывая яблоко, зажатое в кулаке.

Иногда поднесет ко рту, вцепится зубами, да так и забудет откусить, сидит, читает, поддерживая яблоко рукой...

В слободке говорили про семью зубного доктора:

— Они книги читают!

И это относилось ко всему семейству, хотя вот так, на виду, читала одна Надя и никто не видел за книгой ни Софью Михайловну, ни тем более самого Богму.

От Нади узнал Алеша о Робинзоне Крузо и Тиле Уленшпигеле. У нее брал читать «Два капитана», но на этом все и кончилось — она сказала, заливаясь слезами:

— Папа запретил.

Как раз тогда Сергеич смазывал у Богмы его зубо-врачебную технику и видел, что Наде была за книги серьезная взбучка. Наклонив дочь к ногам, врач шлепал девочку толстой ладонью, ритмично повторяя:

— Для тебя же эти книги покупаются, для тебя, для тебя. Ты их береги, береги, а не таскай кому попало, не таскай, не таскай, не таскай!

Вдоль стен чуть ли не всей дачи, от пола до потолка, на стеллажах красовались разноцветные корешки книг. Богма сам протирал их влажной тряпочкой, а Сергеич смотрел и думал: сколько добрые люди написали всего, напечатали для других людей, верно, тут мудрости — не измеришь, может быть, вся мудрость — учись жить, а вот он, Сергеич, ничего не читает, хоть и грамотный. Вытащил как-то книжку в коленкоре, бережно подержал в руке — точно, уронив, мог разбить — и спросил у Богмы:

— Интересная?

Богма не шевельнулся на стремянке и даже не посмотрел.

— Дети прочтут. Сам не успеваю. На место поставьте. Это ж подписные издания.

И Сергеич загнал книгу назад, в щелку, как патрон в обойму.

Теперь Надя окончила библиотечный техникум и работала в городской библиотеке, может быть, ей нравилось безбоязненно давать книги всем, кто хочет читать.

— Зайду как-нибудь, — ответил Алеша. — Подбери.

И, чувствуя, что дело было не только в книгах, немного погода оглянувшись. Надя резко повернулась, пошла, а до того мига, значит, смотрела ему вслед. Мать открыто, по-свойски, говорила ей:

— Окрутила бы моего Алешку!

Уж очень ей хотелось, бедной маме, чтобы Алеша стал зубным врачом. Зубы рвал, как золото добывал.

Алеша невольно улыбнулся и прибавил шагу.

Он знал, к кому идет. Начинай с друзей! Правда, из-за



Анки у него друзей как-то и не было... Никого, кроме самоуверенного и заносчивого Степана, к которому он спешил. В тот момент Алеше нужен был как раз такой друг, как Ящик. Еще в школе физкультурник сказал Степану, низкопрослому и широкому, будто квадратному:

— Ты как сейф. Но лентяй стопроцентный. Не сейф, а ящик.

Так и стал Степан Ящиком на всю остальную школьную жизнь. Он не обижался, выпячивал грудь колесом:

— Ящик! Плевать! Ни холодно ни жарко.

Жил Степан в одном из самых ладных домов в слободке — с узорными наличниками, которые каждой весной красили в новый цвет.

— Родители облизывают, — замечал он сам. — Моя воля, я обил бы весь дом железом, а сверху масляной краской прогулялся, чтоб сразу и навек!

— Задохнешься в таком доме от жары.

— Экономия на дровах! — шутил Ящик.

Своего дома он не любил. Нравилась ему дача Богмы.

Алеша застал его как раз у поленницы. Слободские жители пилили и складывали дрова загодя, не спеша. В руках Ящика, похожих на клешни рака, колун казался игрушкой. С конца шеста, прибитого к сараю, над россыпью березовых полешек сверкала непомерная электрическая лампа размером с графин.

— И-их, какое ты себе светило устроил! — подивился Алеша. — Разоришься.

— У меня иголка в счетчике, — скромно ответил Ящик.

Он быстро доколот дрова и начал подкладывать их к толстой, как крепостная ограда, поленнице. Обычно над поленницей, чтобы дрова не мокли, возвышалась черепичная крыша на четырех высоких столбах, но в последние годы стали накрывать поленницы пластиком: практичней, не надо менять битой черепицы, и косые дожди с боков не мочат. «Надежно и выгодно», — говорил Ящик, который за небольшую плату приволакивал всем пластик с фабрики кожзаменителей, где работал.

— Помоги, тогда покурим, — предложил он Алеше.

И Алеша начал было помогать, но не выдержал и спросил раньше:

— У тебя есть деньги?

— Есть, — ответил Ящик, стуча полешками.

Складывал он их ловко, как машина. Он все делал целеустремленно. Если рыл землю, то так, будто знал, что лопа-

та отроет ему клад. А складывал дрова так, будто знал, что клад лежит под самым последним поленом. Учитель физкультуры ошибся, назвав его лентяем. Ящик просто не делал того, что не нужно, а что нужно — понимал он один. И тогда работал, как артист.

— Дашь мне? — спросил Алеша.— Двести рублей.

— Что ты! Спятил? Никогда!

— А почему?

— Не вернешь.

— Честное слово, верну.

Ящик обмахнул изрытую топором колоду для рубки дров, сел и закурил сигарету. Алеша стоял рядом, вытирая ладонью влажное лицо.

— Где возьмешь-то? Это ведь деньги. Тут честности мало.— Ящик посмотрел на него сочувственно.— Я дал бы тебе, но сам нуждаюсь — вот так!— Он хотел полоснуть себя по горлу и задел за подбородок, у него совсем не было шеи, голова казалась вделанной сразу в плечи.— Намечается редкий...

— Что?

— Бизнес.

Когда-то вместе с ним скакали на прутиках, заменявших бешеных лошадей. Длинными проволочными каталками гоняли по травянистой улице обручи с бочек, сгнивших под водосточными трубами. Распугивая гусей и уток, меченных разноцветными кляксами: зелеными, синими, красными, желтыми... Хозяйки метили птиц, чтобы не спутать. С ним играли в прятки, считая, кому водить: «Поп, татарин и казак, кружка пива, дохлый рак, кому есть, кому пить, а тебе голодным быть». Прутики сменили на самокаты, пересыпающие стрекот подшипников по всей слободке. Вместе бегали в школу с тугими ранцами за плечами, с дешевыми портфелями, ловили рыбу в своей реке удочками-самоделками, распускали леску, насколько хватало, а потом радовали городских женщин, принося им прямо во дворы шук, вызывающих аханье. И покупали себе на выручку ковбойки и джинсы.

— Идейка завелась!— подхватил Ящик.

— Значит, будут деньги! Разбогатеешь...

— Месяца через два-три-четыре... Приходи тогда!

— Скажи уж — пять-шесть-семь-восемь...

— Я дал бы,— повторил Ящик.

Он дал бы... бы-бы-бы...

Ночью показалось, что Ящик прикидывался. Ничего не

дал бы! Никогда! Сам же сказал... Стало страшно, что он, Алеша, не мог помочь ни Анке, ни себе. Пустота была не вокруг, а внутри...

И в ту минуту отчаяния неожиданно улеглось волнение и непонятное происшествие с Анкой и его судьба обрисовались с неумолимой отчетливостью.

Анка-то вряд ли уехала с деньгами! Кто ей дал? Где она, неизвестно, но везде ей плохо. Ни угла, ни друга. А он сидит в слободке, будто его и нет на белом свете вовсе! Почему Ящик шагнул вперед? Потому что не терял времени. Кулаки у Алеши покрепче, чем у Ящика, хотя и у того, конечно, не слабенькие, на плечах — голова, а не кочан капусты, так что же?

Не туда смотрел, не о том думал! Учитель! Ха-ха-ха! Вот теперь расплачивайся. Ты — Сучков, а идея у Ящика. Идея. У Ящика.

У него тоже завелась идея в эту ночь. А вслед за ней — готовность пуститься по всей слободке в беззащитный поиск хотя бы небольшой суммы, эта сумма требовалась ему, как спичка, чтобы разжечь костер, как наживка на рыболовный крючок, чтобы поймать налима пожирней.

Смешно, но он решил начать с тети Вари.

## 5

— Да что ты знаешь о ней? — спросила тетя Варя. — Где хоть она?

— Знаю, что ей худо. А больше ничего. По радио о ней не передают.

Собственный голос в тесной кухоньке тети Вари показался ему глухим и робким, и он приналег на слова, похожие, может быть, на вопль:

— Тетя Варя! Если я ее не вытащу оттуда, куда ее занесло, не знаю куда... только знаю, что я себя презирать стану. Так презирать, что и не поймешь, как жить дальше!

— Ну, вот еще! Жизнь длинная, а ты уж вон как про себя.

— Я об Анке, тетя Варя! Дайте совет, что делать. Сам придумать ничего не могу! Если б денег мне! Хоть немного для начала.

В самом деле, он больше ничего не мог придумать и только сильнее винил себя в том, что случилось. Вспомнилось, как сидели у реки незадолго до глупой ссоры. Цикады

свирители в темноте, и плескалась вода, в которой отражались далекие звезды.

— Красиво все же у нас, — сказал он.

— Уехать бы! — ответила она усталым голосом.

— Куда?

— Куда глаза глядят!

Домашние скандалы... Пьяный отец, которого Анка любила... «Душевная» мать, помыкающая им... Все это давно стояло комом в ее груди, а он не замечал... Нет, замечал, но не брал в расчет, строя свои прекрасные планы о деревеньке, далекой, за чертой горизонта... Достроился!

Тетя Варя отошла в угол кухоньки и порылась внутри старого самовара, в горловине, на которую надевают трубу. Вынула тряпичные узелки... Один развернула, и там оказались мятые десятки, пятерки, трешки... Может быть, и мать хранила свои накопления в самоваре? У них был большой самовар, пооблезший по бокам и поэтому краснощекий...

— На, бери! — сказала ему тетя Варя. — Тут сто рублей!

Она разгладила разноцветные бумажки и протянула ему. Он взял их.

— Посчитай, — подсказала тетя Варя.

Он машинально пересчитал их, прикрыл глаза и покачался с деньгами в руках. Чутью легче стало, но бессонные ночи смаривали его, и он почувствовал это, одолев первый перевал... А тетя Варя спросила:

— Мало?

И он словно бы очнулся... Конечно, для дела, задуманного им, этого было мало, но он счастливо улыбнулся и успокоил себя и ее:

— Я по всей слободке пойду. Достану.

Тетя Варя вздохнула так длинно, что во время этого вдоха успела и покрутить и покачать головой, и ничего не сказала, а он заверил, вставая:

— Я скоро верну вам! Спасибо, тетя Варя.

— Да чего там! — отмахнулась она. — Вы же с Анкой на моих глазах выросли. Под мой баян, можно сказать.

На второй день тетя Варя спросила, когда он шагал мимо скамейки, где она сидела со своим баяном, как его дела, и пожелала удачи, потому что ему похвалиться было нечем, к сотне не прибавилось ни рубля. И на третий спросила — коротко и не очень участливо. Он догадаться не мог, что в слободке появилась еще одна душа, тревожащаяся о нем

и Анке, что тетя Варя вместе с ним не спала эти ночи и думала... о своем баяне...

Этот баян долго был свидетелем ее тоски, ее одинокой жизни. Был посредником между ней и людьми, как добрый друг, был другом и без людей, когда те обижали ее ни за что ни про что и становились чужими и лишними. Если она не разговаривала с баяном, то лишь вслух, а так поверяла ему все на свете, свои самые глубокие думы, свои печали и радости, которых было так мало в ее жизни, радостей-то.

А теперь пальцы переставали слушаться. Пробегая по белым кнопкам, похожим на перламутровые пуговицы, пальцы вдруг немели и останавливались, а то пытались схитрить и пропускали иные звуки... Но тут не схитришь, это музыка, ее не обманешь!

И тогда приходили воспоминания. Возникал в тишине Колин голос: «Я ее ни на кого не променяю!» Или спрашивал он: «Какую?!» — и запевал...

Она слушала и держала на коленях молчаливый баян, забыв о нем. А если вспоминала, только расстраивалась, каждый раз все мучительней. Отыграла! Стало жечь в груди, как будто там очнулись старые угли...

И однажды под утро она, кажется, надумала, как помочь Алеше Сучкову. Нравился он ей своей открытостью, непривычной для высоких слободских заборов, своей преданной привязанностью к Анке, дочери хромого солдата...

А через несколько дней остановила похудевшего, потемневшего лицом Алешу и сказала:

— Вот тебе еще...

На этот раз деньги были завернуты в газету. Алеша посмотрел: и купюры были крупнее прежних... Он не обнял ее, не поцеловал, даже спасибо сказать забыл, побежал к своему дому не оглядываясь, а она смотрела вслед и радовалась: вот и хорошо, молодой, пусть бежит...

Слободка все узнает быстро и немедля узнала, что Алеша Сучков купил мотороллер, но никто не видел, чтоб он катался на нем. Несколько дней Алеша допоздна стучал во дворе, сколачивал что-то, разжившись у бати старыми досками и забывая поесть. Мать поглядывала на его работу без гнева, потому что видела рвение... Алеша слышал, как она тихонько сказала бате:

— Не знай, какая нужда приперла, но ум сразу нашелся...

Воскресным утром Алеша выехал из ворот с сигаретой в зубах на своем загадочном сооружении. К мотороллеру

была приделана сзади платформа, а в нее врезана дисковая пила. Слободка только еще просыпалась, выносила из-за калиток ведра и корзины, и он раньше всех ее обитателей появился на рынке среди дядей с колунами и пилами на плечах.

— Беру дешевле, — азартно закричал он, — пилю быстрее!

И тут же, скорее, чем ждал, стал получать приглашения во дворы по разным адресам. Он записывал, называл время, все чин чином, четкая работа. Люди уважительно смотрели на машину, восклицая:

— Агрегат!

— В ногу с веком, — отвечал Алеша.

Агрегат пилил кривые, железной крепости стволы играючи, с удивительной легкостью, не обращая внимания на сучки. Брызгали опилки, и, отпрыгивая, разлетались в разные стороны поленья. Трещал мотор, ремень от заднего колеса, поднятого на подножку, мелькая швом, вращал диск пилы, она яростно звенела и острозубо смеялась. А в карманах комкались рубли, пятерки, десятки... Бизнес! Прав был Ящик, черт побери! Права слободка!

Еще немало городских жителей топило печи. Зимними днями морозно застывали над крышами косые дымки, поворачиваясь, как флюгеры, и показывая, откуда и куда летят ветры... Ловко сообразил он насчет этих дров, доказав всем, что и младший Сучков понимает дело.

В конце недели два подвыпивших пильщика, которым он неосторожно посоветовал утречком помнить, что они живут в век прогресса, соображать надо, а не полагаться на такие, как у них, ветхие орудия производства, «туда-сюда», — выследили и безбожно поколотили его в одном из дальних городских дворов. Хозяйка закрылась в доме, никто не заступился. Были они к тому же из Верхней слободки, которая всю жизнь враждовала с Нижней. Уходя, пригрозили, что будут бить каждый день... За прогресс.

Алеша вытерся, умылся в кухне — мерси, хозяйка позволила, — и запомнилось, как ее маленький сын, прячась за стулом, смотрел на кровь, стекавшую вместе с водой в раковину... Он подмигнул испуганному малышу и опять поругал себя. Надо было раньше учиться драться, как мать велела. Ну что ж... Дело нехитрое. Не так-то просто было испугать его.

Следующим утром он приехал на рынок, спрятав в карман тяжелый брусок от молотка, чтобы не давать бить себя,

а бить самому И с перевязанным глазом, правда. Может, из-за этого глаза и не заметил, как какой-то тип в фетровой шляпе тщательно срисовывал его агрегат. Через несколько дней, прикатив на рынок, Алеша не поверил себе. Брусок от молотка лежал в его кармане, но удар все же нанесли ему, и совсем с другой стороны. У места, где толкались хмурые дровосеки, красовались три мотороллера с дисковыми пилами, и все у них было сделано почище, по-мастеровитей, а на боках торчало по два щитка с надписями: «Бюро добрых услуг» и «Плата по таксе».

В этот день его никто не позвал. И в следующий... Ясно!

Треща запыхавшимся мотором, Алеша покатил в соседний городок, знаменитый научно-исследовательским институтом с заковыристым названием из десятка букв. Но и эту дорогу сделал он зря! Ученый городок перевели на газ и паровое отопление... Модерн! Тут отдымили трубы... Хоть плачь...

Что ж ты наделало, «Бюро добрых услуг»? Какому доброму делу сунуло палку в колеса, помешало! Несколько дней он без успеха стоял на рынке... Каюк!

Даже сбыть свой небывалый агрегат поникшему Алеше не удалось. Тот самый тип в шляпе из «Бюро добрых услуг» сказал:

— Мы рассчитываемся только по безналичному...— И ядовито поинтересовался: — У вас уже открыт счет в банке, молодой человек?

Нёбо пересохло, трудно было ответить. А тип вдруг задумавшись предложил:

— Может, к нам поступишь? Пригодишься. А? Ты, видно, головастый.

Мотороллер пришлось продать через комиссионку, заметно потеряв, конечно. До вечера он прослонялся по той улице, где зажгла свет в своих окнах городская библиотека. Может, Надя получила письмо от Анки? Нет, он уже знал бы об этом...

Почту в слободку возил на велосипеде прихрамывающий старик с утиным носом. Во время войны он, тогда человек уже хромой, но моложавый, развозил похоронки. Раз, в День Победы, мать вспомнила, как Верховой — это была его слободская кличка — привез похоронку о Петре... Брату бы сейчас все рассказать... Но его нет и не будет, и никто тебе не поможет, Алеша, кроме тебя самого... А Верховой все еще крутил педали своего велосипеда. Короткая штука

жизнь, одного велосипеда на нее хватает, хотя иной день, а то и час кажется таким длинным.

Алеша договорился, что, кому б ни было первое письмо от Анки, Верховой покажет, даст списать обратный адрес. Это ж не военная тайна... Старик обещал... По-человечески.

И с Надей бы сейчас поговорить по-человечески. Пройти вместе до дому. Не так сиротливо...

В библиотеке Надя была обычно строгая. Когда возвращали книги, она перелистывала все страницы, выговаривала за подогнутые углы, за пометки на полях, даже если их делали не карандашом, а ногтем, а если кто портил или пачкал самую невидную книжицу, ставила отметки в формуляре, как в школьном дневнике, и хороших книг в такие руки не давала. Из-за этого с ней шумно скандалили...

Однажды какую-то книгу у Нади взял Ящик и принес назад завернутую в золотой лист, как шоколадную плитку.

— Ты хоть читал? — спросила Надя. — О чем она?

Ящик достойно промолчал.

Надя смеялась, когда рассказывала, как спрашивала, зачем он брал книгу, и Алеша смеялся тоже, будто не понимал: «Черт его знает!» — но сам-то знал, что это все просто. Надя давно мучила Степана. На щеках Нади — веснушки, такие рыжие, такие яркие, что их хватало на весь год, они никогда не исчезали бесследно, но Ящик...

Ящик каждый день ждал Надю то у гастронома, то у парикмахерской, то у кино, то даже у бани, куда Надя по-вадилась со своим тазиком под мышкой — для сохранения фигуры, хотя в солидном особняке Богмы была ванна с горелкой, которую топили чурками... Парилки не было.

Еще не хватает, чтобы Ящик заметил, что кто-то другой ждет Надю, и вышла драка... Алеша огляделся и увидел Ящика на другой стороне улицы. Так. Ящик — человек без нюансов, он сначала пустит в ход кулаки, а потом уж будет разбираться... Полезет — получит, Алеша теперь понял, что надо бить первым... Но Ящика-то за что? Лучше уйти...

Еще никогда Алеша не чувствовал себя таким одиноким. И это оказалось нестерпимым... Хуже, чем в детстве без старшего брата...

Он шагал и думал, что если бы Анка написала письмо, если б знать, где она, знать ее адрес, то на деньги, оставшиеся у него, можно было бы помчаться туда, по этому адресу... А там черт с ним! Увидеть Анку, понять, почему уехала, как ей там, и можно вернуться...



Однако проходили новые дни, недели — Анка не писала. И Верховой, которого он часто ждал на углу слободки, проезжал мимо на своем скрипучем велосипеде и мелко тряс из стороны в сторону головой, украшенной козлиной бородкой...

Алеша шагал и думал, что, конечно, слободка уже знает о провале его «бизнеса» и будет смеяться над ним. Потешиться над неудачником — это ее любимое дело... Но, может быть, стоило посоветоваться с Ящиком о каком-то новом «мероприятии»? Ящик мог надоумить... Он ведь и с Надей хотел поговорить: не научит ли его Андрей Никифорович Богма отливать золотые коронки? Алеша сумел бы, хотя «ремесло тонкое»...

Нет, Андрей Никифорович тоже посмеется, вежливей других, но тоже... Постой! Может, Ящик примет в свое «дело» на паях? Что он там затевает? Ему можно отдать оставшийся капитал. Друг все же, если вспомнить... К Ящику! Действуй, Алеша!

Круто повернув, он почти побежал назад, на ту улицу, к библиотеке... Здесь уже не было ни Ящика, ни света в библиотечных окнах... Долго же ты метался, Алеша!

Город замирал и погружался в ночь... Улица опустела, три-четыре последних, полных света окна стали черными, не хотели отставать от других, выделяться...

Алеша поднял глаза на плотно закрытые окна библиотеки и вдруг увидел, что одно — на втором этаже — открыто, слабый зеленоватый свет из него, тлея где-то в глубине комнаты, едва добирался до внешнего мира, тек наружу, в темноту... И вслед за ним текли на улицу звуки рояля... Робко, неуверенно сначала, будто кто-то пробовал инструмент, вспоминал мелодию, а потом раскрепощенней... И от этого увлеченней...

Окно читального зала выходило на улицу. Давно же он не был там, если вспомнить не может, когда в библиотеке появился рояль. Раньше, когда он заглядывал, не было. А теперь не заглядывает, даже стыдно стало перед самим собой, но что поделаешь — такова се ля ва, как говорят городские мальчики, несколько переиначивая французское звучание на свой лад.

Алеша взялся за водосточную трубу и полез по ней к открытому окну читального зала. Может, это Надя играет, пробует рояль? Она же дома занималась музыкой! Пока он лез, звуки из окна слышались все громче и громче...

Забравшись, он уселся на подоконник... На весь читаль-

ный зал горела одна настольная лампа с зеленым абажуром, но и при ее слабом свете Алеша узнал женщину за роялем. Это была — у него расширились глаза от неожиданности — да, это была уборщица Ариадна Арсеньевна, которая не раз просила его получше вытирать ноги перед входом в читальный зал. Это она играла! Ее широкая и короткая спина, на которой морщился серый рабочий халат, покачивалась. Как куриные крылья, расходились и сходились по бокам ее локти.

А играла Ариадна Арсеньевна складно, звуки то медленно лились, переходя один в другой, то взрывались, то пересыпались. Когда она опустила руки, Алеша захлопал. Оттого что тихая ночь стояла за спиной и в зале было пусто, вышло довольно громко. Ариадна Арсеньевна вздрогнула и оглянулась.

— Не бойтесь меня, я не жулик,— крикнул Алеша.— Я вас знаю, Ариадна Арсеньевна!

Она пригляделась недоверчиво:

— А тебя как зовут?

— Сучков Алеша.

— Что-то я тебя не помню... Ты зачем забрался?

— Послушать.

Ариадна Арсеньевна покачала головой, вздохнула:

— Это был Лист... Венгерский композитор и пианист...

Алеша кивал, но нельзя же только это и делать, поэтому он похвалил:

— Замечательно играли! — Причем так честно, что женщина отмахнулась и помолчала.

— Ах, послушал бы, как доченька моя играла! В консерваторию готовилась! Сейчас бы уже окончила...

— А где она?

— Не сберегла я...

Он не ждал такого ответа, не знал, как продолжать разговор, пока не спросил тихонько:

— Откуда здесь рояль?

— Бывшая директриса наша уходила на пенсию и подарила. Всю жизнь бессменно проработала в библиотеке и через три месяца, как ушла, умерла... А рояль оставила... читателям. Кто любит читать, любит и музыку. Это две половины одного дела. В книгах и в музыке — душа человеческая. Музыку любили Толстой и Ленин. Так она объясняла. У нас концерты проводятся, не так — ля-ля, а образовательные... Приходи завтра, будет вечер Густава Малера.— Ариадна Арсеньевна посмотрела на него и добави-

ла: — Австрийский композитор... Две девушки из музыкального училища придут играть...

— А читатели не сердятся? — улыбнулся Алеша.

Она улыбнулась тоже:

— Так ведь завтра выходной! Только в библиотечные выходные музыкальные вечера на общественных началах, а в будни...— Она показала ключик, выдернув его из рояля, белеющего клавишами под зеленоватым светом, как в воде...

Алеша смотрел на эти клавиши, и какая-то мысль вертелась в голове, уже казавшаяся удачной... Ну!

— Ариадна Арсеньевна, зачем вы здесь с веником, со щеткой, когда умеете...— Он показал пальцами, как она играет.

— А где ж мне быть? Дома я одна, а здесь с людьми.

— Да нет! — Алеша махнул рукой.— Сможете вы, кроме этой,— он поискал слово,— содержательной музыки... например, шейк сбачать? Извините, так ребята говорят. Молодые. Повеселиться... потанцевать охота, а куда ни придешь... Где у нас танцуют? На ткацкой, на макаронной фабрике — в их клубах, в клубе кожаных изделий... И везде что? Краковяк! А тут,— он великодушно показал на рояль и Ариадну Арсеньевну,— живая музыка!

— Шейк?

— Я пластинки достану. Послушаете, сможете подобрать? У нас есть тетя Варя с баяном, но это ж... По сравнению с вами — полная самостоятельность! А вы сели — сыграли! — распаялся Алеша.— Что вам стоит?

— Смогу.

— Ребята не поскупятся. Насчет денег. Моя треть.

Ариадна Арсеньевна заскрипела стулом, отодвинула его и встала. И ушла... Не было ее довольно долго. Наконец появилась. С длинной щеткой, которую несла уже над плечом, замахнувшись. Она шла через читальный зал, брякая стульями у столов, раздвигая их по дороге. Губы поджала, и на них появились складки. Сейчас ударит!

Но Ариадна Арсеньевна крикнула, подходя:

— Слезай!

— Как?

— Как влез!

Уцепиться здесь за водосточную трубу было трудней и рискованней, чем внизу, да еще торопясь, однако Алеша изловчился, поехал по трубе, отрывая пуговицы, и через минуту был на тротуаре. Здесь его ждал милиционер.

Он дал Алеше отряхнуться и протянул к нему руку:

— Пошли!

— Я сам! — сказал Алеша.

Некоторое время шли молча.

— Трезвый? — спросил милиционер.

Вместо ответа Алеша тоже спросил с недоброй усмешкой:

— Она вам позвонила?

— Догадливый!

В отделении милиции начали составлять протокол, но, кроме «влезания по водосточной трубе с целью послушать музыку», ни в чем его, собственно, обвинить не могли, хотя милиционер звонил библиотечной уборщице, задавал вопросы и слушал, повторяя:

— И все? Сумасброд отпетый!

Был он старый, почти как батя, с прокуренными усами, с глазами в дряблых складках, как у лягушки, но дослужался только до одной маленькой звездочки и поэтому, наверно, вел себя тихо.

— Зачем тебе деньги? — спросил он, положив трубку.

— Если б вы знали, как нужны! — воскликнул Алеша и замолчал, уронив голову лицом в ладони.

— Не хочешь, не рассказывай.

Если бы не эта фраза, Алеша так и просидел бы до расвета. А тут вдруг заговорил и рассказал все: и про бегство Анки, правда не называя ее имени, и про дисковую пилу с мотороллером, не стараясь разжалобить, а просто..

Они сидели за столом у деревянного барьера, обтертого людскими локтями, в пустой милицейской комнате и вели среди ночи не казенный, а самый человеческий разговор, какого давно ждал Алеша. Его хотя бы слушали...

— Так это твое изобретательство в «Бюро добрых услуг»? — спросил милиционер, угощая Алешу сигаретой. — Видел. Дровишки так и летят! Режет, как бритва. Хм! — Он зажег спичку и покачал головой. — А теперь, значит, за Ариадну! Чтоб шейк бацала? И-эх, глупость!

Алеша в упор смотрел на старого младшего лейтенанта и думал примерно так: «Глупость... Еще какая глупость! Но до чего бы ты дошел, дед, на моем месте? От отчаянья! Тут же не бывает предела!» А дежурный дед говорил:

— Талант, направленный на самообогащение, уродует личность! Чьи слова? Золотые!

Дал Алеше прикурить и снова помотал головой. А потом спрятал в ящик недописанный протокол и сказал:

— Иди спать! И смотри не теряй головы! Запасной ведь нет.

Это все было, конечно, правильно, но Алеша шагал и думал... Уродует личность! Философия для устроенных! Ради Анки он готов был изуродоваться хоть физически.

Навстречу текли слобожане, работавшие в городе. Оглядывались на скамейку тети Вари: заиграет ли вечером баян? В последние дни тетя Варя не играла... Не было привычной музыки, и вот люди оглядывались на пустую скамейку. Онемела слободская улица. Почему? Почему вечерами тетя Варя не встречала слобожан бравыми маршами, как всегда?

И стало ясно вдруг, что она продала свой баян, чтобы дать деньги ему, Алеше! Как же он раньше не допер? Откуда ей было взять еще? Помидоров для рынка она не выращивала...

Но ведь это был не просто баян!

6

Тетя Варя подняла глаза, улыбнулась:

— Бог с ним... с этим баяном...

— Держите деньги... Тут не все. Но я заработаю, добавлю, и купим новый баян. Увидите!

— Не нужно... Пальцы! Вот! Потому и продала, чтоб не мучиться... Не ради тебя... Наплюй!

— Как же?... Что вы... Тетя Варя! А мне-то что делать? Что?

Она поняла, что он уже большой и еще мальчишка, который не отвык от учителей... Человеку в жизни нужен еще кто-то, хоть один, кому можно довериться. Всегда. Но еще она понимала, что не может научить его ничему такому, что сразу все исправило бы, изменило к лучшему.

— Нашел умную, — усмехнулась она. — Я своей-то жизни не сумела наладить... Ты спроси того, кто сумел.

— Богму?

Тетя Варя не ответила.

— Мать? — решил Алеша.

Тетя Варя опять промолчала, улыбнулась и сказала совсем о другом:

— Степан вон автомобиль купил... Ящик ваш...

— У Степана поучиться?

Но тетя Варя смотрела мимо, задумалась, замолчала.

— Если серьезно сказать... по малому моему разуме-

нию... деньги... автомобили...— она махнула рукой,— мелочи все это! Особенно в молодые-то годы... Ящик хвастает: я дом построю! Лучше, чем у Богмы. А дом — не четыре стены. Судьба! Вот дом, в котором жить да жить...

— Верно, тетя Варя. Я хочу...

— Подожди,— перебила тетя Варя, будто боялась, что собьется.— Я знаю, чего ты хочешь... Вы-то, молодые, хотите все сразу... Больно уж быстро все хотите! Нетерпеливые. Быстрохоты! Оттого, наверно, что дано много... Вот! А судьбу не построишь сразу... Нет. У иного, глядишь, и дом и автомобиль есть, а судьбы нет... Это не так легко, Алеша, зато по-настоящему от этого только и радость... Вот,— опять сказала она и спросила: — Так и не знаешь, где она, Анка-то?

— Нет.

— Через милицию поищи...

— Родители Анки не хотят... Сергеич не велит. Верит: устроит жизнь, даст знать... Она такая, Анка! Молчок. Прыгнула, и, пока не выплывет, звука не дождешься. Анна Матвеевна отмахивается. Молвы не хочет. Дочь, одна-единственная, удрала! Что люди скажут? Делает вид, что все хорошо, улыбается, когда спрашивают об Анке, и письма, дескать, идут, а я от Верхового знаю, что не было еще писем... Ничего не было. Ни письма, ни телеграммы! А она улыбается...

— Ради молвы Анна Матвеевна... и на похоронах заулыбается!

— Сказал ей, а она: «Ты-то что лезешь?! Кто ты такой?! Не лезь!»

— Ты?

— Ну да...

— Да ты!.. Да вы!.. Это ж редкость!..— Тетя Варя внимательно посмотрела на него.— У вас любовь.

— Ну да...

— Это ж редкость! — повторила она.

Он сидел, сцепив руки.

— Давай я тебя чаем напою,— мягко предложила тетя Варя.— У меня варенье из абрикосов, в прошлом году привозили к нам на рынок аж из-под Мелитополя... Далеко ездить стали! У всех машины... Я в него лимон кладу, кусочками...

Чай пили, не разговаривая, как будто все сказали. Алеша похвалил варенье, тетя Варя расцвела и подложила.

— Я работать пойду,— сказал Алеша.

— Ну это, конечно, лучше, чем дрова пилить...— засмеялась тетя Варя.— И деньги будут. Вернее.

— Быстрохот! — усмехнулся и он.

— Экзаменов не сдал?

— И не сдавал.

— Куда пойдешь-то?

— На стройку.

— Не о том мечтал...

— А вы о чем мечтали?

Тетя Варя начала смеяться, закрыв рот ладшкой, так что ему виделась тыльная сторона с толстыми, набухшими венами. Вытерла слезы, выступившие от смеха на ее маленьких глазах, и сказала:

— На коня сесть и на водные лыжи встать.

— Зачем?

— Для любопытства... Не села и не встала...

— Я серьезно спрашиваю.

— Ах, Алеша, мальчик... О чем мечтала, с собой унесу...

А ты, значит, в строители?

— По всему городу объявления висят. И работа интересная. Построим и здесь пятиэтажки вместо наших курятников! А чего? Своими руками.

— Когда-то, говорят, наша слободка давала городу рабочий люд. Теперь он поселился в городе, в хороших квартирах, а здесь остались мы!..

— Много строят в городе.

— Ящик тоже строит. Гараж для «Москвича».

Утром, едва встав, Алеша пошел глянуть, какой еще там гараж.

Во дворе, громоздясь, краснел на зеленой траве свежий кирпич. По соседству возвышался каменный лоб дворового погреба, заросшего репьем и фиолетовой кашкой,— колючки и цветы, толкаясь, теснились вокруг сухого клена на самой макушке погреба... Пролетали по осени кленовые «вертолетики», цепляясь за насыпи над погребами, весело вырастали на одно, от силы на два лета... Много кленов тянулось к нему с крыш слободских погребов, и все были сухие...

Как этот...

— Чего тебе? — требовательно спросил Ящик с крыльца.

— Да вот... Гараж, говорят, строишь. Пришел наняться...

— Ты мне не нужен,— сказал Ящик, как всегда категорически.— Я уже каменщиков нанял... Квалифицированных.

Автомобиль стоял под брезентом, за горой кирпича, как сказочная загадка. Поднять угол брезента, и загадка откроется.

— Какого цвета? — спросил Алеша.

— Фисташка.

— Покажи.

— Поеду — увидишь.

— Пассажиров возить будешь? В этом бизнес?

— Не твое дело.

— А зачем купил автомобиль? — не отставал Алеша.

— И дом сооружу, каких вы еще не видали! — напыжась, сказал Ящик, не чувствуящий ни насмешки, ни подковырок. — И женюсь на Наде.

— Для этого мало дома, — тихо и серьезно, скорее сочувствующе, чем насмешливо сказал Алеша. — И автомобиля мало. Еще нужна...

Он не договорил.

— Любовь? — покровительственно и чуть иронически спросил Ящик. — Так ведь я по любви все делаю... Ха! — громко усмехнулся он, сунул руки в карманы, повернулся и ушел.

А бизнес его оказался в другом.

Однажды Алешу, бредущего со стройки, на слободской улице досадливо окликнул незнакомый голос:

— Эй! Где тут Гутап?

Человек стоял у машины. В вечерних сумерках Алеша не разобрал, «Москвич» или «Жигули». Тем более светился только один подфарник. Гутап! Какой еще Гутап? В памяти всплыло, что было когда-то такое главное управление тракторной и автомобильной промышленности, что ли, Гутап. Откуда тут Гутап, в слободке? И он спросил:

— Какой Гутап?

— Степан.

— Ящик?

— Какой ящик? Зачем? Мне подфарник нужен. Я же русским языком говорю — Гутап!

Скоро перечеркнули детское прозвище Степана. Ящик повзрослел и стал Гутапом. А гараж его превратился в склад с полками, густо забитыми запчастями для легковушек. Нигде нет — ни в магазине, ни у магазина. Ни даже на техстанции. А у Гутапа есть. За другую цену, конечно, но поймите: Гутап на дом копит. Что нужно? Он же и для вас старается. Если сейчас нет, так завтра будет.

Степан совершал регулярные набеги на соседние города,



готовил дальнюю поездку в Москву, связей пока там не хватало, но это дело наживное... При слове «Гутап» любой слободской мальчишка направлял людей к его гаражу. Степан осматривал приезжих из окна, а тогда выходил.

— Я ведь для себя берегу,— говорил он новичкам.

— Пожалуйста, посмотрите... Может, найдется!

Ящик пожимал плечами:

— Навряд ли...

— Я не поскуплюсь... Пожалуйста!

— Если найдется, выручу...

И выручал. И наживался. Еще и квартиру купит в доме, который строит он, Алеша. Невольно думалось: что же ты, Алешенька, сорвался и отказался от бизнеса. Невезучий?

А вечерами фисташковый «Москвич» дежурил у библиотеки. В смотровом стекле плавали разноцветные огни. Алеша наткался на «Москвич» все чаще, когда заходил за Надей — они повадились в кино, вместе было веселей скучать.

Однажды Надя вышла из библиотеки и услышала, как приказ:

— Садись! — И автомобильная дверца открылась.

До самой слободки Степан молчал, только музыка в приемнике играла, а он сказал, когда фары коснулись лучами богминской решетки:

— Надя! Ты все знаешь. Чего зря говорить про это?

Такой он был значительный, что Надя едва удержалась, чтоб не прыснуть.

— Про что?

— И про Алешку, между прочим. Анка сейчас слиняла, но обломает зубы и вернется... Поглядишь тогда на Алешку...

— А если не вернется? — спросила Надя.

— Куда она денется? — засмеялся Степан.

Надя не ответила, и он сказал:

— Ладно, не вернется... Все бывает! Ты интересуешься Алешкой, известно, но ты открой глаза, посмотри — кто он и кто я...

Фары «Москвича» погасли.

— Я тебе гарантирую цветной телевизор,— без претензии сказал Степан.

— А дом?

— Само собой,— сказал Степан.— Ха! Куда ж девать телевизор, если дома нет? Но это быт. А телевизор — это для души...

Надя трудно вздохнула, как будто ей в самом деле стало невмоготу от какой-то невидимой, но ощутимой тяжести.

— Ой, какой ты дурак, Ящик!

И даже забыла, что хотела прыснуть, а Гутап сказал:

— Дурак, что вслух говорю об этом? Или, может, думаешь, меряю на это свои чувства? Нет, не меряю. Меня тоже учили, и я знаю, что их ничем не измеришь. Но еще Бальзак сказал, между прочим, библиотекарьша, что любовь доказывается рублем. И не надо от него прятать глазок, если ты женщина своего века.

— От Бальзака?

— От рубля,— сказал Ящик, не поддерживая ее веселого настроения.— Смейся, смейся... А потом он над тобой посмеется...

— Кто?

— Век,— бухнул Ящик.— Посмеется!

— Обязательно? — теперь она спросила его серьезно, вроде бы перестав считать дураком.

— Обязательно. Мир поумнел, Наденька. Все встало на место. Люди потрезвели.

— Оттого и пьют больше, чем пили?

Степан долго хохотал, булькая, как будто из его выпуклой груди, как из бочки, вырывались пузыри.

— Оттого! Правильно! Точно! Все им сделалось яснее, для приятного настроения не хватает ни слов, ни снов. Что делать? Надо взять в себя спиртного, чтобы взор затуманился! И берут! Еще как!

— Для чего?

— Я ж сказал... Для поэзии! Человек всегда стремится вверх.

— Угу. Отрывается от земли,— усмехнулась Надя.

— Но зачем отрывать? — спросил Ящик.— Лучше в этом видеть...

— Поэзию? — перебила Надя.

— Угу.

— В автомобиле?

— Во всем. В земной жизни,— твердо сказал Степан.— Другой не будет!

Надя помолчала, а он добавил помягче:

— Тебе далеко ходить не надо. Погляди на родителей. Зачем-то ведь жили старики!

— Они еще живут!

— Нравится тебе, как они устроили жизнь, как ты живешь благодаря их заботам, между прочим?

— Не нравится! — вспыхнув, крикнула Надя.

— Нравится не нравится, как это звучит — дом, автомобиль, цветной телевизор, — терпеливо продолжал Степан, — а один их не сотворяет, а другой сотворяет... Из любви, между прочим. Поимей это в виду.

— Спокойной ночи. — Надя стала искать ручку на дверце, чтобы открыть ее.

— Вопрос ясен, — сказал Степан, чинно вылез, обошел автомобиль и открыл ей дверцу, как джентльмен. — Я подожду!

## 7

Надя рассказала об этом Алеше и вдруг закончила:

— Он считает, что Анка скоро вернется!

— Да?

Даже писем от нее все не было.

Правда, Алеша теперь все дни проводил на стройке и редко видел Верхового, а при встречах Верховой скрипуче, в тон звукам своего велосипеда, кричал:

— Пишет!

Он был добрый мужик и не давал людям терять надежды.

Иногда с этажей корпуса, где он работал, Алеша смотрел на отдаленное место, занятое слободкой, будто вдруг мог увидеть там Анку. Первым узнавался старый дуб, который они называли ее, Анкиным. «У твоего дуба», — говорил он, не думая, что скоро это придется вспоминать. Вон та серая туча — округлая вершина дуба у расповских ворот...

Здоровенный дуб, раскидистый... Корни его, как насосы, иссушили землю, и под дубом ничего не росло, ни одной травинки. Падали с ветвей желуди, свиньи жрали их, мальчишки пуляли желудями из рогаток в птиц, населявших дебри дуба, — крона его была как роща, и все ветки — в заплатах птичьих гнезд. По коре ползали жуки-рогачи, на листьях гусеницы свивали коконы... Не дерево, а целое государство! А под листьями зрели вишневые шишечки, из которых можно было делать чернила. Они с Анкой делали...

Давным-давно в толстую дубовую ветку Сергеич вогнал костыли с кольцами и привязал к ним качели. Анка выросла. А качели все жили. Другая детвора, перетирая веревки, качалась на них...

Как-то и большая Анка с разбега прыгнула на доску, вытянула ноги, оттолкнулась от земли. Она качалась, подлетая, и Алеша глядел, как она закрывается ладонью от солнца, бьющего из-за листьев ей в глаза, Сергеич сказал тогда тихо:

— Хватай ее за руку и бежи!

Анка, подлетая, протягивала руку, точно слышала.

Сергеич говорил еще что-то, а с качелей доносился смех Анки, и ее длинные ноги блестели на солнце, и Сергеич все говорил, а запало в голову только одно: «Хватай ее!» Легко такое желать...

С корпуса, где кончалась его ученическая пора, Алешу определили в бригаду молодого шефа со странной фамилией Куцуруп. Был он маленький, неказистый, но пообещал, когда знакомилась:

— Если что, рассказывай... Я помогу.

А этого не расскажешь, никакой Куцуруп тут не поможет. Недели шли, месяцы, ничего не забывалось. Забыл, когда спалось, как все люди спят...

Вот и стали с Надей чаще ходить в кино. Казалось, как друзья.

Мать радовалась, даже спрашивала, стоило ему вдруг вечером остаться дома:

— Дать рубль?

В кино показывали счастливые истории, и если влюбленные сначала расставались, то потом все же встречались. Обязательно.

Однажды, когда он проводил Надю после такой картины и постоял с ней в полутьме у ее калитки, она спросила:

— Почему ты меня не поцелуешь?

Он отшагнул. Надо было это кончать.

А дома встретила растревоженная мать — сидела в столовой и курила в одиночестве, это у нее был признак явной тревоги. Быстро затолкала папиросу в пепельницу, сказала:

— Гутап шатался тут. Тебя требовал. Хоть спускай Мохнача!

— Завтра увидимся.

Но тут же забарабанили в калитку. Загавкали окрестные собаки, поддерживая горластого Мохнача, лаявшего на разрыв.

— Заходи,— сказал Алеша, открыв калитку.

Степан кивнул на уличную скамейку, присыпанную снежком:

— Выйди, посидим.  
— Ну?  
— В кино был?  
— Ну?  
— Интересно?  
— Слушай, глаза слипаются, я вкалывал весь день и спать хочу.  
— Успеешь.  
— Ну?  
— Я вас видел с Надей.  
— Первый раз?  
— Не первый.— Степан сгорбился и засопел.  
— Ну?  
— Весело бежали.  
— Я веселый,— сказал Алеша, злясь.— И она веселая.

Мы с ней оба веселые.

— Нет,— сказал вдруг Степан, выпрямляясь и глядя на Алешу воспаленными глазами,— раньше приличней жили. За женщину — дуэль! Будь здоров и не кашляй! А сейчас делают что хотят, а ты — сопи. Она ж тебе не нужна, Алешка, не нужна! Слышишь?

— Ну?

— Я сопеть не стану! — закончил Степан.— Я...

— Завтра постреляемся,— пообещал Алеша, вставая, и услышал за спиной:

— А от Анки письмо пришло!

Сначала само собой представилось, как Верховой остановил велосипед у дуба и скрылся за знакомой калиткой... Ему сказать не успел, не смог. Когда же? Он на стройке! Что там, в письме? Где она? Есть ли там хоть слово для него? Что с ней?

Знакомая калитка открылась сразу, без стука и терзаний... Уж потом, скребясь в кухонное окно, он догадался, что Сергеич, которому стало холодно на скамейке, утащился в дом, не заперев калитки... Грязного мужа хозяйка не пускала спать в комнату... Он на кухне, да... Вот запахнулись створки окна... Слободские женщины спали крепко, голоса Анна Матвеевна может и не услышать, а потянет холодным воздухом — враз вскинется.

— Пусти, дядя Сережа! — попросил он как-то по-детски.

Письмо было у Сергеича... Видно, и спал с ним в кулаке... Зажгли свечу, чтобы не разбудить Анну Матвеевну электрическим светом... Устоялось пламя на толстом огарке, потянулось вверх...

Вот он наконец разгладил конверт, достал листок, исписанный резким почерком...

Анка жила празднично. Об этом и писала. Выступала в цирке на льду. Вот как! В цирке! Фигуристка же с детских лет!

— Коньки — снегурочки, — сказал Сергеич шепотом.

Цирк разъезжал по разным городам — нынче здесь, завтра — там. И все. Этой строчкой заканчивалось письмо: «Нынче здесь, завтра — там». Из конверта на стол высыпались цветные фотографии. Балерины на коньках. Смеялись везде... Сплошное счастье!

Они много раз перечитали письмо, благо такое короткое... Сергеич рассматривал фотографии и программки.. Одну Алеша взял себе.

Весь наступивший день Алеша писал Анке. Письма разрастались за счет многих ненужных слов, выходили не смешными, а хотелось почему-то написать посмешнее. И он рвал и рвал испорченные листы, казалось, общей тетради уже не хватит, пока не родилось письмо в одну строчку: «А я тебя жду».

Анка не ответила.

## 8

И вот зима прошла... Мягко и тепло зазеленели деревья, а трава почувствовала себя хозяйкой... Это особенно заметно было здесь, в слободке, где без каменной брони, без асфальта земля дышала легче... За день трава пробила даже сквозь натоптанный грунт уличных тропинок, огибающих грязь и лужи...

Все было как всегда, и не совсем.

Пустовала скамейка тети Вари. Прошлой весной в такие дни, прогретые солнышком, она уже выносила баян на улицу, усаживалась на свое место. Теперь у нее не было баяна. Алеша прошел мимо скамейки и даже отвернулся, отвел глаза... Больше не проезжал по весенним лужам Верховой, разбрызгивая дождевую воду в обе стороны и разгоняя пятнистых от разноцветных меток кур... Среди зимы вместо него прикатила девушка на пикапе. А где Верховой? Не стало. Кто его проводил в последний путь, с кем он жил, старый велосипедист? Слободка не ведала... Как-то считали его вечным, не успели узнать...

Пустовала и скамейка Сергеича. После писем от дочери, от Анки, приносивших вести о ее цирковых успехах, кото-

рые Сергеич называл победами, он приосанился, отбился от своих дружков, от Вышки и Бородавки, поступил на работу в артель «Бытремонта», каждое утро ездил в город — словом, держался молодцом... Хоть это радостно было!

В другое время слободка оценила бы поступок Сергеича, поговорила, а сейчас не одарила вниманием, как и появление почтового пикапа вместо велосипеда и юной девушки вместо самого Верхового, потому что всех волновало свое, собственное: сколько еще стоять на земле слободке? Знали, что недолго, что вот-вот придут сюда бульдозеры, окружают огороды и пасеки весенним громом... Скоро пожалуют... А когда?

Дома мать, едва поставив перед ним еду, спросила:

— Правда, что снесут нас до лета? Строитель!

Алеша ел картошку в сметане, вкусную, как все, что мать готовила, буркнул что-то сквозь набитый рот. Мать рассердилась:

— Можешь ты сказать, юридивый, чтоб тебя поняли?

Алеша улыбнулся. С тех пор как он перестал ходить в кино с Надей Богмой, мать частенько срывала на нем досаду. Проглотив картошку и запив двумя глотками молока, он крикнул:

— Правда!

— Не ори, оглашенный! — осадила мать, брякнула чайником о стол и вышла, зашаркав у дверей, перед порогом.

В последние годы стала сдавать Сучкова. Не было уже молодечества в сучковской походке...

Алеша налил чаю в граненый стакан и задумался. Потом опрокинул в себя остывший чай, решил тут же идти спать. В плечах ломило — поворожай бетонные плиты и панели, свисающие с подъемных кранов, заломит небось! Не фанерочки! А завтра суббота, мать не даст отоспаться. Как она обрадовалась, когда отвели для отдыха еще и субботу — прибавился день для огорода! От души сказала, жуя на ходу горбушку своими стальными зубами:

— Сыскался умный человек, дай бог ему здоровья!

Она весь век и ела на ходу, даже святые праздники ее угнетали бездельем, и она редко праздновала их. Ничего она не праздновала в жизни, чтобы не жалеть о потерянном времени.

Утром она вошла в его комнату ни свет ни заря, велела:

— Вставай, бока отлежишь!

Очнувшись, Алеша затряс головой, как трясут, когда отгоняют шмеля, лезущего в глаза.

— Сколько дел, а еще чердак не кончили прошлый раз! — долетело издали, с крыльца. — Убрать надо! Там ить пауки довоенные!

Этих дел никогда не кончишь, подумал Алеша, но так уж завелось в доме: дела и дела. Выходные дни — только для дел. Хотелось восстать иной раз, но, прислушиваясь к себе, обнаруживал: мать жалко. Ладно! И вдруг догадался: не чистота ее заботила, нет, хотела перерыть чердачные запасы, пока не подошли бульдозеры, из этих запасов наверняка еще пригодится что-то. Для выгоды, для пользы...

Алеша влез в грязные брюки, которые с вечера положила мать на табуретку, — субботняя и воскресная одежда, — натянул спортивную рубашу. Прохладная ткань облегла тело, будто водой облили, но все еще тянуло ко сну. Сидя он хрустнул суставами...

Сучковский петух изо всех сил прокричал побудку — его звали «Пожарником», может, за огненный хвост, может, из-за нрава: он кричал не только первым, но и громче всех...

За парниками возвышалась кирпичная теплица, повернутая стеклянной стеной так, что полуденное солнце смотрело прямо в нее. Перекладины между стеклами были железные — для вечности. Каждую весну Алеша красил их масляной краской, желтой, зеленой, какая попадалась, цвет был неважен для матери, лишь бы железо не ржавело. И сейчас он взялся за банку с краской...

— И рамы на парниках покрасишь, — велела мать.

Парниковые рамы тоже были заделаны стеклом, а не пластиком, как у некоторых. Стекло лучше сохраняло тепло и влагу... Ранней весной частенько случались опасные заморозки, и стеклянные парники можно было без страха покрывать тяжелыми соломенными матами, а пластик под ними провисал, ломая нестойкие ростки...

В теплице из земли на свет уже проклюнулись игольчатые сеянцы, скоро распустятся крохотными кустиками, нежными и хрупкими, и мать рассортирует их — какие себе, какие на рынок.

— Ящики поверни.

Едва закончив с покраской и не успев покурить, Алеша вошел в теплицу и стал поворачивать тяжелые ящики на грубом столе, чтобы все ростки попали под солнце. Хотя



все равно мать еще будет поправлять их сама, своими жилистыми, посинелыми руками...

Повернув ящики, он взял ведра и ушел со двора — по воду, опережая материнский приказ... К колонке.

У Богмы был во дворе артезианский колодец с насосом, приводившимся в действие электрической кнопкой. Насос гнал воду и в дом, и в бочку над душем, и на грядки, и на цветы... А большинство слобожан пользовалось колонками, вокруг которых растекались невысыхающие лужи с камнями, как у моря, которое Алеша видел в кино да на картинах. По кривой цепочке камней с полными ведрами в руках выходили на сухое место.

Алеша вспомнил: когда-то здесь был колодец — в деревянном домике, как в сказке. На крутом скате дверца, откроешь — и воду видно, в нее бросали ведро, прицепив за крупную защелку на веревке. Вороток тоже под крышей домика, а снаружи железная ручка. Рядышком — столец, на который ставили ведра. И домик и столец когда-то сотворил батя, а теперь и следа не осталось.

Железная колонка стояла с каплей на носу, и та поблескивала. Алеша нацедил воды и понес, разгоняя кур, которые смело копошились в луже. Эти куры были вдовьи, так и назывались, хотя уж сколько лет минуло с войны! Бегали эти куры без цветных отметин. Кружились, путаясь. Хотел как-то взять разной краски и переметить всех вдовьих кур, да забыл, честно говоря...

А вот и вдовьи дома — с седловинами на крышах и дранкой крест-накрест в облупившихся местах. Скорее бы уж дали вдовам другие, новые квартиры! Дадут. Ждали, оттого и не чинили, не тратили небогатых денег. Калитки упирались углами в землю, и на них до сих пор виднелись фамилии, написанные крупными буквами: Селиверстова, Быкова... Точно вдовы все еще ждали писем с войны, и буквы на всех калитках были облупившиеся, но голубые, под цвет надежды...

После обеда Алеша пошел на чердак — заканчивать разборку барахла.

Давным-давно этот чердак манил Алешу. Какого мальчишку не тянет на чердак, кому не кажется он таинственной свалкой остатков чьих-то жизней, где все о чем-то рассказывало и влекло к себе? На их, сучковском, чердаке висел тяжелый замок, как на всех дверях и дверцах в доме. На чердачном замке между толстой дугой и пудовым телом пауки свили паутину, отверстие для ключа залепили

какой-то клейкой слюной. Один раз Алеша прорвался туда, когда в школьном подвале, на уроках труда, стали делать ключи. Он попробовал... Оказалось, подошел ключ с прямой плоской о двух бородках... Увидел гору хлама, застыл, но при первом шаге что-то стеклянное покатилося, предательски зазвенело, забренчало, и мать услышала и согнала, да еще и вытянула пару раз венником:

— Там добро, не шарь!

И другой замок повесила, посложнее. Но вот и сама открыла, отомкнула...

Тряпки, ящики, куски стекла — на чердаке всему найдется место, как в жизни... Вот плюшевое кресло с голыми пружинами, дырявое, а стоит! Откуда оно? Когда его сюда затащили? Зачем? Может, еще до войны кто-нибудь привез бате на ремонт. И не взял...

Вчера батя расселся на нем, как на троне, и, бесстрашно дымя своей самокруткой среди пыльного хлама, сказал:

— Сучкова телеграммы отбила племяшам. К себе зовет!

— Ну да! К нам? Для чего?

— Прописать. Чем больше народу, тем больше квартиру дадут. Пых-пых...

— А зачем ей большая?

— Как зачем? Пых-пых! Комнаты будет сдавать. Для чего человек живет? Для промысла!

Батя иногда не без насмешки повторял ее изречения.

Племянники, главным образом по батиной линии, давно писали тете Оле, интересуясь, какие в городе институты. Один с лесного разъезда, другой из батиной деревни, которая ему помнилась сырой, болотной... Все хотели учиться. Сучкова не отвечала на эти письма, а теперь вспомнила. Торопила, по словам бати.

— А они что?

— Ответили. Новенькая доставила телеграммы.

Скрипя пружинами, батя порылся в глубоких карманах своих штанов, как в ямах. Ответных телеграмм было три. Их привезли, когда Алеша был на работе.

«Спасибо тетя Оля еду радостью Миша», «Буду как велели Иван Сучков», «Вылетаю выезжаю пешком бегу Коклюш».

Пока Алеша читал, батя восхищался матерью:

— Человек действия! Снаряд! Ракета! Пых-пых...— Он попытался рассмеяться, но захлебнулся дымом и с трудом вздохнул.— Сучкова!

Алеша не помнил, когда батя за глаза называл мать иначе, хотя бы именем. Давно хотел спросить, когда началось это, но спросил о другом:

— Что это за Коклюш такой?

— Сын сестры моей, Зины... В детстве коклюшем маялся, Зина даже в Крым хотела переехать, насовсем, думала, туберкулез... Не смогла, не переехала, деньги!

— А как не пропишут здесь племянников?

— У Сучковой? Пых-пых... Молодежи двери открыли — учись! А вы, бюрократы окаянные... Да я вас!..

— А вдруг да потом не уедут племяши из новой квартиры?

— От Сучковой? Как спросит в упор: ты что сиднем сидишь, молодой специалист? Даром учился! Сполняй долг! Сбегут.

Алеша подумал: а ведь когда-то батя говорил ей нежные слова... Всему конец наступает. Как их слободке... Забеспокоилась мать, испугалась!

А испугалась она после того, как перед самой весной приехал бравый барабанщик Стасик и продал дом своего папаши-сапожника, славного во времена их детства на все ближайшие окрестности, может быть даже на весь город... После смерти Смычка дом месяца три стоял пустой, в дряхлеющей цементной шубе с пупырышками. От кого-то досталась его бывшему обитателю ветхая скрипка со смычком, может, кто-то из горожан за модные туфли так заплатил. И сапожника скоро прозвали «Смычком», потому что до вечера Смычок стучал молотком, а вечером пилил себе на скрипке. Бывало, к Варе подсаживался, получался у них оркестр.

Но пришел час — оборвалась музыка, затихла скрипка. Сапожным молотком забили гвозди в гроб, отнесли на кладбище... Тем же молотком забили и окна в доме. Сын Стасик на поминках обещал, что осядет в отцовских хоробах, окруженных крыжовником... У Смычка по всему двору рос светло-розовый крыжовник, крупный...

А едва исчез под кустами пористый снег, Стасик прикатил на два дня, отыскал в городе какого-то глуховатого сапожника, которого соблазнила мастерская Смычка, где все было в неприкосновенности — и лапа, и машина для заготовок, и колодки, и прочее... Продал дом за полцены и скрылся мигом, не пролив ни слезы, не выпив ни рюмки... Энергичный оказался Стасик!

Вот тогда-то Сучкова и заволновалась...

Батя возился во дворе, и, забравшись на чердак, Алеша покурил на батином троне.

Он курил и ворошил ногами гнилые тряпки... Нога задела и выкинула из них какую-то книгу. Алеша наклонился. Края страниц истлели, но все-таки серединка осталась, и он прочел: Александр Дюма «Три мушкетера» На первом листке, сером, как зола,— круглые буквы от руки... Пригляделся и вздрогнул: «Принадлежит П. Сучкову». Он держал в руках книгу брата, который, должно быть, ее любил и берег. Обида обожгла, что эта книга лежала в пыльном тряпье и по ней бегали чердачные мыши. Кто-то, мать или батя, выбросил ее сюда из комнаты, с этажерки, даже не раскрыв.

Сначала захотелось сбегать вниз, а потом решил, что, раз так, не скажет им о своей находке!

Было такое ощущение, точно брат, о котором он почти забыл, прикоснулся к нему рукой.

А что сделал бы П. Сучков с Анкой, если бы это была его девушка? Девушка, с которой вместе строили, громко говоря, мосты в будущее... И она его предала, уехала внезапно... Уехала и даже не написала ему... Так и не написала...

Домой от Анки пришло еще два коротких, торопливых письма. Репетиции и выступления. Она задыхается. И ослепительная лаковая программка с картинками. Крутится тоненькая фигурка в малиновой шапочке. В кепочке из кожи. Не разобрать лица, хотя именно на этой фигурке скрестились прожекторные лучи, а сбоку буквы взразброс: «Это я!» В тексте, среди участников, есть и А. Распопова.

Сергеич окантовал картинку хромированным металлом и повесил в доме, в комнате, на главной стене...

Что сделал бы с ней старший брат?

Алеша провел пальцем по толстой стопе страниц, и пыль насытила солнечный луч света, мечом рассекавший чердачный сумрак. В слуховое окно долетел голос матери:

— Перенесли бы будочку! Пора.

— Пора так пора,— согласился батя.— Алеша!

Алеша поднялся с бывшего кресла, чихнул от пыли и спрятал книгу за пазуху. Когда он спустился, батя пыхнул так, что обкуренные усы подлетели хвостами, и сказал:

— Уж я эту будочку раз сорок переносил, если посчитать. Чистого места не осталось во дворе. На собственном дерьме живем. Пых-пых...

Шатаясь, будочка кочевала по двору, то удаляясь, то

приближаясь к дому. Старую яму зарывали со всем кладом... Слободские новаторы чистили ямы и пускали содержимое под помидоры, но мать брезговала.

— Слава богу, и так растут!

Алеша стянул рубаху, завернул в нее книгу и взял из батиных рук лопату, чтобы рыть новую яму. Может, это на сегодня все? Перенесут будочку, и прошла суббота... А может, мать еще что придумает.

Он был уже по пояс в яме, когда от ворот сквозь лай Мохнача неожиданно донеслось лихое приветствие:

— Мир этому дому, а пожар другому!

Батя прервал ремонт, перестал забивать гвозди и выглянул из-за будочки. Мать лучила топориком чурку на растопку, собираясь готовить ужин, повернулась:

— Какой еще пожар? Какому дому?

— Никакому,— ответил тонконогий парень в узких брючках и беретке, с тяжеленным чемоданом в руке.— Присказка такая. Здравсте, тетя Оля!

Он сдернул беретку, и сивый чубчик выпал на лоб, словно птичку выпустили. Мохнач зашелся еще громче.

— Я Коклюш! — крикнул парень, вихляющей походкой приближаясь к матери.

— А чего у тебя в чемоданище? — подозрительно спросила она.— Кишки поврешь!

— Гостинцы! — ответил Коклюш весело.— Банка яблок моченых, банка грибов соленых, банка маринованных, банка варенья из ежевики... с орехами, три банки разной фруктовой закатки. Словом, банки!

Он чуть не уронил чемодан у самых ног матери.

— Как же ты допер? — удивился Алеша.

— На такси! — ответил Коклюш.— Чего нам!

— Откуда у тебя деньги? — спросила мать, уважительно оглядывая его.— Американец!

Коклюш засмеялся.

— А я и не платил. Меня барышня подвезла. В такой малиновой кепочке...

Откинув лопату, Алеша вылез из ямы и подошел к нему:

— Какая?

— Такая...— Коклюш осторожно показал руками, какая девушка длинная и тонкая.— Мы в поезде вместе ехали. Анкой зовут.

Видно, что-то изменилось в лице Алеши, даже Коклюш заметил это и замолчал. Мать перестала тюкать своим то-

пориком. А батя, наоборот, с силой застучал молотком по гвоздю. Алеша пошарил руками по горлу, словно искал чего-то... Пропавший голос, наверно... У матери он раньше отыскался, тихий, но непримиримый. Мать подошла и как-то по-змеиному, враждебно прошипела:

— Ой, смотри... Побежишь туда, завертишь хвостом... Прокляну!

## 9

Уже два дня Анка была здесь, а он не видел ее. Опять не спал, пытался представить себе ее лицо. Если Анка, с двумя косицами торчком, карабкалась на дуб, то он знал: это из воспоминаний. Если, вертящаяся, с короткой стрижкой, отбросив купальную шапочку, ныряла, как мальчишка, в реку, это тоже были воспоминания.

Городские девушки, приезжавшие на велосипедах и оккупирующие в жаркие дни песчаный пляжик на лужайке, надевали разноцветные шапочки. Входя в воду и зябко пожевываясь, закрывали уши резиной... Анке шапочка мешала и валялась в траве, как ненужная.

Так какая же она сейчас, Анка? Прошло меньше года, а казалось, не выдвинулось сто лет... Конечно, узко прищуривает свои глаза, и, конечно, они синие... Беззвучно смеется, как год назад, когда он предложил ей поехать в Молдавию и расписаться — там это уже можно было в их возрасте.

А вдруг всего на два-три дня отпустили из трупы артистку, уже знаменитую, хотя и бродячую, как окрестила ее Сучкова? И он не увидит ее. Даже не скажет: «Здравствуй». Но он не мог первым явиться. Он ждал. Ждал, что она прибежит. Или хотя бы позовет.

Утрами, как всегда, Алеша уходил на работу и вдруг почувствовал, какие у него одинаковые дни. Снимали плиты с крановых крюков, отъединяли гремящие цепи, ждали бетона, который каждый день задерживался, трепались, нервничая и ругая начальство...

Сегодня к ним на этаж залез фотокорреспондент из городской газеты. За портретом передовика для первомайского номера. Выбрал бригадира Васю Полухина — косая сажень в плечах, хоть куда, и цифры что надо. Поставил Васю на фоне стены, самой чистой, аккуратной, ласковой... Вася вполголоса торопил, мол, дела же, а корреспондент дышал на фильтр, вытирал его и трижды проверял выдержку чувствительным прибором — экспонометром. Радовался,

какой фон: за могучими плечами Полухина — облако, полное солнца, все в курчавинах. Корреспондент ждал, когда оно подойдет поближе и попадет на снимок, будет портрет с пейзажем. Как у Леонардо да Винчи, сказал он. Вася слушал и причесывался, глядя в зеркальце, которое носил в кармане...

И вдруг — нырк! — перед аппаратом возник тщедушный Петя Куцуруп, бригадир Алешин.

— Меня снимайте!

Корреспондент засмеялся.

А Куцуруп Васе макушкой до плеча не достает, ну, парнишечка — на улице и не заметишь. Да еще конопатенький. Никакого вида.

— Отойдите, дорогой товарищ! — мирно попросил его корреспондент. — Вы мешаете.

— Не отойду.

— Почему? — рассердился тот.

— А это моя стеночка! — Куцуруп оглядел ребят и кивнул на них. — Наша.

И точно. Эта стенка была не Васиной, а Куцуруповой.

Вася Полухин — спец по проценту, ставит в стены любую плиту, что привезли и подняли. Без разбора, не придирается, гонит план. А Куцуруп с кем угодно схватится — и с подвозчиками и с крановщиками, если ему дают плиту с изъянами, некондиционную. Строит людям, как себе. Начальники зовут его «белошвейкой». Почему-то недобро.

Корреспондент опешил, а Петюн — его так все свои зовут — давай на ребят орать: что ж они языки проглотили, когда у их стены ставят чужого бригадира!

Ребята заулыбались.

— Да ну... Подумаешь...

— И облако тут! — подал слабый голос расстроенный корреспондент.

— Все свои... — поддержали ребята, щедрые от своих достижений.

— Да не в том дело, что чужой, — смутившись малость, сказал Петюн. — Чужих нет... А в том, что бракодел он, наш Вася, которого вы поставили для фото. Самый передовой бракодел! Ты уж, Вася, на меня не дуйся, как барышня, я тебе всегда говорил, кто ты есть. А меня снимать, конечно, не надо, я пошутил...

Фотокорреспондент повел Полухина к его стене и сам же пропел:

— Не-е-ет!

Взять крупно — все огрехи вылезут. И облако опять же с другой стороны. Не выходит Леонардо да Винчи. Захлопал он, бедный, себя ладонями по ляжкам, как домашняя утка крылышками. Хлопает, а взлететь не может. Ребята зареготали, стали приводить его в чувство разными советами, кричат Полухину:

— А ты, Вася, к стенке! К стенке!

— К своей, к своей!

— Тра-та-та!

Разыгрались, развеселились. Вася Полухин подошел к Куцурупу, снисходительно похлопал по плечу, как победителя, и зеркальце отдал. Тогда ребята окружили корреспондента:

— Петюна щелкните!

— Петюна!

Щуплого бригадира Алеши звали, как его старшего брата...

Корреспондент щелкнул Петюна, но без энтузиазма. Уж очень ему нравился Вася. Фигура!

Потом давали зарплату.

Едва он начал приносить домой деньги, мать потребовала, чтобы все отдавал ей. Ну, кроме необходимого. На обед — рубль в день. На сигареты шесть рублей в месяц и на кино — два, всего восемь. Уступила в конце концов до десятки, потому что Алеша засмеялся и сказал, что она забыла про автобус, а надо платить, еще не возят бесплатно!

— Что верно, то верно, — сказала мать.

Сама отсчитывала. Так и шло, пока раз он недодал матери половины.

— Я на книжку кладу!

И мать не зашлась. Она не спешила заходитьсь.

— Покажи!

Алеша показал сберкнижку. Она полистала и попросила на всякий случай написать ей доверенность. Каждый месяц он показывал сберкнижку: как там растет цифра. Скапливать деньги — это ей показалось хорошей приметой. Заметила, правда:

— Я жизнь прожила, а книжек не имела. — И вздохнула: — Да мне на книжке и держать нечего.

И тут же вспомнилось Алеше, как он хныкал маленький:

— Степке купили велосипед, а мне нет. Почему?

— Потому что они глупые. А я деньги откладываю.

— Зачем?



- Чтобы копейку сколотить.
- Для чего?
- Она рубль бережет, дурачок!

Мать гладила его по голове горстью, никогда не распрямлявшейся до конца.

Между тем цифра на его книжке росла хоть и медленно, зато верно. Алеша заметил, что жизнь после отказа от быстроходства требовала жуткого терпенья, зато радовала надежностью. Верностью, как сказала тетя Варя. Сегодня после работы Алеша снял деньги, зашел в «Культтовары» и купил баян. Продавец сказал, что хороший. Даже очень.

В минувшие месяцы тетю Варю нет-нет да спрашивали, что это она перестала на баяне играть, скучно!

Варя взмахивала рукой, отвечала, как однажды ответила Алеше:

- Старая, отыграла!

Когда Алеша притащил новый баян, тетя Варя не ахнула, а просто села, раскинув руки. Молча. Сидела у себя на кухне как немая, а потом заморгала веками, чаще, чаще. Алеша испугался:

- Да что вы, тетя Варь! Я же обещал!

- Мало ли чего мне обещали!

- Скоро День Победы, и вы опять заиграете на баяне.

В этот день везде поют и танцуют.

- Пальцы!

Она подвигала ими.

- Да ну вас!

Тетя Варя вдруг вскочила, заметалась:

- Ты переплатил, наверно? Я верну тебе лишек.

Сколько?

- Обижусь, тетя Варь. Я сказал: обижусь.

- Не обижайся!

- Сядьте. Подарок это. Ну!

Влажные глаза ее смотрели на него и таяли, как от солнца.

- Ах, Алеша, Алеша...

- Анка вернулась,— сказал он.— А я еще не видел ее...

- Прячется,— объяснила тетя Варя.

- Почему?

- Тебя боится. Вот и прячется.

- Что же делать?

- Пойди к ней. Сам пойди.

- Так не я убегал,— усмехнулся Алеша.

- Может, ты сам боишься ее? — спросила тетя Варя.

— Может,— признался он.— Она артисткой стала...  
А я кто? Обыкновенный парень.

Тетя Варя выпрямилась.

— Ну уж, и обыкновенный! — возмутилась она.— Да ты лучше всех, Алеша!

— Вы со мной, как с ребенком...

— А ты и есть ребенок... Ты всегда им будешь. И оставайся. За это тебя любить будут.

— Кто?

— Анка будет любить.

Когда он вышел на улицу, из дома донесся робкий звук, вздрогнувший за оконной занавеской. Тетя Варя осторожно пробовала баян...

А на далекой скамейке, под фонарем, торчала спящая фигура. Вот тебе и Анка приехала, а Сергеич опять дремал там же и так же. Почему?

— Дядя Сережа, как Анка? — спросил Алеша, остановившись.

Сергеич, не шевелясь, разомкнул дрожащие веки, безучастными глазами, в глубоких сургучных жилках, уставился на Алешу, просипел:

— Анка как Анка.

Да что же это с ним?

— Голу-уба моя! — донеслось врасстяжку из-за ворот.— Голуба, зайныка-а!

И Алеша зашагал прочь, ускоряя шаг.

## 10

Мать была в церкви, и он перекусил и быстрей ушел из дома, чтобы мать не успела заглянуть в сберкнижку, если вдруг вернется. Предстоял разговор, хотя он приготовился не бояться его. Он уже большой, в конце концов... Немного оставшихся денег засунул под скатерть на углу стола.

А теперь — к Анке.

И едва решился, как понял: не может.

Он сошел с ума, когда она уехала... Он забыл про экзамены в институт и даже не пожалел об этом, сотворил свой агрегат из дисковой пилы и мотороллера, получил тумачков от мосластых пыльщиков из Верхней слободки, да что там тумачков, проще сказать — по морде, залез на второй этаж по водосточной трубе и попал в милицию, а все из-за денег, тугриков, или башлей, как называла их сейчас молодежь, которые он раздобывал, чтобы поехать за ней, за Анкой,

разыскать, неизвестно где. И все серьезно. Там, внутри себя, он был серьезным парнем. Ладно... Об этом он ей никогда не расскажет...

Но сейчас-то она рядом, а он не идет. А почему он должен первым явиться к ней, как будто ничего и не было — ни ее отъезда, ни этого года? Могла бы сама дать знать о себе, даже если приехала на два дня! Так он уговаривал себя... Пока не понял, что изо всех сил рвался к ней, неизвестно куда, потому что ей было плохо, в чем он не сомневался, а выяснилось, что хорошо...

А может, она уже уехала?

Он взял с собой транзисторный приемник, пластмассовую коробочку, полную голосов, музыки и хрипов, чтобы не так одиноко было. Сиди на горке, на свежей траве под березой, возле пня, смотри на воду и слушай... Сквозь музыку и хрип он и услышал:

— Здравствуй, Алеша!

Сначала он не поверил, вроде это представилось ему, и выключил приемник.

Она стояла в своей малиновой кепочке на темных волосах. Он сразу узнал эту кепочку, рдеющую в слабых остатках быстро таявшего дневного света. Закурил и при вспышке спички увидел, что глаза у Анки — еще недавно чистые огни — густо покрашены и от этого стали больше, чем раньше, будто выросли, а улыбающиеся губы тоже покрашены. Губы выгнулись, как на рекламной картинке, и влажно поблескивали. Вот какой броской стала Анка — что-то новое, цирковое... Как с картинки, правда. Если снять все это незаметным прикосновением, увидят, какая она особенная, не похожая на искусственных красавиц. Но он-то и так знает это...

Тонкий нос заострился, похудела.

— Прямо телепатия, — сказал он, с трудом набрав в себя воздуха.

— Почему это? — спросила Анка, опускаясь на свой пенек.

— Я думал о тебе. Только что. Встань!

Он накрыл пенек носовым платком, и она снова присела.

— Спасибо.

И спросила наигранным, незнакомым голосом, в котором слышалась фальшь, он не напоминал прежнего ее голоса, порывистого, взхлест.

— Только что, в эти вот минуты и думал? А в другие?

Не вспоминал?

Алеша впился в нее глазами.

— Приехала?

Анка отвела свои накрашенные глаза, долго глядела на реку.

— А тут все по-старому... Ге же коряги в воде...

— У нас пока ничего не меняется,— сказал Алеша,— как в Англии.

И опять полез в карман за сигаретами.

— Дай и мне.

— Куришь? — Он поднес Анке горящую спичку...

Казалось, встретятся, закричат наперебой, радуясь и негодую. А вот сидят, и разговор не клеится. Алеша впервые почувствовал, как словам неожиданно трудно стало пробиваться сквозь толщу дней.

Анка курила. По-настоящему. Посмотрела на Алешу, засмеялась.

— Слушай, что это ты вдруг стал строителем?

— А чего? Не нравится?

— Просто удивлена. Столько учиться, чтобы стать рабочим?

Алеша возразил ей мрачно:

— И рабочий должен быть образованным.

— Я сама читаю газеты... Не говори так. Не для этого ж ты учился!

Алеша носком ботинка растер в траве сигарету. Пальцы дрожали. Ему хотелось успокоиться. Усмехаться надо, усмехаться! Побольше усмешливости.

— По рассуждению моей матери, теперь учиться вовсе не надо. Все покажут и объяснят. По телевизору. Хоть космос! Хоть «Сагу о Форсайтах»! Пожалуйста!

— Ну что ж,— засмеялась и Анка.— Может, она права.

Да-а... Не получается разговора, подумал он, хоть умри. Вот сейчас возьмет и скажет об этом Анке. Скажет, у него дикое ощущение, будто они разучились разговаривать друг с другом. Почему?

— Алеша, о чем мы? — спросила Анка.

Она всегда опережала его.

Ответить, о чем он думал сейчас? Но, оказывается, он не хотел по ее воле и команде развязывать язык, освободиться от этой внезапной скованности. Предельно ясно он почувствовал вдруг желание и необходимость все держать в своих руках.

— О чем? Как о чем? Выясняем статус-кво, которое тебя не устраивает. Что было, что стало...

— А что?

— Ты артистка, я рабочий...

— Чудак ты,— вдруг обыкновенно сказала Анка, своим прежним голосом, от которого он вздрогнул.— Меня не устраивает! Думай так, если хочется... Не в этом дело! О чем мечтали, а к чему пришли?

— То есть? — не понял он.— Ты что, недовольна своей судьбой?

— Я жизнь повида-ала,— протянула Анка.

Он как раз закуривал снова, задержал спичку в руке и даже поднес поближе к ней.

Анкины брови поднялись высоко на лоб, не всползли, а взлетели. Она улыбнулась. Улыбнулись ее глаза, всегда уверенные в своей правоте, а сейчас странные. Он ждал, что она еще скажет. Спичка тлела в его руке. Анка молчала. Поулыбавшись, снова воскликнула весело:

— Ого, сколько я повидала!

По этой ее веселости, как бы изнутри подхлестнутой, он понял, что предчувствия не обманывали его. Беда у нее, беда! Даже маленькие неприятности вызывали у Анки веселое возмущение миром. Но сейчас сквозь улыбку слова звучали так, будто она смеялась над собой, не знавшей, не понимавшей этого мира раньше... Какая у нее беда? Ему хотелось узнать и не хотелось. Вдруг открылось главное, почему он боялся увидеть Анку. Услышит, узнает такое, чего уж не поправить, и мир рухнет!

Никаких бед. Хватит.

Алеша быстро спросил, и голос его неузнаваемо охрип при этом, еле продрался сквозь эту хрипоту.

— Ты зачем уехала? Почему? Ну!

Анка молчала.

— Ну! — повторил он.— Сама не знаешь?

— Знаю,— спокойно ответила Анка, без гнева и обиды, даже смиренно.

— Ну!

— Все просто, Алеша... Мешать тебе не хотела...

— Мне?

Анка помолчала, склонив набок голову. Глаза привыкли к темноте, и он видел ее.

— У тебя своя радость — институт,— сказала она.— А у меня — своя беда... Отец! И уехала я из-за него. Ради него... Не могла смотреть, как он пьет, спит на скамейке возле дома... Помочь хотела ему... Давно хотела, мучи-

лась... Думала, вот кончу школу... И... Я уехала для него. И для тебя.

— Выходит, я во всем виноват?

— Ни тебя, ни кого другого я ни в чем не виню. Рассказываю, как вышло. Уехала.

Она опять замолчала.

— Куда глаза глядят? — спросил Алеша.

— Да нет! — усмехнулась Анка. — Как раз в те дни, когда ты о деревеньке, о своей мечте...

— Ну!

Анка вздохнула и договорила решительно:

— Как раз в те дни прочитала я объявление... О том, что новый цирк на льду набирает молодых фигуристок. По конкурсу. Я молодая? Способная? Все детство твердили — да! Срок истекал, считанные дни оставались, ждать некогда. И я...

Анка вновь замолчала.

— Где объявление прочитала?

— В газете.

— Какой?

— Московской. В «Вечерней Москве». В «Вечерке».

— Откуда взялась она? Где ты ее увидела?

— У Нади в библиотеке.

— Надя подсунула?

— Нет... Случайно увидела... В читальном зале... Роковая случайность, Алеша... — Анка засмеялась.

Значит, ей было горько.

— Аня, Аня... А мне ни слова!.. Как же так?

— Я сказала — не хотела мешать... В институт — пожалуйста! Но ведь это пять лет! Пять лет ждать? Не могла. К тому же поссорилась..

— Эта ссора, — процедил сквозь зубы Алеша, сдерживая себя, чтобы не вспыхнуть, — пришлось тебе очень кстати!

Анка вздохнула:

— Ребяенок... Ну тебя!

Алеша вглядывался в темноту, но, как ни старался, не мог разглядеть лица Анки. Так, что-то обрисовывалось неясно...

Темнота сгушалась, свежая, весенняя, не разреженная ни луной, ни звездами... Серьезно Анка считает, что он «ребяенок»? Пошутила? Голос ее прозвучал скорее печально.

— Наверно, я действительно глупый, — робко сказал он,

выхватывая из пачки еще одну сигарету и несколько штук уронив на траву.— Не понимаю... Как это — уехала, и ни полслова! Это ж мы с тобой, Анка! Не просто знакомые люди... Мы с тобой!

— Я боялась,— сказала Анка отрывисто и сердито.

Значит, чувствовала себя виноватой, она не любила каяться, и теперь Алеша усмехнулся:

— Чего?

— Того, что отговоришь меня... Ты... мог бы...— призналась она, медленно выговаривая свои слова, как будто думала над каждым звуком.

— А ты не хотела, чтобы я отговаривал?

— Я сказала тебе, чего хотела...

Он еще усмехался:

— Заработать деньги хотела... Сразу!

— Да.

— Много!

— Зачем мне мало? — усмехнулась и Анка.— Только тысячи!

— Слободская закваска!

— А как же? Я тут родилась. Много и сразу! Чтобы построить кооперативную квартиру, отца забрать. Как я этого хотела, Алеша!

— Ему лечиться надо.

— И это... Он сам собирался. Узнал, что есть такая больница под Полтавой, специально для таких случаев. С радостью берут, когда люди хотят, и хорошо лечат. Да мать не пустила!

— Почему?

— Вот еще! На это деньги-то изводить? Велела ему ходить с козой... Паси, дескать, козу, а не сиди с друзьями, и пить отучишься. Ну, он пас козу у реки. Сам знаешь как... Выпьет бутылочку, которую заранее в карман сунет, и поговорит с козой о жизни. Потолкует... Жалко мне его!

— А меня? — спросил Алеша.— Не писала даже! Забыла?

— Все о себе, о себе...

— Я?

— Ты всегда только о себе думал... Даже мечтал... А я — о тебе.— Она неожиданно засмеялась так знакомо, так весело и вместе с тем с неприкрытой беспощадностью.— Верила, что поступил в институт, учишься! А ты вон... Но не из-за меня ведь, правда?

— Правда.

— Слава те... А все же обидно, Алеша.

— Я не обижаюсь...

— А мне обидно... Так у тебя все было красиво. Деревенская школа, снег... Поэтически... Да. Ничего у нас не вышло!

— Чего не вышло? Может, ты просила три комнаты, а давали две?

— Пять.

— Нет, серьезно.

— Ни-че-го! — сказала Анка. — Из тебя учителя, из меня фигуристки!

— А эти картинки? «Это я!»

Анка махнула гибкой рукой:

— Ложь! Не я это... Дай сигарету.

— погоди... Как? Но в цирке ты танцевала?

— Конечно. В кордебалете. В массе... — Она опять засмеялась над собой так же безжалостно, как только что над ним. — В сырковой!

— Как это понимать?

— Когда мы размякали от усталости, режиссер злился и кричал на нас: «Сырковая масса!»

Теперь и Алеше стало веселей. И все? Это все?

— Ну ладно... Кепочку малиновую привезла! — смеялся он счастливо. — Прямо с той картинки!

— Да, у Риты взяла, хорошая девочка! Еще десятку не забыть отправить ей. За эту кепочку...

— Все сказала? Все?

— Нет.

— А что?

— Это, сказанное, — пустяки.

— А что? — повторил он.

— Я замужем была, Алеша.

Долго Алеша глядел на Анку и все еще улыбался.

— Замужем? — наконец прошептал он, точно ослышался и проверял ее: неправда, невозможно, как же так? — Замужем?

— Вроде бы, — сказала Анка, вздохнув протяжно, словно донесла до точки свою тяжелую ношу. — Вроде бы, вроде бы, вроде бы...

Будто на патефонной пластинке сорвалась нитка, и сбившаяся с пути иголка забегала по беспрерывному кольцу.

Месяц, как вчера, лежал на воде, и вода перетекала его,



вздрагивая, и звезды дрожали в ней, и казалось, что это никогда не кончится, у реки ведь не было конца.

— Что значит «вроде бы»?

— Не расписывались! — ответила Анка. — Он старше, но... такой...

— Какой? — недобрым голосом спросил Алеша. — Ты... любила его?

— Немножко.

— Ну что ж... Вроде бы... Немножко... Сейчас, наверно, так приятно? Он из того же цирка? — спрашивал Алеша сухим голосом, все в нем высохло вдруг, страшней, чем в пустыне.

Анка не отвечала на его вопросы. Анка говорила:

— Я получила от тебя письмо. Лучшее, наверно, какое можно получить в жизни. Но... вот что запомни... Я вернулась и буду жить здесь, но я не вернулась. Ты меня не жди. Я уехала. Совсем, Алеша. И все. Ну вот, сказала... Теперь все!

Анка поежилась, холоднее стало у реки, поднялась. И оставила на пеньке Алешин платок.

Пришла и прошла та минута, которой он так боялся.

## 11

Мир не рухнул. Стояли пятиэтажки, бегали автомобили, люди ходили по тротуарам. Петя Куцуруп ругался с крановщиками из-за побитых плит, бульвары зеленели с каждым днем все гуще, мать, держась то за поясицу, то за бок, выдергивала из грядок пряткую сорную траву. Но все это было как бы по инерции. Что-то незримое, но главное выключилось из жизни. Летали самолеты, гремели поезда по инерции. Их тоже касалось то; что случилось. И они должны были упасть. Но не падали, всё летали и шумели...

И прошло немало дней, пока Алеша понял, что случившееся касалось только его и что мир к нему безразличен. Это было его мучением, его тоской. Иногда хотелось закричать на весь город. О чем? Он не знал. Проклясть Анку? Позвать на помощь?

Но это ничего не изменит.

Она была замужем. Немножко...

Сначала хотелось представить себе, какой он, ее муж, потом понял, что все равно, какой он, высокий, низкий, худой, толстый, богатый, бедный, красивый, страшный! Любой! Он был другим...

А почему Анка вернулась? Это тоже вопрос...

Сначала показалось, что немедленно надо узнать, но тут же возник еще один вопрос, холодный и колющий: зачем? Не все ли равно разве? Все равно. Расстались? Их дело. А ему нечего было думать. Ни о чем. Ни о ней. Не думать, не думать, не думать...

Надя Богма встретила его в городе, когда он возвращался с работы, и спросила:

— Домой?

— Куда ж еще?

— Может быть, в кино? Детектив посмотрим.

Простила, что он перестал встречаться с ней, не обиделась.

Алеша помотал головой, неожиданно сказал в рифму:

— Надоело это дело.

Он шагал вовсю, и Надя зачастила, застучала каблуками по асфальту. Забухала. Он покосился:

— Ну и каблук пошли! Пятки оторвешь! Бух-бух!

— А ты иди спокойней.

Алеша пошел тише. Миновали автобусную остановку.

Надя хотела остановиться, но он позвал:

— Пешком! Пешком лучше...

И еще медленнее зашагал. Спешить ему было некуда.

Вдруг Алеша взял Надю за руку и повернул рывком.

— На детективчик!

И сразу разболтался. Рассказал, как на стройку явился фотокорреспондент, выбрал Васю Полухина, еще бы, на лице написано, что герой, и — хлоп! — Петюн Куцуруп, белешвейка-малявка: «Это моя стеночка!»... Кончил эту историю и дальше:

— Слушай анекдот! Один американец повез продавать холодильники на Северный полюс. Ну, конкуренты, понятно, смеются: спятил! А он продал сразу пятьсот штук и вернулся за тысячей. Удивляются: «Кто же их берет?»—«Местные жители».—«Зачем?»—«Какая температура там, вы слышали?»—«Минус пятьдесят!»—«А в холодильниках?»—«Плюс три».—«Так они в них греются!»

Вроде бы никогда сам не рассказывал анекдоты, хотя любил слушать на перекурах, привалившись усталыми плечами к шершавому бетону... А сейчас Надя хохотала на всю улицу, до упаду, и около кинотеатра сказала:

— Какой ты веселый, оказывается!

— Ну!

— А это так важно!

— Для общества?

— Для жизни.

— Вон что!

— А почему этот фотокор не сделал твоего портрета для нашей прессы?

— Я не лучший.

— Неправда! — сказала Надя. — Ты самый лучший, Алеша. Прости... Это так... По-моему, конечно...

Он остановился и взял ее за плечи. Притянул к себе. Взбитая ее прическа, лучистые под огнем уличного светильника волосы коснулись его подбородка.

— Выходи за меня замуж, — весело сказал он.

Надя запрокинула голову, лицо ее сощурилось, как у кошки. Словно испугавшись, что она не верит, Алеша заторопился:

— Если я сказал — это железно! В человеке главное что? Верность! Согласна? Отвечай!

— Согласна.

— А замуж за меня согласна? Отвечай. Идешь?

— Алеша! Ты, по-моему, не слышишь своих слов. Анка вернулась!

— А ты слышала, что я сказал?

— Я уже забыла. Успокойся. Пошли в кино... Алеша!

Показывали что-то скучное. На экране люди почти не двигались, только говорили, и Алеша сам заговорил, сначала шепотом; а потом громко, что очень уж скучный фильм...

— Давай смываться, — шепнул Алеша.

Пробрались к выходу, над которым в темноте кинозала краснела спасительная строка.

У калитки богминского особняка он поцеловал Надю, и она сказала:

— Я понимаю, что все это несерьезно. Но мне сегодня... ужас как жить захотелось!

— И мне, — повторил он за ней. — Ужас!

А она сказала, постояв:

— И все же, Алеша... Ты больше не говори мне такого... Я прошу.

12

Дома ждала недовольная мать.

— Опять собрание?

— Да.

— Выступали — горло драли?

— Ну.

— Языки чесать — не топором рубить.

— Конечно, — согласился Алеша. — Стопроцентные лодыри! Бездельники!

— Чего веселый? — спросила мать.

— В кино ходил на смешную картину.

— С кем?

— С Надей.

Мать унялась тотчас, удалилась в свою комнату и вышла вдруг переодетой в праздничное.

Она редко одевалась в праздничное, да у нее и не было платья, которое называют выходным. Куда ей выходить-то? В церковь надевала, с детства помнит Алеша, черную блузу и такую же юбку, черную и длинную, до земли... А зачем ходила мать в церковь? Может, верила в высшую силу и каялась? Вряд ли верила. Она сама себе была высшей силой... Может, искала там общения с людьми, от которых отгородила себя высоким забором? Так или иначе, отправляясь в церковь, выглядела она, как монашка, но прилично, а вот не припомнить такого, особенно в последние годы, чтобы она оставила за своей дверью будничное, залатанное и появилась в чем-то другом. Оказывается, было другое. Хранилось у нее довольно еще хорошее платье, темное, с мелкими пуговичками от горла до пояса. Когда-то белел под горлом пикейный воротник. Спорола, и стало видно, какая морщинистая у матери шея.

Куда оделась? Хотел спросить — растерялся. А она ни слова не сказала. Звякнула во дворе миской Мохнача — уходя, налила собаке воды.

Батя — тот за три двора, за глухим забором сидел с друзьями. На лавках, между которыми врыт тяжелый стол. Как будто увидел Алеша сквозь заборы: над столом болтается низкая лампочка, друзья подносят к ней ладони с костяшками домино... Каждый вечер усаживались на свои места для баталии, не менее азартной, чем в игорных домах какого-нибудь Монако или Лас-Вегаса, хоть игра была и попроще. Лупили по доскам черными костяшками с белыми крапинками — бах, бах, бах! Шла непримиримая канонада. А что убивали? Время, как будто все уже сделано и осталось ухлопать еще часов пять-шесть этого дня...

Ну, а что делать-то? Грядки вскопаны, удобрение размешано, рассада пикирована, домучились с ней сегодня, собака накормлена и даже полбутылки осушено. Кому мало, кто не знает предела, пусть себе идет, тянет еще, хоть

из горлышка, а мы культурные люди, мы рассыпем кости домино, смешаем, разберем и стукнем! У нас для этого и врыт в землю стол особой прочности. Специально чтобы стучать погромче.

Через три двора, в четвертом, не реже, каждый вечер от души бьет слободка пестрым домино по этим столам, и собаки так привыкли к вечернему бабаханью, к рассыпчатому грому, к веселым возгласам, что не обращают внимания на игроков-игральщиков, не гавкают и не шевелятся. Хозяйское дело.

Играет слободка посреди своих огородов.

Когда-то, в далекие, да нет, не очень далекие времена, на этой, можно сказать, людской памяти, была она жилищем заводской и фабричной гольтьбы, местом рабочих сходок, где звучали революционные песни... Теперь в ней жили совсем другие люди. Тетя Варя права.

Иногда появлялись временные, пришлые. Постояльцы... То сезонники с консервного комбината, то демобилизованные солдаты, почему-то не возвращавшиеся к себе домой и снимавшие углы в слободке, пока им не дадут квартиры или, по крайности, общежития по месту работы... А работа у них была непоседливая... Они приносили с собой на короткие ночлеги запахи свежего ветра, машинных масел, бензина и огня, вкус чего-то нового для слободки, смущавшего ее, непривычного... И пропадали так же быстро, как и появлялись, уволакивали по чемодану этих запахов в новые квартиры. И немало молодых слобожан тянулось за ними...

Не задерживались эти люди. Им тут не интересно. Вон и Коклюш не успел приехать, а днюет и ночует в городе...

А прочно жили тут Сучковы. Былых песен они не то что не помнили. Они их и не знали.

А вообще-то мать пела!

Вдруг припомнилось. Сидят на крыльце... на этом самом крыльце, где он сидел сейчас, курил и снова думал о своей жизни, вот на этих самых ступеньках, сидят молодые подружки в цветных сарафанах. И мать, молодая и тоже в чем-то цветном ради воскресенья, и он, Алеша, рядом, жметя к ней, и ему хорошо, маленькому, прижиматься к материнской руке, чувствовать ее локоть...

Не ломай калину,  
Лучше ты воды ей принеси! —

красиво пела мать, вздыхала и говорила:

— Я бы и на сцене могла, да стыдно!

Голос у матери и сейчас был звонкий, и казалось, это от одной властности, но так было еще и оттого, что в ней умерла артистка. А человеку все равно надо если не петь, то хотя бы сказать людям что-то очень важное. Людей вокруг нее не было, и мать давно уже разговаривала вслух, сама с собой.

Первый раз Алеша испугался, услышав ее голос во дворе. Ему показалось, что мать говорит с кем-то, а она не знала, что он в доме, думала — ушел, и говорила громко. Он выбежал:

— Мать!

Она оглянулась, перевела на него изнуренный, но еще острый взгляд из-под своих нахмуренных бровей, спросила:

— Чего орешь?

— Я думал, кто пришел. Люди.

— Какие тут люди? Лопух!

Она относилась к людям одну себя.

О себе она говорила на рынке:

— Мы люди честные!

Это значило в ее уме — прямые: хочешь товар, гони монету!

В этом смысле вся слободка могла считать себя прямой и честной. Укради помидор — честно голову прошибут. Не бери моего!

Колхозные помидоры привозили на рынок на неделю-другую позже, и были они похуже... Тут-то и просовывала слободка свои помидорчики. Плати! И платили мамы и тети. А слободка радовалась. Но ведь это была нечистая радость!

Почему он часто думал о слободке?

Потому что, думая о ней, он думал о себе.

Но ведь он ходил в город на стройку! Ну, и что же? У каждого в городе была какая-то работа, какая-то, а главное — тут, за высоким забором. Уж он-то, Алеша, знал, где главное для матери, для бати, для соседей. И почему забор высокий... Потому что хорошего от людей не жди!

Слободка — свой мир, а каждый ее двор — еще один мир в этом мире...

Когда-то, вспоминалось Алеше, среди подруг на этом крыльце в разноцветном сарафане сидела и мать Анки, де-белая, упругая Анна Матвеевна, молодая жена дяди Сережи, безголоса и фальшиво подпевала матери, ведь от счастья хочется ходить к соседям и петь, даже если бог и не дал ни слуха, ни голоса. Анна Матвеевна в те поры была

счастливая. Иногда она приводила за руку Анку, угловатую длинноножку в воздушном платьице с пышными буфами на плечах и бантом, падающим на уши... Пускай все видят, какой большой у девочки бант из зеленой атласной ленты, как мать ее любит-голубит... Он и правда ею любовался...

Если бы сейчас повернуть время, он был бы добрее и внимательнее к Анке и отзывчивей. И уехали бы в другой город, и взяли с собой Сергеича, и никакого цирка на льду, а жна каток ходили бы сами, что ни вечер, и катались бы, взявшись крест-накрест за руки, как катается молодежь в их городе... Да он бы! Он бы ее на руках носил, черт возьми!

Бы, бы, бы... Он уже говорил себе такое, одергивал себя однажды ночью... Когда Гутап, бывший Ящик, пообещал ему, что дал бы займы денег, если бы... А дал бы, он мог бы сразу рвануть за Анкой! Куда? Если бы знал... Бы, бы, бы! Не думать! Не думать о ней. Не думать!

А о чем?

Да, когда-то Анкина мать сидела на этом крыльце и подпевала его матери, а потом их развело тихое и лютое соперничество на помидорной ниве. Неумолимо складывалась эта вражда. Иные женщины в слободке по нескольку раз в день встречались у водопроводной колонки, но и двух слов не проронили не то что за день, а за всю жизнь. Так вот давно уж и Сучкова с Анной Матвеевной, встречаясь, расходились молча, а если сталкивались при людях, то Сучкова крепче стискивала свои железные зубы, Анна же Матвеевна улыбалась, могла и о здоровье спросить, да так ласково, людям напоказ, она ведь была «голубой»... А чего они не поделили? Чего? Просто у Сучковой теплица была лучше, и рассада раньше проклевывалась, и помидоры спешили, когда у всех, в том числе и у Анны Матвеевны, висели еще зеленые, и крупнее, мясистей вырастали эти самые помидоры... А почему? Этого даже он, Алеша, не мог сказать. Сучковский сорт, секрет!

За это «голуба» стала ласково называть Сучкову ведьмой.

Неужели Анка тоже станет когда-нибудь похожа на «голубу»?

В слободке было строгое, как закон, предупреждение: нашел невесту, посмотри на ее мать. Но ему на Анну Матвеевну смотреть нечего... Он никогда не женится на Анке, бывшей еще недавно для него самым родным человеком на свете, как Анка никогда не будет похожа на свою мать. Ни-

какой силой не заставишь Анку таскать на рынок помидоры... И не потому, что она образованная и талант у нее бесспорный... А потому, что у нее и гены другие. От Сергеича. Да что он опять о ней?! О Сергеиче лучше...

Ах, не повезло Сергеичу! Будь рядом с ним другая женщина, не «голуба», какой человек мог открыться людям! Необыкновенный! А не стал таким... И не поправишь... И от этого еще больше беда у Анки...

Все связано. Беда за бедой... А так выручила бы Сергеича счастливая Анка! Ведь опять переселился он на скамейку... Стоп! Почему Анка возвращается, лезет в голову? Давай о себе, Алеша.

Он не пойдет по родительским стопам.

Самое смешное, что сам Алеша Сучков хотя и случайно, а заделался строителем, неотвратно приближающим конец слободки и вот этого дома, где он родился и вырос... Он с друзьями построит те самые пятиэтажки, которые займут место Нижней слободки, будто здесь никогда и не было этих домиков, скамеек, сарайчиков, сортирчиков... Пора уже тете Варе на новом баяне разучивать для них похоронный марш! Слободка не пришла в город, так город придет к ней. Случайно именно ты хоронишь ее...

А вот и не случайно! Сучкова, а за ней и другие держались за свои домики и дворы, как за опору жизни, а он нет. Он не то чтобы боялся мозолей на ладонях от огородной лопаты. Нет, ему здесь душно, вот что он понял, взрослея. Можно придумать двухэтажную теплицу, можно трех... а итог один: помидоры. Копай, копай! Как будто тебя самого огородили забором...

И вот теперь он собственноручно вбивает в ненавистную эту заводу осинový кол.

— Мяу! Мяу!

Алеша поднял голову: на рябине у самых ворот раздрающе замыкала кошка. Нагулялась и теперь просилась домой, но ворота были закрыты, а дырки в сучковском заборе не найдешь. Он приоткрыл калитку, кошка махнула с рябины в узкую щель сразу, как рысь. Рябина зашелестела. То ли от ветра, то ли от прыжка этой «рыси» качнулась ветка. В начале зимы на огненных гроздьях рябины вырастали шапочки снега... Мать велела срывать все гроздья — на продажу, да и себе для славной настойки, пока не склевали красных ягод птицы.

Вдруг защемило. Ну, снег на рябине. Ну, протопало, пронеслось тут детство, а скоро не останется ни тропки у



калитки, ни самой рябины... Вот и грустно... Может, сломит бульдозер и березу на берегу реки с такими низкими ветвями, что они доставали до травы, ту березу, под которой встречались с Анкой всегда и последний раз...

Последний? Да, вот отчего ему грустно. Но — точка! Он понял, что надо делать. Погибнуть и родиться снова. Где-то он встречал эту фразу. В каких-то стихах. Действовать! Этому надо поучиться у матери. Возможно, принарядилась и пошла к участковому хлопотать о прописке племяншей. Замотала в платок бутылочку... И ведь получит большую квартиру в новой пятиэтажке!

Алеша вскочил с крыльца, влетел в дом. Белая рубашка. Галстук. Пусть почувствует Надя, что она для него лучшая девушка на земле. Глянь на себя в зеркало, Алеша. Галстук подтянуть. Только что расстались, и снова: «Здрасте, милая! Я пришел просить вашей руки...»

### 13

В рыхлых облаках над слободкой затерялся одинокий, крошечный месяц. Облака летят с весенним ветром, и кажется, от их быстрого лета месяц дрожит, ему холодно одному, там, в небе.

Ах, Анка, Анка, что ты наделала!

Ничего, Алеша! Се ля ва, как говорят мальчики. А ты уже не мальчик...

Сейчас придет и будет пить чай из редкого сервиза. С райскими яблочками... Может быть, одна такая яблоня и осталась где-нибудь у Богмы! А завтра вся слободка заговорит о том, что Алеша, к которому Надя с детства тянулась, поумнел.

Веселая будет свадьба! Богатая. Знатная.

А потом? Придет из армии, окончит институт. Спокойно и уверенно. И выберет себе место по вкусу, подальше отсюда. И Надя поедет с ним, куда он скажет, хоть в деревню, это уж точно.

Думая так, Алеша на улице столкнулся с матерью. Сучкова оглядела его: белая рубашка и галстук производили впечатление, судя по тому, как задержались на них ее обложенные морщинами глаза.

— К Распоповым? — спросила она брезгливо, а не гневно.

Алеша промолчал. Мать ждала.

— Она тебе ребенка привезла, — сказала мать.

— Какого ребенка? — растерялся Алеша. — Где он?

— В животе.

Мать усмехнулась громко и жестоко. Стало жутко. Ничего умнее придумать не могла. Ну, Сучкова!.. Фантазия на уровне амебы. Ну, мать!.. Дает!

В стороне остались береза и пустой пенек — там, куда крылом взлетала мягкая лужайка. Запершило, засадило в горле...

Анка сама сказала ему все. Все как есть. Никто ее за язык не тянул. И о ребенке сказала бы... Оттого она и прекрасна, что честна. Вот почему так горько, что жизнь развела их...

Но не думать о ней... Прекрасная Анка была с другим, развевалась, ложилась к нему в постель... Ну, что еще представить себе, чтобы изгнать ее из своей памяти? А чего еще надо? Хватит!

Он правильно и твердо шагал. Надо жениться и поставить точку. И это станет так же непоправимо, как то, что сделала Анка. Он уже решил. По-мужски... Анка прекрасна, но Надя еще прекрасней. Да!

— Эй!

В том месте, где забор, отесняемый взгорьем, подходил вплотную к особняку, под окном, в пятне света, падавшего на траву, сидел Гутап. На газете, аккуратно подстеленной под себя...

— Опять ты? Я предупреждал тебя, — напомнил он.

Алеша поднял узкие брови и опустил на траву рядышком, ощутив такую усталость, что едва доставало сил, чтобы вытянуть из кармана пачку сигарет.

— Сижу, — сказал Степан, — будто знал, что ты приедешь. Зачем она тебе? Я уже спрашивал... Ответь, пожалуйста...

— Надя?

— Анка вернулась. Уходи.

— Нужна.

— Уходи, Алеша.

— Слушай, — попросил он, вытряхивая сигареты и угощая Степана, — пусть сама выбирает!

— Так! — Степан засмеялся. — Анка скоро мамочка, а ты, значит, на заранее подготовленные позиции?

— Степа!

И так мирно, так печально остановил его Алеша, что тот осекся и перестал смеяться.

— Откуда знаешь про Анку?

— Слышал.

— Треп! — сказал Алеша неверяще.

— Твоя мать сейчас тут была...

— Тут?

— А где? Старые Богмы в городе, какой-то вечер в поликлинике, юбилей... Надю с Сучковой одних оставили.

— Ну?

— И разговор было слышать, — продолжал Степан. — Форточка открыта... Тепло уже!

— Про Анку? — требовательно перебил Алеша.

— Надя сказала твоей матери, что Анка беременная. А ей Анка сама призналась... Прибегала: как быть?

— Анка?

— Прибегала советоваться. Все ж-таки врачи... Хоть и зубные...

— Наговаривает она на себя!

— Возможно... Сказала, как его зовут.

— Кого?

— Который ребенка сделал.

— Как же зовут его?

— Константин какой-то.

Степан рассказывал, сам, похоже, ошеломленный новостью. И, видно, не отдавал себе отчета в том, что помогает Алеше оторваться от Анки, да так, чтоб не оглянуться... Спасибо тебе, Степан. Ты не понимаешь, что-во вред себе говоришь, но ведь новости — они для того и новости, чтобы их тут же распространять! Особо те, что людей порочат. Как же! Слободка знает это от века. И Степан вот говорит...

А может, Степан сочувствует? Может, правду пишут, что любовь делает людей лучше? И Степан стал выше и лучше самого себя, потому что любит Надю с веснушками, забрызгавшими ее лицо... Любовь — она возвышает... До известных пор...

Уже под дубом, возле самых Анкиных ворот, Алеша остановился. Чтобы легче стало дышать... Двести лет рос на земле этот дуб... Для чего? Будет на качелях, подвешенных когда-то Сергеичем, качаться Анкин ребенок...

А зачем ты примчался под этот дуб, Алеша? Чего ты прибежал сюда? Он боялся за Анку, как ни странно. С ума сойти, но он жалел ее. Засудачит слободка — не остановишь. Ей теперь лучше носа из-за калитки не показывать, Анке.

Об этом он подумал уже у калитки, прежде чем засту-

чать в нее. Долго никто не открывал, не подходил, не спрашивал, кто здесь и зачем, и он, начав стучать осторожно, осмотрительно, теперь нервно колотил в безвинные доски.

Калитка распахнулась неожиданно — не услышал он никаких шагов из-за шума, созданного им самим. Он увидел Анку не в малиновой кепочке, а в большом платке, наспех накинута на плечи, и медленно опустил руки.

— Ты? — спросила она недобро.

Он улыбнулся — и насмешливо и смущенно.

— Ну я... Не видишь, что ли? — спросил, качнувшись.

— Пьяный?

— Вот тебе раз!

— На ногах не стоишь, а врешь! Иди отсюда! Не хочу, чтобы нас мусолили...

— Аня! — нежно сказал он. — Голова закружилась, а вообще-то я не пьяный! Шестью шесть — тридцать шесть... Девятью девять — восемьдесят один... Пожалуйста!

Анка нетерпеливо задохнулась:

— Перестань, паяц! Ты чего явился?

Алеша покрутил головой, пожал плечами:

— Просто так...

— Чего тебе нужно? — крикнула она озлобленной.

— Ничего... Может быть, я тебе нужен?

— Не нужен.

— Ну, не спеши...

— А чего ждать? Пока соседи увидят? Тебя обсмеют. А меня за тебя же, несчастного, будут жевать да грызть, пока не сведут со света. А мне жить надо! Жить.

— Я не просто так... Анечка...

Но калитка уже захлопнулась, звякнула щеколда, и под этот ржавый звяк он беспомощно крикнул еще раз:

— Аня!

А что он хотел сказать ей? Что на всю слободку наплюет, если ей нужна его помощь? И спросить хотел... Что? Это ведь неправда, будто... ну, про ребенка... Это она нарочно наговорила на себя, чтобы его отвадить и отгородить от слободских пересудов, от насмешек, неизбежных, раз он ходит к той, которая немножко замужем была... Она его защищала... Это ведь неправда про ребенка? Ну, скажи, Аня! Неправда!

Правда. Анкина мать, «голуба», ласково улыбается, очень уж ласково, а уж он-то, Алеша, знает, что чем дело хуже, тем она светлей улыбается. А Сергеич вдруг снова запил...

Алеша стоит, уткнувшись в калитку лбом.

Наконец поднял голову и подумал: а хватит ли у него силенок посмеяться над слободкой? Он оглядел небо, будто искал там ответа, и снова увидел еще сухую тучу дуба. Она зазеленеет позже всех, но зазеленеет... обязательно зазеленеет, потому что крепкая...

Хорошо быть таким крепким. Каждый год слобожане подрубали дубу корни, чтобы не тянул влагу из их грядок. Высохнет — можно свалить, зелентрест не оштрафует. А дуб все зеленел, будто смеялся над людьми с их топо-рами...

Долго еще стоял Алеша под деревом своего детства, а Степан сидел на траве под окном богминского особняка и слушал...

В комнату к Наде заглянула старшая сестра, спросила:

— Плачешь? Выросла! По-другому плачешь...

— О! — сказала Надя с усмешкой в голосе.— Ты даже не подозреваешь, как я выросла! Чего Анка Распопова вернулась в слободку, знаешь? У нее ребенок будет... Вот какие мы уже большие! Она здесь тоже плакала сегодня...

— Хо-ро-ша!

— Это я хороша! Я ее сейчас Сучковой продала... Сучкова явилась вроде бы постного масла занять, с бутылкой... Но я-то знала, зачем она пожаловала! Об Анке разузнать... И я ей помогла! Потому что Анка — моя соперница... Вот!

— Ну и что?

— Вера!

— Выйди-ка ты, Надька, из детства, если и правда выросла!

— Из детства? Нет, это не так называется... Это знаешь что?

— Что?

— Подлость!

— И не устраивай театра.

— Вера!

— Ты святая, Надька! Но учти, что и святым кое-что требуется. И дом и дети...

«Святым еще больше надо,— согласился Степан.— Святые по небу летают. У них потребности выше».

— Рано или поздно,— говорила Вера,— кто-то должен унаследовать папино дело, папин кабинет. Лучше поздно, конечно, но ты сама понимаешь...

— Почему же ты не вышла замуж?

— Жениха себе не сошьешь...

— Значит, папино дело?

— Алеша сумеет, наведи его на эту мысль, глупая...

«Это мне, мне, мне,— слушая, шептал про себя Степан.— Меня в училище примут... Там тоже небось нужны отдельным, некоторым, автомобильные части... Раз-два — и диплом в кармане... И — в папин кабинет! А в папином кабинете я кому хочешь зубы вырву!»

— Сказала Сучковой, и правильно! — доносился из форточки голос Веры.— За такого жениха нужно бороться!

— Не на жизнь, а на смерть? — засмеялась Надя.

— Да!

— У меня есть жених.

— Где?

— Под забором у нас сидит который вечер! Хочешь, сейчас ему объявлю, что иду за него?

Степан перестал дышать.

А когда Надя выскочила на крыльцо, он уже стоял у калитки. И видел всю ее, потому что она зажгла над крыльцом свет..

— Степан! — крикнула она на всю лужайку сквозь слезы.

— Я,— тихо ответил он.

Надя зябко поежилась, подтянула кофту на плечи, свела рукой концы воротничка под горлом.

— Хочу дать тебе испытание,— сказала она.

— Любое.

— Сломай свой гараж гутаповский. К черту!

## 14

Прикатили еще два племяша — совсем не такие, какими Алеша ожидал их увидеть. Сын железнодорожного сигнальщика с лесного разъезда, Миша, был рыхловат, а вскорости обещал и вовсе огрузнеть и смущался, как девушка, на которую обращают внимание из-за обилия телес.

Алеша сказал ему, что вкопает турник, чтобы Миша по утрам сгонял жиры.

— По-моему, у вас для этого и местечка не отыщется,— заметил Миша, оглядывая двор.

В блестящих глазах его затаился намек. Не так-то прост был этот тихий и неповоротливый Миша.

Он глотал какие-то снотворные таблетки.

— Айда к нам на стройку,— позвал Алеша.— Там каж-

дая таблетка полтонны весом. Знаешь, как будешь спать? Только голову на подушку, и придавило!

— Летом у меня экзамены,— серьезно ответил Миша.

— Всего год потеряешь.

— Жалко.

— Боишься, в армию заберут?

Но Миша объяснил, что его в армию не возьмут: барахлит сердце.

— От распушенности,— жестко упрекнул Алеша.

— И не от распушенности, а наследственное. У меня мама больная. Она и сейчас в больнице.

Он часто ездил на телеграф, заказывал тот районный городок, где она лежала, и часами ждал ответа.

Иван Сучков был дылдак. Баскетбольный юноша. За два метра ростом. Мохнач от страха жался к конуре и подолгу облаивал его с тыла. А может, из-за очков. Иван носил очки в металлической тонкой оправе, как главный бухгалтер.

— А отчего у тебя глаза-то?— спросил Алеша.

— Читаю по ночам. Тихо. Думать — одно удовольствие. Я люблю одиночество. Удовольствие, когда один и тихо.

Он жил в большой крестьянской семье и долго, наверно, ждал в кровати, пока угомонятся старые и малые, уйдет гармошка с улицы и можно будет вынуть книгу из-под подушки.

К жизни Иван относился трезво. У него все было размечено. Окончит институт, займется индустриализацией сельского хозяйства.

— Механизацией,— как-то поправил Коклюш.

— Механизация — пройденный этап. Индустриализацией.

Батя слушал его немногословные рассказы о родственниках, о родном селе. И больше всего почему-то поразило его вдруг наличие там парикмахерской. Он вспомнил, что в былые годы тамошним болотным мужикам негде было постричься и они заплетали бороды в косы.

Вечерами собирались вместе. Немножко шеголяя, кидали пачки болгарских сигарет на огородный стол под открытым небом, дымили заядло и так же заядло рассуждали обо всем. Выяснилось, что у Миши тоже есть своя цель, он намерен стать футурологом.

— Это с чем едят? — давясь дымом и кашляя, спросил Коклюш, которого звали Генкой — по паспорту, как он сам говорил, но сам же он на Генку не откликнулся, забывал.

— Футурология — наука о будущем,— объяснил Миша.

— О будущем? А чего ж ты в педагогический, на историка?

— Футурология требует энциклопедического образования. Надо хорошо знать прошлое, чтобы думать о будущем и предсказывать его.

«Не быстрохот»,— отметил про себя Алеша.

— А сколько тебе будут за это выдавать на баш?— приставал Коклюш.

— Это не главное.

— Да, видать, зажиточно живешь... А меня интересует настоящее.

— Рано или поздно оно кончается,— улыбался Миша.

— Ну, какое у меня будущее? Скажи!— потребовал Коклюш.

Миша ответил, похоже, чтобы отвязаться:

— Судьба каждой личности складывается на фоне общественной судьбы.

— Но напрямую зависит от самой личности,— вставил Иван, подмигивая Мише.

Коклюш замахал руками:

— Согласен, только с одной добавкой.

— Какой?

— От общества, от личности и— от кармана. Деньги в период материальной заинтересованности решают все!

— Карман— дело наживное. У тебя, похоже, вот где пусто!— Рыхлый Миша протянул руку, достал Генку и неожиданно властно потюкал его по лбу.— Беда!

— Беда!— подтвердил Иван.

— Вы не думайте!— раскричался Коклюш.— Для работы хватит, а работягам сейчас больше платят.

— Нет, в голове его не совсем пусто...— Миша снова заулыбался.— Просто ведущая мысль кривая... Даже птица песни поет, а не только зерна клюет,— наставительно обратился он к Коклюшу, но тот парировал сразу:

— Птица поет бесплатно, а вот артисты за песни деньги берут. Что? Попался?

Все смеялись, а Миша оправдывался, сердясь, но не очень, потому что на Коклюша нельзя было всерьез сердиться:

— Я о другом. У каждого человека есть призвание, и каждый должен, ну, хотя бы попробовать...

Лицо Коклюша вдруг все сморщилось, словно он стал старше.

— У меня мать бутылки моет, на заводике... Для крю-



шона. Моет и моет... Устала. Я для матери хочу работать. Вот мое призвание. Мне скорее надо.

— Ну, так и сказал бы!

— А отец где?

Коклюш махнул рукой:

— Я его и не помню. Все matka. Мне трын-трава, на кого выучиться! Хоть на черта! Лишь бы платили!

Но хотя бы по этой причине ему было не все равно, кем стать. Он наметил — в железнодорожное ПТУ. Разведаль точно: через два года — помощник машиниста. Заработок? Двести двадцать.

Заговорили о другом.

Иван привез с собой книгу немецкого физика-ученого, работавшего в Англии, лауреата Нобелевской премии, где была глава, которая прямо так и называлась: «Благо и зло космических путешествий».

— И зло? — взорвался Коклюш. — Эка! За что ж ему лауреата дали?

Иван растолковал:

— Зло он видит вот в чем... В этих полетах, по его мнению, пока больше ученых заинтересованы военные, которые могут и луну приспособить под полигон.

— Свободная вещь! — согласился Коклюш. — А благо?

— А благо... Если люди начнут вместе осваивать космос... без соперничества...

— Так мы же летаем с американцами! Может, и я полечу!

— Тебя не возьмут, — сказал Миша. — Ты кашляешь.

— Эка! Небось и у Гагарина в детстве коклюш был!

И опять смеялись. Все, кроме Алеши. Он молчал, словно был немножко другим. Присматривался, примеривался...

Мать мобилизовала их на огород, и они охотно перебирали колья-подпорки для помидорных кустов, окучивали и пололи, чтобы чисто-чисто...

— Как в Корее, — говорил Иван, разводя над огородом длинные руки.

— Ты что, в кино видел? — спрашивал Коклюш. — Корею!

— Отец мой там был. В делегации.

— Глянь-ка! Он у тебя из Министерства иностранных дел?

— Огородник, — отвечал Иван и подначивал Сучкову: — Вот у нас, тетя Оля, один агроном вывел помидоры — на

дереве растут. Представляете себе, какой урожай с одного дерева?

Год назад мать приняла бы это к сердцу, а теперь сажать сажает, а урожай-то, может, и не соберет. Светопреставление!

У всех были свои заботы, свои печали, свое веселье, и Алеше не удавалось ни с кем поговорить о себе, хотя его проблема казалась ему и самой сложной и самой неотложной. Потому и жгла. То он старался представить себе незнакомое, непонятно какого Константина; то ненавидел Анку, а то забывал об этом и снова жалел ее, и думал: как же она будет теперь?

Взять бы ее да увезти отсюда! Подальше от слободки. Как там — неизвестно, а вот увезти отсюда! Ну, слободка посмеется над Алешей Сучковым, повеселится — и пусть.

А вот эти трое как отнеслись бы? Спросить их? Все же братья, хоть и двоюродные. Первый раз видятся, но братья! А он молчит и молчит... Не привыкли друг к другу. И наверно, им кажется этот молчун битюгом, которому только и делать, что ворочать бетонные плиты; а дома поправлять соломенные маты на парниках да кормить Мохнача кусочками сахара, засунутыми в карман с блюдечка в рабочей столовке. Вот пропишутся, приедут сюда через пару месяцев жить, может, тогда и поговорить? А как провести целых два месяца — невообразимый, как вечность, срок!

За что Иван мог любить одиночество и радоваться ему? Это страшно, когда носишь в себе такое, что одному носить не под силу.

## 15

Утром Алеша проснулся от страшного шума в батинной сараюхе. Батя что-то кидал, швырял, чем-то звякал и брякал.

Плеснув в лицо пригоршню воды из дворового умывальника, ставшей за ночь холодной, чуть ли не ледяной, Алеша заглянул в сараюху.

Батя, как помешанный, сваливал инструмент в деревянный сундучок с железной ручкой.

— Продаю. Сучкова распорядилась. И квит.

— Кому?

— В школу. Кому!

Значит, мать сообразила. У школы — деньги. Потеряешь — не найдешь.

— Только перетирай тот инструмент в городской квартире и расстраивайся,— объяснила Сучкова.

Сама она уже повязала латаную косынку и забрала у племяшей паспорта для прописки. Последние дни накануне Майского праздника протянула, считала, что перед праздником начальство добрей, уступчивей, ведь и ему охота отделаться от просителей побыстрее и попраздновать. О, Сучкова, если надо, психологом была. Задерживаться, скажет, племяшам никак нельзя: учащиеся! Пусть начальники оформляют не откладывая. С тем и собралась...

Автобус повез в город всю невеселую семью — замкнувшегося Алешу, хмурую по-деловому мать и вконец растерянного батю с сундучком. Мать сошла раньше всех, возле серого корпуса, где остановка так и называлась «Милиция», на ощупь проверила платочек с паспортами — не доверяла сумкам, покрепче сжала в руке и пошла, клонясь вперед и паруся длинной юбкой. Остановки через три, кряхтя, слез с автобусной подножки батя и тут же поставил сундучок на тротуар, чтобы свернуть самокрутку:

Алеша выпрыгнул:

— Помогу...

— Опоздаешь... Мы топчемся, а время идет...

— Не опоздаю.

Батя ступал жесткими башмаками по асфальту и сосал самокрутку, приговаривая:

— Ну и вот... С ярмарки...

Алеша оборвал рассерженно:

— Не продавай... Оставь на память! Храни!

Батя вздохнул слабой грудью, придавленной сутулыми плечами.

— С памяти денег не наскребешь!

— Ну, так и не отчаивайся! — И Алеша, распалась, начал перечислять прелести городской квартиры. — На эти вот деньги от инструмента, — он качнул сундучком, — холодильник купим! Никаких ям со снегом.

— Из ямы снегом пахло.

— Снег не пахнет.

— Ну что ты, Алешка! Еще как! Говоришь, как мать...

Батя попыхкал, а Алеша припомнил, как в конце зимы они последним снегом набивали глубокую яму, утапывали его покрепче, не жалея ног, чтобы на все лето хватило холода, накрывали и заваливали соломой. Под солому, на этот закаменевший снег, ставила мать бутылки с молоком,

клала мясо и треску, которую что ни день приносила из города.

Кроме ямы был погреб с сухим кленом наверху. Свой погреб и свой сухой клен.

— Досок у тебя много, — сказал Алеша, — сколотишь ящики для земли, поставишь на балконе и насаждаешь в них цветов, каких только захочешь! И мать услышит наконец, как они пахнут...

— А балкон будет? — заинтересованно спросил батя.

— Все квартиры с балконами.

Батя покивал головой и потух.

— Все равно на балкон всю землю не поднимешь...

— Теплая уборная! — резко вскрикнул Алеша.

— Отмораживать нечего, — улыбнулся батя. — Пых-пых...

— Водопровод! — еще резче крикнул Алеша. — Вода горячая и холодная. Прямо в руки. Из двух кранов... Газ на кухне. Паровое отопление. Рай без дров! Ни возить, ни таскать, ни пилить, ни рубить, ни поленницу возводить!

И тут же испугался, что батя вспомнит о прекрасных дровяных запахах, напоминающих ему, как зверю, жизнь и землю, но батя не стал спорить, сокрушенно вздохнул:

— Конечно...

И остановился. Школа! Алеша передал ему сундучок.

— Дорого возьмешь?

— Тут весь я... Моя коллекция жизни... И потом, — батя вдруг застеснялся, — Сучкова! Сколько ни возьми, ей все мало... Сейчас вот с самой милицией за свой интерес воюет!

Между тем Ольгу Тимофеевну все сильнее одолевало беспокойство: обойдется ли с пропиской?

С этим беспокойством вошла она в кабинет начальника милиции того самого городского района, к которому примыкала слободка, подчиняясь ему административно. Начальник рассматривал бланки с разными справочными данными, подпись Сучковой и долго ронял:

— Тэ-эк... Тэ-эк... — но не подозрительно, а приязненно.

Полнощекое лицо его было радушным, глаза светлые, он улыбался. И эта улыбка, и свет в глазах, и несолидная доброта в голосе, будто капитану подарок делали, насторожили Сучкову. Затевая прописку, она к боям приготовилась. Без боев ей ничего в жизни не давалось. Век боролась с кем-нибудь, как в былинах: одного разлочишь, два являются. А тут... Чего он улыбается? Или перед ней был ласковый хитрец, решила она в конце концов, или его недавно

проверяли на внимание к трудящимся и наказали. Их, в милиции, тоже воспитывают.

А капитан еще раз протянул:

— Тэ-эк... Учиться хотят? Тэ-эк... Пусть учатся!

И везде, где надо было, поставил короткую закорючку, разрешив прописку. Сучкова хотела взять бумаги, но капитан сказал ей:

— Не волнуйтесь, мать!

И сам вызвал девушку кнопкой, и та прибежала, в юбке выше колен (и в милиции такие, господи), и унесла паспорта, чтобы поставить в них законные штампы.

— Тэ-эк,— еще раз протянул капитан.— Хорошее дело затеяли. Помогаете молодым ребятам. Похвально, мама.

Он чуть окал, старательно и вкусно выговаривая эту букву, получалось медленней, зато душевней.

Девушка снова замелькала коленками, вернула Сучковой проштампованные паспорта. Сучкова только и успела сказать, вглядываясь в капитана:

— Так ведь надо доброе дело сделать, пока нашу слободку не снесли.

— Не-е,— пропел капитан, закуривая.— Верхнюю — да, не позже лета ей будет полная крышка. Там каменный карьер, строительный комбинат запроектирован. Город в ту сторону двинется. А ваша, Нижняя, постоит еще.

Сучкова поднялась и шепотом спросила:

— Сколько постоит?

Капитан вскинул голову:

— Лет пять, думаю, а может, и больше! Молодежь успеет отучиться. Не волнуйтесь, мама! — повторил он.

Она не волновалась. Тащила по улице с той самой улыбкой, с какой вышла от капитана, будто эта гримаса врезалась в ее сухое лицо. Как штамп в паспортах племяншей. Впервые она горько потешалась над собой... Оплошала, оплошала! Как же так? Да так! Передоверила этой необоримой власти, двигавшей на слободку пятиэтажки. А власть обманула! Подвела! По привычке находить виновных, Сучкова стала посылать ей самые страшные проклятья...

Но как жить дальше? Что скажут соседи? До угла она еле дошла, останавливаясь. Жар заливал лицо. На углу, у сатуратора, пила захлеб газировку. Городская вода была невкусной.

Поплелась мимо строящихся домов, и опять зашло сердце: значит, на Верхнюю слободку попрут эти вот ко-

робки, а их поживет, подержится, так к чему ей три прописанных племяша? Господи, за что? Верить не хотелось... А штампы стояли...

16

С неоконченной пятиэтажки Алеше была видна вся их Нижняя слободка, и в минутные передышки он мог отсюда заглядывать в каждый двор, спрятанный за высокими заборами. Оказалось, что там нечего рассматривать. Разве поражаться некоторой неожиданности этого вида сверху: слободка была разбита заборами на дворы, как на клетки.

— Отцепляй! Чего загляделся?

Корпус спешили сдать под отделку к маю, до срока. Бригадир, правда, был недоволен спешкой.

— Зачем самих себя обгонять? Напортачим же!

Тормозили опять бетонщики. Прораб ярился на них, а ругал Куцурупа, что тот шумел. А как не шуметь? Отделочники начали работать по сырому, хоть не смотри.

— Потом доделаем! — утешал, наводя мир, прораб. — Потом! — Он охрип и шипел.

— Когда? — спрашивал Куцуруп девчачьим голосом, перекивая прораба. — Когда жильцы въедут?

— Я не виноват, — шипел тот. — С меня требуют!

Куцуруп зло смеялся:

— Вот тех сюда и поселить, кто требует. Сели на стульчак, а вода не идет. Сиди и радуйся! С новосельем!

Из треста прикатили на двух машинах, нажимать. Прораб зашипел:

— Вон поди туда, поди к ним и скажи!

И еле удержали Куцурупа, который сорвался объясняться. В обеденный перерыв Алеша еще утихомиривал его, задержавшись наверху.

— Одной минутой себе всю жизнь испортишь.

Куцуруп сел на бетонную плиту, вытер рукавом конопатое лицо и удивился:

— Елки-палки! Все боятся этой минуты! А может, она самая главная? Может, она и есть — вся жизнь! Какая она, такой и ты.

— Есть такие минуты, от которых вся жизнь зависит? — неожиданно спросил Алеша у бригадира.

— Есть, — сказал тот серьезно и резко.

— Знаешь, — начал Алеша и оборвал.

Куцуруп, выхватив сигарету изо рта, смотрел выпуклыми глазами, ждал.

— Да нет... Я не об этом... У меня отвлеченный вопрос,— решился Алеша.— Вот, представь себе. Девушка... уехала на год... и вернулась... Ну, в общем, можно сказать, уже не одна... в том смысле, что у нее ребенок будет... Чужой! Во дела!

Ему не нравились голос и сами слова, какие-то зыбкие, скользкие, будто мыльные...

— Ты ее любишь? — спросил Куцуруп.

— При чем тут я? Один парень.

— Он ее любит?

— Ну да... Она... Может, и не виновата.

— А зачем уезжала-то?

— За деньгами, коротко говоря. Не для себя. Хотела отца спасти... Отец ее пропадает, пьет... Вообще-то фронтовик...

Алеша стал рассказывать о Сергеиче. О том, как Сергеич боролся и с ласковой женой и со слободкой. Чего только не пробовал! Вот недавно поступил на работу в «Бытремонт». Его и сейчас там терпят... За талант! Сам сконструировал гравировальный станок, пустил в дело с мотором от стиральной машины, гравировал дарственные надписи на подстаканниках, на пластинах для портфелей, старался для людей. Но запивал, и дело останавливалось. Посадили за станок трезвенника... И сразу станок сломался, а починить не придумали как. Пришлось на металле шилом царапать имена и даты, потому что стариков-юбиляров в городе прибывало, подстаканники в мастерскую несли и несли...

Сергеич, тот выдумщик! Дома у него есть механическая пила «Самобрейка», тиски «Сам-с-усам». У них рукоятки и правда как усы, во все стороны. Что угодно обрабатывай — крупные и грубые детали и нежную мелюзгу. По углам дома — всякие обломки. Несет, к чему-то приспособливает.

— Чего ж он пьет?

— Другой жизни хотел и хочет, наверно. А тут «голуба»! Приголубила.

— Сбежал бы от нее, от этой бабы!

— Дочка. Потому и терпит... Любит ее, дочку.

— А девочка вернулась, значит, с ребенком?

— Ну... ждет! Как быть-с ней? Тому парню...

Куцуруп оторвал зубами кусок хлеба с колбасой.

— Ситуация мне неподвластная,— неожиданно сказал

он.— Пускай твой знакомый сам решает... Я могу сказать, что сделал бы на его месте. Взял бы девушку, свою любимую, и уехал с ней — сию минуту. Из слободки. Их же съедят там и не подавятся! Не сможет он?

— Не знаю. Сам сказал — его дело.

— Его дело, а ты угрюмый, — усмехнулся Куцуруп. — Пусть уж он и смотрит волком! Но сначала лучше разобраться, конечно... Любовь великая штука... Шлюху переделывает. Не сможет?

— Не знаю.

— Слободка ему мешает.

— Какая?

— Та что здесь. — Петюн постучал себя по груди. — Запомни, что я тебе скажу... Страшна не та слободка, что там, за высокими заборами, а та, что вот здесь, под ребрами... Слободжанином можно быть везде, даже в столице... Ту слободку снесут враз — была и нет, а эту? — И он опять приложил ладонь к груди. — Хочешь бутерброд?

Алеша взял бутерброд и повернулся к слободке. Она выделялась зеленью, которая заметно налилась за эти дни. Хотя слободские яблони и выдернули ради солнца для помидоров, зелени там все же было больше, чем в городе.

Если разобраться, где что, можно было разглядеть и одну-единственную березу, их с Анкой.

Алеша смотрел на слободку.

— Что смотришь? — спросил Куцуруп.

— Бульдозером бы пройти по ней!

— Вчера я слышал на горактиве, что Верхнюю — под бульдозер, а вашей еще цвести и пахнуть! Мы тоже сдадим эту сверхсрочную коробку и побежим на Верхнюю. Все туда!

— Как? — Алеша на миг даже про Анку забыл. — О-хо-хо! Да ну?

— Чего ты ржешь?

Алеша рассказал бригадиру о племяшах, посмеялись вместе, и тот попросил называть его Петей или Петюном, как все. Покурили, наклоняясь и защищая сигареты от ветра.

До конца дня нет-нет, а косился на свою слободку. Так вот и стоять ей еще? Вспоминалась мать. Вот бедная! Если прописала племяшей, не переживет! Дома прежде всего постучался к ней в комнату. Она заскрипела кроватью, лежала за толстой дверью и с зашторенным окном. Спросил, не принести ли поесть, ответила:



— Не надо.

Батя поведал, что двумя часами раньше Иван и Миша взяли у нее паспорта со штемпелями и, довольные, что все обошлось как нельзя лучше, уже собрались в обратный путь. Билеты купили на утренние поезда, на завтра. Ну, еще успеют проститься... То есть как — проститься? До возвращения!

17

Ночью Алеше приснилось, что они с Анкой жили где-то, где ни разу не бывали, и жизнь сложилась так хорошо, будто прежнего вовсе не было, и настало наяву то счастье, которое возможно только во сне. За домом, где они жили, открывалось хлебное поле, и по его краю он водил Анку и рвал ей васильки, хотя никогда в жизни не видел их. Ну, разве один раз, в далеком детстве, когда мальчишкой ездил с батей в деревню. Неужели с тех пор запомнил? Чтобы во сне увидеть? Вот какие нежности!.. Стыдно и смешно!

Во сне он сочинял стихи, которых не умел сочинять наяву и не сочинял никогда. Голова кружилась. «Ах, Анка, Анка! Вот закричу от счастья на весь белый свет: Ан-ка!» Ну? Совсем уж глупо. Хохочи над собой, да и только.

Хорошо это было, да недолго!.. Пока не проморгался под крик «Пожарника». Петух окончательно вернул все на место. И стало при свете дня все ясно.

Ясно, что надо все кончать. Прощать не по силам. Он обыкновенный парень. Нет, не обыкновенный, слободской. И через это не перешагнуть... Прав Петюн.

Утром, которое вечера мудренее, принимается такое решение: Анки нет. Все! И сразу стало легче. Свет широк, оглядывайся...

Институт, далекая школа... Он упрямый парень, Алеша, еще не выбросил мысли о сельской школе. Кто стучит в дверь? Это Миша с Иваном. Пока! Приедете, будем вместе учиться...

А мать лежит, ни звука из ее комнаты... Конец ей? Как бы еще удара не случилось!

Но вечером пришел стекольщик Василий. Очнулась мать, значит, раз батю командировала, стекольщика позвала. Может, для того, чтобы почувствовать свое воскрешение... Рано он ее в отставку. Нет, видно, у Сучковой просветляется в голове. Раз дом еще будет стоять, нужно за-

менить битые стекла, которых за последнее время набралось предостаточно.

Мать ведь и битые стекла не спешила менять, а накладывала на них латки, как на всю свою одежду. Приходил слободской стекольщик Василий, тощий, как подсохший хвощ, с тяжелым, отвислым носом. Он надевал на этот нос очки, сверлил в стеклах по бокам старых трещин дырочки и ловко вставлял железные скрепки, вынимая их, как фокусник, изо рта. Стекла со скрепками держались и держались.

Василий начал с залы, где Коклюш собирал в дорогу свой чемодан — пришла пора и ему укатить на время. Сложился он быстро, но Василий расфилософовался, задержал.

— Вот, молодые люди, — спрашивал он, скребя по раме стамеской. — Откуда, например, берутся слова?

— Откуда? — озадаченно повторил Коклюш. — Из народа. В школе так учили. А там знают!

— Из народа, — согласился Василий. — А что слова значат?

— То и значат, что значат.

— Ну, например, самовар, — сказал Василий гундосо. — Сам варит. Это просто.

— Конечно! — засмеялся Коклюш.

— А что значит, например, человек?

— Ну, что?

— А ты догадайся. Зачем тебе мозги дадены? Чтобы шевелить ими. Вот и шевели. Залежатся — протухнут.

— Ну что, что?

Довольный Василий мял в пальцах замазку, пахнущую скипидаром.

— Я на поезд опоздаю! — закричал Коклюш.

— Человек, — прогундосил Василий, — это чело века. Какие люди, такое у него, у века тоись, и чело. Физиономия!

— А кто вас научил? — поразился Коклюш. — Какой мудрец?

— Сам варю, — засмеялся Василий, — как самовар. Вот скажи-ка, например... Что значит — судьба?

— Ну?

— Эх! Погадай!

— Я ж сказал — поезд!

— Суд божий!

— Чепуха, — вмешался Алеша, молчаливо слушавший

разговор.— Судьба — от человека. Счастье надо все время добывать. Как каменный уголь.

— Чьи слова? — спросил Коклюш.

Алеше не хотелось говорить, что это он сам так подумал только сейчас.

— Не все равно чьи? Забыл.

Коклюш протянул руку, но Алеша взял его чемодан и пошел провожать, оставив Василия мять замазку.

Зачем пошел? Он сознался себе, что еще боялся оставаться один. Это пройдет... Завтра он будет чуть дальше от сегодняшнего дня, после своего бесповоротного решения, а послезавтра еще дальше... И настанет день, когда все забудется...

— Чего ты такой? — спросил Коклюш на вокзале

— Какой?

— За всю дорогу — ни слова.

— Разве?

— Девушка?

— Ну, девушка! Подумаешь!

Сквозь улыбку, радуясь, как легко получается, Алеша вдруг рассказал об Анке. Пусть и Коклюш прибавит свою каплю к его неопровержимым выводам. Но... Уже поезд лязгнул буферами, уже покатился вагон, а Коклюш все стоял в тамбуре и кричал:

— Она не такая! Я с ней ехал! Я знаю!

Поезд уходил, изгибаясь дугой вдоль асфальтированной платформы.

— Ты спроси этого ведуна,— кричал Коклюш,— что такое любовь?

Колеса стучали.

А ушел поезд, и стало тихо, ни вопросов, ни надежд. Только эхо, всегда живущее на вокзале...

## 18

Накануне Дня Победы батя смастерил две новых скамейки у косых ворот тети Вари. Она захотела, чтобы, как в былые времена, у ее ворот сели приодетые бабоньки, а она сыграла им на баяне. Уж сколько она посулила бате, неизвестно, но он старался. Похоже, ему нравилась эта простая работа, для которой всего и требовались пила, рубанок да молоток. Они-то остались у него в сараюхе, и он настрого реек, чтобы сделать скамейки легкие, с наклонными спинками, как в городском парке.

На траве, наблюдая за его работой, шебуршилась пацанва. Кто сидел на корточках, а кто прилег на пузо — земля теплела. Пацаны норовили поддержать рейки, поднять упавший гвоздь, подать молоток. Один малыш хотел сам забить гвоздь, который нашел в траве, но батя шутливо остудил его:

— Нельзя!

— Почему?

— А потому! Когда кузнец кует, лягушка лапку не сует.

— Так я же не лягушка! — обиделся пацан.

— А кто? Пых-пых... Откуда ты такой взялся?

— В капусте нашли.

— А меня купили в универмаге, — сказал второй, глаза стый.

Третий, постарше, остриженный наголо, сидел степенно. Остатки жестких волос торчали на его круглой, как мяч, голове колючками репейника. Видно, стригли домашним способом. Он презрительно поглядел на несмышленишей:

— А меня папка с мамкой сами сделали. Так дешевле.

— Пых-пых... Ты им дешево обошелся, — сказал батя.

Снова он просматривал рейки, примерял. Тянул время, не хотел оканчивать работу. И все рассказывал Алеше, как сколачивал терем над прежним слободским колодцем. Чего он только не смастерил за жизнь! А вспоминался колодец...

Пацанва между тем шепталась:

— Откуда она, эта тетка?

— Из Сибири.

— Родственница?

— Фига!

— Совсем чужая!

— Не знаешь?

— Много будете знать, — сказал батя, вынимая гвозди изо рта, — скоро состаритесь.

— Не-е... Умней станем, — возразил стриженный репей.

— Кто тебе сказал?

— Сам соображаю.

Батя покачал головой.

Кто была эта тетка, о какой они загудели, пацанве знать не полагалось. Приехала она вчера, толстая, неповоротливая, с одной клеенчатой сумкой в руке, и тащилась по слободке, трудно переставляя ноги. А через час слободка ах-

нула. Приехала жена в свое время без вести пропавшего из слободки баяниста Коли. Настоящая!

Была война, девушки посылали бойцам на фронт свои карточки с нежными словами. И Варя свою послала. Сначала одну, а потом еще, потому что он ей ответил. Началась любовь в самодельных конвертах. Вот после войны он к ней и постучался, прибыв прямо с эшелона, который остановился на городском вокзале в цветах и надписях на красных теплушках: «Мы победили!», «Здравствуй, мама!» И еще в этом роде.

А в Сибири ждали Колю жена и двое детей, один меньше другого. Коля решил к ним с войны не возвращаться, отрубил. Да от Вари скрыл. А когда она узнала об этом — проговорился как-то баянист! — проплакала всю ночь. А утром собрала в дорогу, пирогов напекла, только и попросила:

— Отдай мои фотки. — И выпроводила!

Чтобы совсем забыл, значит! И уехал Коля с пирогами в свою далекую Сибирь. Но Варю не забыл. Перед тем как помереть, велел жене передать Вале последний поклон. Вот кто эта тетка была... И вот с чем приехала.

И Алеша подумал: пусть теперь одни ругали Варю, другие хвалили, она сделала, как велело ей сердце. Никого не спрашивала, ни с кем не советовалась.

— А он-то? Он-то? Почему он спрашивает и слушает других?

Не слушает, он сам решил: больше нет Анки. Проживет...

А если он и не чувствует себя спокойно, то ведь не сразу это дается. Ему надо еще увидеться с Анкой. Люди знают, как Анка потешалась над ним, а он?.. Он ей ничего даже не сказал. Его очередь. Что-то в нем выпрямилось, будто пружинистый хлыст, так, что уж больше не согнется. Да, вот чего ему не хватало, чтобы отделаться от слюнтяйства, от тяги к ней... Он увидится с Анкой. Конечно, лучше всего при людях. И скажет ей, кто она. Вслух, при всех... И, может быть, даст пощечину. Пусть увидит слободка, какой он, Алеша Сучков! Свой.

Это ему понравилось. А чего? Убить бы мог! Мог?

Батя вколотил последний гвоздь и погладил доску. Пачанва уселась на скамейки, заболтала ногами вовсю... Батя скидал нехитрый инструмент в переносной ящик с ручкой, и тогда Алеша сказал ему:

— Ты домой? А я... ненадолго... тут вот...

И пошел к древнему дубу у ворот Распоповых.

— Анка дома? — спросил он Сергенча, дремавшего на скамейке.

— А где ж ей быть?

Алеша вошел во двор и крикнул:

— Анка!

Она сразу растворила окно и выглянула, точно ждала. Какая-то бледная, с незнакомым лицом...

— Пойдем,— позвал Алеша.

— Куда?

— К реке...

В ее огромных глазах зажегся и заскользил испуг.

— Я догоню...

У реки стало еще зеленее. Вымахала и загустела трава. Птицы примолкли, когда солнце закатилось. Мимо прошли слободские с веслами, с сачками на длинных палках. Сачки распирали от пузатой рыбы — верши выгребли после работы. Прошли, оглядели...

Анки все не было.

Он ждал и смотрел, как по реке плыли бутылки. Горлышками вверх. Стоя. Это жители счастливой Верхней слободки посылали свой вечерний привет жителям Нижней... Счастливая она, потому что жить ей осталось месяцы, может, дни... Пятиэтажки давно вторглись в нее, как корабли; половину, а то и больше слободки уже очистили могучие и аккуратные бульдозеры, а другие домишки попрятались по щелям, как лодки между кораблями, жили под их светом, слушали музыку из их окон. Не жили — дожили...

А Нижней, как сказал Куцуруп, еще цвести и пахнуть!

Когда-то, в давние времена, слободки враждовали, никто и не помнит почему. Случалось, ходили не в гости, а мерить силушкой. В наши дни поубавилось охотников перешибать носы, но верхнеслободские наловчились дразнить «нижних» этими бутылками... Набирали в них немного воды — для устойчивости — и пускали плыть по течению. Дескать, мы уже выпили... Завидуйте!

Анки все не было.

И он позволил себе вспомнить главное, что делало все его переживания острее и глубже, а все события непоправимей. В этой второй жизни, из воспоминаний, самым главным был тот полдень, который не повторится. Он уже был прошлогодний...

В тот полдень Алеша остановился у ворот Распоповых,

как часто останавливался, а иногда и просто приходил постоять. Это делалось будто само собой. Тихо, в пыли и дреме, лежала улица. Высокий забор с колючей проволокой, высокие ворота прятали Анку. Калитка была закрыта наглухо.

Алеша толкнул ее и забеспокоился. Анка всегда спешила замкнуть калитку, когда родители ругались. Чем старше становилась, тем стремительней бросалась к калитке при первых искрах скандала, пока он не разгорелся, и хваталась за дубовую задвижку, будто отсекала все связи с внешним миром. А может, потому бросалась скорее, что, старея, родители грызлись беспощадней. Иногда Анка сама прижималась спиной к калитке и стояла, загораживая их раздоры от жизни, другой или казавшейся совсем другой. Чтобы не мучили вопросами, взглядами, насмешками, сочувствием...

Алеша позвал. Не ответила. Не было ее за калиткой. Постучал погромче. Не ответили.

Тогда он побежал вдоль забора к акации, будто его толкнули. Исчезло все. Вокруг не было никого и ничего. Ни других дворов, ни заборов. Ни улицы. Он вскарабкался на акацию, повис на ломкой колючей ветке и обезьяной перемахнул во двор, оставив на проволочной игле клочок рубахи. Еще через мгновение он был у одуряюще пахучего жасминового куста, росшего под окном, из которого летели, выбрасываясь и сшибаясь, как горящие поленья из костра, крики Анны Матвеевны и Сергеича. Ее голос был визгливей, но Алеша все равно ни слова не разобрал. Он увидел, что дверь в сарай приоткрыта, чуть-чуть, на щель с кулак, и рванул к ней.

В каждом слободском дворе где-нибудь косился такой сарайчик, обычно самый трухлявый из всех построек; в нем хранилась огородная утварь.

Сначала, как вода при нырянии, Алешу поглотила темнота — крошечная, точно он крепко зажмурил глаза. В сарае не было окон, а дверь он захлопнул за собой, чтобы «голуба» или сам Сергеич не заметили его и сгоряча не прогнали.

— Анка, это я, — сказал он раньше, чем услышал, как она плачет. И она заплакала громче, будто ждала его и хотела, чтобы он быстрее сообразил, где она, и нашел ее в темноте.

Темноту рассекали тонкие нити света, словно только сейчас проникнув сквозь трухлявые стены. И хотя свет не

был сильным, и, громыхнув, повалился какой-то ящик, на который он наткнулся, и загремела какая-то жесть под ногами, он добрался до последней стенки, до самого дальнего угла, где Анка лежала на мешках, пахнущих землей.

Встав на колени, он обнял ее, приподнял и стал гладить по голове и плечам, как ребенка, пока она не затихла. В тишине и темноте, изрезанной лучами, слышались невнятные, но яростные голоса из дома, однако они уже не имели смысла.

Он давно молчал, перестав повторять «ну, ну» или что-то другое... Анка, теплая, мягкая, такая дорогая, что дороже никого не было и быть не могло, жалась к нему, пряталась под его грудью, и он сжимал ее все сильнее, как будто кто-то мог вырвать ее из рук.

— Алеша,— сказала Анка,— Алешенька... Ты, правда, ты?

Она еле прошептала это, но он услышал. Слабый шелест, адресованный ему одному, не проскользнул мимо.

Он не мог ответить. Сдавило горло. Он не отваживался дышать, не то что говорить. Слова забылись, будто он никогда просто не знал ни одного. Вдруг родился и стал расти неиспытанный, незнакомый страх...

— Алешенька! — шептала Анка, прижимаясь.— Пришел?

И он стал целовать ее вместо ответа. А сердце, подгоняемое страхом, толкалось в груди, словно хотело убежать...

Потом они еще долго лежали на мешках, надежно пахнущих землей. Не раз вспоминая эту минуту, он всегда удивлялся глупому и нелепому «потом». Почему потом? Не было ничего до этого. С этого началось настоящее. Он по-новому увидел саму жизнь. Она наполнилась чувством, не требующим слов. Он стал отвечать за Анку. И это было так понятно, что тоже не требовало объяснений.

Вот что было в тот полдень...

А она вдруг уехала... Не сказав ему ничего. Через несколько дней после того, как случилось это, связавшее их неразрывно... Вот почему все показалось ему катастрофой, когда Анка уехала. Вот почему...

А недавно — еще тогда, когда она прижималась щекой к его груди и, кажется, спала,— было так покойно. Рядом с ними старую стену, как шпаги, протыкали лучи солнца. А ему уже ничего не было страшно, даже если бы это были настоящие шпаги... Он смело вышел в день. В доме еще



кричали, но услышал он только, как пели птицы. Для него с Анкой...

Зачем он вспоминает?

От этого болит и ноет в груди. Сердце стало ноющим зубом, которого не вырвет сам Богма. И сигареты, которыми пропах он, уже не помогают...

Не надо вспоминать! Надо просто сидеть и смотреть на реку.

По ней еще плыли бутылки. Иногда, чуть покачиваясь, бутылки плыли целый вечер... «Нижние» швыряли в них камнями и радовались, если попадали...

Звяк! Кто это отличился таким метким броском? Бутылка утонула, радужно сверкнув на прощание воздушным пузырем.

— Степан!

Ящик, он же Гутап, он же бывший детский друг и просто Степка, оглянулся и еще один камушек просто так швырнул в реку, отряхнул руки, подошел и как-то бочком не сел, а плюхнулся на траву. Будто ноги с трудом держали его железное, похожее на сейф тело.

— Чего здесь делаешь? — спросил Алеша, пока Степан усаживался надежней, приминая под собою мешавшую ему землю, доставал сигареты из кармана и выбрасывал еще два камушка, сунутых туда про запас.

— А ты чего? Анку ждешь?

Алеша хотел усмехнуться и послать его подальше, но лишь спросил глуховато:

— Откуда знаешь?

Степан усмехнулся вместо него:

— А чего ты еще можешь делать? — И слова и усмешка были у него громкие, хозяйские. Он и ответил сам себе: — Ничего!

— Будто ты не ждешь Надю, не топчешься у библиотеки...

— Я не топчусь, а в своем автомобиле сижу, во-первых. А во-вторых, она мне подарка в животе не принесла. И не принесет.

— А если бы принесла?

— Пошла бы своей дорогой.

— Куда?

— В сберкассу. За своим миллионом. Ха-ха!.. У нас матери-одиночки получают пособие. А я при чем? Я не государство... Мне чужого не нужно.

Степан опять рассмеялся на всю лужайку.

— Какая же она чужая, Анка? — спросил Алеша.  
— Чужое семя в ней!  
— Пусть страдает?  
— А как же!  
— А я не хочу, чтоб она страдала. Я ее люблю.  
— И сейчас тоже? — спросил Степан тише и заинтересованней.

— Я люблю ее, — повторил Алеша.

— Для чего?

— Не знаю... Не знаю, для чего и почему...

— А я знаю. Потому что ты лопух. Лопух! — закричал Степан, приподнявшись, как будто встал на защиту всего мужского сословия. — Он не хочет, чтоб она страдала! Эка! А она с тобой посчиталась? Непонятно!

— А тебе все должно быть понятно?

— А как же!

— Объясни мне тогда, — спросил Алеша и улыбнулся. — Чего ты так стараешься отвести меня от Анки?

— Друг я тебе или не друг? — зло удивился Степан.

— Тебе лучше, если я... Чтобы Надя...

— Надя? — Степан хотел засмеяться, но неожиданно как-то пискнул вместо властного, хозяйского смеха. — Никуда она от меня не денется! Шашни-машни, шуры-муры-амуры, а приходит момент один раз решать на всю жизнь... И никуда она от меня не денется. Потому что кто я и кто ты? Мне тебя жалко. Лопух!

— Смешно, — горько сказал Алеша, вспомнив, что и мать, случалось, называла его лопухом.

— Смотри, наплачешься! — предупредил Степан и встал.

Он ушел, победно вихляя задом, а бутылки еще нет-нет да проплывали в темной реке. То парами, а то по одной...

## 19

Утром в День Победы Сергенч сидел на своей скамейке, выбритый до блеска. В этот день, едва проснувшись, он правил почерневшую опасную бритву на таком же почерневшем ремне. Пробовал ее на волосах, пока не слетал седой пучок от одного неслышного прикосновения к макушке.

Подкрахмаленная рубашка резко белела под пиджаком, увешанным орденами и медалями, только уголок жесткого воротника вылез из-под истертого лацкана и загнулся, а пуговица вдавилась в горло.

Алеша поздравил его и протянул высокую и узкую коробку, разрисованную торжественно и затейливо, как палехская шкатулка. Сергеич разорвал ногтем бумажную склейку, извлек бутылку коньяка и, взмахнув, тут же разбил о столб под скамейкой, одно горлышко в руке осталось.

— За подарок спасибо...— Он отшвырнул бутылочный осколок подальше и глянул на пустую коробку.— Это я на полку поставлю.

— Ну и хорошо! — сказал Алеша, а Сергеич добавил:

— Вспоминать друзей буду на трезвую голову.

— Вон как птицы поют! — проговорил Алеша.

Сергеич молчал, слушая, как перекрикивались птахи. Очнулся, вновь заулыбался — так хорошо, как давно не получалось.

— Иной раз думаешь: мать честная, за что тебе все это подарено?

И опять умолк.

— Где Анка? — спросил Алеша.— Выглянет она хоть сегодня? Нет?

Сергеич перевел на него глаза. И Алеша понял: не даст она показывать на себя пальцем. А Сергеич сказал:

— Уж я думал — кому быть счастливыми, как не вам?

Ан нет!

Сбоку потянулись звуки баяна, и он повернулся было туда, но тут же отворилась калитка. И Сергеич дернулся, и Алеша вздрогнул. На улицу выплыла расфранченная Анна Матвеевна с горстью семечек в руке. Сплюнула в траву шелуху.

— Сидишь, зеваешь, а про тебя по радио передают.

— Какому радио?

— Председатель ветеранов выступал... Второй раз о человеке говорят, а ему плевать! — Она удивленно хлопнула себя по толстому боку толстой рукой.

— А еще-то когда? — спросил Алеша.— Когда еще говорили?

— С лакаголиками борьбу вели. А моего хвалили. Коллективу слово дал...

— Ладно, — остановил ее Сергеич.— Грызи семечки.

— Человека хвалят, а он не слушает! Совсем ты зазнался, голуба!

Анна Матвеевна кинула сразу жменью семечек в рот и пошла, покачиваясь на раздутых ногах, рассказывать другим о муже.

— Голуба! — сказал Сергеич ей вслед. — Вчера Анку приперла. С ребенком держать не буду.

— Позовите Анку.

— Не велела.

— Позовите!

— Дома нет, — мрачно сказал Сергеич.

— И для меня нет?

— Говорит: одна буду всю жизнь.

— Сергеич!

А женщины у ворот тети Вари запели.

— Пойдем к бабам, — сказал Сергеич. — Там — вдовы. Посмотрим на эту Настасью, Колину.

Женщины потихоньку подходили к Варе в перелицованных платьях ниже колен. Усаживались на скамейки, тяжело, потому как были совсем уж немолодые. Слушали, как Варя играет... Трогали заскорузлыми пальцами ордена на груди.

Кое-кто из вдов пришел с орденами Славы. В слободке это водилось: в День Победы бабы надевали переданные им на хранение ордена мужей, не пришедших с войны или умерших после нее. А дед Амвросий каждый день носил орден жены-покойницы — матери-героини. Когда спрашивали, знает ли он, что это женская награда, дед, сияя лысиной на солнце, шурился и отвечал:

— А как бы она без меня героиней стала? Я ж не виноват, что нет такого ордена «Отец-герой»!

И не замечал, что текла слеза по дубленой коже его лица... Мужики тоже душу имеют, как горя потянут — так сразу и видно...

Вдовы рассказывали о своей жизни приезжей Настасье. Так, мол, и проболтались без мужиков сколько лет — ни шест, ни весло.

— Всем солнце светит, да не всех греет.

— Ровню-то повыбили! — сказала Настасья.

— А в войну сами мужиками были, — засмеялась Даша Быкова. — Зина вон гильзы делала на ремзаводе. Скажи, Зина!

— И другую амуницию, — только и поддакнула та, затянув концы пятнистой косынки.

— А сама-то что работала? — спросила Настасья сунхонькую Дашу.

— Я? Мешки таскала в вагоны! На станции. Они зантарены, ничего не выложишь, возьмут в четыре руки, а ложат на одну спинушку. Не знай, сколько весу в таком

мешочке, навали его на нынешнюю молодуху, так и присядет до земли. В больницу отвезут! А мы и думать не смели, занеможешь, сама скрыть стараешься — война же! И так изо дня в день, чтобы наши там были все обуты, одеты, сыты... Наверно, мускулы у нас особые были на ногах и руках.

— А то!

— А дома еще и козочку покорми... Натаскаешь сена на зиму, откуда бог даст, и — радость!

— Тоже бы ничего, да еще ребят обшить надо. Принесешь мешок со станции — вот удача! Рада-радешенька! Щелок из золы сделаешь, отстираешь, вальком на реке отколотишь суровизну, да и сошьешь рубашку мальчонке. Любо-дорого!

— Детишкам доставалось.

— Детишков жаль.

— Ой, бабы, не тревожьте душу, нет моченьки больше! Доставай, Зина, трахнем по маленькой!

Глоточками тянули вдовы красное вино. Как-то исподволь перекатились на веселое.

— Помнишь, Зина, как твоего Гаврилу щука за палец цапнула?

Зина отмахивалась, смеялась:

— Ну вас, девки!

— Пусть Настасья послушает! Нарочно не придумаешь. Ой!

И принялась Зина рассказывать, как заядлый рыболов Гаврила Селиверстов раз, погожим июльским днем, зашел с другом в речку... Все чин чином. Приладили бредень, взяли за палки, вода где по грудь, а где и по шейку, подвигаются... На берегу женушки улова ждут, зеваки. Заметно уж, как рыбка плещется — ершики, окунишки... А самое главное еще там, самое главное у бредня — это мотня. Вот тянут мотню, а она ходуном ходит! Щучища извивается всем телом, бесится от злости, выхода ищет. И вдруг — со всего маху — к Гавриле, и тут он как завопит, будто борова режут, ни дать ни взять! Обувку-то в речку надели рваную, ботинки каши просят. Ох господи!

— Ну, щука и хватъ моего Гаврилу! — смеялась Зина. — За палец!

— Чудеса! — смеялась и Настасья, трясась.

— В природе каких только чудес не бывает! — заметила бабка Миронова, обхватывая палку сучковатыми руками.

— А вокруг зеваки животы рвут, — договаривала Зина

Селиверстова, пряча рот за ладошкой.— Самый знатный в слободке рыбак щуке в пасть угодил. А он тоже хохочет: «Я щуку пальцем поймал!»

Давно лежал слободской рыбак на обширном братском кладбище в городе Бреслау, если по-немецки, а по-польски — Вроцлав, потому что это польская земля.

— А ты, Настасья? Теперь ты расскажи чего-нибудь!

— Я-то? — Настасья, если заговаривала, ко всем словам приставляла «то», видно, так полагалось в ее местности.— А что сказать-то? Полнота меня мучает, бабоньки. На плечи-то будто повесили по ведру с водой и не снимают.

— Нет — ништо твоя полнота, Настасья!

— Ты собой хороша!

— Вот была у нас Пашка — «Сигова бочка» — не тебе чета! Центнера на два. Чудо-юдо.

— В природе каких только чудес не бывает! — повторила мудрая бабка Миронова, тоже сипло смеясь в кулак.

— А с чего «Сиговая бочка»-то?

— Пила как прорва и сигами заедала.

— И несло от нее вином и сигами, как из бочки. Во!

— Материлась! Некультурная была!

— А с чего сейчас пьют-то? — спросила Настасья.—

Все культурные стали, а пьют.

Бабы помолчали.

— Одни думают — геройство. А какое же это геройство — опрокинуть рюмку за воротник? Каждый шкет сумеет. Ты врага опрокинь.

— А другие — мартышки. Как ты, так и я!

И тут сошлись глаза на Сергеиче, вдовы умолкли, и Настасья огляделась, повернулась к Сергеичу, спросила:

— Вот дивлюсь — живете за колючей проволокой! Зачем? — И показала на забор, по которому густо вились железные колючки.

— Как на фронте! — лихо засмеялся Сергеич.

— Еще спрошу, — сказала Настасья, обращаясь к бабам.— Молодые-то ходят по городу в обнимку, мальчишки с девчонками, совсем дети, батюшки! Кто за плечи, кто за пояс обхватятся и шагают!

Бабы загудели, мощно разделяя неодобрение.

— Я чего удивляюсь-то! — вскрикнула Настасья.— Бывало, тебя мужик заденет случайно пальцем, ты вся так и вздрогнешь! И до вечера ходишь алая, вся горишь! А эти-то, эти-то — неживые, что ли? Обхватятся, и как будто им ничего не нужно более! Ведь разучатся детей ро-

жать, если не разучились! Как будут рожать-то? Кибернетикой?

Бабы смеялись и качали головами.

— Знают как! — протянула бабка Миронова и, наклонившись, зашептала Настасье в самое ухо.

Вмиг, как голодные птицы на зерно, бабы сгрудились и пошли шушукаться да хихикать, подсыпая в общий котел словечки. Алеша не сомневался — про Анку. Те же самые бабы, только глаза другие... Тетя Варя быстрее взяла баян:

— Ну, девки, побаяли, запевай!

Девки, которым было уже под семьдесят, потихоньку вытерли губы платками, приосанились, начали:

Во ку... во кузенке,  
Во кузенке молодые кузнецы,  
Они, они куют,  
Они, они куют,  
Куют, дуют, приговаривают...

Чего запели! Алеша удивился: зря он с маху решил, что они все забыли. Нельзя о них с маху... Помнили еще... А война? Вот посидел со вдовами, послушал и возвысился вместе с ними над огородами, над заборами. Над всей слободкой... Значит, жила в них память о всеобщем горе, всеобщей беде...

— Хорошие были песни! — сказала бабка Миронова, когда и голоса и баян стихли. — Теперь редко услышишь...

— Теперь их только хор Пятницкого поет. По телевизору.

— Ты не думай, Настасья, мы телевизор смотрим.

— Мне вон сын привез-подарил. Дом старенький, как у бабы-яги, а наверху антенна торчит. Баба-яга с антенной! — разевая беззубый рот, смеялась бабка Миронова. — Чудеса в решетке!

А Варя уже играла вальс, и женщины танцевать пустились.

Вразнобой с вальсом тут же занялись, разгорелись частушки-припевки: забыв о возрасте, бабы пробовали голоса на пределе самых высоких нот.

Алеша вернулся к дому Распоповых, ударил калитку ногой. В пустом дворе позвал:

— Анка!

Тишина гудела в ушах. Соборными колоколами вдруг забили в столовой старинные часы «Павел Буре». Тяжелые,

сами тоже похожие на собор. Откуда-то приволок их дядя Сережа — неживые, разобрал, собирал, месяц возился и наконец повесил на стену. Маленькая Анка на ночь останавливала их, чтобы не будили колокольным боем, не мешали спать. А утром переводила стрелки, украшенные виньетками.

— Анка!

20

Береза качалась над лужайкой... Алеша облегченно вздохнул: Анка сидела на пеньке, улыбалась, будто не было в жизни ничего — ни горестного, ни грустного... Она это умела... Алеша коснулся рукой травы и сел, тяжело дыша после бега.

— Я знала, что ты придешь,— сказала Анка, как будто только и делала, что ждала его здесь.

Пятна солнца плавали по реке.

— Ну, что ты молчишь, Алеша?

Обхватив руками колени, он покосился на нее:

— Обязательно говорить?

Вдруг Анка спросила:

— Алеша! Ты любишь меня?

Он хотел возмутиться вслух, но сейчас же захотелось сказать, что жить без нее не может, задохнулся и пробормотал:

— А что?

Анка пересела с пенька на траву, прижалась к Алеше, повернула к себе его лицо и поцеловала. Он нашел ее губы и почувствовал на них слезы. И снял черные капли из-под ее глаз.

— Ресницы твои потекли...

— А! — только и вырвалось у нее.

Долетели звуки баяна, долетели припевки...

Анка отвернулась:

— Алеша! Как я тебя люблю!

И все сидела отвернувшись, совсем склонила свою голову, прижала к плечу.

— И что? — усмехнулся он.

— И все.

— Нет, не все! Расскажи все! — потребовал он.

— У меня будет ребенок.

— Наконец-то... сказала... Я давно знаю...

— Не так просто было сказать... — Анка заплакала.



Сейчас бы и швырнуть ей самые хлесткие слова! Оказывается, он, дурак, еще верил, что спросит, а она расхохочется в ответ: «Ты что, не знаешь, как слободка сочиняет? Какой ребенок!» Могли же это быть враки?

Был муж, будет и ребенок...

Анка усмехнулась как-то пугливо:

— Натворила, в общем... Что ж теперь? Умирать?

И повернула к нему лицо в слезах.

— Кто он такой? — спросил Алеша.— Молчи! Мне все равно! Он приставал к тебе? Насильно?

Было непохоже, что Анка собирается отвечать, потом сказала отрывисто и недобро:

— Я заперлась, а подруги называли меня душой... А я руки себе кусала...

— Ясно.

— Что?

— Перестала кусать руки и пустила. Подруги виноваты.

Анка сидела с прикрытыми глазами, будто отсутствовала. Он тоже закрыл глаза рукой, белого света не хотелось видеть. Сидел так долго, слышал, как Анка вздохнула, и вдруг откинул руку, потому что Анка засмеялась... Неожиданно, как это часто бывало с ней, некстати.

— Алеша! Мне казалось, ты и одного моего отъезда не простишь... Вот как я думала... А руки кусала по ночам, забыть тебя не могла! Мне тебя забыть надо было, потому я и открыла дверь... Не поймешь... Я виновата. Вообразить не могла, что мы с тобой об этом будем разговаривать. Ну, я дура... А тут узнала, что ты пилу на мотороллер придумал... Вон ты какой! Еще глупее!

— Ты меня отсекла? — спросил он, рубанув воздух ладонью.— Напрочь?

— Хватит об этом! — крикнула Анка.

— Отсекла? — повторил Алеша.— А я вот он, рядом...

Анка зажала уши, втянула голову.

Спыхватился ветерок, береза затрепетала, и ветви, отяжелевшие от листвы, закачались.

— Послушай, как она шумит,— сказала Анка, поднимая голову, и посмотрела на Алешу.— Разглядься!

Это было слово из детства. Еще маленькой она не любила, когда он хмурился, как дед, и приказывала:

— Разглядься!

И встала порывисто. Алеша тоже вскочил.

— Любишь? — спросил он.

Она зажала ему рот ладонью, постояла, повернулась и побежала прочь.

А ночью в самое сердце ударила тревога: сейчас Анка сложит чемодан и уедет... Она прощаться приходила! «Брось ты бредить!» — сказал он себе и повернулся на бок, стараясь уснуть.

Сон не возвращался...

Не долежав до рассвета, Алеша оделся. Небо в одной стороне еще туманилось рыхлым, темно-серым остатком ночи, а в другой таяло и зеленело. Пустынной улицей Алеша подошел к распоповской скамейке под дубом и сел.

Мимо, переставляя ноги за палкой, шаркала бабка Миронова, верившая в чудеса. Неизвестно, куда она шла. Остановилась перед Алешей. Все же человек, не так одиноко жить. Спросила:

— Что слышать?

— Наша ракета до Марса станцию донесла, — ответил Алеша.

— Бывают чудеса! — радостно сказала бабка.

Звякнула защелка. Калитка, врезанная в ворота, отошла, и через ее порожек переступила длинная и тонкая нога в сапожке. Анка! Она затворила за собой калитку и оглянулась, увидела Алешу.

— А ты чего тут?

— Так.

В руке Анка держала чемодан.

— Куда? — спросил Алеша, вставая.

Анка нахмурилась. Рассердилась, что он ждал, порылась в кармане платья и вынула согнутый листок. Это была телеграмма. Алеша развернул ее. Слагаясь в строки, зачернели крупные буквы, которыми сообщают людям о радостях и несчастьях: «МНЕ ЗНАМЕНИЕ БЫЛО ЧТО ВЕРНЕТСЯ НАШИ ПАЛЕСТИНЫ АХ ЭТИ ССОРЫ ВЗДОРЫ ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЯ ЖДУ КИСТИНТИН».

Ну что ж... Вот и Константин. Словно перемолвились...

— Зачем... мне это показываешь?

— У меня все хорошо, видишь... Я уезжаю.

— Я тебе уеду! Дай сюда чемодан! Слышишь?

Он протянул руку, но Анка отшагнула.

— Дай сюда чемодан! — повторил он.

Тогда она спросила испуганно:

— Алеша! Ты что?

— Ну, так знай, — ответил он. — Я не отстану от тебя!

И Анка отступила еще на шаг.

— Этот человек, он из дирекции... Я думала, он меня продвинет... Я дрянь!

— Это все копать. Забудь...

— А люди? Что они скажут?

— Плевать!

— Я сама тебя презирать начну!

— Все равно,— улыбнулся Алеша.— Я тебя прощаю.

— Еще я должна захотеть, чтобы меня простили! — крикнула Анка.— Прощай, Алеша!

— Ты сама сказала, что любишь...

— Потому и сказала, что мне ничего от тебя не надо!

Он опять улыбнулся ей:

— Эта телеграмма уже вчера была? Да?

— Разглась!

Анка повернулась и таким скорым шагом пошла, будто побежала, а старуха Миронова за его спиной, костлявая и полуглухая, которая до вчерашнего дня не выползала из дома и не знала ничего, плюнула вслед Анке:

— Порченная девка! Тьфу!

Сначала Алеша еще шел за Анкой, потом остановился. Она даже не оглядывалась. Он постоял и побежал к березе. Все уже ярко зеленело в лучах утреннего солнца, и птицы кричали. Алеша взбежал на бугор, чтобы еще посмотреть на Анку. Отсюда ее долго было видно.

## 21

Вернувшись, он выкурил сигарету на крыльце.

В сумраке дома разносился голос матери:

— Что ж мне с этими бурундуками делать? Двоим хоть деньги от родителей пойдут. А Коклюш?

Она с собой говорила.

Алеша вошел в затхлую комнату и, еще не разглядев лица матери в провале серой и пухлой, как облако, подушки, твердо сказал, что уезжает. Сегодня.

— Ты-то мог предупредить, изверг, что слободке нашей...— мать подкинула сухую руку,— жить да жить!

— Не знал я.

— В своем чреве выносила... Ночные муки за него брала... А он!

Она всхлипнула, и Алеша испугался.

— Уезжаю,— повторил он.— Хоть сейчас не ругайся.

До нее дошли его слова про отъезд, и она поворочалась в постели и пригрозила:

— Только попробуй! Своими руками придушу!  
— Смешно это, мать,— ответил он.— Я большой.

И стало жалко ее, будто он уже уехал.

— На работу напишу, что больную мать бросил! Наплачешься! — услышал он ее вопль, выходя.

Ударил дождь, но Алеша не хотел терять времени и бегал по стройке, оформлял документы. Спешил уволиться, чтобы успеть на вечерний поезд. Дождь усилился, все спрятались, только он бегал как угорелый да грохотали рядом два или три бульдозера. Сквозь ливень разносился всюду их сильный весенний гром. Прогредел раскат настоящего грома, упавшего с тучи. Оглушительно, над самой головой.

Получив расчет, Алеша выскочил из конторы и встретил Петюна Куцурупа, бригадира.

— Эй,— сказал тот,— мокнешь?

Алеша и не заметил, что промок до нитки: вся одежда облепила тело.

— Да вот... Мокну.

— Держи.

— Что это?

— Ребята скинулись.— Петюн сунул ему в карман толстый сверток.— Тебе.

— Зачем?

— По глупости...— улыбнулся Петюн, показав щелочки меж зубами — они у него были редкие.

Алеша побагровел.

— А кому прислать?

— Мне... Дальше я разберусь. Это чепуха. Есть и поважнее. Меня мать учила. «Самое главное в человеке — душа. И чем она больше, тем и жизнь больше». Наверно, отсюда и слово такое — великодушие. Слыхал? Старое слово. И что интересно — неверующая была мать... Так вот, Алеша. Если ты от души простил свою... ну, ее... быть тебе счастливым... А если... Ну, ладно... Я завидую!

— Прости меня, Петюн.

— За что?

— За недопонимание... Нелегко тебе с нами.

— Мне легче, чем тебе... Ты держись, не задавай ей глупых вопросов, ненужных, как гвозди под скатами... Перед самой весной надо умнеть! А то не расцветешь!

— Какой весной? — не понял Алеша.— Почему — перед? Уже май на дворе... Скоро лето!

— На дворе — май, а у тебя... Твоя весна на подходе...

Они обнялись.

— Ни пуха ни пера! — сказал Петюн. — Посылай к черту!

Но Алеша только улыбнулся.

Дома, на крыльце, сутулился батя. Силуэт его темнел, как в те давние вечера, когда пахло душистым табаком и немислимо ярко цвел у ног львиный зев. Алеша присел на минутку рядом.

— Я уезжаю.

— А меня Сучкова за инструментом посылает. В школу...

Опять Сучкова! И звучало это мстительно, будто и родная фамилия стала ему за долгую жизнь неприятной.

— Пойдешь?

— Дело сделано, — ответил батя. — Сделано — прожито.

— Кому она деньги копит? — вдруг спросил Алеша.

— Тебе. Ты наследник!..

— Я уезжаю, — повторил Алеша.

Батя положил руку ему на плечо, пожевал губами, будто в них завязли какие-то слова, посмотрел в глаза:

— Когда?

— Через час...

Батя встал, упершись громадными ладонями в непослушные колени. Пойдет, матери скажет... Но тут ее голос донесся с огорода:

— Чтоб ему счастья не видать и во сне!

Оказывается, она была не в доме, а там.

— Рехнулась! — сказал батя и ушел в дом.

Алеша приподнял голову.

Мать, худая, длинная, вся в черном, спиной к нему стояла в огороде между грядками, на которых, растопырив тонкие веточки, уже поднялись сизые помидорные кусты, глядела на заходящее, раскаленное, как металлический блин, солнце и бормотала:

— Лучше б я его под камень положила, чем в пелены пеленать! — Дрожь прокатилась по его спине. — Разрази его гром небесный! Покарай, господи!

Любила она господу вспоминать...

А кого еще любила? Очень хотелось Алеше назвать кого-то. Маленькому верилось, что скотину. Была у них угольно-черная, угрюмая корова Ласточка, мать ее называла девочкой. Замычит в такую пору Ласточка у ворот, мать крикнет:

— Открой, пусти девочку!

Потом сама отвела девочку на угол рынка. Остались индюшки — тоже девочки. Мать кормила их, верещала:

— Идите ко мне, мои девочки!

Курам рассыпал зерно батя. Он наклонялся, и куры, хлопая крыльями, заскакивали ему на голову, а мать шурилась, проходя мимо: «Как его девочки любят! Вон ту слови... Ту и ту!» И рубила им головы и ощипывала — на рынок. «Девочки, зайныка... голуба...» Разные женщины говорили эти слова, как ворковали, такие до сих пор непохожие... А если подумать? Одна к одной!

— Сам выдумай ему кару, господи! Не щади! А я больше не могу, зла не хватает!

Мать крестилась. Когда поднимала руку, сползал рукав платья, и у локтя на коже обнажилось множество облущенных складок.

Кто-то покачал калитку с улицы, щеколда не поддавалась.

— Сынок мой, сынушка, кровушка моя,— еще причитала мать.— Будь ты проклят!

Щеколда грянула, калитка отворилась, и во двор ввалилась, как упала, тетя Варя.

— Алеша! — сразу заголосила она.— И чего он вдруг ее позвал?! Не хотела она. Не ждала совсем, и вдруг — телеграмма! Неправильно все это, неправильно!

— Чего воззрился? — услышал Алеша близкий крик матери и повернул к ней голову.

Мохнач, похожий на медведя, вылез из конуры и смотрел на мать, свесив набок, через клыки, шершавый язык. Мать отпихнула ногой его пустую миску.

— Ведьмак!

Загремев, миска покатила через двор. А мать приближалась. С косынкой, еле державшейся на плечах... Просто-волосая... Седая... И вдруг, повернувшись к тете Варе, крикнула:

— Все правильно!

— Что правильно, когда люди себе жизнь калечат? Где правильно?

Мать внезапно усмехнулась:

— Счастье умным дается. Они и живут в счастье.

На крыльцо вышел батя с унылой самокруткой в зубах, хлопая себя по карманам, нашаривал спички. Мать показала на него сухой рукой:

— Вот мы с мужем прожили, словно лебеди!

Батя глянул осоловело и пошел за спичками в летнюю

кухоньку. А мать остановилась против Вари, затрясла дрожащим кулаком у тощей своей груди:

— Кто тебя звал?

Варя попятилась. Алеша поднялся с крыльца.

— Теть Варь... У меня билет в кармане. Я понял, каким был дураком!

— Раз понял, значит, у-умный!

— Иди-и! — завизжала мать, наступая на нее.

— Я вас не забуду, теть Варь. Ничего не забуду.

В комнате Алеша наскоро сложил вещи. Сунул в баул книгу брата и газету с портретом Куцурупа. Напечатали невидного, несолидного! Оба Петра с ним. Полотенце, мыло. Бритва. Вот и все. Он присел на койку и закурил...

Батя дожидался у ворот. Рука у бати тряско-тряско дергалась, когда прощались. И мать была еще во дворе, но даже не обернулась, не взглянула на него, обошла глазами темнеющий огород.

— Рученьки мои тут остались! Для кого? — услышал Алеша, закрывая калитку.

И уже не видел, как мать, с трудом одолев крыльцо, забрела в его комнату и упала на кровать, измятую сыном, — только что он сидел здесь. И уткнулась лицом в пепельницу, где тлела сигарета... Сын ушел, а сигарета еще дымилась...

Она поплакала вволю, Сучкова, в голос заходилась; доведись услышать — ни один человек не поверил бы в слободке, но даже муж был у ворот, а в доме — никого. Так она, вероятно, не плакала, когда получила похоронку на первого сына, а ведь она живая — может и поревесть... Но скоро успокоилась и задумалась. Опять о нём, о сыне. «Могла бы и денег дать. Хоть сто! Хоть тысячу. Да ведь неинтересно ему. А что ему интересно? Откуда он такой?» Этот вопрос уже приходил к ней. И ответ, о котором она, по-своему умная, думала, уже пугал ее. Сын вырос таким за все ее грехи.

Сучкова вздохнула и ожесточилась. Так погоди же! Тысячу тебе? Ни крохи! И начальству напишет, что мать бросил, еще как напишет! Она поискала на этажерке программку с адресом, которую сама тогда положила сюда. Хоть знать, за что уцепиться в розысках... Взял, ушел.

...Пригнув голову, Алеша шагал мимо двора Гутапа и остановился, словно споткнувшись. Над крышей гаража вспыхнул фонарь, и в свете его выросла похожая на сейф фигура.

— Ну, иди,— велел Гутап.

Алеша стоял. Тогда Гутап сам шагнул к нему и размахнулся. Свистнул железный прут. Еще не сообразив, в чем дело, Алеша услышал, как Гутап расхохотался. А прут, сверкая концами под яркой лампочкой, полетел через забор к гаражу.

— Пьяный? — спросил Алеша и провел рукой по лбу.

— Разбогатеть хочу! — Гутап опять загулял плечами, смеясь взахлеб. — Утром Сучкова явилась передо мной, обещала не покуситься. «Задержи Алешку, хоть голову проломи!» Иди! Убить могу.

— За что? — Было похоже, что Гутап крепко выпил.

— Ты счастливый,— сказал Гутап.— А я... Испугался?

— Я с тобой справлюсь,— ответил Алеша.

И подождал, пока Гутап, нелепо улыбаясь, уступил дорогу.

Слободка кончилась. В тех пятиэтажках, у которых недавно ставили качели и вкапывали турник, уже светились окна. Уже справили новоселье...

Слободка отставала, однако мысли его еще витали в ней... Быстрохотом быть плохо. А ждать целый век? Что лучше-то? Что? Он не спрашивал себя — там, внутри, вопрос был уже решен. Он готовился...

А мать, бедная мать, которую он и сейчас жалел, была ли она счастлива по-настоящему хоть день? Хоть час?

В слободке кое-кто, кроме Степки, уже купил себе машины, даже «Жигули» последней модели, с хромированными полосками вдоль блистающих кузовов. Катались на помидорах! Терли полировочной пастой и красили днища и крылья снизу красным свинцовым суриком, разживаясь у Гутапа.

Но разве в этом счастье? В «Жигулях»?

А Степка, по прозвищу Гутап, стоял у забора, привалившись к нему спиной...

Когда-то он хотел играть на мандолине. Приходил с мандолиной к Смычку, старик стаскивал с полки свою скрипку, и вдвоем они играли «Светит месяц». А хилый месяц висел над слободкой в сырых облаках...

А потом мечтал о духовом оркестре. Нравилось ему, как трубачи вымазывали губы шоколадными конфетами, чтобы влипал мундштук.

Вдруг Степан оторвался от забора и двинулся за Алешей, вовсю размахивая руками. Он почти бежал, и слободские фонари, еще не все разбитые из рогаток мальцами-



мазилами, перебрасывали его короткую тень. На крайней скамейке увидел женщину.

— Тетя Варя! Алешку видела? Он на вокзал! Где же марш? Где баян? Марш нужен! Я плачу! Десятку.

Тетя Варя плакала. Это Степан увидел, когда она подняла голову.

— Вы чего? — спросил он, утихнув. — Обидел кто?

— От радости. За Алешу.

Она ни за что не сказала бы ни ему, ни другому, что сейчас Настасья, собираясь в свою Сибирь, спросила о баяне, не мужний ли? Если мужний, то забрать бы...

— Сергеич!

Тетя Варя увидела хромого под дубом и заспешила к нему, а тот еще через минуту заорал:

— Алешка? За ней?

— Держись! — Тетя Варя протягивала руки, ловила его.

— Дожил! — кричал Сергеич.

— Упадешь!

А Сергеич топал своей деревяшкой:

— Сплясать бы!

«Ну вот, — подумал Степан, — обрадовал и я кого-то не подфарником, не амортизатором». Однако он не любил, когда вокруг так много было счастливых, и ушел к себе во двор. Во дворе он выдернул из земли железный прут и ударил им по углу гаража так, что в руке заныло. Еще, еще... Чего он бил, на кого злился?

Если обдумать все, то и ему ведь неплохо. Степан остановился, сел на колоду для рубки дров, ноги еще дрожали... Алешка уехал, укатил, умчался под гудок паровоза... Убавится у Надьки спеси, никуда она не денется. Велела сломать гараж!.. Но их слободка еще поживет, и гараж постоит... Сломать гараж, а дальше что? Как жить? Как Алешка? В гробу он видал такую жизнь!

Шумит в голове... Жарко, душно... Остыть!

Он пересек двор и спустился в погреб, зажег там желтую лампочку, у него и в погребе был электрический свет — цивилизация!

С каменного потолка, змеясь и корчась, свисали корни высохшего наверху клена... Степан дотянулся до одного отростка, ломкого, неживого... Корень был мертвей веревки. А ведь пробился сквозь камни, яростно, неудержимо, и — околел в холодной пустоте. Сухие клены стояли на погребе, как памятники пустоте...

А скорый поезд увозил Алешу. От реки, от пригорка, где росла береза с пониклыми ветвями.

Алеша вышел из купе в коридор вагона и встал у окна. В темной дали светляками проплывали бессонные огни...

Все получилось не так, как рисовалось ему прошлой весной, совсем не так. Но странно, он опять думал, что ничего не отменялось. Если он когда-нибудь будет учить детей, то, может быть, научит их чему-то поважнее, чем дважды два...

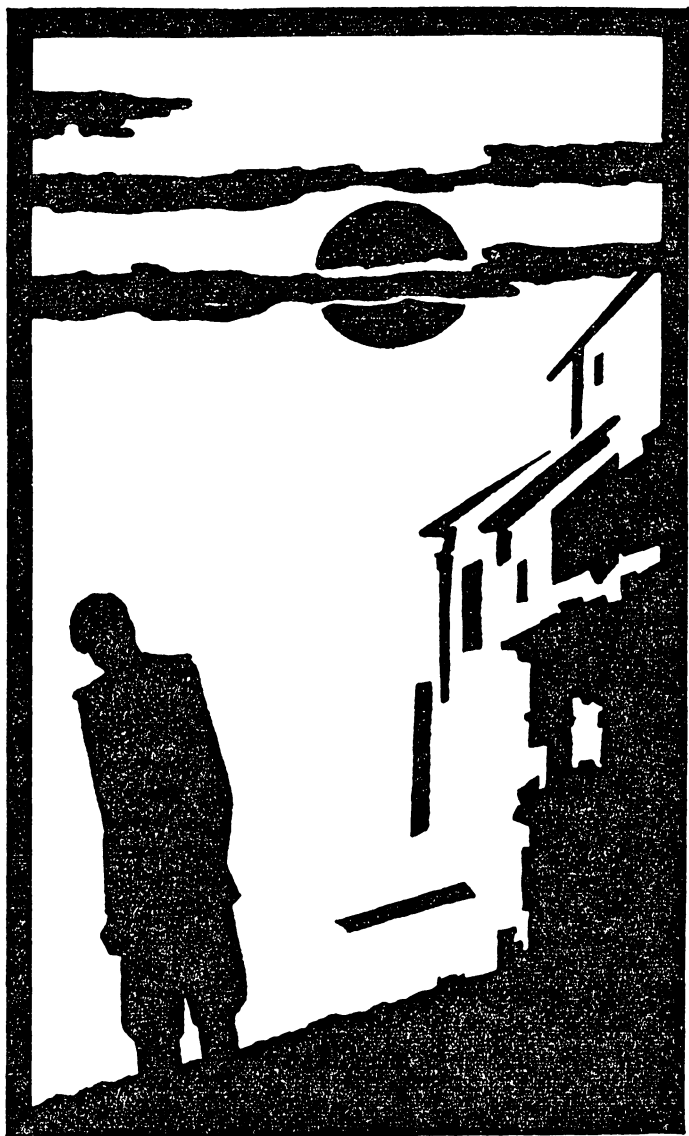
Далекий огонек за окном все не мог отстать от поезда. Чья-то жизнь тянулась и тянулась, пробиваясь сквозь ночь. Алеша опустил стекло. Тугой поток воздуха хлынул вместе с шумом колес, ветер разметал волосы. Та-та-та, стучали колеса на рельсах, та-та-та... Будет нелегко, это факт. Ну? Главное — догнать Анку.

Та-та-та, та-та-та, та-та-та...

# РАССКАЗЫ



*ВЕЧЕР ЛЮБВИ  
ЗА ПОДВИГОМ  
ТРЕТИЙ КОЛЯ  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ  
НА ЗАКАТЕ  
ЖДАТЬ — НЕ ДОЖДАТЬСЯ  
БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА*



## ВЕЧЕР ЛЮБВИ

Э то случилось военной зимой, в городке на Северском Донце, таком крохотном и непримечательном, каких еще много-много вокруг, в степи и дальше. В то время в нем просто-напросто не возвышалось ни одного заметного, многоэтажного дома, разве лишь мост через речку был большим, потому что перед впадением в Дон, привольный даже под снежным покрывалом, его приток показывал, что тоже чего-то стоит. Да еще отличался городочек благодатной тишиной, той редкой, что в дни войны бывает не только далеко от фронта, но еще и непременно в месте, где ничего гремящего — ни транспорта, ни заводов. А снег падал, как всегда, бесшумно...

Гене казалось, что вот придет весна и тогда их часть, размещавшаяся пока в школе, кинотеатре и каком-то клубе, раз уж все это временно не работало, их сформированная из молодых призывников часть двинет, как ей и полагалось, вперед и сразу поможет фронтовикам гнать немцев с донецких просторов.

Той зимой еще была свободной добрая половина Донбасса, и никто из бойцов их части ждать не ждал, что все получится наоборот, не так, к чему готовились, что в конце весны танки какого-то фашистского генерала Клейста сотнями, навалом поползут к городскому мосту и через мост за их частью и другими частями, с безуспешными боями внезапно начавшими отступать к Волге и Кавказу.

А пока на улицах, на деревьях, на крышах городка белела тихая зима... И выпал у Гены свободный час, когда потянуло не с книжкой или журналом посидеть, не маме написать слово-два, а прогуляться, и он попросил у старшины увольнительную. Жизнь разнообразна, и предлагает разное, и требует разного...

В конце прогулки он и встретил Лелю. Как-то странно

вышло все — и встреча, и знакомство. Он перешел: улицу и остановился на углу, честно говоря, чтобы посмотреть на нее. А она, торопясь в другую сторону, тоже приостановилась на самом краешке тротуара и словно бы для того же — посмотреть на него. Была она в рыжей кроличьей шапке, из-под которой вылезала на лоб длинная, изогнутая, измятая прядка светлых волос, в красном кашне, щедро и наспех, все равно как, обмотавшем тонкую шею, в потертом, заношенном пальто, что особенно выдавалось посветлевшими, вроде бы облысевшими пятнами на черной ткани, в черных же валенках и красных самодельных варежках, связанных, похоже, одновременно с кашне.

Все это можно было увидеть и на любой другой девушке, а у Лели было что-то особенное, неповторимое, свое. И Гена сразу понял — что, как только увидел ее и остановился. Глаза. Раза в полтора, если не в два больше, чем полагалось по согласованию с природой для ее лица, узковатого и тонкого, тонкогубого, глаза на редкость черные, ну прямо угольные, ночные в белом окружении снега на всем, за что он мог зацепиться, в минуту их встречи переполнились непонятными, но и не таящимися любопытством и надеждой. Не двигаясь, он и она смотрели друг на друга, пока неожиданно вздрогнувшим, робким голосом девушка не сказала:

— Меня зовут Леля.

— А меня Гена, — ответил он, перемолчав затянувшееся смущение и тут же сообразив, что у него совсем мало времени, однако нашелся, расхрабрился: — У меня увольнительная вот-вот кончается, а еще хочется вас увидеть, Леля! Где, как, а?

В своем потертом пальто Леля величаво и еле заметно, мельком, с королевским достоинством, пожала плечом.

— Приходите ко мне домой. Донская, одиннадцать. И все.

— К вам?

— Ну да...

— И все?

— А что? — спросила Леля.

— Когда? — спросил и он.

— Лучше вечером, после восьми, у меня тетка в этом месяце уходит на работу к восьми, в ночную смену. Придете? — осведомилась она с усмешкой и все той же надеждой в больших глазах.

Честно говоря, среди бойцов и младших командиров

не переводились рассказы о бравых встречах с девушками и молодыми женщинами здесь, в городке, о шальных часах, проведенных с ними, сначала в компаниях, с музыкой и песнями, а потом наедине, то есть вдвоем, ну, когда разбредались по двое кто куда. Гене эти рассказы больше казались россказнями, хвастовством, болтовней, не очень-то честной и чистой.

И вдруг — Леля! И приглашение. Не когда-нибудь, а когда тетка уйдет. Дня три он переждал, боясь, что моментально ему не повторят увольнительной в город, и еще день — от наново проснувшегося смущения. Попробуй не растеряйся. При воспоминании о встрече с Лелей в нем крепла уверенность, что его разыграли, и он поделился своей новостью, уже похожей на приключение, с товарищем, который был ближе всех, потому что спал на первом этаже их двухэтажного станка для спанья, второпях сколоченного из неоструганных досок. К тому же он был не только самый близкий товарищ, но и чуть старше.

Не перебивая, без улыбки он послушал, выдымил самокрутку и дал короткий совет:

— Ты возьми ей подарок какой. Посолидней. Нынче, из-за войны, они тут все не знай на чем и как живут. Война, брат, не шутка, а серьезное дело.

Узнал, как зовут девушку, как выглядит, и прибавил слова, наградившие Гену душевным волнением:

— Похоже, и ты ей понравился!

— Какой же подарок взять? — спросил Гена, и воображение нарисовало глаза Лели еще огромней, чем они были, хотя уж дальше некуда. — Мне ничего не жалко, но ведь и нет ничего!

— А хозяйственное мыло? Ценная вещь! И нам выдали как раз. Возьми свои полкуска, а там обойдемся, выручу, в баню или чего по-быстрому стирануть...

В комнате с диваном, гладко закинутым клетчатым, голубым и желтым байковым одеялом, горела лампа, словно Леля ждала все эти четыре дня подряд.

— Вот, — сразу отдал свой подарок Гена, и Леля развернула газетный лист и почти восхищенно воскликнула:

— Ой! — и, повертев перед своими глазами внушительные полкуска мыла, к радости Гены повторила: — Ой!

Она побежала, наверно, на кухню, подумал он, чтобы спрятать мыло, а потом — точно, увидел его там, а сейчас Леля крикнула на бегу:

— Садитесь! — и показала на диван.

Но он остался стоять в своих тяжелых, пахуче начищенных ботинках и старательно, как никогда, ровно накрученных обмотках, дождался, когда она с улыбкой, будто бы из-за нее сглатывая какую-то нелегкую слюну, появилась во внутреннем проходе старенького, но чистого дома, и тогда сел, а она мигом приблизилась и села, так тяжело дыша, что он даже удивился, вроде бы она носилась на другой конец света, а не в кухню по соседству. Села и прижалась к нему. Как к человеку, которого сто лет знала и столько же не видела, считая дни, но теперь он вернулся. Так они посидели минут десять, показавшихся Гене целой вечностью еще потому, что оба молчали.

— Ты издалека? — вдруг спросила Леля.

— Нет, не очень, — он назвал свой город.

— Завидно, — сказала Леля. — Люди рождаются и растут в больших городах. Вокруг техникумы, институты даже, разные предприятия, большая жизнь, выбирай, что хочешь. Я росла и ненавидела свой город. Вырасту — уеду. А выросла — и вот тебе, никуда! Оказывается, люблю.

— Тетю?

— И тетю, и город. На следующий год собираюсь в Ворошиловград, в техникум, а после вернусь. Надо же и в маленьких городках, неизвестных, кому-то жить...

И опять — долго, опять — вечность без слов.

Впервые Гена сидел с девушкой так близко, светловолосая голова Лели, причесанная попросту, надвое, касалась его плеча. Что делать? Растерянность охватывала его все губительней. Покосившись, он увидел ее закрытые глаза с полукружиями ресниц, темных, густых и длинных.

— Что же ты молчишь? — поинтересовалась Леля.

— У меня мысли нехорошие, — неожиданно для себя признался он.

— Очень? — насмешливо спросила она.

— Страшно.

— Ох! Первый раз пришел в гости вот так, один на один? Ну?

Гена молчал, боясь, что ответ уронит его в хозяйкиных и собственных глазах, и только несколько раз покивал головой, коротко остриженной под машинку. И, наклонившись к Леле, ткнулся в ее бледные губы. Вроде бы небрежно, просто так. Но, затронутый этим, потрясенный, наклонился еще ниже к ее приподнятому лицу и прямо впился в ее узкие губы. Почему же Леля не отвечает на его крепкий поцелуй?



— Леля!

Но Леля не отвечала, не слышала.

Едва он выпрямился, она откинула голову, а когда разнял руки, она отвалилась вся и упала на диван, как без сознания.

— Леля! — стал звать он. — Леля!

И легонько тряс за плечо.

— Леля! — кричал он. — Леля!

И дергал за тонкую руку все сильнее. Но рука оставалась неживой, потому что Леля, и правда, была без сознания.

Он стоял на коленях перед диваном и старался услышать, дышит ли она. Потом вспомнил, как это можно проверить. Он вытащил из брюк свое карманное зеркальце, прихваченное с собой, чтобы посмотреться, перед тем как переступить порог этого дома. Ожидалось необычное свидание, чего лукавить...

А вон как пригодилось дурацкое это зеркальце! Долго держал перед ее лицом, перед губами, и оно все запотело. Фу-у! Он немного пришел в себя и поверил, что способен сделать что-то и один в чужом доме. Отчего Леля потеряла сознание? От большого сердца? От больных легких, которым он так грубо перебил дыхание? Тогда у нее где-то должны быть припрятаны лекарства. Где?

Схватив лампу, Гена побольше вывернул фитиль, чтоб лучше светил, и застучал ботинками к буфету, занимавшему середину стены напротив дивана. Распахнул настежь дверцы — верхние, с узорчатыми стеклами, и нижние, сплошные. Ничего, кроме посуды.

Открыл дверь соседней комнаты. Пятно желтоватого света легло на две тумбочки у кроватей, заглянуло внутрь. В одной — три — четыре книги, и больше ничего, в другой — пусто, если не считать комка нижней рубашки. Свет обшарил стены — никакой аптечки. Она, может быть, на кухне. Скорей туда. Но и тут ее не видно. Плита — холодная, беззаботная охапка дров у топки, а в двух кухонных толстопузых шкафах — кастрюльки, сковородки, немного посуды попроще, на каждый день, его кусок мыла в газете и много пустых полок. Совсем пустых.

Он вернулся в гостиную. Леля сидела на диване, молча и печально смотрела на него. Сказала:

— Мы с тетей сегодня ничего не ели. Да и вчера. В общем, третий день.

И тогда он вспомнил пустые полки в буфете и в кухон-

ных шкафах, словно опять увидел их. На них не было ни крошки. Мог бы догадаться, отчего Леля потеряла сознание. Не от его крепкого поцелуя. Не от больного сердца. От голода. Не догадался. А еще военный! Она продолжала молча смотреть на него, будто умоляла простить за то, что у нее не хватает сил на слова. А он смотрел на нее, понимая, что лицо ее не такое уж тонкое, а худое.

— Сиди, — сказал он, — я сейчас.

В прихожей поспешно натянул на себя шинель, а поясился и шапку нахлобучил уже на улице, где прибавилось снега, на бегу. Он принес ей свой ужин в котелке, взятый и оставленный товарищем, разогрел на огне, расплывавшемся в кухонной печурке на охачке дров, мелких, но сухих, и накормил Лелю. Пшенной кашей с мясом и маслом. И хлебом.

— Ну, я пошел, — сказал он, ополоснув пустой котелок и думая, что сошлется на увольнительную, которая вот-вот окончится, если Леля начнет оставлять.

Но она так и не вымолвила ни слова.

На обратном пути он думал, что ничего не бывает даром, на всем можно чему-то учиться, умнеть. Он понял, что этого нельзя делать без любви. Любили бы — не получилось бы такого. Он все знал бы про нее, а чего не знал, она сказала бы, не постеснялась. Любимые — они ведь как родные, а то и больше.

И еще он понял, что война — действительно дело серьезное. И не только потому, что придет весна и повалят танки какого-то генерала Клейста, чтобы перебить и пережечь которые — потребуется год. Не только.

# ЗА ПОДВИГОМ



**Д**ул ветер. Дул? Нет, рвался с моря! С посвистом, с визгом, похожим на визг стремительно летящей стальной ленты. Здесь ничего не могло помешать ему, не за что было даже зацепиться по пути. Он выгонял волны на песок огромной косы и еще долго нес за собой маленькие дожди брызг. Трубы нескольких солдатских землянок возле мокрых осиротелых причалов были вывернуты и катались, отброшенные, в колючках бурьяна и лужах морской воды, похрупывая прогоревшей жестью. Было тоскливо. И так пусто, так безжизненно пусто кругом, точно все здесь вымерло навсегда.

Тем задиристей, веселей и беспощадней напирал ветер на одинокую фигурку в шинели. Она вызывающе торчала там, где море, грохоча, расшвыривая грязную пену и песок, переходило в степь.

Было трудно дышать из-за песка и ветра. Лейтенант Белов смотрел, как на морских горбах однообразно и бессмысленно качаются суденышки, как настойчиво пытается ветер сорвать их с тощих якорей, и думал, что сегодня ему не удастся переправиться через пролив.

Там, за проливом, сиренево темнела крымская земля. Песчаный ободок у какой-нибудь высоты иногда вспыхивал под нечаянным и недолгим солнечным лучом с неправдоподобной четкостью. Потом небо снова хмуро заплывало, и берег за проливом потухал и отдалялся.

С этой косы, открытой ветрам и волнам, несколько недель назад на каменистые подножия крымских сопok был высажен десант. Десятки маленьких кораблей, мотоботов и железных тендеров, напоминающих танки, почти бесшумно переползли пролив. В ту ночь Белов тоже был у крымского берега на тендере. Он видел, как бойцы пры-

гали в воду, когда немецкие пулеметы не давали судам приблизиться к земле; видел, как десантники выбрасывали из своих вещмешков хлеб, водку и даже табак, чтобы легче было выбраться из воды; видел, как мокрые люди вытаскивали на лямках пушки, захлестнутые волнами.

Теперь Белов снова требовалось попасть за пролив, а море бушевало. Нечего было надеяться, что какой-нибудь отважный катерок пойдет наперекор волнам. Он не смог бы перебороть их, не смог бы пристать к берегу, да и вражеские артиллеристы легко расстреляли бы его, обессиленного штормом, с высот, которые они еще занимали и откуда просматривалось море.

Что же было делать?

С досадой Белов зашагал назад к основанию косы, тяжело ступая по песку и путаясь в полах собственной шинели, бьющихся о голенища. Из одной беструбной землянки неосторожно высунулась чья-то голова. Ветер тут же сорвал с нее бескозырку, и та понеслась в сторону прыжками, точно собиралась взлететь. Белов подхватил ее и, подойдя, вернул хозяину.

— Ну что, причальная команда,— спросил он на всякий случай,— сегодня туда никто не пойдет?

— Нет,— вздохнул моряк,— беда. Залезайте к нам, товарищ лейтенант,— сказал он тут же.— Правда, ничего особого предложить не можем, печь не горит у нас, воды по колено, сидим на нарах. Но все же лучше, чем на улице... Спешить некуда. Поскучайте,— и он посторонился, чтобы Белов мог пройти в узкую щель, ныряющую под накат засыпанных песком бревен.

— Спасибо,— отказался Белов,— я попробую... Пойду.

Моряк засмеялся, шурясь от ветра.

— Пешком по морю не ходят...

И Белов понял, что и впрямь сказал глупость, и улыбнулся беспомощно.

В двух километрах от косы, в овраге, ненадежном укрытии, сбились грузовые машины, как стадо, застигнутое ураганом. Неподалеку шоферы жгли костер. По тому, как больно было смотреть на огонь, Белов почувствовал: воспалены и устали от ветра глаза. Возле костра сидел и шофер того грузовика, на котором утром Белов по длинной степной дороге подъехал сюда, к морю. Грузовик вез дрова, сухие коряги, которых не было там, за проливом, на клочке земли, отбитом у врага.

— Зря приехали, товарищ лейтенант? — спросил шофер

Белов кивнул.

— Я лично так и думал, — сказал шофер. — Мысленное ли дело — вон какое море. Гудит — здесь слышно.

Его сосед, молодой парнишка, недовольно пробурчал:

— Дай же мне еще коряжину, потухнет... — и показал на костер.

— Ни-ни, — помотал головой шофер. — Там люди сидят — суп сварить не на чем. Говорят, столбы телеграфные в кухнях жгут.

— Сожгли, — поправил Белов. — А ты что привез, паренек?

— Я? Воду.

Белов вздохнул: вот и вода... Ее ждут за проливом, а она — здесь, в овраге, полная цистерна.

— Застряли мы, — виновато обронил паренек, поправляя хворостину в костре черными, в пятнах масла, руками. Может быть, ночью, по пути сюда, у него была поломка и пришлось ковыряться в моторе, лежать под машиной.

Другие грузовики осели под ящиками со снарядами, уложенными вровень с бортами.

— Хуже всех раненым...

Это сказала миниатюрная девушка с пухленьким личиком, сидевшая на своей большой санитарной сумке.

Она не ходила, как другие, между машинами и костром, не металась, не таскала угольков, чтобы прикурить, она притихла и сидела уныло, как сидят в безнадежном ожидании.

— Да, — подумал вслух Белов, — раненым сейчас совсем плохо.

Обычно их возили оттуда морем. Там, под прикрытием красноватой обветренной скалы, стояли две палатки, из которых появлялись санитары с тяжелыми носилками, едва очередной катер ударялся боком о причал. К палаткам всегда жалось множество бойцов с белыми повязками. Они терпеливо и бережно теснились потом в трюмах и на палубах, уступая место тем, кто чувствовал себя хуже, кто не мог сидеть. Катера напрягались, торопились изо всех сил, а раненые и рулевые смотрели в небо, угадывая по контурам, чьи самолеты вдруг выскальзывали из-за рыхлых осенних облаков, и с тревогой наблюдая быстрые воздушные схватки.

И теперь, конечно, кто-то лежал в этих палатках у скалы, кто-то сидел рядом на сохнувшей сивой травке...

К костру подошел долговязый костлявый солдат в но-

венькой офицерской фуражке — вольность, которую иногда позволяли себе в близком тылу.

— Поедем же, Люся, я вам говорю, — вежливо проныл он. — Вы же знаете такую поговорку: ждать у моря погоды. Так это вот то самое, что мы с вами второй день делаем. Смешно — правда?

Люся недружелюбно посмотрела в его сторону и ничего не ответила.

Долговязый водитель санитарной машины впустую двинул кулаком в воздухе, видимо, выругался про себя.

Белова поразили его глаза, большие, светлые, напряженно-неподвижные, как глаза кошки, вдруг взблеснувшие в темноте. Ничего нельзя было прочесть в них.

— Пожалуйста, — промямлил водитель, — будем еще сидеть хоть пять дней... Только вот спросите, пожалуйста, у лейтенанта: ходят катера? Ходят, лейтенант?

— Нет, — подтвердил Белов.

— А пойдут?

— Думаю, нет.

Белов знал, что не следовало прощать водителю этого свойского «лейтенант», он не любил фамильярности, независимо от званий, но застенчивость помешала ему сделать замечание.

— Вот, слышите? — между тем приставал к Люсе водитель. — Совершенно зря сидим. Что здесь имеем? Ветер, хлеб, чай...

— Без заварки, — сказала Люся.

— Ладно!.. Мне-то что!

— Ничего тебе не что, — спокойно отрезала она, вставая. — К миленькой своей спешишь, не терпится.

— Какой еще такой... миленькой? — обиделся водитель. — Смешно!

— К повару, — пояснила Люся, — к толстой Зиночке... к дуре...

Голос ее, вразумительный и ясный, не выдавал волнения, но Белову показалось, будто у нее закипели слезы на глазах — от злости на то, что приходилось уступать водителю ехать, когда хотелось остаться. Видно, у них уже и хлеб кончился, не рассчитывали ждать у моря погоды. Водитель, придерживая рукой фуражку, побежал к машине.

— Петушок, — сказал вслед ему шофер, подвозивший Белова.

— Может быть, тяжелых самолеты возьмут? — Люся

с надеждой посмотрела на небо, грязно-желтое, пропыленное, пустое.

— Самолеты? Разве ж самолеты сейчас рискнут?! — усмехнулся парнишка у костра. — Их же за милую душу в щепки раскидает.

— Там девчата отчаянные... Я у них на аэродроме работала. Могут и полететь.

И, словно в подтверждение этих слов, с неба тонкой струйкой стек рокот пропеллера. Все вскочили, задрали головы, стали смотреть вверх, выискивая в мутном небе жужжащую точку.

— Летит, девочка! — крикнула Люся.

Рокот нарастал, расширялся, и наконец в стороне возник знакомый силуэт У-2, бесстрашного и беззащитного труженика военного неба. Он нестойко и одиноко проплыл туда, к морю, бодливыми рывками пробивая себе дорогу, как бы расталкивая встречный ветер.

Водитель в фуражке посигналил Люсе из кабины:

— Поехали! — и пугливо пошарил по небу глазами.

— Пойдите! Где их аэродром? — спросил Белов у Люси, задерживая ее.

Водитель снова включил сигнал.

— Возле нашего госпиталя, за хутором.. Они садятся прямо в степи.

— Я еду с вами.

В крытом кузове санитарной машины Белову ударил в нос запах, оставленный здесь бинтами, и он внутренне содрогнулся. Никогда ему до сих пор не случалось ездить в этих машинах. Война пока щадила его, хотя и он прижимался к земле от пуль, резавших траву, прыгал в теплые воронки, опережая взрывы новых снарядов, под бомбами переправлялся через реки и еще недавно плавал на лодке с минометом на корме, среди камышей, в гнилых топях Кубани.

Люся тоже забралась в кузов.

— Я с ним не хочу, — сказала она, кивнув в сторону кабины.

## 2

— Вы давно работаете в госпитале, Люся? — спросил Белов.

— Всю жизнь, — ответила она и засмеялась.

— Это ваша самая первая работа?

— Не совсем,— ответила Люся тем ровным голосом, каким она, видимо, обычно разговаривала, и Белов подумал, что из нее вышла бы хорошая учительница. Она умела терпеливо и размеренно, не возбуждаясь, объяснять все, что надо.— Но самая первая тоже в госпитале была, только не здесь... В тылу, далеко отсюда... Мы туда укатили с мамой от немцев... Из Новомосковска. Знаете такой городок на Украине? Не знаете?

— Нет. А что в нем примечательного?

— У нас там хорошо, река... с утками... домашними, заливами... Мы любили купаться в сосенках, там пляж, песок... И дно коричневое... темного золота... По заливу охотники, рыболовы плавают на лодках — кинут вершу и бьют палками по воде у зарослей, рыбу загоняют... Вот вспомнила, сама не знаю чего...

— Ваша мама учительницей работала?

— Нет,— Люся сняла шапку и встряхнула головой, рассыпав каштановые, отливающие темным лоском, несмело выющиеся волосы.— Откуда вы взяли? Буфетчицей была на станции.

— А отец?

— Что это вас интересует? Отец пожарной охраной командовал.

— Здорово,— сказал Белов.

— Почему?

— У мальчишек страсть к пожарникам. Где он сейчас? Воюет?

— На Белорусском. Сержант минометчиков. А мы с мамой заехали в город Пензу... Вот город какой! Стоит на крутой горе, трамваи ходить не могут, только автобусы. Я там всего одну зиму пробыла, там и в госпитале работать стала, санитаркой. А потом спросили, кто хочет на фронт. Мать чуть не умерла, когда я сказала, что записалась...

— Да, здорово вы ее испугали, Люся.

— Вот вы уж мое имя запомнили, а как вас зовут?

— Игорь.

Люся все так же устало смотрела в окно, задымленное пылью. Вдруг повернула голову, кинула на Белова беспокойный взгляд в упор, широко раскрыв глаза, точно опалила его, и опять отвернулась. Может быть, она только в этот миг и увидела, каков он. И Белову стало досадно, что никогда не узнать, понравился ли он ей. Нечаянный попутчик, один из многих, многих... Военная дорога всегда



полна людьми, а для нее, Люси, особенно... Но вот так, в необъяснимом порыве, взглядывала ли она на другие лица?

Люся помяла руки, похрустела пальцами.

— Я привыкла раненых возить...

— Хрустеть так пальцами вредно, — заметил Белов. — Где-то я слышал...

— А тротуары там, в Пензе, деревянные, — договорила Люся и опять помяла руки, точно грея их. — Чтобы не было грязно... когда дожди льют.

Игорь улыбнулся и кивнул. Он видел такие. Он вспомнил пору своего детства, от которой его отделяло совсем не так уж много лет... Далекий забайкальский городок, куда он ездил к отцу, в геологическую партию, искавшую золото. Он забыл, какие там были дома. Помнил только неожиданное — деревянные тротуары, аккуратно настеленные из досок, пахнущих хвоей.

И затем еще вспомнились красные ручьи, кувыркком срывающиеся с сопок, и Шилка, с диким шумом катящая свои волны вокруг островов с черемухой.

В то лето Игорь впервые видел тайгу, впервые охотился среди заросших озер на уток, неумело крякая самодельным рожком, чтобы подманить их поближе, впервые ездил по стремнине в рыбацком челноке.

Ах, как это все было далеко отсюда, далеко — не по расстоянию. Далеко — точно в глубине другой жизни, потому что все это было до войны.

— А вы кто? — спросила Люся, не поворачиваясь к нему. — В свою часть едете?

— Нет.

— Ведь вы за пролив хотите?

— Я корреспондент, из газеты...

— А-а, — протянула Люся не разочарованно, но как-то скучно, словно это ее совсем не касалось.

— Возьмут меня девчата?

— Летчицы? Не знаю. Как повезет...

Машина бежала по укатанной степной дороге легко и мягко. В дверной щели висела вздутая колесами пыль, а за окнами кузова медленно и однообразно плыло бесконечное небо.

Люся растегнула шинель и прилегла на брезентовые носилки, подвешенные в кузове, как койки в морском кубрике. Сначала сунула под голову шапку, но потом выдернула ее и положила сбоку. Голова ее откинулась, глаза по-

пали в полосу света, тянущуюся из окна, и замерцали чистым серым сиянием.

— Третьи сутки не сплю, а уснуть боюсь,— призналась она.

— Почему?

— Как зажмурюсь, вижу мамины галушки. Seriously. Скоро Белову показалось, однако, что она уснула. Видно, мерное, как стон точила, взывание мотора, подгоняемого долговязым водителем, одиноко сидевшим в своей кабине, убаюкало Люсю.

Белов и сам попытался вздремнуть сидя, но вдруг услышал:

— Вот напишите про такого... Вся война у него — целоваться с глупой поварихой. А боится, что под бомбу попадет,— ужас! И сейчас уговаривал меня уехать поскорей из-за страха тоже... Я его не люблю.

— У меня другое задание, Люся.

Белов растянулся в рост на соседних носилках. Лежать было удобнее. Дорога побежала, вероятно, по старой пахоте, а шофер не сбавлял скорости, и машину изрядно подкидывало.

У Белова и в самом деле задание было другое. Редактор вызвал его к себе вчера вечером и, дымя папиросой, стал громко объяснять, что в газете давно уж нет ничего яркого. Такого, чтобы потрясло сердца. А ведь в каждой части найдется герой, о котором пока молчат. И вот Белов ехал «за подвигом», покинув кубанский городок, где редакция занимала несколько бессонных домиков окраины.

На рассвете Белову посчастливилось быстро перехватить попутную машину, да море заставило повернуть назад...

Что его ждало на аэродроме? Надежда на удачу подбадривала. Но вдруг приходило сомнение, тоскливо сдавливало сердце. Однако о том, что, может быть, придется с пустым блокнотом возвращаться в редакцию, он пока не думал вовсе...

Ну, день покажет, что будет!

— Звать вас Игорьь,— сказала Люся.— А фамилия как?

— Белов.

— Теперь прочитаю — буду знать, кто написал. Я люблю читать. До передовой сама так и не доехала...

Машина стала, жалобно взвизгнув, точно налетев на что-то. Белов раскрыл дверцу и прыгнул на землю.

— Закурим, лейтенант? — спросил водитель, лениво выходя на дорогу.— Как я вас домчал?

— Ничего.

— Бери.

— Спасибо.

— Не хочешь?

— Не хочется.

— Почему? Закурить хорошую сигарету — большое удовольствие.

Люся стояла у выхода из машины, привалясь спиной к косячку, и смотрела, как Белов одергивал ремешок планшета, поправляя складки шинели под ремнем.

— Приходите к нам, если не улетите,— сказала она.— У нас начальство хорошее.

— Чем же оно хорошее? — спросил шофер.

— Накормят... и переночевать дадут.

— До свиданья, Люся,— сказал Белов.— Спасибо.

— До побачення! — ответила она по-украински.

Машина дернулась, Люся высунулась, ловя болтающуюся дверь. Дверь не поддавалась, и Люся бросила ловить ее и робко помахала Белову рукой.

«Смешная»,— почему-то подумал он, и неожиданно ему стало грустно.

### 3

Самолеты дрожали на ветру, хрупкие, как стрекозы. Белов шел к ним от дороги напрямик, по сухому бурьяну, спотыкаясь о мягкие кучки земли у сусличьих норок. Все четыре самолета стояли пока с неподвижными винтами и пустыми кабинами, без летчиков. Только вокруг что-то делали люди. Это Белов видел издалека и спешил, убыстряя шаги, точно боялся опоздать.

— Здравствуйте,— подойдя, сказал он всем и козырнул.

Ему ответила только одна курносая летчица, сочно откусывая яблоко, зажатое в кулаке. Остальные продолжали заниматься своим делом. Два солдата сваливали с полуторки тугие, в мучном налете, мешки; шлепаясь на землю, они попыхивали белой пудрой. Два других положили толстый мешок на носилки, поднесли к крайнему самолету и вдвинули внутрь сигароподобной люльки, висящей снизу поперек шаткого крыла. Потом взяли еще мешок и также вместе с носилками вдвинули в люльку под вторым крылом. А третий поставили в кабину за спиной летчика.

Вышло, что он, этот мешок, не стоял, а чванливо сидел на пассажирском месте, и устроить его, неуклюжего, стоило труда и солдатам, и самой летчице, положившей в карман недоеденное яблоко, и толстому капитану, который всем здесь командовал.

Наконец мешок подняли и утвердили в самолете, и тогда Белов подошел к капитану.

— Я из фронтовой газеты.— Он захрустел своим свежим командировочным удостоверением.— Вот... посмотрите... Нужно за пролив,— и он развел руками, точно говоря, что понимает, в какое затруднение ставит капитана, но надеяться больше не на что.

Тяжело дыша, капитан придирчиво и долго смотрел бумагу Белова.

— Не имею права,— буркнул он вдруг.— У нас не пассажирское сообщение,— похлопал Белова по плечу и тут же забыл о нем.— Тома, на машину! — резко крикнул он.— Смотри, сама все знаешь!

Девушка быстро доела яблоко и швырнула огрызок подалее в бурьян. Она влезла на крыло, перенесла ногу через край кабины и, рослая, вдруг вся утонула в ней.

Самолет долго прыгал, прежде чем взлететь, так долго, что казалось, никогда не оторваться ему со своим необычным грузом от надежной степной тверди. Но крайнее усилие винта еще раз подняло машину, а крылья удержали ее на высоте отчаянного прыжка, и, медленно вползая на невидимую кручу ветра, она растворилась в пасмурной дали.

— Так,— сказал капитан и опять трудно и звучно передохнул. Видимо, он страдал одышкой, а вдобавок мучился, зачем-то весь перетянутый ремнями.— Вера! — крикнул он.

Из-под крыла самолета выглянуло острое лисье личико в бледных веснушках с узкими, восточного разреза, глазами. Бывают девичьи лица волевые, открытые, словно бы созданные для рисунка. Но это...

Ее самолет уже загружали. Она надела шлем, спрятав тощий узелок пшенично-светлых волос и поморщившись при этом, точно от боли.

Белов торопливо подошел к ней, спросил:

— Вера, а никак нельзя мне с вами?

— Как? — переспросила она, задрвав ухо своего шлема.

— Сверх этого груза. Если вы согласитесь, может, мы уговорим капитана?

— Нет, сверх нельзя. Тяжело. Галечка ногу сломала.

— Кто?

— Галя Круглякова. Ушла первая и сломала ногу. При посадке. Шасси! Там площадка маленькая, вся в траншеях.

— Так она не вернулась, Галя?

— Нет же. Боимся, немец ее машину разобьет. Увидит нас и начнет долбить по площадке. Наверняка. Правда, Маша техника захватила. Может быть, починятся. Не знаю, успеют ли.

— Как же мне-то быть?

— Простите.— Вера опустила ухо шлема и полезла на крыло своего пыльно-зеленого самолета.

— Вот черт возьми,— выругался Белов. Ему хотелось пожаловаться Вере, как глупо чувствовать себя не у дел, будто он на какое-то время отстранен от общей судьбы, но Вера была уже далеко.

Она забралась в кабину, по-домашнему помахала рукой капитану или еще кому-то и, сузив в щелки без того маленькие глаза, с повелительной звонкостью крикнула, словно в голосе ее дернулась самая натянутая струна:

— От винта!

И винт ее самолета взвихрился, засверкал. А потом унес в невысокое небо...

И этот самолет, как прежний, все молчаливо провозжали взглядом.

— Значит, никак нельзя? — снова спросил Белов у капитана, заговорив первым.

Капитан нетерпеливо пожал плечом.

— Видите, туда — муку, оттуда — раненых. Я уже вам понятно сказал. Там люди без хлеба.

— Это верно,— согласился Белов,— но все же...

— Что — все же? — переспросил капитан.

Ему не хотелось договаривать, но Белов и так понял. И все же не ушел... Капитан с удивлением спросил его часа через два:

— Вы еще здесь?

— Здесь.

— Неужели вам так уж нужно за пролив?

— А перевезете? — втайне охваченный радостью, Белов недоверчиво смотрел на капитана.

— Нет, нет, я просто так,— поспешил отбиться тот, дыша, как паровоз, берущий с места.

— Жаль,— печально сказал вслед ему Белов и снова опустил на мешок с мукой, в насиженную яму. И тут же

подумал: «Хорошо хоть не гонят. Авось повезет еще, как сказала Люся».

Самолеты улетали, возвращались и улетали снова. Шум моторов не глух ни на минуту, и в Белове смешалось ощущение и досягаемости того берега, и отчаянной невозможности попасть туда. Из подкрыльных люлек-сигар, забеленных внутри мукой, вынимали раненых. Их шинели тоже были в муке. И в крови. Носилки быстро переключивали в санитарные машины, подъезжавшие со стороны хутора. Белов ждал, — может быть, покажется Люся. Но она не приезжала. А ему и хотелось увидеть ее, и было стыдно, что он все еще неприкаянно топтался здесь, среди людей, которым не хватало времени. Он огляделся... Горький парад войны... Раненые — немые, будто уже мертвые, стонавшие, бредившие или вдруг улыбавшиеся — плыли в дружеских руках навстречу спасению или концу, о котором не знали и не думали. И Белов стал помогать выгрузке.

— Там еще много ребят? — спросил он солдата, глядевшего одиноким глазом из-под пухлой повязки.

— Хватит... Накопилось за два дня, — отозвался тот, едва шевеля растрескавшимися губами.

Два или три раза подступался Белов к худенькой Вере и большой Томе, но безуспешно, хотя они уже привыкли к нему.

— А что, товарищ лейтенант, — спросила его Тома, — трудно песню написать?

— А вы хотите?

— Хочу.

— Так попробуйте!

— Что вы! Помню, в техникуме заметку в стенгазету сядешь сочинять — никак не получается. А тут песня... Я любые слова ору... В самолете иногда петь хочется... Что-нибудь новое... И я лечу и ору что придется.

Она захохотала.

— А в каком техникуме вы учились?

— Ткани красили, прикладное искусство... Два листочка, три цветочка... Вон вместе с Веркой...

Вера подошла со стороны степи, держа в вытянутой руке что-то вроде жесткого одуванчика — розовое на желтой ножке.

— Цветок нашла.

И посмотрела на него вприщур

Цветок был в сивой опушке.

— Какой старичок! — сказала она.

Из санитарной машины к самолету поднесли белые пакеты, большой тюк в клеенке, несколько картонных коробок.

— Это что? — спросила Тома, с хрустом разламывая новое яблоко и половину сразу отправляя в рот, а другую, не глядя, отдавая первому под рукой оказавшемуся солдату.

— Медицинские каменты, — отчеканил солдат, принимая яблоко. — Лекарства.

— Медикаменты, — поправила Тома, — голова...

— А я знаю... — ответила с улыбкой «голова» в засаленной ушанке. — Для разнообразия.

— Яблоко чистое, чего трешь-то об грязную шинель... Товарищ капитан! — позвала Тома. — Это брать?

— Срочно, срочно! — задыхаясь, прохрипел капитан. — Там требуют.

— А куда класть?

— Давай в кассету, чтобы не растерять.

Белов стоял рядом и слушал: оказывается, люльки под крыльями назывались кассетами.

— А в другую? — спросила Тома. — Муку? Нельзя... По такому ветру завалит...

Капитан взялся за тюк в клеенке и попробовал, как-ва тяжесть. И тут взгляд его упал на Белова.

— А вы все тут, как были?

— Как был.

Капитан подумал.

— Сколько в вас веса?

— Не знаю.

— Тома, как думаешь, подойдет? Сколько в нем?

— На глазок?

Тома внимательно осмотрела Белова, помаргивая короткими густыми ресницами. Все в ней было очень добротное: курносый нос крепко посажен между округлыми скулами, чистый большой лоб не прикрывался шлемом и ресницы чернели, как две жирные черточки.

— Ладно, давайте, — сказала она, поведя рукой так, точно загребая весь свой груз. — Надо же помочь человеку. Это в кассету, его в кассету, один мешок в кабину.

Белов почувствовал, как от радости у него задрожали и даже чуточку ослабли ноги. Капитан мягко ткнул его в плечо припухлой рукой:

— Хочу предупредить. «Мессеры» над проливом гуляют. А посадочную площадку достают снаряды.

Белов промолчал.

Потом он лег на носилки, их вдвинули в люльку, в безветренный сумрак, и защелкнули дверцу. Он стал пассажиром и пленником. Впрочем, какая разница? В самолете так или иначе не принадлежишь себе.

Оглядевшись, Белов увидел над собой тусклый слюдяной квадрат и перевернулся на другой бок. Стало видно мелькание пропеллера. И край Томиного лица разглядел он, подтянувшись поближе к слюдяному оконцу.

Машина мелко тряслась. В ушах урчало отдаленно, словно работал мотор другого самолета.

До самого рывка Белову еще не верилось, что он летит. Очень уж было покойно в воздушном коконе.

Но вот рвануло, понесло, отделило от земли. И — повисли в воздухе. Белов прикинул, сколько километров до пролива. Попробовал считать, отмеряя время и расстояние, но скоро сбился. Ему так и не удалось зацепиться взором за какие-либо приметы внизу, хотя он приподнялся на локте до отказа. Весь мир был вставлен в рамку размером не больше папиросной коробки. А всем миром, собственно, была сначала безликая пепельная степь, потом взбеленные ветром волны. Чьи волны? То ли залива, червяком заползшего в сушу, то ли уже моря? Но вот и песчаная коса распласталась в стороне голой гигантской ветвью, упавшей в воду. Значит, море...

Мотор тянул свою песню все так же глухо, точно в уши положили вату. Шаткое крыло, вырвав Белова из безмятежной, но тоскливой глубины ожидания, несло его навстречу опасностям. Зато бежавшая весь день впустую жизнь снова обретала смысл. И он был счастлив.

Только сердце билось непривычно сильно, с колокольной гулкостью.

#### 4

Он не понял, почему самолет вдруг кинуло в лихорадку. Только почувствовал, как машина напряглась до предела, грозя развалиться на части. Ознобная эта трепка не проходила. Слюдяное око на секунду показало Белову страшное Томино лицо, искаженное яростью или сознанием беды. В тот же миг его замурованного слуха коснулся легчайший посвист, распоровший воздух. Мелькнул и погас.

«Мессер», — подумал Белов. — Если собьют, утону, как



кутенок. Из моей упаковки сразу не выбраться. Пока вышибешь ногой дверцу... Да и вышибешь ли?»

Еще раз увидеть лицо Томи и прочесть по нему, что происходит, не удалось. Оно отвалилось куда-то в пустоту, и казалось, самолет сам по себе продолжает путь, или бегство, или, точнее всего, прорыв. Колеса наткнулись на что-то твердое внезапно, и Белов вздрогнул то ли от удара, то ли от радостной догадки: земля!

Да, это была земля, и хотя до сих пор он летел в непонятной уверенности, что их не собьют, не могут сбить, сейчас облегченно вздохнул в своем заточении.

Он нашел глазами слюдяной квадрат. Небо в нем и кусок плоского носа самолета наотмашь легли в сторону. Тотчас же отщелкнулись замки кассеты, и Белов неловко выполз наружу, нащупывая ногами почву.

— И-и-и,— сказал один из солдат, отстегнувших дверцу.— Тут не то. А лекарства где?

— С другой стороны.

Самолет стоял уже винтом к морю. Как видно, солдаты, вытягивающие сейчас из кабины мешок с мукой, прежде всего схватили У-2 за легкий хвост и развернули в обратный путь. Винт работал. До плоской песчаной кромки, выструганной прибоем, было шагов триста, не больше. Там на песке чернел самолет, припавший на одно крыло. Возле него суетились люди. Влево уходил пустынный склон, открытый вражескому глазу. Справа несколько мелких высоток вперебой налезали друг на друга, стараясь прикрыть ложбину, ставшую аэродромом. Кое-как им это удавалось. В них чернели ямы складов, норы землянок, траншеи: лучшие места были обжиты солдатами.

Белов хорошо знал эту сноровку — приспособлять землю под жилье. Он и окрестности узнавал: вон та крайняя сопка, что ближе к воде, скрывает от глаз причал и санитарные палатки. Оттуда по самому берегу юлит, облилая скалы, дорога в такую же впадину, разве чуть поглубже и поуже. Самолету там не сесть, зато на одном краю, в единственном доме бывшего рыбацкого стана, разместились пекарня. Половина дома — холодная, и в ней складывают муку. Как-то Белов ночевал там на цементном полу, подстелив под себя пустые мешки. Вот и этот мешок с мукой увезут на подводе к рыбацкому стану и сейчас же отдадут в руки пекарей, орудующих в другой половине дома, где день и ночь не затухает печь, если есть дрова.

А в северном конце ложбины — колодец с журавлем.

Немцы знают о нем, сами брали оттуда воду. Кроме него, на всем побережье, за которое зацепились первые стрелковые полки и батальоны морской пехоты, никаких источников воды нет. Вода в колодце мутно-желтая и горькая, но все же пресная, и за ней приезжают солдатские кухни. Периодически немцы обстреливают район колодца то из орудий, то из минометов. Тогда повара и ездовые прячутся в траншейки, вырытые тут же, а несколько человек держат лошадей, собрав в одни руки по три и четыре поводка. Раненых отсюда уносят прямо к причалу. Убитых лошадей оттаскивают подальше и зарывают. За водой ходят как в атаку...

Через пологий склон тянулась тонкая тропа на передовую. Можно было дожидаться вечера где-то тут, в укрытии, а можно и попробовать проскочить...

Все же он перепрыгнул на этот берег!

Белов повернулся к Томе, чтобы улыбнуться ей на прощанье и благодарственно взмахнуть рукой.

Тома стояла во весь рост на своем сиденье в самолете и, потрясая сжатыми кулаками, кричала:

— Да скорей же ты, скорее!

Тот, к кому она обращалась, не слышал ее слов из-за шума винта. К самолету от морского берега, спотыкаясь, бежал солдат со спасательным кругом на плече. Его накрыли комья земли, разбрызганные миной, лопнувшей впереди. Он упал, вскочил и двинулся снова, низко наклоняясь. Второй черный пятак возник сбоку. Дым от него снесло на повозку с мукой, угоняемую по склону прочь отсюда.

Белов перевел взгляд дальше, на море, но, ничего не увидев там, поднял глаза. И теперь поймал тонкий серый силуэт «мессершмитта». Он возник, проскользнул и бесследно закатался в облако. Из-за дальней сопки встала свеча дыма.

— Что это? — спросил Белов пожилого солдата, стоявшего рядом и смотревшего туда же.

— Сбили нашего.

Он и сам понял, только не хотел, боялся досказать себе все до конца.

— Скорей! — кричала Тома и ругалась.

— Летчик где? — спросил Белов солдата.

— Прыгнул в воду.

— Ты видел?

— Ну так как же! Вы летели, а этот на вас. А наш его подсек. А он вывернулся... и всего один момент...

— Летчик прыгнул?

— Говорю же!.. Успел.

Мины разбрасывали черные кляксы по полю все гуще.

— В траншею, товарищ лейтенант,— предложил собеседник, согнулся, попятился и, точно провалившись в щель, вырытую в двух шагах, опять позвал Белова, оттуда.

Но в этот миг солдата со спасательным кругом бросило на спину, и красно-белое колесо покатилося по кривой и легло на краю свежего углубления. Белов кинулся туда без оглядки. Планшет колотил его по ногам, и на бегу он откидывал тонкий ремешок за спину, но тот снова сползал. Солдат лежал, запрокинув голову и глядя открытыми глазами в небо, то ли оглушенный, то ли мертвый.

— Возьмем его, возьмем,— услышал за собой Белов знакомый голос, оглянулся и увидел темное от осеннего ветра лицо человека, с которым только что говорил.— Не задерживайтесь.

— Есть,— сказал ему Белов, как старшему.

Схватив спасательный круг, он побежал назад, к самолету. То невольно припадая, то стараясь не слышать режущего свиста мин, Белов добежал до крыла самолета. И едва он взвалился с кругом на борт, во вторую кабину, за спиной Тома, как дернулись с места.

Теперь пропеллер гудел не так, как тогда, когда Белов слушал его из кассеты. Теперь пропеллер ревел. Земля вырвалась из-под колес, уступив место морю, а море сразу накренилось. Тома делала разворот. Слабый самолет, несомый попутным ветром, набирал высоту и скорость, и в реве его винта, чудилось Белову, трубила сейчас неслыханная мощь. Они могли спасти человека, спасти жизнь. Ведь ради этого бежал солдат с кругом, который крепко держал на своих коленях Белов. На круге было написано: «Радуга». Буквы стерлись и полуосыпались краски, а радуга Белова это старое, служившее не один мирный год где-то в буксирчике, на катере колесо так, как радовался он в детстве, когда впервые увидел живую радугу...

Белов подумал о солдате: погиб или очнется? А они? Долетят ли?

С берега, сразу отстав, точно она стояла на месте, вскидываясь и проваливаясь в волнах, потянулась за самолетом весельная лодка.

Тома повернула к Белову глаза в больших очках и помахала рукой вниз. И сейчас же Белов увидел на волнах темную точку. Они опустились так низко, что теперь раз-

личались движения рук и ног. Оказалось, что море сверху просвечивало, и летчик плыл в нем, как в тумане. Белов приподнялся в кабине, ища опоры. Самолет почти совсем припал к воде, и тогда, повинуясь властному знаку Тома, Белов разжал руку, и, последний раз мелькнув красным и белым, круг нырнул в волны.

Они уходили так быстро, что Белов не успел разглядеть, ухватился ли за круг летчик. Ветер не давал оглянуться, закидывал голову, и пришлось спрятаться поглубже в кабине.

Самолет шел обратным курсом — над морем, над заливом с теми же белыми гребешками, над пустой косой, над степной полынно-серой скукой. Ноющая боль беспричинно разрасталась в сердце.

Сели хорошо.

— Здравствуйте-пожалуйста! — удивился Белову капитан в ремнях. — Это что такое? Просились, просились...

— Да, — растерянно ответил Белов, приседая на затекших ногах. — Так вышло.

Он пожал плечами, точно извиняясь.

— Так вышло, — пояснила Тома, стаскивая с головы шлем, — что мы едва с рыбами не повидались.

Смешок ее прозвучал фальшиво.

— Доложите по форме! — рассердился капитан.

Выслушав, он потер пальцем толстый нос, подумал и сказал Белову:

— Ну что же... Ладно... — посмотрел на летчицу пристально, повернулся к солдатам, молча дал знак, чтобы загружали самолет.

Пока носили на носилках к У-2 тяжелые мешки с мукой, Белов присел в сторонке на какой-то ящик. Тома подошла к нему:

— Яблока хотите?

— Хочу. Я с утра не ел. Откуда они у вас?

— У меня ухажер есть в боевом полку. Снабжает. Всех вокруг кормлю вкусеньким, — сказала она совсем домашнему. — Он бомбардировщик... Ночью летает. Вот бы вы написали о них.

— О них писали.

— А вы хорошо слетали. Привычно?

— Нет, — признался Белов. — Ездить по-всякому случалось, а летал первый раз в жизни.

— Ну, что вы! Никогда бы не поверила!

Один самолет поднялся, а другой вскоре сел. К Томе

и Белову бегущей походкой приближался капитан. На лице его, как ожоги, рдели красные пятна.

— Вера утонула,— сказал он едва слышно и почти не дыша, иначе ему трудно было говорить.

— Что? — Тома вскочила.

— Вера? — переспросил Белов.

Перед ним встало остренькое личико с мелкими детскими чертами. Скудный розовый цветочек на сухой былинке.

— Как? — вскрикнула Тома.— «Мессер»?

— Да,— ответил капитан.

Они замолчали. Ветер все так же буйно пролетал над степью. Белов не хотел им мешать. Он отошел. Отошел, сел на траву и заплакал.

— Что вы ревете? — с угрозой крикнула Тома.

— Мальчишка! — просипел капитан.

Мальчишка? А ему казалось, что мальчишка, ездивший за черемухой на шилкинские острова в челноке-кувырке, оставлен им навсегда там, далеко позади... где-то под первой радугой, в зелени детства...

Машинально обрывая травинки, он стал думать, как же быть теперь с заданием редактора? Его смутно тревожило, что он упускает что-то самое важное для себя... Кого-то он упустил. Кого же? Матроса из затопленной землянки на косе? Санитарку Люсю? Этих девушек в летных комбинезонах? Солдата, бегущего под разрывами со спасательным кругом на плече? Механика, чинившего самолет у взъерошенной кромки приборя? Пекарей? Поваров, приехавших за водой?

Что же мешало мыслям обрести ясность? Гибель Веры? Никто не успел спасти ее, как спас его и Тому летчик-истребитель, которому они кинули круг. Да, этот летчик! О нем? Но ведь его сбили...

Как странно, рассказ о каждом, с кем он сегодня встречался, укладывался в одну строку. Самолеты-работяги перелетывали через пролив мешки с мукой. Какая тихая строка! Солдат с кругом побежал и упал. И все.

Белов резко поднялся:

— Товарищ капитан! Нельзя ли позвонить истребителям?

— Зачем?

— Узнать...

— О летчике?.. Можно. Только ведь они сами еще ничего не знают.

— Ах, черт,— вырвалось у Белова.

День угасал. Так и не вывалившись из облаков, солнце положило на край степи мгlistую розово-пыльную полосу. Там... там, где бесилось море, где шла обычная жизнь, пекли хлеб и доставали воду из колодца с журавлем.

— Мне ведь надо туда,— сказал Белов капитану.

— Подождите до завтра. Будет случай...

— Надо ему помочь,— сказала Тома сурово, глядя в степь.

Будто все начиналось сначала.

## ТРЕТИЙ КОЛЯ

С ухощавый, кривоногий солдат стоял перед командиром роты, выпучив на него свои небесно-голубые глаза.

— Рядовой Кулешов...— начал он.

— Ординарец, что ли? — быстро спросил командир роты, поглядев на старшину Маринина.

— Так точно, ординарца вам подобрал.

Старшина переобувался, одного сапога надеть не успел и поэтому, отвечая, машинально и беззвучно приклепнул пяткой босой ноги по другой, обутой.

Наступила минута тишины. Лейтенант внимательно разглядывал Кулешова, и тот чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Он сам тоже прикидывал в уме, что лейтенант, видимо, нетерпеливый и строгий. Нетерпеливый — перебил на полуслове, а строгий — вон как замер перед ним большой, дородный Маринин.

Умные, юркие глаза лейтенанта придиричиво облетели невзрачную фигуру Кулешова.

— Буду звать тебя Колей, — наконец сказал он и нырнул в темную дыру землянки.

Маринин снова опустился на тощую и жиденькую траву бледного солнечного цвета, словно это не растения, а лучики выбрались на полянку и дрожали на ней робким сиянием весны. Кулешов тоже сел и спросил:

— Почему же это Колей?

— А тебе не все равно? — всовывая ногу в сапог, пропыхтел Маринин. — Какая разница?

— Зачем-то мать с отцом дали мне другое имя — Семен! — весело возразил Кулешов.

Старшина заткнул за голенища кончики желтых, обгорелых на печке портянок и оглядел свою обновку.

— Теперь будешь Колей.

— Ну, а почему все же?

— Потому что был у него любимый ординарец — Коля. Такой парень — на свете поискать. Раз в десять лет бывает, да и то по особому заказу. И оружие держал в порядке, и командира. В землянке — сухо, а куда пошлют — пуля: одна нога там, а две уже здесь. Ну, а на балалайке мог — сон да и только. На одной струне тенькает — в самом сердце все зайдет, зазвенит. А по всем сразу бросит руку — будто бы с тебя ведро воды схлынет... А-а! Убили наповал.

— Где?

— Вон на этой сопке, шестнадцатой, — сказал Маринин, закуривая и не оглядываясь на серую, пологую сопку, к которой тоже подбирался бледно-зеленый разлив весны. — Только зубами заскрипел. И сказать не успел ничего. Это был первый Коля, Игнатов. А ты говоришь... мама тебе имя дала...

— И второй был? — спросил Кулешов.

— Второй был очень молоденький. Как прислали к нам пополнение, командир узнал, какого года, и взял к себе. Представь, этот сусличек наловчился оладьи жарить... Такой мастак! Пальцы отъешь — не заметишь! Сон и сон! Тут у нас две снайперихи есть, так он оладьев нажарит и зовет их в гости. Балалайку Колькину загубил, подлец. Посадил на нее толстую снайпериху. Не оправдал... А тоже Колей назвали... Так что ты теперь третий Коля...

— Да-а, — недоуменно протянул Кулешов, — занятная история.

— Коля! — послышался между тем из землянки резкий голос.

Кулешов поспешно встал, пошел в землянку и вскоре снова вышел из нее с денежной бумажкой в руке. Он давно не держал сотенной, почти забыл, как она выглядит, и за первым увалом, где призрачно дрожали дымки над крышами солдатского жилья, остановился, развернул бумажку и посмотрел на нее внимательно.

— Ты куда, Семен? — спросил его солдат, переставший петь: «Ой, Самара...»

Уже здесь, в новой роте, Кулешов успел познакомиться с оренбургским колхозником, что сейчас сидел на траве, греясь под неверным солнцем, и пел частушки о своей Самаре. И еще с писателем из Алма-Аты — у того в блокноте было много солдатских рассказов про мечты, про невест, про разные случаи на войне, про ранения... Все записывал этот тихий человек тонким карандашом в свой блокнот,



иногда читал, похоже ли на правду, иногда вслух вспоминал восточные стихи, необычные, короткие и звучные. Как песня той самой птицы, о которой он как-то рассказал Кулешову притчу. Птицу спросили: «Почему ты поешь так коротко?» — «Потому что у меня много песен, — ответила она, — и я боюсь, что не успею спеть их все до одной».

— Эге, брат! — ответил Кулешов самарцу. — Я командирован, знаешь, куда?.. Аж прямым путем за шампанским. В военторг.

— Шампанское — хорошее вино! — одобрил алмаатинец.

Он лежал на плащ-палатке и ласково улыбался. Кулешов присел рядом.

— Смотри, пчела.

Пчела кружила неподалеку, искала цветок.

— Лети, мамочка, лети, лети! — пошептал ей Кулешов.

Еще одна военная зима сбежала с крымских высот. За проливом, в пасмури Азовского моря, открывалась полоса кубанского берега. Кулешов вспомнил, как две недели тому назад ехал оттуда в новую роту. Ребятишки в немецких касках сражались среди саманных развалин — настоящая война хоть и недалеко, а ушла. Женщины возились на грязных колхозных усадьбах, может быть, готовились к севу. Человек на костылях копал огород.

Пчела гудела, и Кулешов следил за ней.

— Ой, Самара... — звучало рядом.

Наконец Кулешов неловко поднялся и зашагал к морю.

Возле причалов, под красноватыми скалами, где он оказался часа через полтора, находились медпункты, пекарни и автофургоны военторга. По записке лейтенанта Кулешову дали шампанского. Чертыхаясь все больше — благо его никто не слышал — и смеясь над собой, нес он по неровной тропе среди пустынных холмов три большие тяжелые бутылки в праздничной серебряной обертке на горлышках.

Когда он добрался до своих, ротный повар сообщил, что короткая резервная «житуха» кончилась. По тревоге рота ушла в бой, на шестнадцатую сопку. Кулешов усмехнулся и по очереди разбил бутылки о колесо кухни, приговаривая такие слова, что повар не выдержал и сказал:

— Их ты!..

Было тихо, сытые запахи распирали кухонный котел.

— Не поели каши? — спросил Кулешов.

— Только что доварилась,— ответил повар, виновато пожимая плечами.— А вино перевел зря. Шипучее, что ли?

— Все равно,— огрызнулся Кулешов.— Термосы есть?

— Дурак ты,— продолжал сокрушенно повар.— Сейчас бы выпили как-никак.

— Сколько у тебя термосов? — снова спросил Кулешов.— Ребята жрать хотят.

— Второй термос пробитый, вот. Ну, ничего, тряпкой заткнем, под кашу сойдет. Только старшина без него нести не велел.

— Я ординарец,— сказал Кулешов.— Пойдем.

— Ординарец, а дурак первой степени,— вздохнул повар.— Сколько нес и тюкнул ни за что ни про что.

— Помалкивай, умник.

Они наполнили термосы кашей.

— С такого вина,— не унимался повар,— ничего бы и не было заметно.

Поддерживая натянутые лямки термосов на груди, они примолкли. Всю ночь ходили, никто толком ничего не мог показать им до рассвета. На заре забрели в длинный сарай у подножия сопки, возле старого каменного карьера. В сарае на соломе лежали убитые бойцы.

— Вот тебе и старшина,— сказал Кулешов.

— Маринин! — не то позвал, не то испугался повар.

Старшина Маринин лежал ближе всех к двери. Голова его была запрокинута, и тяжелый подбородок полускрывал лицо.

— Вот тебе и Коля, и балалайка,— тихо бормотал Кулешов.— Сон и сон!.. Сколько я на войне, а видеть, как убитые лежат, не привык... Эх, старшина, старшина, ну что бы тебе самому пойти за этим шампанским, а?

— Он не слышит,— сказал повар.

— Рота где-то недалеко,— сказал Кулешов.

Выйдя из сарая, они присели на термосы свернуть цигарки. Но взрыв лопнувшей шагах в пятидесяти мины спугнул их, и они зашагали дальше, так и не закурив.

— Тебя как зовут? — спросил повар.

— Семен.

Снова засвистело, нарастая, и они упали на землю.

— Ты, Семен, раненый был? — спрашивал повар, когда трусцой двинулись дальше.

— Два раза. Только что второй раз заштопали. Аккуратненько.

— А меня, наверно, как найдет, так сразу,— неестест-

венно засмеялся повар.— Все ж таки четвертый месяц ношу термосы в окопы. Должно найти где-нигде.

— Не обязательно,— ответил Кулешов.

Склон, хоть и пологий, давал себя знать. Они все медленнее поднимались навстречу частым разрывам и свисту пуль, стегавших по молодой траве.

— Самара!

Кулешов прыгнул в воронку, заложмаченную бледной травкой. Повар сполз за ним. В старой воронке лежал раненый самарец, возле него сидел санитар.

— Пережидаем, как бы не достало. Бой опять начался.

— Бой с вечера идет,— хрипло сказал самарец, перебинтованный по груди.— Какой-то пулеметчик не пускает, закрыл подступ, сечет и сечет... Лейтенант три раза вызывал артогонь, мы вплотную подошли... ближе нельзя... Я не знаю, какой осколок во мне сидит, свой или чужой!.. А пулемета не сбили! От, опять он строчит!..

— В ушах у тебя строчит,— перебил санитар.— Помолчи. Тебе каждое слово поперек жизни.

— Старшину убило,— тихо обронил повар.

— Лейтенант не знает? — спросил Кулешов самарца.

— Эх, загорюет! — вырвалось у того.

Дрожа и расширяясь, сверху скатилось: «А-а-а!» Склон ожил. Солдаты встали, побежали вперед и снова залегли. Сухо застучал впереди чужой пулемет. Он ожесточенно отрабатывал каждый звук...

— Захлебнулись,— шепнул самарец.— Ох, гад!

Горячо встряхивая воздух, хлынули над головой наши снаряды.

— Слышь, санитар,— сказал Кулешов,— ползи за мной. Он посмотрит.

— Есть! — громко отозвался повар.

Санитар покосился на него и пополз за Кулешовым. На молодой траве оставались темные следы.

— Прибыл,— доложил Кулешов, когда оказался рядом с командиром роты.

— А-а, Коля,— без удивления протянул тот.— Найди старшину, бойцов кормить надо.

— Его убило.

— Маринина? — Лейтенант вдруг застонал с такой болью, как будто что-то корявое вонзилось в его грудь.— Сам видел?

— Сам.

— Кормить надо роту,— сказал лейтенант.

— Каша недалеко.

— Дается нам эта сопка!

Бойцы окапывались. Затем наполнили котелки еще теплой кашей, быстро поели. И снова ракета подняла людей, и опять залегли под огнем проклятого пулемета.

Вдруг Кулешов увидел его. На склоне сопки бородавкой торчал скалистый взлобок, прикрытый зеленой гущицей. За ним Кулешов разглядел сначала одного немца, потом и второго. Оба были исправные солдатюги, один здоровей другого. Каменистый окоп надежно защищал их от осколков.

Кулешов лежал перед ними плашмя, как на ладошке среди трех убитых солдат своей роты. Двоих он не мог узнать. А третий, темнлицый, еще вчера читал ему восточные стихи... Мысль притвориться убитым и высмотреть пулемет пришла внезапно, когда Кулешов добежал до той самой точки, где лежал сейчас. В роте его, наверно, тоже считали погибшим. А он жил.

«Сколько же мне так лежать и лежать?» — думал он.

Только ночью он мог бы переменить позу. Пошевелись сейчас — выстрелят. Ночью друзья приползут за телами друзей, и он покажет пулемет. Долежать бы только!

Все время ему казалось, что и перед старшиной Марининым и перед раненым самарцем, и перед казаком, уткнувшимся головой в землю в двух шагах от него, он был виноват. Ни в первый час атаки, ни позже он не шел на эту сопку вместе с ними, а где-то далеко покупал шампанское.

Теперь он должен уничтожить этот пулемет. Но как? Гранатой не достанешь. Из винтовки — не успеешь обоих сразу, да и боязно промахнуться. Снайпера бы сюда!

Уже третий или четвертый час, распластав руки, он трудно дышал, слушал шорохи. Обнаружилось, что под горло попал комок земли, мешая и вызывая боль. Руки отяжелели, в виске, пристывшем к земле, заныло и задержало.

Кулешов лежал не шевелясь.

Потом он стал думать о сынишке, вспоминая его таким, каким оставил, уходя на фронт. Андрейке было три года. Теперь в два раза больше. Кулешов улыбался ему, а потом, смежив веки, постарался отчетливее представить себе лицо жены — Ньюши. На последней карточке, присланной издалека, из Сибири, куда она эвакуировалась с Андрейкой, Ньюша, другая, прихорошенная фотографом, мешала

той, с какой он хотел сейчас встретиться. «Чудачка! — сердился он. — Развязала бы косу да просто положила бы ее на грудь, и все. Наилучшая твоя красота!» Он думал о Нюше, а что-то другое стучалось и стучалось в висок.

Что же? Ах, вот что! Надо не позабыть вынуть у алмастинца блокнот и отослать его жене. Может быть, там есть что-то очень нужное для всех. А может быть, только для нее одной, для семьи. Пусть хранит. Он говорил, что жена у него певица в казахской опере. И растут две девочки, там, далеко, еще ничего не зная.

Кулешов открыл глаза и посмотрел на пулемет. Если бы он мог сейчас подскочить к нему и разделаться одной гранатой! Вон она зажата в руке казаха. Кольца снять не успел.

Но оттуда, из вражеского окопа, за каждой былиночкой следили внимательные глаза. Теперь немцы наблюдали вдвоем. Они тоже хотели жить.

Жить! Это ведь удивительное дело. По лицу Кулешова полз муравей. Живой муравей... Он не стал его сдувать.

А ночь была далеко. Как далеко! И все же она пришла. И тогда немцы стали кидать вверх ослепительно яркие ракеты и постреливать наугад, особенно в те места, где лежали убитые, ожидая, что за ними придут. Только один пулемет, не желая выдавать себя, молчал.

Вдруг Кулешова дважды обожгло в левую ключицу и в грудь, и он потерял сознание.

Очнулся он уже за сараем, где санитарные носилки стояли рядами.

— Командира мне! — крикнул он.

Где-то — ему показалось, очень далеко — засмеялись. Девичий голос шепнул:

— Лежи.

— Командира мне! — закричал Кулешов, еще не соображая, где больно, куда ранен, почему мокрый лоб.

Тогда девушка быстро присела возле него на корточки, зажгла фонарик:

— Что тебе?

— Ты откуда?

— Живешь? — вместо ответа удивилась она. — Герой, вытянул все-таки. Я думала, крышка.

— Отвечай, откуда ты, кто?!

— Я — Нюша.

— Ты что, с ума сошла? — почти вскрикнул Кулешов.

— Зачем? — Она вытерла ему потный лоб. — Потерпи, дружок. Сейчас тебя увезут.

— У меня жена — Ньюша, — тихо промолвил Кулешов и улыбнулся.

— Я другая.

— Кто меня вынес?

— Я, — ответила Ньюша. — Ползла вспышки засекать. Слышу: стонешь, еле-еле, как во сне. Близко к немцам лежал.

— Ты снайпериха? — догадался Кулешов. — Из третьей роты?

— Снайпериха, — благодушно подтвердила Ньюша. — Из третьей.

— Он молчал, — сказал Кулешов.

— Кто?

— Тот пулемет.

Ньюша подалась вперед, взяла Кулешова за руку, нетерпеливо спросила:

— Где он?

— Возьми у меня в кармане книжечку, вырви листок, пиши.

Она осторожно достала блокнот, который с наступлением темноты Кулешов все-таки успел переложить к себе.

— Откуда меня тянула, помнишь?

— Помню хорошо.

— Пиши: «Товарищ лейтенант, от того места, что вам покажут, шагов семьдесят выше и чуть наискосок вправо скалистый выступ. Там есть окоп. Два пулеметчика и тот пулемет».

Он замолчал.

— Еще что?

— Все, — шепнул Кулешов.

— А подписать как?

Он полежал секунду с закрытыми глазами, отдыхая и думая, вспомнит ли командир, если подписаться своим именем. И попросил девушку:

— Подпиши: «Ваш Коля».

Она погасила карманный фонарик, спрятала записку

— Не спутаешь места?

— Нет. — Ньюша снова потрогала своим платком его лоб. — Найду. Там убитый лежит Друг

Голос ее дрогнул.

— Верно. Тогда найдешь...

Но в санитарной машине Кулешов заволновался, что

Нюша либо спутает, либо не найдет лейтенанта... А вдруг она приняла все за бред? Ему казалось, что на катер его переносила та же девушка, санитарка. Очень похожая. Да ведь он и не разглядел как следует Нюшу!

Волны качали катер с боку на бок. «Лучше бы самолетом,— думал Кулешов,— не дотяну...» А мать говорила: «Не реви! Дурачок, детеныш мой, я тебе песенку спою. Сеня, Сенечка, семячко мое, зернышко...» Он не унимался, а она хохотала, прижимая его к себе. «Услышишь, я для одного тебя буду петь... Ну?» И пела, не голосом, а сердцем, без слов... И он все понимал. А отец тер в бане спину докрасна и — какой там докрасна, куда больше! Обдавал круглые голыши в парилке полной шайкой с водой, невесомой в его руках, и осторожно похлестывал его пахучим березовым веничком, приговаривая: «Терпи, Семениче! Не бог, а дед твой, в честь которого тебя и назвали Сеней, учил терпеть. В парилке!»

А умирал он Колей. Ну, что ж... Раз был такой удивительный парень, что сделаешь... Что-то похожее на сознание то угасало в нем, то пробуждалось...

— Трудная вещь война,— сказал он, ни к кому не обращаясь.

...Госпиталь стоял в станице, и когда Кулешова впервые вынесли на улицу, он увидел, что деревья цветут, ярко залитые солнцем. Мохнатые ветки свисали над его постелью. Еще чьи-то кровати стояли прямо в саду. Много. Так он лежал час и два, а потом попросил принести ему блокнот из гимнастерки и стал читать записи...

«Говорят, у всех солдат одна судьба,— прочел он на листке.— Это неправда! Но всех нас объединяет равное право умереть или победить».

«А судьба у каждого совсем другая»,— подумал Кулешов.

Потом стал читать дальше:

«Наш лейтенант любит снайпера Нюшу, она это чувствует и понимает и даже мне призналась и спросила, как быть. Он, чудак, молчит. Для него война — только война. А ведь воюют люди. Значит, это — тоже жизнь. Взял бы и женился на ней».

«Нюша прибежала — лейтенант сказал, что при первом случае, как только отведут нас с переднего края хоть на день, достанет шампанского и сыграет свадьбу. Опять спросила: что делать? Я сказал: быть самой счастливой и угостить всех друзей шампанским».

«Смешно, — ответила она. — Я еще никогда не пила вина. Только водку — от холода».

— А я — ну, не дурак? — вслух спросил себя Кулешов. — Все бутылки о кухонное колесо! Верно говорил тот поварок. Пень, пень!

И вдруг наткнулся на запись о себе:

«Агроном Семен Кулешов шепчет пчеле: «Лети, мамочка, лети, лети».

Он прочитал эти слова еще раз и удивился: когда это он их шептал? И, крепко закрыв ладонью глаза, полежал неподвижно и молча.

Наутро пришло письмо из роты. Сопка шестнадцатая осталась позади. Тех двух рослых пулеметчиков убила Нюша. «Может, никогда не доведется встретиться, — писал лейтенант, — так прими спасибо от товарищей».

«И что это такое, — думал Кулешов, — встречаются солдаты и расходятся...»

Сквозь цветущие ветви нежно синело высокое небо. В соседнем саду тонкий голос выводил частушки про Самару.

Кулешов не сразу понял, кто это поет.

«А выжил!» — обрадованно подумал он то ли о нем, то ли о себе.

«Ой, Самара...» — доносилось оттуда.

И кто-то играл на балалайке.



# ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ



1

Они ехали в город на бензовозе. Около дороги удивительными фонтанами вырывались из скал цветущие деревья. Весна вспыхивала на голом камне гор неожиданно и ярко.

Может быть, это был первый день весны?

Они сидели рядышком на грязном и вонючем железе цистерны, крепко ухватившись за скользкие металлические поручни, проходившие под их согнутыми ногами. Ноги изо всех сил упирались в низкие бортики. Кое-как можно было держаться.

Костя все время поглядывал на друга, прислонившего свою голову к его плечу. Женька полудремал и не видел весны. Сонный глаз его измученно приоткрывался наполовину, когда Костя начинал толкать друга локтем в бок, боясь, как бы он не свалился с цистерны на повороте.

А поворотов было много. Дорога, обманывая горы, выкручивалась так и сяк и все же потихоньку пробивалась вперед. Иногда она бессильно падала в жуткую пустоту неба, и тогда бензовоз кряхтел и ныл, испуганно сдерживая свой бег. Он спускался на ощупь, как во тьме, рывками, и голова Женьки отчаянно подпрыгивала, немытые и нестриженные волосы лезли ему в глаза, и он дул на них коротко и яростно, не открывая глаз.

Потом машина брала новый подъем.

Море, холодно и остро синевшее с одного края, у подножия гор, оседало, скрывалось на время за вершинами и, далекое, вдруг взблескивало на новом перевале.

Город, куда они ехали, был еще, наверно, в чужих руках. Ночью туда пошли танки. Странно, они не оставили никаких следов, но они прогрохотали по этой самой дороге, и полную цистерну горючего теперь везли им.

В кабине, рядом с шофером, спал молоденький пулемет-

чик. Обняв ручной пулемет, он весь съежился, точно замерз, хотя был первый день весны, и южное солнце с утра грело всю, и шофер ехал в одной гимнастерке, кинув под себя шинель. Он пел. Слова до Кости долетали неразборчиво, когда на вероломном повороте дороги шофер сбрасывал скорость и бензовоз минуты три катился в странной тишине. Шофер выставлял голову из окошка навстречу ветру.

Он пел и полоскал в весеннем ветре лицо, чтобы не уснуть. Наступали вторую неделю. За все это время Костя ни разу не прилегло больше чем на час, да и то засыпал некрепко. Он завидовал сейчас пулеметчику и даже Женьке. За Женьку он еще боялся... Чужь какая, погибнуть на войне, свалившись с бензовоза.

Но тут Женька сам проснулся и сразу спросил:

— А как ты думаешь, его не взорвали?

— Не знаю.

— А что, если сожгли?

— Сволочи. Могли и сжечь.

— И я буду снимать такие развалины? Страшно, если так...

— Подожди пугаться... Посмотрим.

Женька поправил фотоаппарат на шее. Кожаный футляр запылится, а тонкий ремешок врезался в Женькину шею, тоже покрытую пылью.

— Ох как мне не терпится попасть туда,— сказал Женька.

— Может, еще бой идет? И города не взяли.

— Они не будут тут драться. Их отрежут. Через горы идут специальные отряды.

— Кто тебе сказал?

— Генерал Горбачев. А здесь пустили танки — для быстроты.

— Генералы тоже иногда ошибаются.

— Горбачев нет.

— Можно драться и с танками, и со специальными отрядами. Здесь порт. И кто его знает, какой будет бой.

— Конечно,— согласился Женька,— но я хочу скорее попасть в этот дом, Костя.

— Ты хочешь быть первым, как везде.

Женька был храбрым и неутомимым фотокорреспондентом. Недавно он высаживался с десантом морской пехоты на черный ночной берег и летал в лес к партизанам. В редакции его любили за неистощимую юность.

Теперь тот берег и тот лес остались далеко позади.

— Я вовсе не хочу быть первым, — просто возразил Женька. — Я хочу скорее увидеть этот дом, как и ты. Вот и все. А ты, может быть, не хочешь?

— Почему? И я тоже.

— Ты ведь сам писатель, — сказал Женька и засмеялся. И Костя засмеялся и покраснел.

— Не чуди, Женька, — попросил он. — Я корреспондент... А он был великим... Он...

— Ну чего ты замолчал? — спросил Женька.

— А мне только и остается молчать, — сказал Костя. — Больше нечего делать.

Женька был по-своему влюблен в друга и заспорил.

— Держись! — крикнул Костя и обнял Женьку.

Начали спускаться с большой высоты. Дорога, качаясь, загуляла справа налево, отбрасывая от себя дикие мохнатые сосны и цветущие кусты шиповника. Дорога начала разматывать свой клубок, а внизу открылся белый приморский город, втиснутый в полукружие зеленовато-снежных гор.

## 2

Генерал оказался прав. И Женька тоже. Под угрозой окружения противник бежал из города. Большого боя здесь не было. И вот тихий город у моря впустил на свои израненные улицы ревуший бензовоз.

Люди еще не знали толком, что случилось. Танки проскочили по набережной вдоль моря глубокой ночью и снова умчались в горы. Набережная была пустынна, мертва, и этот короткий гром, прокатившийся по ней, не все и не сразу рассказал жителям. За камнями развалин, сквозь котрые прорастала сирень, несколько часов назад уже родился долгожданный миг, а вся радость, запоздало пробужденная им, досталась четырем военным на бензовозе, запутавшемся в узких улицах.

Бензовоз стоял у моста над гремющей речкой, разрезавшей город пополам. Грязное железо цистерны почти сплошь закидали ветки сирени. Людей вокруг становилось все больше. И сирени на железе прибывало.

Мост был разрушен. Заправские знатоки дорог — мальчишки — вызывались показать объезд. Они не были так шумны, как обычно, эти мальчишки. Они словно бы еще не очнулись. Но они знали объезды и с обеих сторон мол-

чаливо и плотно облепили подножки бензовоза. Они прилипли к нему, как к магниту.

Осторожно потеснив их, шофер забрался в кабину и нетерпеливо сказал:

— Поехали.

Ему надо было скорее догнать танки. Может быть, они уже стояли где-то в горах, без горючего.

— Подожди минутку,— попросил Женька и повернулся к Косте. Его большие серые глаза смотрели на Костю с добротой и завистью. Женька ничего не умел скрывать. Его глаза застенчиво улыбались.— Я поеду,— сказал он,— а ты пойдешь туда... в дом.

— Почему я? — спросил Костя, поправляя ремешок от револьвера под погоном.— Поедем вместе, а потом вернемся сюда...

— Нет, что ты! — удивился Женька, как ребенок.— Разве можно не побывать там сейчас же?

— Тогда пошли туда вместе.

Женька помотал головой и надел пилотку на пыльные волосы.

— Нельзя. Редактор не простит... Танки в горах — должно быть фото.

Бензовоз уехал.

Три маленькие девочки повели Костю по петлям зеленой улицы в гору, в гору... По сторонам цвело много деревьев, как в саду. Косте жаль было, что Женька уехал. Он мог скоро догнать танки и попасть в бой... А тут такая весна!.. Костя спросил девочек, какой улицей они шли.

И девочки наперебой стали объяснять, как называются все улицы вокруг.

Костя спросил, в каком классе они учатся.

Но они не учились прошлой зимой, а их школа была разбита. Жизнь города словно сделала долгую остановку. Теперь люди осматриваются, решат, с чего начать. Наверно, отстроят школу, больницу.

— А пекарня есть? — неожиданно спросил Костя.

— Была булочная Кусакина,— сказала смугленькая девочка, постарше двух других.— Около нас, где жандармерия...

«Как в те далекие времена, про которые я только читал! Читал у него, к кому иду сейчас,— ужаснулся Костя.— Даже не верится...»

Оказывается, времена еще гуляли по земле, как циклоны. Вдруг возродились булочные Кусакина, жандармы...

Он прибавил шагу. И как-то странно подумалось: он идет к великому рассказчику давнего, как к живому. Но его нет... Время унесло его...

Больной, он приехал сюда, в этот город у моря, лет пятьдесят, кажется, тому назад и не полюбил его за рожи бездельников-богачей, жаждущих грошовых приключений. За то, что парфюмерный запах модного курорта забивал запахи кедров и моря. За пеструю ярмарочную сутолоку на том самом берегу, куда Россия выбрасывала умирать своих чахоточных...

Он отдавал деньги на их лечение, он писал Горькому в Нижний, просил объявить по всей стране сбор в помощь людям, умирающим среди роскоши праздной жизни и природы, холодной, как красивые, но пустые стихи.

Даже природа была немила ему.

Но все же, все же сквозь душевную боль нет-нет да проглядывали и тепло этого солнца, и улыбка этого моря... Правда, каждый день солнце и море...

«Не скучно ли ему было?» — подумал Костя и огляделся, словно мог что-то поправить.

Он снова был в заботе о нем, как о живом.

Рассказы школьной учительницы, собственные сведения и фантазия — все смешалось в голове Кости и все отступило перед зрелищем простым и необыкновенным. На окраине, где город переходил в поселок, в зеленом окружении деревьев стоял небольшой белый дом... Тот самый...

На земле у каждого есть дом, где он родился, рос, жил, но есть еще и другие родные дома, родные места... Перед одним из них и стоял сейчас Костя.

Эту калитку открывали Бунин, Горький, Левитан, Рахманинов... Сюда приходили они, и сюда будут приходиться тысячи их соотечественников. Это только случай, что он, двадцатилетний лейтенант, одним из первых после освобождения города стоял на пороге дома.

Тут он взгляделся как следует в дом, белеющий перед ним, и увидел, что стены его густо выщерблены, а в окнах нет ни одного стекла.

### 3

Открыв незапертую, иссеченную железными осколками дверь, он вошел в дом, показавшийся ему пустым, незжженным. В глубине небольшой прихожей деревянная лестница вела во второй этаж. Ее ступеньки, усыпанные белой

пылью от потревоженной штукатурки, закрипели под сапогами Кости, и тогда старушечий голос спросил сверху:

— Кто там?

В первый миг Костя растерялся. Он не знал, что ответить.

— Здесь кто-то есть? — спросил он сам.

— А вы кто? — испуганно прозвучало наверху, за хлипкой дверью, которая, кажется, колебалась от звуков даже слабого голоса. Потом уж Костя догадался, что по всему дому просто гуляли сквозняки.

Он сделал еще несколько шагов по лестнице и остановился.

— В город пришла Советская Армия,— громко сказал он.

Дверь приоткрылась, и Костя увидел женщину в длинном темном платье, с белым шелковым кашне на шее. Она была немолода, но еще красива достойной, нестареющей красотой. Чуть вытянутое лицо, умные темные глаза, волосы, собранные в старомодный пучок.

Костя вглядывался в нее внимательно, потому что знал: в этом доме жила сестра писателя. Жива ли она еще? «Нет, это не она»,— подумал он и сказал женщине:

— Здравствуйте.

Она тотчас же заплакала и, не оборачиваясь, крикнула сквозь слезы:

— Маша! Маша! Это свои. Свои пришли! Ты слышишь?

— Я не могу подняться, у меня нет сил,— донесся до них голос, полный отчаяния и мольбы.— Где они, Лена? Зови их!

Женщина, вытирая глаза бахромой своего кашне, посторонилась и позвала Костю рукой. Он взбежал наверх и оказался в маленькой тесной комнате с письменным столом и шкапами. В глубоком кресле перед ним сидела сестра писателя, старенькая, с добрым, беспомощным, морщинистым лицом. Глаза ее заплыли слезами. Желтые руки дрожали, утопая в мягких, продавленных подлокотниках старого кресла.

— Это от счастья,— сказала она,— не могу встать.

Она улыбалась Косте.

В выбитое окно смотрели снежные сияющие вершины гор.

— Сиди, Маша,— первая женщина наклонилась над ней и поправила распахнувшуюся вязаную кофту.

— Надо чем-то закрыть окно,— сказал Костя. В комнате было очень холодно.

— Не важно,— ответила сестра писателя, махнув рукой.— Господи, свои, свои! Ты видишь, Лена? Неужели это так? Это правда?

— Отчего у вас выбиты все стекла и раны на стенах? — спросил Костя.

— Лена! — говорила между тем сестра писателя.— Наконец-то мы дожили с тобой!.. Это моя подруга,— сказала она, глядя на Костю и не обращая внимания на то, как слезы стекают по изгибам крупных морщин.— Ее зовут Елена Филипповна...

— Отчего дом без стекол, Елена Филипповна? — спросил Костя.— Снаряды? Бомбы?

— Бомбы,— ответила Елена Филипповна, кивнув головой.— Три бомбы. Вчера вечером. Прилетел самолет, покружился и кинул сюда три бомбы. Нарочно или случайно, мы не знаем. Как вы думаете?

— Я тоже не знаю,— сказал Костя, но еще раз подумал: «Сволочи! Неужели специально послали сюда самолет?» К счастью, бомбы упали не очень близко от дома, никого не убили, и только одна разорвалась сразу за садом. Взрывной волной вышибло все стекла из окон, а осколки градом окатили старые стены.

— Вы давно не ели? — спросил Костя.

— Мы пьем кофе,— ответила Елена Филипповна.

— Хотите кофе? — Сестра писателя снова попробовала приподняться из кресла.— Вот беда-то... Конечно, сахара у нас нет и в помине, но кофе хороший... Вы давно ведь не пили домашнего кофе?

— Да, спасибо,— сказал Костя.— Давно.

— Леночка! Помоги мне встать...

Но Елена Филипповна сама уже ушла куда-то, осторожно спустившись по скрипучей лестнице, и оттуда крикнула, что сейчас вернется.

— Я бы, наверно, умерла без нее,— сказала старушка в кресле.— И не увидела бы вас... подумайте... Вы такой молодой и уже офицер... Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Вы еще не женаты?

— Нет,— сказал Костя.

— Ну да, совсем мальчик.

— Почему же,— возразил он.— Вот со мной ехал друг... Женя. Он еще побывает у вас, а сейчас поехал вперед, за

танками. У него, знаете, родилась дочь. Месяц назад. Он женился на девушке из полка связи, связистке, она теперь уехала в Краснодар, и там родилась дочка.

Собеседница слушала его и кивала.

— Это, должно быть, очень несуразно, трудно,— сказала она,— жениться на фронте, отправлять жену куда-то, но зато по-русски. Немец на это не решился бы, подумав заранее...

— А у вас в доме стояли немцы?

— Да,— горько ответила она.— Стоял один майор. Он был ужасный хам и пьяница и портил вещи. Но зато он не пускал сюда других. И когда солдаты ходили грабить дома, мы прикрывались этим майором. Они знали его и боялись. Так что нам, видите, даже повезло, если не считать, что он испортил несколько дорогих реликвий и заставлял нас с Леной ходить за собой. Ну это ничего... Все прошло, как кошмар.

Она вдруг снова заплакала.

— Вы знаете, что мы делали в минуты полного отчаяния?

— Что?

— Мы читали газеты.

— Какие?

— Наши. Вот, мы сберегли две газеты.

Она протянула руку к нижнему ящику стола и оттуда, из-под вороха бумаг, вынула два номера «Известий».

— Мы прятали их каждый день в новое место, боялись, майор наткнется на них. Тогда нам пришлось бы худо...

Потом пили черный кофе из маленьких чашечек. А снежные вершины все сияли величаво в пустой раме окна, и лапа кедра заглядывала прямо в комнату.

— Я займусь вашим домом и едой,— сказал Костя, поблагодарив за кофе и поставив чашечку на край стола так, чтобы его грязные (проклятый бензовоз!) руки не очень кидались в глаза хозяйкам.

— Нет, не исчезайте!

— Нам ничего не надо!

Он уже сбежал по лестнице, как школьник, не зная куда, к кому кидаться за помощью.

Три его спутницы, три девочки, смиренно сидели на каменной стенке, по которой, свиваясь в кольца, тянулась под тополями железная ограда.

— А вы еще здесь?

Девочки дружно вскочили.



— Ну, тогда пошли вместе искать городскую власть.  
— Пойдем туда, где было гестапо,— сказала старшая с черными печальными глазами, большими и продолговатыми, как морские раковинки.

#### 4

Теперь город был куда веселее и многолюдней. Час тому назад по набережной прошли партизаны, ночью спустившиеся с гор. Это был их первый и последний парад. Измученные тяжелой жизнью, рискованными боями, люди еще держали автоматы и пулеметы, но уже смотрели на развалины и знали, для чего немедленно потребуются их руки.

В здании, откуда спешно бежало гестапо, вытряхивали ящики столов. Из окон летели обрывки полусожженной бумаги. Ветер закидывал их в бурную речку, и ненужные клочки, смешиваясь с весенней пеной, уносились в море.

На одном из этажей дома Костя увидел дверь с надписью: «Комендант». Надпись была сделана на ровном куске картона словно бы пальцем, обмакнутым в чернила.

Костя приоткрыл дверь и сейчас же с кем-то столкнулся на пороге, а кто-то вошел вслед за ним. Тут ужасно курили. Сбоку, сидя на диване перед низким столом, немолодая женщина, изредка потирая глаза от дыма, стучала на машинке. Возле окна, вероятно, стоял еще один стол. Но его не было видно из-за сомкнувшихся спин: кожаные куртки, шинели, черные пальто. Люди козыряли и отходили от стола. Но их место тотчас занимали другие; все время раздавались голоса: «Товарищ Зубков, товарищ Зубков...»

Костя протолкнулся наконец к столу.

За столом сидел сухонький человек с узкими глазами, глубоко и прочно спрятанными под надбровными шишками. Курносый нос его вздергивался обиженно и заносчиво. Чисто выбритые щеки синели, кое-где прочеркнутые порезами торопливой или тупой бритвы.

— Ну,— сказал он кому-то,— все ясно, идите,— и поднялся.

На нем была толстая суконная гимнастерка, туго перетянутая пулеметными лентами. Две гранаты-лимонки висели на косом поясном ремне, оттянутом в одну сторону большим трофейным парабеллумом с массивной рукоятью, выглядывающей из чужой и тесной кобуры.

Костя подумал: «Как все маленькие, но воинственные люди, этот Зубков хочет казаться особенно грозным. Инте-

ресно, кем он был до войны?» На спинке стула висел автомат. Костя улыбнулся.

Грозный Зубков заметил это и сурово спросил:

— Что вам, лейтенант?

Костя показал свое удостоверение и объяснил, откуда и зачем он сюда явился.

— У меня грабят винные подвалы, товарищ лейтенант,— раздраженно ответил Зубков, поправляя на ремне лимонки,— а вы, простите... Я думаю, это дело немного пождет...

— Нет,— сказал Костя.— Там его сестра. Она сберегла музей. Она одна сможет вернуть его к жизни. Во всяком случае, лучше других. Надо отремонтировать сегодня хотя бы одну комнату, то есть просто-напросто вставить стекла в рамы.

— Перестаньте курить,— крикнула машинистка,— или я задохнусь!

— У вас есть стекло? — спросил Зубков Костю и развел маленькими руками.

Кто-то посоветовал:

— Заставьте окна какой-нибудь там фанеркой, и хватит морочить голову пустяками, честное слово. Как дети!

Костю начали вежливо теснить от стола. Тогда он решительно сказал:

— Я от генерала Горбачева, товарищ Зубков. Генерал просил...

Имя генерала, командовавшего ударной дивизией, хорошо знали по всему берегу. Знали его и партизаны. Зубков упрямо нагнул голову, помолчал и усмехнулся:

— При чем тут генерал? За город пока что отвечаю я... А я и сам понимаю... Подожди, пожалуйста... Это я тебе говорю,— повернулся он к толстолицему человеку, который дергал его за рукав.

Вошел смуглый юноша с забинтованной головой. На бинты была напялена фуражка с красной ленточкой. Он робко улыбнулся машинистке и положил стопку бумаг.

— Надо бы усилить охрану в порту,— сказал он Зубкову.— Там стреляли.

— Не будут стрелять,— хмуро ответил Зубков.— Сейчас я еду в порт.— И тоже надел фуражку с тонкой красной полоской наискось околыша.— Пошли, лейтенант... Пошли! Что-нибудь придумаем.

Они пробились сквозь зашумевший народ и стали спускаться по лестнице ниже и ниже. Тут Костя увидел, что за

спиной Зубкова, на том же ремне, болтается цилиндрический, как ручная граната, карманный фонарик.

— А замазка у тебя есть? — спросил Зубков.

— Откуда? — рассердился Костя.

— Вот видишь! — сказал тот с нескрываемой досадой. — Черт его знает, что ты затеял! Загорелось!

5

Они спустились на сырую и темную подвальную площадку. Комендант отцепил от ремня фонарь, и круглое пятно света ударило в железную дверь, возле которой стоял долговязый часовой с автоматом. Он смотрел на коменданта сверху вниз. Комендант переложил фонарь в левую руку, правой вытащил парабеллум и велел тихим голосом:

— Открывай, Вова.

— Кто там? — успел спросить Костя, кивнув на дверь, пока часовой открывал.

— Сволочь разная, — отозвался комендант, — из горуправы. Хвосты фашистские, гады несчастные... — И толкнул дверь ногой.

Под давящими, низкими сводами подвала скопилась полутьма. В глубине ее послышались шепот и кашель. Из-за этого еле слышного шепота и темноты глубина казалась далекой.

Комендант уверенно пошел вперед, перепрыгнув через лужу воды у двери.

— Гады, — повторил он. — Здесь они держали наших месяцами.

Костя, не разобравшись, пошел по воде, и она заплескалась под ногами.

Круг света от фонаря коменданта выхватил несколько застывших у стены фигур. Кто стоял, кто сидел на каких-то ящиках. Люди эти сразу вызвали у Кости чувство острого негодования и брезгливости. Кто они? Зачем они были на свете? Какой ценой ответят они за свое предательство?

Комендант, держа в одной руке фонарь, в другой парабеллум, остановился шагах в пяти от этих людей и сказал угрожающе:

— Кто занимался вопросами ремонта в управе, выходи немедленно вперед!

Никто там, в отдалении, не пошевелился, чтобы выйти навстречу коменданту, наоборот, даже, кажется, сбились плотнее.

— Я вам говорю, гады, выходи живо! Ну, да... Вы ниче-

го не ремонтировали, только жгли, выдавали, вешали своими руками! Выходи, что ли! — крикнул он.

Люди молча прятались друг за друга. Комендантский фонарь и парабеллум перебегали с лица на лицо. Костя видел одни вспыхивающие глаза. Странные и страшные, чужие. Как глаза говорящих на другом языке.

— Повторяю,— начал комендант еще резче и непримиримей.— Нам нужны стекло, замазка, гвозди, штукатурка. Кто знает, где все это взять?

— Я, я, я! — закричала какая-то тень у стены, выкатилась вперед и стала согнутой человеческой фигурой, но чья-то рука тотчас же отшвырнула ее назад, и под лучом оказался рослый и — странно — молодой парень.

— Возьмите меня,— сказал он, комкая шапку,— я всех частников знаю. У них достанем...

— Полицаем служил? — спросил комендант, не спуская луча с его мягкого женоподобного лица.— Поблажки не будет.

Тогда еще один мужчина вышел вперед и заслонил парня. Он тоже был без шапки, весь какой-то узкий, в узком пальто с поднятым воротником, с узким лицом, удлиненной бородкой.

— Простите, без меня, без меня ничего не выйдет... Я смогу, я смогу показать, все показать... Я техник, техник...

— Шагайте,— приказал ему комендант и пропустил вперед.

Во дворе комендант показал Косте древнюю и милую кривобокую полуторку, с черными газогенераторными баллонами по бокам кабины.

— Не пугайся, она ходит на бензине. Ездить умеешь? Ну, бери, если заведешь. Другой нет.— И махнул парабеллумом в сторону тщедушного техника.— Его привезешь назад. Я сейчас пришлю тебе конвойного.

Техник был не такой уж тщедушный, но весь сжимался. Сидя в кабине полуторки, он вжимал в себя руки, подбирал ноги, втягивал голову, точно боялся занять лишнее место.

Однако Костя видел, как он покосился на воробьев, звенящих в ветках пушистой сливы, пожмурился от солнца. Ему очень хотелось жить.

Наконец, полуторка завелась.

— Может быть, все же будет, будет снисхождение? — спросил техник.

— Может быть,— Костя пожал плечами.

Этот дом был первым во всем городе домом, который взяли в ремонтные леса. Два дня здесь убирали мусор, штукатурили стены, стеклили окна и чинили пробитые осколками двери. Стекла, замазки, досок и гвоздей нашлось немного в одном санатории, где их припрятал для своих нужд главный врач, еще немного у разных людей, так и собрались материалы для первого ремонта этого дома, хотя в те дни в старом курортном городе легче было найти снаряды, чем замазку. А работали умельцы из того же санатория и партизаны, положив оружие на те самые скамейки, где сживали знаменитые люди. С удовольствием стучали недавние лесные бойцы молотками и резали звонким алмазом хрустящее стекло.

На третий день Костя вошел в кабинет Зубкова, чтобы попросить его поехать и посмотреть, как починили и прибрали дом. Конечно, пока еще на скорую руку, по военному времени, но все же и это очень хорошо...

Неожиданно на столе он увидел фотоаппарат и побледнел от догадки. С ним случилось что-то такое, словно он с разбегу споткнулся о невидимое препятствие, у него оборвалось дыхание. Он забыл, о чем хотел сказать, и смотрел на кожаный футляр с тонким ремешком молча. И Зубков молчал.

Это был Женькин аппарат.

— Откуда? — сухими губами пошевелил Костя. — Где?

— Я знаю, это был ваш друг, — опустив голову, проговорил Зубков. — Мне сказал генерал Горбачев. Он был тут два часа назад. Он ехал с позиций. И сказал, чтоб его передали вам. Вот, — и положил фотоаппарат на край стола.

— А где он? — не веря, не желая верить и понимать, спросил Костя.

— Танк взорвался на mine, — ответил Зубков, посмотрев Косте в глаза.

Костя не выдержал, сел на диван и, кусая губы, сидел... Машинистка принесла ему воды. Тогда ему стало стыдно, и он вышел. Но и на улице ничто не помогло ему успокоиться. Он быстро шел сквозь весенний город. Громче, чем вчера, шумела река, сильнее гомонили птицы, но он ничего не слышал.

Так он дошел до дома, где еще кто-то стучал молотком. Он думал, что расскажет о Женьке двум пожилым женщи-

нам и ему станет легче. Ведь он уже рассказывал им о девочке в Краснодаре... Она вырастет, как одна из тех трех, что вели его по городу в первый день весны. Он обещал, что Женька сюда заедет. Но теперь этого не будет. Однако он должен был кому-то крикнуть о помощи! Кому? Что его привело снова сюда, к этому дому?

Переступив порог, Костя постоял у стены, до боли стиснув веки мокрых глаз, и вышел в сад. Когда хозяин дома сажал деревья, дом стоял на голом месте. И никакого сада не было. А теперь он вырос высокий и густой. И деревья скрывали Костю, который сидел на знаменитой скамейке, где вчера еще лежали автоматы. Он сидел один, пока его не тронули за плечо.

Костя оглянулся и увидел низенького коменданта.

— Представь себе, — сказал Зубков, — до войны работал в совхозе рядом, старшим бухгалтером, сколько раз собирался в этот дом, а так и не был. Стыдно. Может, и потом не соберусь. Пойдем.

А Костя подумал о другом: эти пулеметные ленты, гранаты, парабеллум — всего этого мало, чтобы расквитаться за Женьку. Мало! Безнадежно мало!

— Пойдем! — повторил Зубков.

Костя поднялся. Они дошли до порога.

— Погоди, — вдруг сказал Зубков, — я сейчас.

Он вернулся к машине, которая подвезла его сюда, — к старой черной легковушке с пулевой дыркой на треснувшем стекле, и стал там что-то стаскивать и снимать с себя. А потом снова показался на дорожке. Без своих пулеметных лент, без кобуры и гранат он стал еще меньше, он неловко одергивал гимнастерку, приближаясь к Косте, и улыбался смущенно и застенчиво. Он словно на минуту стал таким, каким жил в своем совхозе до войны и каким хотел быть всю жизнь. У первой ступеньки крыльца он еще помедлил, вынул карманные часы, посмотрел на них и сказал Косте:

— Ну, пошли.

# НА ЗАКАТЕ



1

**А**втобус пьяно качался. Без всякой надобности он так шарахался из стороны в сторону и так подпрыгивал на бугорках и трещинах асфальта, незаметных на эдаком бегу, что для полной схожести с лихим гулякой, которому море по колено, ему не хватало только затянуть удалую. Да, собственно, мотор и тянул, выжимая из себя остаток силы.

То ли к вечеру шофер спешил разделаться с очередным загородным рейсом, то ли Виктор Степанович сверх меры набегался по городу, намаялся и теперь едва стоял со своей сумкой, заметно клонящей его вбок. В щель между пассажирами он с трудом протиснул руку и ухватился за спинку ближнего сиденья. Кто-то тут же надавил, чуть не вывернув локоть, но Виктор Степанович не поддался и руки не отпустил. Потихоньку соседи смирились. А через час людей раскидало по разным сельским остановкам, и в железной коробке автобуса если не опустело, так заметно поредело. На закате в стеклах зарозовел лес, и контуры березовых листьев потемнели от этого не своего цвета, очень теплого, хоть и короткого, и обрисовались четче, будто приблизились. Виктор Степанович старательно вглядывался в зелень, потому что любил лес, бездонно ласковый. Задышалось вольготнее, а вот нога — та заняла всю, «хоть стой, хоть падай», как шутит дочка. А если всерьез, хоть криком кричи. Но он молчал, потому что ничего не поправить.

Боль мучила с тех далеких дней, когда рядом с их минометом вдруг засвистело, грохнуло и подносчика подкинуло в воздух. Рассказывали, он полетел, простирая руки, словно крылья. Так леталось во сне. А это было наяву, хотя уж и без сознания. Шлепнулся Виктор Степанович на сырую землю весеннего оврага и, разбрызгивая грязь, веретенном

закрутился вниз по склону. Госпитальный врач сказал: приземлился на ровное, отшибло бы все нутро, начиная с сердца, а так, дескать, вышла какая-никакая амортизация. Он еще воевал после и дошел до Берлина, где во время уличного боя его ранило пулей легче, чем первый раз. Тогда была и контузия, а из ноги долго вынимали осколки чужого снаряда и своих костей. Вторая рана совсем забылась в житейской круговерти, а первая — нет, не оставляла до сих пор, учила терпению до конца. И он учился, терпел.

Лес стал тихо меркнуть, хотя из-за него выстреливали в небо солнечные лучи, но он был такой огромный, что этого света, устремленного только ввысь, на него уже не хватало...

— И дача будет твоя?

— А чья же?

— А невестиного папашу куда? Он ведь еще шустрый.

— Пусть шустрит, пока дает гастрит.

Вместо смеха зашипел какой-то угодливый, слюнявый хрип.

По давней привычке Виктор Степанович никогда не вслушивался в чужие разговоры, даже если их вели вблизи, а сейчас он еще гадал, что там, за лесом, куда закатилось солнце, уже не первый год живет за городом, а не побывал и не рвался туда, за лес, вдруг там что-то заурядное, скучное или вовсе ничего, лучше пусть останется тайна,— так думалось, и до судороги в глазах болела проклятая нога, но эти негромкие слова вторглись в его сознание. Оттого, видно, что автобус давно вез тишину, к гулу мотора пассажиры привыкли и устало ехали, занятые своими мыслями, а многие дремали всерьез.

Он перевел взгляд на сиденье, за спинку которого держался. На нем уютно расположились молодой человек в куртке из вызывающе блестящей искусственной кожи, в фуражке Аэрофлота, при отсутствии еще чего-либо летного в наряде неожиданной на этой голове, и худосочный парень, почти мальчишка, весь в длинных локонах, как у французского паж. Не внушающий доверия летчик с кокардой был неподдельно красив, спокойствие, приправленное иронией, царило в его глазах, больших и темноватых, он и «пажу» отвечал с иронией, а тот облизывал губы, будто его кормили чем-то особенно вкусным, фыркал от радости, что у него такой друг, который держится с ним на равных, и спрашивал:

— Считаешь, с папашей не придется долго мыкаться?



— Не знаю. Пока он даже пригодится.

— Чем?

— Возьмем машину без очереди. Фронтовикам выделяют.

— А у тебя вся сумма на старте?

— Папаша добавит.

— В принципе бывшие фронтовики — не банкиры.

— Дурачок ты, Пузо! — Видно, это была кличка тощего «пажа». — Рассчитываю я лишь на себя. Помогу ему меньше тратить на дачу — ну, там кирпич, тес, шифер, дачка-то пока дохленькая, а он добавит на машину. Любимой дочке, конечно, но в подтексте — кто?

— Значит: «Я прошу руки вашей дочери»? Когда, Федь?

— А хоть завтра.

— Колоссально! Полдачи можно сдавать, — торопливо подсказал «паж», демонстрируя свои способности к соображению.

— Почему пол? Всю. Для себя есть времянка.

— Дача — источник!

— Непересыхающий.

— А с невестой согласовано? Как она?

— Она у меня...

— В кармане?

— Светка? В двух пальчиках... Как комарик!

Виктор Степанович вздрогнул — меньше всего он ожидал услышать имя дочери, сразу и пристальней всмотрелся в собеседников. Под его взглядом «паж» костляво поежился и со всех сторон поправил локоны. Его прямые от корня волосы такими смешными, нежными и рыжеватыми висюльками болтались на висках, ушах, шее, что Виктор Степанович невольно улыбнулся, представив, как паренья накручивается на ночь и спит в папильотках, иначе откуда эти кукольные завитушки? На коленях он держал огненную сумку, один бок которой украшала фабричная надпись «Футбол — хоккей», а другой — вышитая белым контуром роза и слово «любовь», втиснутое в четыре английские буквы, отражавшиеся в окне. Сам, поди, вышивал... «Нет, — подумал Виктор Степанович, — очень уж дешевые для Светки знакомые. Она хоть и молодая, а все-таки учительница. Как мать и отец... Правда, явно дешевым был Пузо... А «летчик» Федя? По-своему, может, он и умен. И красив к тому же... Однако скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Пузо с его сумкой и локонами от старинного

парика — этикетка этой пары, да и... мало ли еще Светок в окрестностях!»

Автобус резко затормозил, Виктора Степановича, в задумчивости ослабившего руку, оторвало от спинки сиденья и повалило бы на молодых людей, не успей он со всего маху вцепиться в Федино плечо. Тот повысил голос:

— Эй, дяденька! — и стряхнул с себя руку, на которой набрякли вены. — Мало казаться интеллигентным, еще не мешает, между прочим, держаться на своих двоих!

— Извините, — пробормотал Виктор Степанович, скрываясь от боли.

На этом бы и точка, но толстая женщина в ярком плаще, распахнутом вразброс и никогда, вероятно, не сходявшемся на ее выразительном животе, до сих пор дремавшая рядышком на ногах и ухитрившаяся не проснуться даже при жестком торможении, вдруг открыла глаза.

— Посмотрите на него, — пригласила она всех пассажиров. — Сидит и учит старого человека, как себя вести, вместо того чтобы уступить ему место!

Федя выдернул из-под брючного пояса книгу, бывшую наготове, как оружие в расстегнутой кобуре, но, прежде чем уткнуться в нее, не сдержался, ответил:

— Старый человек может досыта сидеть дома и в город ездить в любое время, когда в автобусах есть места, а я с утра вкалывал на стройке. — И демонстративно раскрыл книгу на первой попавшейся странице. Судя по таблицам и цифрам в тексте, это был учебник или справочник.

— А я принял тебя за летчика, — оглянувшись, присоединился к разговору скучающий богатырь. — А ты — стройка... Фуражка-то! Значит, чужая?

— Несбывшаяся мечта, — ехидно прибавила сзади еще одна разговорчивая.

— Правильно, — не поднимая глаз и кивая, откликнулся Федя. — До чего у нас догадливый народ пошел!

— Он вкалывает! Такие навкалывают — дождешься! Все ведь ты врешь, наглец, и не моргнешь. Кнута на тебя нет! — как с трибуны провозгласила толстая пассажирка, у которой оказались неожиданные запасы голоса.

«Паж» драчливо вскинулся, чтобы защитить друга:

— Он прораб!

А сам Федя взмолился миролюбиво:

— Я здесь никому не родственник, граждане, так что

прошу не «тыкать», это неприлично. Вот даже и старый человек может вам подтвердить. Правда?

Виктор Степанович всегда-то стеснялся привлекать к себе внимание, буркнул: «Правда, правда», лишь бы отделаться, и согнулся в надежде спрятаться ото всех. Но встала кондукторша с облезлой, раздутой сумкой и хрипло гаркнула на весь автобус:

— А ну, молодежь! Уступите место инвалиду Отечественной войны! Живо!

Еще несколько голосов неразборчиво зашумело в защиту Виктора Степановича, но были и такие:

— На лбу не написано, у кого права.

— И то! Повесь жетон на лацкан — никакой проблемы!

— Ох! Ох! Один без всякого жетона уступит, а другой, глядя на жетон, еще скорей глаза зажмурит.

— И крепче,— подхватил кто-то.

Поохавшая женщина сунула в сумочку небольшую книжку с коленей, щелкнула замком и встала, поразив спутников своей неброской, отцветающей, но еще пригожей миловидностью.

— Садитесь,— пригласила она певуче, повернувшись к Виктору Степановичу; тот не успел поблагодарить, как Федя, разглядывая женщину, сказал:

— У инвалидов, между прочим, есть свои места. Законные. Вон, пожалуйста! — И, мотнув головой так, что съехала набок фуражка, а кудри подпрыгнули, опять прилип глазами к книжной странице. При этом он подтолкнул локтем «пажа».

Тот на всех довольно частых остановках терпеливо вырезал острым перочинным ножичком из куска фанеры гитару величиной с ладонь, изящную игрушку, которую можно было, наверно, привязать к сумке как брелок. Делал вид, что не замечает входящих, и отрывался только для того, чтобы тонкими пальцами собрать со своих штанин щепочки и сунуть их в щель сиденья. Но после толчка приятеля вскинул голову — щеки стали сразу и необычно пунцовыми.

— Там по-русски написано! — пискнул он.

На «законных» местах для инвалидов, привалясь плечом к плечу, спали двое, тоже молодые, их откровенно громкое, безмятежное дыхание прослушивалось даже сквозь гул мотора. Похрапывали дуэтом. Встал богатырь, на всякий случай кинув на сиденье клетчатую кепку с ломаным козырьком, угрожающе пообещал:

— Счас...

И тут Виктор Степанович перехватил его:

— Не надо! Спасибо вам всем, но... успокойтесь, товарищи! Во-первых, я сейчас схожу, а во-вторых, я вовсе не инвалид.

— Я знаю, где вам сходить,— неодобрительно и ворчливо отозвалась кондукторша.— Остановка «Поселок инвалидов ВОВ», то есть Великой Отечественной войны... Вожу и вижу.

— Да нет, вы спутали!

— Как хотите,— сказала кондукторша и села, кряхтя. Оба молодца, и Федя и «паж», с видом победителей уставились на Виктора Степановича, а он, унося свою боль, стараясь не хромать, осторожно двинулся вперед и раньше времени вышел из автобуса, чтобы подождать следующего.

## 2

От остановки он брел к поселку сосновым бором. Здесь хорошо бывало утрами. Свежее солнце рябит в соснах... Как тем летом, когда они с Зоей ходили сюда за грибами... Незаметный ветер шевелил тогда кронами, и слепящие зайчики перескакивали с места на место, по вечной и мягкой хвое, по траве, по ромашкам у самой дороги... Лепестки у ромашек были такие упругие и тугие, что казалось, сразу зазвенят, только задень. Казалось — или это Зоя велела.

— Посмотри!

Тем летом Зоя была еще жива. Сердечная недостаточность, как врачи говорили, не пускала ее далеко, но сюда они добирались. Раз или два...

Сейчас его Зоя снова неслышно шла с ним под теми же соснами. А он, покашливая, делился с ней своей любовью к дочери, своей безмолвной, постоянной, но бесполезной заботой о ней, отчего и эта любовь превращалась в муку, точно лишаясь смысла и цены. Не перенесешь и не откажешься... Никогда.

«Понимаешь,— говорил он,— ей давно бы пора свою жизнь строить, свою судьбу, все свое, а тут я... Мои слабости, мои привычки, мои бессонницы, мои капризы... Короче, она еще со мной, Зоя... Как бы ты обрадовалась! Наша Светка готовит все твои блюда, иногда у нее вкуснее получается, чем у тебя, прости. Все время завидовала: «Мама у нас непревзойденный кулинар и кондитер,

а я — бездарь! Ничего, кроме яичницы...» А теперь! Но при этом всегда читает, как пассажир в автобусе бесконечного следования. Картошку с мясом в жаровню, а сама — читать. Пирог в духовку, а сама — за книгу. Чайник на плиту, а сама... И позже, вымыв посуду, сидит с книгой у настольной лампочки — до двух, а иногда и трех часов. Я, бывало, как идиот, гордился этим, а сейчас без конца хожу мимо, желаю спокойной ночи, упрашиваю, гоню, а она отмахивается, все куда-то едет в своем автобусе, бедняга... Куда? Наконец сдается, уходит, но из-под двери в ее комнату еще долго светит прорезь, как беззвучная молния во тьме. Честно говоря, не знаю, что она там? Снова читает или плачет немо? Сам выползаю на кухню, нахожу недокуренную сигарету, а то и две — значит, Света дымила, мать, — сижу, докуриваю... С улицы каждый вечер залетают в нашу кухню песни, нетрезвые, понятно, но и незлые, какие-то детские по настроению, хотя мне кажется, поют их местные кавалеры только для шума, но, может быть, и от одиночества, которого не любят, как дети, кто знает?

Знаешь, страшно, потому что не поправишь, но я, пожалуй, жалею, что она пошла по нашим стопам и тоже стала географом. У географа нет даже ученических тетрадей, с которыми таскаются словесники, математики и другие. Как ни клянут они свой непомерный груз, а это — общение с близкими друзьями, которым готов отдать все, это — молчаливое продолжение споров и разговоров. Еще подумал, что благодаря профессии Света безостановочно путешествует по всей земле, а между тем год за годом сидит в маленьком поселке. Не пугайся, но мы отказались от городской квартиры. Совсем. Ты не хотела, Зоя, и я соглашался, оба надеялись, что отдадим эту кооперативную коробку Свете, и там будут прыгать, подрастая, внуки, но вышло иначе. Стало не по силам разрываться на два дома, приезжая туда, расстраивались, что уж очень там все напоминает тебя. Не беспокойся и не брани. Я знаю, что ты хочешь спросить. Все возвращенное кооперативом вложили в ремонт дачи. Ее ведь сначала сбили не ах как крепко, иные гвозди сами заколачивали, а теперь не дача, а красавица, все, как ты хотела, прохожие любят. И кажется, что ты здесь с нами».

Виктор Степанович вдруг понял, что, конечно, был прав. Пузо и прораб Федя не могли быть знакомыми Светы. «Дача дохленькая», — оценил прораб, а про его дачу, подкрашенную и как бы даже припудренную, с верандой в

«каракулевой» шубе из цемента, этого не скажешь. Все знакомые приезжали, хвалили за дачу. Но ругали за то, что отказался от городской прописки. Прописались со Светой здесь, по месту работы в сельской школе. Его бывшей работы, теперь он полный пенсионер, ее — нынешней. Недавно он почему-то спросил у дочери: «Не жалеешь?» Света засмеялась: «Чего? Не все равно, где человек прописан?» Какой она веселой была, когда так смеялась! Какой она дом могла бы устроить, какую семью сотворить и держать! Веселую, без фальши. Увез бы ее кто отсюда. Куда угодно, хоть на край света! Вот именно, там обещают настоящую любовь. А он, отец... В этом случае он отпустил бы ее не задумываясь. И счастлив был бы. «Я был бы счастлив, слышишь, Света?»

Она училась не то в девятом, не то в десятом и как-то вечером спросила его:

— Папа! Почему за мной не ухаживают мальчишки?

Спросила вдруг — он не ожидал этого. Смотрел телевизор, она ходила по комнате с чашкой чая в руке — на ночь ничего больше, строгая диета! Отвернувшись от телевизора, он растерянно улыбнулся:

— Думаю, бояться.

— Кого?

— Тебя. Ты привлекательная, но для них слишком умная. Слишком, понимаешь? А помнишь, как сказал Александр Сергеевич? «Поэзия должна быть глуповата...»

— Чему ты учишь дочь! — крикнула Зоя, поливая цветы.

— Смотри, папа! Я ведь тебе верю на все сто, даже на тысячу, но... Нет, мальчишки сейчас сами умные. По моему, тут фигура — дура. Завтра же начинаю ходить в бассейн!

— Придумала! — сказала мать. — И так как карандашик!

— А надо быть как спичка! Ты отстала от современной моды, мама.

«Понимаешь, Зоя, для нее это важно. Для нее... Это... Ты понимаешь, я понимаю, а что делать?»

Домик встретил его темнотой окон, и он догадался, что Света побежала к шоссе, на остановку, чтобы помочь отцу тащить сумку. Ну конечно, она — по дороге, а он — тропой, через бор, вот и разминулись. Сейчас она вернется, а он пока разложит покупки и приготовит ужин, он ведь тоже умеет кое-что...

Дочь долго не возвращалась. Ни через полчаса, ни через час. Значит, ждет на шоссе. Она упрямая, до последнего автобуса будет стоять. Придется сходить за ней. Наплевать на ногу...

У сарайчика, подпирающего забор с калиткой, припасено несколько замечательных самодельных палок для прогулок. Прямых и крепких. Возьмет одну...

Но едва он дотопал до калитки, как за ней вырисовалась Света.

— Папа!

— Меня бегала встречать?

Какое-то раздумчивое молчание и неспешный, душевный голос:

— Не-ет...

— А куда?

— Туда.

— Куда? — повторил он, заинтригованный.

— Туда же, на шоссе, но встречала не тебя, а...

— Кого?

— Одного молодого человека.

«В летной фуражке?» — чуть было не спросил он, но прикусил язык.

— Я болгарские голубцы привез. Кушать хочешь?

Света засмеялась, как только она умела смеяться в такие самые важные, самые ответственные моменты, — искренне и легко. Рядом с ней, с этим смехом, легче становилось жить.

— Больше тебя ничего не интересует? — спросила она.

— Ну почему же! Расскажешь за ужином, а то кормить не буду!

— Познакомились, ты думаешь, где? В автобусе. Самое людное в нашей округе место. Как танцплощадка! Он строитель. Зовут... — Она провела салфеткой по волнистой очерченной, с острыми углами в серединке, абсолютно материнской верхней губе, а он чуть не крикнул: «Федя!» И она будто бы повторила за ним: — Федя.

— Жених?

Она немножко и невольно поиграла бровями.

— Хочется, называй так.

А он затряс головой, мелко-мелко. Вернее, голова сама затряслась, рассыпая по лбу седые космы, нет, не седые, а цвета пепла в тухнущем костре. У него были густые космы, как у молодого, и тряс он ими, даже не замечая

этого, когда очень волновался, дочь знала и перестала усмехаться.

— Мы знакомы давно, и уже...

— Что?

— Он сказал, что ему больше никого не нужно.

— Света! Как давно ты знакома с ним?

— Ну давно — по нынешним временам, конечно. Но ведь и мы живем в нынешние времена. Месяца полтора... помнишь, полтора месяца назад я стала говорить тебе, что повела в школе кружок любителей путешествий, которые якобы собираются вечерами...

— Якобы?

— Я обманывала тебя, папа. Не сердись! — Она просительно дотронулась до него. — Бегая на свиданья, во все времена влюбленные обманывали родителей. За тысячи лет не придумали ничего лучше.

— Ты влюблена?

Обо всем забыв, Виктор Степанович с интересом смотрел на дочь.

— Он толковый, — сказала Света. — Этого тебе мало? Что молчишь?

— Просто характер, по-моему, в подобных случаях важнее ума. Сейчас много образованных, и это часто принимают за ум, а характер...

— Ой, папка! — засмеялась Света. — Началось!

— И закончилось, — сказал он. — Тебе не кажется, что нам с Федей не грех бы и познакомиться?

— Сегодня он как раз и говорил об этом. — Света вздохнула и улыбнулась робко. — Как ты доехал?

— Прекрасно. Автобус — почти пустой, и я сидел от самого города, как король на троне!

— Не ври. В это время не бывает пустых автобусов.

— А вот был! Не рейсовый, а какой-то служебный.

— Слава богу!

— Когда он придет?

— Федя? Обещал в субботу. С дружочком Серрежей, которому больше нравится, когда его называют Сержем.

«Это Пузо!» — чуть не вырвалось у Виктора Степановича.

— Смешной такой этот Сержик. Они вместе работают.

— Надо нам...

— Позаботиться о бутылке вина и прочем? Запомнила.

— Нет, это моя забота.



Субботним вечером, когда краски заката уже разлеглись над соснами, Федя явился принаряженный. Тонкая белая рубаха, галстук в косую полоску, легкий серый костюм и та же фуражка на голове. При таком параде эта фуражка выглядела нелепо и как-то мило.

— Здравствуйте! — улыбаясь, сказал он открывшему дверь Виктору Степановичу. — Света дома?

— Конечно!

— Вы ее отец?

— Да.

Он улыбнулся еще свободней.

— Можно?

— Прошу, прошу...

Федя тщательно вытер ноги. Похоже, не узнал недавнего автобусного спутника. Каждый будний день туда и обратно, сотни разных людей вокруг, запутаешься. А если и узнал, не подал вида. Ни один мускул, как говорится, не дрогнул на его лице, приветливом и уверенном, спокойном, во всяком случае. Вот Пузо — Сержик, тот вытаращил глаза и запунцовел, Виктор Степанович еще в автобусе отметил эту его способность — моментально делаться багровым. Он безостановочно багровел все дальше, стало даже жалко и боязно: сгорит, по цвету превзошел алые розы, которые сжимал за колючие стебли, и суматошно, изо всех сил топтал тряпку, половичком кинутую на крыльцо. Говоря по-военному, отрабатывал шаг на месте, пока не выбежала Света и не засмеялась:

— Да проходите же!

Как легко она смеялась!

— Сержик!

Он пошел, неся перед собой факел роз, побледневший на фоне его лица.

Стол был накрыт, Света испекла пирог с мясом, не терпящий пауз, а гости чуть запоздали, из вежливости, наверно. Виктор Степанович раскупорил бутылку легкого вина, чокнулись за знакомство. Сержик никак не мог справиться с розами, перекладывая их из руки в руку, и взял бы рюмку левой, если бы Федя не подсказал:

— Отдай розы Свете.

Сержик с облегчением протянул ей букет, и она засмеялась еще громче, протянув нараспев:

— Спаси-и-ибо!

И когда отец налил по второй, предложила выпить за цветы, которые, сказала, любит, но Федя вдруг кашлянул, потупился и нахмурился.

— У меня другой тост и другой текст. Прости, Света, но мне важно это сказать. Виктор Степанович делает вид, что не узнает нас, ничего, дескать, не было, а было, и такое, что и вспоминать жутко. Мне гадко и совестно, как никогда. Не дави на ногу, Серж!

— А что было? — еще улыбаясь, но уже меняясь в лице, с тревогой спросила Света.

— Три дня назад мы ехали в автобусе вместе. Я, Серж и Виктор Степанович. И мы с Сержем сидели, а Виктор Степанович стоял возле. Всю дорогу. Но этого мало. Мы мололи бог знает что и заставили Виктора Степановича выйти из автобуса на несколько остановок раньше. Я понимаю, Света, что тебе интересны подробности, но они так омерзительны... Простите нас, Виктор Степанович. Если можете... Прошу вас, и Сержик просит.

— Да,— подтвердил тот.

— В знак вашего прощения мы и чокнемся. А не можете, я лучше уйду. Все!

— Да вы что! — Виктор Степанович протянул рюмку в его сторону.— Какая чепуха! Забыли!

Сержик тоже чокнулся с ним. И наступило молчание, которое нарушила Света:

— Конечно, для меня важно, что это был мой папка. Ну, а если бы кто-то другой?

— Теперь буду уступать место всем, кто хоть на капельку старше меня!

— Только теперь?

— На ошибках учатся.

— Хватит! — сказал Виктор Степанович.— Федя провел день на стройке, нужной для всех, а я ездил в город за покупками, в свое удовольствие, можно сказать. Хватит!

— А то еще заскучаем ни с того ни с сего,— поддержал Федя.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— попробовал пошутить Сержик, уморительно корча рожу, но снова потянулась неловкая тишина.

— У нас на веранду прилетают синицы,— сказала Света,— и прыгают по столу, когда мы завтракаем.

— Синица сейчас тоже стала пронырливой,— не отказался от попытки рассмешить компанию Серж, и опять неудачно.

— Просто Света насыпает им крошек,— пояснил Федя и, не пережидая молчания и понимая, что тема не исчерпана, взял ее в свои бразды.— Чтобы больше не возвращаться к этому, Виктор Степанович, хочу спросить вас лишь об одном: почему вы не предъявили инвалидной книжки? И более того — даже отказались от этого почетного звания!

— Могу ответить,— опережая отца, прорвалась Света.— Из-за хорошего отношения к людям, в том числе к тебе.

Федя повертел рюмку в руках.

— Нет, у нас общество справедливое: каждому по заслугам, лишнего не получишь, а свое надо брать...

— И до чего же у вас дошло? — поразилась Света. Федя сощурился.

— Виктор Степанович, а вы не рассказывали ей?

— О чем? Да ничего особенного! Все в порядке вещей.

Федя пригладил кудри, глянул на Свету.

— Есть сигаретка? Угости и разреши закурить. Мы взволнованы, потому что все дело в твоём отце.

Вместо того чтобы еще раз оборвать этот затянувшийся, неловкий разговор, Виктор Степанович возразил:

— Да при чем тут я? Уступи мне кто-нибудь место, я предложил бы его... там же ехали женщины! И немолдые. Одна даже дремала стоя.

— Как лошадь,— сокрушенно подтвердил Федя и опять помотал головой, рассыпая кудри.— Наломалась, сердечная.

— Взял бы и пожалел ее! — сказала Света.

— Позор! — согласился Федя.— Я же не отрицаю. Застрелиться?

Виктор Степанович подхватил его тон:

— Все это — пустяки! И ничего, ничего не обидело меня, кроме одного! Я хочу спросить вас, Федя...

Тот придавил сигарету в пепельнице, плоской, как дощечка, и выпрямился, изговываясь слушать.

— Почему вы называли нашу дачу дохленькой?

Раскрепощенно сверкнув глазами, Федя ответил по-деловому, даже сердито:

— Как специалист. Проходил, видел.

— Мы же недавно сделали такой ремонт!

— Не вы. Халтурщики.

— Вот только на забор денег не хватило!

Сержик опять попробовал пошутить:

— Знаете, как говорят в Одессе? «Продай дачу, построй забор!»

— Я пришлю со стройки хороших мастеров,— пообещал Федя.— И материал можно достать.

— Какой?

— Хоть вагонку, хоть натуральную олифу, хоть... Любой!

— А вот этого и не надо!

— Вопросов нет.

— А у меня к вам еще вопрос. Вы действительно мечтали стать летчиком?

Федя ухмыльнулся:

— Фуражка?

— Это из-за меня,— сказала Света торопливо и даже ласково, уж отец-то умел разбираться в ее тоне.— Как-то я разоткровенничалась и призналась, что с детства обожаю военных...

— Скажи-ка! С кого же это началось?

— С тебя! В День Победы ты всегда надеваешь старую гимнастерку. Ордена, медали... Для себя надеваешь, но... Вот я и полюбила форму! Не форму, конечно, но с военных я не спускала глаз и особенно меня гипнотизировала авиационная кокарда. Вспомнила, призналась Феде, и на следующий день он явился в этой фуражке... Достал где-то.

— Ай да Федя! — воскликнул Виктор Степанович, чувствуя в этом нечто от глуповатой поэзии.

— Свет! А почему у тебя до сих пор полная рюмка? — спросил Федя.— И слезы в глазах! Вот это уже...

Он так и не договорил. Она вскочила и выбежала; цокая высокими каблуками. Виктор Степанович тут же успокоил гостей жестом и пошел за ней, улавливая доносившиеся сквозь приоткрытую дверь голоса из-за стола:

— Эх ты! — отчаиваясь, обвинял Сержик.— Давлю, давлению, а ты начал... Она же ничего не знала!

— Но он-то знал! Одни твои букли за сто верст видать.

— Еще потешаешься...

Свету Виктор Степанович нашел не в кухне, а в комнате. Света плакала, как всегда, чуть слышно и жалобно, оттого что придавливала себя. Она плакала редко и одинаково, скрываясь, как мать.

— Чего ты реवेशь?

— Охота.

— Унеслась от жениха! Ты с ума сошла?

— Как раз в своем уме.

— Значит, у тебя плохой ум, недобрый... А Федя...

— Никогда не думала, что он такой подонок,— прошептала дочь.

— Ну уж!

— И ты хорош! Они вынудили тебя раньше времени сойти с автобуса, а ты и тогда смолчал, и сейчас...

Он опустил перед дочерью, чтобы прижаться к ней и приласкать.

— Недостатки! А у тебя их нет? Например, эта твоя категоричность. С недостатками, известно, что делать.

— Что?

— Бороться. Сама стань лучше и помоги ему стать лучше. На востоке существует пословица: «Женщина делает мужчину».

— Боюсь, его уже сделали. Или принять такого, или...

— Не торопись.

— Я хочу, чтобы они ушли. Слышишь, папа?

Уговоры, самые нежные и суровые, не помогли. Когда Виктор Степанович вернулся, Федя доедал кусок еще теплого пирога, вполне по-светски: нож — в правой руке, вилка — в левой. А Сержик печально мял свои локоны. Не замечая крошек на блестящем подбородке, Федя встал и заговорил:

— Жуткий парадокс! Автобусное происшествие торопит события... Полагалось бы подождать... по всем патриархальным правилам и вообще... Однако же я сделаю это сегодня, назло случайностям! Виктор Степанович! Мы со Светой любим друг друга, и я прошу руки вашей дочери. Что вы молчите? Казните меня сначала!

— За что, Федя?

— Ну вы же слышали всю нашу болтовню в автобусе.— Он махнул рукой на Сержика, лицо которого напоминало ободранную свеклу.— А чего не выкнет один балбес другому, чтобы повыставляться? Не молчите, ради всего!

— Вы сами все и сказали.

— Я прошу руки вашей дочери.

Виктора Степановича вдруг осенило: да ведь этот молодой человек изворотлив до наглости! Верно окрестила его толстуха в автобусе. Сейчас засучить бы рукава и выставить его за дверь ради нее же, Светы, ради справедливости, ради... Но вместо этого Виктор Степанович обронил:

— Дочь, конечно, моя, но это ее рука... А ведь издавна говорится, что своя рука — владыка.

— Позовите Свету, пожалуйста.

— Она что-то расклеилась.

— Ладно. Ответ за ней. Передайте, что только Света для меня и есть свет в окошке, а мы пойдем. До свидания.

Серж ушел без слов.

За накрытым столом Виктор Степанович посидел одиноко и в тишине. Под ребрами разрасталось чувство непоправимой вины перед дочкой, будто он наступил на ее любовь. Надо же было ему именно в этот день, в этот час сесть в этот автобус. Именно в этот! Если бы Зоя была с ним... Некому слово сказать...

И вдруг он услышал шорох, пугливо и с надеждой покосился и увидел в туманном дверном проеме Зою. Закачалась, затряслась голова... Он пошире раскрыл глаза. В дверях стояла Света.

— Ушли? Папа! Я не слажу с собой. Я догоню его.

— Конечно! — возрадовался отец. — Ты еще успеешь!

Она опустила на промятый диванчик и, скинув туфли, нащупала и выдернула из-под него тапочки, чтобы идти быстрее. А он стал воображать и рассчитывать... Вот она промахнула две полутемные улицы поселка. Их было всего-навсего две, и одна перетекала в дорогу, задевавшую край соснового бора. Потом был мостик, в самом низу, над ручьем, который и весной показывает дно — такой тощий. Хуже Сержика. Дальше дорога забирала вверх мимо огородных участков рабочих картонажной фабрики, долго ползла к шоссе, все круче и круче, и здесь, пожалуй, Света догонит суженого с дружкой... Если она бегом, то уже... Что там происходит?

Он попытался вообразить это, но не смог...

А Света сократила путь по овражной тропе и, задыхаясь, почти вышла из кустов, но остановилась, то ли воздуха не хватало в груди, то ли слов, чтобы окликнуть. Сержик все время дергал носом, расплывелся, и она услышала, как Федя спросил:

— Да перестанешь ты шмыгать? Или платочек дать? Надоело!

Тот замедлил шаг, шмыгнул еще раз и сказал:

— Вернись.

— Зачем?

— Света плакала, когда мы уходили... Я слышал...

— Это полезно, когда жена плачет.

— Для чего?  
— Чтобы шелковая была.  
— Все рассчитываешь, как электросчетчик?  
— Ага. Сама прибежит. Иду в пари? Не сегодня, так завтра и прибежит, а я пока отдохну от этой кокарды.  
— Давай пойдем назад, Федь, а?  
— Могу вернуться только за розами.  
— Денег жалко?  
— Нет, Пузо, усилий! С утра гонял на рынок, к абрекам... Ты же знаешь — напрасные усилия — не мое дело.  
— Да ты хоть слово скажи про Свету! «Я», «мое»...  
Что будет, если она возьмет и не прибежит?  
— Я реалист. Сообража? Возможны варианты. Не прибежит? Пускай!  
— Сообража,— ответил Сержик и остановился.— Ты — падла.

Он едва выдавил из себя это слово, и Света видела, как Федя прислонил ладонь к уху.

— Что, что?

— Пад-ла! — повторил его дружок.

— За что же ты меня так? — простодушно взмолился Федя.

— За все! — крикнул Сержик и тут же получил удар в зубы.

Света чуть не бросилась из кустов на выручку, но лишь вздрогнула, испугалась, а Федя сочувственно спросил:

— Дождался?

— Тьфу! — сплюнул Сержик.— Это я на тебя плюю!

И еще получил удар, после чего пришлось сплюнуть зуб.

— Учись жить,— посоветовал Федя.

— А я чего делаю? Учусь...

И еще был смех, тонкий и меленький. Смеялся Федя, уходя, а Сержик плелся за ним, отплевываясь...

А Виктор Степанович сидел, откинув голову. Снова было тоскливо и одиноко, как и раньше, да не с такой силой. А сейчас — до пустоты! И держала пугающая пустота так цепко, что из нее, казалось, уже не вырваться. Чем она держала? Безрукая, бессловесная, бесчувственная...

И вот как странно! Чтобы отделаться от этого тяжелого ощущения, полного немислимой покинутости, и не просто печали, а боли, без всякого воображения ощутимой в душе, он стал вспоминать войну. Да, из этих благостных,

из этих чудесных дней мирной жизни его отшвырнуло в то уже далекое время, которое пролегло поперек юности гремящей полосой и постоянной угрозой расправиться с тобой. Все это не забывалось, но сознание хитро не давало событиям никаких общих оценок, оно рисовало, как ты лежал на дне оврага, может быть, последним взглядом прощаясь с голубым небом и белым облаком, откупающимся от ветра потерянными курчавинами, а по склону с разных сторон к тебе бежали знакомые и незнакомые, чтобы спасти. Как водитель полуторки в считанные минуты, оставшиеся в твоём владении, спешил домчаться до госпиталя, но внезапно притормаживал и каждым колесом по очереди переползал через ухабы... Как хирург без промедления надевал халат с пятнами вчерашней или позавчерашней крови, которую ни выкипятить, ни выстирать, и еще находил миг для полушутки: «Гляди-ка! Овраг спас! А то отшибло бы все нутро, начиная с сердца!»

Нет, не овраг, а друзья. Не было вокруг чужих...

Он подумал об этом и очнулся, потому что услышал, как гулко, в самые уши, бьет сердце. Еще чего не хватало! Сердце в ушах — это новость. Даже и себя спрашивать не хочется, что это такое... Он глянул на часы. Вот-вот дочь должна вернуться. «Встать, рядовой такой-то!» Он нащупал под стулом снятые из-за ноги ботинки, натянул их и вышел, чтобы встретить гостей и все начать сначала.

Дочь сидела на крыльце, подперев обоими кулаками подбородок.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Сижу, — улыбнулась Света.



# ЖДАТЬ — НЕ ДОЖДАТЬСЯ



1

**Б**ыл вечер, тихий и какой-то старый-старый, будто вокруг всегда было так: тоненький месяц бескровно прорезывался в сером небе, как неживая и потому неизменная деталь декорации, над той вон сиротливой, откинутой от села избушкой неподвижной палкой торчал дымок, и три тени от берез густо синели у бывших церковных ворот, оставивших на земле лишь кирпичные стояки, крытые штукатуркой. Кое-где штукатурка, потрепавшись, обвалилась, и ржаво краснеющий кирпич издали казался цветными заплатками на этих дырах.

Березы растолстели за долгую жизнь и коряво изгибались под грузом лет, а тени их отползали от электрической лампочки, которую рано зажигали на столбе, чтобы не забыть. Лампочка освещала дорогу в село, а не церковь.

Игнату помнилось, что когда-то у дороги шепталась белая роща, здесь, в этой роще, он давно, до школы еще, нашел свой первый подберезовик. В безнадежном предвидении, что скоро сюда пожалует город и съест и само село, и рощу, пошли рубить березы на плёвые сарайчики, на ограды, на дрова, пока не свели все до единой, кроме этой прицерковной троицы.

А город остановился. Вместо градостроительства взялась за свое война. И село доньше еще жило на своем месте, только рощи не было. Словно бы от обиды на людей, березы больше не росли здесь, среди пней, облепленных, бывало, опятами. С годами как-то незаметно и пни исчезали, сгнили, разветрились. Да чего — незаметно, когда ему, Игнату, уже перевалило за сорок. Незаметно проходит жизнь...

Он впервые сделал такое открытие сейчас, когда появилось время подумать о многом, и усмехнулся, прячась от испуга. Не что-то ведь проходило, а жизнь! Сидел на

старом валуне, веками заставлявшем узкую тропу в траве огибать эту достопримечательность, и делал открытия, изводя одну сигарету за другой...

Время у Игната появилось, потому что его уволили с работы. Сразу он даже и не сомневался — позовут назад, наказание оценивал исключительно как моральное. Клава заставляла пойти к начальству, потолковать, выдать ребят, из-за которых его уволили. Буквально заливалась слезами. А он соглашался с ней, пока слушал, но потом вдруг решал: нет. Не пойдет. Он прикрыл молодых ребят, почти молча вынес все расспросы и разговоры, так что же, для того чтобы теперь завалить Володьку и Петю, которым верил? Они клялись, что все вышло без умысла, нечаянно, и стучали себя в грудь кулаками как шальные, а он помнил: месяца не прошло, как у Володьки родился сын, а Петя вот-вот на свадьбу позовет. Его, Игната, бригадира, безмолвно взявшего на себя чужую вину, только уволили, все же посчитались с ним, а их могли и под суд отдать.

Целый месяц он ждал — вернут на каменную стену новостройки. В отпуск, полученный при увольнении — хоть что-то дали за хорошую работу, правда, без путевки на этот раз, — никуда не поехал. Из-за того, что ждал. Но так и не позвали. А он все ждал, пока не понял: ждать — не дожждаться! Теперь он уже не ждал, но все же и на другую работу не спешил устраиваться. Больше недели жил тунеядцем...

Жил Игнат не в этом селе, а по соседству, в деревеньке, тоже под боком у города. В первые дни после внезапного увольнения прятался дома, стыдился людских вопросов, а в последние, наоборот, выходил во двор, прилипал к плетню, часами маячил в одной точке, а то и выбредал на улицу, усаживался на скамейке, отполированной разными задами, надеялся, что кто-нибудь из знакомых — а тут все подряд знакомые — присядет рядом, закурит, сам спросит, тебе ответит. И получится разговор. Но люди на глазах проходили мимо, даже пробежали, у них не было времени. Ни у кого.

Некоторых Игнат пытался остановить, похлопывая ладонью по скамейке, заманивая посидеть, но они отговаривались на бегу:

— Дома ждут, сын чего-то в школе натворил!..

— Рад бы, да время нет!..

Иные, правда, сами останавливались и даже тянули

«хлопнуть по рюмочке», хотя рюмок-то и не видели сроду, запросто обходясь гранеными стаканами, но Игнат — верьте не верьте, а не пил. Смолоду Клава пригрозила, что уйдет, если муж не устоит перед пьянью, и теперь он благодарил ее за характер. С ней можно бы побеседовать, но уж всё оббеседовали, как примется снова слезы лить, нет...

И стал он вечерами уходить в соседнее село, под видом прогулки, на час, на два. Может, здесь у кого найдется время? Он ведь не собирался ни помощи просить, ни защиты, ничего, только душу отвести. И сидел на старом камне одиноко, если не считать сигареты.

— Добрый вечер!

Игнат оглянулся на чей-то обильный голос и от неожиданности подавился своим дымом, задохал до слез, а потом долго отфыркивался и сморкался. За его спиной к валуну подошел поп, натуральный поп, в рясе, крепкий, хотя уж и немолодой, с седой бороденкой и румяным, расплывшимся лицом.

— Можно, и я тут сяду? — спросил он и опустил на край камня, проверяя рукой, хорошо ли подмахнулась сзади ряса.— А вечер и в самом деле добрый!

— Да,— подтвердил Игнат, раздумывая, не уйти ли, то есть не удрать ли, дождался, хотя с детства никакой нужды в попах не испытывал.

— Сигареточкой угостите?

— А вам можно? — спросил Игнат.

— Всем нельзя. А все курят! Очень уж пахнет вкусно!

— А моя жена ругается,— усмехнулся Игнат, поднося попу спичку.— Ей невкусно. «Эка,— говорит,— провонялся насквозь! Сам гулять идешь, а сам...»

— Женщина,— сказал поп.— Господь ее простит.

Прикрывая глаза, он со счастьем затягивался. Покопсил разок назад, в гору. Невесте когда природа воткнула в землю этот валун на спуске к речушке, сплошь заросшей кустарником, по этой тропе редко кто ходил, и поп успокоился: докурит, авось не заметят.

Вместе с ним Игнат невольно глянул наверх, на стояки от ворот.

— У церкви ворота были? И ограда, значит, была? Зачем и почему?

— Интересно?

— По моей фантазии — церковь всегда открытая, перед ней — поляна, ну, словом, простор, заходи себе. А тут...

— Думаю, от скота возвели забор. Там — город, стадо гнали всегда отсюда, а корова, как известно, глупа до полного равнодушия к чему угодно. От автомашины, например, даже баран сам отскакивает, а корова — гуди шофер, не гуди — шествует себе, ни с чем не считаясь. Объезжай!

— А может, это она от гордости? — спросил Игнат для шутки, ему вдруг захотелось улыбнуться.

— Вот-вот! Но ведь нет ничего глупее гордости-то! Да еще коровьей! — зычно посмеялся поп. — Они, грешницы, должны, и на паперть забредали. Вот и пришлось отгораживаться!

— А сейчас-то не надо?

— О-хо-хо! — уже не засмеялся, а глубоко вздохнул поп. — Церквушка наша еще работает, но коров-то в селе уж нет! Все за счет города живут. В магазине — молоко, кефир, сметана... Постоял в очереди — и пожалуйста!

— Откуда ж все это в магазине берется?

— С молокозавода.

— А на молокозаводе откуда?

— С молочнотоварной фермы, вестимо. Вы сами по профессии кто?

— Строитель.

— В городе работаете? А живете где?

— В Любимовке.

— То-то, я смотрю, человек вроде незнакомый. Просто, значит, приходите посидеть на камушке вечерами?

Он так и сказал «вечерами», значит, давно приметил его, вербовщик, свое дело делает, за пару добрых слов еще молиться поволокет. А это уж не лучше, чем выпить. Держи ухо остро, Игнат!

— Я неверующий, — на всякий случай объявил он.

— Ну и што? — спросил поп, и это «ш» было у него мягким, плывущим во все края, как его лукаво-добрая рожа. — Важно верить в себя. Молясь, человек очищается и мобилизуется. Человек и есть бог.

— Это кто сказал?

— Лев Николаевич.

— Какой Лев Николаевич?

— Толстой.

— А-а!

— Не читали?

— Ну, как можно! Читал. Но давно, правду сказать. Еще в школе. С некоторых пор в руках не книга, а мастерок

с молотком. Кирпич, раствор... Дом за домом, дом за домом...

— Вы — каменщик?

— Можно и так сказать, точно. Хотя был бригадиром.

— Почему — был?

— Уволили.

— За что?

— А я и сам не знаю!

— То-то и крутит вас! Расскажите-ка, если хочется, без притворства. Я послушаю. Время у меня есть. Чего ухмыляетесь?

— Да того... Очень уж большая нынче редкость — время! Денег у людей хватает, а времени нет. Это именно меня и пугает страшно: куда вдруг все время делось?

— Не оно виновато — люди.

— Что же стало с людьми?

— Некогда.

— Увольнять бы, что ли, тех, кому очень уж некогда и кто по этой причине совсем разучился замечать вокруг себя других. Пусть вспомнят, как раньше жили, как их самих другие замечали. Неплохо было.

— С вами-то что случилось?

— Ничего. Просто я перестал в людей верить.

— Опомнитесь! Страшней этого в жизни не бывает! А говорите — ничего... Молчите? Ну ладно, я вам скажу. Обидели вас.

— Я вовсе и не обидчивый.

— Еще хуже! Значит, потрясенный!

— Вы-то откуда знаете?

— О себе потом расскажу, а сейчас вас послушаю. Не по обязанности, а по характеру. Ну? Запалим еще по штучке для начала? — И отменным голосом, совсем как в опере, где Игнат не был ни разу в жизни, а только по радио слышал, поп возгласил: — Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой!

Нет, здорово вербовал в свой приход, обкручивал. Смех! И уверенный, что ни в коем случае не поддастся соблазнам собеседника, Игнат тем не менее рассказал ему про Володьку с Петей, которых остановил какой-то дачник, когда они ехали на работу, ребята всегда подъезжали на свою стройку попутно с кирпичом. Дачник уговорил свернуть к нему во двор, засаженный цветущими пионами, и свалить там кирпич с машины. Как назло, и шофер дал себя уло-

мать. Два пиона раздавили в спешке, но хозяин сказал: «Черт с ними!» И заплатил хорошо. Очень радовался, что может начать ремонт. Ну а с ним, с Игнатом, начальство, которое засекло происшествие, как начало разговор? «Ты подрядился эту работу делать?» Он молчал. «Ну, значит, ты!» Он не отпирался. Так и вышло, что он прикрыл Володьку с Петей. Промолчал, что к происшествию непричастен.

— А Володька? — спросил поп. — А Петя?

— Что?

— Тоже молчат? Негоже! Они должны к начальству побегать бы!

— Так, наверно. А мне и в голову не пришло... Как вас зовут? А то не скажешь ведь товарищ поп или товарищ батюшка. Я ж неверующий.

— Это вы говорили уже, я помню. Алексей Григорьич я. А вы?

— Игнат Семеныч.

— Будем знакомы.

Чуть привстав, они пожали друг другу руку на древнем камне.

— А что теперь мне делать, Алексей Григорьич?

Подумав и плескучей ладонью сразив комара на шее, поп ответил:

— К дачнику тому заглянуть. Я почему-то полагаю, что ваши Володька с Петей там и работают, типун мне на язык. Это они себе привезли кирпич.

— Да ну?!

— А если нет, слава богу! Тем более ради этого стоит сходить. Скажете потом: поп дурак, а ребят своих полюбите еще крепче.

— Хм! Не пойду я.

— Ошибиться боитесь? Самолюбивый?

Сверху, с еще зеленого, не до полной пропажи потемневшего склона, донесся визгливо-резкий бабий голос:

— Ай-яй-яй-яй-яй! Нет, гляньте-ка! Люди добрые! Сидит и...

— От комаров! — крикнул поп, выбрасывая окурочек подальше.

— Родная ведь дочь-то, а ему хоть бы хны! Ее дома нет до сих пор, а он сидит, грешник, и...

— От комаров! — рывкнул поп и встал со стоном.— Не спасешься от нее никогда. Прости, господи!

Игнат тоже встал, чтобы на прощание пожать руку грешнику, и услышал, что поп шепотом обещает спуститься сюда и завтра.

— Приходите и вы, Игнат Семеныч, а?

## 2

Утром Игнат еще в постели зажал сигарету зубами, спичкой почиркал потихоньку, чтоб Клава не услышала, что он проснулся, и не прибежала из кухни. Никто ему не был сейчас нужен. Все люди, увы, бывают шумными, а ему была нужна одна тишина, к которой он привык.

На дачу он в самом деле не пойдет. Да он и знать не знает, где эта дача. Не спрашивать же, где она, голу-бушка, вся в пионах. Тыфу на нее! И на Володьку с Петей. Если он вдруг увидит их там, то огреет и того и другого, у него на двух сразу хватит неизрасходованного запаса в руке. И на попа, который назвал его самолюбивым,— тыфу! Нет у него, Игната, никакой пустой фанаберии. И не было никогда. Просто-напросто любое хождение ущемляло его достоинство. А какое же у него достоинство при его-то невысоком ранге, при его-то незаметной жизни? Он подумал и сам себе ответил: человеческое.

Никуда он не пойдет — ни утром, ни днем, ни вечером!

Но едва приняв такое решение, Игнат подумал, а верно ли оно? Человек не только выслушал его, но и пригласил... Зачем? А что, если и ему нужен слушатель? Если что-то изодрало его верующую душу, а рассказать некому? А? Очень может быть... Вспомнилось, Алексей Григорьевич сказал вчера: «О себе потом расскажу, а сейчас вас послушаю...» Позавтракав, Игнат засунул в карман новую пачку сигарет и стал ждать вечера. А только месяц прорезался в сером небе и синие тени от старых берез легли на землю под электрической лампочкой, он уже сидел на валуне.

Алексей Григорьевич спросил, подходя:

— Закурили без меня?

— Так от комаров же! — ухмыльнулся Игнат.

Поп озверело хлопнул себя по лбу и протянул руку за сигаретой:

— Свят, свят, свят!

Игнат дал ему сигарету и зажег спичку.

— Вы где живете-то? Я смотрю, при церкви хозяйства нет.

— А вон моя избенка, на отшибе! — Алексей Григорьевич махнул рукой на избу с палкой дыма.— Я, жена и дочь Зина... И корова и кролики... И собака с «незастрахованной» кличкой Полкан.

— Ага! Держите корову?

— Хозяйка. Трудновато ей, правда, немолодая...

— А дочка?

— А дочка... Дайте мне еще сигареточку, Игнат Семеныч!

— Зачастили.

— Комары! — Поп чувствительно похлопал его по плечу и снова засмеялся.— На дачу не ходили? Не искали?

— Нет.

— Так я и думал. А к начальству своему?

— Зачем?

— Поклониться и сказать: «Виноват, каюсь. Возьмите обратно!» Вы ж работу любите. Все остальное перемелется, мука будет, а без работы не проживете. Не без денег, а без нее, матушки. Ради нее стоит и начальство простить.

— Как же?! — удивился Игнат.— За столько лет — никакого повода, а они: «Ты подрядился?» Не поняли! Не захотели.

— Так ведь и начальство надо понять! Тоже люди. Не с неба упали, на земле выросли. Один горяч, другой спесив, третий просто глуп, это хуже всего. Неисправимо! Четвертый устал. И уж об одном мысли — об отпуске. Отдохнет — и снова замечательный.— Поп схватил его за руку и сдавил.— Не теряйте веру в людей, Игнат Семеныч. Никогда, никогда, никогда!.. Потерять веру в человека еще хуже, чем в бога!

— Почему?

Алексей Григорьевич задумался, маленькие глаза его густо помрачнели, а потом опять он засмеялся.

— Да потому, что если вы не верите в бога, то ведь больше-то никого нет вокруг вас, кроме человека да живности неразумной. А как же тогда жить, если ты один и... никого вокруг?

— Человек человеку — брат?

— Конечно, считать, что все вокруг твои братья,— это чистый идеализм. Но еще хуже думать, что среди людей у тебя нет и не может быть ни брата, ни друга. Это уже фашизм, Игнат Семеныч. А фашисты — не люди. Не знаю, как вы, опоздали, должно быть, молодой, а я их бил,



бил, и, как вспомню, все мне мало! Фашисты — это не люди! — повторил он.

— Где вы били их? На войне?

— А где же? Мы громили их в своих танках от Орла до Берлина!

— Вы — в танке?

— Думаете, я не был молодым?

— Да нет, не думаю, но как-то... Словом, ряса и — танк!

— А рясы еще не было. Был танкист Алексей Прошин, башенный стрелок...

— А как же это вы стали *им*?

— Попом? — спросил Алексей Григорьевич. — Коротко сказать, добровольно.

— А не коротко?

— Сначала обещайте мне, Игнат Семеныч, что переберете в уме всех своих начальников... выберете лучшего и пойдете. На работу. Пусть не бригадиром, а пониже.

— А возьмут?

— Если что, приходите сюда. Посидим на камушке, потолкуем, как кумушки.

— Точно у вас своих забот нет.

— Что вы, господа! — Выжидательно проследив за полетом комара, поп убил его между ладонями. — Церковь в ремонте нуждается, как инвалид. Давненько уж настрочил письмо в епархию, не отвечают.

— Бюрократия!

— А не подрядить ли вас бригадиром на ремонт? А? Заплатим прилично. Материал выделяют, все честь честью.

Тут Игнат и поймал себя на мысли, что, кажется, докопался до истинной причины внимания к себе. Кто-нибудь из любимовских или местных нацелил эту добрую душу на безработного строителя, на свободные руки, вот он и подбирается потихоньку. Но Алексей Григорьевич сам развеял его подозрение:

— Не вдохновляет? Ладно, стройте город. Подберу я себе песочников. Это не главная моя забота.

— А что главнее?

— Дочь, — коротко сказал поп. — Когда надевал рясу, то не думал о дочери. А сейчас откликается. Думаю день и ночь. Исполнилось ей семнадцать, весь мир — сказка! Ее сказка! А я загнал девушку в эту избенку между городом и селом. В одном окне — церковь, в другом — мать, ждет и ждет, когда дочка домой вернется, каждый вечер,

который едва начался, ей кажется уже поздней ночью. Беда! Изо всех бед — беда! Извелось мое сердце. Ах! Дайте еще сигарету... — Алексей Григорьевич закурил и прикрыл глаза. — В школе с ней особенно не водились, ни мальчишки, ни девчонки... Поповская дочка! В дом к нам, точнее выразиться, в эту избушку, не ходили... Так и выросла она с кроликами. Тихая, робкая. Один страх, какая робкая! Пошла на швейную фабрику работать. И канвалер появился. Я рад! Она рассказывает, мать пугается, а я радуюсь. И ей, как останемся где вдвоем, песенки пою бесшабашные. Веселю ее. Жизнь — это ведь что, если почеловачески? Это радость. Слушай, как другие поют, сам пой и тоже радуйся. За себя, за них. Но друг сердца проводил ее раз, другой — и нету. Все узрел. Церковь, избенку и... пропал, словом. А она с того дня стала еще тише. Замолкла. А уж и была — дальше некуда! Говорил я вам это? Говорил. Вот тут-то окончательно и взошла моя душа на Голгофу! Теперь-то все, что осталось, готов отдать за нее, за дочь свою, а не выручишь этим, не откупишься. У вас есть дети?

— Лечилась жена, ездила туда-сюда, на разные грязи, а нет.

— Тоже горе! Но не знаю, что лучше, — басовито прошептал поп. — Может, лучше, чтоб их не было. Грех, ох, какой грех в этих словах, непозволительно жизнь осуждать, но если я кого и сужу под старость лет, то одного лишь себя. Убить бы этого башенного стрелка в свое время!

— Ну уж это бросьте!.. Лишнее говорите.

— Дал бы вам бог здоровья за сочувствие, — поп перекрестил Игната, — но этим не спасешь меня. Ни от самосуда, ни от мыслей про Зину. Ей сейчас уже девятнадцатый, и собой, как присмотришься, хороша, хоть веселой и не бывает. С некоторых пор, правда, вдруг заулыбалась... Солнышко!

— Знакомый, что ли, новый?

— Шофер с почты.

— Хороший парень?

— Бандит. У него и правда рожа бандитская, а глаза такие, не приведи бог. Одни глаза приснятся ночью, накроешься одеялом и заорешь!

— А дочь-то Зина, что говорит о нем?

— Батюшка, — говорит, — лучше его на всем белом свете нет. Пальцем меня не трогает, трепещет. А сельские бабки твердят: «Бандит!» Кому верить?

— Дочери, по-моему. Бабки судят вообще, а она конкретно.

— А! Выпей мы с вами рюмочку, поцеловал бы я вас за эти слова, Игнат Семеныч. От души! А на трезвую голову скажете, сумасшедший поп! Ну еще выпьем.

— Я не пью.

— Как? Совсем? А твердят, земля без чудес. Вот же оно.— чудо! Эка! — Алексей Григорьевич закачал головой, и долгое качание перешло в сожалеющее и даже осуждающее.— А ведь это нехорошо! Вдруг с начальником каким придется выпить по рюмочке под разговор.

— Тогда уж выпью.

— Ну авось и мы выпьем. По наперсточку. Почему мне ваш совет по нраву? Попадья за бабками повторяет: «Бандит!» А я ведь тоже за него, за этого бандита. Честно говоря, мне по нраву люди лихие, я и сам был лихим парнем — что в бою, что в пляске, ей-богу! До того, конечно, как рясу надел. А было это вот как...

Они закурили еще по сигаретке, попыхивая в темноте жарким дымком, и тут со склона долетело:

— Ай-яй-яй-яй-яй! Опять сидит и...

Алексей Григорьевич вскочил, засуетился, ну, матушка, не дает поговорить по душам, но Игнат успел заверить его, что завтра придет как штык, пользуясь выражением фронтовиков, еще живым до сих пор...

### 3

Назавтра он прошел мимо своей стройки и нанялся на соседней. Не все ли равно, где стены класть? Тем же горожанам, те же квартиры. И возвращался домой счастливым. Даже и угадать не мог, что станет так легко на душе, будто она крылышки распустила. Вот и на работу, к жизни. Участок оставал, взяли без лишних разговоров, вот и ладно!

Клава наготовила окрошки, пирожков, поел про запас, а до вечера было еще далеко. Тянуло поскорей рассказать Алексею Григорьевичу, как все хорошо. Но вот и вечер...

Опясывая город, дорога из Любимовки в село с той старой церквушкой, что заждалась ремонта, ползла с увала на увал, будто по стиральной доске, натыкалась на пруд, в котором когда-то водились караси и цвели кувшинки, а теперь только лягушки мирно квакали, и вода из светлоголубой стала пыльной, за прудом торопливой петлей взлетала к полевому перекрестку с охапкой кустиков, как

с ручным букетом, и дальше по вольному полю бежала к воспоминаниям о березовой роще. Из-за последнего бугра уже выглядывали макушки трех живых берез и чуть косою крест на колокольне.

У кустарника, хилого от ветров и жгучих солнечных лучей, в дорожной колее, приглушенной травкой, стоял светлый автомобильный фургон, легкая и блестящая машина каких-то нетерпеливых очертаний, с синим словом «Почта» на боку. Возле нее скреб землю каблуком тяжелого ботинка заросший парень, по виду цыган или азербайджанец. А может, и нет. Бывают же и на Руси такие чернявые типы. Лоб — под курчавым смоляным чубом, глаза — антрацитовые куски с блеском и жаром, на висках и за ушами — космы, умятые ладонями, а лицо — вытесанное топором, без всякой отделки, и рот — большой, все время предостерегающе улыбается, и губа над этой улыбкой подрагивает страшновато.

— Здравствуйте, Игнат Семеныч. Мы вас ждем.

— Здравствуйте,— ответил Игнат.— Кто это — мы?

Вслед за парнем он посмотрел на лобовое стекло почтового фургона и, увидев девичью голову в платке, от которого цветные клетки ярко разбежались по всему стеклу, догадался, что это и есть она, поповская дочка. Тем более что парень позвал:

— Зина!

— Сам ему скажи,— ответила Зина в щель над опущенным стеклом и потупилась.

— А чего мне-то? — испугался Игнат.— Я вас знать не знаю. Я...

— Мы вас знаем,— властно перебил парень тоном, не выносящим возражений, а Зина, хорошея от румянца во всю щеку, добавила:

— Папа о вас рассказывал. Вы — хороший.

А парень вдруг доверчиво развел оброненными руками и совсем как ребенок попросил:

— Помогите нам!

— Бежите? — вслух подумал о них Игнат.

— Бежим.

— Куда?

— Куда-нибудь в Сибирь. Где люди нужней.

Игнат похмыкал и сказал неожиданно для себя:

— Замечательно! Но еще замечательней сначала бы свадьбу справить, и чтоб родители сидели рядышком, а? Кто вам мешает?

— Мать,— коротко и определенно сказал парень.

— Мама,— прибавила Зина и заплакала.

Парень сейчас же подскочил к ней, что-то шепча и протягивая платок, но она не увидела из-за слез, он сам принялся вытирать их, говоря Игнату:

— Ее мать против меня, как бандита. А какой я бандит? С шестнадцати лет работаю.

— Ее — против, а ваша?

— А я в детдоме вырос. У меня ни матери, ни отца.

— Это тоже пугает маму! — воскликнула Зина горестно. — А что он — виноват? Ничего поправить нельзя.

— Все можно,— каменно и нежно перехватил ее вспыхивающую фразу парень. — Свадьба и скандал рядышком не усядутся. Да и не хочу усаживать. Разные вещи. Одинаединственная свадьба. На всю жизнь. И не испортим, если уедем как можно дальше. Хоть на самый край света, как говорят.

— А не боитесь?

— Добрые люди попадутся, а что еще надо?

— Папе передайте,— комкая платок, прошептала Зина.

— Понял уж. Передам.

— Передайте Алексею Григорьичу — пусть не клянет нас, а простит,— сказал парень и протянул руку: — Меня Васей зовут.

— Мы напишем,— ломким голосом пообещала Зина.

— И еще,— прибавил Вася.

— Что?

— Наш поезд ровно в девять. В девять все и скажите, нас уже не догонишь. А скажете раньше, сейчас, например,— мы пропали. Так что мы — в ваших руках.

Игнату не довелось растить своих детей, и вдруг эти двое показались ему детсадовской парой, за которую судьба внезапно наградилась его ответственностью. А кто такой этот Вася? Куда увезет он румяную девушку? А вдруг и правда бандит? Убьет, ограбит... Да что у нее брать-то? Клетчатый платок? И все же было мгновение, когда он внутренне дрогнул и чуть не выдал ребят Алексею Григорьевичу. Втянули его, постороннего, в какую-то личную историю, зачем, почему, мало того, что совсем чужая дочка, еще и поповская, с бандитом убежала...

«Да какой он бандит! — перебил себя Игнат. — С шестнадцати лет работает...»

И опять слушал Алексея Григорьевича, который рассказывал, как стал попом. Все началось с обиды. Ох, оби-

да! Злой сорняк в жизни! Сколько соков она выпила из людей, сколько судеб покалечила... Поп сказал:

— На обиде ничего строить нельзя, можно только ломать.

Городок, где жил он до войны, откуда ушел на фронт, недолго был в оккупации, но фашисты его разрушили. Нескольких домов осталось, в том числе и тот, где у Алексея Прошина, довоенного выпускника мукомольного техникума, неженатого итээровца местного мукомольного завода, была своя комната в общей квартире. Вернувшись с войны, он, конечно, заявился туда. А там — женщина с двумя малыми детьми. Да какая! Жена погибшего однокурсника, вот как.

— Я — в горисполком, справится, где же им жить. Вежливый человек сажает меня напротив, глядит в документы, на ордена и ласково успокаивает: «Ваше полное право, мы ее немедленно выселим». — «Как? У нее ж — дети! У нее — сын павшего героя!» — «Один-то — фронтовика, — ехидно говорит человек. — А второй ребеночек чей?» Ну, тут я и ляпнул: «Ах ты сукин черт! Она еще в сорок первом похоронку получила. Да и не все ли равно тебе — чья у нее дочь? Махонькая, с ноготок... Я найду себе место. А если ты выселишь кроху — убью!» И уехал я из этого города...

Оказывается, много людей крутилось после войны по своей земле, растеряв адреса. Ну, то есть ничего не найдя по старому адресу, ставшему адресом пустого места. Добрался Алексей Прошин к следующей весне до города, в который их танк ворвался первым. Когда-то. Быстро уходили в прошлое недавние дни. Ему-то и не надо было вспоминать, он их не забывал, а другие спрашивали, что и как было. Вот, значит, этот город. Всюду цветет сирень. Входит он в центральный городской сквер, присаживается на скамейку, чтобы послушать, как дети галдят вокруг, и вдруг вскакивает. Посреди цветов — невысокий постамент, косая площадка, и на этой гранитной площадке — танк. Их танк! Его танк!

— Подождгли нас тогда... Командира — на месте, водитель в госпитале глотнул воздуха в последний раз, а я — выбрался, выжил и в другую часть попал, тоже, конечно, в танк. А на граните — гляжу — три фамилии: Еремеев, Герашенко и Прошин. Алексей Прошин, да! «Погибли за освобождение нашего города». А я живой сижу и читаю свою фамилию. Сижу на скамейке перед танком. Думаю,

куда мне пойти? А зачем? Я в городе проездом. Выступить попросят — зареву, как начну рассказывать... Курнуть бы! Обшарил карманы — ничего, в те годы с куревом туго было. В табачном магазине женщина разъясняет: «Фронтвикам в облторге талоны дают на папиросы». Я ж еще в пилотке, в гимнастерке с орденами... Ну, думаю, нога здесь, нога там! Дунул в облторг. Там солидный дядя читает мои бумажки. «Не могу талона дать, вы у нас не прописаны». А сам курит! И тут меня подхватило. «Нет, говорю, я прописан». И рассказываю про танк. А он мне... — поп замолчал.

— Что? Алексей Григорьич! Что? — долго добивался Игнат.

— «Тот, говорит, Алексей Прошин свое выкурил. А ты, говорит, не примазывайся к чужой славе, милоч, если случайно имя и фамилия совпали»...

— Ну?

— Этого милка я ударил. Ждал, в милицию заберут. Не забрали. Испугался дядя чего-то... А больше я уж никуда не ходил.

— Обиделись?

— И уехал. К отцу. Другого адреса у меня не было.

— Так отец же! Хорошо!

— Он у меня священник. А это ведь какая профессия? Династическая, как у царей. До войны я из-за этого с отцом поругался вдрызг, пошел в мукомолы, а сейчас приехал, прослезился и от усталости, от обиды, от неустраиваемости... сдался. Работников везде недобор. В церквях тоже. Стал я попом. Станным, как меня называли.

— Почему?

— А я, например, в первые же выборы всю свою церковь портретами кандидатов в депутаты выклеил. Верующие же не лишены права голоса! И — переместили. Поехал в другую церковь.

— Сюда?

— Нет, это далеко не первая и не вторая...

— А с женой где познакомились, с попадьей?

— Это еще до рясы, в очереди за квартирой. Часто встречались. Молодые оба, она тоже воевала, медсестрой... Потом вместе ездили по разным местам, там — одно, тут — другое, пока не сослали в эту старенькую церквушку... Так и прошла вся жизнь. Обиделся на двух дураков, а сам в дураках остался... Вот. Что это вы на часы все смотрите? Сколько там?

— Скоро девять.

— Спешите нынче?

— Я? Нет. Да уж некуда и спешить. Считайте, поезд ушел.

— Какой поезд?

Опасливо, всеми мышцами горла подстегивая голос, внезапно начавший пропадать, Игнат рассказал ему о Зине с Васей, о том, что они уже едут...

— Куда?

— Не знаю. Сами уточнят. Думаю, скоро будет вам письмо.

Алексей Григорьевич встал и огляделся. И размахнул руки. Вовсю! Честно говоря, Игнат отклонился. Вмажет батюшка: заслужил. Но когда Алексей Григорьевич повернулся к нему, лицо, краснеющее над седой бородой, сияло, а глаза зажглись в вечернем воздухе, как лампы.

— Ура! — прошептал он. — А чего это я шепчу? Ура! — Он крикнул на всю округу. — Моя дочка. Мой характер. Сработало! Ого-го! — загоготал он. — Игнаша! Дай я поцелую тебя!

Алексей Григорьевич поцеловал его три раза, постоял и стал стаскивать с себя рясу.

— Я сейчас плясать буду!

И верно, без рясы и без музыки пустился в пляс у древнего валуна.

— Земля треснет! — кричал ему Игнат.

— Выдержит! — отвечал поп.

— Ай-яй-яй! — неслось со склона.



# БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА

С мешно, но друзьям моей дочери невольно казалось, что и тогда я был уже немолодым. Ну, не бело-бородым, не согнутым в три погибели, но определенно в годах. А между тем в том декабре мне исполнился двадцать один, и, значит, было немного меньше, чем им самим, студентам-пятикурсникам, сегодня.

Война экзаменовала нас четыре года, и пусть они, эти годы, были необычно долгими, а иные дни запомнились как бесконечные, и порой кажется, что они еще длятся — обернешься и увидишь тех, кого так и не дождались с дальних дорог, и услышишь, как живые, голоса, которые молчат беспробудно, все равно по календарному счету война была нашим университетом, это она дала нам высшее образование. В сорок первом нас взяли на фронт с первого курса.

Друзья моей дочери иногда собираются у нее и затевают свои беседы, пьют чай и кофе, курят, спорят обо всем на свете, как и полагается молодежи. В последний вечер, когда я появился дома и толкнул дверь в столовую, чтобы поприветствовать компанию, один из них, наиболее горячий, громкий и забиячливый, крикнул, подталкивая к переносице сползающие очки:

— Вот сейчас мы услышим что надо! У нас идет жуткий спор!

— Жуткий?

— Папа! Разговор серьезный. Или соответствуй, или...

— Я понял. О чем же разговор?

— О любви, представьте себе.

— Ой!

— Да ну!.. Мы для него еще дети, от него не дождешься понимания, — дочь махнула на меня рукой.

— А почему вы решили спросить меня? Мне кажется,

в этом деле нет ни знатоков, ни специалистов, а... А каждый случай — другой! Не бывает любви по стандарту, думать иначе и обидно и глупо. Вот, по-моему, и все, что можно сказать...

— Нет, не все. Сейчас мы вам объясним.

— Можно, я? — крикнул горячий парень, опять поправляя свои очки.

— Лучше Леня!

Леня считался умницей и был кудрявым толстяком с розовым теплом на мягких щеках и обильным, но притаенным светом в крупных глазах, в детстве просто улыбочивых, а сейчас уже ироничных. Он жил в нашем подъезде и на такие вот дружеские посиделки поднимался по первому телефонному звонку.

— Вы не возражайте, пожалуйста, — попросил он. — и тогда я сразу подведу вас к главной точке нашего спора. Любовь не дана человеку кем-то или чем-то, например богом или судьбой, раз и навсегда и поэтому не существует в каком-то постоянном качестве. Было, когда из-за женщины стрелялись, убивали за одно неучтивое слово по адресу любимой. Сейчас это смешно. Из жизни изгнан театр, но цена и роль любви одновременно упали. И падают. Кое-кто из нас говорит, виновато равноправие между женщинами и мужчинами. Некого защищать! Кое-кто утверждает, что любовь с ее заоблачных высот уронила война... Куда ей, бедной, падать, коль роняют? На грязную землю, в село, где на всех уцелевших баб один мужик-инвалид. Было, было! Нам не хочется задевать ваших святых воспоминаний, связанных с войной, но давайте считаться с реальностями, а не вымыслами, от которых за километры тянет фальшью. Была ли на войне высокая любовь?

— Спросим проще, — прорвался забияка, так и не справившись с очками на носу и сдернув их. — Была ли на войне любовь, потому что она всегда или высокая, или никакая... Или есть, или нет!

— А как вы к этому относитесь, Леня?

— Здорово. О войне сказал я. Это исторический факт. И за годы, в которые родились мы, грешные, любовь еще не воспарила в небеса, на свое место. А может быть, никогда больше и не воспарит! Подниматься тяжелее, чем падать. Ну, открывайте огонь! Подставляю грудь. Пли! Я молчал.

— Слушаем человека, прошедшего войну! — с надеждой

подбодрила меня подружка дочери, разминая в худой ладони «конский хвост» жидких волос.

Я молчал.

— Конечно,— помявшись на стуле, прибавил Леня,— мы готовы услышать общие слова, но можем и сами сказать их, сколько хотите, любых, всяких. Не они нам нужны.

— А что?

— Случай.

— Вот именно — случай, как вы раньше заметили.

— Из тех военных дней.

— Он скажет сам за себя.

— Хоть один!

Я молчал. Горько было сознаться, что сначала требовалось вспомнить что-то, а не вспоминалось как назло, хоть я не сомневался, что такой случай был. Я твердо верил, нет, знал, что рядом со смертью все мелочи отлетали от подлинных чувств. А не вспоминалось ничего! Гости дочери так и ушли, не дождавшись моего рассказа.

...Уснуть я не мог. Вспомнился капитан, который писал жене каждый день, то есть иногда это было уже и за полночь. Даже если на сон выкраивалось не больше получаса в сутки, он не ложился, не черкнув домой хоть строки.

— Она волнуется,— говорил он,— я, брат, не могу, когда она волнуется.

И сначала в части посмеивались над ним, а после над теми, кто не писал домой. Этот капитан, не заставляя, всех вокруг заставил писать родным и любимым чаще...

Была совсем юная женщина, на семейную жизнь которой война до своего первого выстрела открыла одну неделю. Пятнадцатого июня эта пара справила свадьбу, двадцать второго началась война, и на завтра муж в товарном вагоне уже ехал к не очень далекой границе. Через день или два молодая жена пешком пошла за ним. Шла туда, где было хуже,— по рассказам беженцев, по всем дорогам кативших навстречу свои визгливые тачки.

Она не сомневалась, что муж спешил туда, где хуже всего, где пожары и дымы уже обволокли землю.

Верьте не верьте, но в полусожженной деревне за Днепром безрассудная путешественница встретила своего мужа. Здесь стоял наш артиллерийский дивизион, отведенный для срочного переформирования, мой дивизион, в котором был и я, начавший войну наводчиком орудия. Командир дивизиона, при котором встретились молодые,

распорядился, чтобы женщины не было в деревне через час. Чтобы исчезла. Он был хорошим и храбрым командиром дивизиона, но тем более не понимал, как это разрешить, чтобы женщина, да что там — девчонка! — отыскала на войне своего мужа, рядового бойца, и осталась с ним. Непорядок!

— Хорошо, — сказала она.

— Пойдем, я провожу тебя, — сказал муж, — сама понимаешь.

— Понимаю, — сказала она и пошла к комиссару полка.

— Почти семьсот километров пешком? — спросил комиссар. — Ох ты!

— Я не считала. Может, и больше.

— Ты подумай! — удивился комиссар и восхищенно уставился на нее. — Всем бы нашим женам такими быть.

— С ума сошел! — не выдержал командир полка и даже рассмеялся. — Она ненормальная! Не обижайтесь, барышня.

А комиссар, пока стоял наш полк в этой деревне, решил гостье с мужем жить в хате, которую они сняли у доброй хозяйки за спасибо.

С утра до ночи мы искали свободную минуту и бегали по траве и пыли мимо хаты, чтобы увидеть ясноглазую, беленькую, с золотисто-шелковыми, какими-то младенческими прядками хрупкую жену нашего однополчанина, улыбнуться ей.

Он пал в бою с фашистскими танками раньше, чем она вернулась домой, но спустя свой срок у нее родилась дочь, а сейчас уже есть и внуки. До сих пор многие из нашей части переписываются благодаря этой «ненормальной» и пишут ей самой...

За окнами вместо черноты, проколотой иглистыми фонарями, висела уже рыхлая серость. А когда в облаке напротив нашего высокого этажа зардела заря, я откопал сигареты под подушкой и задымил от досады. И удивился, как мог я не рассказать о своем друге, фотокорреспонденте фронтовой газеты, который на переднем крае в каждой пленке оставлял два-три неснятых кадра, а в Краснодаре бегал на окраину города, к девушке, с которой познакомился в день его освобождения, снова заряжал почти использованные кассеты и дощелкивал их, нацеливая объектив на нее, эту девушку, которую, как счастливо и порой тоскливо признавался нам, любил все больше.

Он и так слыл не робким, а эта любовь делала его бесстрашным, порой, казалось, до сумасбродства, и он взбирался по самым рискованным тропам на одетые вихрями огня высоты «Голубой линии», ходил в десанты через реки и лиманы, а когда его пытались образумить, отвечал одинаково:

— Со мной не может ничего случиться! У меня на каждой пленке остается два-три кадра, которые я должен доснять в Краснодаре. Это мой талисман.

Увы, война не считалась с талисманами. Он был ранен и утонул в плавнях, так и не сделав самых последних снимков и, как выяснилось, ничего не сказав о своей любви этой девушке, в домике которой, на бечевках под потолком, висели проявленные фотопленки с ее пугливыми улыбками по соседству с неподдельными сценами и героями завершающего этапа Кавказской битвы — их хватило на музей.

Едва я беззвучно сказал себе: «Кавказской», как дверь словно распахнулась... Я даже повернулся к ней. Она была захлопнута, и показалось, сейчас стукнут в нее тихонько, стеснительно, потом громче, нетерпеливей, и едва я приподнимусь на койке, вывернув голову из-под простыни, и скажу: «Входите! Открыто!», как она распахнется настежь, и в комнату войдет коренастый и капельку неуклюжий от этого, с тяжеловатым лицом и крохотными глазами, тридцатилетний командир танкового полка майор Егоршин.

Я только что приехал из его полка, с Терека, где провел неделю, полную железного лязга, — его полк насмерть сражался с наступавшими фашистскими танками. Через месяц прозвучало название — Сталинград, через два все переменялось, но еще никто из нас не знал этих сроков, и за холмиками у горных дорог, в ямах, вырытых саперными лопатками на кавказских склонах, залегали истребители танков, вооруженные гранатами или бутылками с горючей смесью, а то и длинными противотанковыми ружьями, на быстрые, наспех оборудованные позиции выкатывались легкие и юркие сорокапятки — противотанковые орудия, а если их не хватало, то опускала свои длинные жерла и зенитная артиллерия, и выкатывались на прямую наводку тяжелые гаубицы, безропотно и с громом палившие по цели впрямую, а когда и этого не хватало, под Гудермесом и Моздоком, например, на рельсах загрохотали старые бронепоезда, ожили, чтобы еще раз ударить по

врагу, массивные герои гражданской, до сих пор стоявшие на запасных путях.

Это было осенью сорок второго, когда колонны вражеских танков с десантами на броне рванулись вдоль Терека к Каспию, на запах грозненской и бакинской нефти, и спесивые генералы Гитлера, уверенные в безошибочности своих расчетов, обещали ему шестого сентября пройти через Грозный, а шестнадцатого — через Махачкалу. Но... сентябрь заканчивался, а враг все еще топтался далеко от заветных нефтяных вышек, хотя ему и удалось в двух или трех местах форсировать Терек. Единственное, что делал он успешно и не переставая, так это украшал берега бурной реки обожженными корпусами своих танков, ставших неподвижными. Десятки, а потом и сотни их с крестами на боках стали в том году неперменной деталью осеннего пейзажа на Кавказе. Их секли косые дожди, хлестала снежная крупа...

Где только могли, фашистские генералы снимали танки и кидали на кавказские дороги, считая, что вот-вот прорут, пройдут. Еще удар, еще... Но в самые критические минуты с ними грудь в грудь сталкивались наши танкисты, в том числе и полк Михаила Егоршина. Расставаясь с ним после недели почти непрерывных ночных перебросок, я сказал, что, если судьба вдруг закинет его в Грозный — мало ли чего не бывает на войне! — пусть хоть на несколько минут заходит в редакцию, куда меня давным-давно уж перевели из артиллерийского дивизиона. Больше из гостеприимства пригласил, даже не подозревал, что это может случиться на самом деле...

Той осенью наша редакция размещалась в многоэтажной и гулкой от пустынности гостинице «Грознефть». В ее каких-то забытых коридорах было тоскливо и то вылизано напоказ, выше всех санитарных норм, когда редакционные машинистки отрывались от срочных, неубывающих дел, распрямляли спины и устраивали аврал по выметанию пыли, грязи и бумажек из углов, а то так мусорно, как будто все эти щепки от дров, которыми топили «буржуйки» в невиданно и неслыханно роскошных номерах, и бумажные комки и клочки с фирменной эмблемой редакции копились тут веками.

В послевоенные годы мне по роду профессии, сопряженной с ненасытным людским любопытством, довелось покружиться по земле и попочевать в самых разных гостиницах родной и дальних стран. Скромная «Грознефть»

оказалась в моей жизни первой, да и не только в моей, а большинства молодых журналистов нашей газеты, до того знавших и помнивших разве лишь шумные палаты пионерских лагерей. И номера, вместившие в себя по одной кровати, одному шкафу, круглому столику с графином и телефоном, и по два, а то и три стула, правда, с таким трудом, что все предметы задевали друг за друга и мешали друг другу, без всяких скидок казались нам образцом роскоши.

— Кто там? — спросил я спросонья сквозь какой-то напряженно-громкий, требовательный стук в дверь. — Входите, открыто!

И вошел Егоршин. Я не сразу узнал его. Зимняя шапка была напялена на его крупную голову, и уши с каким-то голубым мехом опущены и связаны под подбородком. Как будто с Северного полюса! Перехватив мой взгляд, он поспешил растолковать:

— Ехали в «додже», стекло обмерзает на ходу, пришлось его приподнять. А гнали!

Он улыбался непослушными губами. Ночи, даже кавказские, уже делались зимними, да еще если мчаться в быстрой машине навстречу морозному воздуху, становящемуся ветром. Стянув шапку, Егоршин изо всех сил растирал кирпич подбородка.

— Красный, красный, — успокоил я. — Садитесь!

— Мало времени, — ответил он и остался на ногах.

Я догадался, что за эту малую долю времени что-то надобно сделать, и принялся одеваться, спрашивая, чтобы облегчить ему просьбу:

— Зачем приехали?

Поддержкой он не воспользовался, ответил в лоб и коротко:

— За новой техникой. Водителей привез, оставил в бараке у железнодорожной ветки. В пять подойдет эшелон. Сейчас, — он глянул на выдернутые карманные часы «Русскому герою», — второй. Вот и все мое время...

Егоршин успел мрачно нахмуриться и снова улыбнуться как-то виновато, а я подумал: может, человека при виде неостывшей постели соблазнит сон на два-три часа? А?

Параллельно подумалось, что фашисты в прошлые дни пытались перегруппироваться и ударить по Военно-Грузинской дороге, могущей привести к той же вожаделенной нефти, но наше командование перехватило удар и от-

швырнуло их от горловины Дарьяльского ущелья, по которому дорога пересекала Главный хребет. Там, в этих боях не на жизнь, а на смерть, были, видно, и танкисты Егоршина.

— Были,— одним словом подтвердил он.

Ну ясно, там и потрепали полк, после этого и прибывала, и торопилась новая техника. О боях он рассказывать не будет, не в его привычке, зачем же он постучался?

— Да садитесь вы! — крикнул я и сам сел к столу напротив неожиданного гостя, наполнив водопроводной водой никелированный электрический чайник с такой же никелированной подставкой на подоконнике — комфорт высшего класса! — Я вас слушаю. Что у вас?

— Пустяк... Даже неудобно.

— Курите и рассказывайте.

Егоршин вытащил из пачки и размял штук пять папирос, складывая в шеренгу перед собой, и наконец решился.

— Жену хочу увидеть,— сказал он, приподняв крохотные глаза.— Извините уж, но... Вот такое дело.

— Как увидеть? — взмолился я.— За эти три часа?

— Я могу,— серьезно ответил он.

— Где?

— В кино.

Меня осенило, и я спросил:

— Она артистка?

А он медленно помотал головой, улыбаясь еще теплее и нежнее, я даже и не подозревал, что он может так улыбаться, я смотрел на него зачарованно.

— Что вы, какая артистка! Учительница. С начала войны живет у моей матери, в деревне. Уехала в эшелоне с детишками — двое их у меня — с границы, где жили вместе. И до Вятки доехала.

— Счастье.

— А дальше-то как повезло! Не поверите! Приезжает в их деревню бригада из кино, из Москвы, доснимать картину...

— Красивая деревня?

— Там река... А деревенька, каких тысячи. Простая, как мир. Ну вот... Женщин растянули в очередь на паром, отбирают. И мою Лизу отобрали.

— Красивая небось?

— Для меня лучше нет, а для кого как — это мне уж не важно. Совсем.



— Молодец, что снялась.

— Пишет, как подумала, что вдруг я увижу, так и согласилась.

— И детишек взяла бы под бок!

— Да я уж писал ей... Но она белье полоскала на реке, а детишки были дома, с бабушкой... Не получилось. И я с ума сошел бы! Приехал бы в кино на танке да и захватил картину себе!

— А фильм уж вышел?

— Давно. Я его уже три раза видел.

— Повезло.

— Так я в один день три раза видел. В госпитале, в прошлом году. Знаете, такое там, в фильме, есть место: она поворачивается лицом... Найдем картину? Это ж ваша область!

Для человека, смотрящего на мир сквозь узкую щель в броне, сквозь прорезь, омытую одновременно и голубиной небой, и кровью, наверно, он, этот мир, экономно делится не на бесчисленные подробности, а на несколько емких областей. Есть там и одна такая, где дружно умещаются порою вовсе не соприкасающиеся в действительности газета, книга, клуб, кино, а может быть, еще и театр с музыкой...

— Конечно, наша! — ответил я в ждущие глаза Егоршина.

— Ну? — спросил он, задышав.

Я думал... Редакционная жизнь делилась на фронтовые поездки, где мы знакомились с людьми, чтобы написать о них, и будни в кабинетах за столами, где мы отписывались. За месяцы, проведенные в тревожном Грозном, я так и не узнал, работают ли здесь кинотеатры. Хоть один. И кого об этом спросить? Кто способен ответить мне на это в половине второго ночи? Вот телефон. Самая быстрая связь. Но кому позвонить? А человек ждет. Он вырвался из боя на три часа, и ему кажется, что у него в руках вечность, не меньше. Он любит и ждет.

И в моей памяти вспыхивает имя: Шайхи Ахматов, молодой чеченский поэт. Как-то я забежал в литературный отдел редакции стрелнуть папироску и увидел, что там стоит высокий и прямой, как натянутая бечева, и весь такой же тугой юноша, с крыльями черных волос на разлете, над высоким лбом. «Закуривай и слушай стихи», — сказали мне. Юноша был смертельно бледен, грудь его при дыхании приподнималась нервными рывками, голос

звенел, сливаясь в какую-то непостижимую мелодию. «Как?» — спросил меня сам Шайхи, закончив читать. «Я не понимаю по-чеченски». — «Стихи — это музыка!» — ледяным тоном сказал он. «Музыка, по-моему, прекрасна. Она слышна». — «Правда?» — как мальчишка, внезапно запунцовел поэт...

Я вытянул палец, наказал Егоршину сидеть тихо. Ли позвонил литзаву, как мы его называли, чтобы спросить, не знает ли он телефона Шайхи Ахматова, если у того вообще есть телефон. В ответ меня не очень литературно послали к черту, а вместо точки и даже восклицательного знака на том конце провода просто была положена трубка. Вторую попытку задать тот же вопрос литзав встретил более мирно:

— Эй, ты пьян или спятил?

— Я трезв, я не спятил и все объясню тебе завтра, потому что сейчас нет времени... Дело важное, поверь на слово.

— Скоро два!

— Именно поэтому и нет времени!

Телефона у Шайхи не было, а адрес его литзав дал по памяти. И мы поехали. Расторопный «додж» закрутил нас по городу, меняя проспекты на все более далекие и узкие переулки, в которых вместо домов попадались нефтяные вышки с работающими маятниками. Мы сидели под брезентом на одной из досок, перекинутых с борта на борт. Сидели, обнявшись, так легче было держаться.

Шайхи все понял быстро, как и полагается поэтам, едва речь заводится о любви. И вот уже мы мчались дальше, обхватив друг друга втроем, и под колесами тряские кругляки булыжника снова выглаживались в асфальт.

Объехав пасти двух ям, обставленных дощатыми козлами в местах недавних авиабомбежек, машина по требованию Шайхи затормозила около солидного дома, казавшегося таким большим, что в темной глубине ночи не удавалось увидеть всех его очертаний. По предположению Шайхи, здесь жил начальник республиканского кинопроката, и впервые в жизни именно здесь, в середине ночи, я услышал это слово: кинопрокат. И через пять минут уже жалел, что не пошел к всевластному начальнику вместе с Шайхи...

Время шло, а двери парадного подъезда оставались мертвы. Ни фигуры. Ни звука. Мы выкурили по доброй папироске, прикрываясь рукавами шинелей, и я спрыгнул

и побежал к подъезду, не зная ни этажа, ни номера квартиры. И не понадобилось. Когда я приблизился, темные двери растворились, и навстречу мне раздался звонкий голос Шайхи:

— Идем, идем!

Начальник кинопроката оказался немолодым и внушительным. С животом. В очках. Словом, персоной.

— Есть картина? — спросил я с разбегу.

— Как может ее не быть, когда она нужна? — удивился начальник так, что мне стало искренне стыдно за себя.— Сейчас едем в Дом Красной Армии, самая действующая наша киноточка. Я позвонил и предупредил вахтера...— И приложил ладонь к груди.— Извините, мы задержались, потому что много звонили...

— Киномеханик уже едет,— сказал Шайхи.

— Это лучший наш киномеханик,— прибавил начальник.

— Машину бы послать за ним для быстроты! — вырвалось у меня.

— Он едет,— повторил Шайхи.

— На чем?

— На ишачке.

Начальник, которого мы попытались усадить в кабину, чтобы обласкать за деловитость и душевность, наотрез отказался и забрался в кузов, с обеих сторон подсаживаемый Шайхи и мной.

— Я со всеми!

Ему эта поездка мерещилась боевой, и мы ехали браво и весело, даже шутили, если не считать молчаливого, совсем какого-то бессловесного Егоршина, и только на зловеще пустой улице, разинувшей еще одну свежую воронку от бомбы, я услышал, что начальник, шагая к складу, тоскливо повторяет какие-то странные слова, похожие на молитву.

— Что это вы?

— А что еще делать, когда хочешь радости человеку, а все зависит от случая? Остается только молиться. Я не верю в бога, но я молюсь.

— Позвольте! Вы же сказали, что картина есть!

— Она есть в списке. Но, может быть, ее отправили по аулам, дали кинопередвижке.

И начальник опять забормотал свои слова.

Судьба пощадила и его, и Егоршина, и всех нас. Картина не сразу, но обнаружилась на складе. В военную

пору важным начальникам частенько, видать, выпадало делать простые вещи, и наш добрый друг торопливо управлялся с ключами и карманным фонариком: Я вынес круглую железную коробку с лентой...

И застрекотал аппарат. В большом зале сидело всего-навсего человек пять, и от этого он казался еще просторней. И вот потекла река по экрану — в блеске солнца, в кувшинках, в заводях, обросших осокой, в горках с березами, в древних ивах, склонившихся над водой и без усталости полощущих свои ветки... Какая далекая река! Где-то за Вяткой... А текла здесь, на Кавказе, среди ночи...

А вот и паром! Полон женщинами, стоящими у береговых перил и сидящими на ящиках, на бочках, на телегах... Где же она? Какая? Как ее зовут? Лиза, он сказал... Может, окликнет кто? Спросить? Сейчас сам скажет! Но он молчит, впился острыми глазами в блеск реки, в ивы и березы, в лица... Их было много на экране, разных. И вдруг он схватил меня за руку. Я закричал:

— Стоп!

Паром остановился. Река остановилась. Лица остановились... Чуть-чуть постояли и поплыли дальше. Как потом объяснил киномеханик, держать их в неподвижности было рискованно: пленка могла вспыхнуть и сгореть. «Где ж она, Лиза?» — уже хотел спросить я, но вдруг вздрогнул от солдатской песни, долетевшей оттуда, с берега, с экрана. Да, по берегу строем шли бойцы, как говорили тогда, и пели, а женщины с парома махали им руками. И когда прошли бойцы, и уплыл паром, и стихла песня, майор Егоршин встал.

— Еще раз? — спросил я.

Но увидел, что он надевает шапку и показывает мне выдернутые из-под ремня часы. «И все?» — грустно подумал я. Мне — по молодости, конечно, — категорически требовались слова для выражения восторга. Самые простые. «Надо же! — мог сказать Егоршин. — Будто встретился!» Но он не сказал даже и этого... С первого кадра и до того, как встал, майор просидел без единого слова. А мне преступно бледным казалось это молчание, которое сейчас кажется куда надежнее слов и которого поэтому вполне хватает.

В зале вспыхнул свет. Перед белым экраном майор быстро обходил всех и так же молча жал всем руки. Начальнику кинопроката, который при свете стал вроде бы еще толще. Поэту Шайхи, стройному, длинному и тонко-

му. Маленькому и легкому на вид киномеханику, появившемуся в дверях. Седобородому старичку вахтеру, похожему на гнома. И мне, наконец. Никто из нас не верил, если признаться, что устроит майору это свидание. Я мог не застать Шайхи дома. Шайхи не знал точного адреса начальника кинопроката. Начальник кинопроката молился почти всерьез, боясь не найти картину.

Но почему-то для всех нас важно было найти этот фильм, как будто мы устраивали счастье самим себе.

На улице уже тарахтела машина, водитель уже сидел на своем месте, ночь уже кончалась — шел пятый час... И майор Егоршин вдруг заговорил:

— Закурим?

Короткая вспышка спички, юркнувшей в логово шинельного рукава, позволила заметить, как помрачнело его лицо, и я спросил:

— Что случилось?

— Одна забота, — глухо отозвался он. — Прислали бы нам тридцатьчетверки... Только бы не «валентины». Горят, как из картона...

Хотя через Баку к нам шли легкие английские танки «валентина», вызывающие у танкистов оправданные жалобы, мне не хотелось в эту ночь огорчать его:

— Придут тридцатьчетверки!

«Додж» укатил, круто развернувшись на улице, а я пошел выяснять, какая же из женщин на экране, по мысли других участников просмотра, была женой майора Егоршина. Все уже высыпали на крыльцо, собравшись по домам. Длиннобородый дед-вахтер выводил из ворот упирающегося ишачка.

Выслушав мой вопрос, солидный начальник рассмеялся:

— А я хотел вас спросить! Но я вам вот что скажу... Мне не важно, какая она, честное слово. Это их касается.

— А мне даже моя жена опять понравилась, — подтягивая ишачка, прибавил дед-вахтер.

— А мне все понравились! — взбираясь на ишачка, крикнул киномеханик. — Все до одной!

И погнал его вслед за «доджем», в темень.

Ну ладно, подумал я, отложу свой вопрос до новой встречи с Егоршиным.

...Через месяц, не больше, я догнал его танкистов в Георгиевске, небольшом городке, еще темневшем серыми стенами своих домиков на искристо-белом снегу раннего утра. Полк остановился на краткий отдых, ожидая попол-

нения перед ударом в сторону Краснодара. Узнав, где развернулся штаб, я ворвался в дом, представился и выпалил:

— Командира полка!

Когда показали на дверь, я толкнул ее не раздумывая, вошел и вытянулся. Со скамейки у стола навстречу мне поднялся молодой майор, нарядно-черноусый.

— Извините,— сказал я,— а Егоршин?

— Майор Егоршин погиб позавчера при освобождении этого города. Вчера похоронили при участии многих жителей... А те танки еще стоят на улицах,— вздохнул он.

На улицах, разыскивая полк, я видел три или четыре «валентины», разрисованные языками густой копоти. Позавчера. Значит, Лиза Егоршина еще ничего не знала.

Вот так все вспомнилось.

А ведь молчал...

# БИБЛИОГРАФИЯ<sup>1</sup>



## ПОВЕСТИ

Пушка.— Юность, 1972, № 3—5.

То же.— В кн.: Пушка: Повесть. М.: Современник, 1973.

Плавни.— Огонек, 1981, № 4—8.

То же.— В кн.: Плавни: Повесть. М.: Правда, 1981. (Б-ка «Огонек», № 42).

Яблоки сорок первого года (первооснова: рассказ «Яблоки»).— Правда, 1965, 12 дек.

То же (под назв. «Фантазер»).— В кн.: Улица тринадцати тополей: Повести и рассказы. М.: Сов. писатель, 1972.

Слобода (под назв. «Лопух из Нижней слободки»).— Юность, 1977, № 4—5.

То же.— В кн.: Слобода: Повести. М.: Сов. писатель, 1980.

## РАССКАЗЫ

Вечер любви.— Неделя, 1985, № 9.

За подвигом.— Знамя, 1958, № 12.

То же.— В кн.: Раннее утро: Рассказы. М.: Сов. писатель, 1960.

Третий Коля.— Сов. воин, 1957, № 14.

То же.— В кн.: Первый день весны: Крымиздат, 1962.

Первый день весны.— Альм. Крым, 1960, № 24.

То же.— В кн.: Раннее утро: Рассказы. М., 1960.

На закате.— Смена, 1980, № 17.

То же.— В кн.: Плавни: Повесть и рассказы. М.: Мол. гвардия, 1983.

Ждать — не дожидаться.— В кн.: Плавни: Повесть и рассказы. М., 1983.

Без единого слова.— Юность, 1981, № 11.

То же.— В кн.: Плавни: Повесть и рассказы. М., 1983.

---

<sup>1</sup> В библиографии даны сведения о первой публикации и первом книжном издании произведений, включенных в первый том Избранных произведений Д. Холендро.

# СОДЕРЖАНИЕ



*И. Козлов. Писатель и его книги . . . . .* 3

## ПОВЕСТИ

Пушка . . . . .	19
Плавни . . . . .	184
Яблоки сорок первого года . . . . .	252
Слобода . . . . .	326

## РАССКАЗЫ

Вечер любви . . . . .	443
За подвигом . . . . .	449
Третий Коля . . . . .	469
Первый день весны . . . . .	479
На закате . . . . .	493
Ждать — не дожидаться . . . . .	511
Без единого слова . . . . .	527
БИБЛИОГРАФИЯ . . . . .	541



**Дмитрий Михайлович Холендро**

**ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ДВУХ ТОМАХ**

**ТОМ I**

Повести и рассказы



Редактор В. ДОЛЬНИКОВ  
Художественный редактор А НИКУЛИН  
Технический редактор В НИКИФОРОВА  
Корректоры Г ПАНОВА, Т ЛЮБОРЕЦ

ИБ № 4557

Сдано в набор 26 06 86. Подписано к печати 21 10 86  
А13624 Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> Гарнитура литер Печать  
высокая Бумага тип № 1 Усл печ л 28,67 Усл кр -отт  
28,61 Уч -изд л 32,48 Тираж 100000 экз Заказ № 1065  
Цена 2 р 30 к

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза  
писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфком-  
бинат детской литературы им 50-летия СССР Росглавполиграф-  
прома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект  
50 летия Октября, 46



**Холендро Д. М.**

X71 Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. Повести и рассказы/ Вступ. статья И. Козлова; Худож. А. Платонов.— М.: Современник, 1987.— 542 с., ил., портр.

Имя Дмитрия Михайловича Холендро, автора многочисленных повестей и рассказов, хорошо известно советскому и зарубежному читателю.

В первый том включены произведения о Великой Отечественной войне, дорогами которой прошел наводчик орудия младший сержант Дмитрий Холендро, впоследствии фронтовой корреспондент армейской газеты Это повести «Яблоки сорок первого года» (по которой снят одноименный фильм), «Пушка», «Плавни» и рассказы «Вечер любви», «За подвигом» и др. Все они посвящены мужеству советского солдата, всю Европу заслонившего своей грудью от немецкого фашизма, ежедневно на войне решавшего проблему выбора между правом жить и долгом пожертвовать свою жизнь ради спасения Родины

X 470201200—024 134—87  
М106(03)—87

**ББК 84Р7**  
**Р2**



2 р. 30 к.

• СОВРЕМЕННОСТЬ •

ДМИТРИЙ ХОЛЕНЦЕВ

1